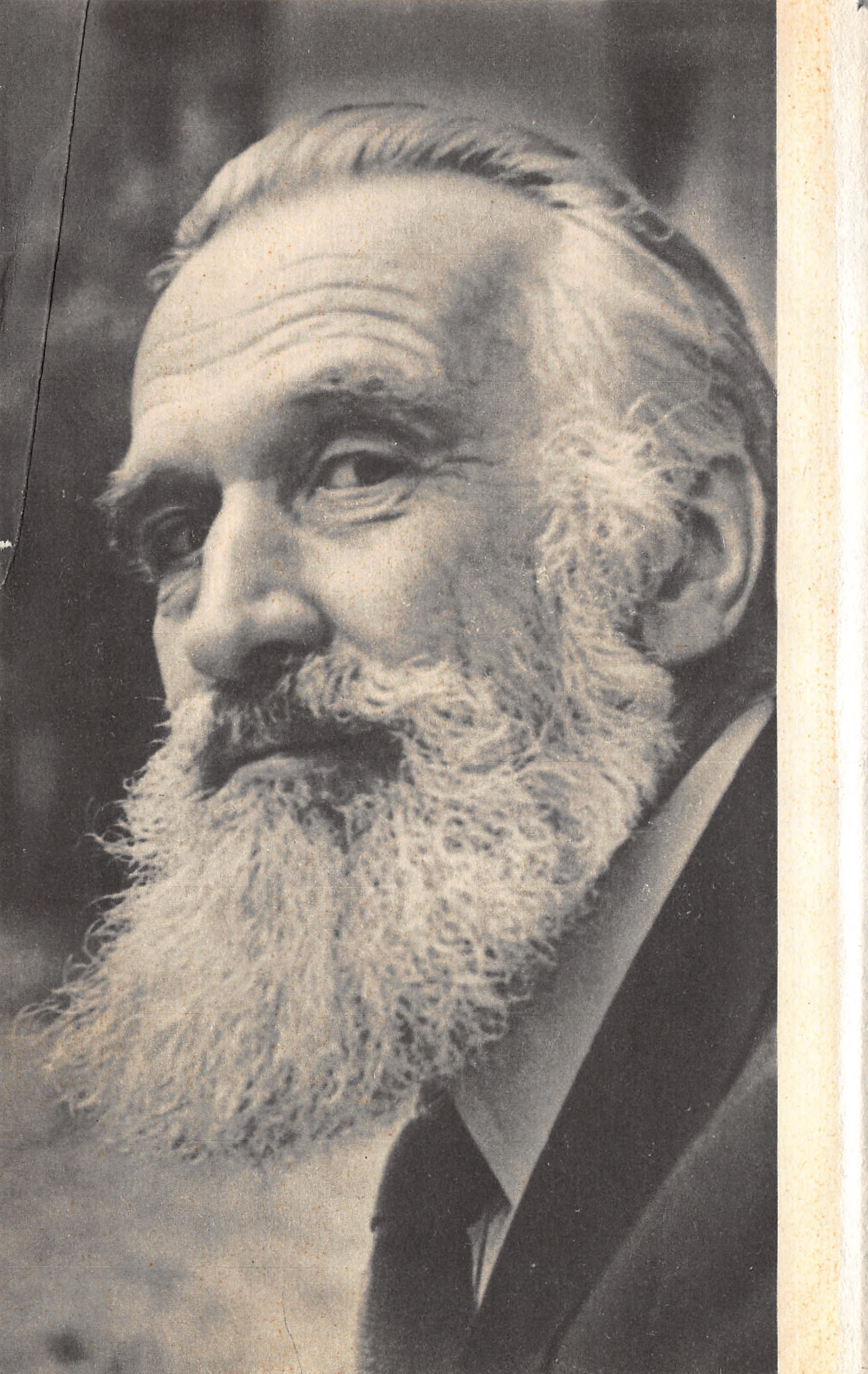
ОЛЕГ ВОЛКОВ

ВЕК НАДЕЖД И КРУШЕНИЙ



ОЛЕГ ВОЛКОВ

ВЕК НАДЕЖД И КРУШЕНИЙ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1990

ББК 84 Р7
В 67

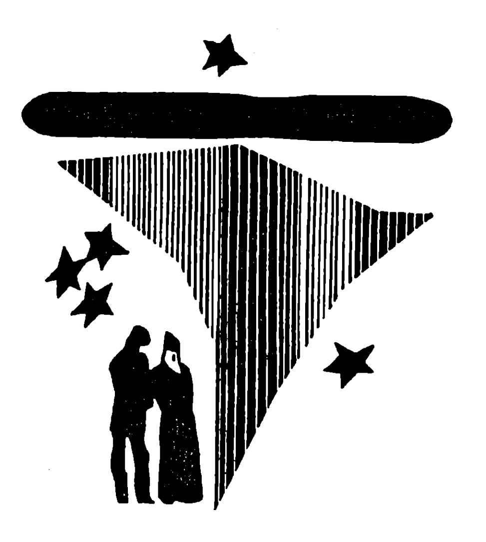
ХУДОЖНИК
АНДРЕЙ ГОЛИЦЫН

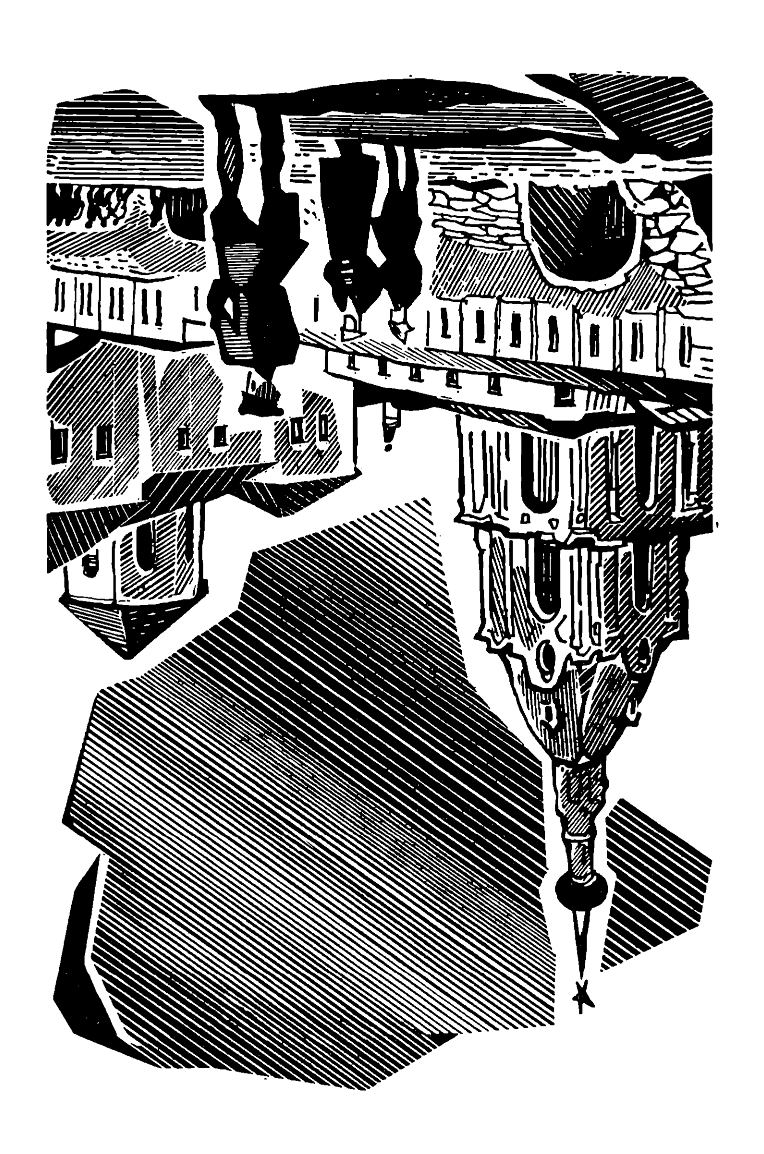
В $\frac{4702010201-264}{083(02)-89}$ КБ—1—30—90

ISBN 5—265—01105—6

ПОГРУЖЕНИЕ ВО ТЬМУ

Из пережитого





ПОСВЯЩАЮ МОЕЙ ДОЧЕРИ ОЛЬГЕ

...Я поздно встал, и на дороге
Застигнут ночью Рима был.

Ф. И. Тютчев. «Цицерон»

...И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним...

Откровение св. Иоанна (гл. 6, стих 8)

НЕСКОЛЬКО ВВОДНЫХ ШТРИХОВ

Вместо предисловия

...Голые выбеленные стены. Голый квадрат окна. Глухая дверь с глазком. С высокого потолка свисает яркая, никогда не гаснущая лампочка. В ее слепящем свете камера особенно пуста и стерильна; все жестко и четко. Даже складки одеяла на плоской постели словно одеревенели.

Этот свет — наваждение. Источник неосознанного беспокойства. От него нельзя отгородиться, отвлечься. Ходишь ли маятником с поворотами через пять шагов или, закружившись, сядешь на табурет — глаза, уставшие от знакомых потеков краски на параше, трещинок штукатурки, щелей между половицами, пересчитанных сто раз головок болтов в двери, помимо воли обращаются кверху, чтобы тут же, ослепленными, метнуться по углам. И даже после вечерней поверки, когда разрешается лежать и погружаешься в томительное ночное забытье, сквозь проносящиеся полувоспоминания-полугрезы ощущаешь себя в камере, не освобождаешься от гнетущей невозможности уйти, избавиться от этого бьющего в глаза света. Бездушного, неотвязного, проникающего всюду. Наполняющего бесконечной усталостью...

Эта оголенность предметов под постоянным сильным освещением рождает обостренные представления. Рассудок отбрасывает прочь затеняющие, смягчающие покровы, и на короткие мгновения прозреваешь все вокруг — и свою судьбу — безнадежно трезвыми очами. Это — как луч прожектора, каким пограничники вдруг вырвут из мрака темные береговые камни или вдавшуюся в море песчаную косу с обсевшими ее серокрылыми, захваченными врасплох морскими птицами.

Я помню, что именно в этой одиночке архангельской тюрьмы, где меня продержали около года, в один из бесконечных часов бдения при неотступно сторожившей лампочке, стершей грани между днем и ночью, мне особенно

беспощадно и обнаженно открылось, как велика и грозна окружающая нас «пылающая бездна»... Как неодолимы силы затопившего мир зла! И все попытки отгородиться от него заслонами веры и мифов о божественном начале жизни показались жалкими, несостоятельными.

Мысль, подобная беспощадному лучу, пробежала по картинам прожитых лет, наполненных воспоминаниями о жестоких гонениях и расправах. Нет, нет! Невозможен был бы такой разгул зла, такое выставление на позор и осмеяние нравственных основ жизни, руководи миром верховная благая сила. Каленым железом выжигаются из обихода понятия любви, сострадания, милости — а небеса не разверзлись...

* * *

В середине тридцатых годов, во время генеральных репетиций кровавых мистерий тридцать седьмого, я успел пройти через круги двух следствий и последующих отсидок в Соловецком лагере. Теперь, находясь на пороге третьего срока, я всем существом, кожей ощущал полную безнаказанность насилия. И если до этого внезапного озарения — или помрачения? — обрубившего крылья надежде, я со страстью, усиленной гонениями, прибегал к тайной утешной молитве, упрямо держался за веру отцов и бывал жертвенно настроен, то после него мне сделалось невозможным даже заставить себя перекреститься... И уже отторженными от меня вспоминались тайные службы, совершавшиеся в Соловецком лагере погибшим позже священником.

То был период, когда духовных лиц обряжали в лагерные бушлаты, насильно стригли и брили. За отправление любых треб их расстреливали. Для мирян, прибегнувших к помощи религии, введено было удлинение срока — пятилетний «довесок». И все же отец Иоанн, уже не прежний благообразный священник в рясе и с бородой, а сутулый, немощный и униженный арестант в грязном, залатанном обмундировании, с безобразно укороченными волосами — его стригли и брили связанным,— изредка ухитрялся выбраться за зону: кто-то добывал ему пропуск через ворота монастырской ограды. И уходил в лес.

Там, на небольшой полянке, укрытой молодыми соснами, собиралась кучка верующих. Приносились хранившиеся с великой опаской у надежных и бесстрашных людей антиминс и потребная для службы утварь. Отец Иоанн надевал

епитрахиль и фелонь, мятую и вытертую, и начинал вполголоса. Возгласия и тихое пение нашего робкого хора уносились к пустому северному небу; их поглощала обступившая м нарину чаща...

Страшно было попасть в засаду, мерещились выскакивающие из-за деревьев вохровцы,— и мы стремились уйти всеми помыслами к горним заступникам. И, бывало, удавалось отрешиться от гнетущих забот. Тогда сердце полнилось благостным миром и в каждом человеке прозревался «брат во Христе». Отрадные, просветленные минуты! В любви и вере виделось оружие против раздирающей людей ненависти. И воскресали знакомые с детства легенды о первых веках христианства.

Чудилась некая связь между этой вот горсткой затравленных, с верой и надеждой внимающих каждому слову отца Иоанна зэков — и святыми и мучениками, порожденными гонениями. Может, и две тысячи лет назад апостолы таким же слабым и простуженным голосом вселяли мужество и надежду в обреченных, напуганных ропотом толпы на скамьях цирка и ревом хищников в356 виивариях, каким сейчас так просто и душевно напутствует нас, подходящих к кресту, этот гонимый русский попик. Скромный, безвестный и великий... Мы расходились по одному, чтобы не привлечь внимания.

Трехъярусные нары под гулкими сводами разоренного собора, забитые разношерстным людом, меченным страхом, готовым на все, чтобы выжить, со своими распрями, лютостью, руганью и убожеством, очень скоро поглощали видение обращенной в храм болотистой поляны, чистое, как сказание о православных святителях. Но о них не забывалось...

Ведь не обмирщившаяся церковь одолевала зло, а простые слова любви и прощения, евангельские заветы, отвечавшие, казалось, извечной тяге людей к добру и справедливости. Если и оспаривалось в разные времена право церкви на власть в мире и преследование инакомыслия, то никакие государственные установления, социальные реформы и теории никогда не посягали на изначальные христианские добродетели. Религия и духовенство отменялись и распинались — евангельские истины оставались неколебимыми. Вот почему так ошеломляли и пугали открыто провозглашенные принципы «пролетарской морали», отвергавшие безотносительные понятия любви и добра.

Над просторами России с ее церквями и колокольня-

ми, из века в век напоминавшими сиянием крестов и голосами колоколов о высоких духовных истинах, звавшими «воздеть очи горе» и думать о душе, о добрых делах, будившими и в самых заскорузлых сердцах голос совести, свирепо и беспощадно разыгрались ветры, разносившие семена жестокости, отвращавшие от духовных исканий и требовавшие отречения от христианской морали, от отцов своих и традиций.

Проповедовались классовая ненависть и непреклонность. Поощрялись донос и предательство. Высмеивались «добренькие». Были поставлены вне закона терпимость к чужим мнениям, человеческое сочувствие и мягкосердечие. Началось погружение в пучину бездуховности, подтачивание и разрушение нравственных устоев общества.

Как немного понадобилось лет, чтобы искоренить в людях привычку или потребность взглядывать на небо, истребить или убрать с дороги правдоискателей! Крепчайший новый порядок основался прочно — на страхе и демагогических лозунгах, на реальных привилегиях и благах для восторжествовавших и янычар. Поэты и писатели, музыканты, художники, академики требовали смертной казни для людей, названных властью «врагами народа». Им вторили послушные хоры общих собраний. И неслось по стране: «Распни его, распни!» Потому что каждый должен был стать соучастником расправы. Или ее жертвой.

Совесть и представление о грехе и греховности сделались отжившими понятиями. Нормы морали заменили милиционеры. Стали жить под заманивающими лживыми вывесками. И привыкли к ним. Даже полюбили. Настолько, что смутьянами и врагами почитаются те, кто, стремясь к истине, взывает к сердцу и разуму, смущая тем придавивший страну стойловый покой.

И когда я в середине пятидесятых годов — почти через тридцать лет! — вернулся из заключения, оказалось, люди уже забыли, что можно жить иначе, что они «гомо сапиенс» — человек рассуждающий...[1]

---

[1] В сборнике, издаваемом к 90-летию Олега Васильевича Волкова, воспоминания «Погружение во тьму» печатаются с некоторыми сокращениями по согласованию с автором *(Ред.)*

Глава первая

НАЧАЛО ДЛИННОГО ПУТИ

Московская моя жизнь оборвалась внезапно в феврале тысяча девятьсот двадцать восьмого года. И как оказалось — на очень долго.

..Неполных шесть лет в Москве прошли без особых тревог. Даже относительно легко. Так бывает, когда живешь со дня на день, без ясной цели, какую ставят себе люди, прочно стоящие на земле.

Я считал свое существование зыбким, сравнительную обеспеченность — счастливой случайностью, поскольку не раз убеждался в обманчивости всяких предположений на будущее. На попытках вновь поступить в университет я ожегся и, испытав процедуру чисток, примирился с положением и обязанностями переводчика — поначалу в Миссии Нансена, потом у корреспондента Ассошиэйтед Пресс, у каких-то концессионеров и, наконец, в греческом посольстве, где ежедневно читал посланнику по-французски московские газеты и составлял пресс-бюллетень. Денег было немного, но свободного времени достаточно. А главное — мне была предоставлена комнатка в помещении консульства, благо для меня несравненное, заставляющее ценить обретенное положение.

Я много читал, что-то сочинял, ходил в театры и концерты, любил «круг друзей» и вечера, где можно было, приодевшись, щегольнуть не вполне утраченной светскостью. В мои двадцать с лишним лет все это выглядело настоящей жизнью, в чем-то перекликавшейся с тем, как некогда жили отцы и деды.

Правда, время от времени действительность напоминала о себе: быстро облетала знакомые дома весть о чьем-нибудь аресте. Круг наш сужался. Но гонители тогда только набивали руку, кустарничали. Массовые coups de filet[1] были еще впереди. И я, хоть гадал при каждом таком случае — когда наступит мой черед? — все же не испытывал постоянного гнетущего ожидания. Не́ зная, что возле тебя берет разгон страшный жернов, назначенный раздавить и перемолоть все, неспособное немо и обезличенно служить целям власти, не́ подозревая, что в среде друзей уже предостаточно завербованных агентов, готовых предать, донести,

---

[1] Облава, прочесывание *(франц.)*.

участвовать в любой провокации с ревностью новообращенных,— будучи в неведении всего этого, нехитро считать игрой случая то, что становилось ежедневной принадлежностью жизни. Я, кроме того, жил в экстерриториальном доме. И мог, затворив за собой парадную дверь, вполне по-мальчишески показать нос любым филерам и агентам. Не переоценишь ощущения безопасности и надежности у человека, в те времена ложащегося спать без страха ночного звонка!

* * *

Был пасмурный, словно растушеванный февральский день. Городские шум и движение тонули в мягком снегу. Дома стояли отрешенные и угрюмые. Зима уже растратила свой блеск, силу и стужу и вяло доживала положенные сроки. Но еле уловимый, радостно отдающийся в сердце признак близкой весны еще не обозначился.

Я остановился на тротуаре возле Сухаревой башни, ожидая, когда можно будет перейти улицу. Очутившийся рядом человек в пальто с добротным меховым воротником незаметным движением вытащил из-за пазухи развернутую красную книжечку и указал мне глазами на подпись. Я успел разобрать: «Государственное Политическое управление». Тут же оказалось, что по другую сторону от меня стоит двойник этого человека — с таким же скуластым, мясистым лицом, бесцветными колючими глазами и в одинаковой одежде. К тротуару подъехали высокие одиночные сани. Меня усадили в них, и один из агентов поместился рядом. Лошадь крупной рысью понесла нас вверх по Сретенке на Лубянку...

Все произошло настолько быстро и буднично, что сознание мое не успело перестроиться. Я не полностью понимал, что не просто так вот еду по московской улице, как если бы нанял лихача прокатиться, а уже опустилась между мною и прохожими, возможностью остановиться у киоска, зайти в магазин, заговорить с кем хочу невидимая преграда — прообраз того железного занавеса, о котором спустя два десятилетия скажет Черчилль.

И люди на тротуарах не видели ничего особенного в санях с двумя седоками в штатском. Не могли же они предположить, что у них на глазах вершится воскрешенный постыднейший обычай — рожденное произволом и самовластием Слово и Дело!

Впрочем, в ту минуту я был далек от исторических аналогий. В голове лихорадочно проносились обрывки мыслей, соображения — в чем можно меня обвинить? Вернее — что может быть известно чекистам о моих делах, образе мыслей, не слишком осторожных высказываниях? Как отвечать и держать себя на следствии? Не то чтобы я был совершенным новичком в этих делах. Еще в первые годы революции, пока я жил на усадьбе, мне пришлось дважды побывать в уездной тюрьме — об этом я, может быть, расскажу в своем месте. Но название «Лубянка» звучало достаточно зловеще и не могло не вызвать смятения. Резко, грубо оборванные живые нити — интересы, начатые дела, привязанности, на полуслове оборванные общения — болезненно отдавались в сердце, полня его тревогой и тоской...

Где-то возле Кузнецкого моста сани наши прибились к тротуару и замедлили бег. Я не сразу сообразил, что именно мне кивали с бровки, насмешливо приветствуя, два праздно стоящих субъекта в темных пальто. Они-то наметанным глазом сразу признали знакомого рысака из конюшен оперативного отдела и своего дружка в сопровождавшем меня седоке. Знали, вероятно, и ожидавшую меня участь.

Я подумал об улицах, кишевших агентами. И о том, что не вздумай я прогуляться из дома до посольства, а воспользуйся приглашением консула поехать на его машине, этим молодцам не пришлось бы сегодня доставлять меня в свои застенки. Не случилось ли однажды, что посланник, опасавшийся козней ЧК, пожалуй, более моего и сочувствовавший их жертвам, напуганный слухами об очередной волне арестов, запретил мне выходить из дома и приезжал за мной в своей машине. А потом увез меня на длительный срок в турне по греческим колониям на юге России и таким образом спас от возможного ареста. «Ça fait toujours plaisir de narguer les flics lorsqu'ils embêtent les braves gens»[1], — посмеивался он.

* * *

Это произошло около полудня. А глубокой ночью меня, после бесконечной процедуры опроса, обыска, отбора вещей, завели в камеру внутренней тюрьмы.

---

[1] «Всегда приятно подразнить шпиков, когда они чинят неприятности порядочным людям» *(франц.)*.

Более полусуток провел я в кабинете следователя. Если и до этого искуса у меня не было иллюзий — еще в самом начале, еще в семнадцатом году, мне, юноше, стало очевидно, что отныне беззаконие займет место закона, лишь для видимости порой рядясь в его одежды,— то диалог со следователем на Лубянке убедил окончательно: правосудием тут и не пахнет. Петрово зерцало лежало, разбитое вдребезги, у порога этого управления — главного блюстителя новой «справедливости»!

Мне цинично и неприкрыто был предложен выбор: сделаться сексотом, т. е. доносчиком, «шпынем», или садиться за решетку.

— Видите ли,— вежливо и толково, не опуская глаз, точно рассуждая о выборе профессии или места жительства, объяснял мне щуплый и говорливый человек лет сорока, в военной форме с петлицами, похожий одновременно на давешних агентов и на интеллигента средней руки,— иностранцы относятся к вам с доверием, вам легко завести среди них связи, которые окажутся для нас полезными. От вас потребуется только слушать, иногда выспрашивать, запоминать и... передавать нам.

Тщетно было бы возмущаться подобным предложением: обрабатывавшим меня то в одиночку, то вместе двум следователям попросту нельзя было бы объяснить отвращение к ремеслу доносчика. И я, как умел, отговаривался неспособностью играть роль тайного агента, неизбежностью провала.

— Коль на то пошло и вы настаиваете, чтобы я делом доказал свою лояльность,— отбивался я,— пригласите меня на гласную должность, без нужды маскироваться: надену форму, буду у вас переводчиком.

Они попеременно взывали к моим патриотическим чувствам — я должен был помогать им парировать вражеские замыслы; соблазняли картинами легкой жизни — они могут и материально обставить мое существование достаточно привлекательно; показывали когти: «Берегись! Знаем о тебе достаточно, чтобы упечь!» Теряя выдержку или разыгрывая негодование, грозили: «Расшлепаем в два счета — как замаскировавшегося беляка!» Наскакивали с матерной бранью.

И снова и снова подсовывали заранее подготовленную расписку и перо: я должен был подписать, что отныне обязуюсь сообщать обо всем виденном и слышанном некоему лицу, с которым буду встречаться по его указаниям, при непременном условии «тайны» нашего сговора. Я соответст-

венно отшвыривал или спокойно клал на стол ручку, им в тон грубо или вежливо отказывался подписывать бумажонку.

Диалог затягивался, и я с радостью ощущал в себе нисколько не слабевшую силу сопротивления. Во мне укреплялось и ширилось некое упрямство, бесповоротная решимость не уступать.

Чем более ярились и изощрялись в своих доводах следователи, страшнее и реальнее звучали их угрозы, тем тверже и находчивее я отбивался. И овладевал мною веселый азарт выигрываемого поединка: «Кукиш вам! Не попадусь я в ваши тенета, и ни черта вы со мной не сделаете!»

Потому что про себя я все-таки заключил: нет у них материалов, чтобы состряпать и самое пустяшное обвинение. Пусть рыльце и было у меня в пуху,— пользуясь добрым расположением некоторых иностранцев, я пересылал подписанные псевдонимами статьи и фельетоны в некоторые французские и греческие газеты на темы нашей действительности,— но проделки эти ускользнули от всевидящего ока бдительной власти. Прочих грехов за мною не водилось, и я не допускал, чтобы мне могло что-нибудь серьезно угрожать. Подмоченная биография — нашли чем пугать!

Были тут и самоуверенность молодости, и убежденность— со школьной скамьи — в позоре репутации фискала, и вполне реальный страх связать себя с ведомством, не брезговавшим провокацией и самыми вероломными путями для своих целей, мне чуждых и враждебных.

...Случалось потом, в особо тяжкие дни, вспоминать эту пытку духа на Лубянке в феврале уже далекого двадцать восьмого года. Перебирая на все лады ее обстоятельства, в минуты малодушия я жалел, что в тот роковой час не представилось другого выхода. Но никто больше никогда никаких сделок мне не предлагал, и обходились со мной как с разоблаченным опасным врагом. Впрочем, я всегда безобманно чувствовал: повторись все — и я снова упрусь, уже ясно представляя, на что себя обрекаю...

Убедившись наконец, что своего им не добиться, очередной следователь вдруг сделался подчеркнуто формален и деловит. Достал из ящика заготовленный ордер на мой арест, демонстративно подписал и, молча показав мне его, вызвал конвоиров. Двум тотчас появившимся свежим, подтянутым и таким сытым парням в форме, лучившимся готовностью выполнить любое приказание, он кивком указал на меня, процедив в виде напутствия:

— А теперь мы вас сгноим в лагерях!

— Ни хрена вы со мной не сделаете! — дерзко бросил я ему, уходя между двумя стражами.

Но — Боже мой! — сколько раз пришлось мне впоследствии вспоминать эту угрозу! Ведь и вправду — едва не сгноили...

* * *

Когда в глазке раздалось: «Собирайсь с вещами!» — я понял, воли мне не видать. Предстоит Бутырка. И стало так жаль покидать свое двухнедельное пристанище — чистую, тихую камеру в бывшей гостинице во дворе старейшего страхового общества «Россия». Огромное здание, обращенное во внутреннюю тюрьму, стало подлинно глухой могилой, из которой никогда не было совершено ни одного удачного побега.

...У заключенного вырабатывается страх перед всякой переменой, как бы дурно и убого ни было место, где он как-то обжился и приспособился. Звериное чувство норы. Неведомое впереди выглядит грозным и коварным. Всякие переводы и переезды — ступенями лестницы, сводящей все ниже и ниже.

И когда я собрался и, в ожидании, присел с узелком в руках, мне уже не вспоминалось, какой жуткой клеткой показалась мне в первые мгновения эта тесная комнатенка с оконной решеткой во всю стену. Страшило предстоящее.

Мне было предъявлено обвинение в контрреволюционной агитации —статья УК 58, пункт 10, предусматривающий широчайший диапазон кар: от кратковременной высылки до многолетнего заключения и даже высшую меру при отягчающих обстоятельствах. Следователь раза два нудно и вяло меня допрашивал. Я отвечал односложно, никак не поддаваясь на попытки вызвать на спор о власти и порядках, где бы он мог подловить меня на «антисоветских взглядах». Протоколы получались пустопорожними, и я продолжал считать, что «побьются, побьются, да и отступятся» В крайнем случае, запретят на три года проживание в Москве...

Но при таком исходе обычно сразу освобождают — следователь отбирает расписку с обязательством выехать в указанный срок. Вызов с вещами безо всякой расписки означал: из-за решеток меня не выпустят. И стало не по себе, когда дверь распахнулась и из коридора мне сделали знак вы-

ходить. Помимо дежурного там стоял конвоир с бумажкой — накладной, без которой меня в дальнейшем, как ценный груз, уже больше не перемещали.

Подобные мытарства описаны многажды. Суть их и подробности неразличимы, и «еще одно» повествование о набитых арестантами машинах, обысках и вошебойках, раздевании с отбиранием ремней и очков, отпарыванием пуговиц, о перенаселенных камерах о двух-, а то и трехъярусных нарах, тюремщиках-садистах и угрюмых коридорных, об издевательствах и избиениях, об изощренных способах превратить человека в мычащее безвольное существо, обо всей усовершенствованной технике содержания наловленных противников и подавления личности — обо всех кругах ада, через которые прошло в России с 1917 года больше народу, чем, вероятно, на всем земном шаре за всю историю человечества,— такой рассказ не откроет никому ничего нового..

...В толстом невысоком человеке с подстриженной седой бородкой и пенсне на шнурке, суетливо раздевавшемся рядом со мной перед тюремными обыскивателями в синих халатах, я неожиданно узнал Якова Ивановича Бутовича — тульского помещика и коннозаводчика. О нем много толковали в Москве, как об удивительном эквилибристе: Яков Иванович не только остался хозяином своего завода в новой ипостаси заведующего, но и стал главнейшим консультантом по конному делу в Наркомземе, у Буденного и еще где-то. Им из своих коллекций был создан музей истории коннозаводства России; он будто бы разговаривал из кабинетов губернских властей по прямому проводу с самим Троцким, ездил по-прежнему в коляске парой в дышло. И держал в черном теле назначенного к нему на завод с великими извинениями комиссара: «Нынче иначе нельзя, Яков Иваныч! Уж не обижайтесь — с нас тоже спрашивают!»

Было известно, что Яков Иванович резко оговаривает называющих его «товарищем Бутовичем».

Надо сказать, что этот барин и тут, в унизительной для человека позиции, вынужденный догола раздеться, раздвинуть ягодицы и приподнять мошонку под пристальным взглядом тюремщика, что он и тут, переконфуженный и жалкий, старался держаться с достоинством и даже независимо. Я слышал, как, отвечая на вопрос анкеты, он даже с некоторым вызовом бросил на все помещение: «Сословие? Дворянин, конечно!»

Мы с Бутовичем были более связаны общими знакомыми, чем личными отношениями, и все же оба встрече обрадовались. Но вида не подали: пронюхав о нашем знакомстве, надзиратели непременно поместили бы нас по разным камерам. Нам же сейчас ничего так не хотелось, как очутиться вместе: в этих условиях становится дорог и мало-мальски свой человек.

Нас уже обволакивала мутная и зловонная тюремная стихия с ее суетой, многолюдием, окриками... И с острым ощущением утраты права собой распоряжаться. Команда строиться парами, команда оправляться, разбирать миски со жратвой, ложиться, замолкать...

В приемном помещении набивалось все больше разношерстного народа. Нас переписывали, загоняли партиями в баню, выстраивали у вошебойки, тасовали, сортировали. Потом стали разводить по камерам.

Поначалу особенно поражала вонь ношеной прожаренной одежды, вызывавшая тошноту,— арестантский стойкий запах, исходивший от каждого из нас. Он запомнился на всю жизнь. Я и сейчас, через полстолетия, узнаю его изо всех — этот тюремный кислый и острый тряпичный дух. Дух нищеты и неволи.

* * *

Моим соседом по нарам оказался польский ксендз пан Феликс, напомнивший мне выведенных во французских романах прошлого века деревенских кюре — мягких в обращении, благожелательных и опрятных. Он выслушивал собеседников учтиво, ответы свои взвешивал. Очень заботился о чистоте сутаны — она у него сильно обносилась, кое-где порвалась, но пятен на ней не было Выговаривал русские слова пан Феликс правильно, но подбирал их медленно и часто заменял польскими. Познаний моих в латыни было недостаточно, чтобы перейти на язык Тацита, но к французскому мы оба прибегали охотно, хотя патер невесело шутил, что ему необходимо упражняться по-русски, так как впереди — неизбежная отправка «во глубину России».

Образованный, как все католические священники, пан Феликс был интересным собеседником. Но, пускаясь с ним в длительные рассуждения, я всегда был настороже. в моем эрудированном друге болезненно кровоточили обиды, нанесенные некогда национальному самолюбию поляков рус-

скими монархами. Я опасался неосторожным словом их разбередить. Тем более что современные преследования поляков в Западном крае заставляли меня чувствовать себя отчасти «ненавистным москалем», угнетателем и душителем его народа. Хотя мне и незачем было, находясь с ним на одних нарах, отмежевываться от новых «жандармов», опустошавших цвет польской интеллигенции и духовенства. С прошлым же обстояло сложнее.

Однажды в разговоре я упомянул о тетке своей, урожденной Новосильцовой — фамилии столь же одиозной для поляков, как и Муравьев. И убедился, насколько — более, чем через полвека! — свежи воспоминания о карателях. Следы их грубых сапог навсегда оттиснуты в народной памяти. Забываются подробности, точные факты, но общее ощущение недоверия, опасливого неприятия, неуважения к потомку насильников сохраняется. Пан Феликс заметно волновался, задетый за живое случайным упоминанием фамилии сподвижника Муравьева-Вешателя, неотделимо слитой со штурмом Варшавы, с казаками, разведенными на постой по усадьбам польских панов... Очень много лет спустя я встретил венгра, с гневным презрением и неостывшей ненавистью поминавшего Николая I, душителя венгерского восстания 1848 года...

И я не уточнял своего отношения к романам Сенкевича, пан Феликс придерживался того же в разговорах о Пушкине. Любое прикосновение к прошлому вело к пороховому погребу взаимных претензий и соперничеств, способному взорваться и повести к разрыву. Я же ценил возникшую взаимную симпатию и наши хоть и хрупкие, но искренние отношения, основанные на одинаковости нравственных критериев.

Пан Феликс был перепуган, оскорблен и глубоко несчастен. Так и чувствовалась его привычка к одиноким медитациям, к размеренному обиходу в скромных стенах дома при костеле и к безграничному уважению прихожан. Мог ли он когда представить себя в общей камере, среди грязи и матюгов, среди людей чуждых и страшных! Хождение в уборную «соборне» оставалось для него пыткой... Он заливался румянцем, стыдясь под чужими взглядами справлять нужду. А много ли находилось народу, достаточно милосердного, чтобы отвести глаза от пана Феликса, наконец решившегося забраться с подобранными полами сутаны на толчок! А тут еще надзиратель с порога уборной поносит «бар», не умеющих оправиться по-солдатски...

Бедный, бедный пан Феликс! Как ни был он сдержан, в его рассказах прорывалась тоска по канувшим бестревожным дням, по выхаживаемым им цветам, украшавшим убранные комнаты и запрестольный образ Мадонны в алтаре. Как беспомощен был этот старый холостяк, живший в оранжерейной обстановке, созданной заботами служанки, наизусть знавшей его вкусы, слабости, привычки! Пан Феликс не ведал сомнений — он искренне и безраздельно исповедовал свою веру, знал, что жизнь его в руках Божиих. И это авось да и помогло ему перенести лютое мучительство, доставшееся на его долю перед концом.

...Что за тоскливые, трудные воспоминания! И даже страшно, что я не могу с уверенностью назвать фамилию пана Феликса: Любчинский ли, Любчевский... не помню уже! Так стирается бесследно память об отцах Иоаннах, панах Феликсах... О тысячах подобных подвижников. Хотя именно они не дают угаснуть огоньку, еще не окончательно поглощенному потемками...

Чтобы отключиться от чадной обстановки, не слышать дежурных грязных анекдотов и похабщины, полнящих досуги обитателей камеры, пан Феликс учит меня польскому языку. Я скоро начинаю сносно читать, улавливаю смысл: это нехитро для русского, знающего латынь. И мой учитель умиленно внимает классическим периодам прозы Сахновского или Ожешко. В тюремной библиотеке отличная коллекция старых польских книг — память о прошедших через Бутырку партиях польских повстанцев, ссылаемых в Сибирь.

Пан Феликс нередко меня прерывает, чтобы поправить произношение, но чаще, чтобы повторить какой-нибудь пассаж, подчеркнуть музыкальность и благозвучие родного языка. Не удерживается, декламирует Словацкого, увлекается.

— Впрочем,— спохватывается он,— и в русском языке есть очень красивые слова. Например, «спаситель»,— и, воздав таким образом дань моим чувствам россиянина, продолжает читать дальше.

Теснота, праздность, подспудно гложущая каждого тревога за свою судьбу... Раз нечем заняться, всякий ищет, чем развлечься. А скудность возможностей родит раздражение против тех, кто ухитрился устраниться — живет или делает вид, что живет какими-то своими интересами, отгораживающими от тюремных будней. Не каждый способен

углубиться в книгу,— и вид уткнувшегося в нее человека вызывает у бесцельно слоняющихся по камере беспокойство, зуд. И хочется помешать, затащить книгочея в общий круг. Авось легче станет, когда все до единого будут так же нудно ждать прогулки ли, бачков с баландой, вызова к врачу — одной из тех вех, какими метится нестерпимо длинный день.

Мимолетное раздражение и досада на счастливца, умеющего заполнить свое время, перерастает в зависть. А она непременно ведет за собой целый хоровод «добрых» чувств: озлобление, желание травить отгородившегося, карать за попытку выделиться из стада. И вспыхивают перебранки и ссоры, дикие выходки с вырыванием книги, расшвыриванием фигур с шахматной доски, а то и драки.

— Пше прошем, пшедошем, вшистко, пшистко, пан, дзинкую бардзо! Как насчет паненок, пан ксендз? — забубнил около нас, кривляясь, один из самых скучливых и непоседливых сокамерников, некто Загурский, немолодой одессит, привезенный в Москву на доследование по какому-то запутанному таможенному делу. Он явно намеревался высечь хоть подобие развлечения из задирания пана Феликса.

Сам Загурский, если не лежал на досках, уставившись в одну точку, неприкаянно бродил промеж всех, дразня и приставая — впрочем, расчетливо, чтобы не нарваться на резкий отпор. Книгу в руки он не брал никогда.

— Перестань-ка, Илья Маркович! Пан Феликс занят со мной, ему некогда. Иди-ка лучше полежи перед прогулкой,— обратился я к нему миролюбиво, но твердо.

И Загурский, пробормотав еще что-то и для престижа постояв около нас, отошел. Всполошившийся пан Феликс дрожащими руками листал книгу, ища потерянную страницу.

* * *

По утрам ругань и ссоры возникают по всякому поводу. Зато под вечер ослабевает напряженность ожидания возможных бед и подвохов, всегда караулящих подследственных, на три четверти — случайных фигурок в крупной политической игре. И все становятся спокойнее. Даже ищут дружелюбного общения.

Вызовы после поверки случаются редко. Увозимых на ночные допросы уже отправили — это делается заблаговре-

менно. Возвратились и побывавшие у следователей — взъерошенные, на грани истерики или пришибленные и опустошенные. Улеглось всегдашнее волнение, вызываемое поступлением передач: кто-то еще размягченно переживает заботы домашних или друзей, кто, наоборот, еще глубже погрузился в свою заброшенность. Обычное «отчисление» в пользу «беспередаточных» (отголоски артельных порядков политических в царских тюрьмах, быстро заглохшие в советских) давно распределено и съедено. Продолжают, отвернувшись от всех, оберегать свою взволнованность после встречи с родными редкие счастливцы, получившие свидание.

В этот сравнительно тихий промежуток времени до отбоя можно услышать серьезный разговор о себе, исповедь, непроизвольную жалобу... Словно и сквозь старые тюремные стены проникают мягкость и задушевность вечерних часов. Впереди — почти полсуток тишины и успокоенности: за тобой не придут, никуда не поволокут. Спи, покуда снова не зашевелится всеми сочленениями отлаженная тюремная машина.

Повезло Якову Ивановичу Бутовичу. В камере появился высокий массивный человек в черной, военного покроя гимнастерке. В такие облачаются крупные «спецы» в рангах консультантов при наркомах и их заместителях. Им не доверяют, но одновременно за ними ухаживают и их ублажают. Это — старые специалисты и интеллигенты. У этих людей выработалась особая манера держаться: сознавая себя советскими сановниками — и ущемленными бывшими одновременно, они осмотрительны. И то чрезмерно выпячивают свою прошлую барственность, то, чтобы за нее не потерпеть, вовсю подделываются под преданных слуг режима.

Помещенный к нам Крымзенков — кажется, Константин Иванович? — оказался одним из главных консультантов Наркомзема, как раз по коневодству. Он отлично знал Якова Ивановича и не скрывал своего восхищения перед ним. «Лучший знаток орловского рысака в России, он вывел достойного преемника бессмертного Крепыша — знаменитого Ловчего, слава которого облетела все ипподромы мира!» — так несколько торжественно аттестовал он Бутовича. Сам же Крымзенков был всего лишь сыном очень состоятельных родителей, с ранних лет пристрастившимся к лошадям. Он обладал удивительным талантом — угадывать в любой лошади текущие в ней крови, за что и был высоко ценим

отечественными коннозаводчиками, прибегавшими к его советам при отборе производителя.

Необщительный Яков Иванович с Крымзенковым беседовал часами. Они словно не могли наговориться, перебирая и сопоставляя тысячи вариантов скрещивания линий, способных дать новых рекордистов. Генеалогию русских рысаков оба знали по восходящей вплоть до Сметанки графа Орлова. Углубившись в ее сплетения, собеседники покидали тюрьму и кочевали по прославленным конным заводам России. При этом Бутович поправлял Крымзенкова всякий раз, что тот упоминал их новые названия вместо старых: «Вы хотели сказать завод «Телегиных», «Лежнева» или «Коншиных».

Любителям внимать чужим разговорам скоро наскучивали рассуждения о статях и резвости рысаков с героическими кличками, и они уходили. Кознетворцы же не рисковали задевать: Крымзенков — широкоплечий и крепкий, с пудовыми кулаками, да и манера Якова Ивановича расхолаживала нахалов.

— Принеси-ка мне чаю,— спокойно, с уверенностью в своем праве распоряжаться сказал он как-то Ваське Шалавому, распущенному карманнику, вздумавшему приступить к нему с остротами. Вор, всем на удивление, отправился к чайнику нацедить кружку.— Спасибо, голубчик,— поблагодарил Бутович, принимая из его рук чай, точно и не ждал, чтобы его поручения не выполнили.

В Бутовиче были все приметы русского барства: вежливость, исключавшая и тень фамильярности; сознание собственного достоинства и даже исключительности, при достаточно скромной манере держаться; благосклонность, с еле проступающим оттенком снисходительности; забота о внешнем благообразии и — вскормленное вековыми привычками себялюбие. До чего простодушно Яков Иванович не спохватывался, что опустошил скромные запасы простака, вздумавшего угостить его домашним печеньем и неосторожно развернувшего перед ним весь кулек! Как искренне не замечал, что, располагаясь на нарах, беспощадно теснит деликатного соседа, придавленного его генеральским задом!..

Мой пан Феликс, всю жизнь укладывающийся после Angelus'a[1], и тут ложится после поверки. Перед этим он, отвернувшись ото всех, долго стоит в углу на коленях — мы занимали с ним крайние места на нарах у окна — и читает

[1] Вечерняя молитва *(лат.)*.

про себя все полагающиеся молитвы на сон грядущий. Уже просветленный ими, желает мне спокойной ночи и засыпает сразу. А во сне тихонько посапывает и чмокает губами...

После перевода в Бутырку я был очень скоро выбран своими сокамерниками старостой. Это накладывало кое-какие обязанности и наделяло известной властью, сопровождаемой, как водится, привилегиями.

Я разбирал конфликты, назначал дежурных уборщиков, принимал новичков и отводил им место на нарах. И — самое главное — служил посредником между коридорным начальством и нашей братией. То есть между двумя враждебными станами, ведущими непрекращающуюся глухую войну. Мы отстаивали свои мифические права, там придерживались тактики держания нас в страхе и превентивных мер. Мне кричали в глазок: «Староста, почему шум после отбоя?», «Староста! Захотел в карцер? Кто у тебя записку во двор кинул?». Или: «Еще раз увижу, что у тебя в карты играют, не миновать тебе отсидки!»... Я стучал в дверь, требовал пятнадцати минут прогулки, взять в стационар припадочного. Доказывал, что ни карт, ни шума, ни драки не было. Эти перепалки с надзирателями сильно укрепляли мой авторитет.

Перед сном я этаким осматривающим свои владения хозяином прохаживался по камере — низкому сводчатому помещению шагов в двадцать длиной. Сплошные нары, разделенные проходом шириной в два шага, настелены по прежним царским подъемным койкам. Этих коек двенадцать, нас же наталкивали в камеру около пятидесяти человек. В горячие дни скапливалось и до семидесяти. И тогда последующий отлив до «нормы» был как облегчение. Словно мы снова начинали дышать свободнее.

Некоторое время в нашей камере находился худой и невзрачный человек лет двадцати шести, одетый в дорогой, но сильно потертый костюм. Его перевели сюда из внутренней тюрьмы, где он провел более трех месяцев. Следствие по его делу было закончено.

К концу дня он сникал. Неподвижный и сосредоточенный, сидел на краю нар. Чем позднее становилось, тем более проступала его напряженность. И когда как-то среди ночи всех разбудили крики и шум борьбы в коридоре — кого-то, как объяснил бывалый уголовник, повели на расстрел,— с ним случился обморок.

Я чувствовал, что он ищет, кому рассказать о себе и своих, очевидно нелегких, переживаниях. И однажды, в зак-

лючительную свою инспекционную прогулку по камере, заговорил с ним. Услышал я рассказ тягостный и поучительный...

На разные лады рисовались людям возможности, открывшиеся перед ними на просторе, усеянном обломками разрушенного мира: созидай себе новый на освободившемся месте! Кто простодушно уверовал в свою миссию устроителя земного рая; кому мерещилась свобода, расковавшая угнетенный разум, расцвет духовных сил человека. Иной видел наступление сроков расчета за вековые обиды, День отмщения, перешедшего из рук Провидения в человеческие; тот возликовал, полагая, что дорвался до вожделенных благ, даваемых властью и безнаказанностью...

Леву революция застала старшеклассником городского училища в одной из западных губерний. С отменой черты оседлости его семья переселилась в Москву. Однако он не стал завершать образования, полагая, что познал достаточно для осуществления давно занимавших его мечтаний. «Иные мрежи его уловляли...» Шестнадцатилетний подросток сделался завсегдатаем черной биржи, свел знакомства в банках. И в короткие сроки объединил вокруг себя группу, или, называя вещи своими именами, шайку лиц со служебным положением, позволявшим проводить крупные финансовые операции, приносившие всем участникам баснословные доходы. Мне теперь не вспомнить, в чем заключались эти махинации, но я никак не забуду поразившую меня их элементарную простоту. Можно было изымать из кредитных учреждений солидные суммы так, что никакие ревизии не могли обнаружить подлога.

Я имел перед собой несомненного финансового гения. Он еще на школьной скамье усмотрел в непроницаемой броне государственной валютной системы щели и лазейки, где не срабатывали никакие контроли. Правда, то было время расцвета нэпа, зарождения торгсинов, валютной биржи и двойного курса денег, но все же казалось невероятным, чтобы недоучившийся подросток придумал, как отвести себе из потока государственных сумм полновесную струю. Да так, что и поймать было нельзя. Мой потенциальный Фуггер или Ротшильд говорил, правда, что его «система» была как раз рассчитана на сложность громоздкого учета, основанного на категорическом отказе от доверия кому-либо и именно поэтому обладавшего множеством изъянов.

— Раньше, когда государственный банк под честное слово артельщика или маклера отпускал стотысячные суммы,

мне бы это дело не удалось,— признавался он.— Прежнее доверие лучше преграждало путь злоупотреблениям, чем сейчас горы запутанных бухгалтерских документов... Ах, если бы не этот случай!

Имел он в виду поимку на границе одного из своих сообщников. Тот решил бежать с чемоданом денег за рубеж, пока не грянет гроза, которую он, по поговорке «сколько веревочка ни вьется...», считал неизбежной. Пришлось расколоться: более ста тысяч в золоте и долларах — улика чересчур весомая. Замять дело на ранней стадии не удалось. Как объяснял Лева, беглец торговался и упустил момент: надо было сразу поступиться девятью десятыми суммы — и его бы отпустили!

Тут Лева, вероятно, ошибался. Дело было слишком крупным, чтобы отделаться взяткой. Оно затрагивало центральные финансовые органы и буквально потрясло руководителей: Лева рассказывал, что во время следствия к нему приезжали крупные чины из Наркомфина, банковские деятели и, почесывая затылок, выслушивали его объяснения. Как бы ни было, великий финансист остался неразоблаченным: его предали.

Теперь он думал о развязке. Неизбежной, не оставляющей места надежде. И все существо его протестовало.

Лева знал, что, ведя крупную и дерзкую игру, рискует головой. Но только сейчас, когда была позади изнурительная схватка со следователями, когда остыл накал борьбы и незанятому воображению представлялся неминуемый конец, в нем разливался ужас. К ночи он подступал вплотную, брал за горло. И чтобы заглушить его, Лева искал слов ободрения, в какие бы мог на мгновение поверить, собеседника, который бы отвлек от прислушивания к тому, что происходит в коридоре.

Прижавшись ко мне, точно ища укрытия, Лева говорил вполголоса, сбивчиво и торопливо. Его сотрясала дрожь. Он не мог справиться с прыгающими губами и смолкал. Ожидание вызова на казнь, подробности которой он узнал в тюрьме, не отпускало Лёву, не давало забыться в разговоре. Я обнимал его за плечи, старался уверить, что крупные хищения не непременно ведут на эшафот; говорил, что его могут простить, чтобы воспользоваться необычными его способностями, направив их уже на пользу государства. Но слушал он плохо. Его занимала только тишина за дверью камеры.

Я оставлял его и шел на свое место. Долго не засыпал. Что-то от страхов этого пойманного мошенника передавалось и мне. Приготовленность к возможности быть приговоренным к «вышке» жила в те времена в любом человеке, трезво оценивающем принципы «диктатуры пролетариата», утвердившие законность террора, уничтожение заложников, массовых казней. Да и участь Левы терзала воображение, пусть он своими руками себе ее уготовил. Он не был стяжателем. Деньги сами по себе его не занимали. У него было их намного меньше, чем у сообщников: он их расшвыривал и раздаривал. У Левы не было вкуса к тратам и приобретательству. Это был игрок. Азартный, способный зарваться, черпавший упоение в риске. Быть может, испытывавший гордость создателя головокружительных, неуязвимых благодаря строгой логике построений комбинаций, наслаждавшийся вдобавок сознанием единоборства с махиной целого государства...

Я все взглядывал на жалкую фигурку сокрушенного игрока, продолжавшего маячить над распростертыми, накрытыми всякой одеждой спящими. Лева не решался лечь и был глух к окрикам надзирателя. Он ждал...

Его вскоре увели. Однако милостиво: днем. Именно это обстоятельство Леву на миг обнадежило. Он сравнительно спокойно собрался и нашел в себе силы подойти проститься. Я пожал его горячую, влажную руку, избегая смотреть в побелевшее лицо...

Глава вторая

Я СТРАНСТВУЮ

Общая камера не меньше одиночного заключения приучает уходить в себя, в свой воображаемый мир. Туда погружаешься так глубоко, что начинаешь жить вымышленной жизнью. Отключившись от окружающего, рассудком и сердцем переживаешь приключения, уже не подвластные твоей воле. Это род сновидений, но без их нелепостей и провалов, и, как они, бесплодных.

И все же это — чудесное свойство. Для заключенного — дар Провидения. Воображай себе невозбранно — солнечный мирный край, ласковое море, музыку; стол, за которым дорогие для тебя лица; или трибуну, откуда кто-то — может

быть, ты — неопровержимо доказывает гибельность злых путей... Можно пережить целый роман...

Быв потревоженным и возвращенным к действительности, я спешил вернуться к порванной цепочке грез. И вновь оживали знакомые лица, прерванные отлучкой разговоры, общения, милые сцены...

И когда позади уже накопилось много тюрем, пересылок, лагерных землянок и бараков, я умел покидать их в любое время — среди камерного неспокойства, на тюремном дворе, у костра на лесосеке. Я переставал видеть то, что было перед глазами, слышать шум и уходил в свои вольные пределы. Нередко сочинял длинные обращения к человечеству — мне казалось, с каждым годом я могу сказать нечто все более серьезное и нужное, почерпнутое из познанной изнанки жизни. Я бился над рифмами, низал строки статей.

Со временем все меньше заглядывал в будущее, а обращался к воспоминаниям. Прокручивал ленту назад, по примеру Аверченко, задерживаясь на отдельных вехах.

В те четыре или пять месяцев, что я провел в Бутырской тюрьме в двадцать восьмом году — сначала в камере, потом в больничной палате с ее целительной тишиной, покоем и малолюдством,— меня более всего занимал первый год революции, начало его, за которое успело проклюнуться и навсегда угаснуть столько надежд.

* * *

1917 год. Весна. Я готовлюсь поступать в университет, и ничто не занимает меня более записок Цезаря: «Gallia est omnis divisa in partes tres»[1] да еще выучиваемых, зазубриваемых наизусть «Метаморфоз» Овидия. Я до сих пор могу отбарабанить, уже не помня смысла иных слов: «In nova fert animus mutatas dicere formas...»[2]

Ежедневно погружаюсь в дебри латинской грамматики с приходящим ко мне репетитором, неулыбчивым и строгим. Он в неизменной черной паре с высоким тугим крахмальным воротничком. От него исходит какой-то стойкий запах, не вполне подавленный ароматом бриолина, щедро умастившего его гладко зачесанные прямые волосы. Мой респекта-

---

[1] «Галлия поделена на три части» *(лат.)*.

[2] «Я расскажу о воплощении в новые формы...» *(лат.)*

бельный ментор заканчивает Духовную академию и всеми помыслами принадлежит теологии. Но латынь любит истово. И декламирует без конца римских поэтов, восторгаясь «медными звуками».

Будущий богослов и меня заразил своим преклонением перед языком «высокой классики». Я с разгона учил и запоминал много больше требовавшегося по программе. Торжественные периоды Цицероновых обличений и заклинания Катона Старшего заслоняли занятия в Тенишевском училище, последний, шестнадцатый семестр которого я заканчивал. Учился-то я всегда без особого рвения — разве по легко дававшимся мне языкам и истории добывал хорошие отметки,— тут же вовсе остыл к наукам, далеким героических образов Древнего Рима.

Впрочем, порядка и строгостей уже не было и в стенах моего модного училища. За считанные недели оказались расшатанными и рушились школьные устои. Мы, старшеклассники, приохочивались митинговать, шлялись по городу, на глазах утрачивавшему столичные чин и строй. Резко обозначилось и размежевание по сословным симпатиям: тогда еще только возникали представления о классовой розни. Мы, школьники, как-то инстинктивно, самотеком распадались на группки, еще не враждебно, но уже настороженно относившиеся друг к другу.

Тошнее всех приходилось монархистам. После трех отречений, оставивших трон пустым, они утратили почву. Мне, прочитавшему гору мемуаров роялистов и знавшему назубок «Жирондистов» Ламартина, мерещились преданность низвергнутой династии, растоптанные белые лилии, строки гимна: «O Richard, ô mon roi, l'univrs t'abandonne...»[1] Однако подлинные события возвращали на землю — царь и его брат отступились, сложили оружие, не попытались спасти монархию: не смешно ли было поддерживать в себе настроения шуанов?

Хотя все симпатии мои принадлежали идее императорской России, я стал прислушиваться к тому, что исповедовали сторонники ее преобразования в государство, управляемое парламентом, с выборами, всеми свободами, гласностью — полным набором атрибутов демократического правления: не то в республику по французскому образцу, не то в конституционную монархию на аглицкий манер.

Но я был в возрасте, когда почитаешь политику и

---

[1] «О Ричард, мой король! Все тебя покидают!» *(франц.)*.

разговоры о ней достоянием взрослых. У меня, помимо латыни, была пропасть своих забот и интересов. И не было чувства причастности, и тем более ответственности, за происходящие события...

Тем не менее я старался не пропускать вечеров в гостиной родителей, где со времени февральской революции постоянно бывал давнишний друг моего отца Иван Федорович Половцов, волею случая оказавшийся в самой гуще политических страстей. Он был депутатом Государственной Думы. Иначе говоря, в числе тех, кто взялся довести корабль российской государственности до Учредительного собрания — мерещившейся впереди благословенной пристани, где все наладится и устроится на новую череду столетий.

И хотя сам Иван Федорович, можно сказать, лишь носил звание депутата — он принадлежал не к выборным, а назначенным правительством членам Думы и, числясь во фракции октябристов, никогда не поднимался на трибуну, не произносил ни охранительных, ни взрывных речей, а входил в какие-то комиссии и подкомиссии,— сияние его корпорации, олицетворявшей в те поры чаяния россиян, распространялось и на него. Мы слушали Ивана Федоровича как оракула. Этот остроумный светский человек, чувствовавший себя дома в Париже, переведший «Сирано де Бержерака» своего друга Ростана, умел прекрасно рассказать салонный анекдот про Керенского, красочно описать перепалки в Таврическом дворце, конфиденциально сообщить о готовящихся серьезных мерах против подрывных элементов, подкупленных Германией.

В элегантном сюртуке с шелковыми отворотами, скрадывавшем неказистость его фигурки, он стоял у черного, отделанного бронзой и инкрустацией стола — такие называли тогда дворцовыми — с чашечкой послеобеденного кофе в руке и, чувствуя себя в центре внимания, с видимым удовольствием занимал общество.

В гостиной были в моде исторические аналогии.

— Итак, mon cher député,— спрашивала моя мать с живым интересом,— notre Kerensky, n'est-il pas un véritable tribun, le Danton de notre révolution?

— Pourvu, madame, qu'elle n'engendre pas un nouveau Robespierre...[1]

---

[1] Дорогой депутат, не подлинный ли трибун наш Керенский, Дантон нашей революции?

— Лишь бы, сударыня, она не породила нового Робеспьера... *(франц.)*

Но сквозь эту изящную салонную болтовню и милые сердцу русских офранцуженных дворян аналогии нет-нет и прорывалась озабоченность, растерянность. Пугали развал армии, расправы с офицерами. Тут — это уже понималось — никакими чудесами красноречия и историческими сравнениями не поможешь: из глубин, из низов, поднималось страшное, будившее память о пережитом прадедами. И это страшное было на руку резко и вызывающе объявившей о себе кучке отчаянных радикалов с программой, не принимаемой — увы! — всерьез теми, кто тогда управлял Россией, зато звучавшей благовестом пришедшему в движение народу.

Отец мой был в то время директором правления крупнейшего Русско-Балтийского завода, выполнявшего военные заказы. Лишь ненадолго появлялся он в гостиной из своего кабинета, где работал допоздна. Сведения отца, почерпнутые из накаленного заводского котла, докладов промышленных контрагентов, встреч в деловых и банковских кругах, из увиденного на фронте — он более года ездил с санитарными поездами Земского союза,— мало походили на приносимые Половцовым с думской трибуны.

— Большевики не сидят сложа руки,— озабоченно говорил отец,— агитируют... Среди рабочих и в армии их влияние растет, и это благодаря провозглашаемым ими совершенно невыполнимым, но таким заманчивым обещаниям! Только малограмотный народ можно тешить ими: «Полная национализация фабрик и заводов», «Вся земля — мужикам», «Немедленный мир с Германией»... От таких слов, как от вина, кружится голова. Вот их и слушают. Народ смертельно устал от войны. Он готов идти за любым, кто посулит немедленную перемену. Все это плоды невежества... Поди втолкуй, что эти громкие заявления — демагогия, пустые фразы, расставляемая простонародью ловушка... Надо бы, что ли,— обращался он к Ивану Федоровичу,— чтобы Дума организовала комитет по контрпропаганде, где бы разъяснялись патриотические цели войны, говорилось о реформах и преобразованиях, какие утвердит Учредительное собрание...

К впечатлениям от этих разговоров прибавлялись и непосредственные, полученные вне дома.

Однажды машина отца, в которой его шофер отвозил меня с каким-то поручением, оказалась затертой в толпе на узкой набережной Фонтанки. Остановившийся лимузин с двух сторон обтекал плотный поток демонстрантов — рабо-

чие куртки, шинели, редкие пальто. Чуть приглушенные зыбкой преградой стенок машины людской ропот, возгласы и крики доносились, как всплески враждебной стихии. В стекла то и дело заглядывали, пригнувшись. Вид скромно сидящего и несомненно напуганного подростка разочаровывал, вызывал досаду: не на ком отыграться! Хотя угрозы «вытряхнуть щенка с мягких подушек» или «спустить поплавать в речку» звучали более озорно, чем злобно, страху я, что и говорить, натерпелся. Да и шофер сидел в своей дохе ни жив ни мертв.

А в ранний утренний час в пустынном парке на Крестовском острове возле дворца я видел, как матросы охотились на человека. Как на дичь...

Человек в разорванной морской тужурке, с непокрытой головой и залитым кровью лицом, задыхаясь, бежал рывками. Едва он исчез за деревьями, как послышались крики погони, топот. По его следу, тоже из последних сил, бежало пять или шесть матросов. «Утек, гад, утек!» — чуть не плакал высокий, с побелевшим лицом и стеклянными глазами. Срывающийся, отчаянный голос его был по-бабьи тонок. «Никуда не денется,— хрипло басил другой,— пымаем!» Он увязчиво трусил сзади, коротконогий и лохматый, в одной тельняшке, с наганом, который почему-то держал за ствол...

Из каждого булыжника петроградских мостовых прорастала ненависть. Все поры замутившейся жизни источали злобу.

* * *

...Нет, он не казался мне дьяволом-искусителем, этот старик с остатками седых волос на крупной голове, горбатым носом, несколько выдающейся нижней губой и с лежащими на воротничке складками дряблой кожи. Он приезжал к моему отцу и снова и снова уговаривал его подумать о себе, о будущем семьи и перевести — пока возможно! — деньги за границу. Будучи много старше отца, банкир Шклявер считал, что обязан предостеречь его от «опасных заблуждений молодости».

Был Шклявер одним из главных акционеров и распорядителей «Русско-английского банка», а отец — членом его правления. Служебные их отношения — банкир очень ценил деловые качества моего отца — давно перешли в дружественные. Мы были знакомы домами. Мать моя обменивалась визитами с женой банкира, нестарой веселой француженкой, забавно произносившей русские слова. Все попытки

объясняться на нашем языке она со смехом бросала, чтобы картаво затараторить на своем. Мать к ней благоволила.

...Маленький и круглый, в просторном смокинге старомодного покроя, Шклявер семенил по кабинету отца, заложив за спину короткие руки.

— Отрешитесь от иллюзий, дорогой Василий Александрович,— убеждал он его.— Россию я люблю не меньше вашего, хотя вы родились в древнем русском городе, а я в местечке Могилевской губернии! Она дала мне положение, деньги, дружбу благороднейших русских людей — все, что у меня есть...— Шклявер говорил спокойно, несколько глухим голосом, вдруг останавливаясь, чтобы пристально взглянуть на отца.— Но, мой милый идеалист, той России, какую вы надеетесь увидеть, не будет и через триста лет: народ не способен управлять своей судьбой. Он выучен только слушаться тех, кто присвоит себе право ею распоряжаться, не спрашивая о согласии; кто обходится с ним круто. И ни за что не поверит вчерашним господам, вдруг заговорившим обходительно. Что-то хитрят баре, скажет он. Царя, мол, спихнули, чтобы прибрать все себе...

В этом старом, искушенном банкире чувствовалась незаурядная умудренность, опыт много видевшего и вдумывающегося в жизнь человека. Отец слушал внимательно, однако — это улавливалось — не хотел поступаться своими оценками. Опытный Шклявер относил их к разряду иллюзий и продолжал настаивать:

— Я не политик. Я всего-навсего присяжный поверенный, имевший всю жизнь дело с людьми, доверявшими мне свои деньги. И потому не берусь предсказывать, что будет с государством. Зато судьбу рубля предвижу точно: через месяц-другой он не будет стоить и бумажки, на какой напечатан. За границей мы пока пользуемся доверием. Но это ненадолго. Деловые люди — народ трезвый и скоро раскусят, как быстро надвигается на Россию деловое банкротство. Курс рубля еще кое-как держится — это чудо. Есть социалисты, Альбер Тома, Ллойд Джордж... Они верят Керенскому, пока в его кабинете остаются известные на Западе фигуры... Если вы сегодня не разрешите перевести ваши вклады нашим партнерам в Англии, я не поручусь, что завтра буду в состоянии это сделать. Хотите ехать вместе? Мы уезжаем через две недели в Париж — сын закончит образование в Сорбонне, и вы поместите туда своих детей... или в Оксфорд. Решайтесь! Дорогой Василий Александрович, мы с вами не можем рисковать — у нас семьи. А в

России разгорается пожар, рядом с которым пугачевщина, жакерии, девяносто третий год будут выглядеть пустяшными волнениями... Да, да, он тем более страшен, что его будут раздувать извне силы, враждебные России, поверьте старому другу. Хотите, я закажу для вас заграничные паспорта и билеты в одном поезде с нами? Мы едем через Або..

О, эти магические названия! Сорбонна, Оксфорд... Если дедам мерещились Гейдельберг и Иена, то для многих из нас именно Сорбонна и Оксфорд воплощали вершины мыслимой учености. Я готовился поступить на факультет восточных языков, открывавший путь к дипломатической карьере. Знаменитые средневековые колледжи Оксфордского университета, где уже не первое столетие изучают языки Востока, рисовались мне прочной ступенью для блестящих успехов на избранном поприще: не английские ли дипломаты — образец выдержки, такта и деловитости в глазах всех прочих наций? И потом — путешествие, жизнь в незнакомой стране (разумеется — временная!), лучшие теннисные корты в мире... И я уже видел себя в традиционной мантии и шапочке, разгуливающим под сводами аудиторий и галерей одного из оксфордских колледжей.

Однако отец и слышать не хотел ни о каких отъездах — даже «временных», как рисовалось тогда. Не то чтобы он оставался глух к предупреждениям Шклявера или сам не видел бессилия умеренных политиков спасти Россию от крушения, каким ему представлялся переход власти в руки крайних партий. Но крысы, покидающие обреченный корабль,— образ для русского интеллигента неприемлемый... Допустимо ли оставлять родину в беде?.. Были, кроме того, смутные упования на какие-то непредвиденные благоприятные обстоятельства — «авось да все образуется», несомненное предубеждение к жизни эмигранта, боязнь лишиться родных стен, милой русской земли... Словом, целая цепь причин и обстоятельств, делавших для отца расставание с Россией невозможным.

— Как это переводить деньги иностранным банкам? Государственный долг России и без того огромен,— убеждал он не столько меня с братом, приступившим к нему с просьбой отправить нас учиться в Англию, как самого себя.— Мы русские или нет? Недалек конец войны. А тогда сам собой устроится порядок. Смешным покажется, что из-за каких-то демагогов вроде Троцкого мы поддались панике. Эти агитаторы и понятия не имеют о России! Жили себе за границей,

высасывая из пальца теории, а русского народа и в глаза не видели. Да и все их схемы еще Достоевский развенчал... Ах, Боже мой, если бы мы были чуть более образованными! Тогда понимали бы, как опасна для народа эта социальная демагогия... Ну что они могут дать России? Гражданскую междоусобицу, анархию, тиранию и — реки крови... А в результате тот же мужик будет расплачиваться за все эксперименты... Нет, нет, нельзя удирать, нельзя допустить, чтобы авантюристы обманули народ.

Это настроение в отце поддерживали вести из деревни: приказчик отписывал, что дом к приезду подготовлен, весенние работы в огородах и оранжерее идут своим чередом... Все-де благополучно и спокойно. И было решено: семья — мать с младшими детьми — отбудет в положенное время, в середине мая, в деревню. Мы же с братом — моим близнецом — поедем вслед за ними после экзаменов. И мы перестали думать об Англии.

Еще несколько ранее, в марте, для нас открылось новое поприще — весьма привлекательное в семнадцать лет. Несколько недель мы выполняли обязанности городовых, а кто постарше — околоточных, в рядах новоявленной милиции, заменившей разогнанных чинов полиции. Юнцам — старшеклассникам и студентам — импонировала роль увешанных оружием всамделишных стражей города, властных остановить прохожего, проверить постояльцев в номерах, обыскать трактир, заподозренный в торговле запрещенными спиртными напитками.

В моей семье, исповедовавшей добротный российский либерализм, это служение новым порядкам рассматривалось как выполнение патриотического долга и укрепление законности, преграждающее путь анархии и беспорядкам. Однако наши рассказы о ночных похождениях чрезвычайно смущали мать: какая опасность для нравственности от соприкосновения со всякими вертепами и их обитательницами! И быстро сдавшийся отец предложил нам вернуться к нашим прямым обязанностям: я вновь углубился в латинские склонения, брат Всеволод зачастил в студию Рериха. Он надеялся осенью поступить в Академию художеств.

* * *

После отъезда семьи в квартире сделалось очень тихо и пустынно. Отец уезжал с утра и чаще всего давал знать, что не вернется к обеду. Всеволод, решив воспользоваться

отсутствием докучного домашнего надзора, порхал по знакомым, участвовал в не совсем праведных загородных прогулках: еще не приобщившись к миру богемы, стал заранее познавать ее нравы. Его дела в студии, кстати, шли отлично. Он уже считал себя питомцем академии. Надолго исчезали из дома пожилая наша кухарка и шустрая горничная. Очереди у булочных — хороший предлог для отлучек. Неубранные пыльные улицы Петрограда в начале этого лета стали подлинным клубом, где праздная за отъездом господ прислуга, отмененные дворники и пропасть досужего люда на все лады толковали и перетолковывали вороха новостей и слухов, щедро изливавшихся на столицу.

Я был настроен серьезнее брата (его вдохновляли натурщицы, меня — доблести римских консулов) и усидчиво занимался за своим столом или рылся в шкафах отцовской библиотеки. Изредка гулкую тишину квартиры нарушало пронзительное дребезжание телефона — тогдашние аппараты трещали на манер старинных будильников. Звонили знакомые и родственники — все сообщали об отъезде. «Передай маме или папе, что мы уезжаем туда-то тогда-то...» Вечером я докладывал отцу: Ефремовы или Игнатьевы просили дать им знать в Новочеркасск, когда и куда мы соберемся; снова звонили от бабушки — она все же решилась переехать «на время» к младшей дочери в Орел; такие-то обнимают и надеются на скорую встречу в Париже... Начинался великий исход российской интеллигенции за рубежи ощетинившейся угрозами отчизны...

Отец, и без того расстроенный и утомленный — заводы замирали и администрация была бессильна остановить развал,— выслушивал меня молча и спешил уединиться в своем кабинете. Его мучил, хоть он и не признавался, отказ укрыть семью от грядущих превратностей. Прав ли он, что не едет за границу?

Особенно поразило отца внезапное решение эмигрировать нашего домовладельца Николая Степановича Цвылева, его приятеля с отроческих лет. Тот принадлежал к старинному роду богатых новоторжских купцов, с которыми отец состоял в дальнем родстве. Едва ли не каждый вечер они играли в винт, большей частью у Николая Степановича, благо мы жили на одной лестнице.

Мне никогда прежде не приходилось видеть отца таким удрученным и озабоченным, как в день, когда его друг объявил, что «собрался бежать, пока нас тут всех не перерезали». Отец долго потом ходил мрачным и молчаливым.

Тучи вокруг сгущались. В начале июня семнадцатого года этого нельзя было не ощущать, особенно в Питере, уже раскипевшемся и забурлившем всеми выплеснувшимися наружу страстями. В стрельбе на Невском можно было различить призрак грядущей гражданской смуты. Именно тогда отец принял ничего не разрешающее половинчатое решение: перевел в иностранный банк часть своего состояния. Но покинуть Россию не решился...

Ах, кабы Волга-матушка да побежала вспять, да кабы можно было жизнь сначала начать!

Я лежу на своих досках, тесно ужатый с двух сторон соседями, и гадаю: как бы обернулась жизнь, последуй отец совету своего друга-банкира?

Идет одиннадцатый год революции. Многое определилось. Многое утрачено безвозвратно...

Члена Думы Половцова, владевшего стихом и написавшего политическую сатиру — поэму о дуре Федоре, распустившей уши на сладкие посулы, давно нет в живых. Тогда, в 1917 году, Половцов заметался. Убедившись, что ему, бывшему предводителю дворянства Могилевской губернии, туда лучше не показываться, он в конце лета приехал к нам, в Тверскую губернию.

В нашей благословенной Никольской волости было спокойно. Окрестные мужики не проявляли враждебных чувств. Но в Торжке, нашем уездном городе, обстановка сильно накалилась. После октябрьского переворота там появился эмиссар новой власти,— как выяснилось потом, самозванец — матрос Клюев, дебютировавший расстрелом десятка заложников и конфискациями, смахивавшими на грабежи.

Иван Федорович снова метнулся в Питер — со смутными планами о чем-то договориться, что-то предпринять. Но ни к каким заранее обреченным замыслам приступить не удалось: он вскоре захворал и умер в своей нетопленой холостяцкой квартире... Без единой души, какая бы напоследок о нем позаботилась... Жившая у него экономка поспешила, едва ее барин слег, съехать, прихватив что только удалось из его добра. У Половцова была собрана коллекция ценного охотничьего оружия.

Давно умер и отец — вдали от семьи, однако в доме доброго человека, старого священника села Михаила Архангела на Волхове. После бегства из усадьбы, как раз во время бесчинств Клюева, отец провел там зиму: возле того села

закладывались сооружения Волховской электростанции. Строительством руководил друг отца генерал Кривошеин, пригласивший его на должность своего заместителя.

Отцу, наверное, пока он брел пешком со своей поповки в контору строительства — одинокая прямая фигура, темнеющая на глади волховского льда,— не раз, сквозь тревогу за оставленную в деревне беспомощную и беззащитную семью, вспоминались упущенные возможности. Мучили страхи за нашу участь. Мы не переписывались — боялись выдать отцовский адрес,— и он мог вообразить любые беды. Как бы легче было ему, знай он, что нас, в самом деле неприспособленных, растерявшихся — Всеволод и я оказались опорой, кормильцами младших сестер и братьев, восьмидесятилетней бабушки, привезенной к нам после тяжких мытарств, матери, всю жизнь прожившей огражденной от забот,— знай он, что нас опекали знакомые мужики! Те самые, что приходили к нему со своими нуждами и бедами, помнили его с детства, водили на охоту, наконец служили у него на усадьбе. Мужики, уважению к которым он учил нас с детства и доверием которых гордился...

Какой-нибудь задиристый и взбалмошный Иван Архипов, старый волчатник Христофор или молчаливый длиннобородый Самойло, прежний конюх, заходили к нам как бы невзначай, по пути в лес или в лога, чтобы не приметили новые власти. И, расспросив барыню о здоровье, задержавшись по этикету за спотыкливым разговором, уже прощаясь, в последнюю минуту, неловко вынимали из-за пазухи или кузовка завернутые в тряпицу хлеб, кусок солонины или рыбину, яйца, банку меда, совали, стесняясь, кому-нибудь из детей: «Нате-ка деревенского гостинца!» — и торопились уйти.

Чаще мужики присылали своих баб с меркой картофеля или мукой. Бабы сокрушались открыто: «И какая вам жизнь пришла! Хлеба досыта не стало!» И мать, как ни держалась, плакала. Должно быть, не только растроганная, но и от горького сознания, что всегда была предубеждена против мужиков: она всю жизнь боялась деревни...

И не передать, до чего было дорого тогда это сочувствие, прорывавшее замыкавшееся вокруг нас кольцо недоброжелательства и отчуждения.

Отец об этом не знал, хотя верил в прочность своих добрососедских отношений с окрестными деревнями. Должно быть, надеялся, что «свои» мужики не обидят. Но знал

он и то, что они от власти не защита. Да и время настало, когда сын от отца отрекается, друг предает друга...

Так и умер, снедаемый тревогой, пришибленный крушением своей веры в Россию. Умер скоропостижно, разуваясь после воозвращения из конторы. Об этом мы известились много спустя: священник не знал нашего адреса, письмо его долго плутало.

Темной осенней ночью 1919 года пешком через границу ушли в Финляндию генерал Гри-Гри, как прозывался у нас Григорий Григорьевич Кривошеин, с женой, грузной дамой возраста моей матери, дочерью, гимназисткой старших классов, и двумя сыновьями — военными инженерами. Те несли мать на руках...

Отец умер в феврале девятнадцатого года, когда уже бушевала гражданская война. Когда от жуткой расправы с царем и его семьей пахнуло возвращением к временам опричнины и казням Ивана Грозного. Когда более лишений и голода Россию придавила проводимая беспощадной рукой ломка прежних устоев. И ошеломленная кровавыми расправами страна, уже отученная молиться, погрузилась в страх и немоту. И явственно обозначилось крушение иллюзий, свойственных людям его среды и поколения.

Родился отец в 1861 году, за две недели до отмены крепостного права. Рос и мужал в разгар Великих реформ. Корнями принадлежал тем средним слоям провинции, где прочно уверовали в пользу просвещения, земских учреждений и спасительность постепенного преображения жизни. Где воспитывалось сознание — в высшей степени — своего долга перед «младшим братом».

Так случилось, что рано осиротевшего отца, оставшегося без всяких средств, увезла из Вышнего Волочка к себе дальняя тетка, богатая вдова новоторжского промышленника Красноперова. Она более заботилась о подготовке племянника к практической деятельности, чем поощряла обучению наукам. Закончив в шестнадцать лет городское училище, отец стал заниматься делами тетки, вскоре поручившей ему управление своими мельницами и небольшим имением.

Решающее влияние на отца оказало общение с семьей соседних помещиков Петрункевичей. Оттуда вышли будущие столпы российского либерализма, составившие впоследствии партию кадетов — «конституционных демократов». Там молились на Кони и Ковалевского, были в ходу близкие к народничеству взгляды на крестьян. И отец, деятель-

ный и увлекающийся, то участвовал во Всероссийском съезде мукомолов — самым юным его делегатом от уезда,— то в качестве гласного городской управы хлопотал об открытии школ и больниц, добивался учреждения стипендий у местных тузов-благотворителей.

Женившись в последние годы века на моей матери — племяннице соседки по имению, вдовы известного ученого-артиллериста Н. В. Маевского,— отец расстался с деревенским житьем и переехал в Петербург. Поприщем избрал службу в частных компаниях, хотя связи, приобретенные благодаря родне жены, и открывали ему облегченный путь продвижения по ступенькам табели о рангах. Думаю, что в этом сказывалось предубеждение к касте чиновников, свойственное вольнодумцам того времени, чтившим авторитет шестидесятников, Успенских и Михайловских. Деревня была оставлена, но не забыта: теперь туда приезжали как на дачу в летние месяцы.

Уже в юношеском возрасте я узнавал от старых крестьян о большой вальцовой мельнице, где работало и кормилось несколько окрестных деревень, сгоревшей в первые годы столетия; об изведенной стае гончих и былых волчьих облавах; о распаханных отцом в пору его увлечения хлебопашеством полях, теперь заросших лесом. В запущенном парке высилась Негрова могила — сооруженная из крупных валунов пирамида над любимым черным пойнтером отца Негром; в сарае лежали ощетинившиеся зубьями заморские цепные бороны и монументальных размеров остовы плугов, некогда бороздившие от века спящие десятины лесных пустошей. Крестьяне рассказывали о «Василь Ляксандровиче» как о человеке понятном и доступном. Поминали добром прожитые с ним годы. Мужики намекали, что-де, женившись на «генеральской дочери», как величали мою мать (хотя дед мой по матери вышел в отставку в капитанском чине), отец распростился с вольной деревенской жизнью. И многозначительно вздыхали: то ли было житье — с охотами, лошадьми, веселыми разъездами! Особенно отмечалось прежнее пристрастие отца — неутомимого охотника и меткого стрелка — к полевым досугам. На удивление всем, он вскоре после женитьбы решительно покончил с охотой, перестал интересоваться выездами и пристрастился к цветоводству. Да еще завел всевозможную рыболовную снасть.

Впрочем, более этого изменения вкусов отца мужики про себя отмечали наступившее разобщение, конец привычных отношений. Словно не стало прежнего «своего» дере-

венского соседа, с которым сжились, несмотря на разность положения и состояний. Когда живут долгие годы бок о бок, помещик начинает знать и вникать во все мелочи домашней обстановки жителей своей деревни. Может посочувствовать терпящему от сварливого или гульливого нрава его бабы, помочь советом и делом. Мужику же становятся известны все обстоятельства событий на усадьбе, и он не без лукавства заводит разговор о зачастившей туда барыньке из недалекого сельца... Каждодневное общение сменилось редкими встречами с наезжавшим из столицы петербургским барином, которого надо посвящать в местные дела... А у него и времени для этого нет, обстоятельно не побеседуешь!

Однако охотничьи собаки были раздарены и ружья пылились на стойке не потому, что «подрезали соколу крылья», как полагали в деревне, а из-за исканий отца. Пора увлечения проповедью Толстого сменилась значительным интересом к входившим в моду теософам и индусским учениям. Отец не только не ездил по праздникам с семьей в церковь, но избегал присутствовать на молебнах, устраиваемых по разным случаям на дому. И сделался вегетарианцем. Замечу, однако, что эта новая направленность убеждений и правил отца была неспособна окончательно заглушить в нем страсть охотника: во всяком случае, он позаботился, чтобы у нас с братом, когда мы подросли, были ружья и собаки. Немолодой егерь Никита был приглашен направлять наши первые шаги в лесу, хотя мать, по сочувствию своему ко всему живому, не одобряла нашего посвящения в Немвроды.

Потом, когда отца не стало, обстоятельства надолго отгородили меня от потока деятельной жизни. Это способствовало длительным размышлениям. И я, перебирая в памяти вехи его жизни, известные мне, к сожалению, лишь в общих чертах, все хотел угадать: был ли он в душе удовлетворен тем, как она сложилась? Радовали ли его успешная карьера делового человека и приобретенное состояние? Заполнили ли они целиком его жизнь? Или не покидало никогда подспудное сожаление о минувших деревенских заботах и радостях? Не томило ли когда воспоминание о запахах земли, первых весенних движениях жизни в природе? Заменили ли ему, наконец, легкие городские связи и приятельства прежнюю близость с земляками? Я все вспоминал, каким оживленным и помолодевшим возвращался отец из своих долгих лесных прогулок, с каким добродушным юмором передавал беседу с встреченным ненароком деревенским знакомым стариком, укорявшим его за то, что ходит он по своему лесу не с

ружьем и собакой, а с топориком и метит им сухостой и деревья, мешающие осветлению...

— И без тебя знают, какое дерево на дрова рубить: ишь, дело себе нашел... За пастухом бы своим лучше глядел, чего он скотину по покосам распускает!

Но отца решительно не занимало кое-как ведущееся хозяйство. Он попросту не входил в его заботы, поручив их приказчику, своему бывшему крупчатнику. Зато лес отец любил! Берег и в случае нужды распоряжался покупать бревна у лесопромышленников, но своего не сводил. Если он неизменно распоряжался отпустить с миром деревенских коней и коров, пойманных ретивым работником на наших лугах или в поле, то порубщика он вряд ли легко прощал!

И как же хороши были эти несколько сот десятин нетронутого леса! Они тянулись по правому берегу Осуги с ее глубокими плесами и заросшими утиными заводями. Мохнатые непроницаемые опушки, светлые, залитые солнцем сосновые боры, густые темные ельники, веселые березовые рощи... А какие укромные, говорливые родники прятались в тихих ложках! Что за чистая, студеная вода бежала по разноцветным, сверкающим камушкам... В светлые майские дни осинники и разнолесье полнились голосами птиц. Отец знал, как поет каждая пичуга. Мог рассказать о любом цветке и травке...

И мне представлялось, что в родных деревенских местах душа у отца распахивалась шире. В его каждодневность вливались тепло и покой узнанной с детских лет деревенской жизни. Они же рисовались ему прибежищем и исходом в роковые месяцы семнадцатого года. Отправив семью в деревню, отец, подавленный грозным оборотом дел в столице, приехал туда и сам. «Переждать бурю в тихой гавани» — так, вероятно, рисовалось ему отсиживание в имении, пока бушуют яростные городские стихии. И вынужденное бегство оттуда было для отца окончательным крушением, утратой веры в ценность и правду своих идеалов: он мог убедиться, что в день испытаний оказался не в одном стане с дорогим ему крестьянским миром, а отнесенным к его врагам. Отец, я не сомневаюсь, до последнего своего часа не считал мужиков враждебных ему лично, а жертвами искусной пропаганды, манившей немедленной раздачей земли и обогащением за счет буржуев. И все же он должен был переживать горчайшее разочарование. Не мирных и обходительных земских деятелей, сельских врачей и учителей, посвятивших себя деревне, послушались мужики, не им поверили. А слепо,

безрассудно потянулись за теми, кто беззастенчиво сулил, звал мстить и «грабить награбленное».

Как и значительная часть старой русской интеллигенции, отец более всего ценил непопранное человеческое достоинство, право свободно мыслить. И в старых порядках отвергал прежде всего ущемление этого права, насильственные пути. Он верил в силу убеждения, рисовал себе свободные, открытые трибуны, форумы, где из столкновения мнений рождается истина!

За те два с лишним года, что отец прожил после революции, уже отчетливо и бесповоротно определилось: круто укрощаемый мужик и несколько мягче взнуздываемый рабочий должны были отождествлять себя с властью.

Но говорить об этом, разоблачать самозванство и обман, растолковывать, что железная решетка новых порядков ведет к закабалению и образованию олигархии, уже было нельзя. Да и бесполезно: в первые годы революции язык разума и сердца не мог быть понят и услышан. В возбужденной толпе всегда восторжествует дерзкий демагог, льстящий ее настроениям, и будет посрамлен разумный, увещевающий голос.

Очень тяжелыми, трагически грустными должны были быть размышления и переживания русских просвещенных людей, оказавшихся у разбитого корыта своих человеколюбивых бескорыстных идеалов, какими они жили вплоть до конца семнадцатого рубежного года. Тем более тяжелыми, что темным и гибельным виделся им путь, на который столкнули Россию новые правители. Им, мечтавшим о пробуждении и расцвете русской души. И где-то в глубине сознания должно было томить раскаяние, понимание своей, пусть косвенной, вины перед царем Освободителем...

И быть может, милостью Божией был для отца сердечный приступ, унесший его в могилу на пятьдесят восьмом году жизни...

Глава третья

В НОЕВОМ КОВЧЕГЕ

Здесь тихо. Почти просторно. И главное — дверь в коридор постоянно не заперта. Можно когда вздумаешь без надзора проследовать в отхожее место. И там никто за тобой не присматривает и не торопит: свобода! После толкотливой и

душной камеры тюремная больница была курортом. Повезло и с соседями: тихие, спокойные люди — все больше молчат, лежат с книгой или, как я, отсыпаются.

Мне удалили аппендикс. Операция прошла легко, и я полеживаю — расслабленно и умиротворенно. Отчасти потому, что расписался в уведомлении об окончании следствия. Иначе говоря, знаю, что меня не станут больше таскать на допросы и дополнительно «шить» — по перенятому у уголовников словечку — какое-нибудь состряпанное дело. Следователи, видимо, решили: наскреблось достаточно, чтобы Тройка или Особое совещание уцепились за видимость провинности и могли «по совести» влепить мне срок. Приобретенные за четыре месяца тюрьмы опыт и знания позволяли угадать исход: мне предстоит трехлетняя высылка, к какой обычно присуждают «болтунов», как окрестили «агитаторов» — рассказчиков анекдотов и веселых неосмотрительных людей, отпускающих острые шуточки по поводу порядков. С такой перспективой я вполне примирился. С воли передали, чтобы я выбирал Ясную Поляну, где меня устроят друзья семьи.

Итак, я ждал. Коротал как мог время и воображал будущее. Судьба, думалось, распоряжается так, чтобы я взялся всерьез за дело: от дилетантских попыток писать перешел к серьезной литературной работе. Скрашивал мое ожидание и близкий мне человек.

Георгий Михайлович Осоргин был несколько старше меня. Уже в четырнадцатом году он новоиспеченным корнетом отличился в лихих кавалерийских делах. Великий князь Николай Николаевич лично награждал его Георгиевским крестом.

Осоргин принадлежал к совершенно особой породе военных — к тем прежним кадровым офицерам, что воспринимали свое нахождение в армии на рыцарский средневековый лад, как некий возвышенный вид служения вассала своему сюзерену. Осоргин боготворил великого князя. Шеф полка, да еще царский дядя, член священной семьи помазанников Божиих, Николай Николаевич облачался Георгием в какие-то недоступно чистые ризы, и всякий поступок великого князя, его высказывание, привычки и манеры в передаче Георгия приобретали особый, высший смысл.

«Его высочество», как нередко называл он Николая Николаевича, был и лучшим наездником в русской кавалерии — «А это что-нибудь да значит, дорогой мой, при наших

то кентаврах!» — и обожаемым командиром, и отцом солдатам, примером преданности традициям русской армии.

В роковые первые месяцы войны гвардейская кавалерия, заведенная бездарным генералом Безобразовым под немецкие пушки, была разгромлена. Уцелевшего Георгия ненадолго причислили к штабу Верховного главнокомандующего — великого князя,— и он «имел счастье» выполнять собственные приказания Николая Николаевича. К традиционному преклонению прибавилась личная преданность. То был кульминационный период жизни Осоргина.

Всякую крупицу воспоминаний о великом князе он берег свято.

...Вот Николай Николаевич, задержавшись в дежурной комнате, напомнил Георгию, что они однополчане — великий князь не только был шефом Конного полка, но некогда им командовал,— и расспросил его о старых офицерах. Георгий воспроизводил эту краткую сцену, переживая ее неповторимость. Голос его звенел...

И мне видятся со стороны саженная сухопарая фигура, суровое лицо главнокомандующего и миниатюрный, худенький Георгий, вытянувшийся в струнку и снизу вверх взирающий на своего кумира. Он — кумир,— всегда резкий и требовательный к офицерам, тут, при встрече, напомнившей молодость, оттаял и говорил вежливо, мягко, как умели все Романовы...

Убежденный, не ведающий сомнения монархист, Георгий был предан памяти истребленной царской семьи. Как раз он был в числе офицеров, участвовавших в попытке ее спасти, был выдан и присужден к расстрелу. По какому-то случаю его амнистировали, а спустя немного лет снова схватили.

Приговоренный к десяти годам, Георгий отбывал срок в рабочих корпусах Бутырской тюрьмы. Должность библиотекаря позволяла ему носить книги в больничную палату. Будто перечисляя заглавия иностранных книг, он по-французски передавал мне новости с воли, искоса поглядывая на внимательно и тупо слушающего надзирателя.

Именитый, старинный род Осоргиных вел свою генеалогию от св. Иулиании. Приверженный семейным традициям Георгий был глубоко, наследственно верующим. Да еще на московский лад! То есть знал и соблюдал православные обряды во всей их вековой нерушимости — пел на клиросах и не упускал случая облачиться в стихарь для участия в архиерейском служении.

Как-то Георгий зашел проститься.

— Слава богу, удалось-таки выхлопотать перевод в лагерь,— с облегчением сказал он.— Отправят на Соловки. На Соловецкие острова! Чистое небо, озера... Святыни наши. Ходить ведь буду по какой земле? На ней отпечатки стоп Зосимы и Савватия, митрополита Филиппа...

От него же я узнал: справлявшиеся обо мне в прокуратуре близкие подтверждают, что меня вышлют.

Воистину, «что нашего незнанья и беспомощней, и грустней...». Я отбыл на Соловках два неполных срока — и вернулся. Осоргин нашел там свою смерть. Вскоре после своего водворения в лагерь... «Кто смеет молвить «до свидания» чрез бездну двух или трех дней?»

...В один день со мной такую же операцию аппендицита сделали моему соседу по койке Махмуду Мамедову, уроженцу далекого Закавказья. Случайная и недолгая эта встреча запомнилась навсегда.

В то время в Бутырке их было около трехсот, ссылаемых на Соловки членов партии мусаватистов. Цвет тюркской — по-позднейшему, азербайджанской — интеллигенции... Мне открылся мир неведомый и своеобразный. Мир небольшого народа, отчаянно отстаивающего свою самостоятельность. Свои традиционные воззрения и обычаи дедов.

Когда потом пришлось жить бок о бок с мусаватистами на Соловках, я видел, каким сыновним уважением окружены у них седоголовые, как заботливо следят старшие, чтобы никто не был обделен за братской трапезой, как внимательны к тем, кто ищет уединения для молитвы... По ним я мог судить, насколько далеко зашло за минувшее десятилетие одичание русского общества. Как ожесточились характеры по сравнению с окраинным народом, куда позднее проникли и где на первых порах осторожнее внедрялись заповеди новой морали.

Смуглый, почти черный на белизне постели, Махмуд сидит, скрестив по-восточному ноги. Он рассказывает о своем крае.

Хотя Махмуд был учителем в районном городке, в нем так очевидна слитность с природой. И чудятся мне в его певучих интонациях приглушенные звуки пастушьего табора, разносящиеся над горными пастбищами и пустынными ущельями его родного Карабаха.

Веснами всей семьей, с барантой, коровами, с навьюченными домашним скарбом лошадьми откочевывали в горы, на

пастбища, к заснеженным вершинам. И там, в шатрах, устланных коврами, подолгу жили, изготовляя сыры и молясь Аллаху. Месяцы жизни под близкими звездами, в сосредоточенной тишине пустынных гор — и осеннее возвращение в долины, к людям, в мир насилия и противоречий. Они вступали в него, и постепенно размывались накопившиеся в душе примиренность и тишина; меркли ощущения сына земли, смиренно склоненного перед начертаниями правящей миром Высшей Духовной Силы...

События захлестнувшей Россию революции разливались по Закавказью, наслаиваясь на местные соперничества и национальную рознь. Обстановка эта развязывала руки для сведения счетов между кланами и общинами, для расплаты по старым обидам. Махмуд видел в преследовании мусаватистов кровавую расправу с личными врагами ставленника Москвы Багирова, тогдашнего азербайджанского проконсула.

Скупо рассказывал Махмуд об убийствах в бакинских застенках, о сопровождавших дознания избиениях и пытках. Следы их — темными пятнами, шрамами — были на всем теле Махмуда. Тогда эти наглядные свидетельства возвращения к приемам средневековья еще не укладывались в сознании, казались отражением нравов жестокого Востока. Какой-то тамерлановщиной, немыслимой в новой, Советской России.

Впоследствии пришлось достаточно насмотреться и на примитивно зверские и на изощренные приемы выколачивания «показаний» на следствиях, да и самому пройти через достаточно мучительные искусы... Но тогда, в Бутырской тюрьме, мне даже трудно было поверить, чтобы говоривший со мной спокойный и так дружелюбно относящийся к нам человек испытал дыбу и недосчитывался зубов, выбитых сапогами...

Махмуд был искренен и прост. Мог отдать и последнее. Доверчивость его и доброжелательность удивляли.

...Обширное сводчатое помещение, где формировали этап, походило на восточный базар. Из камер пригоняли сюда смуглых людей в смушковых папахах, обутых в мягкие кавказские ноговицы, нагруженных перинами и ковровыми сумками. Было тесно и шумно. Приветственные возгласы обнимающихся однодельцев с непривычки звучали оглушительно. Я успел выучить несколько фраз на тюркском языке,

мог по складам читать арабские слова. На мои «салам алейкум» приветливо отвечали обступившие меня земляки Махмуда, крепко жали мне руку и сочувственно жестикулировали, давая понять, что друг их друга и им дорог и близок.

Разделенные языковым барьером, мы тем не менее ухитрялись выразить радость по поводу конца тюремного сидения, наивно надеясь на лучшее будущее в лагерях. Мусаватисты твердо верили в обещанный им режим политических. Сильные своей спаянностью, они были готовы за него бороться. Среди них были европейски образованные, знающие историю революционного движения политические деятели, испытавшие гонения в царское время. Они ждали чего-то вроде поднадзорной жизни прежних ссыльных..

Я также не унывал, хотя неделю назад, расписавшись в ознакомлении с постановлением Особого совещания, порядочно пал духом: я готовился к ссылке[1], а присудили меня к трем годам заключения в лагерях с последующими ограничениями.

Отчасти, утешило рассуждение: чем я хуже других? В конце концов, я иду по стопам Георгия, разделяю участь многих родственников и знакомых, порядочных людей, которым, говоря начистоту, не по пути с режимом... Мы в лагере будем вместе — кучка несогласных, несдавшихся и больше не обязанных притворяться и лгать. Навесили нам ярлыки контриков — так будем их достойны!

Не понюхав лагерей, я полагал, что заключенный там может быть самим собой, сохранить свое лицо. И не знал, что попадаю на Соловки в канун изменений, которые должны стереть без остатка следы сходства советских мест заключения с царскими политическими централами. Не знал, что скоро придется захлебнуться в современных удушливых эргастулах, отстаивая, забыв обо всем остальном, возможность элементарно порядочно себя вести, сохранить подобие человеческого облика!

---

[1] Поясню современному читателю, не посвященному в оттенки тогдашней шкалы мер пресечения: ссылка отличалась от более легкой высылки. Последняя предполагала свободный выбор места жительства, из которого исключалось некоторое количество городов: было «минус шесть» (самое легкое), «минус двенадцать» и чуть ли не до «пятидесяти двух». Ссылка назначалась в отдаленные места и сопровождалась жесткой регламентацией передвижения, периодическими явками на регистрацию, ограничениями вида работы (исключались ответственные и административные должности, ссыльные пополняли кадры чернорабочих) и т. д.

Но что бы ни ожидало впереди, я при вызове на этап испытывал известное удовлетворение: признан политическим противником — не какой-нибудь проштрафившийся чиновник или схваченный за руку растратчик... Я могу и дальше прямо смотреть в глаза людям. Меня беспокоило, что значусь я осужденным по двум статьям: контрреволюционной — за агитацию,— вполне меня устраивавшей, и по одному из пунктов 59-й, слывшей в обиходе бандитской: пункту, предусматривающему «незаконное хранение валюты». Основанием послужили отобранные у меня при аресте доллары, какими выплачивали мне в посольстве жалование. Не бросит ли это, думалось мне, там, на Соловках, на меня тени в мнении «своих» — чистокровных контриков?

Если уж совсем глубоко разбираться в причинах приподнятого настроения, с которым я собирался на свой первый этап, надо сказать об испытываемом на воле неотступном чувстве пригнетенности, подспудной тревоги, переходящей в ожидание беды. Настораживали новости и слухи, подозрительные взгляды, какими — так мерещилось — окидывали встречные. Выбивали из колеи аресты знакомых и газетные глухие сообщения о «раскрытых заговорах». Суживались и рамки жизни: каждый чувствовал себя все пронзительнее проверяемым, всюду мерещились шпики и доносчики. Анкеты все глубже всверливались в твою генеалогию, связи, занятия. Был окончательно задушен голос церкви, совершенствовались намордники, надетые на печать, сцену, суждения, юмор.

Впоследствии стало очевидным: освобождаясь из лагеря, попадаешь из ограниченной зоны в более просторную. Но тогда, в двадцать восьмом году, это было еще не вполне отчетливым предчувствием. И пусть я еще не был беспросветно затравлен, взнуздан, одурачен и обезличен, как с тридцатых годов, все же имел основание считать: променяв московское свое существование на Соловки, теряю не так-то много. И даже избавляюсь от заячьего своего житья.

Бодрость мою поддерживали и благополучно складывавшиеся условия этапирования. Лучшего состава и желать было нельзя. Уголовники, само собой, с нами были. Но по шакальей своей повадке шкодить только всей стаей, при явном перевесе сил держались незаметно и даже угодливо.

Надзиратели и конвой потели, терялись, разбираясь в грудах формуляров с неизменными «Ибрагимами-Махмудами-Мустафами-Ахмедами-оглы». Обступленные темноволосыми, смуглыми людьми в одинаковых папахах и со сход-

ными чертами восточных лиц, не говоривших или не желавших объясняться по-русски, тюремщики, уже не чая тщательным опросом самостоятельно установить личность сдаваемых с рук на руки арестантов, вверились старшине мусаватистов. И как же подобострастно подсовывали они ему бумаги, ограждали от напирающей толпы. Лишь бы не напутать, справиться к сроку: эшелон должен отойти по расписанию...

Нам с Махмудом из-за свежих швов нельзя носить вещи. И сколько же рук подхватило наши пожитки! Мы спокойно сидели в сторонке на груде барахла — кто-то подменил нас на «шмоне»: перетряхивал и укладывал наше добро под воровски быстрыми гляделками обыскивающих. В этой толпе «иноплеменных», так просто и естественно, по одному доброму слову своего земляка, включивших меня в свой братский круг, я сразу почувствовал себя очень надежно. И бойко объясняющийся по-русски Эйюб Ибрагимов, разрушаемый злой чахоткой бакинский журналист с отбитыми легкими; и молча клавший мне на плечо руку седой муэллим — законоучитель,— не умевший словами выразить отеческое одобрение; и другие, чьи сочувственные кивки и знаки безобманно свидетельствовали искренность, привычку доверять и оказывать внимание незнакомцу, благожелательность,— все они держались как искренние мои друзья и доброжелатели. Я до слез остро и болезненно ощущал тепло человеческой общительности, уже утраченной нашим обществом, разложенным подозрительностью, завистью, натравливанием друг на друга...

* * *

Вышки, сколоченные из хлипких бревнышек. Пятачок площадки, обнесенный оградой из колючей проволоки. На нем, возле примитивного дебаркадера, длинный низкий барак. Это Кемьский пересыльный пункт. Зловеще знаменитый Попов остров — «КЕМЬ-ПЕР-ПУНКТ», зона на каменистом и болотистом берегу Белого моря, недалеко от захолустного деревянного города Кемь. Место пустынное[1], голое и суровое. Здесь комплектуют партии, переправляемые на

---

[1] Пересыльный городок с рядами бараков, выстроенных вдоль дощатых линеек, с кумачом «Добро пожаловать!» на воротах был выстроен позднее. В 1931 году в барак у дебаркадера уже не заводили.

остров. Кто погостил тут в конце двадцатых годов, никогда его не забудет...

Эта пересылка учреждена при основании Соловецкого лагеря, когда заключенных считали на десятки и скупые сотни. Сейчас тут столпотворение. Мой этап, окруженный вохровцами, сидит на камнях в стороне от зоны и следит, как идет прием опередившего нас эшелона. Только что выгруженных из теплушек заключенных, ошалелых и растерянных, с великой бранью и зуботычинами построили в колонну и бегом погнали на голый скалистый мысок. Там всем велели сбросить узлы и чемоданы, и плечистые вахтеры начали многочасовое учение — муштровку с мордобоем. Мусаватисты встревожены. При выгрузке из вагонов и нас было приняли в кулаки. Однако по чьему-то распоряжению быстро отступились. И все же какой-то особый любитель потешиться над беззащитным успел в кровь разбить лицо замешкавшегося пожилого врача. Староста мусаватистов, атлетически сложенный, бешено налетел на охранника, смял его, швырнул на рельсы. И убил бы, не удержи свои...

Набежало начальство, последовали объяснения. Оцепившие платформу вохровцы защелкали затворами. Но, видимо, было приказано обойтись без кровопускания. Быть может, сочли целесообразным на первых порах уважить «иллюзии политических». Вскоре там — за глухими соловецкими стенами — можно будет отыграться сторицей! Переполох был все же большой. Тюрки совещались, вырабатывали тактику, какой бы оградиться от произвола. И наблюдали.

Более суток — первых лагерных суток — мы посвящались в лагерные повседневные порядки: сидели зрителями на валунах и смотрели, будто римляне со скамей амфитеатра на арену цирка. У нас на глазах людей избивали, перегоняли с места на место, учили строю, обыскивали, пугали нацеленными с вышек винтовками и холостыми выстрелами. Падающих подымали, разбивая сапогами в кровь лицо. Отработанные ловкие удары кулаком сбивали человека с ног, как шахматную фигурку с доски... Трясется седая борода у проделывающего бег на месте коротенького старика с вытаращенными глазами на пунцовом лице; рядом не может подняться присевший по команде толстозадый мужчина и жмурится, отворачиваясь от затрещин; подальше тяжко пинают ногами молодого грузина, отказывающегося повторить упражнение. «Убивайте, сволочи!» — истерически кричит он. И его действительно бьют смертно...

Потеряно представление о времени. Ряды приплясываю-

щих на месте, прыгающих и приседающих новоявленных лагерников все чаще расстраивают падающие с нелепыми жестами фигурки, а неутомимые здоровяки в бушлатах все так же бодро похаживают между ними, расправляя плечи, особенно лихо и энергично раздавая зуботычины и покрикивая: «Не к теще на блины, сукины дети, приехали, мать вашу так и мать вашу этак!»

В жемчужном небе за нежными облаками висит ночное солнце, серые безмолвные чайки пролетают над скалами; слышен ласковый плеск волн... Воздух над живой гладью моря свеж и целителен. И дико содрогается даль от отрывистого рева «здра!», без конца повторяемого измученными людьми, которых учат хором приветствовать начальников. Беззакатная ночь позволяла конвейеру действовать безостановочно...

Хватало дела и охранникам из заключенных. Эти дюжие, мордастые, отъевшиеся парни со знаками различия на рукавах, окрещенные зубоскалами-урками хлестко и непристойно, упарились и охрипли. Отбиты кулаки и сел голос — надо оправдать льготный паек, оказанное доверие! И не только это. Безнаказанно чинимое, поощряемое насилие прививает вкус к нему: бить и унижать становится потребностью. Всхлипы и стоны вызывают остервенение. Молчаливо сносимые удары — желание забить до смерти.

И хотя наш этап был отчасти пощажен — нас, когда рассосались потоки принимаемых и отправляемых, «оформляли» срвнительно спокойно,— впечатление от такого цинически откровенного метода ударяло обухом по голове. Пусть память и хранила расправы и насилия первых лет революции, да и в тюрьме не миндальничали, но еще не приходилось убеждаться, чтобы произвол возводился в систему. Да к тому же развертываемую в таких масштабах...

Сознание своей артельности поддерживало в мусаватистах надежду отстоять свои права «политических». Я же знал: увиденное — это отражение моей участи.

...Осматривавший этап лагерный врач, грубо и нетерпеливо сорвав прилипшие повязки, освободил меня на три месяца от общих работ. На первых порах это ограждало от тяжелых испытаний. Но в ушах стояли матовые стуки ударов и падений, беспощадная брань и угрозы; но перед глазами — искаженные лица избиваемых, не видящих конца кошмару!

«Тут Соловецкий лагерь особого назначения, там-тарарам, пере-там тара-рам! — лихо неслось над онемевшей

толпой.— Тут по струнке ходить будете! Дурь выколотят!» И выколачивали. А с «дурью» и душу живу.

Соловецкий лагерь особого назначения... Сокращенно СЛОН. Изображение этого мудрого и кроткого животного сделалось официальной эмблемой лагеря.

И вот я — уже заведенный в зону Кемьперпункта зарегистрированный зэк на списочном составе Соловецкого лагеря. В бараке мне указано место на нарах, где, по прочно внедрившейся лагерной традиции, все лежат на боку и повертываются по команде. Прошло несколько дней, и я не чаю, когда выкликнут меня на этап. Многих из прибывших со мной отправили. И в первую очередь — неудобных, строптивых мусаватистов. Лица кругом все новые, появляются и исчезают в лихорадочно дергающемся ритме. Как «инвалид», я лагерю не нужен; как трехлетник с ерундовой статьей — не предмет попечения и забот ИСЧ (Информационно-следственная часть — лагерный сыск), сосредоточенного на большесрочниках, и меня не торопятся отправить отсюда, с пересылки.

Колючая проволока охватывает площадку не более 100×100 метров. В бараке — узкий проход и двухэтажные сплошные нары под низким потолком. Я еще настолько зелен, что не могу даже днем ненадолго прилечь из-за фантастического количества клопов. Они ползут по стойкам нар сплошными вереницами, как муравьи по стволу полюбившегося дерева.

Преодолеть брезгливость невозможно, хотя усталость и валит с ног. Я выхожу на улицу — к тем, кто, подстелив что попало на камни с влажными ямками между ними, устраивается там спать. Тут другой враг: тучи комаров, какие еще не приходилось видеть. Северный тундровый гнус, от которого нечем — да еще и не умеешь — оборониться. Как ни закутывайся и ни прячься, комары проникнут и доймут. Тонкое «з-з-з-з» над ухом — и уже ждешь, насторожен. И нельзя ни заснуть, ни уйти в мечтания! Подумать только: спустя несколько лет, в глухих зырянских болотистых лесах, я уже не замечал их...

С подлинным ужасом слежу за дневальным — обколоченным мужиком с потемневшим, покрытым коростой лицом и свирепыми непогасшими глазами. Он не говорит по-чело-

вечески, только хрипло матерится. Получая хлеб в каптерке на барак, умудряется урвать себе несколько паек. И прячет их в заношенных обносках, грудой наваленных в его углу. Когда, согнувшись над лоханкой с баландой, словно заслоняя ее всем телом, он сидит там и, чавкая, давясь, жадно и торопливо ест, то кажется, подойди ближе — зарычит и покажет зубы. И этот изъеденный насекомыми, утративший человеческое подобие отверженный шалеет и суетится, лишь начинают выкликать на этап: боится, что его стронут с места! Он уже два года дневалит в этом бараке... И перемены не хочет ни за что.

Свыкнуться с этим кошмаром! Жить не в грозном фантастическом аду, в этом воспетом поэтами царстве дьявола, а в аду — помойной яме?! В клоаке, смрадном загоне, выворачивающем наружу подлую изнанку существования, заставляющем дышать испарениями скученных немытых тел, уложенных сплошным слоем на липких, почерневших от грязи горбылях? В аду, перед которым знаменитый «Cour des miracles»[1] — чинный опрятный пансион.

И как же незаметно для себя человек поддается, соскальзывает в эту яму, опускается, подлеет... Но это наблюдения уже прошедшего не через один лагерь человека. Тогда же я был еще новичком, не поборовшим предрассудков и предубеждений, внушенных воспитанием. С тоской глядел я на мирно спящих, покрытых клопами людей, завидовал им и... И не мог решиться лечь!

В какой-то мере эта закваска, полностью никогда так и не выветрившаяся, служила источником дополнительных осложнений. У охранников всех рангов она вызывала зуд — выкорчевать этакое неположенное чистоплюйство. Но она же помогла мне и сохраниться. И испытывая танталовы муки голода, я не мечтал попастись на отбросах; не соблазнялся самокруткой за пайку; и в невозможных условиях ухитрялся мыть руки, следить за собой; всегда считал для себя исключенными всякие «мастырки» — членовредительство, снадобья, обморожение, на время спасающие от тягот... Словом, не шагнул на ту нижнюю ступеньку, с которой рукой подать до лагерного шакала, доходяги-фитиля или до одичавшего дневального с Кемьперпункта...

На улицах кроме комаров были и «попки», как метко прозвала лагерная братия нахохленных и важных караульщиков, порасставленных на вышках. Их надо всегда остере-

[1] «Двор чудес» *(франц.)*.

гаться: они могут застрелить запросто. Не только — Боже упаси! — нельзя подойти к проволоке ближе запретных метров, что всегда сошло бы за «попытку к бегству». Но и трижды не дай бог привлечь их внимание и раздразнить, даже держась на узаконенном расстоянии. Пуля могла достать и тут.

А как-то ночью после отбоя раздалась стрельба. С вышек беспорядочно палили. У одной из них сбежавшиеся стрелки разглядывали зарезанного часового. Как ухитрился чеченец проползти под проволокой? Кошкой подобраться к караульному, спустившемуся с вышки поразмять ноги или за нуждой, и вонзить в него самодельную железку — так, что тот рта не успел раскрыть? Ведь было светло, как днем.

Со смельчаком ушли двое. Беглецов заметили, когда они уже порядочно удалились от зоны. Стреляли по ним безуспешно; прячась за камни, перебегая, ползя юрко и стремительно, они достигли опушки леса. Преследовать их не рискнули — чеченцы прихватили винтовку и подсумок убитого.

Тело лежало под вышкой, в нескольких шагах от зоны. Вокруг грудились люди: зэки по одну сторону проволоки, обескураженные попки — по другую. У заключенных в то утро был чуть более бодрый вид. Зато охрана — в отместку — не знала удержу...

..Упорство сектантов накаляло начальство до предела. Они не называли своего имени, на все вопросы ответ был один: «Бог знает!»; отказывались работать на антихриста. И никакие запугивания и побои не понудили их «служить» злу, т. е. власти, распинавшей Христа. И охранники было отступились. Но побег, за которым последовали выговоры и упреки сверху — «Просмотрели! Распустили!»,— подхлестнул служебное рвение.

И вот кучку державшихся вместе исхудалых, оборванных и немых сектантов загнали в угол зоны и, связав руки, поставили на выступающий валун. Было их человек двадцать: два или три старца с непокрытой головой, лысых и седобородых; несколько мужчин среднего возраста — растерзанных, с ввалившимися щеками, потемневших, сутулых; подростки, какими рисовали нищих крестьянских пареньков передвижники; и три нестарые женщины в длинных деревенских платьях, повязанные надвинутыми на глаза косынками. Как случилось, что сектанток не отделили, а

держали в нашей зоне? Быть может, специально привели из женбарака, стоявшего неподалеку.

Командир распорядился: стоять им на валуне, пока не объявят своих имен и не пойдут работать. Тройке стрелков было приказано не давать «сволоте» шевелиться.

Строптивцев поставили «на комары» — так называлась в лагере эта казнь, предоставленная природе. Люди как бы и ни при чем: север, болота, глушь, как тут без комаров? Ничего не поделаешь!

И они стояли, эти несчастные «христосики» — темные по знаньям, но светлые по своей вере, недосягаемо вознесенные ею. Замученные и осмеянные, хилые, но способные принять смерть за свои убеждения.

Тщетно приступал к ним взбешенный начальник, порвал на ослушниках рубахи — пусть комары вовсю жрут эту «падлу»! Стояли молча, покрытые серым шевелящимся саваном. Даже не стонали. Чуть шевелились беззвучно губы.

— Считаю до десяти, ублюдки! Не пойдете — как собак перестреляю. Раз... два...

Лязгнули затворы. Сбившиеся в кучку сектанты как по команде попадали на колени. Нестройно, хрипло запели «Христос воскресе из мертвых...». Начальник исступленно матерится и бросается на них с поднятыми кулаками.

Продержали их несколько часов. Взмолились изъеденные стражи. И начальник махнул рукой: «А ну их к...»

О пытке комарами мне приходилось читать в книгах о краснокожих Америки; Леонов рассказал в «Барсуках», что к ней прибегали озверевшие деревенские богатеи. Теперь я знал, как это делается. Потом, на острове, мне пришлось не раз видеть эти окаянные комариные пиршества.

* * *

Снова ощущаю благодетельные последствия вспоротого в тюрьме брюха. Меня, как «инвалида», не спускают в трюм корабля, а оставляют на палубе. Я сижу, предоставленный себе, на своем «сидоре» — бауле с пожитками. Тут же бутырский сокамерник — инженер Литвиненко. Он затих, усевшись с поджатыми под себя ногами, и лишь иногда по инерции тихо шепчет и вздыхает. Вообще он непрерывно плачет и причитает. На тюремном жаргоне — «косит на психа». Я тоже подозреваю, что он прикидывается.

Во всяком случае, предельно растравляет и преувеличивает свое нервное расстройство.

«Миленькие мои,— целыми днями рыдал он в камере после приговора: трех лет лагерей.— Да за что мне такое? Следователи мои дорогие, хорошие мои люди, всегда уважал вас, любил, а-а-а, Советскую власть вот как люблю, о Ленине плачу! Нет его, заступника...» Он всхлипывал у двери, в глазок, чтобы слышал коридорный, охал и стонал, китайским болванчиком раскачивался на нарах. И всем надоел. Его одергивали и бранили, урезонивали, стыдили. Он же только продолжал повторять свое «Миленькие вы мои!», обливаясь слезами.

Внезапная перемена — Литвиненко до того сыпал прибаутками, посмеивался, с аппетитом ел — не убедила тюремного врача. Его продержали десять дней в больнице и, признав психически здоровым, отправили на этап.

В Кемьперпункт он прибыл вскоре после меня. И там уже прочно вошел в роль расслабленного юродивого. Роль, самую неблагодарную в лагерной обстановке. Отказчик и «филон» для нарядчика и охранников, он — беспомощное ничтожество в глазах зэков, затравленных и потому ищущих, над кем самим безнаказанно поиздеваться. «Психов» обирают до нитки, загоняют в самый грязный угол, выталкивают из очереди за баландой. Самые бессовестные отнимают пайку.

И «психи» быстро доходят — становятся «фитилями», слюнявым, грязным и вшивым отребьем, какое свозят на пропащие инвалидные лагпункты, а оттуда — в яму...

На палубе, кроме нас, нет никого, и Литвиненко замолк. Сидит не шелохнувшись, с закрытыми глазами. Разумеется, он болен: мешки под глазами, отечное лицо, дряблые щеки. Три месяца назад это был румяный здоровяк. Поговорить с ним? Отговорить от затеянной безвыигрышной затеи? Но с первых моих слов он начинает плаксиво причитать. А обстановка слишком исключительная, чтобы долго хлопотать о судьбе этого горюна.

Боже мой! Облитая солнцем гладь моря, свежий его запах, наносимый ветром, легким и ласковым. Вереница мягких сверкающих облаков, улегшихся у самой воды. Крупные чайки лениво машут крыльями, летят рядом, так близко, что различаешь всякое перышко... Простор, воля! Корабль идет плавно и бесшумно, скользит по бесконечной равнине, оставляя позади белеющую пеной дорогу, не исчезающую, сколько хватает глаз. День жаркий, но от воды

тянет прохладой. И все вокруг — свет, тепло, тишина — охватывает, словно ласковыми руками, баюкает, врачует...

Но язвит душу память о бараке и его грязи, о стойкой пронзительной вони скученных тел, заношенного платья и давленых клопов. Вечной зарубкой на сердце — память об измученных, распухших от укусов лицах, о подростке с крепко закушенной губой и размывшими кровь на лице слезами... Память о конвоирах, ударами приклада наотмашь — куда попадет! — подбадривающих выводимых за зону арестантов. Об «убитых при попытке к бегству»...

С настойчивостью отчаяния приступал этот паренек к нарядчику. Я прислушался. И всего-то вымаливал он разрешения идти на работу с другой партией! Невзлюбил его конвоир и, если отправят на работу с ним,— застрелит. Не перевели. Как бедняга ни втискивался в середину строя, ни хоронился, конвоир-таки подкараулил, когда тот неосторожно отделился за нуждой. И застрелил — в двух шагах от строя. При попытке к бегству, разумеется...

Только что оставленный подлый и грязный — ничего возвышенного — ад не покидает меня и здесь, на палубе. А тут еще этот малодушный, слабый человечек, уцепившийся за юродство, как за спасение. Досадно за собрата-интеллигента, играющего такую комедию, применяемую уголовниками, но и осуждать не велит совесть: не хватило стойкости!

Из-под вздетого форштевня обозначились очертания берега — темной неровной линии над обрезом моря — с четким белым пятном строений. Как ни мало интересовались мы, русские люди начала века, историей своей церкви, как ни равнодушно, а то и предвзято, ни относились к монашеству — обаяние Соловецкого монастыря пережило наводнение трезвых позитивных воззрений. И в то безвременье молва о тунеядцах-монахах, корыстью, ленью и блудом порочащих православные обители, обходила Соловецкую. И в чуждом древнему благочестию Петербурге знали, что на Соловках — строгий устав и чин служб едва не дониконовские. Что туда стекаются мужики из разных губерний — молиться и работать на святых угодников Зосиму и Савватия. А когда началась война с Германией, монастырь откликнулся по-мınински: тряхнул богатой казной, открыл в столице лазарет на шестьсот коек. По примеру монасты-

рей XVII века — оплотов веры и государства — жертвовал отечеству крупные суммы.

Вход в бухту вешили каменные глыбы с огромными крестами из лиственницы. Открылись белые силуэты обезглавленных соборов и колокольни. Купола заменены пирамидальными тесовыми крышами. Но неизменными, такими же, как на старых гравюрах, высились на монастырской стене тяжелые башни с конусным верхом.

Эта сложенная из гранитных валунов ограда, казалось, стоит вне времени. И когда потом доводилось вновь и вновь ее видеть, первое впечатление — вечности созданного — не сглаживалось.

Прежние путешественники на Соловецкие острова рассказывали о слезах, о сиявших счастьем лицах богомольцев, при виде седой обители забывавших беды многотрудной жизни. Я был слишком человеком своего времени, закрытым для подобного просветления, и все-таки... И все-таки с невольным трепетом всматривался в несокрушимую православную твердыню, воздвигнутую, чтобы противостоять любым покушениям...

Корабль вплыл в тень каменных громад монастыря. Этап, сбиваемый кулаками, оглушаемый святотатственной бранью, сошел на берег. И еще сильнее, чем на палубе, я ощутил, что здесь — святыня длинной чреды поколений моих предков: точно незримо реяли вокруг их душевные устремления, их смиренные помыслы.

Кто искал здесь утешения, приходил за очищением, кто усердной молитвой и обращением к религиозным началам жизни надеялся помочь людям в их скорбях. Почти шесть веков подряд на этих камнях и за этими стенами непрерывно шли службы. Молились, совершенствовались в духовных подвигах пламенно веровавшие в добрую людскую суть. И тщились побороть силы зла, вывести к свету и радости с темных перепутий жизни.

Теперь не стало больше окутывавшей остров оберегаемой от века тишины; место смирных монахов и просветленных богомольцев заступили разношерстные лагерники и свирепая охрана; уже меркли тени прежних молельников за Русь и на развалинах скитов и часовен воздвигали лобное место для всего народа,— душа и сердце продолжали испытывать таинственное влияние вершившейся здесь веками жизни... несмотря ни на что! Влияние, заставлявшее вдумываться в значение подвига и испытаний.

* * *

В Преображенском соборе находилась тринадцатая — карантинная — рота: сюда помещали этапников.

Нары в три яруса заселены сплошь. Люди шевелятся как тени, говорят вполголоса, и тем не менее в высоком куполе древнего храма этот сдержанный шум и случайные возгласы отдаются несмолкаемым гудением... Некий чудовищный улей.

Улей этот в непрерывном движении: одних угоняют, другие поступают, соседи то и дело меняются. Много преступников — воров и убийц; однако здесь и тесные кучки мужиков в тяжелых овчинных полушубках: они крепко держатся друг за друга. В темные углы забились сектанты с изможденными лицами, лихорадочными глазами и нательными крестиками, сделанными из связанных ниткой палочек, висящими на гайтанах из женских волос. Попадаются старцы с сенаторскими бакенбардами и старомодными пенсне на потертом шнурке.

Окрики вахтеров заставляют всех оторопело вскакивать, бестолково бросаться с готовностью выполнить любое приказание. Одни сектанты сидят по-прежнему отрешенными, словно ничего вокруг их не затрагивает. По проходу между нарами медленно идет сопровождаемый целой свитой начальник пересылки — легендарный Курило, с ногами колесом, как у заправского кавалериста, и со стеком в руке. У него неторопливые жесты, негромкий голос, глаза прищурены. Иногда, приостановившись, начинает кого-нибудь пристально в упор разглядывать. Молча. И вдруг молниеносно хлестнет стеком, норовя рассечь лицо. Потом продолжает обход.

И каждую ночь в бывшем притворе происходят расправы. Оттуда доносятся вопли и выволакивают в кровь избитых людей. Их бросают в карцер — огромное подземелье под собором.

Но вот Курило остановился против меня. Я сижу на краю нар. Разглядываю его сблизи. У него подчеркнуто офицерская выправка, он слегка подергивает обтянутой галифе ляжкой, небрежно играет стеком. На руках тонкие кожаные перчатки — не марать же руки о всякую мразь.

— Не вставайте, ради Бога,— предупреждает он мою попытку подняться перед начальством. Курило слегка, по-петербургски, грассирует.— Мне про вас говорили. Я тоже петербуржец, хотя служил в Варшавской гвардии...

Мы вспоминаем Петербург, ищем общих знакомых, называем дома, где обоим приходилось бывать: мир тесен! Курило, оказывается, второй год в заключении, устроен сносно, «насколько возможно в этих условиях, ву компренэ...», и готов оказать мне содействие. Пять минут назад он на моих глазах хлестал по лицу, кощунственно матерясь, подвернувшегося старого еврея, вероятно, провизора или мелкого почтового чиновника в прошлом.

— С этой сволочью иначе нельзя, ничего не поделаешь!

О, лагерное начальство знало, что делало, когда порасставило одних заключенных надзирать за другими, поощряя при этом самых ревностных и жестоких, готовых служить безотказно. Находились садисты, обретшие в ремесле палача свое призвание. Рассказывали, что Курило лютовал еще в гражданскую войну, мстя за изнасилованную красноармейцами невесту и истребленную семью. Как бы ни было, в его лице проглядывало что-то опасное и сумасшедшее... Разумеется, таким «бывшим», как я, со стороны Курило и его подручных ничего не грозило, разве пришлось бы выполнять прямое приказание начальства. И когда он, вежливо приложив руку к фуражке, отошел, я почувствовал облегчение

В карантинной роте я не пробыл и трех полных суток. Под вечер третьего дня в собор пришел санитар с предписанием забрать меня в лазарет. Я поспешил за ним, провожаемый завистливыми взглядами окружающих. Темнело, и в проходах уже похаживали вахтеры, прикидывая — с кого начать и что отнять. Уже были разбитые в кровь лица, отобранные вещи, уведенные в застенок жертвы...

Ворожил мне Георгий. Был он делопроизводителем лазарета — правой рукой главного врача Эдиты Федоровны Антипиной, умной и властной дамы из семьи состоятельных московских немцев. Она заставила лагерное начальство с собой считаться, держалась достойно и независимо. Знающий врач, она и свою санчасть наладила отлично. Расторопный, по-военному пунктуальный Георгий был ей ценным помощником.

Работал он с редким в лагере рвением: служба давала ему возможность делать пропасть добра. Не перечесть, сколько выуживал он из тринадцатой — карантинной — роты священников, «бывших», беспомощных интеллигентов! Укладывал их в больницу, избавлял от общих работ, пристраивал в тихих уголках. И зная, насколько это способствование «контре» раздражает начальство, Эдита Федоровна неизменно помогала своему верному адъютанту. Георгий

спасал — она выдерживала попреки сверху. И отстаивала раз взятых под покровительство. Зато, когда время пришло, и отыгралось же начальство за свои уступки...

В стареньком кителе и фуражке, надетой на манер, выдававший за версту кадрового кавалериста, Георгий весь день сновал между лазаретом, ротами, управлением, добиваясь облегчений, переводов, пропусков, льгот.

Я был одним из многих, кто благодаря его участию счастливо миновал чистилище — длительный и обязательный искус общих работ — и сразу оказался устроенным; стал ходить «в должность» — статистиком санчасти. Осоргин же помог мне поселиться в монастырской келье. Можно было жить чисто, неприметно, тихо. До поры, разумеется. Потому что зыбко лагерное благополучие.

Жили мы втроем. Келья наша была на втором этаже здания, выстроенного еще в XVIII веке. Двойная, отгораживающая от всякого шума дверь в коридор. В двухаршинной толще стены — крохотное окошко. Обращено оно в узкий проход между Преображенским собором и нашим приземистым корпусом — бывшим Отрочьим. Тишина глухая — и ни один звук снаружи не проникает: должно быть, сюда и в старое время едва доносился колокольный благовест. Монахи могли погружаться в молитву и размышления, отрешаться от всего сущего на земле. Ждать праведную кончину.

В подобных кельях жили наши святители: Илларионы, Петры, Сергии, Филиппы, Гермогены... Писались поучения и летописи, «Слова»... Нет, не немы эти стены.

Тут настолько обособленно, что и нам, нынешним келейникам, можно забыть про гудящие соборные своды, отражающие тысячи голосов, про кучки, вереницы и толпы снующих всюду, спешащих и отправляемых людей.

Нас, как я упомянул,— трое. Бухгалтер управления — старый банковский служащий из Киева, ненароком зачисленный в белые офицеры. Он не склонен задумываться над тем, что обусловило его водворение в лагерь,— как и меня, на три года. Работает он в привычной конторской обстановке, за столом со счетами. Имеет пропуск в «управленческую» столовую, поселен очень сносно. О чем тужить? Чего желать?.. Я смутно запомнил этого человека, в общем-то легкого для совместной жизни — воспитанного и молчаливого. И начисто забыл его имя. Зато другого своего сокелейника я сейчас словно вижу и слышу.

Был он с виду типичный русский батюшка — добро-

душный, полный, приземистый, приветливый. Небольшая бородка и мягкие пухловатые руки.

— Ну что тут у вас? — говорил с порога кельи отец Михаил.— Что хорошего слышно?

Непременно хорошего! Ни десятилетний срок, ни пройденные испытания не отучили отца Михаила радоваться жизни. Эта его расположенность — видеть ее доброе начало — передавалась и его собеседникам: возле него жизнь и впрямь казалась светлее. Не поучая и не наставляя, он умел рассеять уныние — умным ли словом, шуткой ли. Не прочь был пошутить и над собой.

Отец Михаил нисколько не погрешал против истины, говоря, что не тяготится своим положением и благодарит Бога, приведшего его на Соловки. Тут могилы тысяч праведников. И молится он перед иконами, на которые крестились угодники и подвижники. Вера этого ученого богослова, академика, была по-детски непосредственной. Верил он всем существом, органически.

Из нашего каждодневного общения я вынес четкое представление о нем как о человеке мудром и крупном. По манере жить, умению входить в дела и нужды других можно было судить о редкостной доброте — той, что с разумом. Его находчивость и острота в спорах позволяли представить, как красноречивы и интересны должны были быть выступления депутата Государственной Думы священника Михаила Митроцкого с ее трибуны.

...Духовенство на Соловках поголовно зачислялось в роту сторожей. Отец же Митроцкий подшивал бумаги в какой-то конторе управления. На работу он ходил в военного покроя тужурке и сапогах. Вечером же надевал рясу, скромную скуфью и шел за монастырскую ограду. В кладбищенской церкви святого Онуфрия регулярно отправляли службы немногие оставленные на острове монахи.

В двадцать восьмом году еще разрешалось заключенным — духовным лицам и мирянам — посещать эти службы. Православным был отведен храм на погосте. Прочим вероисповеданиям и сектам —часовни и церкви, каких много было разбросано вокруг монастыря.

Вечером закрывались «присутствия», и «рабочая» жизнь лагеря замирала. Удивительно выглядела в это время неширокая дорога между монастырской стеной и Святым озером. Глядя на идущих в рясах и подрясниках, в клобуках, а то и в просторных епископских одеждах, с посо-

хом в руке, нельзя было догадаться, что все они — заключенные, направляющиеся в церковь.

Мерно звонил кладбищенский колокол. Высокое северное солнце и в этот закатный час ярко освещало толпу, блестело на глади озера. И так легко было вообразить себе время, когда текла у этих стен ненарушенная монастырская жизнь...

Мы шли вместе с отцом Михаилом. Он тихо называл мне проходящих епископов: Преосвященный Петр, архиепископ Задонский и Воронежский; Преосвященный Виктор, епископ Вятский; Преосвященный Илларион, архиепископ Тульский и Серпуховской... Тогда на Соловках находилось в заключении более двадцати епископов, сонм священников и диаконов, настоятели упраздненных монастырей.

— Думаю, настало время,— говорил отец Михаил,— когда русской православной церкви нужны исповедники. Через них она очистится и прославится. В этом промысел Божий. Ниспосланное испытание укрепит веру. Слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут ее опорой, какой были мученики первых веков. Ведь и сейчас они для нас — надежная веха... Вот и вы — петербургский маловер — поприсутствуете на здешних богослужениях и сердцем примете веру. Она тут в самом воздухе. А с ней так легко и не страшно... Даже в библейской пещи огненной.

Службы в Онуфриевской церкви нередко совершало по нескольку епископов. Священники и диаконы выстраивались шпалерами вдоль прохода к алтарю. Сверкали митры и облачения, ярко горели паникадила... В двух хорах пели искусные певчие — оперные актеры. Богослужения были приподнято-торжественными, чуть парадными. И патетическими. Ибо все мы в церкви воспринимали ее как прибежище, укрывающее от врагов. Они вот-вот ворвутся... Так семь веков назад ворвались татары в Успенский собор во Владимире.

...Слева от амвона, всегда на одном и том же месте, весь скрытый мантией и куколем с нашитыми голгофами, стоял схимник. Стоял не шелохнувшись, с низко опущенной головой, немой и глухой ко всему вокруг — углубленный в себя. Много лет он не нарушал обета молчания и ел одни размоченные в воде корки. Годы молчания и созерцания. Ему не удалось уйти в глухой затвор: камеры, в которых замуровывались соловецкие отшельники, находились под угловыми главами Преображенского собора, обращенного в пересылку. И я гадал: задевает ли схимника происходя-

щее вокруг? Не подтачивают ли его мир разрушившие Россию события? Или они для него — незначащая возня у подножия вершины, на которую вознсела его углубленная беседа с небом?.

С клироса, глазами пронзительными и невидящими одновременно, озирал стоящих в храме иеромонах. Лицо его под надвинутым на брови клобуком как на древних новгородских иконах: изможденное, вдохновленное суровой верой. Он истово следил, чтобы чин службы правили по монастырскому уставу, и не разрешал регенту отклоняться от пения по крюкам. Знаменитые столичные дьяконы при нем не решались петь молитвы на концертный лад. Еще об этом монахе знали, что был он из вятских мужиков-богомольцев, приехавших на месяц по обету потрудиться на Соловках. И прожил здесь пятьдесят лет.

Суриков написал бы с него стрельца — непреклонного, для которого дьявольское в любом новшестве. Мы все были для него пришельцами, несшими гибель его святыне.

В церкви, освещенной огнями паникадил и лампад, тесно. Слова и напевы тысячелетней давности, покрой риз и облачений заповедан Византией. Кто знает — не надевал ли эту самую епитрахиль или фелонь Филипп Колычев, соловецкий игумен, а потом — митрополит Московский и всея Руси, задушенный Малютой в Тверском Отрочьем монастыре? Нет ли в этой преемственности и незыблемости отпечатка вечной истины? Какие неисповедимые пути привели столько православного духовенства сюда, в сложенную из дикого камня твердыню россиян на севере — древнюю соловецкую обитель? Не воссияет ли она отныне новым светом, не прославится ли вновь на длинную череду столетий?

Эти мысли тревожат сознание — веришь и сомневаешься...Отрадно бы обрести опору в трудной жизни — не стояла ли некогда и не выстаивала ли Россия на твердой вере? Или все не так, а попросту — поток революции смыл и похоронил старую Россию, а церковь словно уцелела, вот и родилась иллюзия, что она способна, как дуб, выстоять в любое лихолетье?..

Прервалось пение на клиросах. Старческий, слегка дребезжащий голос призывает молиться за «страждующих, плененных и сущих в море далече». При этих словах к горлу подступает ком. Да, да, именно про нас: плененные, кругом плещет студеное Белое море... «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вас...» И эти слова заставляют тянуться к некоей благодатной и всемогущей

силе, способной защитить, укрыть от захлестнувших мир зла и насилия. Эти короткие, как приступ головокружения, минуты умиления сменяются возвращением к трезвой оценке бытия... К евангелию в полупотемках церкви сквозь притихшую толпу пробирается, набожно крестясь, комендант пересылки Курило, целует образки на переплете...

Службы были долгими. Мы выходили из церкви, когда вокруг уже лежал светлый покой беломорской ночи. В необычном освещении ряды одинаковых крестов не отбрасывали тени и выглядели призрачными. Непотревоженно лежал под ними прах почивших в бозе иноков. Монахи не запускали ни одной могилы — и самой древней; обновляли крест с надписью и холмик. Можно было отслужить панихиду по останкам монаха XVI века. Такая преемственность казалась несокрушимой. И становилось страшно. Страшно за будущее своего отечества, своего народа, отлученного от своих отцов — их веры, дел, обычаев, забот...

* * *

...Сверкают белизной стены корпусов со средневековыми названиями — Отрочий, Рухлядный, Квасоваренный. Громада соборов Соловецкого ставропигиального монастыря как будто излучает свет. В ограде часть обширных мощеных дворов обращена в цветник с отлично ухоженными клумбами, скамьями вдоль разметенных, посыпанных песком дорожек.

В погожий летний день тут настоящее светское гулянье: прохаживаются и сидят люди с отличными манерами. Они учтиво друг с другом раскланиваются, благовоспитанно разговаривают вполголоса, нередко вставляя французские слова. Если случится пройти тут даме из женбарака, знакомые очень изысканно целуют ей руку. У большинства этих светских людей вид потрепанный и болезненный, на них одежда, обтершаяся на тюремных нарах, но держатся они чопорно и даже надменно. Это — защитная реакция упраздненных, попытка как-то удержаться на краю засасывающей лагерной трясины, предохранить что-то свое от размывания мутной волной обстановки, прививающей подлую рабскую психологию. Хлипкая внешняя преграда...

Церемонность этих людей только подчеркивает их немощность и обреченность. Здесь бывшие сановники и придворные, бывшие правоведы и бывшие лицеисты, бывшие поме-

щики и офицеры, бывшие присяжные поверенные, кадеты, актеры... Все бывшие, для которых нет будущего.

Я много моложе большинства этих людей — они принадлежат предшествующему поколению — и потому, вероятно, лучше отдаю себе отчет в непоправимости происшедшего. Как-то до меня донеслось: «Мы с вами еще послужим...» Это, доверительно пожимая локоть собеседника, произнес, заключая разговор, седой, очень благообразный господин в заплатанной куртке английского покроя, бывший дипломат, которого мне потом называли. Нет, невозможно было его представить себе в черном с золотым шитьем мундире царского посла, как уже не вписывались в память золоченые купола монастыря, замененные дощатыми четырехскатными крышами...

В этот мой первый соловецкий срок я не мог в полной мере проникнуться горечью и жутью лагерной жизни. После впечатлений тюрьмы и пересылки настали дни, наполненные делами и интересами, позволявшими отвлечься от бесплодных, трудных раздумий и сожалений. Создался некий внутренний мирок, за пределы которого можно было не заглядывать — творившееся там словно не касалось меня непосредственно. То была передышка, период иллюзий, отгораживавших от истинного положения. Эти иллюзии питали чисто внешне благоприятные обстоятельства.

Заботами оставшихся на воле близких и не забывавшего меня посольства я ни в чем не нуждался. Был отлично одет и обут, располагал запасом «бонов» — соловецкой валюты — для лавки, прачки, на прихоти. Пожалуй, никто из соловчан в те поры чаще моего не ходил в контору за посылками.

Работа не требовала особых усилий — я бывал свободен и бо́льшую часть присутственного времени. Присвоенные же моей должности прерогативы позволяли невозбранно выходить за зону — ограду монастыря. Более того — бродить по всему острову.

С лишком год после моего водворения на Соловки — до зимы двадцать девятого — тридцатого, открывшейся Варфоломеевской ночью, массовыми убийствами заключенных,— пятьдесят восьмая статья, иначе говоря, «бывшие» в широком значении, не подвергалась последовательной травле. Наоборот: контрики ведали хозяйственными учреждениями, возглавляли предприятия, руководили работами, управляли складами, финансами, портом, санчастью; заполняли конто-

ры. Комендатура — внутренняя охрана лагеря — комплектовалась бывшими военными.

Такое доверие «бывшим» оправдывалось: они не воровали, порученное им выполнялось на совесть. И начальство сквозь пальцы смотрело на исподволь отвоевываемые ими для себя привилегии: общие помещения и физическая работа сделались уделом бытовиков. Проштрафившегося или неполюбившегося контрика отправляли на общие работы и поселяли на нары.

В предоставленную себе лагерную элиту входили люди самых разных сословий и состояний. Исключались из нее одни стукачи. «Падших ангелов» — разжалованных партийных и советских деятелей — в те годы еще не отправляли в лагеря наравне с нами; не было и представителей новой, послереволюционной интеллигенции. По ст. 58 УК поступали в подавляющем большинстве одни «бывшие» — дворяне, чиновники, военные, духовенство, принадлежащие торгово-промышленному сословию и прежним интеллигентным профессиям. Принятый в замкнутый соловецкий круг бывал негласно проверяем. Его прошлое, связи, знакомства подвергались просвечиванию.

Мне пришлось испытать это на себе.

...На первых порах встречен я был сочувственно и с доверием. Достаточной рекомендацией служили хлопоты обо мне Осоргина. А скоро нашлись и связующие нити знакомства. Так, бывало, бабушка моя, Елизавета Андреевна Левестам, усаживала рядом с собой гостя и не отпускала, пока не устанавливала общей родни, хотя бы в четвертом колене. На острове находилось несколько бывших флотских офицеров и гардемаринов. С ними мне — правнуку известных адмиралов Лазаревых — было легко установить контакты. Они все знали адмирала Андрея Максимовича Лазарева, двоюродного брата моей матери, его сына моряка Максима, Авиновых и других членов тесного круга военных моряков.

Однако вскоре я начал замечать в обращении со мной холодок, некую уклончивую осторожность. А со стороны некоторых — и подчеркнутую неприязнь. Клубок пришлось распутывать Георгию.

— Сел по бандитской статье и еще удивляется... Как же тут не насторожиться? Ты, может, кассы взламывал...— шутил он, но за «расследование» взялся всерьез.

И вот что выяснилось.

Была на Соловках небольшая группа заключенных филологов. Из них ближе я знал Николая Греча, безнадежно

больного чахоткой молодого человека, резкого и озлобленного. Сразу после ареста его оставила обожаемая жена, а с приговором — десяткой лагерей — исчезла надежда когда-либо завершить увлекавшее научное исследование.

Все филологи считали, что своим водворением на остров они обязаны Юрию Александровичу Самарину, сотруднику их института, исправно несшему службу осведомителя. Он несусветно оговорил всех на следствии, топил на очных ставках. Греч и его приятели, установив близкие мои связи с семьей Самариных, знакомство с Юшей, как звали Юрия Александровича в московских уцелевших гостиных, заключили: остерегаться надо и меня. Знающему мою подноготную Георгию пришлось, чтобы рассеять распространенное жертвами Юрия Самарина подозрение, поручиться за меня. Впоследствии Греч рассказывал мне подробности показаний Самарина, уличавшего своих сослуживцев в контрреволюционных замыслах.

— Слава богу,— говорил Георгий,— что нет в живых Александра Дмитриевича. Что бы с ним было? Узнать такое о единственном сыне, надёже рода... А каково будет Лизе? Ведь об этом надо дать знать в Москву, предупредить. И такое могло случиться в семье Самариных!

Действительно, было чему ужасаться. Род этот и впрямь дал России честнейших общественных деятелей. Александру Дмитриевичу Самарину, отцу Юрия, занимавшему несколько месяцев пост обер-прокурора Святейшего Синода, Николай Второй предложил подать в отставку: Самарин не устраивал околораспутинскую камарилью. В Петербурге говорили, что с его уходом в правительстве не осталось ни одного порядочного человека. Московское дворянство поспешило тогда выбрать Александра Дмитриевича своим губернским предводителем.

В семнадцатом году на Соборе Православной церкви была выдвинута кандидатура Самарина на московскую митрополичью кафедру. Он не захотел принять постриг — говорили, что из-за дочери Елизаветы, в которой Александр Дмитриевич души не чаял.

Эта удивительная русская девушка едва не с пятнадцати лет взялась за полные тягот и опасностей обязанности связной. С монашками из разогнанных монастырей и верующими женщинами стала ездить по России с одеждой и деньгами, тайно жертвуемыми заточенным и сосланным духовным лицам. И — по стопам воспетых русских женщин — последовала за отцом в якутскую ссылку. Вот только не было у нее

заботливо снаряжавшей в путь состоятельной семьи, ни преданной горничной, ни терявшихся перед петербургской аристократкой смотрителей и комендантов... А были — езда в нетопленых вагонах, мешочники и озлобленный люд. Были заградительные отряды с хлебнувшими сладкой безнаказанности, плохо говорящими по-русски стрелками...

У брата Лизы не было и сотой доли спокойного мужества сестры. Пожалуй, именно трусость определила падение Юрия. В органах его крепко припугнули. И — страх земной пересилил страх кары небесной! А в семье Самариных незыблемо: «Без Бога — ни до порога»...

Юша Самарин не пропускал служб. В храме подряд ко всем иконам прикладывался, отбивал перед ними земные поклоны. И со слезами умиления! И как строго он порицал недостаточно чинное стояние в храме, опоздание к богослужению или манкирование поцелуем руки подающего крест священника! Перед ним и значительно более искушенный в церковностях человек, чем я, должен был чувствовать себя оглашенным. И вот что, оказывается, таилось за набожностью, за этим усердием христианина...

...Что бы ни меняли на Соловецких островах новые люди, какие бы порядки ни заводили, как бы противоположны ни были цели и задачи пришельцев вековому назначению монастыря — перед находившимся в те годы в лагере русским человеком лежала открытой летопись отвергнутых путей России.

...В глубь нетронутых лесов, вдоль берегов разбросанных по острову бессчетных озер шли обставленные крестами тропы. Вели они к потаенным скитам, где длинные годы молились и спасались старцы. Здесь в двадцатом веке продолжалось начатое еще в Киевской Руси. Здесь жили легенды о Сергии Радонежском, Кирилле Белозерском, Ниле и Пафнутии, Иосифе, рубивших в глухих дебрях кельи, расширявших границы православия и русской государственности.

Каждая пядь соловецкой земли, каждый монастырский камень говорили о горстках подвижников, радевших о духовности. Подвиг веры сочетали с трудами, приносившими земные плоды. Тысячи и тысячи богомольцев — мужиков архангельских, вятских, олонецких, пермских, со всего севера России — встречали здесь своих земляков. Видели их, в подрясниках и скуфьях, ухаживающими за скотом, возделывающими землю, искусных рыбаков и плотников, мореходцев, гончаров, кожевников, скорняков, каменщиков.

И я ходил по острову как по огромному музею истории моего народа, исполненной тягот, опасностей и свершений.

В надвратной Благовещенской церкви и в бывших покоях настоятеля было выставлено средневековое оружие — бердыши, пищали и пратазаны. Соловецкий игумен был одновременно и комендантом крепости с гарнизоном из монахов, обученных ратному делу.

...Неподалеку от гавани на морском берегу лежит Переговорный камень. По преданию, на этом месте настоятель твердо отверг предложение англичан сдать осажденную обитель. Высадить десант и брать штурмом отчаянных Божьих иноков бритты не решились. И ограничились бомбардировкой с моря. От гранитных стен ядра отскакивали горошинами. Следы их монахи обозначили кружками. Память о вкладе Соловков в оборону отечества... А монахи рассказывали паломникам, что споспешествовали обороне и чайки, густыми стаями налетавшие на вражеские корабли и криками своими и обильным испусканием помета сеявшие растерянность и смущение в рядах неприятелей. И подводили к фреске, украшавшей изнутри шатер над криницей: по палубе, преследуемые огромными птицами с широко разверстыми клювами, метались бравые артиллеристы королевы Виктории в испачканных мундирах и с залепленными белыми потеками лицами.

В глубине острова, меж лесистых горок и затененных ложбин, дремали тихие каналы. Берега их и шлюзы, выложенные замшелыми камнями, были укреплены вечными лиственничными ряжами. Каналами монахи соединили цепь озер для сплава бревен. И по всему рукотворному водотоку развели красную рыбу и хариусов.

Вдоль Святого озера тянулись огороды, ряды длинных монашеских теплиц. На тучных пастбищах острова Большая Муксалма паслись крупные породистые коровы — остатки стада, за которые Соловецкий монастырь награждался медалями Императорского общества поощрения племенного животноводства. Этот остров километровой дамбой, сложенной из каменных глыб, соединялся с главным, где был монастырский кремль.

А на Малой Муксалме, входящей в Соловецкий архипелаг, до лагерного времени вольно паслись лапландские олени, выпущенные туда еще при игумене Филиппе.

На пустынном морском берегу мне доводилось видеть небольшую артель рыбаков-монахов, заводивших тяжелый

морской невод. Делали они все молча, споро и слаженно — десяток бородатых пожилых мужчин в подпоясанных подрясниках и надвинутых до бровей скуфьях. Самодельные снасти: карбасы, на каких плавали новгородцы; исконная умелость этих рыбаков, слитых с набегавшими студеными волнами; каменистая полоса прибоя, и за ней — опушка из низких, перекрученных ветрами березок... Все в этой картине от века: древнейший промысел, отражавший прочные связи человека с природой, да еще освященный евангельским преданием... Нет, не суждено было этим мирным русским инокам стать апостолами. Однако они уже познали полную меру тревог и преследований, и оставались считанные дни до изгнания их с острова. И — кто знает? — не ожидали ли их там, на материке, как прославленного соловецкого игумена преосвященного Филиппа, современные Малюты Скуратовы?

Я бродил по окрестностям монастыря, простаивая возле покрытых славянской вязью крестов, огромных, в три человеческих роста. Их ставили по обету или в память события, отметившего вехой размеренные монастырские будни. Входил в заброшенные часовни с остатками скромного убранства, уже разгромленные, уже оскверненные. В одной из них древнее распятие послужило мишенью для стрельбы. Расщепленное и развороченное пулями дерево светлело из-под краски.

У стены Преображенского собора уцелели две могильные плиты. Под одной — останки Авраамия Палицына. Имя келаря Троице-Сергиевой лавры сразу переносило в тяжкие годы Смуты и говорило о преданности русскому делу. Рядом — могила последнего кошевого атамана Запорожской сечи Петра Кальнишевского, заточенного в монастырь при Екатерине II. Неподдельные свидетельства истории...

Под сводами церкви над Святыми воротами и в примыкающих настоятельских покоях был устроен небольшой музей. Немногочисленный персонал его — заключенные, в большинстве научные работники, занимавшиеся и на воле русской историей. Находки в неполностью разгромленных монастырских архивах и ризницах лишали их сна.

Среди этих увлеченных была сотрудница Эрмитажа, дама забальзаковского возраста, подлинный синий чулок. Она, по собственному признанию, беспокоилась лишь о том, чтобы успеть уложиться в свой трехлетний срок и довести до конца особенно важные описи. Стопы рукописных книг в кожаных

переплетах с медными застежками отгораживали ее глухой стеной от лагерных тревог, приносили ощущение причастности большому нужному делу — где бы его ни делать!

Но вот на блеклом и холодном горизонте этой старой девы забрезжил огонек, суливший ей свою долю радости и тепла.

В музее работал молодой человек — замкнутый, воспитанный и, как легко угадывалось, очень одинокий, без сохранившихся живительных связей с волей. Ему была очень кстати заботливая утешительница, к тому же взявшая на себя попечение о его мелких нуждах холостяка, для которого стирка платка и штопка носков вырастают в проблему.

Не хочу гадать о том, как далеко зашли их отношения. Знаю лишь, что она, никогда не ведавшая ответной любви, сильно привязалась к потерпевшему крушение, по-детски беспомощному человеку. Синий чулок расцвела. Непривлекательная внешность ее почти не замечалась: женщина, впервые по-настоящему полюбившая, не бывает дурнушкой.

Предмет ее стал еще больше сторониться людей и проводил все время в музее. Но вид его являл заботу пристрастных женских рук. Знавшие эту пару, не сговариваясь, опекали ее как могли. Что в лагерных условиях означало: ничего не замечать, молчать и, по возможности, способствовать уединению.

Но, как бы сказали в старину, создание Врага Рода Человеческого — лагерь, порожденный силами зла,— по природе своей не способен вместить начал добра и счастья. Нашлись завистники — из тех, кому непереносимо терпеть соседа, в чем-либо более удачливого, благополучного. И донос сделал свое дело.

Возлюбленный был схвачен среди ночи в общежитии и увезен на Заяцкие острова — дальнюю командировку, носящую ярлык штрафной. Гибельные эти острова предвосхитили гитлеровские Vernichtungslagern — лагеря уничтожения.

Ее оставили в покое, тем усугубив отчаяние. Легче было бы самой подвергнуться преследованиям, чем думать о неразделенных испытаниях дорогого человека, брошенного в барак с бандитами и охраняемого садистами... Мало сказать, что она погасла: за рабочим столом, заваленным книгами, сидел сломленный, опустошенный человек...

Через некоторое время Георгию и его другу Александру Александровичу Сиверсу удалось вытащить с Зайчиков пострадавшего за «половую распущенность» — таким подлым

языком определялись подобные нарушения лицемерного лагерного пуританизма — и перевести на Муксалмскую ферму, в относительно сносные условия. Это несколько взбодрило сразу постаревшую, двигающуюся как автомат несчастную его приятельницу.

Как-то, стоя возле меня, разглядывавшего вериги — массивные, грубо выкованные кресты и плашки с цепями, какие носили, смиряя плоть, монахи, надевая их поверх власяницы, а то и на голое тело,— она тихо сказала:

— Легче бы их носить,— и отошла.

Кстати — о Сиверсе. По делу лицеистов он был приговорен к расстрелу, замененному десяткой. В лагере возглавлял один из хозяйственных отделов управления. А потом...

Искалеченные, растоптанные судьбы... Вороха горя и унижений, долгие годы издевательств, жестокости, пыток, убийств. Как поверить, что ими утверждаются гуманные идеалы!

...Иногда Георгий уводил меня к епископу Иллариону, поселенному в Филипповской пустыни, верстах в трех от монастыря. Числился он там сторожем. Георгий уверял, что даже лагерное начальство поневоле относилось с уважением к этому выдающемуся человеку и разрешало ему жить уединенно и в покое.

Дни короткого соловецкого лета пригожи и солнечны. Идти по лесу — истинная радость. Довлевшие каждому дню заботы — позади, а природа, с ее неподвластною нам жизнью, захватывала нас. Всполошно взлетали из-под ног выводки рябчиков. Нетронутые, алели в гуще подлеска яркие северные пионы. Перепархивали молчаливые таежные птицы. Обдавали запахи хвои и трав...

Преосвященный встречал нас радушно. В простоте его обращения были приятие людей и понимание жизни. Даже любовь к ней. Любовь аскета, почитавшего радости ее ниспосланными свыше.

Мы подошли к его руке, он благословил нас и тут же, как бы стирая всякую грань между архиепископом и мирянами, прихватил за плечи и повлек к столу. Приветливый хозяин, принимающий приставших с дороги гостей. И был так непринужден, так славно шутил, что забывалось о его учености и исключительности, выдвинувших его на одно из первых мест среди тогдашних православных иерархов.

Мне были знакомы места под Серпуховом, откуда был

родом владыка Илларион. Он загорался, вспоминал юность. Потом неизбежно переходил от судеб своего прежнего прихода к суждениям о церковных делах России.

— Надо верить, что церковь устоит,— говорил он.— Без этой веры жить нельзя. Пусть сохранятся хоть крошечные, еле светящие огоньки — когда-нибудь от них все пойдет вновь. Без Христа люди пожрут друг друга. Это понимал даже Вольтер... Я вот зиму тут прожил, когда и дня не бывает — потемки круглые сутки. Выйдешь на крыльцо — кругом лес, тишина, мрак. Словно конца им нет, словно пусто везде и глухо... Но «чем ночь темней, тем ярче звезды...». Хорошие это строки. А как там дальше — вы должны помнить. Мне, монаху, впору писание знать.

Иллариону оставалось сидеть около года. Да более двух он провел в тюрьме. И, сомневаясь, что будет освобожден по окончании срока, он все же готовился к предстоящей деятельности на воле. Понимая всю меру своей ответственности за «души человеческие», преосвященный был глубоко озабочен: что внушать пастве в такие грозные времена? Епископ православной церкви должен призывать к стойкости и подвигу. Человека же в нем устрашало предвидение страдания и гонений, ожидающих тех, кто не убоится внять его наставлениям.

Тогда уже укрепилась «живая» церковь — «красная», как ее прозвали, непостижимо примирявшая Христа с властью Антихриста. Соблазны живоцерковников таили величайшую опасность для веры. Именно ее судьбы тревожили владыку. О себе он не думал и был готов испить любую чашу.

Мы не засиживались, зная, как осаждают нашего хозяина посетители. Друзья старались ограничить их наплыв. Популярность преосвященного настораживала начальство, и можно было опасаться расправы. Через Георгия Илларион поддерживал связь с волей, и тот приходил к нему с известиями и за поручениями.

И короткая беседа с Илларионом ободряла. Так бывает, когда общаешься с человеком убежденным, умным и мужественным. Да еще таким стойким: власть стала преследовать владыку, лишь только повела наступление на церковь...

* * *

...Полстолетия — срок немалый для человеческой памяти. В ней то выпукло и даже назойливо всплывает будничный мусор, то — невосполнимый провал, темнота... Тщет-

но пытаешься вытащить на свет важное звено пережитого. И кажется порой лишенным смысла кропотливый труд, предпринятый как раз с тем, чтобы дать потомкам правдивое свидетельство очевидца...

Я писал, что первый срок на Соловках отбыл легко. Наполненность жизни отгораживала меня от судеб большинства солагерников. Но не подвох ли это памяти? Не результат ли сопоставления с последующими окаянными днями? С годами, неизмеримо более трудными, растоптавшими первоначальную стойкую надежду на счастливые перемены и недолговечность выпавших на мою долю передряг?

Или участник событий не способен ощутить их подлинные масштабы, оценить всесторонне и разбирается в них послепому?

...В конце пятидесятых годов, уже выпущенный из лагерей, я отправился в места, где, казалось мне, наверняка нападу на следы своего прошлого. Найду, к чему привязать самые сокровенные воспоминания о детстве, составлявшем продолжение жизни отцов и дедов, детстве, органически спаянном с прежней Россией, откуда почерпнуты ощущения мира и исконные привязанности.

Что за горькое паломничество! На месте усадьбы — поле, засеянное заглушенным сорняками овсом; где темнел старый бор — кусты и рассыпавшиеся в прах пни; возле церкви, обращенной в овощехранилище и облепленной уродливыми пристройками,— выбитая скотом площадка со сровненными с землей семейными могилами... Ничего не узнать! Неприкаянным и бесприютным обречено блуждать и дальше бесплотное, уже не привязанное к земному реперу воспоминание.

Невозможность подтвердить показания памяти смущает. О тех бедах нет справочников, доступных архивов. Нагроможденная ложь похоронила правду и заставила себя признать. Как глушилки пересиливают в эфире любой мощи передачу, так торжествует настойчивый и беззастенчивый голос Власти, объявившей небывшим виденное тобой и пережитое, отвлекающей от своих покрытых кровью рук воплями о бедах народов других стран! Эту теснящую тебя всей глыбой объединенных сил государства ложь подпирают и приглядно рядят твои же собратья по перу. Пораженный чудовищностью проявляемого лицемерия, сбитый с толку наглостью возглашаемой неправоты, ощупываешь себя: не брежу ли сам? И не привиделись ли мне ямы с накиданными трупами на Соловках, застреленные на помойках

Котласской пересылки, обезумевшие от голода, обмороженные люди, «саморубы» на лесозаготовках, набитые до отказа камеры смертников в Тульской тюрьме... Мертвые мужики на трамвайных рельсах в Архангельске...

Все это не только в голове, но и на сердце. А перед глазами — статьи, очерки в журналах, целые книги, взахлеб рассказывающие, с каким энтузиазмом, в каком вдохновенном порыве устремлялись на Север тысячи комсомольцев строить, осваивать, нести дальше в глубь безлюдия светлое знамя счастливой жизни... Смотрите: возведены дома, выросли целые поселки, города, протянулись дороги — вещественные свидетельства «героического» труда...

Не следует думать, что эти переполненные восторгами писания — плоды пера невежественных выдвиженцев, провинциальных публицистов или оголтелых, нерассуждающих «слуг партии» — отнюдь нет! Авторы их — респектабельные члены Союза писателей, отнесенные к элите, к цвету советской интеллигенции, глашатаи гуманности и человечности. Они начитаны и подкованы на все случаи жизни. Это позволяет им вовремя перестраиваться — с тем чтобы всегда оставаться на плаву, не растеряться и при самых крутых переменах. Надобно было — публиковали статьи в прославление «великого вождя», превозносили Павленко с его «Счастьем», возвели в корифеи автора «Кавалера Золотой Звезды»... Переменился ветер — не опоздали с «Оттепелями» и сборниками, курившими фимиам новому «кормчему»... После его падения какое-то время принюхивались, чем запахло. И учуяв, что воспреемнику угодно какое-то время поскромничать, стали хором восхвалять коллективную мудрость руководства и на досуге переругиваться между собой, забавляя публику попреками в «беспринципности»...

Нечего говорить, что все эти «инженеры человеческих душ», благополучно пережившие сталинское лихолетье, были превосходно осведомлены о лагерной мясорубке и, пускаясь в дальние вояжи по новостройкам, отлично знали — знали, как никто! — что путь их через болота и тундру устлан костьми на тысячах километров... Знали, что огороженные ржавой колючей проволокой, повисшей на сгнивших кольях, площадки — не следы военных складов, что обвалившиеся деревянные постройки — не вехи триангуляционной сети, а вышки, с которых стреляли в людей. Видели на Воркуте те распадки и лога, где расстреливали из пулеметов и закапывали сотнями «оппозиционеров»... И среди них — прежних их знакомцев и приятелей по московским редакциям...

И вот писали — честным пером честных советских литераторов свидетельствовали и подтверждали: не было никогда воркутинских или колымских гекатомб, соловецких застенков, тьмы погибших и чудом выживших искалеченных мучеников. И весь многолетний лагерный кошмар — вражьи басни, клевета о «рабском труде» в СССР!

...Я в Переделкине — писательской дачной резиденции под Москвой. Иду по дороге, огражденной с обеих сторон заборами писательских дач. Мой спутник Вениамин Александрович Каверин, издали узнав идущих навстречу людей, тихо предупреждает:

— Я с ним не кланяюсь...

Мы поравнялись и молча разминулись с высоким и грузным, слегка сутулившимся стариком, поддерживаемым под руку пожилой мелкой женщиной с незапоминающимися, стертыми чертами. Зато бросались в глаза и врезались в память приметы ее спутника: неправильной формы уродливо оттопыренные уши и тяжелый тусклый взгляд исподлобья В нем — угрюмая пристальность и настороженность: выражение потревоженного стуком в дверь интригана, строчащего донос. Испуг — и готовность дать отпор, куснуть; вызов — и подлый страх одновременно. В крупных застывших чертах лица и взгляде старика, каким он скользнул по мне,— недоверие и враждебность: их вызывает встреча с незнакомцем у людей подозрительных.

Это был сверстник Каверина, вошедший одновременно с ним в группу писателей из провинции, осевших в начале двадцатых годов в Москве, которых приручал и натаскивал Горький, тогда уже достаточно перетрусивший и соблазненный, чтобы стать глашатаем насилия, лицемерно оправдываемого демагогическими лозунгами,— Валентин Катаев, одна из самых растленных лакейских фигур, когда-либо подвизавшихся на смрадных поприщах советской литературы.

Нелегко было, вероятно, Каверину порвать с прежним попутчиком. В этом — мера низости автора «Сына полка» и «Белеющего паруса»: уж если деликатный и мягкий Каверин решился не подавать ему руки... Впрочем, Каверин, если в книгах своих и воспоминаниях старается замкнуться в цитадели «чистого искусства», отгораживающей от критики порядков, не позволяет себе судить о политике, то поступками своими — выступлениями в защиту гонимых, действен-

ным сочувствием к жертвам травли — подтвердил репутацию честного и достойного человека.

В среде советских литераторов, где трудно выделиться угодничеством и изъявлениями преданности партии, Катаев все же превзошел своих коллег. Ему нужно было сначала заставить простить себе отца-офицера и собственные погоны в белой армии, потом — добиться реальных благ, прочного положения. Ради этого в возрасте, когда, по старинному выражению, пора о душе подумать, одряхлевший Катаев не гнушается, взобравшись на трибуну, распинаться в своей пылкой верности поочередно Сталину — Хрущеву — Брежневу, обливать помоями старую русскую интеллигенцию, оправдывать любое деяние власти — хотя бы самое тупое и недальновидное,— внести посильную лепту в охаивание травимого, преданным псом цапнуть того, на кого науськивают, лгать и лицемерить, льстить без меры. Глухой к голосу совести, не понимающий своей неблаговидной роли, брезгливости, с какой обходят его прежние знакомые, Катаев тем более возмущает чувство справедливости, что ему было дано от рождения во всем разбираться и понимать: не неграмотным деревенским пареньком встретил он революцию, не могла она обольстить его, заставить поверить в свою правду. С открытыми глазами оправдывал он насилие и клеймил его невинные жертвы...

Но нет ныне Лермонтовых, способных бросить негодяям в лицо «железный стих, облитый горечью и злостью». Да и прошли давно времена, когда бесчестье угнетало человека: понятие это скинуто со счета Во всяком случае, в кругу современных «толпящихся у трона» литераторов...

Дивиться ли тому, что ныне пишут о Соловках, куда зазывают рекламные туристские проспекты... «Спешите посетить жемчужину Беломорья, живописный архипелаг с уникальными памятниками зодчества!»

И высаживаются толпы посетителей с пассажирских лайнеров в бухте Благополучия, изводят километры пленки, восхищаются, даже проникаются чем-то вроде изумления перед циклопической кладкой монастырских стен. И — разумеется — слава тем, кто обратил гнездо церковного мракобесия в привлекательный туристский аттракцион!

Кто это взывал к теням Бухенвальда? Кто скорбным голосом возвещал о стучащем в сердце пепле Освенцима? Почему оно осталось глухо к стонам и жалобам с острова Пыток и Слез? Почему не велит оно склонить обнаженную голову и задуматься над долгим мартирологом русского

народа, столбовой путь которого пролег отсюда — с Соловецких островов?..

Мне видятся они погруженными в Пифагорову тень, окутанными, как саваном, мертвящим мраком, удушающим и глухим: загублены и повергнуты справедливость, правда, человеколюбие, милость, сострадание... Тихая монашеская обитель, прибежище веры и горстки мирных иноков с мозолистыми руками, обратилась в поприще насильников, содрогается от брани и залпов, сочится кровью и муками. Это ли не знамение и символ времени?

* * *

Я, сотрудник санчасти, проникаю к ним беспрепятственно. Вахтер у входа в больницу даже не интересуется, почему я зачастил туда. Между тем я делаю то, что стоит поперек планов начальства: сломить мусаватистов, разбив их на разобщенные группы. Мне же удается доставлять в больницу записки и устные послания от развезенных по дальним командировкам, а из больницы переправлять указания руководителя голодной забастовки, старосты всей партии мусаватистов. Эти связи ободряют протестантов, в них источник силы и мужества.

Уже более двух недель ими держится голодовка. Это отчаянная, но безнадежная и оттого еще более высокая попытка отстоять статут «политических», избавленных от обязательных общих работ.

На первых порах все мусаватисты были поселены вместе — в один из старых монастырских корпусов, переименованных в роты,— и оставлены в покое. Но такое положение слишком противоречило целям лагеря и настроениям начальства: именно в этот период на смену «кустарничеству» приходила заново разработанная крупномасштабная карательная политика. И мусаватистов попробовали застать врасплох: вывели на двор как бы на поверку и... передали нарядчикам. Произошли свалки и соблазнительные для всей прочей серой скотинки сцены... От лобового наскока пришлось отказаться.

В некую ночь оперативники и мобилизованная военизированная охрана, включая самых главных начальников, переарестовали всех мусаватистов и развезли их в Савватьево, Ребалду, на Муксалму — кого куда. И там стали výволакивать на работу. Мусаватистам удалось потаенно снестись.

И в один день и час они объявили голодовку по всему лагерю.

Около пятидесяти мусаватистов были оставлены в кремле. На одиннадцатый или двенадцатый день голодовки всех их перевели в палаты бывшего монастырского госпиталя, освобожденные от больных. Врачей обязали следить, чтобы голодающие тайно не принимали пищу; приставили караул, подсылали уговаривать, нащупывали — не найдутся ли раскольники... В общем, начальство тянуло, ожидая указаний из Москвы — как поступить с тремя сотнями бунтарей.

Нечего говорить, что мы им сочувствовали и желали успеха, хотя и жило в нас сложное чувство неприятия разницы между нами: с какой стати их режим должен отличаться от нашего? Ведь и мы не уголовные преступники, а такие же «политические», как и они.

— Такие, да не такие,— говорил Георгий.— Они вон как все дружны и согласны. Мы же — каждый за себя и про себя, да еще кто в лес, кто по дрова... И потом перебит хребет, не стало мужества. Они открыто заявляют: мы не признаем большевиков и стоим за свои порядки для своего народа. А приступи к любому из нас? Ведь вилять станет, отвечать с оговорочками: «Помилуйте, я за Советскую власть, вот только тут меня маленько обидели...» — и начнет о какой-нибудь ерунде канючить... Вот и можно нас наравне с урками тыкать «в ус да в рыло»,— закончил неисправимый поклонник Дениса Давыдова.

Отмечу, что хотя Осоргин и говорил обо «всех», сам с превеликой твердостью заявлял на допросах: «Монархист и верующий».

..Они лежали молчаливые, сосредоточенные, в каком-то напряженном покое. Я пробивался меж коек к моему Махмуду, всем существом чувствуя на себе пристальность провожающих меня с подушек взглядов — строгих и отчужденных. Большинство мусаватистов было настроено стоять до конца Добровольно обрекшие себя на смерть смотрели на меня, как на чужого человека, находящегося от них по другую грань жизни. Пусть и знали, что пришел друг

Махмуд был все так же приветлив и улыбался, словно и не было гибельного поединка и на душе его — мир и покой. На мои встревоженные вопросы он отвечал лишь неопределенным, типично восточным жестом приподнятой руки. Избегая прямого ответа, говорил чуть шутливо: «Всё

в руках Аллаха»,— и решительно отклонял мои передаваемые шепотом предложения спрятать под подушку кулек наколотого сахара.

В борьбе с бесчестным противником допустимо пользоваться любыми средствами защиты — с этим Махмуд был согласен. Но нельзя не делить общей участи, не быть честным по отношению к товарищам.

Пожалуй, по лихорадочному блеску глаз и потрескавшимся губам можно было угадать, что эти так тихо и спокойно лежащие люди про себя борются с искушением отодвинуть вставший вплотную призрак конца. Многим из голодающих, жестоко пострадавших в бакинских застенках, приходилось тяжко — их, изнуренных, покрытых холодным пóтом, уже крепко прихватила чахотка. Некоторые бредили...

Их все-таки сломили. Обещали — приходил к ним сам начальник лагеря Эйхманс — дать работу по желанию и вновь поселить всех вместе. Тут же принесли еду — горячее молоко, рис.

Само собой — обманули... Знали, что у человека, ощутившего счастье перехода на рельсы жизни после трехнедельного соскальзывания в тупик смерти, уже не хватит духа вновь с них сойти. Не поддались лишь староста мусаватистов и несколько его ближайших друзей. Мы с Георгием пытались их уговорить.

— Я решил умереть,— твердо сказал нам староста.— Не потому, что разлюбил жизнь. А потому, что при всех обстоятельствах мы обречены. Большинство из нас не переживет зиму — едва ли не все больны туберкулезом. Оставшихся все равно уничтожат: расстреляют или изведут на штрафных командировках. На какое-то время спасти нас мог бы перевод в политизолятор. Да и то... Мы и на Соловки-то привезены с тем, чтобы покончить с остатками нашей самостоятельности. В Баку мы для них реальные и опасные противники... Но не стоит об этом. Мы и наши цели слишком оболганы, чтобы я мог коротко объяснить трагедию своего народа. .— Он закрыл глаза и долго молчал. На осунувшемся его лице мы прочли волю человека, неспособного примириться с отвергаемыми совестью порядками.— Так уж лучше так, несдавшимся!

Напоследок он пошутил:

— Я потребовал перевода с острова... в солнечную Шемаху! Случится мимо ехать — поклонитесь милым моим садам,

кипарисам, веселым виноградникам... Прощайте, друзья: таких русских, как вы, мы любим.

Я не помню имени этого героя азербайджанского народа, хотя и не забыл его черты: высокий, смуглый красавец с открытым лбом над густыми бровями и умным внимательным взглядом. Знаю, что был он европейски образован, живал в Париже и Вене.

Вскоре после прекращения общей голодовки его и трех оставшихся с ним товарищей увезли в бывший Анзерский скит, обращенный в штрафное отделение. Все они там один за другим умерли — староста на пятьдесят третий день голодовки. Говорили, будто их пытались кормить искусственно и кто-то из них вскрыл себе вены... Остальные мусаватисты быстро рассосались, потонули во все растущей массе заключенных. О них не стало слышно.

Спустя несколько месяцев дал знать о себе Махмуд. Я ходил к нему в Савватьево, где какие-то доброхоты устроили его на молочную ферму учетчиком.

В последний раз, что я его навестил, он, словно предчувствуя, что больше встретиться нам не суждено, проводил меня довольно далеко. Мы шли по укатанной лесной дороге, над головой плыли низкие грузные тучи, то и дело сыпавшие колючей снежной крупой, тут же таявшей на земле,— стояли ненастные октябрьские дни. Махмуд вспоминал теплую карабахскую осень, просвечивающие на солнце грозди винограда, соседок, собравшихся в его доме перед праздником, чтобы помочь перебрать рис для плова... Он крепился, поддакивал высказываемым мною надеждам: «Не может быть, чтобы не пересмотрели приговор, так долго продолжаться не может!» — и зябко засовывал руки поглубже в рукава овчинной шубенки. Шел Махмуд медленно, чтобы не задохнуться. Мы на прощание обнялись, и я ощутил под руками птичью хрупкость его истощенного тела.

Оглядываюсь на мою длинную жизнь — я это вписываю в 1986 году — и вспоминаю случаи, когда чувствовал свою вину русского, из-за принадлежности к могучему народу — покорителю и завоевателю, перед которым приходилось смиряться и поступаться национальным. Так было и в некоторые минуты общения с паном Феликсом, и много спустя — при знакомстве с венгерским студентом. Но особенно — когда развернулась перед глазами трагическая эпопея мусаватистов: словно и я был участником насилия над слабейшим!..

* * *

Подходили к концу темные месяцы моей первой соловецкой зимовки. Солнце стало дольше задерживаться в небе, подыматься выше, и в наши будни проникли предчувствия весеннего оживания: словно с открытием навигации и освобождением острова ото льдов и в судьбах заключенных непременно произойдут какие-то сдвиги. И уж, разумеется, в добрую сторону. В пустовавшем зимой сквере между Святительским и Благовещенским корпусами стали вновь задерживаться, а то, поманенные обманчивым солнечным пригревом, и посиживать на лавках заключенные, более всего обитатели сторожевой роты — духовенство, свободное от дежурства. Чернели сутаны собравшихся тесной кучкой католических священников. Они держались особняком, редко когда по своей инициативе заводили разговоры с нашими батюшками. Пан Феликс, завидев меня, тотчас покидал своих и подходил ко мне.

Мы встретились с ним на острове как старые друзья. Был он устроен сносно: через сутки дежурил у какого-то склада, получал от Красного Креста посылки и деньги. Мы уже не возобновляли наших польских чтений, но беседовали подолгу. Большей частью у меня в келье за мирным чаепитием.

Однако чувствовалось, что пана Феликса гложут тревоги, от которых здесь ему труднее отвлечься, чем в Бутырках. Не сбывались надежды на заступничество польского правительства или Ватикана, какими поманило свидание с польским дипломатом накануне отправки из тюрьмы. Католические священники убеждались, что уповать им не на кого: они целиком в руках власти, взявшейся искоренить их влияние. Ксендзы, объявленные эмиссарами вражеского окружения и шпионами, преследовались особенно настойчиво. Как ни скудно проникали известия на остров, пан Феликс по редким письмам своих прихожан, писавших иносказательно и робко, догадывался о ссылках и арестах самых близких ему людей, обвиненных в связях с ним — агентом Пилсудского!

Тоска... Ни одно из предчувствий пана Феликса не обмануло его. Как-то под утро в кельи сторожевой роты ворвался отряд вохровцев. Они перехватали спавших польских ксендзов — около пятнадцати человек. Едва дав одеться, вывели, посажали на телеги и под конвоем увезли в штрафной изолятор на Заяцких островах.

Участь ксендзов разделил тогда и Петр, епископ Воронежский.

То была месть человеку, поднявшемуся над суетой преследований и унижений. Неуязвимый из-за высоты нравственного своего облика, он с метлой в руках, в роли дворника или сторожа, внушал благоговейное уважение. Перед ним тушевались сами вохровцы, натасканные на грубую наглость и издевку над заключенными. При встрече они не только уступали ему дорогу, но и не удерживались от приветствия. На что он отвечал, как всегда: поднимал руку и осенял еле очерченным крестным знамением. Если ему случалось проходить мимо большого начальства, оно, завидев его издали, отворачивалось, будто не замечая православного епископа — ничтожного зэка, каких предостаточно...

Начальники в зеркально начищенных сапогах и ловко сидящих френчах принимали независимые позы: они пасовали перед достойным спокойствием архипастыря. Оно их принижало. Да и брала досада на собственное малодушие, заставлявшее отводить глаза...

Преосвященный Петр медленно шествовал мимо, легко опираясь на посох и не склоняя головы. И на фоне древних монастырских стен это выглядело пророческим видением: уходящая фигура пастыря, словно покидающего землю, на которой утвердилось торжествующее насилие...

Епископа Петра схватили особенно грубо, словно сопротивляющегося преступника. И отправили на те же Зайчики.

За свою лагерно-тюремную карьеру я не раз бывал запираем в камеры с уголовниками, оказывался с ними в одном отделении «столыпинского» вагона или в трюме этапного парохода. Трудно передать, как страшно убеждаться в полной беспомощности оградить себя от насилия, от унизительных испытаний, не говоря о выхваченной пайке и раскуроченном «сидоре». Еле теплится надежда, что надзиратель или конвоир, в какой-то мере отвечающий за жизнь этапируемых, вовремя вмешается.

Случалось, правда, и не так редко, что таких, как ты, крепких и не робких, подбиралось несколько человек. И тогда удавалось не только отбиться от уголовников. До сих пор с мстительным наслаждением вспоминаю эти очистительные побоища, загнанных под нары избитых, скулящих и всхлипывающих «блатарей».

Но отчаянна была участь слабых, пожилых, одиноких —

даже в тюрьмах и на этапах, с упомянутой мною тенью заступы охраны. Ее и признака не могло быть на Заяцких островах, где вохровцы боялись заходить в барак к заключенным. И там долю вброшенного к штрафникам интеллигентного человека, тем более немощного, тем более кроткого нравом духовного лица, я опять сравню с участью христиан, вытолкнутых на арену цирка к хищным зверям. Позади — палачи с бичами и заостренными палками; впереди — клыкастые пасти со смрадным дыханием. Вот только тигры и львы были милосерднее: не терзали подолгу свои жертвы. Штрафникам с Заяцких островов — матерым убийцам и злодеям, татуированным рецидивистам — была полная воля издеваться, бить, унижать: они знали, что охрана не заступится. Потому что «фрайеров» швыряли к ним для уничтожения...

Та моя первая — «благополучная» — соловецкая зима оказалась последней для якутов, перед самым закрытием навигации большой партией привезенных на остров.

Ходили слухи о подавленном в Якутии восстании, но проверить эти туманные сведения было нельзя: якуты не понимали или не хотели говорить по-русски и ко всем «не своим» относились настороженно, отказываясь от всякого общения. От тех, кто мог добыть сведения в управлении, узналось, что на Соловки привезли состоятельных оленеводов — тойонов, владевших многотысячными стадами. По мере проникновения советской власти глубже на Север якуты откочевывали все дальше, в малодоступные районы тундры, спасаясь от разорения, ломки и уничтожения своего образа жизни и обычаев. За ними охотились и ловили тем рьянее, что у них водилось золото и драгоценные меха. Их расстреливали или угоняли в лагерь.

Якутов скосила влажная беломорская зима и отчасти непривычная еда. Они — все до одного! — умерли от скоротечной чахотки.

...Иногда волна расправ лизала самый мой порог. Так неожиданно был схвачен и увезен на Секирную гору[1] близкий

[1] Нет, вероятно, надобности здесь описывать этот ставший известным на весь мир застенок на Соловках. Его хорошо знают по другим публикациям. Для тех же, кто сидел на острове, не было страшнее слова. Именно

мой знакомый и сосед по келье Эдуард Эдуардович Кухаренок — средних лет инженер-путеец. Считался он незаменимым: высококвалифицированный спец, руководивший прокладкой островной узкоколейки.

В этом человеке были сильны предубеждения подлинного специалиста, отлично знающего свое дело, к невежественным руководителям, некая кастовая исключительность, не допускавшая малограмотного вмешательства в его дело. При смелом характере и остром языке, он умел посадить в лужу, ядовито оспорить и доказать как дважды два несостоятельность распоряжений «гражданина начальника». Но более всего самонадеянный инженер досаждал администрации тем, что не давал садистам лютовать, энергично осаживал расходившихся охранников. Если к этому прибавить богатырскую стать Кухаренка, независимость, манеру свысока разговаривать с презираемыми им «начальничками», то станет очевидным, насколько он намозолил им глаза.

До поры до времени Эдуарда Эдуардовича спасала незаменимость — другого знающего железнодорожника на острове не было.

С нами Кухаренок был обходителен и приятен, весел, даже немного шумен; в нем чувствовался bon vivant[1] старого пошиба. В своей келье он ухитрялся устраивать нечто вроде вечеринок, на которых строил куры смазливенькой охраннице из женбарака. Ее присутствие обезопашивало незаконное сборище. В роли хлебосольного хозяина Эдуард был просто великолепен: широкий жест, легкая шутка, исполненный с неподражаемым прищуром и легким притоптыванием под воображаемую гитару куплет...

Два месяца мы о нем ничего не слышали. А потом, когда увидели, не узнали... И не то было страшно, что сделался он худ, припадал на ногу и подергивалась его лихая голова. Непереносимо было убедиться в полной апатии, в потускневшем сознании Эдуарда. То был не воображаемый, литературный, а подлинный Живой труп.

там, в церкви на Секирной горе, изобретательно применяли целую гамму пыток и изощренных мучительств — начиная от «жердочки», тоненькой перекладины, на которой надо было сидеть сутками, удерживая равновесие, без сна и без пищи, под страхом зверского избиения, до спуска связанного истязуемого по обледенелым ступеням стометровой лестницы: внизу подбирали искалеченные тела, с перебитыми костями и проломленной головой. Массовые расстрелы также устраивались на Секирной горе.

[1] Кутила *(франц.)*.

Его бы добили и замучили насмерть на Секирной. Но железной его силы и стойкости хватило до дня, когда та пухленькая девчонка из охраны нашла-таки ход к коменданту Секирной, и тот велел своим катам отступиться от Кухаренка.

С месяц после того провалялся Эдуард Эдуардович на каменных плитах Спасо-Вознесенской церкви на Секирной, пока не пришло распоряжение — говорили, из Москвы — со штрафного изолятора его вернуть и восстановить на прежней должности. Начальство учуяло, что переборщило: Кухаренка велено было лечить и дать ему полный отдых. Навещая его в больнице, я видел, что ему любой разговор в тягость.

Вскоре его вывезли с Соловков по спецнаряду. Прошел слух, что Эдуарда Эдуардовича освободили по личному распоряжению наркома путей сообщения. Тогда именно и узналось, что был Кухаренок крупнейшим спецом в своей области.

В обязанности статистика санчасти входило посещение 13-й пересыльной роты, где принимались и откуда отправлялись этапы. Помимо сбора данных о поступивших для отчетности, я мог попутно справиться о «своих», предпринять попытку помочь кому возможно. Через медперсонал почти всегда удавалось устроить перевод в больницу и избавить от общих работ.

Чаще всего на осмотр этапа мы отправлялись вдвоем с фельдшером Фельдманом, петербургским немцем, умевшим веско и безапелляционно объявить больным и вызволить из тяжкого трехъярусного ада пересылки собрата по статье.

Были мы с Фельдманом ровесниками и земляками. У обоих жизнь после революции не сложилась — его вытурили из университета, и он прозябал на каких-то медицинских курсах. Понимая друг друга, мы действовали всегда согласно.

Нередко уходили вдвоем на прогулки или сами себя направляли на статистически-санитарные обследования по командировкам. А когда стала зима, Фельдман раздобыл в охране лыжи, и по воскресеньям мы целыми днями бродили по острову. Был Фельдман несколько чопорен, по-немецки аккуратен и методичен. И если и не располагал к нашим «расейским» отношениям нараспашку, то для дружбы на западный сдержанный манер подходил как никто.

Слыл он знающим медикусом. К нему повадились обра-

щаться охранники и вольнонаемные — за советом, порошками, освобождением. Тут мой приятель бывал мудр и находчив: и откажет, бывало, но так ловко, что тупой вохровец даже расчувствуется. И во всех случаях приобретал пособников для облегчений и поблажек нуждающимся. Их у Фельдмана всегда был полный реестр: этого перевести с кирпичного завода в сапожную мастерскую, того зачислить в «труппу» (ведь были же театр, эстрада, хор, оркестр, декораторы, режиссер... даже примадонны!), тому дать на две недели отдых...

При внешней холодности был Фельдман отзывчив и обязателен: и перечислить невозможно, скольким соловчанам он помог. А кого и спас.

Однажды, просмотрев списки нового пополнения, я ринулся разыскивать своего кузена. По пути на пересылку гадал — узнаю ли того Игоря Аничкова, которого не видел уже более десятка лет. Знал я его петербургским хлыщом, кичившимся, впрочем, не только светскими манерами и родовитостью, но и исключительной образованностью, блистательным знанием языков.

Родители его жили на широкую ногу, по-барски. И, как было принято в известном кругу,— не по средствам. У Аничковых все было не совсем как у подлинно богатых людей: если и была дача на Каменном острове — то наемная; для журфиксов приглашались лакеи из ресторана; не было и своего городского выезда. Но на мою мерку подростка, приученного к скромному обиходу, Аничковы жили вельможно. И Игорь запомнился мне на крыльце дома с колоннами, одетым для верховой езды, с ожидавшим его конюхом в куртке с блестящими пуговицами и подседланной кровной лошадью. Подавляли крюшоны и лимонады, налитые в сверкающие глыбы льда, подносы с мороженым, разносимые лакеями в белых перчатках, на детских праздниках, устраиваемых Аничковыми в их квартире на Английской набережной.

Игорь всегда смотрел как бы сквозь меня: он был старше лет на пять-шесть и не замечал кузена, едва вышедшего из-под опеки гувернантки. Дружил же я с его сестрой Таней, моей ровесницей. Смелая и даже отчаянная юница признавала лишь буйные мальчишеские игры. Зато старшая, Вета, была воплощением лучшего тона: всегда подтянутая, ходила с опущенными глазами, как учили в Смольном. Мать их, тетя Аня, дама чрезвычайно образованная, жившая годами во Франции и дружившая с какими-то оксфордскими све-

тилами, была довольно близка с моей матерью, отчасти на почве увлечения теософией. Об отце их я лишь знал, что он был профессором университета, состоял в видных кадетах. У нас он появлялся с трехминутным визитом на Пасху и на Новый год в числе торопливых поздравителей, разъезжавших в положенные дни табунами по столице.

Игорю было откуда-то известно, что я на Соловках, и потому он не выразил особого удивления при встрече. Мы несколько неуверенно расцеловались, а разговор пошел у нас и того более спотыкливый. Вместо подтянутого стройного студентика с усиками, в безукоризненно сидящем мундире я разглядывал тучноватого мужчину с одутловатым лицом, обрамленным бородкой монастырского служки. И только неистребимое грассирование и типично петербургские интонации напоминали прежнего блистательного кузена. Да и я нисколько не походил на того подростка в костюмчике с отложным воротником, что лазал с его озорной сестрой по деревьям, забирался на крышу дома через слуховое окно и поил кошку валерьянкой. При подобных «родственных» встречах лишь воспоминания об общих дорогих лицах способны растопить ледок отчужденности. Но Игорь сразу и очень решительно оборвал разговор о родне, и свидание получилось скомканным и холодным.

Игорь вскользь упомянул, что получил три года лагеря из-за каких-то знакомств среди духовенства. Неожиданным было его увлечение богословием, творениями отцов церкви — прежде он признавал одно сравнительное языкознание. Но более всего удивил меня Игорь предложением встречаться с ним... как можно реже — из предосторожности!

Впрочем, подобной мнительности дивиться по тем временам не приходилось: любое общение, знакомство, родственные связи могли всегда служить источником больших и малых бед. Игорь был типичным напуганным интеллигентом: решил, что и в лагере следует придерживаться совета Лафонтена «pour vivre heureux, vivons cachés»[1]. И был, вероятно, прав.

В дальнейшем я, следуя его инструкциям, никогда Игоря не навещал. Он же заходил ко мне считанное число раз в мою контору — канцелярию санчасти — с просьбами о своих сотоварищах по жилью и работе. Игорю повезло: с помощью Георгия он быстро устроился сторожем и был поселен вместе с духовенством.

---

[1] Чтобы жить счастливо, надо жить прикровенно! *(франц.)*

Неисповедимы, говорили в старину, пути Господни. Удивляешься, как иной раз непостижимо минуют человека испытания или, наоборот, жестоко на него навалятся, подчас добивают! Мать Игоря, растеряв семью, сама не только уцелела, но и до конца долгой жизни пользовалась великими благами в качестве профессора университета. Слыла лучшим знатоком английского языка в советском ученом мире. Тане удалось уехать за границу и стать там модной художницей. Сестру же ее, похожую на фарфоровую маркизу несчастную Елизавету (Вету), увезли в сибирские лагеря и через несколько лет расстреляли.

Игорю, как казалось, никак бы нельзя избежать тяжкой участи: судимость, происхождение, манеры, приверженность церкви, многочисленная репрессированная родня — все складывалось против него. Между тем он отделался легким испугом. После детского срока в лагере и незатянувшейся высылки последовали возвращение в родной город и университетская кафедра. И — венец праведной карьеры послушного ученого мужа — обеспеченная старость персонального пенсионера, доктора наук, без пяти минут члена-корреспондента!

И, не обладая героическим характером, Игорь был неспособен обеспечить свое благополучие ценой подлости. Если и пытался подделаться под стиль окружения, обрести мимикрию, то делал это неуклюже и наивно. Так что власть всегда знала, с кем имеет дело. И тем не менее допустила его включение в круг расчетливо ублажаемой советской научной элиты. Игра ли случая судьба Игоря или отражена в ней некая закономерность?..

Частичный ответ я нашел позднее, когда, после десятилетий лагерей и ссылок, пришлось вернуться к тому, что я мог считать «своей средой»,— в общество уцелевших знакомых и родственников, научившихся жить при утвердившихся порядках. Со своим «экзотическим» лагерным опытом и навыками жизни, приобретенными в заключении, я оказался как бы посторонним наблюдателем, знакомящимся с неведомыми нравами, манерой жить и думать.

Более всего бросались в глаза всеобщая осмотрительность и привычка «не сметь свое суждение иметь!». И дружественно настроенный собеседник — при разговоре с глазу на глаз! — хмурился и смолкал, едва учуивал намек на мнение, отличное от газетного. Одобрение всего, что исходило от власти, сделалось нормой. И оказалось, что в лагере, где быстро складываются дружба и добрая спаянность, где

очень скоро выдают себя и «отлучаются от огня и воды» стукачи, мы были более независимы духом.

Уже вне лагеря, на так называемой «воле», мне приходилось — самым неожиданным образом — слышать от людей «интеллигентных», великих знатоков в своей специальности, видных университетских фигур суждения, точь-в-точь воспроизводившие расхожие пропагандистские доводы газетных передовиц. И это далеко не всегда было перестраховкой, осторожностью, а отражением внушенного долголетним вдалбливанием, кулаком вколоченного признания справедливости строя и его основ. Не то чтобы люди произносили верноподданные тирады для вездесущих соглядатаев и мнящихся повсюду подслушивающих устройств: начисто отвыкнув от критического осмысления, они автоматически уверовали в повторяемое бессчетно.

Помню, однажды в тесном, отчасти родственном кругу, не веря ушам своим, слышал, как пожилой профессор, известный классик и переводчик — побывавший в ссылке и потерявший брата в лагерях,— веско высказывал соображения об опасностях демократической многопартийной системы...

Оспаривать эти чудовищные для меня утверждения было бесполезно: такой образ мыслей сделался частью мировоззрения. Тщетно было бы взывать: «Очнись! Вглядись во все вокруг — где хоть проблеск свободной мысли? Намек на справедливость, раскрепощение, исправление нравов? Решись, отважься, откажись от добровольно надетых шор, дай себе волю судить непредвзято, честно!» К моему ершистому инакомыслию относились снисходительно, осуждали мягко, со скидкой на пережитое: человеку-де досталось, пусть и несправедливо (впрочем, находились упрекавшие меня за непокорный нрав!), вот он и отстал от современности, судит по временным недочетам, частности заслонили ему главное...

Игорь, правда, ни тогда, ни в хрущевские и более поздние времена не распространялся о преимуществах олигархии. Но каким-то инстинктивно срабатывающим рефлексом выводил за пределы беседы, предупреждал любое недозволенное, дерзкое суждение: то как бы недослышит, замнет реплику, заговорит о другом, то красноречиво укажет на дверь в коридор и стены, имеющие уши...

Понятно, что никакой нужды в подобной осторожности не было — в середине шестидесятых годов в столице и в Ленинграде едва ли не в открытую обменивались самиздатовскими рукописями, поразвязались языки: подслушиваю-

щие устройства еще не были широко распространены. Да и кабинетик в квартире Игоря был изолирован от всего мира. Но сказывалась многолетняя, вошедшая в плоть и кровь привычка остерегаться всего и собственные суждения держать при себе. И даже такой просвещенный человек, как мой ученый кузен, не мог себе позволить справедливо оценить режим! Защитного окраса ризы помогали раствориться в общей массе и не привлекать внимания недреманного ока Власти.

* * *

Весна... Старенький биплан, доставлявший на Соловки почту с материка, стал летать чаще, хотя из-за хронических неполадок и починок предугадать его появление было нельзя. Пилот Ковалевский — будто бы царский летчик, отчаянная голова — не раз падал и разбивался. Но, подлечившись и подлатав машину, снова высматривал подходящую погоду и в очередной раз рисковал лететь.

Прилета Ковалевского ждали с нетерпением: он доставлял вместе с казенной и почту для заключенных. Не проходило и двух часов, что самолет, нещадно оттарахтев в небе, садился, как по лагерю расползались слухи: такому-то пришло освобождение, на лагерные «дела»— в основном грабежи и насилия, совершенные уголовниками — поступали приговоры и т. д. А через день-другой счастливчикам раздавали письма и денежные переводы.

И вот в конце апреля 1929 года меня срочно вызвали в административный отдел управления. Там под расписку дали прочесть извещение о замене лагерного срока высылкой! Новость была ошеломляющей...

Ошеломляющей, хотя я и знал, что брат Всеволод обо мне хлопочет. Причем пользуется незаурядным «блатом». Корни этого покровительства мне придется объяснить, потому что судьба его — показатель времени.

Итак, летом восемнадцатого года моя семья жила в деревне. И к нам в усадьбу, как в чудом уцелевшее тихое пристанище, приезжали из беспокойного, опасного Питера родные и друзья семьи. Среди них — генерал Кривошеин с супругой и детьми, а также его сослуживец, бывший начальник Михайловского юнкерского училища полковник

Горчаков с общительной, мило кокетливой и очень юной женой Надеждой Васильевной.

Этот Горчаков — нестарый боевой офицер, ходивший в штатском,— производил впечатление нервного, утратившего равновесие человека. Он то решал срочно уезжать, и ему готовили экипаж, то передумывал, развивал планы переезда на юг, писал и рвал письма. И как-то в одночасье собрался и уехал. И все это в каком-то отчаянном порыве, словно решившись идти навстречу неизбежному. Уехал с женой, как ни уговаривали его не подвергать ее всяким превратностям.

Вскоре по возвращении в Питер Горчаков был арестован. И в первую же ночь на Гороховой он принял яд, который с некоторых пор всегда носил с собой.

Те годы всех разбросали и разобщили. Чреда напряженных событий не позволяла разыскивать прежних знакомых. И следы Надежды Васильевны затерялись...

По совету Пешковой, возглавлявшей еще не совсем придушенный Политический Красный Крест, брат отправился хлопотать обо мне в приемную «всесоюзного старосты». И в секретаре Калинина узнал... Надежду Васильевну! По счастью, она не отреклась от предосудительного знакомства, а отнеслась к нашей беде очень сочувственно. И вскоре у нее с Всеволодом сложились добрые, доверительные отношения, весьма благотворно сказывавшиеся на моей судьбе — пока ее патрон не лишился всякого влияния.

После июльских дней семнадцатого года Горчакову, еще возглавлявшему тогда Михайловское училище, довелось оказать существенную услугу Калинину, которого он в силу каких-то обстоятельств знал. Горчаков помог Калинину на время скрыться из Петрограда и избежать ареста.

Оказалось, что у Михаила Ивановича долгая память на добро. Приехав из Москвы в Петроград уже председателем ВЦИКа, он стал наводить справки о Горчакове. Потом разыскал его вдову, нестерпимо бедствовавшую и голодавшую в нетопленой квартире. Михаил Иванович тут же перевез ее в новую столицу, поместил в бывшей гостинице «Петергоф», где находилась его приемная, и определил к себе в секретари.

Столь высокое покровительство перечеркнуло «темное» прошлое молодой женщины. Оно распространилось и на ее семью, нищенствовавшую в Ташкенте, где отец Надежды Васильевны был долгое время нотариусом.

Так состоялось переселение в красную столицу провин-

циальных общипанных «бывших»— юриста, очень старомодного, с гончаровскими баками и в мешковатой чесучовой паре; его супруги, в шляпе-корзинке с выгоревшими цветами; и трех прехорошеньких девиц на выданье. Обо всех, и очень последовательно, позаботился Михаил Иванович: нашлись квартиры, должности. И даже женихи. Одним из них оказался сам «всероссийский староста», оставивший свою благоверную (эстонку, по слухам достойную женщину) ради совсем юной сестры Надежды Васильевны — Верочки.

Познакомился Калинин и с Всеволодом и тут же взялся устроить судьбу полюбившегося ему тверского «земляка». Да и свет оказался мал. В семье моей знали генерала Мордухай-Болтовского, тверского помещика, в доме которого вырос деревенский паренек Миша. Генеральские сыновья увезли его с собой в Питер и, как могли, способствовали посвящению подростка в заводской труд и революцию. Не берусь сказать — довольны ли они были последующими успехами своего питомца!

Президиум ВЦИКа и постановил освободить меня из лагеря, а Всеволода Калинин рекомендовал во Внешторг, и брат уехал в Шанхайское торгпредство. В XVIII веке подобные метаморфозы назывались «попасть в случай».

...Я вышел из управления, распираемый радостью. И между тем замедлял шаги: совестно было объявить Георгию о своей радости, отцу Михаилу, другим соловецким друзьям. Неожиданная моя удача только подчеркивает безысходность их участи. И я малодушно пробрался в пустовавшую в этот час келью, не объявившись никому из них.

— Ты что спрятался,— ворвался ко мне Георгий,— знаем, все знаем... Давай обниму и перекрещу... Поздравляю! И не вздумай себя считать виноватым перед нами... Ведь нынче не скажешь, что спокойнее — сидеть тут запечатанным, с уже решенной участью, или по-заячьи жить на так называемой воле? И гадать: сегодня придут за тобой или завтра?

Я вдруг увидел то, чего не замечал, встречая Георгия изо дня в день: и резкие морщины, и глубоко ввалившиеся глаза, неразглаживающуюся складку между бровей. Бесконечно усталый, даже затравленный взгляд. Знать, тяжко на душе у моего Георгия. Но что за выдержка! Ничем не выдаст своего смятения, всегда ровен, участлив, легок!

И щедр на добро, будто баловень судьбы, готовый выплеснуть на других излишек своих удач.

Трезво и безнадежно смотрел Георгий на свой земной путь. Но не дотянуться с Соловков, не прикрыть собой немощных родителей, милой жены, маленькой Марины. И нет им защиты, нет опоры в изменчивом, враждебном мире — только бог!

Чтобы мне же облегчить бремя везения, и разыскал меня Георгий. Я крепко и благодарно жму ему руку. Договариваемся о поручениях, что я мог взять на себя, уславливаемся, как писать о недозволенном.

И замелькали кружные дни сборов и прощаний. Тут выяснилось, что можно и не дожидаться открытия навигации. В зимние месяцы срочные грузы и почту с материка доставляли на двух поморских лодках. Я сходил к начальнику почтовиков — потомственному беломорскому рыбаку, коренастому и немногословному,— и попросился в его маленький отряд. Он не слишком дружелюбно оглядел меня, процедил, что в пути может достаться круто, и согласился включить в свою команду на очередной рейс. В адмчасти мне пришлось дать расписку, что я добровольно согласился на участие в морском походе, об опасностях которого предупрежден. Вот она, заботушка начальства о наших драгоценных жизнях, вверенных его попечениям!

Томительно тянулись дни. Я роздал свои вещи — в лодку не разрешалось брать багаж. По нескольку раз окончательно прощался со всеми, набрал поручений, позашивал в одежду записки и адреса и... стал как бы отрезанным ломтем. А отплытие все откладывалось. Главный почтовик наш переселился куда-то за Савватьево и часами караулил с маяка на Секирной горе льды в проливе.

И наконец настал день, долгожданный и захвативший врасплох. Ко мне из управления прибежал запыхавшийся курьер-урка: выходить в море!

Лодки были подтащены к самым торосам на берегу. Мы — десять человек команды, по пять на каждую лодку — поджидали своего предводителя, разложив костерок.

Проводить меня пришел из кремля вятский епископ Виктор. Мы прохаживались с ним невдалеке от привала. Дорога тянулась вдоль моря. Было тихо, пустынно. За пеленой ровных, тонких облаков угадывалось яркое северное солнце. Преосвященный рассказывал, как некогда ездил сюда с родителями на богомолье из своей лесной деревеньки. В недлинном подряснике, стянутом широким монашеским

поясом, и подобранными под теплую скуфью волосами, отец Виктор походил на великорусских крестьян со старинных иллюстраций. Простонародное, с крупными чертами лицо, кудловатая борода, окающий говор — пожалуй, и не догадаешься о его высоком сане. От народа же была и речь преосвященного — прямая, далекая свойственной духовенству мягкости выражений. Умнейший этот человек даже чуть подчеркивал свою слитность с крестьянством.

— Ты, сынок, вот тут с год потолкался, повидал все, в храме бок о бок с нами стоял. И должен все это сердцем запомнить. Понять, почему сюда власти попов да монахов согнали. Отчего такое это мир на них ополчился? Да нелюба ему правда Господня стала, вот дело в чем! Светлый лик Христовой церкви — помеха, с нею темные да злые дела неспособно делать. Вот ты, сынок, об этом свете, об этой правде, что затаптывают, почаще вспоминай, чтобы самому от нее не отстать. Поглядывай в нашу сторону, в полунощный край небушка, не забывай, что тут хоть туго да жутко, а духу легко... Ведь верно?

Преосвященный старался укрепить во мне мужество перед новыми возможными испытаниями. Я же вовсе бросил о них думать: мечтал о встречах, удачах... Лелеял неопределенные заманчивые планы. Себя я чувствовал не только физически сильным, но и окрыленным. Словно то обновляющее, очищающее душу воздействие соловецкой святыни, неопределенно коснувшееся меня в самом начале, теперь овладело мною крепко. Именно тогда я полнее всего ощутил и уразумел значение веры. За нее и пострадать можно!

...Наш кормчий пришел далеко за полдень и заторопил с отплытием. Мы сняли полушубки и бушлаты, взялись за концы крепких перекладин, вдетые по две в скобы на бортах лодок. Навалились на них всем телом и поволокли по льду стоящие на килях посудины. Предводитель наш, не оглядываясь, быстро шел впереди, выбирая путь по нагроможденным льдинам. Подниматься по ним было тяжело, но и спускаться не легче: лодки приходилось изо всех сил удерживать. Зато по ровному они скользили легко, и только масляно шипел под окованным килем неглубоко прорезаемый лед...

С места мы пошли так ходко, что я все не успевал как следует оглянуться и еще раз помахать рукой стоявшему на берегу вятскому епископу. Он не уходил. Поначалу была видна поднимающаяся в благословении рука, потом при-

земистая фигура преосвященного Виктора стала сливаться с окружением, теряться. И вскоре весь низкий берег протянулся ровно темнеющей полосой.

...До кемьского берега мы добрались меньше чем за двое суток. До ночи второго дня никак не удавалось отойти от Соловков. Сильные течения и ветер закрыли чистую воду большими ледяными полями, и, сколько мы ни шли по ним, их движение в обратную сторону сводило на нет наши старания. Лодки по-прежнему маячили в виду острова, нас даже сносило ближе к берегу. Убедившись в тщете усилий, начальник велел готовиться к ночевке. На лодки, подпертые распорками, натянули брезенты, под ними зажгли примусы, засветили свечи. После ужина, выставив дежурных, полегли. На груде поморских шуб и тулупов было тепло и мягко, но, несмотря на усталость, мне не спалось. Уже глубокой ночью я выбрался из-под брезента на лед.

Ветер стих. Небо очистилось, и над головой повисли яркие, крупные звезды. Кажется, никогда я не видел их такими большими и висящими так низко. Слух поразил непонятно откуда шедший внятный перезвон — то матовый, то стеклянно четкий. Не сразу я догадался, что это сталкиваются и звенят, обламываясь и насовываясь друг на друга, плавучие льдины. Там, под сияющим пологом неба, над пустынным простором моря, в глубоком безмолвии ночи, эти странно торжественные, мелодичные звуки отзывались в душе как голоса неведомых вселенских пределов. Таинственный зов из непостигаемых глубин мироздания...

Потом я мертво спал, пока не был разбужен резкой командой. Полусонным бросился на свое место. Своевольные течения раскололи наше ледяное поле, вокруг затемнели трещины, и надо было спешно свертывать тенты, спускать лодки на воду и браться за весла. Так мы и провели остаток ночи: то втаскивая лодки на лед, то плывя по тесным и извилистым прогалам чистой воды.

Когда рассвело, мы увидели берег. Над ним, в каких-нибудь полутора десятках верст, громоздились стены и башни Соловецкого монастыря...

Весь длинный весенний день прошел почти без перемен. Было солнечно и даже жарко. Льды сияли нестерпимо, ослепляюще. Нам раздали темные очки. По пояс голые, мы волокли лодки по уже рыхлому льду. Старшой неумолимо шел и шел в известном ему одному направлении и не давал передохнуть.

Под вечер как-то незаметно стали учащаться разводья, и мы то рассаживались в спущенные на воду лодки, то снова вытаскивали их на лед. Измучились было совсем, как вдруг оказалось, что мы на кромке поля, за которой — открытая вода. Вода, слегка взрябленная попутным ветром. Мы подняли паруса, и грузные, неповоротливые наши ладьи как по волшебству превратились в легкие подвижные суденышки...

В наступивших сумерках зачернела впереди линия материка. Счастливый поход! И помягчевший старшина наш рассказал, как бывал отнесен к горлу Белого моря, как приходилось морозиться и бедствовать. А тут — приятная морская прогулка.

Иначе и не могло быть, думалось мне. И я вновь видел устлавшие берег камни, подтаявшие льдины и фигуру неподвижно стоящего архиерея, творящего молитву о «странствующих, путешествующих. И слышал его грубоватый голос, опаленные жаром веры слова... Путь наш и должен был лечь благополучно...

Пристали мы к земле за полночь. Далеко впереди, за береговым припаем, тускло горели фонари на Поповом острове. Мы зашагали к ним.

Старшо́й сдал коменданту мои документы на освобождение, и я в тот же день сел в скорый мурманский поезд.

Глава четвертая

ГАРРОТТА

Это — из истории инквизиции. Святая церковь не могла проливать кровь, и трибунал приговаривал к смерти через удушение. Гарротту — чудовищные щипцы, какими сдавливали горло жертвы,— намеревались воскресить во франкистской Испании, как Гитлер восстановил плаху и топор в своем рейхе, а Сталин — виселицу в Советской державе.

...В громыхании колес, постукивании буферов, в толчках и раскачиваниях вагона, в лязге стрелок чудится что-то разгонистое, веселое: мчусь навстречу воле, к милым свиданиям, к выбору пути... Славно! Мне не сидится в пустом купе, и я часто выхожу в коридор или путешествую в вагон-ресторан — лишь бы заполнить праздные часы.

Народу в вагоне немного. И притом всё такого, что не

тянет разговориться. Как ни склонен я сейчас ко всему и ко всем подходить с открытой душой, как ни распирает меня приподнятость — я уловил настороженность пассажиров, искоса, украдкой разглядывающих меня. Между ними и мной — кисейный занавес подозрительности: я вижу в замкнутых, хмурых командированных в полувоенной одежде ряженых чекистов; те, несомненно, чуют в моей бородке, бекеше и охотничьих сапогах отступление от нормы, что-то, не укладывающееся в стандарт советского служащего, едущего по казенной надобности... Да еще севшего в поезд в зоне лагерей... С таким — от греха подальше, лучше не водиться.

За одним столом со мной обедали два простоватых пассажира — вероятнее всего, профкомовцы с завода. Они молча осушили графин водки, затем, как по обязанности, опорожнили одну за другой дюжину бутылок пива. Про себя отмечаю, что, и порядочно осоловев, они все же не стали со мною заговаривать, хотя по всему было видно, что их разбирает любопытство: кто такой этот трезво пробавляющийся чаем сосед?.. В слепоте своей я ехал, как на праздник, и неохота было, просто некогда, задумываться...

...Стою, прильнув к окну. Бегут мимо опушки ельников, в разрывах открываются поймы речек, строения редких деревень — потемневшие от непогоды, с подслеповатыми окошками, такие притихшие, родные! Захочу — сойду на любой станции, отправлюсь мерить версты по таким вот еле наезженным дорогам; подойду к тем мужикам, что столпились возле запряженных в плуги лошадей... Или заговорю с остановившейся у колодца статной молодухой, всматривающейся из-под руки в цепочку бегущих мимо вагонов. Ведь и по вас, русские красавицы, я успел соскучиться!

— Гражданин, ваши документы!

Арест? Паника и — фоном к ней — мысль о возвращении к только что покинутым людям, уже принадлежащим легенде, уже ставшим рыцарями Правды и Света, близким по духу, без которых словно и пустовато.

За моей спиной вынырнул военный в фуражке с алым околышем. Форменный сморчок: сутулый, с бегающими глазками и нездоровым желтым лицом. За ним в дверях купе — два ражих вышколенных красноармейца с кобурами на поясах. Чекист внимательно и неторопливо изучал мое удостоверение. Я мучительно соображал — как уничтожить в одежде записки и адреса?

Но — обошлось. Удостоверение снова у меня в руках

Словно бы и пустяк — в зоне лагерей у пассажиров проверяют документы. А мне отрезвляющий душ: ходить мне ныне на сворке, по сравнению с лагерем несколько более длинной, но удерживаемой в тех же руках. Чекист уже из коридора бросает: «В Москве не задерживаться!»

Ну, это дудки! Я уже подумал, как трамваем переееду на Курский вокзал, возьму билет до Тулы, сяду в дачный поезд и с ближайшей станции вернусь, наверняка избавленный от возможной слежки.

В Лианозове, в то время (1929 год) еще малолюдном, окруженном лесом подмосковном поселке по захудалой Савеловской дороге, жили старые друзья семьи, из помещиков нашей Никольской волости, две сестры Татариновы. Они обменяли свою комнату в одном из Арбатских переулков, присовокупив к ней выручку за семейную реликвию — евангелиста Иоанна кисти Мурильо[1],— солидную сумму в золоте, на славную дачку с садом.

Для меня удивительно: они обе, как и их мужья, служат. Средняя, Наташа, даже преподает французский в Институте Красной профессуры. А живущая отдельно их старшая сестра Татьяна Ивановна пристроилась гувернанткой в семье Жукова — будущего маршала. Они, как и родственники их, как и обширный клан Осоргиных, прилепились к сложившимся обстоятельствам, как-то приспособились, хоть и на задворках, втянулись в круговорот текущей по новому руслу жизни, где — казалось мне — не было для них места. И между нами появилась не то чтобы стена непонимания, но некая разделенность мирков, в которых мы обитаем. Я, со своими соловецкими исповедниками и мыслями об очищении России,— в лучшем случае пустой мечтатель, а то и способный навлечь неприятности «соучастник» всячески хоронимого прошлого. Для большинства из них — в нем помеха. Несброшенный груз. Для меня — опора.

...Уютные дедовские кресла, правда давно нуждающиеся в обойщике. Со стен из старинных рамок глядят люди зачеркнутого вчера. Милая младшая Татаринова, ставшая Верой Долининой-Иванской, разливает чай в гарднеровские чашки со стершейся позолотой. А в словах ее мужа, остроумного и такого «своего» по облику, манерам, даже инто-

[1] Картину эту привез из Франции Всеволожский, прапрадед сестер, еще в XVIII веке.

нациям, Володи, мне слышится отходная всем иллюзиям и надеждам, накопленным мною в атмосфере поруганной, но еще живой православной обители...

— Мы все — раз и навсегда — так пришиблены, так напуганы, что способны только просиживать штаны за конторским столом, где нам предоставлено щелкать на счетах или разлиновывать таблицы. У меня заведующий базой — чванный тупица. А я перед ним тянусь: «Будет сделано, Иван Сидорович!» И не обижаюсь на него за тыканье... Значит, считает своим. Ведь я даже от фамилии отсек родовое Иванский. Числюсь попросту — «товарищ Долинин»,— усмехнулся Володя.— Себе перестал признаваться, что мать — Оболенская, княжеского племени. В са-а-мый дальний уголок памяти затолкал свои воспоминания... Знаем, хорошо знаем, что засосали нас подлые страхи, но даже покосить глазом в сторону, где еще, быть может, светит лучик, боимся, не то что к нему потянуться. Выбор один: или помирай, или подвывай... За решеткой ты, вероятно, не так чувствовал, как туго затягивают сейчас все гайки. Всех нас, с нашими помыслами, надеждами, желаниями и вкусами — со всем потрохом! — крепко прибрали к рукам.

— Пусть это здесь, в городах,— не хотел верить я.— Зато мужик окреп, набрал силы. Да и пограмотнее, наверное, стал. С мужиком придется считаться — у него в руках земля и хлеб, а с ними он...

— Вот уж это, прости, даже наивно. Землю как дали, так и отнимут. Да еще сделают это руками деревенских лодырей и горлопанов, кто так и остался нищим после передачи земли крестьянам. Насажают по деревням бурмистров — все будет в ажуре, как говорим мы, бухгалтеры... Нас с семнадцатого года друг на дружку натравливают — и не без толку: на соседа волком смотрим. А нэпманов по городам еще проще обобрать — и не пикнут. То давали им льготы, поощряли. Сегодня они уже — спекулянты, а завтра будут объявлены врагами народа... Все упущено, все разгромлено. Мы поджали хвост и ползаем. В пол, в стены готовы вдавиться, лишь бы не выделяться, лишь бы уцелеть!

Володя говорил, что люди нашего поколения и круга — все недоучки. Мало образованы, вдобавок разобщены, толком не знаем, за что мы, чего хотим... И это — перед целеустремленным напором беспощадного катка, подминающего все...

— «Напор», «каток»! — горячился я.— И невооруженным глазом видно, что за душой у этих напирающих ни на

грош подлинного умения развивать страну, строить хозяйство: эксперименты, насилие, демагогия, жизнь за счет накопленного веками основного капитала России. Сила лишь в готовности бессовестно экспериментировать на живых людях, в беспринципности, всегда свойственной ограниченным доктринерам, лишенным нравственных критериев. Подумать только — лагеря разворачивают! Да рабский труд еще Рим погубил...

— Погубил — пусть. Да не в одно десятилетие. И наша система потянет, пусть не на века, а уж на человеческую жизнь, и не на одну, хватит с лихвой...

Выгнанные из имения, сестры Татариновы вместе с матерью осели в Торжке. И не было в том богомольном городке более ревностных посетительниц церкви, чем эти девушки. Усердно вышивали они шелками по сохранившемуся великолепному «старорежимному» муару узоры и кресты для пасхального облачения архиерея. Участвовали в крестном ходе, разогнанном пулями...

Ни о чем подобном я не дерзаю заговаривать — чую заранее, как неуместно воскрешать эти прожитые страницы. Умная и чуткая Наталья находит случай вскользь, но очень четко заявить о лояльности, неотделимой от чести: раз нанялся работать, получаешь вознаграждение, изволь и без присяги служить честно. Что ж, вполне дворянское рассуждение!

Огорчило и свидание с прежним сослуживцем по греческому посольству. Некогда мой соотечественник — бывший одесский коммерсант господин Коанзаки,— волею судеб обращенный в записного дипломата, обставил визит мой так, что и минуты не отвелось для серьезного разговора. Мило щебетали очаровательные дочки Алекс и Жоржетта, занимала важными соображениями о генеалогии фанариотов — константинопольских греков, насчитывающих среди своих предков сподвижников Юстиниана,— сама мадам... Я так и ушел, не дождавшись предложения воспользоваться услугами хозяина для отправки дипломатической почтой замышленных мной, но, впрочем, никогда не осуществленных соловецких очерков. Обстановка изменилась: от оказания материальной помощи бывшему сотруднику посольства до поддержания фронды любого оттенка, пусть и в виде литературных упражнений, дистанция немалая. Оказывается, поджали хвост не только «бывшие». Стали оглядчиво поступать и дипломаты.

..В Ясной Поляне меня встретила моя сестра Наталья. Она с мужем, князем Кириллом Николаевичем Голицыным, очутилась там по тем же причинам, что стремили туда и меня. Кирилл, вовсе юнцом попавшийся провокатору, провел пять лет в Бутырской тюрьме. Лишенный права жить в столице, он приютился под крылышком Александры Львовны Толстой. Молодоженам нашлась и работа: Кирилл оформлял стенды музея, сестра втягивалась в ремесло «шрифтовика». При повторном — десятилетнем — сроке мужа приобретенное умение помогало ей одной подымать троих сыновей.

Голицыны подыскали мне жилье на деревне — половину просторной избы, отделенную коридором от хозяйской. Глава семьи Василий Власов, средних лет обтершийся мужик, был втянут Толстыми в орбиту проводимых ими просветительских начинаний.

Однажды Василию довелось играть во «Власти тьмы» трагического мужика. С тех пор, когда случалось — вовсе не редко — выпить, он разражался театральными рыданиями, неизменно находя, о чем сокрушаться. Попал на импровизированную сцену и его сын, четырехлетний толстенький Володя. По случаю Октябрьских праздников он должен был выйти на авансцену и произнести (устами младенца!) сакраментальное «Да здравствует товарищ Сталин!», подхватываемое выстроенным позади детским хором. Володя очень смело шагнул вперед, бойко выкрикнул «Да здравствует...», запнулся и, беспомощно оглянувшись на кулисы, потише добавил: «Пызабыл!»

Я попал в Ясную Поляну, когда еще не улеглись отголоски столетнего юбилея Толстого. Там все еще доволновывалось и унормливалось после торжеств, открытия школы, больницы и прочих правительственных мер «по увековечиванию». Мер, свидетельствующих почет, каким пользуется в стране писатель, пристегнутый к революции. И приезд мой совпал с давно намеченным спектаклем, все оттесняемым более представительными начинаниями. Им было решено обновить сцену актового зала новой школы.

С корабля на бал... Александра Львовна в качестве вдохновительницы постановки тотчас определила, что мне следует поручить роль Платона Михайловича, и я, поневоле втянутый в захватившую обитателей усадьбы суету репетиций, примерки костюмов, должен был затвердить не лезшие в голову реплики — по счастью, короткие! — злополучного грибоедовского «женииного» мужа.

Только что отстроенной больницей ведал врач Александр Николаевич Арсеньев. Я стал часто бывать в его гостеприимном доме. Тон в нем задавала его жена Варвара Васильевна, урожденная Бибикова. Они оба были плоть от плоти преданных идеалам народничества кругов поместного дворянства. Тульские дворяне даже исключили из своей корпорации Александра Николаевича за несовместимые с принадлежностью к благородному сословию республиканские взгляды и безбожие.

У Арсеньевых множество подопечных — поддерживаемых постоянно или от случая к случаю. Тут снисходительность к заблуждениям, уважение к «младшему брату» (в этой семье честили крепостниками и ретроградами бар, обращавшихся на «ты» к прислуге), нетерпимость к праздности и чистоплюйству, прямота и искренность побуждений. И — вера, несмотря ни на что, в здоровые силы народа, в гласность, выборность и прочие фетиши русских радикалов.

Тогда такие русские люди причеховской формации — честнейшие, образованные — еще не вымерли. И как раз наступило время тяжкого прозрения. Возникновения из убаюкивающего сна. Эти милые, благородные и деликатные, искренние радетели за народ, за достоинство и права человека начинали понимать, что, расшатав старые устои и пытаясь осуществить мерещившиеся им призраки равенства и свободы, они помогли затащить страну в великую пропасть. Наивные, прекраснодушные российские интеллигенты! Они полагали, что стоит покончить с царским престолом, как сразу устроится земной парадиз, воцарятся справедливость и правда...

Александр Николаевич, старый земский врач, с головой ушел в дела своей больницы. Он едва ли не демонстративно давал понять, что никакие иные вопросы обсуждать не намерен. Зная о его прошлых тесных связях с меньшевиками и эсерами, я умышленно рассказывал при нем о встреченных в тюрьме и на острове «политических», но натыкался на раздражение. И даже резкости. Я наступал на любимую мозоль, тем более болезненную, что как раз тогда вершился погром всяких обществ старых революционеров, расплодившихся было в пору бурного цветения иллюзий... Старый земец острее других сознавал порочность глубинных корней революционных учений, примененных к народной жизни.

Варвара Васильевна видела во мне — несколько непоследовательно — собрата тех «жертв самодержавия», которых привыкла опекать до революции: прежних высланных из

столиц горячих адвокатов и журналистов-ниспровергателей. С ними носились в провинции местные либералы, бравировавшие своей краснотой перед губернатором. Но знала некогда Варвара Васильевна близко таких людей, как Короленко, помогала ссыльным в далеких сибирских селах, и потому отношение ее к пострадавшим от власти зиждилось на сердечном сочувствии и понимании тяжести переживаний лишенного свободы человека.

— Вам, должно быть, не до нас, с нашими спектаклями и возней,— сказала она мне как-то. И так очевидно было, что у этой женщины открыты глаза и сердце.

Но жизнь быстро брала свое.

Я зачастил в Тулу. Уж не помню, через кого познакомился с Варварой Дмитриевной, бывшей наследницей миллионов Шемариных — крупнейших местных промышленников. Она смело, но не слишком удачно, пренебрегши старинным заветом избегать мезальянсов, вышла замуж за чистокровного пролетария — отпрыска потомственного рабочего Тульского оружейного завода из прославленной слободы Чулково.

Нарядная, эффектная купеческая дочь, взлелеянная сонмом мисс и мадемуазелей, имевшая в четырнадцать лет свой выезд и штат прислуги, очутилась в отгороженном закутке — с клопами! — мещанского домика о трех окнах на положении невестки сварливой, запивающей, распущенной старухи и молчаливого свекра, человека незлого, справедливого, но грубого. Единственный сын этой четы — герой романа Николай, плотный и пригожий молодец лет около тридцати,— уже не слесарил в цехе, по примеру отца, а служил в какой-то конторе и одевался соответственно своему рангу служащего. Женитьба на разоренной богачке радикально повлияла на паренька из Заречья, потянувшегося к атрибутам поверженного барства. Переняв сдержанность манер и холодную вежливость своей супруги, державшейся королевой, он усвоил чисто джентльменскую привычку цедить слова сквозь зубы, чуть чопорно кланяться, по моде одеваться. Знакомства Николай заводил преимущественно среди «бывших». Стал держать кровную псовую собаку, введшую его в круг немногочисленных уцелевших тульских борзятников, кстати очень дружески встретивших собрата новой формации.

Николай малодушно стеснялся своих необразованных родителей. В каталогах собачьих выставок он, ища, как облагородить свою фамилию, прибавлял к ней букву «х», полагая, что «Савкинх», при умелой подсказке, может сойти за заграничную: барон Николай Савкинх!

Был этот Николай приятен в общении, обязателен, щедр — а сохранившиеся крохи миллионов позволяли жить по тем временам на широкую ногу. Он столь искренне стремился отшлифоваться и войти в «общество», что эта готовность к дружбе с людьми, в общем-то бедствующими и утесненными, чрезвычайно к нему располагала. И хотя выглядели смешными его претензии на аристократизм и предосудительным — отмежевание от родителей, в таком искреннем желании разделить судьбу обреченного сословия не только не было расчета и корысти, но проявлялся смелый и благородный характер. Николай не побоялся клички отщепенца и не прельстился открывающейся ему, «своему в доску» рабочему парню, да еще с семью классами реального училища, «зеленой улицы» к партийным синекурам, высоким постам и легкой карьере.

Варвара Дмитриевна служила переводчицей в техническом отделе Тульского оружейного завода. Она стала снабжать меня работой: я перепирал с немецкого и английского каталоги и описания деревообделочных машин, сверлильных и прочих станков, в которых мало что понимал сам. Однако переводы мои одобрялись, и этот благословенный источник доходов позволял очень удовлетворительно сводить концы.

В отношении этой властной, гордой женщины к Николаю не было и тени нашей снисходительности к его промахам и светской неискушенности Даже было похоже, что она, очнувшись от отчаяния после крушения семьи, бросившего молоденькую девушку к преданно ее заобожавшему сослуживцу приятной наружности — кстати, не торопящемуся показать своей избраннице родителей,— горько раскаивалась в своем шаге. В муже Варвара Дмитриевна видела лишь шокировавшие ее недостатки и малую культурность. Немалых его достоинств она попросту не замечала. Исчерпанность отношений супругов была очевидной.

С Варварой Дмитриевной я встречался в городе, в доме Петра Ивановича Козлова, человека незаурядного по цельности своей, упорству и мужеству.

Петр Иванович, бывший владелец лучшего кондитерского магазина в Туле, начал с мальчиков у пряничников, а перед революцией у него были рысаки на бегах в Москве. Незадолго до моего появления в Туле он вернулся домой после трехмесячного искуса в опытных лапах «золотоискателей», как тогда называли чекистов, специалистов по выколачиванию у граждан — подозреваемых владельцев наслед-

ственных и благоприобретенных кубышек — припрятанных на черный день драгоценностей и золотых монет. Петр Иванович выдержал многосуточные стойки, голодание, жажду, распаленную селедкой, зуботычины и застращивание. Он так и не произнес: «Ведите — покажу!»

— И откуда взяли? Какое золото у меня, когда свои деньги, какие были, я в дело вкладывал... Чудаки, право! Да что я, старуха деревенская, чтобы их в горшок прятать? Я, чай, коммерсант. Каждый рубль пускал по свету бегать, чтобы ко мне новые загонял...— словоохотливо объяснял он многочисленным друзьям и приятелям, уже по инерции открещиваясь от приписываемых ему сокровищ.

Поместительный дом его на Хлебной площади, со службами и флигелем, был широко открыт для гостей. Хозяин любил толкотню вокруг себя, оживление, ночи, проведенные за карточным столом. Тишина и одиночество были Петру Ивановичу несносны. Что-то должно было отвлекать его от случившегося: Петр Иванович убил сына.

Вместе с широтой натуры, требовавшей рискованных ставок на тотализаторе, расшвыривания денег у «Яра», щедрых чаевых, какими вчерашний кондитерский подмастерье остолблял свое право находиться в беговой беседке или роскошных ресторанах наравне с титулованными игроками и наследственными богачами, вместе с замашками барства в Петре Ивановиче уживался и расчетливый, прижимистый хозяин, очень знающий цену заработанного целкового. И конечно же за свое добро, за кровное, он держался крепко. Особенно теперь, за те крохи, что не отняла у него революция: двор на Хлебной площади и налаженное кое-как во флигеле крохотное производство сластей. Им он и пробавлялся с семьей после объявления «новой» экономической политики, возвращавшей к самым что ни на есть испытанным человеческим практикам.

Петр Иванович сурово и ревниво охранял свои владения — кустарную мастерскую с пудишками драгоценных в те времена сахара и муки. По ночам прислушивался, выглядывал из форточки на темный двор, выходил в сени с доброй своей двустволкой, заряженной волчьей картечью. Страстный охотник, был он и отличным стрелком.

И как-то ночью Петр Иванович явственно услышал шорох. Без скрипа приотворена дверь... Кто-то перелезал через высокий забор. Вот в тени кустов крадется тень. Петр Иванович вскинул ружье: «Стой! Стрелять буду!» Тень побежала, Еще предупреждение, потом выстрел в воздух. Второй —

в цель. Человек ткнулся на булыжник мощеного двора. И не поднялся.

— Папа, ты меня убил,— услышал подбежавший Петр Иванович.

Подросток-сын пробирался тайком к себе после запрещенной отлучки. Наткнувшись на отца, испугался. И молча кинулся прочь...

В семье все боялись Петра Ивановича до столбняка, особенно задерганная, бестолковая и бессловесная жена его Анна Ивановна. Прежняя кассирша модного козловского заведения, она некогда привлекала покупателей улыбкой и пышнейшей прической.

Подраставший второй сын Николай и любимица Галочка — близорукая, светлобровая и очень белая кожей девушка, начинающая пианистка — помогли пережить трагедию. Но на весь обиход семьи она наложила неизгладимый отпечаток. Обращенная в кухарку и судомойку Анна Ивановна, во всегдашнем неряшливом затрапезе, не выходила из кухни; дети, особенно сын, старались как можно меньше времени проводить дома. Петр Иванович окружал себя преферансистами, собратьями по охоте, привечал многочисленных гостей, деспотически взваливая на жену хлопоты по угощению, тихо, но беспощадно зло выговаривал за невычищенное стекло в лампе или полотенце, поданное невыглаженным.

Я попривык бывать у Петра Ивановича, стал к нему заезжать, сначала в дни обязательной регистрации в НКВД, а дальше — полюбил и задерживаться. Хозяин объявил одну комнату моей, был заботлив и сочувственно внимателен. Сблизило нас, помимо сходных настроений, и некоторая общность вкусов: любовь к охоте, лошадям и азартная готовность убить сколько угодно времени за пулькой. Даже дивлюсь теперь, как не жалел его тогда. Как растрачивал...

Думаю, что карточный запой, как можно бы назвать наши многочасовые бдения за ломберным столом, служил благодатной отдушиной. Игра требовала внимания — как ни скромны были ставки, исход ее был небезразличен при тощих моих достатках — и отвлекала от постоянных забот и страхов. Пусть и подсознательно, но жизнь вершилась в напряжении и тревогах. Настораживали всякая мелочь, всякий слух. Вот при регистрации в комендатуре задержали на целых два часа и удостоверение возвратили с каким-то двусмысленным замечанием; или главу знакомого семейства

Ивашкиных, напоминающего степных помещиков Тургенева неотесанного и презирающего книги, вызвали в НКВД и — хоть и брали там подписку о неразглашении, домочадцы проболтались — расспрашивали обо мне. Газеты писали о кулацких вылазках, приводили списки уличенных и раскаявшихся «врагов народа», приговоренных к высшей мере

А за тяжелыми портьерами уютного кабинета Петра Ивановича в тишине спящего дома шел свой особый отсчет часов, измеряемых сдачами карт, взлетами удачи, крушениями хитрейших комбинаций — словом, игрой фортуны, не грозящей роковыми исходами. Попритершиеся друг к другу партнеры рутиной жестов и сакраментальных объявлений держали ум и фантазию в плену происходящего за столом Один из постояннейших участников наших сражений, Дмитрий Дмитриевич Кулешов, играл прижимисто. Вынудить его зарваться и обремизиться составляло увлекательную цель, ведшую к драматическим поединкам. Рискованное назначение заставляло учащенно биться сердце: объявишь в надежде на счастливый расклад девять без козыря или мизер — и перестаешь дышать, пока партнеры не откроют карты. Ликуй или выставляй ремиз, который не дадут списать до конца пульки.

Этот Кулешов, прежний крупный помещик и давний знакомый Петра Ивановича, снимал у него комнату. Семья к нему попривыкла, но близости не было. До сих пор не знаю, имели ли основание упорно ходившие слухи о его амплуа осведомителя. Жил он замкнуто, нигде не служил, но и не нуждался. А главное — жил непотревоженно. Лишь однажды, в начале двадцатых годов, был арестован и очень скоро освобожден без всяких последствий. По тем временам и этого было достаточно, чтобы вызвать подозрение. Петр Иванович, может быть, и брал грех на душу, когда намекал, что передряга с «золотоискателями» не обошлась без участия его жильца. Но партнером Дмитрий Дмитриевич был корректным, в обхождении приятным, тактичен и воспитан, смешил нас анекдотами в передышку, какую нам давали чай и легкий ужин, неизменно сервируемые Анной Ивановной под строгим оком хозяина в точно установленные часы. Подавался и традиционный графинчик с разбавленным ректификатом, поставляемым нашим четвертым партнером, приходившимся свойственником Петру Ивановичу, подвижным, веселым и громогласным доктором Гончаровым. Врач с большой практикой, пользовавший охочих до лечения ожиревших супруг тульских архонтов, он жил на

широкую ногу Даже держал одиночный выезд. Преферансистом Николай Сергеевич был страстным, но играл неосмотрительно, так что Петр Иванович ворчал и досадовал на своего свойственника, частенько перебивавшего игру и наставлявшего чудовищные ремизы. Этому, правда, откровенно радовался Дмитрий Дмитриевич, очень ценивший реальный результат игры.

Мы расходились под утро, иногда белым днем, слегка сконфуженные своим малопочтенным времяпрепровождением.

— Говорил я, третьей пульки не начинать,— проводив гостей, по-всегдашнему чуть гнусаво и нараспев замечал Петр Иванович, сокрушенно качая головой,— вперед надо уславливаться: до трех часов поиграли, ну до четырех — и шабаш! Расписывай пульку, и по домам... А то какой я теперь работник!

Тут Петр Иванович наводил тень на плетень. Он именно всегда и по целым дням ничего не делал, да даже и не мог, по непоседливости своей и беспокойному нраву, и тем более в одиночку, усидчиво чем-либо заняться, кроме отвлекавшей от размышлений карточной игры. С редкими варками постного сахара и изготовлением пастилы справлялся сын Николай. О возвещенных ограничениях речь и не заходила, когда, вытянув по карте, мы рассаживались по своим местам в предвкушении длинной чреды бестревожных часов.

...В окрестностях Ясной Поляны и в опушках Засеки водилось в мелочах порядочно дичи. В сезон ко мне изредка приезжал Петр Иванович с неказистым, но старательным сеттером с отличным чутьем. Как и все, зависевшие от этого человека, сучонка слушалась своего хозяина беспрекословно и была приучена к командам, подаваемым вполголоса или легким свистом. Надо сказать, что свою Динку Козлов баловал не в пример домочадцев.

Отправлялись мы в лес порознь: он — в полном охотничьем снаряжении по главной улице, я — со спрятанным в рюкзаке ружьем, одолженным у знакомого. И пробирался по проулкам и задами: пользование огнестрельным оружием поднадзорным запрещалось.

Едва деревня скрывалась за кустами и мы легкой стопой заходили в чуть тронутое осенью чернолесье, как вся эта докука забывалась. Я закидывал за спину сложенное ружье и тут же проникался настроением полноправного охотника.

Впереди усердно ищет собака, вспархивают в кустах и надлетают стайки пичуг, уже начавших извечный свой путь в заморские края. Шумные дрозды лихо оклевывают гроздья поспевшей рябины.

Рядом неторопливо и даже вяло волочит по траве ноги Петр Иванович — он всегда медлителен, говорит еле слышно, смеется коротким слабым смешком и рассказывает всякие помещичьи были. Случалось ему в этих местах встречать Толстого. Граф будто бы очень внимательно осмотрел снаряжение его, ружье, гончих. И, уверял Петр Иванович, глаза Льва Николаевича разгорелись.

— Подмывало меня пригласить его: возьмите, ваше сиятельство, ружьецо мое да встаньте-ка вот сюда, на лаз. Собачки мои паратые — мигом зайчишку на вас выставят. И знаю, обрадовался бы старичина, потому что не угас в нем охотничий дух, да оробел я что-то. Не посмел... А жаль... Теперь бы можно воспоминания писать: «Как я со Львом Толстым заполевал зайца».— Петр Иванович чуть слышно рассмеялся.

Собака начинала приискивать, тянуть по горячему следу, и наши разговоры прекращались. Вальдшнепов в пролет попадалось много, и охота бывала удачной. Возвращались мы в сумерках, обычно молча. Поглядывая на сутулившегося Петра Ивановича, шагавшего с каким-то неподвижным, отрешенным лицом, я про себя думал: взял бы я в руки охотничье ружье, будь у меня с ним связано такое?

Непривычно веселел Петр Иванович, когда к нему из уезда заезжал старинный его знакомец Всеволод Саввич Мамонтов. Когда мне довелось коротко с ним познакомиться, то и я полюбил общество этого легкого, милого и деликатного человека незаурядной судьбы. Отец его — известный железнодорожный деятель и меценат Савва Мамонтов — разорился, когда сын уже втянулся в беззаботную жизнь обеспеченного и независимого отпрыска батюшки-миллионера. Женился он на бесприданнице-аристократке, держал псовую охоту, исколесил Европу и знал всех знаменитых певиц и певцов мира... Был на «ты» с Серовым и Шаляпиным.

Не стало миллионов, но сохранились замашки. И Всеволод Саввич, как Стива Облонский, ходил в рестораны, где всего больше был должен, ждал удачи на бегах, головоломно изыскивал средства. При таком разгоне на жалованье инспектора страхового общества не удавалось, естественно, сводить концы. И все же Всеволод Саввич продолжал жить весело, не утратил хлебосольных замашек, щедрых

своих привычек. Оставался по-прежнему любимцем любой компании. В женином неразделенном имении содержал — уже на паях с более везучими родственниками — стаю гончих с доезжачим, водил русских борзых, приносивших хозяину на садках если не деньги, то славу своей злобностью. Заслуженно прослыл великим знатоком гончих, орловских рысаков и... итальянской музыки. Возле этого начиненного любопытными рассказами собеседника нельзя было соскучиться.

После революции выручили как раз самые разорительные привычки. Прежние друзья коннозаводчики — сосед по имению Яков Иванович Бутович в первую очередь — сосватали заслуженного беговика в Наркомзем. И Всеволод Саввич сделался управляющим Тульской государственной конюшни. А репутация знатока охотничьих собак вознесла славного борзятника в ранг кинолога — вершителя судеб четвероногого племени на всероссийских выставках.

Было тогда Всеволоду Саввичу лет шестьдесят. Гащивая у него, я вдоволь наездился верхом. Он все оставался отличным наездником. В седле сидел плотно и мягко. Английская его гнедая кобыла Дези, сохранившаяся от прежней охоты, идеально шла покойным проездом, покачивая наездника как в люльке. Всеволод Саввич посасывал трубочку или, по так и оставшейся для меня загадкой привычке борзятников, держал в губах черенок сорванного с дерева листа. И несколько иронически поглядывал, как вытряхивает из меня душу на мелкой рыси, подбрасывая на аршин при каждом шаге, мой великанский рысак.

Своих подопечных — кровных орловских рысаков — он любил преданно, смотрел за ними рачительно. Конюшня и ее руководитель слыли образцовыми. И, приезжая по делам в Тулу, Всеволод Саввич редко поддавался уговорам Петра Ивановича задержаться — оставленная на помощника конюшня издали выглядела беспризорной. Зато в короткий беговой сезон на тульском ипподроме он прочно переселялся с отобранными рысаками в город.

Уютный был человек Всеволод Саввич! Сидит покойно в кресле, попыхивая трубочкой, не то дремлет с книгой — и так и встрепенется, когда Анна Ивановна или Галочка, души в нем не чаявшие, затеребят, приглашая к обеду. Тут же начинает шутливо любезничать, смущая чрезмерной учтивостью манер.

Был он дороден, отменно лыс, наделен крупным вислым носом, говорил из-за отсутствия зубов неразборчивой скоро-

говоркой. И тем не менее пользовался немалым успехом у женщин, даже и в таком пожилом возрасте. Всегдашняя, врожденная внимательность к людям — за что обожала его прислуга — наряду с редкой снисходительностью к их недостаткам и снискали Всеволоду Саввичу всеобщее расположение.

...По дороге на бега оба приятеля переставали жить настоящим. Горячие суждения погружали их в обстановку эпохальных состязаний на московском ипподроме в начале века. Тогда стояла на карте слава отечественных рысаков: привезенные из-за океана поджарые американские троттеры грозили оставить за флагом наших могучих орловцев. Патриоты видели в этом едва ли не посрамление России.

Лошадники старого поколения могли описать по секундам, как сложился исторический бег Крепыша, побившего заморский рекорд. Я шел чуть позади — мы направлялись на тульский ипподром,— не теряя ни слова из их жарких речей.

— Да что вы говорите, Петр Иванович! Кейтон первый раз наложил хлыст при выходе из последнего поворота...

— Ан нет! Тут он только вожжами заработал, а хлыст пустил в дело уже на финишной прямой, против рублевых трибун...

— Это вы что-то запамятовали... или просто проглядели. Я стоял в судейской рядом с покойным Новосильцовым и слышал, как он процедил: «Что, дурак, делает! Теперь не дотянет». Он в бинокль смотрел.

Разбирались тактика наездников, причины сбоев, высота хода, финишные секунды... У Петра Ивановича, вообще легко пускавшего слезу, увлажнялись глаза. Старики умилялись, переживая каждую воскрешенную подробность.

После таких вершин убогий павильончик и заросший беговой круг тульского ипподрома должны были навести на размышления о бренности славы. Но и тут, вокруг десятка заездов, составленных из трех-четырех, а то и двух лошадей, кипели страстишки. Охотники до конского бега — а ими были не одни бывшие землевладельцы и извозчики, но и пропасть азартного люда, еще не отдавшего, как случилось позднее, своих симпатий велосипеду,— заполняли хлипкую беговую беседку и судили-рядили .громогласно.

Всеволод Саввич относился ревниво к достижениям своих гривастых красавцев. Приехавшего к нему московского наездника — прежнего своего кучера забубенного Мишу, ездока бесталанного, но лошадям преданного до беспа-

мятства,— он на руках носил. Мастер должен был выжать из мамонтовских рысаков те драгоценные секунды, что приносят приз и — главное — позволяют расцвести тому охотницкому тщеславному чувству, что окрыляет владельца лошади, собаки, голубя, отличившихся на садках или состязаниях.

Отпраздновать долгожданный день бегов отправлялись к Петру Ивановичу. Бесконечно сидели за традиционной кулебякой, изрядно чокались и выпивали — под неиссякаемые толки о бегах, родословных рысаков и феноменальных случаях из практики конских охотников. Слава им, трижды слава, ура!

На таких пиршествах чувствовалась «бывалость» Всеволода Саввича, за свою дореволюционную жизнь обедавшего по ресторанам и за праздничными столами чаще, нежели за семейным. Он, кстати, давно жил на полухолостом положении, разъехавшись с женой. Крепчайшей его привязанностью была старшая дочь Екатерина, не слишком порадовавшая своим замужеством — она вышла за недоучившегося дворянского недоросля, шокировавшего тестя недостатком воспитанности, но зато подарившего ему двух внучек, ходивших, естественно, в любимицах.

Короче узнав Всеволода Саввича, я стал думать, что ровное, снисходительное отношение его к людям коренилось в глубоком скептицизме. Что, в самом деле, ополчаться против людских слабостей и недостатков, если они — принадлежность существ слабых и несовершенных, не заслуживающих, по незначительности своей, гнева и сильных чувств? Тайно и про себя сын крупнейшего знатока искусств, сам европейски образованный, с университетским дипломом математика, талантливый дилетант и тонкий ценитель музыки, Всеволод Саввич Мамонтов был, несомненно, снобом, презиравшим неучей, разгильдяев и невоспитанность.

Петра Ивановича знал весь город. Через него я познакомился с рядом лиц, принадлежавших преимущественно вчерашнему дню. Была у него почетной гостьей и Варвара Дмитриевна Шемарина. Ореол миллионов ее отца не мог не импонировать Петру Ивановичу. Любопытно отметить, что к мужу ее он относился предубежденно, точно его задевал хват, подцепивший первую наследницу в городе, некогда проносившуюся по Миллионной мимо зеркальных окон козловского магазина, не удостаивая своим посещением, не только что знакомством, такую мелюзгу, как владелец

нескольких прилавков с пастилой и пирожными!.. Но хозяином был Петр Иванович искушенным, безупречным и несостоявшемуся барону Савкинху умел уделить не менее внимания, чем прочим гостям. Охотно толковал с ним о псовых и английских борзых, которых перевидал множество, так как знал решительно всех охотников губернии.

Несколько позднее, когда месяцы тульской моей жизни отошли в прошлое, следователь, понося и опорочивая моих знакомых, уверял, что Петр Иванович широко ссужал помещиков под твердое обеспечение и хорошие проценты. И кондитерская будто бы служила лишь прикрытием для его ростовщических операций. Но кого не ошельмует и не оболжет ретивый следователь!..

Не одни услады городской жизни — с приятными знакомствами и радушным кровом Козловых — склоняли меня жить по нескольку дней подряд в Туле и оттягивать возвращение в Ясную Поляну. И даже не службы в еще не закрытом городском соборе, непременно посещаемые мною: сельские церкви в уезде были по большей части упразднены или закрыты за отсутствием священников. В деревнях же творилось жутковатое.

Особое положение толстовской вотчины превращало Ясную Поляну в островок с отличным режимом, где ломка и перекройка несколько смягчались и оттягивались благодаря хлопотам Александры Львовны, заступавшейся за своих земляков не только перед губернскими властями, но и перед Калининым. Сведения из соседних деревень шли мрачные: затевались крупномасштабные перемены, сулившие крутые меры и расправу едва ли не с большинством сельского населения. Усердствующие волостные и уездные власти энергично и беспощадно зорили не только богатых, но и мало-мальски справных мужиков, одолевших вековые нехватки и скудность после раздела помещичьих земель,— тех, кто «оперился», встал на ноги и наконец-то, ценой каторжных трудов, нагнал к себе на двор скотины и наполнил зерном пустовавшие сусеки.

Обобществление мужицких животин и пожитков просыпалось манной небесной в руки алчные, но праздные и неумелые — в руки людей в большинстве пришлых, прибившихся к деревне в великую разруху первых лет революции и призванных отныне сделаться выразителями интересов беднейших слоев села, поощряемых на первых порах и

ублажаемых. Эти вчерашние горожане и стали в нем верховодить, подчинив себе и запугав тех «средних» маломощных мужиков, кого не присоединили к раскулачиваемым лишь с тем, чтобы было на первых порах кому, свычному с сельским хозяйством, работать в формируемых артелях. Влились в них и подлинные бедняки, обиженные судьбой, извечные бобыли и неудачники, чтобы стать в колхозах той серой загнанной скотинкой, на которой спокон веку выезжают ловкие да горластые.

Тогда еще только налаживали массовую вывозку ограбленных мужиков в пропасти пустынных раздолий Севера. До поры до времени выхватывали выборочно: обложат «индивидуальным» неуплатимым налогом, выждут маленько и — объявят саботажником. А там — лафа: конфискуй имущество и швыряй в тюрьму!.. Нависший над хлебопашцами произвол, неуверенность в завтрашнем дне и насилие порождали каждодневные драмы, надвинулись на деревню тяжкой, сулившей беды тучей, придавили жизнь. Так, быть может, доставалось пращурам нынешних крестьян лишь в разгул татарщины...

Опасливо пробирались по опустевшей деревенской улице жители, норовя свернуть в проулок или нырнуть в темный проем невзначай оставленных распахнутыми ворот двора. Сидели по домам, потаенно поглядывая в окошко: не покажется ли очередной чужак в потертой кожанке, с папкой под мышкой и оттопыривающей куртку кобурой на поясе — носитель новых распоряжений и предписаний? В их разнобое и бестолочи приходилось разбираться на месте свеженазначенным председателям. Часто на свою голову...

Хозяин мой Василий Власов становился день ото дня молчаливее и отчужденнее. Если прежде он охотно пускался в беседы, то теперь старался проскользнуть мимо, торопливо здороваясь на ходу и пуще всего опасаясь, как бы не увидел его кто беседующим с неблагонадежным постояльцем. Обрывки ошеломляющих деревенских новостей поступали ко мне от матери Василия, почтенной пожилой крестьянки с умом здравым и не умеющей хитрить.

— Да что же это, батюшка, деется-то,— заходила она по-соседски на мою половину не только с тем, чтобы поделиться наболевшим, но и из сочувствия к моей судьбе.— Видал, сейчас кони по улице протрусили? Это Кандаурова Михайлы,— понижала она голос.— Он нынче поутру из дома ушел... Как есть все бросил и двор оставил нараспашку: сошел с крыльца и был таков. А до того у лошадей в денниках

арканы поотвязал, заворины отложил, потом всему скоту ворота распахнул да в огороды и запустил: ступайте, животинки Божьи, на все четыре стороны — я вам больше не хозяин и не кормилец... Вот и разбрелись по деревне. Коровы недоены, ревут; овцы какая куда забилась... Кто и жалеет, подоил бы, обиходил скотинку, да боятся: по нонешним временам что хочешь на тебя наклепают. Хорошо хоть, старуху его Господь летось прибрал — один Михайла как перст остался. Для сирот-внуков старался: сыновья его еще в войну сгинули. А внуков-то Михайла, как овдовел, свез в Воронеж к родне. Отсюда помогал. И кто их теперь поднимать станет?!

Марфа пригорюнилась. Потом, воспрянув, поведала — уже с юмором — о домашних передрягах. Велели Василию хомут с упряжью и тележным скатом сдать — да кому! Золоротцу Сеньке Солдатову, бобылю вековечному, прости господи! Его, лодыря горластого, над артельным конным двором поставили.

— Да он путем коня не обротает,— всплескивала она руками,— гужи не наладит. Коль всего не пропьет, так растеряет, не убережет... А вот корову сноха давеча снова на двор привела: велели пока у себя держать, кормить, а молока два удоя сдавать, третий себе оставлять. И что только будет, батюшка! Ты вот книжки читаешь, да не скажешь. Спасибо барыне — в Тулу съездила, за соседа нашего заступилась, показала, что всю жизнь на дворне послужил, по семь рублей жалованья на месяц получал и никакого золота у него нету. Поверили, отпустили. Да только не жилец он: и так-то хворый, а там его били. Стал нутром теперь маяться, с печи не слезает. И что только с нами будет?

По деревням мужики, таясь друг от друга, торопливо и бестолково резали свой скот. Без нужды и расчета, а так — все равно, мол, отберут или взыщут за него. Ели мясо до отвала, как еще никогда в крестьянском обиходе не доводилось. Впрок не солили, не надеясь жить дальше. Иной, поддавшись поветрию, резал кормилицу семьи — единственную буренку, с превеликими жертвами выращенную породистую телку. Были как в угаре или в ожидании Страшного суда.

В исходе года, в темные ноябрьские дни, в деревне стало особенно глухо и тревожно. Почувствовав, что люди обосабливаются, стремятся жить замкнуто, я почти перестал навещать Арсеньевых, избегал ходить в музей на усадьбу. Ее понемногу обволакивали надвинувшиеся на страну по-

темки. Александре Львовне приходилось все труднее. В барском доме и флигелях кроме толстовской родни, пока что как щитом отгороженной великой тенью от преследований, жило несколько человек, полагавших для себя деревню более безопасным местом, нежели Москва. Были тут и мы с Кириллом Голицыным, еще какие-то почитавшиеся ненадежными лица. И о Ясной Поляне стали говорить, как об «убежище бывших», свивших себе гнездо под покровительством Александры Львовны. На это указывали ей и власти, принимая Толстую по делам яснополянского музея: ей давали почувствовать, насколько неуместны ее ходатайства и заступничества. И все чаще отказывали, и все открытее выражали свое недоверие. Бывшая графиня, да еще пытающаяся на каком-то своем крохотном островке сохранить отблески принципов, которые проповедовал ее отец, оградить детей яснополянской школы от безбожия, как-то бороться с насилием, сделавшимся государственным методом управления, эта графиня была для местных властей фигурой одиозной. И подмывало расправиться с ней, а не то что потакать просьбам: классовая вражина, по недосмотру ставшая директором музея!

Александра Львовна чувствовала, как уходит почва из-под ног. И у этой очень уверенной в себе женщины, державшейся с мужским апломбом, так бесстрашно отстаивающей не только целость отцовской усадьбы, но и дорогие Толстому нравственные ценности, опускались руки.

...На дороге, возле башенок знаменитого «прешпекта», я чуть ли не в последний раз встретил Александру Львовну. Она шла из школы, и я издали узнал ее плотную, приземистую, широкоплечую фигуру, схожую с мужской тем более, что была Александра Львовна в сборчатой бекеше, перетянутой кушаком, и чуть заломленной каракулевой шапке. Этот свой «кучерской», как подшучивала когда-то ее мать Софья Андреевна, наряд Александра Львовна носила подчеркнуто молодцевато, легко и привычно. Быть может, он, купно с энергичной походкой и засунутыми в карманы руками, и сообщал всему ее облику особую жизненность и силу. Тем знаменательнее было видеть ее идущей медленно, разговаривающей рассеянно и вяло. Ей уже не удавалось отстоять в школе прежних учителей, все строже ущемлялись и выхолащивались заведенные ею беседы об отце.

— Вы понимаете, как нужно исказить его образ, обкорнать высказывания, чтобы преподносить его в качестве единомышленника, который, будь он жив, благословил бы

то, что сейчас делают с крестьянами.— Александра Львовна говорила устало и безнадежно.

Ясную Поляну должны были удушить. Удушить, как и любой другой духовный очаг. Но не могла дочь Льва Николаевича допустить, чтобы это свершилось при ней. Ее руками, с ее согласия...

Был канун Николина дня. Снег по-настоящему еще не лег, и оттепели согнали его с разъезженного проселка, на котором рядом с белеющими выбоинами и колеями резко чернели глызья. Я шел в церковь, верст за шесть от Ясной Поляны, где, по слухам, еще служил старенький священник... Тяжелые снеговые облака, сплошь обложившие небо, скрадывали скупое освещение быстро гаснущего дня. Поля вокруг тонули в сырой и холодной мгле. И всюду было пусто...

Я миновал деревню, когда уже смеркалось, но не увидел нигде светящегося окошка. И не встретил ни одного жителя. Никто тут не готовился праздновать зимнего Николу.

Сразу за избами дорога круто шла в гору. На фоне туч белел силуэт небольшой церкви с тускло поблескивающим куполком. Подобравшись к ней, я с облегчением увидел в узких зарешеченных проемах окон слабые отсветы зажженных свечей. Дверь в храм была приотворена, и снег на паперти — слегка затоптан. Но кругом — ни души. Не было никого и в церкви с низкими, словно игрушечными сводами.

Потемневший иконостас в рост человека еле освещался тремя лампадками; слабо посверкивали металлические венчики вокруг ликов. На табурете, у образа Николая, выставленного на аналое под центральным паникадилом, лежали сложенные вышитые рушники и несколько пуков зелени; на полу стояли горшочки с комнатными цветами. Все это принесли, чтобы нарядить икону к празднику. Я стал ждать...

По времени давно пора совершать службу. И странно было не видеть в храме никого, даже тех ветхих, повязанных платками богомолок, что не колготятся там, лишь когда он на запоре.

Долго стоял я, не очень замечая, как бежит время, поневоле думая о вершащихся на моем веку переменах... «Святителю отче Николае, моли бога о нас!..» К этому возгласию священника всего десяток лет назад присоединялись сонмы молящихся, наполнявших в этот вечер бесчислен-

ные церкви, славящие одного из самых чтимых в России святых. Извечного молитвенника и заступника за слабых и обездоленных...

Никола был своим, мужицким святым. И вот в сердце деревенских российских просторов, в церкви, стоящей в гуще мужицкого мира, не оказалось никого, чтобы отстоять вечерню в торжественный сочельник! Не могла ведь многовековая традиция не проникнуть в глубь сознания, не сделаться, наравне с языком, национальным достоянием! Вот оно, мерило силы, с какой выкорчевываются и самые прочные корни исконно русской духовности. Достало нескольких лет, чтобы заказать народу дорожку в церковь.

...Часть лампад, почадив, погасла. Иные стали гореть еле заметной точечкой, но никто не приходил ни оправить их, ни погасить. Пустая церковка вовсе потонула в потемках. Тени поглотили слабое мерцание позолоты царских врат. Не отражавшие ни одного звука своды давили, как в склепе. Я вдруг почувствовал, что продрог в нетопленом помещении. И шагнул к выходу.

От мириад свечей православной церкви осталось гореть всего несколько бессильных огоньков... Их должно загасить и самое малое дуновение воздуха. Нет рядом, чтобы загородить, и слабой руки немощной монашки...

Послышались шаги на паперти. Вошедший, углядев меня в потемках, замер у двери. То был одетый в добротный полушубок крестьянин. Я поспешил объяснить, кто я и как очутился в церкви. Мы разговорились.

Оказалось, что в то самое время, когда я подымался в гору, из алтаря вытаскивали готовившего храм к службе священника. Приехавшие из города люди посадили его на подводу и увезли.

— Домой все-таки дали зайти, шубу накинуть да прихватить белья. Ему, видишь, предписание было, чтобы в праздник церкви не отпирал, а он ослушался. Караулили они его, знали: батюшка наш хоть старый, да твердый... Загремит теперь далече, если тут, на месте, не порешат.

В церкви давно нет ни дьякона, ни псаломщика; батюшка один управлялся. Церковный совет разбежался — настращали всех. Я осторожно спросил — как же он сам-то отважился сюда прийти?

Дождавшись темноты, мой ночной собеседник пробрался сюда, чтобы прибрать и схоронить что возможно из утвари, брошенной на произвол церкви.

— А если кто увидит? Ведь невесть в чем могут обвинить!

Знал, мол, тут все, захотел поживиться...— предположил я.

— Какие нынче страхи! — неожиданно легко и даже с улыбкой ответил старик, еще бодрый и крепкий, с благообразным добрым лицом, обрамленным по-праздничному расчесанной бородой.— Чай, пообтерпелись уже, навидались всего. Ничего будто теперь и не страшно.— Помолчав, он продолжал уже строго, даже сурово: — Теперь, милок, на Бога только надежда, а от людей добра не жди. Лютеют, на глазах лютеют... У нас в волости двое доказали на соседей, где хлеб у них спрятан. Ну, доносчиков в отместку и застрелили. Так, почитай, полдеревни в тюрьму свезли: не одних тех, кто убивал, а и стариков, родню, соседей. Старшой, увозил который, пригрозил: только вы их и видели — всех перестреляем, чтоб неповадно было. Вперед побоитесь наших пальцем тронуть! Я вот и сам всякий день жду — когда за мной придут: старостой я был церковным, жил справно... А ты говоришь — не побоялся... Кому только можно, надо ноги уносить, искать место такое спасенное, где не озверели люди, не забыли Бога... если такое есть. Самое лихо еще впереди... Да изба у меня полна — дети, сестра убогая, мать еще жива: привязан. А все-таки, пока ночь, приберу тут маленько, мы еще с батюшкой уславливались...

И я стал помогать моему ночному знакомцу складывать в принесенные им скатерти и рядна кое-что из церковной утвари, облачений, книг и увязывать в узлы. Их мы, поднявшись по стремянке, сложили в тайник на чердаке — узкую щель в кирпичной кладке сводов, под свесом крыши.

Из церкви мы вышли вместе. Одну лампаду у образа святителя старик не погасил.

— Пусть у нашего Миколы все же праздник будет... Ах, и грешим же мы! Ну, прощай... Не то проводить? Еще собьешься... Ступай же с Богом, коли так... Нет уж, где там еще свидеться? Не те времена, мил человек!

Ночь беспредельна и непроглядна. Сколько я ни всматриваюсь, нигде не светит и самый малый огонек. Огонек, что и в самую глухую пору бодрит путника, говорит, что не в пустыне он, что бьются неподалеку живые человеческие сердца.

Идти трудно — на сапоги налипают тяжелые комья грязи. Я то и дело сбиваюсь с дороги из-за чернеющих в поле плешин, принимаемых мною за проселок. На душе — невыразимо тяжело. Точно я спешил на праздник, а попал к гробу с брошенным неотпетым покойником... Видение пустой сель-

ской церкви будит память о давних лихолетьях. Я чувствовал себя русским тринадцатого века на пепелищах разоренных Батыем сел и городов. Должно быть, и тогда уцелевшие жители, с опаской возвращаясь из лесных укрытий, обретали среди развалин опустевшие храмы и часовни, в спешке не разграбленные татарами. И именно возле этих уцелевших церковок и погостов начинали заново строить Русь...

* * *

Поздний ночной звонок — было около трех часов — разбудил сразу. По коридору прошаркали туфли Петра Ивановича. Я насторожился. И как только услышал в сенях мужские голоса, понял — это за мной. Сразу пронизала мысль о брате: не прошло суток, как Всеволод приехал из Москвы меня проведать. Мой арест неминуемо отразится и на нем.

Он тоже проснулся. Наша дверь была на запоре. Мы успели тихо кое о чем условиться, прежде чем к нам постучали — убедившись, разумеется, что дверь не поддается. Я сонно отозвался:

— Сейчас, сейчас... оденусь.

Уничтожать и прятать, к счастью, нам было нечего. И я не особенно медлил — отодвинул задвижку. В слабо освещенном коридоре, за плотными фигурами трех чекистов в плащах и гражданских кепках, понуро стоял хозяин. Из дальней двери выглядывала Анна Ивановна, еще кто-то...

Последние недели в городе шли аресты. Я не сомневался, что очередь дойдет и до меня, поэтому не слишком испугался. Да и присутствие посторонних диктовало: не пасовать! И я твердо потребовал предъявить ордер, даже несколько высокомерно стал отвечать на вопросы и предоставил «гостям» самим открывать ящики комода. Все делалось, впрочем, быстро и поверхностно.

Просмотрев документы брата — он тогда работал в Торгпредстве в Тегеране,— чекисты шепотом посоветовались между собой, потом заявили, что и ему придется пройти с нами для «выяснения».

Так началось, в марте тридцать первого года, тульское мое сидение, затянувшееся до глубокой осени.

* * *

В те предшествовавшие пышному расцвету репрессий времена Тульский НКВД довольствовался. случайным помещением — архиерейским подворьем. Двухэтажный дом с владычными покоями и приземистый толстостенный флигель стояли в обширном парке, обнесенном каменной оградой. Именно она да глубокие сводчатые подвалы под обоими зданиями определили выбор: обеспечивалась прикрытость всего, что творилось за глухими стенами и крепкими воротами.

Мимо моей просторной камеры с двумя — тогда еще не загороженными! — окнами на уровне земли водили на допросы, конвоировали арестованных. Это и позволило мне уже на следующий день узнать, что оставшийся в дежурной брат, откуда меня, обысканного и «отпрепарированного», отвели в одиночку, также арестован. Мне удалось привлечь внимание Всеволода к моему окну и не совсем пристойной, но выразительной жестикуляцией дать ему понять, что уборная будет служить нам почтовым ящиком. И уже вскоре у нас наладилась переписка. Мы коротко сообщали друг другу про допросы, выдвинутые обвинения, интересовавшие следователя обстоятельства.

До сих пор помню морду служившего двум богам уборщика — бритую, костистую, с тонкими губами алчного и фальшивого человека. Он, разнося обеды и кипяток, предлагал сидевшим связать их с волей или с соседом по камере — и тут же исправно продавал начальству тех, кто был достаточно наивен, чтобы воспользоваться его услугами. Этот предприимчивый малый приносил охотникам водку, думаю, что и бабу взялся бы доставить — только бы заплатили!

Брат и я вполне и сразу оценили этого тюремного Фигаро и забавлялись передачей друг другу посланий, дурачивших следователей. Вдобавок — строчили по-французски: пусть попыхтят над переводом! Дельные записки, свернутые в тончайшую трубочку из папиросной бумаги — о, коробки «Казбека»! — мы прятали в щель между тесинками крыши сортирной будки: стоя над очком, можно было до нее дотянуться — мы оба большого роста.

Понятно, что обмен корреспонденцией мог происходить лишь при закрытой двери, но конвой и не настаивал, чтобы ее распахивали. Это, как и не забранные намордниками окна, как суетливая беготня многоликого уборщика, по двадцать раз на дню отпиравшего камеру для очередного поруче-

ния — он, бестия, не ленился,— все это отражало неотлаженность индустрии репрессий, кустарность приемов, отдававших провинцией, патриархальными временами: недостатки, характерные для тех лет, подготавливавших разворот карательной деятельности, достойный своих вдохновителей.

Общая устарелость установок сказывалась и на ведении следствия: тогда еще считалось, что обвинительное заключение надо как-то обосновать, подобрать улики, оформить хотя бы видимость преступления. И это, естественно, тормозило работу, снижало производительность органов, еще не освоивших поточный метод.

Мне было предъявлено обвинение в шпионаже: я будто бы приехал в Тулу, чтобы выведать секреты оружейного завода и передать их иностранной разведке. Состряпать дело было нехитро: раз я отказываюсь повиниться сам, надо вызвать моих знакомых и получить от них нужные показания. Но ни Петр Иванович, ни Варвара Дмитриевна с мужем и его отцом не подтвердили подсказываемые им свидетельства. Особенно огорчил следователя старик Савкин: в замысленной инсценировке ему — беспорочному пролетарию — отводилась роль главного разоблачителя. Не его ли я, втершись в доверие, просил достать пропуск в цех и познакомить с конструкторами? Старик Савкин ответил резко и нецензурно. Предложенные ему готовые показания обложил сплеча — да так, что следователь тут же порвал свою стряпню. Пришлось в протокол допроса внести твердые слова разошедшегося пролетария, что «Волков не только не расспрашивал о заводе, но даже остановил однажды начавшийся при нем разговор о производственных делах». В начале тридцатых годов «стопроцентному» рабочему еще можно было считать, что ему позволительно говорить и держаться смело и честно, не поплатившись за это.

Помогло и умное, достойное свидетельство Варвары Дмитриевны, точно и дельно очертившей мою работу для завода. Она показала, что я на территории завода никогда не бывал и свои гонорары, как и работу — переводы иностранной технической литературы — получал через нее.

Ее мужу, кстати, следователь «открыл глаза» на неверность жены, якобы изменявшей ему со мной. Но и тут служитель советской Фемиды напал на честного человека: Николай Савкин отказался на меня клепать, даже если бы я был его соперником. А изобретательного допрашивателя посулил привлечь к ответственности за клевету.

Вот ведь насколько стесняли следователей путы закон-

ности, процедурные формальности и прочие отжившие ограничения!

Начав с довольно лихих наскоков — не тяни, сознавайся сразу! — мой следователь Степунин очень скоро оставил меня в покое, перестал вызывать. И потекли недели мирного житья, четко размеренного выводами на оправку, подъемами, обедами, двукратными (о провинция!) прогулками в уголке архиерейского сада. С братом Степунин и вовсе переливал из пустого в порожнее, тянул время, не предъявлял четкого обвинения: ждал, как мы заключили, указаний из Москвы. Наш небольшой флигель, превращенный в «подследственный корпус», наполовину пустовал. Это мы определили по полному отсутствию движения в коридоре и распахнутым дверям в камеры. Всего их было шесть или восемь; наши с Всеволодом находились по обе стороны входной двери. Обстановка, в общем, спокойная. И даже усыпляющая. Склоняющая забывать или недооценивать опасность положения.

В некий день все вдруг резко изменилось. Против моих окон один за другим останавливались грузовики с набитыми людьми кузовами и суетилась орава вооруженных охранников. Потом немой коридор наполнили топот, беготня, лязг засовов, щедрый мат. Ко мне не поместили никого, но к брату втолкнули четырех деревенских стариков — растерзанных и напуганных. Они были нагружены мешками с шубами и валенками, хотя на дворе стоял жаркий июль.

И началось... Мимо окон день и ночь таскали привезенных мужиков и баб в большой дом. Там не смолкали крики, ругань, острые вопли, звериный вой. Конвоиры сбились с ног. Следователи — они тоже прошмыгивали мимо меня — ходили с воспаленными глазами, взъерошенные и с отбитыми кулаками. Кипела круглосуточная работа.

Ночью я почти не спал, часами просиживал на своем широком подоконнике у отворенной форточки. Ярко освещенные окна следовательских кабинетов были настежь распахнуты. Квадраты света ложились на булыжники двора, видного мне сбоку. В этих отсветах иногда двигались тени. Токи воздуха нет-нет доносили до меня целые фразы. Да и говорившие не сдерживались — орали, пересыпая отборной бранью настойчивые требования и угрозы. То и дело слышались шум возни, тяжелые шаги, звуки падения, ударов. Взвился плачущий, дребезжащий голос: «Да что вы хуже урядников деретесь!.. Зубы старику выбили!»

Вереницей шалых теней мелькали в моем окне проводимые чуть не бегом растрепанные мужики, подталкиваемые конвоирами. Молодого парня с разбитым лицом тащили, закрутив руки так, что он шел согнувшись, с низко болтающейся головой. Ополоумевшие тюремщики выхватывали из камер полуодетых людей и с места били кулаком по шее, понося последними словами.

Я сидел сжавшись, оторопев, не видя конца кошмару. Мне во всем ужасе представлялись переживания этих крестьян, оторванных от мирных своих дел, внезапно, нежданно-негаданно переловленных, вповалку насованных в грузовики и брошенных в застенок. За что? Как? Почему «рабоче-крестьянская» власть обращается с мужиками как с разбойниками? Ведь это — не классовые враги, не прежние «угнетатели и кровопийцы», а те самые «труженики», ради освобождения которых и зажгли «мировой пожар»? Пахари, над чьей долей причитали все поборники равенства и братства?..

Вот провели бабу в обвисшей старой юбке и линялой кофте, простоволосую, неуклюжей уткой раскачивающуюся на больных ногах... Мужичонку в широких портах и опорках, что-то слезливо доказывающего конвоиру... А эти-то как же? Оберегающие рабоче-крестьянское государство красноармейцы, вчерашние деревенские парни? Как это они хватают и терзают своих земляков, заламывают им натруженные руки, матерят отцов своих и братьев?.. Ночь, ночь над Россией...

Исподволь за окном начинал брезжить свет, и из потемок возникал сад, неживой, притихший. Наступало утро. И там, в палатах архиерея, словно утихал исступленный, свирепый шум, глуше становились крики. Палачи притомились. Их уже не бодрят доставленные вестовыми укрепляющие напитки и лакомые закуски.

Так выколачивали признание в участии в террористической кулацкой банде из шести десятков крестьян деревни, где был убит сельсоветчик. По словам сидевших с братом стариков, произошло рядовое уголовное преступление. Убитого — безвредного, никому не успевшего насолить заместителя председателя сельсовета — сын раскулаченного односельчанина застал в сарае со своей женой и в ту же ночь, подкараулив у избы, застрелил. Уже на месте, в деревне, виновник, поначалу было запиравшийся, во всем сознался. Однако такой исход не устраивал НКВД. Ухватились за «соцпроисхождение» убийцы: сельский активист, павший

жертвой кулацкого выродка! Тут пахло политическим преступлением... Из тех, какими следователи набивали цену своему ведомству: «Тульские бдительные органы обезвредили банду кулацких заговорщиков, вставших на путь террора на селе!» Это ли не козырная карта для местных властей, начальников, алчущих отличий, ромбов в петлицы? Под этим флагом и усердствовали новые хозяева архиерейского подворья.

Получалось, однако, бестолково: разнобойные признания, выбитые из отдельных мужиков, не складывались в единое стройное сочинение о заговоре, зачинщиках, тайных сборищах, распределении ролей... Их было слишком много — мычащих нечленораздельно, загнанно глядящих исподлобья, лохматых, грязных,— и картина путалась. Присланный из Москвы уполномоченный — там, видно, заинтересовались перспективным делом — торопил. Но спешка только увеличила нескладицу. Приезжий хотел было поучить своих провинциальных коллег, как поступать: устроил несколько показательных очных ставок, где, являя пример, бил ногами, норовя угодить носком сапога в пах (мужики говорили: «По яйцам метит»). Однако ожидаемого сдвига не произошло. Во-первых, у тульской братии и у самой были в ходу такие приемчики, какие дай бог, как говорится, знать столичным белоручкам, а кроме того, окончательно запуганные и растерявшиеся подследственные уже ни от чего не отнекивались, зарядили отвечать на один лад: «Виноват, гражданин начальник, виноват... Давай бумагу-то, подпишу...» Дав разгон, москвич отбыл, приказав со всем покончить в кратчайший срок.

И тогда пришли к мудрому решению: чем биться с непонятливым народом, обойтись без него. Привезенных мужиков гуртом отправили в губернскую тюрьму, следователей побойчее и наторевших по письменной части засадили за составление протоколов и обвинительного заключения. Они должны были по собственному разумению очерчивать участие каждого обвиняемого в заговоре, согласно заранее подготовленному списку. И флигель вновь опустел.

Сделалось тихо, но прежнее покойное настроение не возвращалось. Не требовалось быть провидцем, чтобы угадать: прошедшая перед глазами расправа — только прелюдия и не останется без последствий. Отныне вряд ли станут церемониться и со мной.

Обо всем, что случилось, мне было известно в подробностях по запискам брата и из отрывочных рассказов крестьян.

Они ненадолго попадали в мою камеру при перетасовках, какие производили следователи, рассаживая однодельцев перед очными ставками.

— Не виновного они ищут,— сказал мне ночью один из них. Он лежал пластом на койке (ему «все печенки отбили»), неподвижно уставившись в потолок.— Не виновного они ищут — его давно знают,— а хотят настращать народ, чтобы мужика покорным сделать, чтобы пикнуть никто не смел. Тогда и жизнь им пойдет легкая: что захотят, то и станут делать.— И добавил, помолчав: — Не того мы ожидали, как Керенского спихивали, за большевиков голосовали. Я ведь матрос — на Балтийском флоте служил. Только в двадцать втором, после ранения, списали, и я в свою деревню вернулся... Нет, что вы, никакой я не кулак, хотя и жил справно. Кое-чему, знаете, на службе научился, книжки по сельскому хозяйству читал, и дело в деревне у меня хорошо пошло. Да вот этот Артемий, который убил, моей жене братом доводится...

Покалеченные, сломленные, обманутые люди, поставленные властью вне закона. Я вспомнил свои разговоры с Володей Долиным-Иванским. Прав он был — никакая не сила крестьянство, раздробленное, темное, слепо поверившее в «шастой» список и потому не подготовленное к удару в спину. От своих...

Выбивая Врангеля из Крыма, повисали на проволочных заграждениях Сиваша, а вот своим дали себя опутать, да так, что нынче можно их и вовсе лишить земли, посадить на оброк или барщину, лупить и шельмовать, ездить на них, как не ездили и на их прадедах.

И перед этой чудовищной несправедливостью начинает казаться мелкой — нестоящей — собственная ущемленность: на что жаловаться мне, если лежит передо мной избитый крестьянин, балтийский «братишка», стрелявший по Зимнему дворцу в октябре семнадцатого, проливший кровь за «совецку власть»?!

Предчувствия мои скоро оправдались.

К окнам прибили снаружи дощатые щиты, и я стал жить в полупотемках. Исчез Фигаро. Его место заступил широкоплечий полукарлик с изрытым оспой мясистым лицом, никогда не глядевший в глаза и молчаливый. Я должен был

сам догадываться, для чего страж сей, отперев дверь, стоит в проеме. Помедлив, он выговаривал что-то вроде «оп» (оправка) или «пер» (передача). Чувствовалось, что этот человек раз и навсегда озлобился на весь свет.

Предупреждал и брат: его стал допрашивать — напористо и предвзято — старший следователь Мирошников. «Их лучшая ищейка»,— подчеркивал Всеволод. Тон записки был тревожный, призывал быть начеку. Было очевидно, что брат чего-то недоговаривает, опасаясь, как бы не перехватили записку.

И только я успел ее уничтожить, как камеру мою тщательно обыскали. Изъяли бумагу, карандаш, металлическую ложку, даже спички. Словом все, что накопилось понемногу в нарушение режима «строгой изоляции». А среди ночи я был разбужен и отведен в большой дом.

Степунин, до того державшийся, в общем, корректно, даже вежливо, круто изменил повадку. Надо сказать, в облике его почти не проскальзывало то отталкивающее, циничное, хамски-грубое, что кладет такую четкую печать на людей его профессии, даже когда эта дрянная сущность лишенных совести и чести людей прячется за внешним благообразием, совмещена с умом, окрашена способностями, образованием и т. д. Был Степунин худощавым блондином несколько старше меня, с мелкими чертами безбрового лица и белыми руками с плоскими пальцами и обкусанными ногтями. Пенсне без оправы придавало ему интеллигентный вид, да и обмолвился он как-то, что «знает с мое», так как окончил гимназию.

Для начала он, отпустив кивком конвоира, углубился в чтение газеты, предоставив мне с полчаса праздно сидеть на стуле. Вдруг поднял голову.

— А, это вы! Ну что ж, будем разговаривать по-настоящему.

Отшвырнул газету, резко выдвинул верхний левый ящик стола, достал пистолет. Положил перед собой, повертел. Вынул обойму, вставил обратно, заслал патрон в ствол, поиграл предохранителем и снова положил на стол, уже справа от себя. Несколько раз перекладывал, демонстрируя, что подбирает место, откуда способнее всего было бы схватить его. И снова на меня уставился. Потом вдруг разразился:

— Еще долго будешь, сволочь белогвардейская, морочить голову? Отпирается, говнюк, когда свои давно кругом

обос...ли! Открыли, что ты за гад продажный... На... на... гляди...

И он стал быстро перелистывать страницы знакомой мне папки с моей фамилией, каллиграфически выведенной на обложке. Прежде тощая папка теперь наполнилась подшитыми бумагами, исписанными разными почерками; он подсовывал ее мне, тыкал пальцем в подписи, в какие-то строки — впрочем, так, чтобы я ничего прочитать не успел. Мелькнули знакомые фамилии: Козлов, Голицын, Арсеньев, Савкин...

И пошло. Угрозы, ругательства, крики... Требование признать себя шпионом. Форменный штурм, так что я и слова не мог вставить.

— Так ты, выходит, честный советский гражданин? Стоишь за власть? Да того, что тут есть,— он с размаху хлопнул ладонью по папке,— хватит, чтобы тебя... расшлепать!

«Шлепнуть», «дать вышака», «отправить на луну»— последнюю метафору Степунин особенно любил,— «пустить в расход» или «на распыл» варьировались на все лады, подкрепленные чтением статьи 58 УК, пункт шестой, как раз предусматривающей «вышака».

Нечего говорить, что подавленный всем виденным и пережитым за последний месяц, выбитый из равновесия одиночным сидением в глухой камере, снедаемый тревогой за брата и за себя, я был, пока Степунин читал газету, далеко не спокоен. Даже с трудом подавлял поднимавшуюся откуда-то изнутри противную дрожь. «Скажу, что со сна»,— мелькнуло в голове, когда показалось, что может заметить.

Но едва он стал орать и материться, прицеливаться из пистолета в лампочку, яриться, как во мне — не милость ли Божия? — резко сменилось настроение. Я успокоился и как-то со стороны оценил, что ломает он, в общем, комедию, призванную прикрыть полное отсутствие улик. Да и перебарщивал он, недооценивал некоторую мою бывалость: первое следствие и лагерь снабдили как-никак известным опытом. Ссылка же на Всеволода, якобы топившего меня своими показаниями, была глупым промахом Степунина, очевидно порядочного дуба во всем, что касалось истинно человеческих отношений и чувств!

Больше всего я боялся, что будут бить: чем я лучше тех десятков мужиков, которых тут до меня избивали? Возьмутся вдвоем-втроем — дюжие, отъевшиеся парни с пудовыми

кулаками — и излупят до полусмерти... Не отобьешься и не загородишься. И особенно свертывалась кровь при мысли, что будут бить по лицу — казалось, это непереносимее всего. Но Степунин был один: признак успокаивающий. Поединков в этом учреждении не устраивали...

Начинало рассветать, когда в кабинет вошел Мирошников — высокий, крепкий, с медно-красным лицом и жестко торчащим ежиком волос. Было в нем что-то неистребимо солдафонское, привитое казармой. Он нагнулся к Степунину и долго тихо с ним переговаривался, то и дело пристально на меня взглядывая. К этому времени я не только справился с волнением, но решил от обороны перейти к активным вылазкам.

— Ваш коллега,— дерзко обратился я к Мирошникову,— требует от меня сознаться в шпионаже, говорит, что у него в руках все доказательства. Так давайте выкладывайте, пункт за пунктом: там-то я встречался с тем-то, получил или выкрал то-то, передал тому-то... А я буду всякий факт подтверждать или приводить доказательства в опровержение. Вот и сдвинется воз с места. А так, голословно, можно в чем угодно обвинить. Вот... сажайте Степунина — он взяточник. А вы,— обратился я к Степунину,— его хватайте: он педераст...

— Умничаете? — только и бросил в мою сторону старший следователь и снова зашептал что-то Степунину.

В камеру меня завели уже белым днем. С трофеем: пока Степунин тряс передо мной папкой и забавлялся с пистолетом, я «увел» его карандаш. И тотчас сел писать записку брату: угол камеры с койкой не просматривался из волчка. Инстинкт самосохранения подсказывал, что от грозного шестого пункта нужно отбиваться всеми силами. И я решил испробовать единственный вид протеста, которым располагал: голодовку. Надо было как-то подготовить к этому брата.

События следующей ночи утвердили меня в моем решении.

...Дав как следует разоспаться, резко разбудили. Пока я одевался, всё торопили и едва ли не бегом поволокли в большой дом. Вели два конвоира вместо обычного одного, и не к подъезду, как всегда, а к боковому входу с полутемной лестницей вниз, в подвалы.

Там повторилось вчерашнее. Только вместо Степунина за меня взялись два впервые увиденных парня, лет по двадцати пяти, еще вовсе неотесанные и неумелые, но работавшие старательно. От души. Вероятно — стажеры. Один

из них разыгрывал в дымину пьяного. Он неправдоподобно раскачивался, и рука с пистолетом, каким он тыкал в меня, ходила ходуном. Второй, за столиком, уговаривал товарища повременить, а меня, пока не поздно, признаться. Арсенал обоих молодцов оказался очень скоро исчерпанным. Они выдохлись, повторяя: «В последний раз предлагаю...», «Застрелю как собаку!», «Сознавайся, считаю до трех: раз...» Меня ни на одну минуту не покидала уверенность, что вся сцена дутая и ничем мне их пистолет не грозит, даже когда оглушил выстрел: чубатый хлюст с пистолетом разрядил его в низкий свод над моей головой. И этим заключил представление. Устало рухнув на табуретку, он рукавом гимнастерки утер взмокший лоб. Вызванный конвоир повел меня в камеру.

Большие, чистые звезды, усеявшие небо, поразили меня. Выбираясь из подвала, мы словно поднимались к ним. Над крышей архиерейского дома темнели купы старых лип. Они осеняли его, еще когда тут неслышно шныряли служки. В такой ранний предрассветный час владыка вставал на молитву перед блестевшими в огоньках ламп образами. Молитву о тишине, мире, братстве и любви...

Я замедлил шаги, а перед дверью и вовсе остановился. Конвоир не торопил. Молчал. Так мы простояли с минуту.

— До чего легкий воздух,— сказал я и, чтобы не дожидаться понукания, шагнул к двери. Я был благодарен этому, вероятно, хорошему деревенскому пареньку, давшему на мгновение человеческим чувствам осилить вбитое муштрой, оголтелой пропагандой и запугиванием.

В тот же день я потребовал лист бумаги и карандаш и настрочил заявление на имя начальника Тульского НКВД о начатой мною голодовке из-за того, что меня без предъявления доказательств обвиняют в шпионаже. Я требовал подтверждающих мою вину документов или отказа от обвинения. И не принял поданную мне в окошко пищу.

Продержался я тринадцать дней. И, как ни удивительно может показаться, без особых терзаний. После первых нескольких суток, наиболее томительных по неопределенному ощущению какой-то неловкости, стремлению что-то предпринять, куда-то пойти, по нервному ожиданию вызова для объяснений, потекли часы ровного бездумного лежания на койке. И бестревожного: жребий был брошен — оставалось набраться терпения. Коридорного, в положенные часы

неизменно появляющегося с мисками супа и каши, я жестом отсылал обратно. Но на оправку ходить не упускал, чтобы передать брату успокоительные записочки. Он же обертывал в бумажки крохотные кусочки сахара, чтобы я мог его посасывать незаметно для тюремщика и дольше продержаться.

Восприятие было притуплено общей вялостью, даже не манила особенно еда. Мысли разбредались, цепляясь за случайные вехи. Иногда назойливо всплывало вычитанное из книг. Помню, какой чепухой представились голодные мучения, будто бы испытываемые заваленными в штреке шахтерами, как их расписал Золя в «Жерминале»! Нарастала слабость, а с нею — и твердая готовность не уступать. Стоял перед глазами пример соловецких мусаватистов. «Не вызывайте, черт с вами,— мысленно обращался я к своему следователю.— Не дождетесь, пусть пройдет еще десять дней, да сколько угодно...»

И в исходе тринадцатого дня я своего добился. Степунин, едва меня ввели и я сел наискосок от него через стол, остро блеснув стеклышками пенсне в мою сторону, небрежно перебросил мне потрепанную книжицу — Уголовный кодекс РСФСР.

— Не нравится шестой пункт? Возьмите любой другой — на выбор. Нам все равно — их там достаточно. Освобождать вас мы не собираемся.

И тогда же я расписался в ознакомлении с бумажкой, по которой привлекался по десятому — старый знакомый — и одиннадцатому пунктам той же незаменимой пятьдесят восьмой статьи. Поединок за жизнь был выигран.

Дальше все пошло убыстренным темпом. Спустя несколько дней мне дали свидание с Всеволодом — в присутствии Степунина. Тот произнес короткий назидательный спич: ГПУ, мол, как всегда, разобралось — проверенного брата, ни в чем не замешанного, освобождает; меня, уличенного в контрреволюционной деятельности, вынуждено содержать под стражей и судить. Под «судом» Степунин подразумевал заочные решения Особого совещания или пресловутой Тройки.

Брат огрызнулся довольно резко, указав, что все-таки провел тут три месяца, да еще дали насмотреться на избитых стариков. Всеволод присел на стул рядом со мной. Нам дали поговорить с час. Степунин делал вид, что занят бумагами, и нам не мешал. Потом вызвал моего конвоира. Мы обнялись с братом — крепко и с отчаянностью. Словно понимали,

что это одна из чрезвычайных милостей судьбы. Мы виделись с ним в предпоследний раз...

Продержали меня в архиерейском подворье еще дней десять, причем кормили отменно — я получал обеды и ужины из комсоставской столовой: тогда, по отсталости своей, еще сентиментальничали! И, сочтя, что я достаточно окреп после голодовки, отправили в тюрьму. Никаких допросов больше не было — следствие было окончено.

Тульская губернская тюрьма высилась на выезде из города, рядом с кладбищем и огромным корпусом водочного завода. Это дало повод — так гласит легенда — Толстому, ездившему мимо по пути в Ясную Поляну, произнести несколько обличительных слов в адрес царских порядков: народ спаивают, прячут за решетку и единственное избавление — в сырой земле. Это было сказано, когда тюрьма на три четверти пустовала, крестьяне берегли копейку и шкалики водки позволяли себе лишь в самые большие праздники, а на кладбище обходились без братских могил и глубоких ям, куда сбрасывали трупы расстрелянных.

А что бы нашел сказать Лев Николаевич, проведи его современный Вергилий по тем же местам спустя неполную четверть века после его смерти? Если бы, взяв старого графа под руку, он предложил ему переступить высокий порог калитки в тюремных воротах и, под лязг отпираемых и запираемых бесчисленных запоров, повел по гулким коридорам и лестницам, распахивая перед ним одну за другой двери камер, набитых под завязку? Вглядитесь пристальнее, граф! Среди этих сотен и сотен грязных, истерзанных и забитых существ — ручаюсь! — многочисленные ваши знакомые, мужички вашего Крапивенского и соседних уездов, их дети, сколько раз окружавшие вас, чтобы поговорить, а то и поглазеть попросту на диковинного барина-мужика, изъездившего и исходившего все их пути-дорожки... Они не только наверняка пожалуются вам, что вот, мол, дожили до такого срама, сделались острожниками, но робко попросят объяснения: «За что это нас так, ваше сиятельство? Ведь и вы нам говорили, что труд наш святой и мир кормит... Вот мы и старались. Всего только пахали землю...»

А далее ваш проводник повел бы вас, задохнувшегося от духоты и смрада, устрашенного видением бесчисленных потухших, яростных, отчаянных, безумных, скорбных глаз, на задний двор и через неприметный проем с железной дверью вывел за баркас на «волю»— на безлюдный, заросший бурьяном пустырь — и показал бы на свеженарытую землю. И если

бы вы, граф, сами не догадались, подсказал бы вам шепотом, что тут зарывают тех, кого в одиночку, а когда и пачками, связанными приводят сюда по ночам и стреляют в затылок... И если бы можно было только узнать имена, вы бы и тут встретили своих земляков... Должно быть, вы, Лев Николаевич, огорчились бы, услышав назидательный рассказ вашего Вергилия о многократном увеличении перегонки уже не только картофеля и хлеба, но и «архангельского сучка» на водку! Помните вашего кустаря-винокура? Но это, пожалуй, вы почли бы все-таки мелочью по сравнению с потными стенами переполненного острога с импровизированным кладбищем...

Я не могу вспомнить ни одного лица, ни одного имени из тех, с кем просидел почти два месяца в крохотной одиночке тульской тюрьмы, вместившей около двадцати человек! Не оставалось и вершка незанятого места на полу: нельзя было глотнуть воздуха, хотя рама в окне, на высоте человеческого роста, была выставлена. В узком помещении — не более двух с небольшим метров шириной — мы сидели сплошным строем, плечо к плечу, прислонившись спиной к стене, с вытянутыми, переплетенными ногами. Если визави на миг подбирал затекшие ноги, можно было расслабить свои, чуть переменить положение. Из камеры было вынесено все, кроме параши, стоявшей у двери. Край ее был на уровне лица того, кто сидел подле, а подходившие оправляться искали между стиснутыми ляжками промежутка, куда поставить ногу. На тех, кто не мог потерпеть с нуждой между утренней и вечерней оправками, обрушивались упреки, оскорбительная брань.

Не хватало тюремщиков. С раздачей обедов опаздывали — их не успевали варить; прогулки укоротили до нескольких минут, частенько вовсе отменяли. Тогда в камере поднимался вой, барабанили в дверь, требовали начальника. Случались истерики. Разумеется, ничего не добивались...

Мы все сидели в одних перемазанных кальсонах, потные и ошалевшие от духоты и безысходности. Про себя каждый лютел под тяжестью сморенного усталостью навалившегося соседа, но терпел, зная, что настанет и его черед погрузиться в каменное, изнурительное небытие. На мгновения, само собой: будили нестерпимо нывшие суставы, отекшие из-за неподвижности члены, чья-то больно наступившая стопа. Мы ненавидели друг друга. И, связанные круговой порукой, не смели в чем-либо ущемить соседа: по молчаливому общему

уговору и строго соблюдая очередь, подбирались по одному к окну и там жадно курили. У самых бойких и говорливых не хватало заряда на связный разговор. Изредка перекидывались репликами; чей-нибудь вопрос чаще всего повисал в воздухе без ответа... Молчали, скорченные, опустошенные и — настороженные: сутками напряженно прислушивались к звукам в коридоре. Ждали, всем существом ждали — каждый своего. Порой самый жестокий конец рисовался желанным исходом. Полагаю, что о самоубийстве не думали из-за невозможности практически найти способ, как покончить с собой. Ах, боже мой! — растянуться бы на чем угодно, хоть на миг, сладко ощутить возможность шевельнуться, повернуться на бок, расправиться... Потянуться так, чтобы косточки хрустнули!

В общих камерах всегда найдутся люди, по большей части уголовники, рецидивисты, знакомые с местными порядками. От них мы знали, что в нашем коридоре — камеры смертников. Кто-то даже утверждал, что он целиком отведен под них. Могло быть и так — своей участи никто не знал... И сознание, что рядом томятся обреченные, окрашивало особой жутью любой доносящийся из коридора шум.

Вскоре пришлось пережить подлинно страшную ночь.

После нескольких часов гробовой тишины коридор внезапно загудел от топота. Было за полночь — в тюрьме развивается обостренное и верное чувство времени. Затем донеслись стуки отпираемых в дальнем конце дверей, короткие слова команды: «Выходи по одному!»

Описывать дальнейшее пусть и возможно, но вряд ли следует: все это слишком страшно, слишком жестоко, подводит к полной утрате веры в добро. Со смертной казнью за бесчеловечные преступления разум может примириться: убийцу-грабителя или растлителя, вероятно, справедливо отправить на плаху... Но как уложить в сознании хладнокровные массовые казни для «устрашения»? Из страха перед политическими противниками?

Уводили долго. Каменные стены и своды беспощадно усиливали всякий звук: переступание сапог, шум борьбы, протесты, крики, отчаянные, затыкаемые тряпьем вопли, остервенелую ругань палачей... Было и несколько взвинченных, пронзительно звонких возгласов: «Прощайте, братцы, ни за что...» Договорить не давали. Донесся и грохот падения; кого-то, уже не по-человечески повизгивавшего, бегом проволокли мимо по полу...

Прильнувшие к окну слышали слабые, как хлопки, выстрелы.

На следующий день по тюрьме прошел слух о восемнадцати расстрелянных. То были как раз односельчане Артемия, которых при мне привезли на подворье. Около половины всей партии отпустили домой — это я потом узнал от тех, кого приговорили к лагерным срокам. Вернувшиеся в деревню должны были свидетельствовать, какие завелись порядки. И, не пикнув, покорно влечь в надеваемый хомут. Придушенный русский мужик впрягался в колхозное неизбывное ярмо.

...Я упустил упомянуть, что был как-то вызван к начальнику тюрьмы, крупному пожилому человеку с холеными большими усами старого служаки. Он тянул лямку в тюремном ведомстве еще с царских времен, был тульским старожилом, знал хорошо Козлова и Мамонтова. Тот, оказывается, повидался с ним, просил что-нибудь для меня сделать.

— Я рад бы уважить его просьбу,— говорил, разводя руками, начальник,— да не в моей власти: предписано держать вас именно в этом корпусе, он считается штрафным. Нас ведь тоже проверяют. По секрету скажу: ВЦИК не утвердил приговора по вашему делу, а там скверным пахло... Вам дадут срок. Боюсь, что тремя годами не отделаетесь. Если бы впервые, а то вы уже побывали в лагере. Так что наберитесь еще немного терпения — бумаги на вас пришли, я справлялся. На днях вам, по-видимому, дадут расписаться в обвиниловке. Худшее для вас позади... Эх, голубчик, и в лагерях люди живут, поверьте! Только бы из нашего сундука живым выбраться; прощайте, и — молчок! Иначе меня, да и себя подведете.

Этот дружеский разговор подбодрил. Переживая задним числом едва не постигшую меня участь, я и вправду стал думать о лагере как о вытянутом счастливом билете. И потом — там Георгий, отец Михаил, преосвященный Виктор. Я был уверен, что снова окажусь на Соловках. Да и что ни говори, человек существо, способное притерпеться к любым условиям: он приспосабливается, смиряется и... выживает! Там, где погибло бы любое четвероногое или крылатое создание, даже насекомое! Гордиться ли этим?

Словом, я втянулся в свое ужатое сидение, попривык к грязи, духоте; вызывался вне очереди дневалить, чтобы оставаться одному в камере во время прогулок. Подметешь пол, протрешь сырой тряпкой — и несколько минут постоишь у окна, спокойно подышишь, оглядывая помещение, уже не

кажущееся таким тесным... Но уже затоптались перед дверью, в замке гремит ключ...

На исходе сентября меня вызвали с вещами — а у меня не было даже зубной щетки! И в канцелярии дали расписаться на обороте бумажки с приговором: пять лет исправительно-трудовых лагерей. И сразу сдали вместе с личным делом начальнику этапа. Уже через него я получил передачу — одежду и продукты, принесенные, как я догадывался, Козловым. Свидания не разрешили: «Даем только родственникам». И в тот же вечер я уже трясся в зарешеченном купе столыпинского вагона. Ехали на Москву.

Глава пятая

В КРАЮ НЕПУГАНЫХ ПТИЦ

Некошеный болотистый луг спускается по косогору к реке — не очень широкой, но полноводной, окаймленной кустами: это Свирь. Повыше, в жидкой опушке мелкого леса, из осенней листвы выглядывают товарные вагоны. Там не то разъезд, не то тупик ветки, где нас недавно выгрузили. На непримятую траву. Вокруг — ни малейшего признака станционных построек, платформы: пустынный участок лесного безлюдного края со словно случайно здесь оказавшимися заросшими травой рельсами.

Распоряжавшиеся выгрузкой охранники отвели нас на сотню метров от опушки на чистый луг и, тесно сгрудив, приказали садиться на вещи. В некотором отдалении поставили часовых с винтовками. Доставивший нас паровоз ушел, и все замерло. Оказалось — надолго.

Было тихо; ветер шуршал пожухлой травой, река блестела против солнца. И среди всего ненаселенного простора — серая, тусклая толпа понурых, смолкших человечков, обтерпевшихся и почти равнодушно ожидающих, как ими распорядятся. Никто не знал, чего и кого мы дожидаемся долгими часами под открытым небом — по милости Божией ясным,— в виду необозримо раскинувшихся лесных далей. Каждого занимало, где примоститься со своим сидором, чтобы было посуше: чавкающая, податливая почва не держала и под ногами выступала вода. Что-то всухомятку жевали; с разрешения и под надзором попки, отходили на десять шагов в сторону и присаживались в траву; лениво гадали, где мы и куда погонят. Смутно знали, что в этих местах разво-

рачивается Медвежка — новые лагеря для постройки канала. Но если так — почему не видно бараков? Колючей проволоки? Следов езды?

И лишь под вечер, когда село солнце и от реки пополз холодный туман, откуда-то появилось несколько военных. Начались переклички, сортировка, развод в разные группы. Меня выкликнули последним, когда я уже волновался — что за такую исключительную участь мне готовят? Присоединили меня к партии человек в сорок; все до одного — воры. Я, считавший себя все же политическим, оказался один среди отборной шпаны — карманников и прочей уголовной шушеры, подростков и вовсе юнцов, без «паханов», матерых преступников-профессионалов, диктаторствующих над коллегами по ремеслу.

Мою партию повели к железной дороге и погрузили в классический телячий вагон — красный, двухосный — с крепко заколоченными люками. Пересчитали, убрали доску, по которой мы, балансируя, с разбегу забирались внутрь, и с треском задвинули дверь. Сделалось темно.

Понемногу оглядевшись в проникающем через щели свете, начали кое-что вокруг себя различать. Порасселись, а потом и улеглись на полу, прижатые друг к другу, однако не так плотно, как в тульской тюрьме. Оценив положение, я заключил, что мне лично ничего не грозит, но с драгоценными своими запасами придется распрощаться.

Подозвав пацана повзрослее, я отдал ему для раздачи без малого все содержимое своего мешка — хлеб, сахар, сухари. Все, что удалось в то голодное регламентированное время — я представлял себе, ценою каких жертв и усилий! — собрать моей родне и что всегда так дорого заключенному не только как огромное подспорье и средство выжить, но как свидетельство заботы и любви, олицетворение непорванной нити с отторженным от него миром. Об этих передачах, предосудительных, компрометирующих — что, кроме подозрений и придирок, мог навлечь на себя помогающий осужденному врагу народа? — собранных живущими по-нищенски близкими и друзьями, об их подвижничестве, мужестве должна быть написана героическая поэма...

Но дрянной народец вокруг меня был все же голодным, и нельзя было с ним не поделиться, как бы мало сочувствия ни вызывала у меня эта братия. Увы, не христианские чувства говорили во мне, а понимание, что лучше самому отдать, добровольно, нежели быть ограбленным. Я постарался и сам поужинать как можно плотнее — в запас. Остав-

шиеся крохи — пригоршня-другая сухарей, несколько кусков сахара, еще что-то — увязал в опустевший мешок с кое-каким носильным барахлом, положил его себе под голову и растянулся на полу. Наступила темнота, и надо было спать.

Вагон долго стоял. Из-за тонкой обшивки доносились шорохи — шелест деревьев под невзначай набежавшим ветерком, возня ежей или мышей в опавших листьях, неведомые шуршания и потрескивания. Стоял ли возле нас караул? Было похоже, что мы в своем запертом ящике погружены во вселенскую темноту, окутавшую мир, и нет нигде единой живой души.

Я стал задремывать. И, уже засыпая, почувствовал, как осторожно выдергивают у меня из-под головы мешок. Я сразу двинул кулаком куда-то в потемки, угодил во что-то мягкое. Попытки через некоторое время возобновились. Я посылал удары в никуда — иногда кого-то задевал, чаще в пустоту. В промежутках боролся с одолевавшим сном.

Я проснулся от толчков идущего вагона, белым днем. Голова моя лежала на полу, рядом валялся опустошенный до дна мешок. Я снова закрыл глаза и долго их не открывал из-за брезгливого чувства — неодолимого отвращения к своим спутникам. Случившееся, правда, только подтверждало мой давнишний вывод насчет вздорности литературных суждений о романтике и благородстве, присущих будто бы уголовному миру, и все-таки... И все-таки было мерзко думать, что существа, способные обобрать до нитки спящего товарища, только что поделившегося с ними последним, почитаются людьми. И в те сутки, что тряский наш вагон катился к цели — уже знакомой мне станции Кемь,— я не мог себя заставить разговаривать со своими соэтапниками, отвечать на их вопросы. Злые тогда владели мною мысли... От нашей выгрузки в Кеми сохранилось очень резкое ощущение своей вброшенности в ворочающееся, беспорядочно понукаемое, куда-то направляемое многолюдие, тесноты, необходимости что-то выполнять под непрерывные окрики и брань. Высаживали из вагонов не только нас, но одновременно из других эшелонов, так что все вокруг кишело людьми с мешками, сумками, деревянными чемоданами, толпившимися в оцеплении солдат, вооруженных винтовками с примкнутыми штыками. Нас выстраивали впритык друг к другу, тесными рядами по десять человек. Когда составлялась колонна, погнали куда-то по пустынной дороге...

Начальники шли сторонкой, в ремнях и при пистолетах,

подтянутые и заносчивые. Они то и дело покрикивали: «Шире шаг!», «Не растягивайся!» Это приводило к тому, что усердствовавшие в хвосте колонны конвоиры насовывали задние ряды на идущих впереди, люди оступались, роняли вещи, падали... И от растянувшейся по грязному осеннему проселку на добрый километр колонны шел беспорядочный глухой шум, в мутном прибое которого вдруг четко выделялся окрик, отдельный вопль или вычурное длинное ругательство в Бога, в мать, в жизнь...

После длившегося бесконечно ожидания у обвитых колючей проволокой ворот зоны — тут этапы принимала целая ватага лагерного начальства, писари из УРЧ сверяли списки с записями в формулярах, опрашивали, выясняли — я наконец оказался в бараке, широком, низком и длинном, с двумя продольными проходами между тремя порядками капитально сооруженных двухъярусных нар. И тут снова — общее воспоминание о толчее, брани, грязи, стоянии в очередях у столовой и уборной, перекличках, вызовах, драках, буйстве, слившееся за много лет с длинной чредой однородных передряг. Все эти пересылки и этапы более или менее на один лад. Заключенные тут как пересчитываемые в гурте головы скота: их надо накормить, не дать вовсе запаршиветь в дороге, чтобы было что сдать в конце приемщику.

Как и нары для заключенных, вся пересылка была построена прочно, с расчетом на долговременный разворот деятельности. Просторные, добротно срубленные бараки тянулись вдоль прямых улиц с дощатыми настилами, называемыми линейками. В центре поселка, обтянутого колючей проволокой в несколько рядов, с вышками и прожекторами, находилась уборная на четырнадцать очков с дежурившими круглые сутки уборщиками с метлами и ведрами извести. Зэки выстраивались на линейках по нескольку раз в день — для проверок, при выводе на работу. Из них тут же составлялись партии для дальнейшего следования.

Линейки служили и для муштры. Темпы приемки-сдачи — жизнь не замирала ни на секунду круглые сутки, этапы принимались и отправлялись во всякое время — не давали охранникам развернуться по-настоящему, но они все-таки выкраивали время для издевательских учений, а то и для расправ.

Как-то под утро я был разбужен шумом. Со двора доносился топот множества ног по гулким доскам, крики, особенно разнузданная, кощунственная брань. Я выглянул из

тамбура. В неясном предутреннем освещении по линейкам грузно бежали, в одиночку и группами, серые тени, грохоча башмаками и запаленно дыша. Вдоль мостков, неподалеку друг от друга, стояли охранники с «дрынами»— увесистыми березовыми дубинками, какими они с размаху лупили отстающих, а то и просто удобно подвернувшихся зэков.

Этап гоняли вкруговую, по двум параллельным линейкам, одни и те же фигуры пробегали мимо вновь и вновь. Иной падал, отползал на четвереньках, кое-как поднимался и устремлялся бежать дальше. На того, кто медлил встать, набрасывались вахтеры. И мелькали дрыны.

— Вишь, издеваются. Трое по дороге сбежали, у самой зоны, вот они и отыгрываются,— пояснил стоявший возле меня у двери одноногий мужик из-под Калуги.— Это не впервой. Навидался... Когда целую ночь вот так гуляют. Забивают и насмерть, коли по-настоящему разойдутся. Мне-то как быть? Поднялся идти в хлеборезку, да боязно сунуться — как раз прихватят...

Охранники развлекались и вне лагеря. Нас большими партиями выводили за зону, чтобы позабавиться зрелищем, как ошалевшая от страха, окриков и избиений толпа бестолково мечется и старается вокруг явно нелепого дела. Нас заставляли вылавливать в мелком прибрежном заливчике нанесенные течением бревна и втаскивать их наверх по крутому склону на катище; не только что лебедок, у нас даже веревок не было, чтобы зачалить их. Мы, артелями человек по десять — двенадцать, вручную катили каждое бревно перед собой, оскользаясь, едва удерживаясь на скате. Не справившись, бревно упускали, и оно, то расшвыривая, а когда и калеча нас, плюхалось обратно в воду.

Неудивительно, что никто из тех, с кем пришлось тогда сталкиваться в Кемьперпункте — спать ли на одних нарах, вместе участвовать в бессмысленных авралах, в редкие тихие часы перед сном обмениваться обрывками осторожных речей,— никто из тысяч лиц, перевиденных за месяц с лишним, что я там пробыл, не запомнился: чересчур мимолетными были общения, незначительны материи, о которых можно было рискнуть заговорить при таком поверхностном знакомстве. Пожалуй, только одного упомянутого дневального Илью Прохорова я могу назвать, и то потому, что пришлось в ночной, успокоенный час поговорить с ним задушевно.

Наряженный как-то дневалить в помощь Прохорову, я понес вместе с ним хлебный ящик к каптерке. Она оказалась на запоре. И вот мы, сидя в сторонке на штабеле накатан-

ных бревен, внезапно разоткровенничались. Он горевал о беспомощной семье, с берущими за душу подробностями вспоминал отнятую пашню, заботы о лошади, тепло омшаника с отелившейся коровой. Не мог он с ними расстаться, вступить в колхоз, из-за чего и был раскулачен и заключен на пять лет в лагерь — хотя отроду не держал работников и числился середняком. Рассказ его, заурядный и скорбный, открывал в оболганном «враге»— будто бы бессердечном мироеде и корыстном приобретателе — исконную и высокую привязанность к земле и крестьянскому труду, справедливость в суждениях и поступках, широту и терпимость. Это объясняло мне, почему отец мой так безусловно верил в крестьянскую правду, в мужицкий мир. И вот человек из этого мира отлучен от поля, брошен в лагерный барак дневалить — после того как потерял ногу на лесоповале. И даже здесь, голодный и без поддержки, больной, он добросовестно делает свое дело — вручает всем пайку в неприкосновенности, с пришпиленными деревянными палочками десятиграммовыми довесками...

Именно в те годы, когда началось истребление здорового ядра нашего крестьянства, завершившееся полным крушением русской деревни, она понесла непоправимый урон, оказавшийся для нее роковым. Российское земледелие было подсечено под корень. Может быть, навсегда.

На Соловках оказалось еще более многолюдно, чем на кемьской пересылке. Пароход «Глеб Бокий» курсировал между Кемью и островом безостановочно. Соловецкое начальство теряло голову: куда распределять и как размещать пополнения? Битком набитое зэками судно пришвартовывалось к пристани, еще не освобожденной от предыдущей партии. Подхваченный людским потоком, я после темного, душного трюма оказался сначала в густой толпе выгруженных на пристани, где, после бесконечного ожидания, был включен в очередную партию, едва не на рысях отправленную (гнали в шею) в кремль, в тринадцатую роту.

Тщетно всматривался я в лица, прислушивался к разговорам, опасливо приступал с расспросами к местным зэкам. Ни одного знакомого лица, ни одной созвучной интонации, ни одного «Как же, знаю!» в ответ на называемые мною имена. Кое-кто от меня шарахается, подозрительно озираясь. Все вокруг чужие и чуждые.

Мы, вновь привезенные, отличаемся от местных зэков.

Все соловчане обряжены в одинаковые стеганки и ватники, на голове — суконные бесформенные треухи. Разница лишь в степени заношенности. И все острижены под машинку, безбородые, с отросшей на подбородке щетиной. Но более этих внешних признаков впечатление безликости создает общее всем лицам выражение угрюмой сосредоточенности неподвижность черт, словно каждый погружен в какие-то тягучие, серые, однообразные раздумья...

Изредка за внешним грязновато-грубым обличием смутно угадываются следы интеллигентности и воспитания, какая-то еле уловимая сдержанность манер. Но в глазах такое желание остаться неотгаданным, что останавливаешься на полуслове. И жгут мучительно-тревожные вопросы: где Осоргин, отец Михаил; почему с фельдшерами не приходит Фельдман; почему никто не спешит повидаться со старым соловчанином, вернувшимся с новым сроком? — а задать их боишься.

Шли чадные дни. Я ютился на краю грязных трехъярусных нар, убого торчащих под величественными соборными сводами, шалел от бестолковой гонки на устраиваемых то и дело авралах, притерпливался к безнаказанной наглости уголовников, старался как-то не потерять себя. Утвердиться на линии поведения, какая бы, насколько можно, ограждала от засасывающего, растлевающего воздействия условий, толкавших на отказ от привычных понятий и норм. Лагерная обстановка диктовала: чтобы уцелеть и выжить, сделайся людоедом, умей столкнуть слабого, подкупить сильного, подладиться к блатному миру. Но как быть, если все существо твое противится? Восстает против матерщины, цинизма отношений, подлости и насилия?

То, что меня обобрали на этапе, теперь послужило ко благу. Блатари рыскали и шарили по нарам, отнимая на глазах у дневального и дежурных все, что только удавалось обнаружить в мешках и баулах у «контры». Защиты не было: добыча — барахло и съестное — шли в некий общий котел, участниками которого были начальственная мелюзга, дневальные, за ними — заслуженные уголовники. Шакальей стае, совершавшей набеги, доставались крохи. Нередко было увидеть добротную шубу или славно сшитые сапоги, отнятые у соседа по нарам, на дежурном по лагпункту и конечно же на каптере, владевшем самой ценной обменной единицей — пайкой.

Поднимали нас до рассвета. Тут же, как в тюрьме, кормили поднесенной в ушатах баландой, еще в темноте вы-

страивали на площади перед соборами, по счету передавали нарядчикам и под конвоем гнали куда-нибудь за монастырскую ограду. Иногда я попадал на кирпичный завод, где целый день таскал с напарником носилки с глиной или формованными кирпичами; чаще оказывался на обширном дровяном дворе, где должен был вдвоем с товарищем наготовить из долготья сколько-то швырковых дров — напилить, наколоть и сложить в штабель; иногда на пристани таскали грузы. И все — под неусыпным надзором: отлучки или общение с местными зэками исключались. Их я видел только издали.

Однажды лесной склад обходила комиссия. Распоряжался высокий человек в очках, одетый по-арестантски в бушлат, но чистый и аккуратный. Я сразу угадал по облику не только интеллигента, но и «бывшего». Случалось, мельком видел лица, выправка и манера держаться которых выдавала прежних военных. Но то были единицы — общую массу составляли крестьяне, большей частью пожилые. И всюду — густо всякого ворья; немало было народу трудно определимой категории — что-то обезличенное, стертое лагерем.

Приближалась зима. Мы все чаще возвращались с работы промокшие и озябшие. Спать приходилось в непросохшей одежде; разношенная казенная обувь — знаменитые соловецкие «коты», скроенные из старых брезентовых рукавов и шин,— не спасала от грязи и талого снега, а месить их доставалось целый день. И в роте, где были согнаны сотни и сотни людей, становилось все больше лихорадящих, бредящих, горячечных. Очень скоро узналось, что заболевают не воспалением легких и простудой, а валит людей с ног исконный спутник нищеты, скученности и грязи — сыпной тиф. Завезенный с материка, он быстро распространился: все мы подолгу не бывали в бане, забыли про чистое белье и, конечно, обовшивели.

Между тем в эти последние дни перед закрытием навигации с материка засылали новые и новые партии заключенных. Остров обратился в серый, смрадный, кишащий бедлам.

Нечего говорить, что к борьбе с эпидемией Соловки никак не были подготовлены. Сыпняк косил зэков невозбранно. Растерянное начальство прибегало к непродуманным, торопливым мерам, подсказанным более опытом тюремщиков, нежели знаниями. Нас запирали в помещении, никуда не выпускали, но на нарах продолжали бредить и умирать. Изоляция не удавалась: приходилось выпускать в общие

уборные, столовую, за хлебом... И объявленный накануне строгий карантин на следующий день отменялся: нас сортировали заново, перетасовывали, куда-то кого-то отправляли. Потом у входа снова устанавливался пост, не выпускавший одних, разрешавший (по блату!) отлучки другим, и смертность все росла и росла. Кстати сказать, в этот период мы вовсе не видели начальства. Напуганное заразой, оно пряталось от зэков и вырабатывало непоследовательные меры для собственной безопасности.

В один из предзимних дней я вместе с большой партией был наряжен на рытье могил. Несколько дней подряд мы копали у южной стены монастыря огромные ямы и еще не закончили работы, когда туда стали сбрасывать трупы, привезенные на дрогах во вместительных ларях-гробах. Один из возчиков, с которым я поделился щепотью махорки, указал мне на возвышавшуюся невдалеке, под самой оградой, порядочную земляную насыпь: под ней — останки заключенных, убитых здесь в октябре двадцать девятого года.

Так впервые я услышал подтверждение смутным слухам о массовых расстрелах на Соловках. О них просочились сведения за границу, догадывались, по внезапно оборвавшейся переписке, родные и близкие погибших. Но широко по стране не знали. А если бы и знали, эта расправа, при всей ее бесчеловечности, не могла в те годы произвести особого впечатления: казни шли повсеместно, газетные сообщения «приговор приведен в исполнение» успели примелькаться...

Это известие меня потрясло. Было страшно узнать, что нет более в живых Георгия, наших общих друзей — всех, кого я надеялся здесь встретить. А как я торопился сюда, как обрадовался, когда меня выкликнули в Кеми на соловецкий этап...

От меня в трех шагах лежали поросшие травой комья земли — на этом месте палачи-добровольцы сталкивали застреленных в наспех вырытую траншею, неистовствовали, добивали раненых. Надо мною наглухо сомкнулась глухая беспросветная соловецкая ночь. «Lasciate omnia speranza...»[1]

Лишь спустя много лет я узнал достоверные подробности гибели Осоргина, Сиверса, других знакомых, сотен соловецких узников. Тогда же мне лишь открылось, почему не вижу никого из прежних товарищей по заключению. Они все, как

[1] Оставь всякую надежду *(итал.)*.

писал Тургенев, «умерли, умерли!». Нет, не умерли — а убиты, казнены. Истреблены.

...Настал день, когда меня с утреннего развода не погнали на «общие», а отослали обратно в роту дожидаться «особого распоряжения». Это означало какую-то перемену и, разумеется, встревожило. Хотя, казалось бы, чего опасаться на том дне, куда бросила меня судьба? Могло ли что быть безысходнее и мрачнее этой череды дней взаперти? В гулком провале полутемного каменного колодца с кишащей толпой голодных, грязных, пришибленных людей, поневоле враждебных друг другу? Каждый в каждом видел источник заразы и смерти, от которого хотелось быть за тридевять земель, а обстановка заставляла спать вповалку. Здоровые подкарауливали бредящих и умирающих, чтобы воспользоваться пайкой, ухватить обувь, теплые штаны, засаленную подушку.

На этот раз санобработку делали отнюдь не формально. Мне, как выяснилось, предстояло бывать в местах обитания начальства и вступать с ним в контакт. Поэтому мыли, стригли и прожаривали мои пожитки на совесть. Остриженный кругом под ноль, я был впущен в баню с порядочной банкой дезинфицирующего снадобья, с мылом и разрешением не торопиться. А баня-то еще монашеская! Просторная, с медными щедрыми кранами, полатями и особенно легким духом под низкими каменными сводами...

Затем я обрядился в новенькое белье с тесемками, брюки и гимнастерку, телогрейку — все хоть не первого срока, но выстиранное, прокаленное в сушилках Из своего мне оставили только обувь. В таком облагороженном виде я был сдан на руки дневальному общежития лагерных «придурков»[1], к коим мне посчастливилось быть причисленным. В этом примыкавшем к прежнему Рухлядному корпусе с кельями были размещены работники управления, уже, правда, не столь просторно, как в прошлое мое сидение: место монашеских деревянных диванов заступили узенькие топчаны на козлах, оставлявшие несколько проходов, едва достаточных, чтобы кое-как пробраться боком. Мой топчан, по счету одиннадцатый, был приткнут под вешалкой, у двери, без доступа сбоку. Зато были тощий тюфяк с перетертой соломой и суконное серое одеяло, созданное как бы специально для арестантов.

Удача! Меня произвели в счетоводы лесного отдела.

---

[1] Так лагерные работяги называли конторских служащих.

Решение укрепить мною бухгалтерский аппарат лагеря вызывалось отнюдь не преувеличенной оценкой моей квалификации в этой области, а видами одного из начальников на использование меня в качестве репетитора немецкого языка для его двух чад-школьников. Всеохватывающие сведения из личного дела открыли ему мою профессию переводчика.

Забегая немного вперед, скажу, что педагогическая моя карьера на этот раз оборвалась, так и не успев расцвести, из-за невзлюбившей меня с первого взгляда супруги начальника. Этой необразованной, заносчивой женщине лукавая судьба назначила ходить в советских барынях, нисколько не подготовив ее на эту роль. Новоявленная дама не упускала дать мне понять, что я за низкое, отверженное существо, заслуживающее лишь резкого, презрительного обращения. Она не позволяла детям садиться рядом со мной, а мне — покидать свое место на краю кухонного стола. К нему я должен был шагать по нарочно для этого расстеленной тряпке — прямо от двери холодных сеней, где я оставлял шапку и телогрейку. И уже в третий свой приход я, вдруг вспылив из-за грубого ее окрика — чего бы, кажется? Называй как вздумаешь, только не отнимай добавочное блюдо! — резко предложил обращаться ко мне на «вы» и не вмешиваться в мои замечания ее отпрыскам.

Изгнать меня ей захотелось с треском. По рассказу знакомого нарядчика, она фурией влетела в УРЧ, бурно требуя сослать меня на штрафной лагпункт за «грубость и угрозы». Но тут в мою пользу сработал род круговой поруки — подспудно действующий закон лагерного блата, порой пересиливающий и самые категорические распоряжения начальства. У меня уже завелись знакомства, кое-какие связи, пришлось и вовсе по-дружески с кем-то перемолвиться. Так что нашлись доброхоты, и меня попросту убрали с глаз начальства. Я был направлен рабочим в лесничество, километрах в двух от кремля, под начало Басманова — того самого обратившего на себя мое внимание высокого человека, что распоряжался приемкой дров на складе.

Главный лесничий Басманов был профессором Петровско-Разумовской академии, а по происхождению — из старинного рода, числившего в череде своих предков опричника Ивана Грозного. После очень тяжелого следствия его привезли на Соловки — примерно за год до меня — с десятилетним сроком. Выглядел он человеком погасшим, но добрый близорукий взгляд сквозь очки говорил о неутраченной благожелательности к людям. Он устроил меня так, чтобы «невин-

ность соблюсти»— то есть, как предписывалось, держать на физических работах — и «капитал приобрести»— подобрать занятие, избавляющее от ига бригадира и конвоя. И, зачисленный в истопники и уборщики при лесничестве, я был посажен за вычерчивание таксационных таблиц. А когда кто-то все-таки стукнул, что у лесничего дневалит зэк первой, «лошадиной», категории, которому только вкалывать на самых тяжелых работах, заранее предупрежденный Басманов успел меня перевести чернорабочим на соседнюю звероферму. Там я хоть и не «кантовался» за конторским столом, но выполнял работу нетяжелую — кормил кроликов. А главное, жил не в общем бараке, а на утепленном чердаке одного из домиков фермы, где было тихо, просторно и чисто. Жил я с двумя «куркулями»— крестьянами из-под Гуляй-Поля, махновцами, в свое время амнистированными и заключенными в лагерь в коллективизацию. То были крепкие и смелые люди. Разоренные, считавшие дело крестьян проигранным, они не сдались и не пали духом. Добросовестно ходили они за советскими «овечками», как величали порученных их попечениям ондатр, тогда впервые завезенных с Мичигана, ухитрялись стряпать сытные обеды, за которыми элегически вспоминали борщи, заправленные пожелтевшим салом, растертым с чесноком. Жили махновцы спокойно, молчаливо, ко мне отнеслись дружественно. Бестревожные месяцы на звероферме вспоминаются как благополучное, дарованное свыше спокойное время.

Тут следует пояснить, что за истекшие с первого моего освобождения из лагеря (1929) два с лишним года произошли крутые перемены: уголовники и бытовики были объявлены социально близкими, пятьдесят восьмая — социально опасной, лишена доверия, обвинена во всех грехах периода произвола и обречена находиться только на физических работах. Такая схема в чистом виде была, естественно, неприложима: воры и преступники не отказывались называться социально близкими, но работать решительно не хотели Да и не умели. И того более: не хотели отказываться от своего ремесла. Каптерки, кассы, склады, мастерские надо было ограждать от них, как от чумы. И приходилось волей-неволей вновь усаживать контриков в канцелярии и столовые, на склады, назначать главбухами и заведующими — вопреки категорической инструкции. Блатарей пробовали ставить дневальными, зачисляли во внутреннюю охрану, но участившиеся грабежи вынудили и от этого

способа поощрения и использования близких элементов отказаться: в первую очередь обворовывались квартиры, магазины и склады вольнонаемных. В этой обстановке начальство чутко реагировало на доносы: любому урке было достаточно пожаловаться на «врага», «издевающегося» над соцблизким трудягой, на доктора, отказавшего в освобождении,— и делу давали ход. И нередко с трагическим финалом. Этим начальство, вероятно, предупреждало возможные последствия обвинений в потворствовании контре и притеснении родных бытовичков. Вдобавок оно отечески мирволило шалостям своих подопечных — пусть себе ребятушки погуляют, развлекутся: тут выхватят посылку у нераскаявшегося «бывшего», там изобьют каптера, выдавшего прогульщику штрафную пайку, взломают вещсклад с отобранной у зэков одеждой...

Звероферма находилась на лесистом островке, затерявшемся среди бесчисленных бухточек и мысков, изрезавших извилистый берег глубокой Муксалмской губы. Не было тут ни колючей проволоки, ни охранников — мирная тихая заимка с людьми, дробящими и нарезающими корм всяким зверушкам, убирающими в вольерах, таскающими дрова к печам. Сельские будни, уводящие за тысячу верст от ненавистничества и напряжения лагерной жизни... Нас от нее отгораживал пролив, через который переправлялись на лодке: мы, немногочисленные рабочие-звероводы, наряжались гребцами и грузчиками. Наши подопечные пожирали порядочно кормов, так что доставалось грузить и плавить мешки с крупами, овощи и даже всякие деликатесы вроде меда, кураги, орехов, свежего мяса и рыбы, предназначенные соболям. Да простят мне задним числом драгоценные питомцы чекистской зверофермы! Мы не удерживались от соблазна и нескудно разнообразили и совершенствовали свой арестантский стол за их счет, полагая, что лишь восстанавливаем попранную справедливость: снабженцы охотно включали в рацион соболей кур и сухофрукты, отпускали отличную говядину для черно-бурых лис и песцов, тогда как наш сухой паек составляли, помимо основы основ — хлебной пайки в полтора фунта (норма работяги в тот период),— перловая крупа, соленая вонючая рыба, квашеная многолетняя капуста и сколько-то граммов прогорклого растительного масла да несколько щепотей сахару.

Я распоряжался свежими корнеплодами и кочнами ка-

пусты, махновцы имели доступ к мясу, соболятники выделяли нам урюк, рис, мед взамен на наши весомые приношения. Была на нашем островке баня, так что мы были ограждены от трех основных бед лагерника — если не считать начальство: скученности, грязи и недоедания. С мыслью о зыбкости арестантского благополучия, донельзя хрупкого, способного в любую минуту оборваться, с этой мыслью мы — как притерпливается человек к любой невзгоде — сжились. Умели отрешиться от сознания всечасно висящей над нами возможности быть схваченными, брошенными по чьему-нибудь навету в шизо — штрафной изолятор,— истерзанными на допросах обвинением... в преступных замыслах, заслуживающих «вышки»...

В отдельном коттедже жил наш единственный начальник — заведующий фермой Каплан. Заключенный, он носил полувоенную форму и был, судя по всему, на особом положении — вероятно, благодаря заслугам перед партией или занимаемому на воле высокому положению. Был он корректным, очень замкнутым, в меру требовательным, распоряжения его — дельными, исполнимыми и касались только работы. В нашу жизнь Каплан вовсе не вмешивался, хотя был проницательным и знал обо всем, что делалось на ферме. Нечего говорить, что мы зубами держались за свою работу и ухаживали за зверьками не за страх, а за совесть. И наезжавшим частенько комиссиям — ветеринарным и начальству — не к чему было придраться.

Приходилось, само собой, ловчить и комбинировать. Особенно мне, с квелыми моими кроликами-шиншиллами, плохо переносящими сырой и холодный соловецкий климат. В иные месяцы свирепствовал кокцидиоз — кроличий инфекционный насморк,— и маленькие крольчата гибли целыми пометами. Я научился благоразумно подправлять отчетность: в графе «котные матки» проставлял менее половины ожидавших потомства крольчих. Таким образом падеж удавалось скрыть.

Впрочем, начальство все заботы свои и попечения обращало на соболей — заболевание этого зверька было ЧП, о котором докладывали начальнику лагеря и чуть ли не в Главное управление в Москве. Интересовалось начальство и песцами с лисами.

Для чего была предпринята ГУЛагом попытка разводить редких пушных зверей? Не с тем ли, чтобы крупные боссы могли бесхлопотно обряжать в ценные меха своих супруг и любовниц?.. Во всяком случае, кроличье племя оставалось

вне сферы его внимания — в крольчатник оно, при посещении фермы, никогда почти на заглядывало.

По вечерам мои сожители обычно уходили к земляку в соседний домик, вели там беседы на родной «мове», иногда вполголоса пели свои хохлацкие песни — особенно «Реве та стогне Днипр широкий», трогавшую их до слез. А я зажигал большую керосиновую лампу и занимался забытой «письменностью»: переводил на французский Тютчева, составлял на память антологию любимых стихов. Словом, коротал время: книг не было.

И вот однажды ко мне зашел Каплан. Это было так неожиданно, что я, пока скрипели ступеньки чердачной лестницы под его шагами, не позаботился убрать сковородку с уличающими остатками неположенного зэкам блюда. Однако начальник и не подумал им интересоваться. Вежливо поздоровавшись, он присел к столу и с ходу объяснил, что, как ни обособленно мы живем, следует остерегаться доносов, поэтому он не может, как бы хотел, со мной общаться, перевести в кладовщики или завхозы, но предлагает осторожно к нему заходить, порыться в его книгах... Мельком упомянул о своем филологическом образовании, желании потолковать о предметах отвлеченных — и ушел, дружески пожав руку. Но лишь когда Каплан, зайдя на крольчатник, повторил приглашение, я рискнул к нему зайти.

Темным вечером я тенью шмыгнул в дверь директорской квартиры. На полу настелены половики, стоит кое-какая мебель. Письменный стол освещала яркая керосиновая лампа. Эта обстановка, да и сам хозяин, с умным, строговатым взглядом и несколько чопорной вежливостью напоминавший русских провинциальных врачей, были такими внелагерными, что я себя почувствовал словно зашел навестить знакомого. Перестал стесняться своей замызганной сряды и стряхнул скованность лагерного работяги перед начальством.

Как ни любезен был мой амфитрион, я сразу почувствовал, что откровенным быть не следует. Не из осторожности — порядочность Каплана не внушала сомнения,— но по ощущению принадлежности разным мирам. Мирам, с несхожими и даже противоположными взглядами и оценками.

Предоставив мне осмотреть полки с книгами, Каплан вышел на кухню, где закипал на керосинке чайник. И беглый взгляд на корешки убеждал в приверженности обладателя собранных книг марксистской литературе...

Но, помимо Маркса и Плеханова, нашлась целая под-

борка английских классиков в Оксфордском академическом издании!.. Байрон и Теккерей в оригиналах во владении соловецкого заключенного — в этом было что-то несообразное. Даже нелепое, как если бы в мешочнике, лихо продирающемся в осаждающей вагон толпе, узнать... Чехова.

— Все на самом законном уровне... На всех книгах, как на наших письмах, штамп «проверено цензурой»,— усмехнулся вернувшийся Каплан.— Они полежали-полежали в ИСЧ и возвратились ко мне — скорее всего, непросмотренными: полагаю, там никто языка Шекспира не знает. Но формальность соблюдена... Давайте чай пить. Я расскажу, почему очутились здесь эти книги, да, пожалуй, и сам я, чтобы вы перестали смотреть удивленно.

Говорил о себе Каплан скуповато, как бы взвешивая каждое сообщаемое сведение. Он возвратился в Россию вместе с потоком эмигрантов, хлынувших на родину после свержения «душившего» ее самодержавия. Рос и учился в Англии, где осели его родители, покинувшие Киев еще в первые годы века, когда по Малороссии прокатилась волна погромов. Каплан-отец, специалист меховщик, остался в Лондоне и сделался чем-то вроде контрагента нашего «Аркоса»[1]. Сын, бредивший революциями, ринулся в Россию — помогать строить новую жизнь. Не найдя применения своим знаниям в филологии, перепробовал несколько профессий, пока в ведомстве, где переводил техническую литературу, не столкнулся случайно с новыми тогда проблемами пушного звероводства. Вспомнились поездки с отцом на зверофермы в Канаду, дело увлекло, и вскоре прежний английский филолог сделался пионером и специалистом разведения пушных зверей. Однако связь с семьей за рубежом, знакомства среди революционеров разных толков, быть может, и одиозность фамилии — пусть было исчерпывающе доказано отсутствие какого-либо родства с покушавшейся на Ленина злодейкой,— всего этого оказалось достаточно, чтобы ввергнуть в лагерь вчерашнего революционера-волонтера... Правда, на первых порах — вероятно, из-за надобности в его отце — предоставив ему несколько смягченный режим. Власть изолировала его как бы из предосторожности, на всякий случай, не в наказание за вину. Позже до меня дошел слух, что Каплан был арестован в лагере и увезен со спецконвоем в Москву...

---

[1] «Аркос» — англо-русская торговая фирма.

...В ранней юности мне довелось слегка прикоснуться к подпольному миру прежних революционеров и политических эмигрантов. В нашем доме периодически появлялся молодой человек — тип вечного студента, заросший и неряшливо одетый. Фамилия его — Кузнечик (наверное, партийная кличка) — нас, детей, забавляла. Мой отец опекал, прятал и куда-то увозил этого карбонария.

Не раз видел я в отцовском кабинете и высокого, грузного гостя, особенно запомнившегося из-за нерусского акцента. Седые усы и эспаньолка подчеркивали его сходство с Некрасовым. То был некто Дворкович, революционер восьмидесятых годов, эмигрировавший еще в прошлом веке. Он отошел от подготовки мирового пожара и наезжал в Россию по банковским делам. Но, по старой памяти, еще выполнял кое-какие поручения прежних своих единомышленников.

За обедом Дворкович бывал церемонен, с нерусской учтивостью обращался к моей матери и не упускал с иронией передать нелестные для россиян сообщения и сплетни английских газет о наших правителях и порядках. И угадывались застарелая неприязнь и презрение рассказчика — прежнего эсера или бундовца — к русским порядкам.

Если перепрятываемый моим отцом Кузнечик был фигурой конспиративной, скрывавшейся от полиции, то Дворкович держался солидно и самоуверенно. В нем чувствовалась отчужденность человека, перебравшегося в покойный и безопасный дом и не заинтересованного в прежнем ненадежном и постылом жилье. Мои родители видели в этом естественное следствие претерпленных гонений; я — предосудительное осуждение чужаком дорогих мне национальных представлений.

Вот и в Льве Григорьевиче чувствовалась мне закоснелая неприязнь — но не только в отношении прежней России, а и к народу, оказавшемуся неспособным безболезненно приспособиться к снизошедшей на него марксистской благодати. Поэтому мы, не сговариваясь, ограничили свои беседы литературой. И судили о достоинствах переводов англичан на русский язык — предмет многолетних занятий Каплана. Тут проявлялась его великолепная эрудиция. Немало рассказывал он интересного и о Западе, от которого я был отключен наглухо.

Мы почти не говорили о текущих лагерных делах. В редкие наши вечерние встречи — развитое чувство самосохранения подсказывало не злоупотреблять ими — обоим хотелось от

лагеря отрешиться. Разве что мой босс, все чаще посылавший меня с поручениями в управление, предостерегал от тех или иных встреч, называл лиц, которым не следовало показываться на глаза. Этот человек, видимо, знал многое о многих.

...С выписанным мне Капланом пропуском я шел в кремль — по замерзшему заливу, дальше лесной тропкой, выводившей к огородам. Тянулись они вдоль берега Святого озера, и за белой их гладью подымались суровые силуэты башен монастыря. Грозные и насупленные, они высились над озером в сером, тусклом небе, словно с тем, чтобы каменной своей неподвижностью напомнить людям, ничтожествам, копошащимся у их подножия, о нависшем над ними роке. Не человеческим скорбям, отчаянию и страхам, разлитым вокруг, было возмутить это вековое равнодушие! Мнилось: не сизые клубы холодных морских туманов застят четкие очертания башен и колокольни, а испарения скопищ пришибленных людишек, зловонное облако ругани и богохульств. Кровавая изморозь, оседающая на холодных валунах... Каторга успела стереть призрак святой обители.

Поездки на фермы, к рыбакам, в хозяйственные отделы управления, на склады и базы расширили мои знакомства. И я все чаще стал узнавать в темных щетинистых лицах, под коростой арестантской уродливой одежды людей, мне созвучных. Первое впечатление сплошной серости оказалось ошибочным. Я научился различать под ней печать культуры, воспитания, нравственной высоты. Встречались люди истинно замечательные.

Преследуемые достоинства и мысль ушли в подполье. Прятались, чтобы не навлечь гонений и не возбудить озлобленной зависти — этого надежнейшего рычага и пособника социальных потрясений. Хлопотать о мимикрии и растворяться в безликости было тем более необходимо, что состав соловецких заключенных существенно изменился. Становилось все меньше чистокровных «контриков»— народа, принадлежащего непосредственно дореволюционной России. Соловки уже вбирали потоки лиц, связавших свою судьбу с советским строем, составлявших промежуточное поколение: бывший офицер оказывался на поверку прапорщиком, присягавшим Временному правительству; сосланный специалист — сыном, а то и внуком помещика, отпрыском прежних «особ первых четырех классов». То был народ, уже воспринявший отчасти новые психологию, принципы, критерии

морали. Вошедшие к тому времени в моду процессы вредителей поставляли в лагерь первые партии советской интеллигенции, техников и инженеров послереволюционной формации. Этому контингенту уже были непонятны настроения тех, кто почитал Октябрьскую революцию крушением России, а выкорчевывание религии — сталкиванием народа в пропасть одичания и бездуховности. Верующих и противников большевиков они относили к ретроградам, приверженцам изжитых идеологий. И если между «нераскаявшимися» и «просветившимися» не было враждебности, как приключилось позднее, когда лагерь наводнили разжалованные коммунисты, то определились непонимание и отчужденность. В интеллигентном подполье обозначились размежевание, недоверчивость.

Мне, как я уже писал, тогда посчастливилось узнать близко нескольких выдающихся священников, вынужденных держаться особенно прихоронно и обставлять свое общение с верующими истинно конспиративным ритуалом. Встречаться и тем более устраивать богослужения удавалось крайне редко...

Почему я не запомнил имя этого человека?.. Он где-то дневалил — не то в кипятилке, не то в бане. Был он тщедушным, очень смуглым; моржовые усы закрывали рот и даже крохотный подбородок. На изможденном маленьком лице его, обтянутом прозрачной кожей, точно он всегда зяб, усы эти казались огромными. Незаметная, стертая внешность облегчала — отнюдь не уменьшая опасности — выполнение им обязанностей связного между православными. Одним передавал Евангелие, другим устраивал встречу с отцом Иоанном, тех оповещал о предстоящей службе.

Был он когда-то чиновником губернского казначейства. Под конец германской войны его призвали с ратниками второго разряда. Революция застала его писарем в каком-то тыловом штабе. Этот тихий, стеснительный человек настойчиво и бесстрашно прильнул к делу помощи гонимым церковнослужителям. И несколько лет подряд в его крохотном домике на окраине уездного городка — помнится, в Тверской губернии — находили приют и помощь преследуемые священники. Через него проходили и собранные для них средства и вещи. Надо полагать, что он был находчив, осторожен, героически смел, раз за десять с лишним лет его так и не разоблачили. Даже на следствии ничего из его подпольной деятельности не всплыло: пять лет лагеря он получил по случайному и незначащему поводу — кому-то

на глаза попался в губернском архиве список чиновников, где числился «губернский секретарь такой-то»...

У этого человека были врожденные качества конспиратора, и провокаторов он угадывал верхним чутьем. Мне не известна дальнейшая судьба этого подвижника — может быть, мученика? — веры. Но вот прошло почти полвека, а все живо в памяти худое лицо, светлые, чуть навыкате глаза, добрая улыбка, еле приметная под усами, бушлат с поднятым воротником. И жест — ободряющий, доверительный,— каким он охватывал руку выше запястья, торопливо прощаясь: он всегда спешил.

Должно быть, на вторую весну моего повторного заключения на Соловках праздник Пасхи совпадал с Первым мая, и мы были освобождены от работ. Это одно создавало особое, приподнятое настроение. И вот возле управления я встретился с отцом Иоанном. Не задумываясь, мы с ним похристосовались... Порадовались, погоревали, да и разошлись с ощущением ниспосланности встречи — для ободрения. И забыли о ней.

Но вот звероферму осчастливило начальство. Оно обходило вольеры, разглядывало зверюшек, слушало объяснения Каплана. Нас не замечало, разве бегло резало подозрительными взглядами. При выходе из моего крольчатника низенький безбровый военный, выказывавший всяким движением особенную неприязнь, остановился против меня и в упор уставился светлыми рачьими глазами:

— Небось молельню тут устроил? Хорош гусь,— обратился он к сопровождающим его чинам.— Перед окнами управления с попом христосоваться вздумал на Пасху, а?! Интеллигент х...!

Взгляд Каплана ободрил меня: ответь, мол!

— Земляка на Первое мая встретил, гражданин начальник. Поздоровался с ним, правда, поздравил, а другого ничего не было. Пошутил кто-то, вам про Пасху доложил,— отпарировал я хоть и запальчиво, но с замершим от предчувствия беды сердцем.

Опешенно оглядев меня снизу вверх, начальник постоял как бы в нерешительности. Непонятно усмехнулся, покачал головой, крепко матюгнулся и, круто повернувшись, пошел прочь.

Я отправился на свой чердак. Мои махновцы пригорюнились: верное шизо, в лучшем случае — отправка на тяжелые работы... Чего другого можно было ожидать? А я-то

перед самым закрытием навигации получил раз за разом несколько посылок: валенки, теплые вещи, еду — и мог рассчитывать на благополучную зимовку... И вот — внезапное крушение!

В тот вечер, однако, за мной не пришли. Очень поздно вызвал к себе Каплан и сообщил — о чудо! — что пронесло.

— Его позабавила ваша увертка. Матерился, правда, но без злобы. Даже как-то одобрительно. «Ишь ты, там-тарарам, вывернулся! За Первое мая схоронился! Ну и прохвост, мать-перемать! А как он у тебя работает?» Я ответил. «Ладно,— сказал,— оставлю его, пусть работает. Только, х... стоеросовый! Чтоб помнил — от нас нигде не укроешься, всегда найдем!» Передал, извините, дословно — для колорита.

В моем деле и характеристиках ничего не могло выделить меня из сонма подобных мне, и я, разумеется, был встревожен, что начальник меня запомнил, знает в лицо... Очевидно, специально интересуется, следит. Воображение лагерника легко воспламеняется, заставляет томиться предчувствием беды. Лев Григорьевич пытался рассеять мои подозрения: мол, тех, кто тут работает, всех держат на особом учете. Как-никак — безнадзорные, на отшибе, могут невесть какой фортель выкинуть! Да и лупоглазый начальник этот мог и в самом деле знать меня в лицо: он тут бывал, и я не раз переправлял его через залив на гребной лодке. Признаюсь тут, что при неплохой зрительной памяти я почти не отличал лагерных начальников друг от друга: все они под жесткой своей фуражкой были для меня на одно лицо — узколобое, тупо-твердое, солдафонское...

Но — «довлеет каждому дню злоба его». Дни «срока» изживаются в будничных занятиях, складывающихся в привычную схему, или, если угодно,— ярмо. И мы волокли его, отупевшие, погасшие, хмуро и обреченно. Пусть нам, ухаживавшим за живыми существами, досталась на долю наиболее одухотворенная и необременительная работа, но и на ней лежало мертвящее тавро лагеря. Подневольный труд гасит огонек одушевления, язвит самолюбие, подымает со дна души протест — бесплодный и иссушающий.

Все реже принимался я по утрам скоблить и мыть донья кроличьих клеток, раскладывать по кормушкам пуки сена, мелко крошить корнеплоды, а отправлялся к вохровцу, выдававшему весла и отмыкавшему цепь, какой лодка была прикована к неохватному бревну. Начиналась иллюзия вольной жизни.

Для доставки рыбы от муксалмских рыбаков мне давали

в лесничестве подводу. На остров, где в прежних скитских постройках разместилась лагерная молочная ферма, а в сезон жила артель рыбаков, я ехал берегом залива и по дамбе. Своего конька не утруждал. На шесть или семь верст пути я ухитрялся затрачивать утреннюю упряжку. Погромыхивали пустые короба в телеге; я посиживал, по-крестьянски свесив ноги над передним колесом. Пустынная лесная дорога располагала к ленивой созерцательности. Да и куда было торопиться?.. Каменистый берег залива покрывал нетронутый сосновый бор. Сквозь деревья опушки — всплески солнечного света на пенистых волнах. И протяжные голоса надлетающих птиц, и свежесть морского ветра, и в яркой хвое — рыжие быстрые белки. И древний смолистый дух бора в заветриях.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять...

Равнодушная ли? Ее, Природу-утешительницу, я глубже всего постиг сквозь частокол зон да щели щита, загораживающего обрешеченное окно. Когда был погребен заживо.

Передав рыбакам накладные, я ставил лошадь к сену и отправлялся проведать Воейкова. Общих знакомых, связей и воспоминаний с Дмитрием Александровичем у нас оказалось столько, что мы охотно встречались. И сошлись очень дружески. Был он старше меня и уже в пятнадцатом году воевал офицером, как и Георгий Осоргин, но подлинной военной косточкой стать не успел. И остался — по привычкам своим, повадкам и облику — самым что ни на есть типичным помещиком средней руки и общественным деятелем губернского масштаба. Служил в земстве, участвовал в выборах, вводил достижения агрономической науки в своем родовом имении. Жил доходами с него, но ограничиться ими не умел. Легкое, вернее, легкомысленное отношение к жизни, приверженность к ее усладам, роднившие Дмитрия Александровича со Стивой Облонским, не исправил и лагерь. Гладкое, чистое лицо с крупным горбатым носом и полными, словно припухшими губами, мягко вьющиеся белокурые волосы, мясистые большие уши, высокая, чуть оплывшая фигура — все в нем выдавало прежнего беззаботного барина. С каким вкусом и увлечением хлопотал он над сковородкой с нежной морской рыбой, как вдохновенно

вспоминал, причмокивая, аромат и остроту приправы, секрет которой ему удалось вытянуть у старого повара тульского Благородного собрания... Но более гастрономических радостей — и это сквозило в нем всего очевиднее — ценил он прекрасный и слабый пол, как писали в старину романисты.

— Как я люблю, как я люблю свою Дашеньку! — вырывалось у него искренней скороговоркой, когда ему случалось говорить о жене. При этом он закатывал от умиления глаза и присюсюкивал, что не мешало ему тут же вспомнить приключение, несовместимое с супружеской верностью.

Да и на Соловках Дмитрий Александрович ухитрялся заводить шашни. Однажды я его застал за игривым разговором с двумя бытовичками — накрашенными и подрумяненными — у крыльца конторы совхоза. Они хихикали и жеманились, а мой Воейков весь ходил ходуном, красовался, сладчайше щурился, шутливо расставлял руки, как бы собираясь заключить в объятия своих собеседниц.

И эта лежащая наружу, очевидная суть Дмитрия Александровича — отличного компанейского малого, бесконечно далекого каких-либо притязаний на политические идеалы и общественные симпатии, покладистого, плюющего, в конце концов, на всякие строи и революции, лишь бы жилось сносно в смысле утешных блюд и «ласковых дев»,— снискала ему расположение начальства, нуждавшегося, кроме того, в его опыте сельского хозяина. И Воейкова назначили заведовать Муксалмской фермой. Он поставил дело так, что соловецкие «вольняшки» не могли нарадоваться на фляги со свежими сливками, сочные филе и окорока, какие им вряд ли доводилось когда отведывать, пока не сошла на них благодать даровых лагерных харчей.

Жил Дмитрий Александрович в просторной комнате — бывшей монашеской келье, построенной не во времена подвижничества, уже далекие, а в наш век ублажения плоти. И хозяин обставил ее как можно уютнее, разгородил старинными ширмами, сохранившимися от монастырских гостиниц. По штату завфермой полагался дневальный. Нечего говорить, что Дмитрий Александрович сумел подобрать себе расторопного и услужливого малого. И черточка: старомодная щепетильность не позволяла Воейкову пользоваться «казенными» благами. Довольствовался он и угощал лишь тем, что выдавалось ему по норме, да рыбой во всех видах: ею рыбаки щедро оделяли всех жителей Муксалмы.

Мы болтали подолгу. Иногда нас прерывал приходивший за распоряжениями дневальный или работник фермы. Дмит-

рий Александрович кратко и строго давал указания, чтобы тотчас вернуться к разговору. По большей части — «о цветах удовольствия». И до чего же упоенно передавал он подробности какого-нибудь юбилейного обеда, пикников с лихими тройками и дамами, изнеможенно раскинувшимися на траве...

В то утро Дмитрий Александрович собирался угостить меня сельдью особого посола. И только любовно приступил к ее разделке на специальной досочке, как в комнату без стука вошел скотник. Обернулся было резковато к нему хозяин, да так и застыл с ножом в одной руке и рыбкой — в другой. Вошедший и впрямь был страшен. Его била дрожь, на землистом лице остановились расширенные глаза и дергались неспособные произнести слово губы... От лица Дмитрия Александровича отхлынула краска, и оно сделалось таким же неживым, как и у скотника.

— Подохли... свиньи...— наконец выдавил тот.

Молча впился в него немигающими глазами Воейков, помертвевший, сразу утративший повелительную свою осанку и самоуверенность. Передо мной стояли два человека, у ног которых разверзлась смертная бездна. И пахнуло всем ужасом ожидавшей их участи...

Когда выяснилось, что после утренней раздачи корма пало шесть взрослых маток и почти два десятка молодых свинок, Дмитрий Александрович едва не рухнул на кровать, стоявшую рядом. Обхватил ее спинку рукой, да так и замер с низко опущенной головой. Что было делать?

Я стоял над ним и не находил слов для ободрения. Ведь немыслимо было сказать: «Разберутся, установят причину...» Дмитрий Александрович не хуже моего знал, что никто разбираться или искать виновного не станет. Поспешат расправиться с ним, чтобы самих не обвинили в утрате бдительности, в доверии к «замаскировавшемуся вредителю»— классовому врагу. Да и неплохо лишний раз нагнать страху скорой расправой... Помочь было некому. Разве Каплан: к начальству вхож, Воейкова хорошо знает и — я не сомневался — не побоится.

Дмитрий Александрович никак не отозвался на мой план действовать через Льва Григорьевича.

— Вы вот что...— медленно и с трудом проговорил он, не поднимая головы,— уезжайте-ка скорее... пока не приехали. Целее будете. Да вот еще... если вернетесь когда в Москву, отыщите мою семью... Расскажите им...

Внезапные судорожные рыдания, тотчас с силой подавленные, не дали ему договорить.

Уже в сумерках, когда я, поставив лошадь в конюшню лесничества, грузил короба с рыбой в лодку, мимо пристани проехали два запряженные парами тарантаса с военными. Господи, Помяни убиенных...

Дмитрия Александровича расстреляли на следующий день. Никакого следствия вести не стали, хотя Каплан, друживший с ветеринарами, быстро организовал вскрытие погибших животных и акт об отравлении мужественно представил начальнику лагеря. Причем указал виновника — вора-рецидивиста, сводившего счеты со свинарем, своим бывшим дружком. Вся история сразу стала секретом полишинеля. Но нужен был козел отпущения, подходящая жертва, дабы зэки помнили, что не заржавел лагерный топор! Всегда занесен над ними... И от свидетельства Каплана попросту отмахнулись. Да занесли ему в послужной список это заступничество: при случае ему припомнятся хлопоты за «контру»!

...Много лет спустя мне пришлось исполнить поручение несчастного Воейкова. Но его Дашеньки уже не было в живых, а родственники, которых я разыскал, отнеслись на удивление равнодушно к моему рассказу. Поблагодарили, присовокупив, что они об этом давно знают: были слухи, да и отсутствие писем говорило за себя. Не нужна была этим людям память о компрометирующем, плохо кончившем родственнике! Мне же и теперь — а тогда тем более — представляется чудовищно жестокой и преступной бессудная расправа над веселым, безобидным и вполне невиновным человеком.

На перепутье между зверофермой и кремлем стоял старый скит с деревянной часовней, обращенной в контору лесничества. Там я часто встречал Аполлона Леонидовича Буевского — кадрового военного топографа. Он профессионально и красиво вычерчивал планы лесных кварталов, занимаясь этим, как, вероятно, и всем, что ему поручалось выполнять, методически и добросовестно.

Холодком веяло от всегда сдержанного и педантично-официального, безукоризненно воспитанного Аполлона Леонидовича. Был он высок, худ и подтянут; правильные черты

лица, отлично подстриженная бородка, темная, с небольшой проседью. Носил Аполлон Леонидович, как и все лагерники, бушлат, однако перешитый, ладно пригнанный к его сухой фигуре и только подчеркивающий его дореволюционную армейскую выправку. В беличьей огромной шапке, с планшетом через плечо, в больших теплых перчатках светлой замши и офицерских сапогах, он более походил на генштабиста, чем на нашего брата лагерника.

Сблизили нас собачьи дела. Вспомнив, что в родословной одного моего пойнтера значился кобель некоего Буевского, я спросил о нем Аполлона Леонидовича. Оказалось, что как раз он и был этим заводчиком. Это сразу растопило лед: кровные пойнтеры были истинным увлечением моего нового знакомца, обладавшего поразительной осведомленностью по этой части. И замелькали имена охотников, судей, даты памятных выставок. Мы вскоре нашли и общих знакомых. А дилетантский характер моих познаний в области кровного собаководства дал возможность Буевскому взять на себя роль просветителя: между нами установились отношения ученика с наставником. Их, правда, отчасти предопределяла и значительная разница в возрасте. Буевский ценил субординацию, и мое почтительное выслушивание его суждений и приговоров на собачьи и охотничьи темы было ему по душе. Возражения его раздражали, однако всегдашняя выдержка не изменяла и тут: он лишь отчетливее произносил слова да на щеках выступала легкая краска.

Так судьба столкнула меня — впервые столь близко — со стопроцентным «красным офицером», то есть выучеником царских училищ и полковых традиций, перешедшим безоговорочно к большевикам и служившим им преданно и в полном соответствии с усвоенным кодексом чести. Не берусь определить, было ли для этих представителей прежней замкнутой касты кадровых офицеров, выходцев из дворянских семей, на самом деле, в глубине души, безразлично — служить ли императорской России или «правителям совдепии», как окрестили большевистскую Россию их однокашники и однополчане за рубежом,— но лояльны они были безупречно. До кончиков ногтей. Воистину — более католики, нежели сам папа!

Мне казалось немыслимым заговорить с Аполлоном Леонидовичем не только о тайных церковных службах, но даже о жестокостях режима, разорении деревни, даже передать анекдот о Троцком или едкое высказывание о кремлевских правителях, приписываемое в те времена Радеку. Никакой

критики порядков, никакого недовольства! Трехлетний лагерный срок — всего недоразумение, ошибка мелких чинов в органах, за которую власть не несет никакой ответственности.

Сам Аполлон Леонидович о своем деле никогда ничего не рассказывал, как не распространялся и о своей карьере в советское время. Но лесничий Басманов и Каплан знали, что он занимал высокий пост в военной академии, был близок с Буденным, командармом Каменевым и погорел из-за знакомства с каким-то приверженцем Троцкого. В лагерь Буевский был доставлен со спецконвоем, сразу избавлен от общих работ и определен — по его выбору — в лесничество. Басманову было предписано «создать условия», а самому именитому зэку предложено начальником лагеря обращаться в случае нужды лично к нему, чем, кстати, Аполлон Леонидович ни разу не воспользовался. Жаловаться или о чем-то просить было несовместимо с его чувством собственного достоинства.

И общение наше с Буевским сосредоточилось вокруг кинологических тем, милых сердцу охотника рассказов о подвигах наших любимцев — вислоухих краснопегих пойнтеров, причем я малодушно подтверждал превосходство линий, идущих от собак... Буевского!

Забегая немного вперед, скажу, что Буевский благополучно отбыл срок, поселился под Москвой и до очень преклонного возраста возглавлял какой-то отдел в закрытом (правительственном!) охотничьем хозяйстве в Завидове. И слыл непререкаемым авторитетом среди кинологов и охотоведов.

И самые неопределенные, платонические разговоры лагерников о побегах считались преступными и карались наравне с их подготовкой. Но весна была весной, и никакие наказания не могли пресечь смутных мечтаний о воле. Мечтаний, поощряемых видом возникающих из-под осевшего снега темных камней и бугорков земли, все шире освобождающихся ото льдов пространств воды, редкими криками первых морских птиц. Влажный потеплевший воздух нес дыхание пробуждающейся там, на материке, жизни. Рассудок говорил, что и за проливом, на всем просторе страны, нет более ни единой вольной души. Человека, который мог бы строить свою судьбу по собственному разумению. И все же тянуло вдаль, на воображаемый простор...

Будоражил весенний ветер, возрождал веру в одолимость угнетающих злых сил. Глотнувшим этого свежего воздуха хотелось разогнуться, расправить плечи.

Среди соловчан долго ходили рассказы про группу морских офицеров, бежавших с острова на катере и будто бы счастливо достигших берегов Норвегии. Работа в гавани дала им возможность исподволь подготовить суденышко. И в один из непроницаемых осенних туманов, плотно накрывающих Соловецкий архипелаг, они вышли из бухты Благополучия в открытое море.

Я помню этот окутанный бесцветной пеленой день, когда в пяти шагах не виден был человек, поднятую по всему острову тревогу, вой сирен сторожевых судов, невидимо крейсировавших у берегов в поисках беглецов. Мы опасливо косились на бестолково патрулировавших кремль настеганных вохровцев — а в душе ликовали и молились за успех смельчаков.

Говорили, что они поначалу ушли недалеко — высадились на крохотном, поросшем лесом островке и, загрузив свой катерок камнями, утопили его на мелководье. С неделю, пока не угомонились поиски — мимо их острова сновали сторожевые катера,— просидели в засаде, не рискуя зажечь костер. Потом подняли свою посудину, сняли двигатель и уже на парусе в подходящую лихую погоду уплыли к горлу Белого моря и дальше — на свободу.

Мы не могли знать, насколько соответствовали истине эти опасливо передаваемые подробности, как и легенды о надписях кровью на бревнах, грузившихся заключенными на иностранные корабли в Кеми, о беглецах, спрятанных стивидорами в трюмах. Но они поддерживали в нас какие-то неопределенные надежды: не пробьет ли когда и наш час?

Я всегда про себя думал, что побег в пределы Советского Союза не для меня. И не только из-за того, что бежали, за редкими исключениями, уголовники, в биографиях которых очередной побег был всего пустяшным эпизодом, грозившим, на худой конец, незначительной прибавкой к сроку, а для пятьдесят восьмой статьи влек за собой расстрел («вооруженный побег с целью поднять восстание»), но потому, что отдавал себе отчет, насколько не приспособлен — по внешности своей, манере говорить и свойствам характера — к подпольной жизни. Не мог я себя представить в личине под чужим именем, добывающим фальшивые документы...

Другое дело — побег за границу! Он виделся мне желанным исходом. И чем больше ковалось искусственных обручей,

назначенных спаять патриотические чувства с преданностью интересам партии, чем грубее вдалбливались лозунги о нераздельности «партии и народа», о тождественности коммунистических идеалов с национальными чаяниями россиян, тем резче и отчетливее ощущалась мною пропасть между ними. И крепло чувство освобождения любого русского от какой-либо солидарности с судьбами и благополучием режима.

В те годы уже сделалась очевидной полная подмена «власти Советов» (да и существовала ли она когда, эта власть, кроме как в лозунгах?) властью, вернее, самовластием партийных боссов, обкомов и райкомов. Настолько, что, чем успешнее укрепляла свои позиции власть, тем горше и безнадежнее становилось положение народа — одураченного и закрепощенного,— тем глубже хоронились надежды на возрождение и расцвет России...

Бывая у муксалмских рыбаков, я приглядывался к порядку охраны лодок, прикидывал, как можно бы ими воспользоваться. Затевал разговор с поморами, стараясь вызнать побольше о плавании в открытом море, о свойствах их карбасов, как бы интересуясь степенью опасности промысла, потребными мужеством и умением. И невзначай узнанное пересказывал своим махновцам — перевозя с ними на лодке фураж, пиля дрова под открытым небом: когда была уверенность, что нет чужих ушей. Зерно сеялось в благоприятную почву. По некоторым намекам и замечаниям я понял, что и в моих товарищах зреет решимость «спытать счастья». Терять им в самом деле было нечего — впереди оставались восемь лет «особо строгого режима». Да и мне предстояло «сгнить в лагерях», по запомнившемуся выражению московского следователя... И, ни разу не назвав друг другу конечную цель, не договорившись прямо ни о чем, мы все трое вскоре ощутили себя связанными общим планом. Я окончательно в него уверовал, когда узнал, что один из махновцев прослужил несколько лет на флоте.

Итак, надо дождаться — дело было в начале лета — осенних темных ночей с устойчивым южным ветром и «тикать» под парусом на простой рыбачьей лодке. Мы уже знали, что эти посудины устойчивы, что в волну парус имеет преимущества перед винтом, что в море обнаружить такую лодку не легче, чем иголку в стогу сена... Наметили тайник, где складывать запасы. В лесничестве были буссоли, и добыть одну из них казалось мне делом не трудным. Друзья мои приметили на складе рулоны тонкого брезента,

вполне, как мы решили, пригодного для паруса. И к середине лета мы уже не были хозяевами своих поступков, а очутились во власти затеянного. Подхваченные не зависящей более от нас силой или инерцией, мы станем делать все, как наметили, и, коль понадобится, пойдем напролом.

Как раз тогда неподалеку от зверофермы начали добывать морскую капусту, которую наравне с соей, кроликами и прочей ерундой возвели в ключевой продукт, призванный поднять благосостояние советских граждан на невиданную высоту,— и лодки оставлялись на берегу под охраной паренька с винтовкой. Это обстоятельство значительно облегчало выполнение нашего замысла: не столь рискованным и трудным казался нам захват рыбачьей лодки в Муксалме, как восьмикилометровый путь туда, особенно участок по проглядываемой отовсюду длинной дамбе. Теперь же лодка была от нас в двадцати минутах хода, вдобавок по лесу. Иначе говоря, мы могли сразу после вечерней поверки оказаться на берегу губы. Таков был ненадежный трамплин для более или менее несбыточных планов, занимавших воображение, дававших пищу для мечтаний. Облегчавших существование...

В минувшую страшную тифозную зиму перемерло столько народу, что и несколько измучивших нас генеральных поверок перед открытием навигации не могли привести в порядок списки заключенных. Нас вновь и вновь выводили в поле, выстраивали, производили перекличку, сверяли с данными формуляров, сбивались, начинали сызнова, пересчитывали по другому методу... Да так точно и не установили — сколько же народу и кто именно помер. Особенно путались с толпами не знавших русского языка выживших южан — тюрками, узбеками, калмыками, бесконечными «оглы» и «али». Неразберихой ловко пользовались бывалые преступники. Начальству ничего не оставалось, как туже подвинтить гайки: устрожить режим выглядело лучшим способом покончить с путаницей. Точно именно зэки были повинны в косившем их средневековом море.

В лагере даже разумные и нужные меры обращаются в лишние тяготы для заключенного: то дрогнешь в бесконечной очереди в бане и надеваешь стираное, но не высушенное белье; то получаешь «кандей» (карцер) за отросшие волосы, а стригаля, наглого урку с грязными, потными руками, в засаленном халате и с тупой машинкой-мучительницей,

не дождешься... Но воздвигались еще и еще новые утеснения, вводились дополнительные наказания и все более поощрялись «социально близкие». Иные ретивые начальники откровенно натравливали их на «контру».

Началась разгрузка Соловков: зэков вывозили большими партиями на материк, оставляя преимущественно большесрочников и «особо опасных» врагов народа. Новых этапов почти не поступало. Тысячи и тысячи заключенных на острове нечем было занять, тогда как в середине тридцатых годов ГУЛаг уже бойко, на широкую ногу, торговал ими. Термин «запродать» специалиста ли, партию работяг — сделался обиходным. Растузившийся подрядчик подбирал — «Будьте покойны, товар будет первый сорт!»— здоровяков с лошадиной категорией для развертывания работ на Вайгаче, в тундре, брал на себя крупные поставки леса, обеспечивая стройки страны — включая и столичные — рабочей силой. Запроданных зэков впоследствии перекрестили в героев-комсомольцев...

Думаю, что никто из перемалываемых тогда в жерновах ГУЛАга не вспомнит без омерзения книги, брошюры и статьи, славившие «перековку трудом». И тот же Пришвин, опубликовавший «Государеву дорогу», одной этой лакейской стряпней перечеркнул свою репутацию честного писателя-гуманиста, славившего жизнь!

Я был на Соловках, когда туда привозили Горького. Раздувшимся от спеси (еще бы, под него одного подали корабль, водили под руки, окружили почетной свитой) прошелся он по дорожке возле управления. Глядел только в сторону, на какую ему указывали, беседовал с чекистами, обряженными в новехонькие арестантские одежки, заходил в казармы вохровцев, откуда только-только успели вынести стойки с винтовками и удалить красноармейцев... И восхвалил!

В версте от того места, где Горький с упоением разыгрывал роль знатного туриста и пускал слезу, умиляясь людям, посвятившим себя гуманной миссии перевоспитания трудом заблудших жертв пережитков капитализма,— в версте оттуда, по прямой, озверевшие надсмотрщики били наотмашь палками впряженных по восьми и десяти в груженные долготьем сани истерзанных, изможденных штрафников — содержавшихся особенно бесчеловечно польских военных. На них по чернотропу вывозили из лесу дрова.

...Много позднее я смотрел фильм о Соловках, листал иллюстрированный альбом поездки по Беломорканалу целого букета славнейших советских писателей — были там, помнится, заклейменный Буниным Алешка Толстой, Панферов, Зощенко, прожженный Никулин, болтливый эрудит всеядный Шкловский, еще кто-то... Разумеется, я возмущался, клял «продажных сук» (да простят мне «блатное» словечко, особенно возмутительное именно потому, что нет как раз более верных и преданных существ, чем наши четвероногие песики обоих полов!), пока трезво не взглянул на это как на одну из граней — пусть более резкую и красноречивую — всеобщей, последовательно проводимой системы глобальной лживой информации, обмана общественного мнения. Беззастенчивой выдачи белого за черное. В восхвалении лагерной мясорубки и каждении ее заправилам не было ничего исключительного, выходящего из ряда. Не приходилось ли мне в землянке лесного лагпункта читать в газете, случайно попавшей в черные от въевшейся смолы руки, отповедь «зарубежным клеветникам», выдумавшим какой-то «принудительный труд» в Советском Союзе? Узнавая про выступления советских эмиссаров типа Ильи Эренбурга, с пафосом обелявших на международных форумах наших закусивших удила насильников, я испытывал бессильный гнев, ужас, подобный тому, какой охватывает в тяжелом сне, когда не можешь крикнуть, вмешаться, позвать, а только немо шевелишь губами!

Эти строки я пишу спустя более сорока лет после описываемых событий, когда весь мир прочел — если и не сумел оценить — «Архипелаг Гулаг», когда за рубежом составились целые библиотеки о сталинских временах, и потому не тщусь рассказать что-нибудь новое, о чем бы уже не знали. Но едва ли можно переборщить, множа примеры лжи и лицемерия, возведенных в официальную доктрину, затрагивающих решительно все области информации — будь то успеваемость школьников, отчет о выставке, сведения об авиационных катастрофах, репортаж о путине, работе БАМа и тем более о деликатных материях международной политики, отзывах зарубежной печати и т. п.

Ах, как мы негодуем и гремим по поводу западных судей, мирволящих «военным преступникам», клеймим позором всякие хунты, обличаем, словно у нас не доживают век в почете и довольстве ветераны преступлений против человечества, словно не к нам, может быть, в первую очередь, относится поговорка «чья бы корова мычала», не мы мутим

и мутим, видя в соперничествах и конфликтах возможность ослабить капиталистов, столкнув их друг с другом...

Казалось бы, пора переменить пластинку, ну хотя бы вскользь обмолвиться об известных даже советским школьникам систематических закупках зерна в США и Канаде, о воздушных катастрофах и жертвах стихийных бедствий, процедить сквозь зубы частичку правды, коли она стала достоянием гласности...

Где найти философов, знатоков человеческой психологии, способных объяснить, как это миллионы людей, и зная, что они живут беднее, бесправнее, ущемленнее своих современников в большинстве других стран, продолжают относиться подозрительно и недоверчиво к порядкам у зарубежных народов?..

Впрочем, в моем вопросе — неприкрытая риторика. Потому что нет надобности ни в философических медитациях, ни в глубокомысленных выводах психологов, чтобы заключить: зиждется этот общенародный отказ от свободы суждений, оценок и права на личное мнение и пристрастия — на том страхе, на том смертельном страхе, какой был внушен населению с первых шагов власти.

Именно всесильные выискиватели крамолы определили на все последующее время порядок, при котором ни у кого никогда не может быть сознания личной безопасности. Каждый чувствует себя подозреваемым, легкой жертвой навета, боится прослыть рассуждающим, самостоятельным, выдаваться чем-либо из безликой, снивелированной массы.

Уже не вламываются по ночам в квартиры, будя спящих, обвешанные оружием ночные гости с бумажкой-ордером; рабочие коллективы и возмущенные писатели не подписывают более писем-обращений, требующих от партийного руководства смертной казни разоблаченных «врагов народа». Не слышно и о массовых расстрелах. Но темный страх остался. Таится подспудно в душах, поддерживаемый отголосками того кровавого прошлого. После истребления прежней интеллигенции, крестьянства, лучших людей всех сословий образовался вакуум. Не стало людей честно и независимо думающих. Верховодят мало образованные приспособленцы и карьеристы, изгнаны правда и совесть...

Исцелить нас могло бы только восстановление правосудия, подлинная гласность, ветерок свободы, который бы наконец повеял над немой страной.

* * *

Лето подходило к концу, а мы все еще не приступили к приготовлениям вплотную. Всего только насушили сухарей. Они пригодятся при любых обстоятельствах. Не миновала нас и тревога: участились вызовы на этап. На материк вывозили всего больше здорового люда, а мы все трое числились по первой категории. И если пока что мы удерживались на острове, то гуляйпольцы — благодаря бандитской статье, я — хлопотам Каплана. Ему удавалось, используя свои связи, исключать меня из списков отбираемых на лесоповал. Но сколько это могло продолжаться?

Мои друзья, отлавливавшие и расселявшие ондатр по всему острову, имели постоянный пропуск и видались изредка со своими земляками и однодельцами, от которых узнавали новости. Умножившиеся строгости и ограничения вынудили Каплана не посылать меня больше с поручениями в кремль, чтобы не попадаться на глаза начальству.

Лишь изредка отправлялся я, на свой страх и риск, с махновцами помогать им расставлять ловушки. Полог леса надежно прятал от ока начальства. Было прикровенно, глухо. Мы забирались на горушку и подолгу разглядывали оттуда береговую линию, островки за проливом, сливавшуюся с небом морскую даль... Как могла бы уплыть туда резвая наша лодка! Как летел бы наш бесстрашный парус по неоглядному простору, приближая к берегу, где безопасно, где не мерещится готовый пальнуть в тебя вохровец. Где свобода...

Мы разнесли по озерам капканы и вышли к опушке, за которой тянулась пустынная Савватьевская дорога. Не выбираясь из гущины, выглянули и — затаились. Откуда-то доносился смутный глухой шум — словно со стороны кремля. Он становился все внятнее, приближался.

И вот из-за поворота дороги сверкнули штыки и показалась голова колонны. Отчетливее доносился хруст гравия под сапогами, усилился гул приближающейся толпы; стали слышны редкие возгласы... И наконец в полусотне метров от нас потянулись плотные ряды одетых в штатское людей. Напряженные лица. Чемоданы и узлы оттягивают руки, сутулят плечи.

По обе стороны колонны шли сплошной цепью стрелки. Шли с винтовками на изготовку. Командиры шагали с наганом с руке. И не было обычных криков, матюгов, команд. Зловещее молчание. Народу гнали много — поболее двухсот

Судя по одежде, то были не лагерники, а доставленные из тюрем.

В последнее время ходили упорные слухи о поступающих с материка крупных партиях арестантов, сразу с пристани препровождаемых на Секирную гору. Про то, кто такие эти обреченные, толковали разное. Иные считали их прежними лагерными тузами, ставшими козлами отпущения после того, как весь мир узнал про расправы в Соловецком лагере; другие уверяли, что был открыт заговор в недрах самого «ведомства»... Но, кто бы они ни были, вели их на смерть. О том, что Секирная гора превращена в лобное место, соловчанам было известно доподлинно.

...Этап прошел. Мы углубились в лес. И все стояли перед глазами эти люди, из последних сил тащившие тяжелые вещи, в которых уже не будет нужды...

И когда много лет спустя мне пришлось прочитать, как фашисты, выгрузив из вагонов партию подвозимых к лагерю уничтожения евреев, гнали их, волокущих мешки и сумки, подстегивали окриками «Шнеллер, шнеллер!» и те, надсаживаясь, бежали к зевам смертных печей, я вспомнил тихую лесную дорогу на Соловках, по которой палачи гнали свои жертвы... Никакому насильнику невозможно открыть новое поприще! Как страшно: все повторяется...

Ночи сделались длиннее. И мы, подгоняемые нетерпением, пошли посмотреть, как охраняются лодки сборщиков водорослей. Каплана и сторожа предупредили, что вернемся после поверки: идем к дальним озерам на подсчет ондатр. Поход наш, мы знали, был сопряжен с известным риском. Но нам сейчас он был даже нужен: праздное ожидание, когда вот-вот потянут на этап и все рухнет, становилось тягостным. Хотелось убедиться, что мы не только мечтаем, но и что-то предприняли.

Вернулись мы подавленными. На берегу догнивало несколько куч водорослей: промысел был прекращен или перенесен в другое место. Лодок не было и в помине. Это означало полный провал наших планов.

Шли мы молча. Никто не хотел первым открыто признать крушение. Впрочем, мы к этому времени настолько сжились, что без слов понимали друг друга. Лишь когда лодка, на которой мы возвращались, ткнулась в берег, было сказано:

— Может, эта сойдет?

Нет, на такой не уйдешь — волна ее захлестнет еще в за-

ливе. И все-таки... Выбитой из-под надежды опоре надо было найти замену...

Молча, пришибленные, занимались мы в тот вечер своим обычным делом. Снесли сторожу весла и ключ, я доложился Каплану, мы топили плиту, варили ужин, разбирали постели... А потом разговорились, находя в дружеском общении противовес упадку духа. И понемногу ожили, ободренные сердечной беседой.

Говорили мы о самом дорогом, заветном. Сподвижники батьки Махно дали прорваться своей тоске по дому, по оставленным семьям, по своим «хлопчикам». Жинки их давно оставили разоренный дом и перебрались в город, в соседнюю область, и по-крестьянски настойчиво и терпеливо приспосабливались к новой жизни. Мне приходилось разбирать их редкие немногословные письма с поклонами и скупыми сообщениями о смертях, «бульбе», собранной с огорода, выхлопотанном каким-то дядькой Василём на сахарном заводе кабанчике... «Чоловики» мои слушали, сжав губы, сосредоточенные, кивали, молча переглядывались.

Их детям не давали учиться, и весть, что младшенькие стали наконец ходить в школу, была большой радостью. Эти плохо знавшие грамоту исконные пахари очень понимали пользу просвещения. Они считали, что лишь из-за своей темноты дали себя обмануть «комиссарам». А когда поразобрались и примкнули к Махно, было уже поздно бороться...

Проститься нам не пришлось. За мной пришли два конвоира — из тех заключенных-подонков, что обслуживали следственные, учетно-распределительные, специально-чекистские отделы лагерного управления. Махновцы были на озерах...

Собирался я под аккомпанемент хлестких понуканий и издевательских шуток по поводу простынь на постели, зубной щетки... Вдвойне разложенным — уголовным прошлым и наушничанием — лагерным прислужникам случай проявить свою власть, получить право кем-то распорядиться был возможностью поквитаться за свою униженность. И оба присланных люмпена наслаждались, понукая и расшвыривая мои вещи. Не разрешая выйти в уборную... Когда предупрежденный кем-то Каплан поднялся на чердак, оба конвоира — тщедушные, с испитыми, порочными лицами, наглыми юркими глазами — учиняли мне форменный шмон, явно превышая при этом свои полномочия.

Предписание доставить меня на пересылку делало их неуязвимыми для возражений и протестов Каплана, пытавшегося заявить о своих правах начальника зверолагпункта. Сунув ему свою бумажку, достойные уполномоченные управления дерзко предложили ему оставить помещение. Он не ушел, но больше вмешиваться уже не пытался. Напоследок, когда меня уводили, он встрепенулся, по-английски крикнул, что постарается выяснить, вернуть... Однако мы оба понимали, что сработал механизм беспощадной лагерной дробилки на уровне, где блат бессилен. И кое-как — из-за наскоков стражей — прощаясь, про себя сознавали: навсегда!

Почти не бывает, чтобы на лагерных перепутьях повторно скрещивались зэковские пути,— вероятность встреч ничтожна. За более чем четвертьвековые мои скитания по ссылкам и лагерям мне лишь однажды пришлось встретиться с человеком, который посчитал, что мы с ним знакомы во Воркуте. Но, как выяснилось, он принял меня — по сходству нашему — за моего близнеца Всеволода, с которым прожил в одной землянке на Кедровом Шоре более года... Но об этом — в своем месте.

В тот же вечер я оказался среди этапируемых, то есть отключенным от лагеря зэком, загнанным в отдельное помещение. Нас гоняли на санобработку, прожарку, поручали заботам каптеров. Те, блюдя свои интересы, стаскивали с нас мало-мальски целые телогрейки и бушлаты, обувь, чтобы обрядить в совершенное тряпье. По количеству выдаваемого на руки хлеба мы догадывались, что предстоит пробыть в пути по крайней мере три дня, а бывалые зэки определенно называли Медвежью Гору.

Но тут произошло чудо — в последний раз сработал рычаг хлопот о моей судьбе. Меня неожиданно, в сутолоке сборов и перекличек перед перегоном этапа на пристань, вызвали с вещами и препроводили в УРЧ. Там я расписался, что ознакомился с постановлением Верховного Совета (или ВЦИКа), по которому остаток срока — около половины — заменяется мне ссылкой в Архангельск. Власти и авторитета Калинина еще достало на то, чтобы добиться такого послабления. Но вовсе отменить неправедный приговор, оградить от загребущих клещей всесильной опричнины он уже не мог...

И я покинул Соловки на судне, увозящем мой этап, но уже с литером в кармане и без конвоя.

Я стоял на палубе. В выданной мне сопроводиловке значилось, что я обязан с ней явиться в обозначенный срок

в комендатуру НКВД. Имел при себе немного денег; одет был хоть и в старое, но свое — не лагерное. И прикидывал, что, пожалуй, не пропаду! Но не было ничего схожего с тем подъемом, какой я испытал при первом отплытии с острова... Быть может, из-за внезапности перемены: я был ошеломлен и не вполне пришел в себя. Да и слишком круто оборвались связи, сделавшиеся моей жизнью, чтобы я мог сосредоточиться на ожидавшем меня неведомом... О северной ссылке ходили мрачные толки. Все это мешало отогнать мысли о предстоящих новых — должно быть, нелегких — испытаниях и жгучие сожаления о рухнувших надеждах на подлинное избавление.

Судно отплывало в холодный пасмурный день, после внезапного снегопада, и забурлившая у причала вода выглядела особенно темной, особенно жуткой в побелевших берегах. На свинцовом небе выделялись четкие очертания крыш и шатров, придавивших черную непроницаемость стен и башен. В скупом октябрьском свете монастырь, голые скалы у входа из бухты — уже лишенные деревянных крестов — да и сам берег, едва корабль вышел в открытое море, исчезли из глаз... Но не из памяти. Уже тогда я смутно предчувствовал, что Соловки станут зарубкой, вехой в истории России. Символом ее мученических путей.

...Через длинную чреду лет, в начале шестидесятых годов, несколько знакомых ученых усиленно уговаривали меня примкнуть к их туристской поездке на Соловки. Я отказался. Из-за ощущения, что этот остров можно посещать, лишь совершая паломничество. Как посещают святыню или памятник скорбных событий, национальных тяжких дат. Как Освенцим или Бухенвальд.

Суетность туристской развлекательной поездки казалась мне оскорбительной даже для моих пустяковых испытаний... Или следовало поехать? И указывать своим спутникам: «Здесь агонизировали мусаватисты... А тут зарыты трупы с простреленными черепами... Недалеко отсюда в срубе без крыши сидели зимой босые люди. Босые и в одном белье А в летние месяцы ставили на комары... А вот тут, под берегом, заключенные черпали воду из одной проруби и бегом неслись вылить ее в другую... Часами, под лихую команду «Черпать досуха!» и щедрые зуботычины...»

Глава шестая

НА ПЕРЕПУТЬЕ

Их можно было увидеть в любое время суток. Они слонялись по улицам, тянулись куда-то неторопливой вереницей или кучками, брели поодиночке. Волочащиеся ноги, медленное вышагивание выдавали отсутствие цели, надобности куда-то поспеть, и более других признаков говорили о пришлости этих людей, отделяли их от остальных прохожих — горожан, занятых своим делом и собой. Да и одежда, узелки их, берестяные кошели и полупустые домотканые мешки не позволяли усомниться в принадлежности этой многочисленной праздногуляющей братии, заполнившей улицы Архангельска, деревне. Деревне, еще обряжающейся в овчины, шубные «спинжаки», сшитые домашними портными; заячьи треухи, армяки; обутой в тяжелые яловые сапоги, сооружаемые на долгие годы; толстенные, негнущиеся катанки — изделия шатающихся меж дворов вальщиков; в кожаные необъятные калоши не то в веревочные чуни с оборами и даже в лапти... Словом — деревне упраздняемой, отчасти принадлежащей прошлому, изгоняемой новыми порядками. Были то потомственные русские мужики...

Были то потомственные русские мужики, преимущественно пожилые или среднего возраста, заросшие бородами, широкоплечие, с тяжелыми, праздно висящими темными руками. Немало было и подлинных дедов — с лысым челом, клинышками редких бородок, худых, еле передвигающих непослушные ноги. На немощных плечах обвисли пудовые тулупы до пят; жилистые шеи обмотаны обращенными в шарфы бабьими платками.

Бабы встречались реже. Шли они почти всегда с уцепившимися за подол детьми, укутанными по-взрослому в шали, не то несли на руках малышей. Женщины эти брели тоже вразвалку, но робко, еще с большей, чем мужики, торопливостью уступали дорогу, жались в сторонку. И поражали своей отрешенностью, застывшим темным взглядом из-под низко повязанного платка.

Будь кому дело до этих пришельцев, досуг за ними понаблюдать, можно было бы заметить, что более всего их на улицах, выводящих к реке неподалеку от центра города. И если бы с проспекта Павлина Виноградова выйти, скажем, по Посольской к Двине, то оказалось бы, что тут и протиснуться-то трудно. Всякий свободный промежуток запол-

нен народом. Особенно густела толпа возле приземистого барака с вывеской Архангельской комендатуры ОГПУ. Люди ждали приема. Ждали сутками, неделями, месяцами. Так что и не всем доводилось дождаться.

Буксиры волокли по Двине караваны барж, паровозы — бесконечные составы товарных вагонов, условно называемых теплушками. Это по воде и по суше из деревень всех российских губерний свозили крестьянские семьи. Их выгружали на пристанях, в железнодорожных тупиках, где только отыскивалось еще не занятое место. И оставляли под открытым небом. Размещать ссыльных было негде. Все мыслимые емкости в виде бараков, навесов, сараев были использованы под больных и умирающих...

Комендатура не справлялась с отправкой «с глаз долой» — в таежное безлюдье. Все деревни области были забиты до отказа — и тысячные этапы не рассасывались. Скапливающиеся орды мужиков обреченно толклись возле окошек комендатуры, ожидая вожделенных талонов, по которым можно было, выстояв бесконечные часы, получить пайку — с фунт непропеченного хлеба, сколько-то соленой рыбы и крупы.

Так что то были толпы не только грязных, завшивевших и изнуренных, но и голодных, люто голодных людей. И тем не менее они не громили комендатуру, не топили в Двине глумливых сытых писарей и учетчиков, не буйствовали и не грабили. Понуро сидели на бревнах и камнях, усеявших берег, не шевелясь, часами, уставившись куда-то в землю, не способные сопротивляться, противопоставить злой судьбе что-либо, кроме покорного своего долготерпения...

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа —
Край родной долготерпенья,
Край ты русского народа!

Но ведь поднимался он некогда вслед за Разиными и Пугачевыми? Или то разжигал сердце разбойничий посвист — призыв, суливший грабеж?.. Или никакие цари и господа не умели так поразить страхом, как нынешние наглядные расправы?

Но я, когда протискивался сквозь эту молчаливость и покорность, более страшные, чем крики и ругань, не задавался подобными вопросами. И лишь всем существом сознавал свою долю вины, словно и на мне лежала ответствен-

ность за безысходную тоску и мытарства этих опустошенных, утративших надежду толп.

Хотя бы из-за того, что у меня был кров, что я не был голоден и в комендатуре подходил к особому окошку, где дважды в месяц отмечались ссыльные, оставленные в городе и отпущенные жить на частные квартиры. Я проталкивался, прижимаясь к армякам и полушубкам с невольной опаской: как бы мне, попарившемуся в городской бане и сменившему белье, не подцепить заразную вошь! Нашлись в Архангельске знакомые, хлопотавшие о моем устройстве на работу, брат прислал все необходимое... У меня, наконец, есть кому писать и от кого ждать отклика. Этим же мужикам не от кого и неоткуда ждать помощи и сочувствия. Их выкорчевывали из родных гнезд, предварительно ограбив. Теплую одежду и обувь оставляли редко. Они лишены дома, родной стороны, корней — и это навсегда.

У забора сидит на земле мужик в крытой поддевке, очень затасканной и рваной. Руками, опертыми о колени, он охватил низко свешенную голову, словно хочет отгородиться от всего света, ничего не видеть и не слышать. Рядом с ним женщина в развязавшейся шали. Она склонилась над уложенной на рядне, укрытой лоскутным одеялом девочкой с бескровным лицом, синей полоской рта и плотно закрытыми веками в темных, глубоких глазницах. Мать что-то шепчет...

Чуть подальше кучка мужиков столпилась над неподвижным человеком в зипуне и растоптанных лаптях. Он растянулся на голой земле — во весь свой немалый рост. У меня на глазах он вдруг весь напрягся, точно хотел потянуться затекшими членами, да так и замер. И сразу окаменело лицо.

Ветхий мужик в полушубке с рваной полой торопливо стянул с плешивой головы треух, перекрестился. Вокруг — ни одного восклицания, ни единого вздоха. Живые стояли молчаливые, как бы безучастные... Их ведь и загнали сюда, на Север, умирать. Жди каждый свой черед.

В поздние сумерки, когда уже вовсе стемнеет и маленькая лампочка над крыльцом комендатуры слабо освещает плешинку опустевшего берега, скопища бездомных куда-то рассасываются. Остаются неподнявшиеся. Это мертвые или вконец ослабевшие, отбившиеся от своих или сосланные в одиночку. Земляки, пусть и бессильные помочь, не покидают своих до последнего часа.

За ночь не всегда успевают убрать трупы, и поутру, в ран-

ний час, натыкаешься у тротуаров или на трамвайных рельсах на распростертых мертвых мужиков... Наводнившие Архангельск толпы бездомных, голодных и больных крестьян, загнанных сюда не мором и не вражеским нашествием, не стихийным бедствием, а своей «кровной» рабоче-крестьянской властью,— вот тот основной фон, на котором отложились мои воспоминания о жизни в этом городе.

Бывший муж моей тетки Алексей Федорович Данилов встретил меня, хотя и видел впервые, по-родственному. Накормить он не мог, так как обедал в столовой учреждения, где работал, а домашние трапезы сводились к стаканам невесть чем настоянного кипятка с символической порцией хлеба, сохраненной от пайка, и того более микроскопической щепоткой сахара, но чашку с какой-то суррогатной заваркой передо мной поставил. И отправился в соседние дома подыскивать мне приют.

Пусть родство это и было из разряда «седьмой воды на киселе»— точек соприкосновения с дядей Алешей у меня оказалось достаточно. Был он кадровым морским офицером, участником русско-японской войны и знал отлично мою морскую родню. Он докопался до одного петербургского дома, где встречался с моей матерью, и тотчас стал обращаться ко мне на «ты». Я же должен был называть его дядей Алешей. Так, с первых шагов в чужом городе нашлась у меня родственная душа.

Спустя несколько часов говорливая Анна Ивановна, коренная архангелогородка, маленькая, жилистая и сморщенная, очень подвижная, душераздирательно окая, устраивала для меня уголок в своем домике.

— ХОрОшО у нас в Архангельске, хОрОшО,— приговаривала она, взбивая подушку на будущем моем ложе,— мОрОз здОрОвÓ, здОрОвÓ. ВОт ужО рыбкОй нашей угОщу — трешшОчки не пОешь, не пОрабОтаешь!

Дом ее был набит квартирантами «под завязку»— всякий закуток заселен. Как оказалось — ягодками одного поля со мной. Впрочем, не совсем: никто из сокквартирантов в лагерях не был. Все были выселенцы из Москвы.

Немолодая эстрадная певица Екатерина Петровна, выступавшая в сарафанном жанре с частушками, об одну из которых разбилась ее артистическая карьера: она сочинила что-то про модную тогда электрификацию и колхозников, оборудованных для удобства штепселями. Что и было сочтено

дерзким выпадом против величайших начинаний партии.

Художник-реставратор Новиков, сутулый, весь круглый, с близоруким взглядом из-за толстых стекол очков: эксперт правительственной комиссии по инвентаризации отнятых у церкви ценностей, он чересчур настойчиво сопротивлялся переплавке древней золотой и серебряной утвари на металл. За что и был отправлен на три года на Север: поостыть и одуматься.

С ним был и белокаменщик из села Мячково под Москвой, искусный мастер, но неисправимый старообрядец, надоевший властям жалобами на разгон церковной десятки и незаконное закрытие храма.

Новиков с раскольником занимали отдельную комнату, платили за нее исправно, жили обеспеченно, и Анна Ивановна пеклась об их интересах вполне лицеприятно, не стесняясь при надобности ущемлять певицу и меня, впущенного в гостиную без права пользоваться своим диваном днем...

Несколько восторженная, несмотря на зрелый возраст, певица, едва меня увидев и бегло расспросив, ринулась оповещать знакомых о засиявшей в архангельском небе новой звезде. Аттестовала она меня, как я потом узнал, «тонко воспитанным молодым человеком с фигурой гладиатора и глазами раненой газели...». Что и говорить, такая рекомендация не могла не возыметь действия, и я чуть ли не на следующий день получил приглашение к некоей даме, у которой собираются «друзья».

Жили мы тесно — домик был маленький, с тонкими тесовыми перегородками, оклеенными обоями,— но, проникнутые обиходной подозрительностью, сходились туго. Приглядывались и осторожничали. Реставраторы сторонились всех отчасти из-за несравнимости своего сытого существования с нашим житьем «на фу-фу»: избегали столоваться в общей кухне, чтобы не соблазнять нас видом масла, сахара и других недоступных гастрономических редкостей.

Обиход наш складывался по-разному. Екатерина Петровна, как и полагается служительнице Талии, выходила из своего закутка поздно и затем исчезала на целый день, возвращаясь в часы, когда мы все уже спали. Она чем-то занималась в местном театре — кажется, гримировала и помогала костюмерам,— но в основном навещала многочисленных знакомых. Ее любили за легкость характера, остроумие и веселость, отчасти наигранную, за всегдашнюю готовность оказать услугу. Она и за мое устройство взялась

рьяно, тормошила, заставляла ходить по разным адресам.

— Отказали? Не вешайте носа!.. Рановато. Потопчите-ка ножки. Вот я еще одной приятельнице о вас говорила. Она обещала у одного знакомого в Северолесе спросить: он там воз-глав-ляет! А сухари еще есть — продержитесь?

Сухари еще были. Те самые — соловецкие. Чтобы получить продовольственную карточку, надо было поступить на работу. При ограничениях для ссыльных и отсутствии ходовой специальности, это было для меня не просто. Порт, «Экспортлес» были исключены: контакты с иностранцами! Закрыто было и преподавание языков: ссыльному не место там, где воспитывается юное поколение. Идти чернорабочим на лесопильные заводы или сплав в преддверии зимы не хотелось, да и там хватало ссыльной скотинки. И я рыскал по городу, всячески растягивая свои запасы. Круг знакомых между тем расширялся очень быстро. Сосланного люда было в городе несомненно больше, чем коренных жителей. Приезжие встречались на каждом шагу. И в первую очередь — многочисленные москвичи.

...Салоны, где гости непринужденно любезничают с очаровательными хозяйками, слушают остряков, сами рассказывают злободневные анекдоты и доверительно беседуют с воспитаннейшими агентами режима,— принадлежность не только наполеоновской Франции и дореволюционных столиц: они существовали и в наше время. И не в одной Москве, но и во второстепенных городах.

В патронируемые высоким ведомством дома — с респектабельной хозяйкой, гостеприимно распахивающей двери обставленной уцелевшими креслами и шифоньерами гостиной, с внушающим доверие «душком старорежимности»— привлекают людей, которых надо заставить распахнуться, обмолвиться неосторожным словом. Когда-нибудь узнается закулисная история всяких «Никитинских субботников» и артистических капустников на Молчановке в Москве. Станут, быть может, известны истинные их устроители и имена жертв этих чекистских западней.

Не был исключением и Архангельск. Нину Казимировну Я. можно было с полным правом назвать светской львицей, пусть и с провинциальным налетом. Выдержав паузу, она подавала руку представленному ей гостю; слегка прищурившись, внимательно разглядывала, пока тот, несколько смущенный холодной церемонностью, усаживался в кресло,

указанное ему легким жестом... Потом все менялось: хозяйка оживлялась, шармировала теплыми интонациями и вниманием, искусно дозированным, каковое каждый полагал предназначенным именно ему.

Несколько располневшая паненка со все еще жгучими глазами приглашала гостя к себе на канапе для беседы tête à tête[1], предполагающей интимность и искреннее расположение. Причем делалось это вполне естественно, нисколько не двоедушно: то была давно усвоенная, привычная манера вести себя с мужчинами, как бы сулящая не лишенные заманчивости перспективы. Тем более прельстительные для бравых капитанов, привыкших развлекаться в чужеземных портах, или для бежавших казенного лицемерного пуританизма «ответработников», мечтавших отведать буржуазной испорченности, ведомой понаслышке.

В салон мадам Я. меня ввела моя разбитная соквартирница-актриса. Осмотр и оценка должны были состояться в самом узком кругу.

В просторной высокой комнате с тяжелыми портьерами на окнах и дверях, с низкой мебелью и светом, приглушенным шелком абажура, кроме хозяйки оказалась ее неразлучная подруга — скучающая, полная, лениво и не без грации двигающаяся Полина (во святом крещении Прасковья) Семеновна. Екатерина Петровна называла ее только Королевной. Эта местная пава была и в самом деле недосягаемо вознесена над нами, так как была замужем за Шарком — представителем крупной голландской фирмы, вывозившей круглый лес из Архангельска едва ли не со времен Грозного.

Сам агент акул империализма у мадам Я. не показывался никогда. Жене, по занятости своей, уделял мало времени, проводя бóльшую часть его в порту. Приятелями господина Шарка были капитаны решительно всех приходивших в Архангельск лесовозов. И его частенько доставлял домой кто-нибудь из более крепких собутыльников. Однако господин Шарк никогда не забывал, выражаясь профессионально, «снимать» с корабля всякие заморские привлекательности — от французских духов и крепдешина до португальских апельсинов, рассыпчатого желтого голландского картофеля и, само собой, любезных морякам напитков.

Только человеку, изведавшему произвол тех лет, поселивший в людях граничащую с психозом мнительность,—

---

[1] С глазу на глаз *(франц)*.

только ему доступно понять, почему я сидел в мягчайшем кресле прелестной Нины как на угольях. Я глядел на заставленный забытыми яствами стол, словно на соблазн, уготованный на мою погибель, а ласковые разговоры хозяйки и томные реплики Полины звучали у меня в ушах погребальным звоном. Связь с иностранцами, вербовка в Интеллидженс Сервис или Сигуранцу, тенета шпионских сетей и — подвалы НКВД... Такая картина мерещилась мне в баюкающем уюте гостиной, тонущей в мягком шелковом полумраке.

Естественно, что я не сделался завсегдатаем салона мадам Я. Отговаривался от передаваемых соседкой приглашений, искал переменить квартиру, чтобы порвать цепочку, сомкнувшую меня с «агентами империализма». Разумеется, так было на первых порах — пока время не сгладило лагерных впечатлений и я не втянулся в повседневные заботы, не дававшие простора воображению.

...— Не проходи мимо, стой! Взгляни и узнавай!

С ломового полкá, стоявшего у дощатого тротуара, на меня смотрел грузный богатырь в мешковатой одежде дрягиля. Где-то виденный прищур глаз, гладко выбритый массивный подбородок... Усилие памяти...

— Неужели Асатиани? — Вспомнить сразу имя и отчество я не мог.

— Он самый! Давай обнимемся.

Так повстречались мы на улице Архангельска — два компаньона по Соловкам 1928 года: Петр Дмитриевич Асатиани-Эристов — грузинский князь и офицер Нижегородского драгунского полка, солист соловецкого театра, промышляющий извозом по месту ссылки, и я, свежеиспеченный начальник планового отдела могущественного треста «Северолес»!

С Соловков Асатиани был вывезен еще в двадцать девятом году, за месяц до расстрелов. В Архангельске недолго пел на театре — у него был славный баритон,— пока ГПУ не предписал изгнать его из труппы. Он приобрел коня, полок с упряжью и приобщился к корпорации ломовых извозчиков.

— Теперь меня оставили в покое. «Сама» комендатура нанимает для своих перевозок... И оплачивает! Хожу к ним в кассу за получкой наравне с их братией. Есть комнатка, хозяйка не обижает, сыт... Конюшня во дворе. Чего желать? О чем тужить?..

Невеселые глаза опровергают легкость тона. И сдвинутые брови, и утомленное лицо, и не пропускающие улыбки губы... Постарел, осунулся... Куда сгинул прежний статный молодец?

Не он ли этакой вальяжной походкой прохаживался по соловецким каменным тротуарам, как по своему Головинскому проспекту? Свободная кавказская рубашка стянута наборным поясом, папаха золотистого меха надвинута низко на брови... Певец, распевающий куплеты тореадора в своем распахнутом окне. В доме напротив, под свесом крыши старой монастырской больницы, приотворялась рама в окошке крохотной кельи. Там жила старшая сестра лагерного лазарета, петербургская дама Г.

Тореадор, там ждет тебя любовь...

— А ты как, давно ли тут?

На учет архангельской комендатуры я поступил две недели назад. Но именно в день встречи с Асатиани меня приняли на службу, и не как-нибудь, а на солидную должность. Я полагал, что для того, чтобы ее занимать, необходимы соответствующие знания, стаж, пожалуй, красная книжечка... Ничего этого у меня решительно не было. Но воротиле треста, к которому обратилась приятельница актрисы, было важнее всего выполнить ее просьбу. Его не интересовало, кто и как будет стряпать плановые отчеты и схемы. Как всякий руководитель и практический работник, он знал им цену. И едва ли когда в них заглядывал.

В отделе кадров мне задали какие-то общие вопросы (о осенявшая мой визит всемогущая «вышестоящая» длань!) после чего повели в огромную комнату, уставленную заваленными бумагами столами. Десяток их составлял островок планового отдела. Сидящим за ними сотрудникам я был вполне серьезно представлен в качестве шефа. Предложив поднявшейся навстречу даме — старшему экономисту — «ввести меня в курс дела», кадровик удалился. Я приготовился к провалу.

То была очень милая, воспитанная женщина. Ее ни на минуту не ввел в заблуждение умный вид, с каким я проглядывал таблицы, простыни с цифрами, диаграммы, от которых рябило в глазах. Но она не побежала делиться своими впечатлениями в высокие кабинеты. «Скоро освоитесь, и все пойдет отлично»,— вполголоса ободрила она меня.

Дальше все и в самом деле пошло без сучка без задоринки: я слепо следовал указаниям своей бесценной помощницы.

А при неизбежных контактах с начальством и главбухами научился ловко отделываться общими словами.

Вечерами мы с моей спасительницей оставались в опустевшем помещении, и она, просматривая скопившиеся за день бумаги, диктовала мне резолюции. Вскоре я убедился, как ничтожна надобность в столбцах цифр, какими мы унизывали бесконечные «Формы №...»! Их никто не читал, только проверяли, отправлены ли они по надлежащему адресу и в срок. Осмелев, я и сам стал составлять какие-то сводки, по наитию выводить «процент выполнения» — все это в уверенности, что в почтенном моем тресте дутых сведений — по-лагерному «туфты» — ничуть не меньше, чем в реляциях соловецких нарядчиков...

Однако я забежал вперед. Сейчас же только и мог сказать Асатиани, что получил хлебную карточку и пропуск в столовую ИТР, нашлась крыша над головой и мне устроили два частных урока английского языка. Словом, становлюсь на ноги... Петр Дмитриевич (правильно ли я запомнил?) не стал мне рассказывать о соловецкой трагедии, отклики которой докатились до него на Кемьперпункт, а дал адрес очевидица — Натальи Михайловны Путиловой, близкой знакомой расстрелянного Сиверса. От нее я мог узнать подробности гибели Георгия Осоргина, наших общих друзей. Мы обменялись с ним адресами, и он отъехал.

Вдруг стук колес заглушил сильный голос — на всю улицу разнеслась ария Тонио из пролога «Паяцев». На итальянском языке...

Я хочу вам рассказать
О неподдельных страданьях...

Уже не в куплетах тореадора изливал душу Асатиани — воин, певец, грузинский князь, обращенный в подневольного ломового...

Далеко не сразу решился я идти к Наталье Михайловне: мне все казалось, что ей будет тяжело видеть меня. Но вот возникли обстоятельства, как бы предопределившие нашу встречу.

Упомянутые уроки английского языка я давал двум преподавателям АЛТИ — местного лесотехнического института,— готовившимся защищать диссертацию. Один из них, некто

Карлов, очень скоро проникся ко мне доверием и рассказал о своем отце, эмигрировавшем колчаковском офицере, хотя тщательно скрывал это обстоятельство в анкетах. Был Карлов математиком по специальности и фантазером по призванию. Наши занятия то и дело перемежались восторженными рассказами о подвигах российского воинства. Благодаря феноменальной памяти и редкой увлеченности этот питомец советского вуза знал назубок все полки русской армии, формы, традиции, имена шефов, боевые отличия, бредил парадами и смотрами. Его двое детей, карапузы по семи-восьми лет, становились во фронт, маршировали, лихо отдавали честь упоенно командующему отцу. При всем том Карлов был честолюбив и сохранил предрассудки своей касты. Если уж нельзя иметь вышколенного денщика и ходить в сиянии офицерского звания — красное командирство его не привлекало,— надо добиваться положения, которое позволяло бы не утруждать белы рученьки и иметь кем распоряжаться — на худой конец, студентами. В институте его ценили за знания.

Другой мой ученик был иного склада. Вчерашний подпасок, он цепко впивался в науку. Энергия и сила, вложенные в его крупные крестьянские руки, преобразовывались в работу мозга, всего интеллекта. Усваивая тяжкое для него английское произношение, он одновременно перенимал мою манеру выражаться, запоминал суждения на посторонние темы, впитывал, вбирал все, что представлялось ему принадлежащим культуре, которой — это чувствовалось безошибочно — он должен овладеть.

Академик Иван Степанович Мелехов здравствует и по сей день, слывет в своей стране и за рубежом крупнейшим знатоком лесоводческой науки. На подъем к вершинам знаний ушли его недюжинные духовные силы. Созерцая оттуда пройденный путь и прожитое время, Иван Степанович прозрел и в науке жизни и, не вступая в конфликт со своим веком, умел всегда идти путем честного ученого и достойного человека.

Я действительно хорошо знал иностранные языки, и в институте это вскоре стало известно. Директор его филиала — НИИ электрификации лесной промышленности[1] — предложил мне технические переводы с английского и немецкого. Всеволод прислал мне потребные технические сло-

[1] Научно-исследовательский институт электрификации лесной промышленности (НИИЭЛП).

вари, и я не без увлечения принялся перепирать на родной язык канадские, немецкие и американские каталоги и журнальные статьи.

Сергей Аркадьевич Сыромятников, директор НИИЭЛП, был ученым деятелем распространенного в нашей стране типа: ловкий, гибкий, не брезгливый по части средств, способствующих карьере. От его манеры держаться за версту несло чересчур добрым малым, начиненным анекдотами весельчаком, готовым на запанибратский разговор по душам. Но пройденная школа лагерей и следствий, с провокациями и доносчиками, позволила мне учуять фальшь в громогласных возгласах Сергея Аркадьевича, откровенно передо мной распахивающегося:

— Поработаем! Вот теперь поработаем! — любовно усадив меня в кресло у своего директорского стола, потирал он мясистые, короткопалые руки.— В Москву не захотите возвращаться... Да такого полиглота мы завалим работой, только не отказывайтесь. Кто как, конечно,— быстрый взгляд на дверь, многозначительно пониженный голос,— а я-то знаю, как и какие люди сюда попадают. Будем помогать, Олег Васильевич, и с ведомством вашим все уладим, не беспокойтесь. Двери моего кабинета для вас всегда открыты. Я уже предупредил секретаршу.

Толстый и круглый, с лысоватым черепом ученого мужа и простоватым курносым лицом, посмеивающийся и подвижный, он хоть перед кем мог сойти за простецкого, бесхитростного парня — очень искреннего и душевного.

Я ушел от него со свертком лесных журналов, размеченных директорским карандашом — «резюме» или «inextenso»,— и с обещанием выхлопотать мне дополнительный паек научного сотрудника. Радушный хозяин проводил меня до дверей.

«Этому пальца в рот не клади»,— говорил я себе, хотя меня и распирала радость по поводу мерещившихся золотых перспектив. Этак можно будет расстаться с постылыми сводками в «Северолесе». Устроиться под крылышко АЛТИ, самого почетного учреждения Архангельска, было мечтой любого интеллигентного ссыльного.

Не прошло, должно быть, и двух недель, а Сергей Аркадьевич уже принимал меня накоротке у себя дома — «за чашкой чая, в халате»,— угощал ватрушками, беседовал на семейные темы, мимоходом расспрашивал о моих обстоятельствах, оставшейся в Москве родне. Предложил при частых поездках

в столицу выполнять мои поручения, передать письмишко, посылку...

Тогда же Мелехов устроил мне перевод целого фолианта — сборника докладов конгресса по борьбе с лесными пожарами в Милане. Мне понадобилась машинистка, которая бы срочно и грамотно взялась перепечатывать работу. И вот тогда я пошел к Путиловой.

Она взглянула на меня испуганно. Скороговоркой предложив раздеться и минуту обождать в передней, тут же скрылась. Тишина обширного двухэтажного дома, чистая скрипучая лестница, крашеные полы с несбитыми дорожками говорили об устоявшемся и неутесненном обиходе. Наталью Михайловну пригласила к себе жить жена прославленного полярного капитана потомственного помора Воронина. Дамы познакомились в церкви, вскоре по приезде Путиловой в Архангельск. Кстати — с пятилетним сроком ссылки после отбытых пяти годов лагерей.

Справившись с собой, Наталья Михайловна пригласила меня войти — светская дама, принимающая старого знакомого, которого давно не видела... И, усадив за крохотный столик, стала расспрашивать меня о моей одиссее.

Неоштукатуренные деревянные стены придавали комнате вид деревенской светелки. Стулья, железная кровать, рукомойник за простенькой ширмой. Нигде ни пылинки, на постели — ни одной складки. Веяло холодом и необжитостью: словно номер дешевой уездной гостиницы, приготовленный для постояльца. Вот только книги да кое-какие принадлежности туалета на столике с зеркалом выдавали наличие жильца. Жильца, не озабоченного уютом и следящего лишь за чистотой. По врожденной привычке, должно быть.

Я рассказывал несколько рассеянно, а сам все вглядывался в сидящую напротив Наталью Михайловну. Все та же удивительная, нежная кожа лица — такую неувядаемо свежую и розовую кожу я видел только у смолянок, женщин, из поколения в поколение проводивших детство и юность в стенах Смольного монастыря. Темноглазое ее лицо выглядело строгим из-за густых, сросшихся на переносице бровей; в тяжелых черных волосах — прядь седых.

В чем корни мужества, с каким такие женщины переносят, не жалуясь и не распускаясь, тягчайшие утраты и крушения? Наталья Михайловна, вынесшая невыносимое, не позволила себе ни слова жалобы на свою судьбу.

Уже третий год тянула она лямку секретаря-машинистки у какого-то начальника в речном пароходстве. По ее

горько-снисходительному тону чувствовалось, как тошно ей одной среди чуждых людей, быть может, неплохо к ней относящихся, но бесконечно далеких по понятиям своим и культуре. Шеф ее, будучи в философически-игривом настроении, любил распространяться о женщинах, по его определению, «существах низших, недоразвивших». Предлагая Наталье Михайловне решать что-либо по ее усмотрению, он говорил, что дает ей «*белую* карт-бланш».

Все для нее, несмотря на возраст — ей было немногим за тридцать,— оставалось в прошлом. Если что и возникало в душе, перегорало без отклика. В приработке Наталья Михайловна, как любой совслужащий на подчиненных должностях, всегда нуждалась и перепечатывать мои переводы взялась охотно. Позднее, когда мы стали видаться постоянно и попривыкли друг к другу, она призналась, что оценила мою сдержанность при первой встрече: касаться скорбных соловецких дней с человеком, налетевшим с ветра, ей было бы тяжело. Ведь мы, хоть и имели общих знакомых по старому Петербургу, на Соловках виделись редко. Слежка за обитательницами женбарака вынуждала их избегать и случайного общения с мужчинами. Свидания с Сиверсом облегчались тем, что Наталья Михайловна работала машинисткой в управлении — в одном с ним здании. Георгий Осоргин предназначал мне быть свидетелем тайного венчания Натальи Михайловны с Сиверсом. Случайные обстоятельства не дали мне в нем участвовать.

...Редко, в минуты особой душевной настроенности, делилась Наталья Михайловна пережитым. Отрывисто, непоследовательно вспоминала разрозненные случаи, смолкала на полуслове с невидящим, обращенным внутрь взглядом, перед которым, очевидно, вставало столь жуткое безнадежное, что она так и не возвращалась к недосказанному. Сам я никогда ее ни о чем не расспрашивал.

...Разные отклонения от привычной рутины указывали заключенным — в лагере что-то готовится. У начальника шли непрерывные сверхсекретные совещания, во время которых зэков в здание управления не пускали; командиры подтягивали и гоняли своих обленившихся вохровцев; отменялись свидания с родственниками. Тех из них, кто уже был допущен на остров, спешно, до истечения разрешенного срока, вывозили на материк. Особенно строго следили, чтобы после вечерней поверки на улице никого не оставалось. Немые монастырские стогны патрулировали вооруженные охранники. Дневаливших на радиостанции уборщиков и

курьеров заменили вольнонаемными... Тягостно и неотвратимо надвигались на зэков неведомые перемены. Это осязалось всеми, хотя и нельзя было догадаться, что за угрозы они таят.

Заключенные остерегались общаться друг с другом, избегали попадаться на глаза начальству. Оно стало не в меру придирчивым — видимо, нервничало. Зэки чувствовали себя как в западне, откуда не спастись.

К Георгию как раз приехала жена, с которой он не прожил и двух лет, но знал — всю жизнь. Он твердо решил, что женится только на Лине Голицыной, когда та еще бегала в коротком платье и носила косички. Был он лет на десять старше ее, и если в любви один всегда, по французской поговорке, подставляет щеку, а другой ее целует, то в этом случае уж конечно Георгий льнул к своей Лине. Она же позволяла себя любить.

...Что-то заставляло начальство торопиться. Потом будет создан миф о восстании, подготовляемом зэками.

В лагере начались аресты, когда еще не все жены были отправлены с острова. Оставалась на Соловках и Лина. Как и что дальше произошло — вряд ли когда узнается достоверно. Одно известно твердо: арестованного Георгия освободили. И он пришел к заждавшейся, встревоженной Лине, успокоил ее, заверив, что был задержан срочной работой и все благополучно. Но ей надо отсюда уехать: отныне свидания будут давать только на материке. И проводил Лину на корабль, и говорил о следующей встрече, и махал вслед рукой... Быть может оглядываясь, не схватят ли его тут же, когда еще можно увидеть с палубы...

Говорили, что Осоргин ручался честью следователю: при прощании и словом не обмолвиться об аресте. Доказывал, что вывезенные с острова без прощания поднимут тревогу, распространят слухи. Поверил ли тот Георгию или резонно решил, что ничем не рискует — добыча не уйдет! — но Осоргина выпустили из изолятора, где он сидел с товарищами, почти поголовно бывшими военными, не обольщавшимися относительно ожидавшей их участи. Успокаивая жену, Георгий знал: жить ему осталось несколько часов — до темноты. Может, возвращаясь с пристани, встретил команду с заступами, посланную рыть могилы под монастырской стеной.

...Женщин с обеда заперли в бараке, неподалеку от южной стены, где рыли ямы. Наталья Михайловна знала с утра, что Сиверс схвачен и отведен в изолятор. Слонявшаяся по

бараку бытовичка направо и налево сообщала: «Ночью будут контру шлепать!»

Время тянулось бесконечно. Наталья Михайловна стояла как прикованная у окна, обращенного к монастырю, не смея себе признаться, чего ждет. Броситься бы на постель, закрыться с головой, уйти, спрятаться от стянувшего душу ужаса. Не слышать, не видеть, перестать сознавать, жить... И не двигалась с места. Уйти с Голгофы, оставить его одного, не принять на себя часть его мук — было немыслимо.

Из-за рощи облетевших березок низ монастырской стены не проглядывался — виден был только верх и острый конус башни. Гас короткий предзимний день.

В наступившей темноте было тихо и пусто. Потом замелькали фонари. Стали доноситься команды, окрики. И вот мир заполнили сухие, не оставляющие надежды щелчки выстрелов... Залпы. Одинокие хлопки. Беспорядочные очереди. И — дикие крики, вопли, перемешанные с руганью распаленных кровью убийц. А ей все чудились стоны, последние, обращенные к ней слова.

И не было этому конца...

Как ни много нагнали штатных и добровольных палачей, они не справлялись. В потемках промахивались. И добивали раненых. Да еще задержка: у убитых, по лагерной традиции, молотком выбивали зубы с золотыми коронками.

На казнь приводили партиями. Всего, как утверждали лагерники, шестьсот человек. Имена их, ты, Господи, веси!..

Вот в эту ночь Наталья Михайловна и поседела. Последующая жизнь — как бесконечный, придавивший кошмар, от которого нет избавления. Несущиеся из темноты хриплые вопли, протяжные крики, выстрелы...

Первый муж Натальи Михайловны, Путилов, был расстрелян в Петрограде по делу лицеистов; его друг и однодelец Сиверс, уцелевший тогда, был приговорен к десяти годам лагеря. И нашел смерть здесь, в двухстах метрах от нее. Чуть ли не на глазах: мешали ночь и деревья. И все равно она словно видела, как ведут его со связанными руками, ставят на край ямы, наводят дуло...

— Я бы не выдержала. Сошла с ума, покончила бы с собой, если бы не отец Василий... Потом и его расстреляли. Он ничего не боялся, служил по всем панихиды... А молитвы его?! И мне внушил: в них — опора.

Заключенный священник нашел слова, поселившие в душе Натальи Михайловны если не мир, то примиренность. Дал ей силу жить.

Эту комнатку и ее хозяйку, добрейшую Александру Ивановну, я вспоминаю с грустной признательностью. То был воистину мирный приют среди опасного, ощетинившегося света.

Домик в глубине тупичка — с болотистой, заросшей травой проезжей частью,— крашеный, с маленькими, заставленными цветами оконцами, был погружен в тишину и пустынность. Когда-то потревожат их шаги редкого прохожего по узким мосткам... На запущенной усадебке — кочки ее так и не поддались попыткам развести огород — росли невысокие березки. Целая рощица, прибавлявшая уюта этому безмятежному уголку.

В самом близком соседстве от нас жил дядя Алеша. Он часто заходил ко мне. Посидев в мягком кресле у окошка с березами, отойдя в умиротворяющей покойности низенькой, обставленной старомодными мебелями комнатки, он говорил, что мне повезло с квартирой, как никому. А тут еще Александра Ивановна звала взять на кухне вскипевший самовар, вносила перемытую посуду...

Не было предела заботливости этой очень немолодой хлопотливой женщины. Жила она с мужем, несколько тронутым умом инвалидом, и братом Семеном, угрюмым и молчаливым холостяком, чей бухгалтерский заработок был основным источником доходов семьи. Жили впроголодь. Паек свой постоянно забирали вперед и последнюю треть месяца вообще обходились без хлеба. С несчастным мужем ее случались припадки. Он бушевал, грязно бранился, выкрикивая беззубым ртом похабные нелепости. И — Боже мой! — как терялась и пугалась бедная Александра Ивановна, как мучительно конфузилась, опасаясь, что я услышу возводимые им на нее бредовые гнусности.

Но дверь из теплых сеней в мою комнату — тяжелая, обитая с двух сторон — отгораживала надежно от постороннего шума. И я мог, не слишком кривя душой, уверять ее, что решительно ничего не слышу.

О домашних трудных отношениях — о затаенной неприязни больного к своему шурину и деспотическом нраве состарившегося за конторским столом холостяка, как и о вопиющей бедности обихода — знали только стены укромного дома. Никакой сор из избы не выносился. Семен Иванович

отправлялся на работу в тщательно отглаженной сорочке, носил меховую шубу; да и Александра Ивановна, в темной юбке дореволюционного покроя, отделанной гарусом пелеринке и кружевном черном платке, выглядела на улице на старинный лад нарядной. Длинный же подол не позволял увидеть разношенную, чиненую обувь. Вот только муж ее показывался в пальто с невыводимыми пятнами и облезлым воротником. Но он выходил из дому лишь в лавку на углу, за хлебом.

Александра Ивановна, и дома ходившая опрятно одетой, принаряжалась довольно часто. Она почти не пропускала церковных служб, навещала многочисленных знакомых, кому-то, еще немощнее себя, помогала. Иногда, после длительных колебаний, переговоров с братом и даже консультаций со мной, отправлялась в Торгсин с какой-нибудь позолоченной солонкой, уцелевшей серебряной ложкой, тоненьким колечком. Словом, с чем-нибудь из того рода «драгоценностей», какие в старое время скапливались и в самых скромных семьях горожан — ремесленников, мелких служащих и чиновников. На вырученные деньги покупались, по заранее обговоренному плану, продукты, какие подешевле и посущественнее: мука да подсолнечное масло. И гостинец — двести граммов сахару или сливочного масла,— предназначенный исключительно Семену Ивановичу. Александра Ивановна, быть может, и брала грех на душу, давала тайком мужу чем полакомиться, но сама — и крохи попробовать не смела.

Характер у братца был тяжелый. И она всегда как бы несколько веселела, проводив его на службу. Нервничала, когда близился час его возвращения.

В некое время в городе открылась вольная продажа хлеба и других продуктов по высоким ценам. Значение денег поднялось. Верховодивший в доме, хотя и принадлежавшем зятю, Семен Иванович велел сестре объявить мне о повышении платы за комнату. Как нехотя, с какими проволочками приступала Александра Ивановна к смущавшему ее поручению! Она теряла нить разговора, ходила расстроенной, а под вечер окончательно падала духом — так и не набравшись его, чтобы передать мне требование брата. А он нудил, настаивал.

Догадавшись, вернее, узнав от дяди, что съемщики квартир по всему городу стали платить больше, я сам предложил повысить плату. Деликатная хозяйка моя даже прослезилась. Гордиев узел был разрублен к обоюдному удовольствию. Зарабатывал я уже достаточно, и мне не трудно было платить

больше за квартиру, которой очень дорожил. В ней я мог без помех принимать гостей, удобно работать; Александра Ивановна избавляла меня от докучных хлопот по хозяйству.

В преддверии зимы в отделе кадров меня предупредили о мобилизации служащих на сплав леса. И, предвосхищая мое «добровольное» согласие, включили в список отправляемых. Уже тогда я был предупрежден, что под меня подкапываются: кому-то в тресте я мозолил глаза. Отказаться ехать на сплав — значит, дать против себя весомый козырь. Хоть я и числился начальником отдела, то есть лицом, не подпадающим под подобные всенародные мероприятия, но вряд ли было мне, ссыльному, благоразумно указывать на присвоенные должности прерогативы... Если, разумеется, ею дорожить. А в то время я еще не чувствовал себя достаточно крепко в институте, чтобы уволиться самому из «Северолеса», и — согласился. Что ж докажу, что нигде не сдрейфлю!

Меня не могли удивить и тем более напугать отведенные под бригады сплавщиков бараки, тесные нары, миски с баландой, кишащий вокруг разношерстный люд. Все это было пройдено, испытано — притом в более лихих условиях. Выработан был и род поведения, умение выключаться, позволяющее впечатлениям от обстановки и среды скользить по поверхности. Штемпель бывалости делал меня в глазах новичков лицом авторитетным, а умение обращаться с «баланами» (бревнами) покорило малоопытного бригадира. Он тут же произвел меня в свои помощники и перевел на житье в закуток с топчанами, отгороженный в общем бараке. А через день или два начальник сплава сделал меня бригадиром артели едва ли не в сотню человек... порядочной сволочи: выделяя народ на подобные авралы, учреждения стараются избавиться от самых дрянных работников.

Ни до, ни после не приходилось мне делать столь головокружительной карьеры! Как-то само собой получилось, что мои архаровцы стали меня слушаться, прониклись подобием артельного духа. И, на удивление всем — и, несомненно, себе — работали слаженно. Среди усеявших болотистый берег Двины тысяч нагнанных горожан, копошившихся, подобно тараканам на холоде, среди наваленных штабелей и разбросанных бревен, покрывших и прибрежные воды, мы легко сделались героями дня — фигурировали в хвастливых сводках, нас ставили в пример. Сия реклама не влекла за собой ощутимых благ — разве что по двести граммов премиального хлеба. Но я лично удостоился настойчивых

предложений начальника сплавной конторы, сманивавшего меня к себе фантастическими условиями, вплоть до включения в список на индивидуальный домик! Работой я не тяготился. И чем она становилась тяжелее, условия суровее, тем более крепло во мне самолюбивое стремление не сплоховать.

...Распахнешь дверь натопленного барака, а за ней — студеный ветер, мокрый снег, нерассветающее небо, обледенелое древко багра, застывший такелаж... Брезентовые рукавицы сразу намокают, пальцы стынут. Ничто! Берись, не показывай виду. Пусть никто не увидит меня слабым. Я попрежнему силен и вынослив. В общем — «мы еще поборемся, постоим за себя!». Именно желание это продемонстрировать (неизвестно — перед кем? Перед собой, должно быть!) и поддерживало во мне напористость и бодрый стих, увлекавшие и моих сподвижников. Настолько, будь сказано мимоходом — случай просто невероятный! — что в бригаде вывелась матерщина. Поначалу требование мое — при мне не сквернословить! — встречалось недоуменно, как чудачество. Пожимали плечами: «Матюгнуться не смей! Подумаешь, чай, не девки!» Однако остерегались, а там и привыкли. Я и сейчас не отвечу, в силу каких причин мне удалось, не располагая решительно никакими средствами принуждения, выиграть на сплаве поединок с матом...

Вдумываясь теперь, спустя чреду лет, в эти героические странички, я считаю, что яркость их — в прямой связи со случайным и временным характером приключившейся передряги. Что бы ни доводилось претерпеть у несущей шугу реки, я знал: кратки сроки и через две-три недели снова окажусь в своей комнате с благодатным теплом, идущим от нагретых кафелей печки... Да и молод я был тогда, молод!

Как бы ни было, возвращаясь домой, я переправлялся через застывшую Двину с верой в свои силы. Верой, приглушавшей сознание безнадежности своего будущего... Утвердился я и в своей решимости следовать правилу, усвоенному с детства: выполняй свой долг — и пусть будет, что будет. Моя мать всегда говорила: «Fais ce que dois, advienne que pourra», что на русский лад звучит как «Выполняй свой долг, а там — что Бог даст!». Именно так: во всем следовать тому, что подсказывает совесть, пусть судьбой и не дано сделаться борцом и бросить клич...

...Вихря светских удовольствий, естественно, не было, но о зиме, проведенной без особых тревог и в сносных услови-

ях, не исключавших вполне мирские развлечения, можно говорить с полным основанием.

В исходе 1934 года я был изгнан из «Северолеса» будто бы по прямому распоряжению комендатуры. Не помогли и лавры, заработанные на сплаве. В окошечке на набережной я попробовал добиться «справедливости»: «Почему сняли с работы? Ведь я честно трудился... Вы сами говорите — исправление через труд, предлагаете устраиваться на любую работу...» Меня и слушать не стали, быть может не желая втягиваться в разыгрываемую мной комедию или будучи и в самом деле непричастными к моему увольнению.

Гадать и доискиваться до причин было, впрочем, бесполезно. Я простился с милой своей помощницей и целиком переключился на АЛТИ, где для меня неожиданно открылся новый источник вполне реальных благ, в просторечии — кормушка.

Я понемногу втянулся в изготовление наглядных пособий для кафедр. Сначала это были аккуратно напиленные мною, отшлифованные и покрытые лаком образцы пиломатериалов — то, что я с помощью пилы и рубанка мог сделать дома. Потом заказы усложнились — я стал делать модели всевозможных плотничьих и столярных сопряжений и узлов: углы в лапу, двойные шипы, ласточкин хвост и прочую премудрость. И наконец, уже в выделенном институтом помещении, стал мастерить деррики и лесоспуски, макеты лесосек с движущимися игрушечными механизмами. Похвастаю — с дальними видами — своим высшим достижением: моделью лесовоза, выполненной по чертежам и обводам, строго в масштабе, со всем палубным оборудованием. Появились у меня и помощники — столяр, токарь по металлу, электромеханик. Я, на сдельных началах, стал заведующим и мастером-художником макетной мастерской института, не значившейся ни в каких сметах и штатных расписаниях.

Это мое превращение было вызвано отчасти тем, что Сыромятников переключил меня на переводы книг для каких-то московских издательств. Гонорар за них предстояло получить после публикации, все, по его словам, откладываемой. Я работал в кредит и искал занятий с регулярными получками. Макеты были хороши тем, что расценок на них не существовало, и полюбовные соглашения с кафедрами позволяли оплачивать их не скупо, по усмотрению заказчиков, ко мне, в общем, благоволивших.

...Мы шли со станции по сверкающему льду реки. Дымы города поднимались к небу белыми столбами, мороз на открытом просторе был особенно хватким и звонким, а я все поглядывал на внушительную фигуру брата в романовском длинном полушубке. И волнение встречи уступало место привычному, знакомому с детства ощущению полноты и надежности существования в его присутствии. Младенческие годы, отрочество, юность, неразлучно проведенные под одной крышей, в общей комнате, спаяли братьев-близнецов нерасторжимо и заменили посторонние дружеские связи. Мы совместно огорчались и радовались, постигали мир и к нему приноравливались. И вот видимся после трехлетней разлуки.

— Тебе не надоело со мной возиться? — Я распаковывал многочисленные пакеты и свертки, «гостинцы», Всеволода.

— Надоело? Передачи, посылки, приемные на Лубянке и Воздвиженке — да все это входит в рабочий день москвичей! Жена моя опекает двух ссыльных братьев, сестрица[1] — мужа в лагере... И так большинство наших родственников и знакомых... Уцелевшие — павшим. Если это болезнь — то повальная. И, боюсь, заразная... «Сегодня ты, а завтра — я...» Как это в «Пиковой даме»? Так давай же ловить миг удачи — пить чай. Как, из самовара? Вот это праздник!

Горькая правда! В редкой московской семье не знают ночных звонков, арестов, последующих обиваний порогов у цедящих сквозь зубы ложь следователей. В учреждениях взрослые люди зубрят марксизм-сталинизм. Пропустить занятия — значит, навлечь на себя подозрение в неблагонадежности, фрондерстве. Всеволода уже дважды «чистили», но все пока кончалось благополучно, благодаря вмешательству Калинина — первый раз, и второй — влиятельного заступника, некоего инженера Серебрякова. Был он из тех давних политэмигрантов, что после долгих лет жизни за границей стремительной стаей слетелись в неведомую им Россию, чтобы устроить народные судьбы. Потолкавшись по Европам и почерпнув из мутного источника рационалистических учений, они были самонадеянно уверены, что вполне для такого дела пригодны. Не смущали их ни огромность страны, ни полное незнание народной жизни — верный признак невежества и легкомыслия, свойственных утратившим чувство родины и понимание ее прошлого экспериментаторам. Серебряков был — по отзыву брата — дельным инженером с повадками и представлениями западного предпринимателя. Он руково-

[1] Наталья Васильевна Голицына, младшая сестра О. В. и В. В. Волковых.

дил восстановлением бакинских промыслов и даже состоял в ЦК. Тридцать седьмого года он, кажется, не пережил.

Изгнанного из Внешторга Всеволода Серебряков перевел в свою систему, включавшую и «Цветметзолото». И по его совету исчезнуть с московского горизонта брат уехал на золотые прииски в минусинскую тайгу. Там жилось привольно. Главное — без московских ночных тревог... И были нетронутые леса и охота, малолюдье... Но приезжать в Москву и жить в ней подолгу в качестве командированного представителя приисков приходилось часто, тем более что Серебряков приглашал брата, которого очень ценил, участвовать в переговорах с иностранными концессионерами.

Однако Всеволод не обольщался насчет своего будущего. Он перевел квартиру на жену; она, по его настоянию, выучила стенографию и поступила на службу в тихую кооперативную организацию. Брат даже что-то откладывал на черный день. Но этим заботам и предчувствиям не давал власти над собой и по-всегдашнему увлекался живописью, музыкой, гнал прочь уныние. И советовал, насколько возможно, take life easy — не омрачать жизнь раздумьями, относиться к ней легко. Но мне, лишенному свойственного Всеволоду артистизма, способности пусть дилетантски, но с увлечением заниматься искусством или весело проводить время в милом женском обществе, оставалось только со стороны восхищаться его выдержкой и умением трезво воспринимать жизнь и, выгребая против течения — недружественного, опасного, сохранять беззаботную и независимую улыбку.

Встретившая нас на улице Екатерина Петровна профессионально изобразила всю гамму чувств — от изумления нашим сходством, восхищения ростом («Русские богатыри! Нет — северные Аяксы!») до шумного восторга от общего «обаятельного облика». Она заставила нас поклясться, что в тот же вечер мы осчастливим салон «скучающей» Нины своим появлением. И было вполне в духе Всеволода отправиться туда, хотя я не слишком лестно отозвался об этом уголке парадиза и его хозяйке, расписанных актрисой.

— Наоборот: не избегать, а ходить надо в такие дома, и почаще, являя подкупающе распахнутый и искренний вид. Раз ты предупрежден, опасности нет. А лишний раз показать себя не согнувшим выю — полезно во всех отношениях, хотя бы потому, что тренирует способности, оттачивает находчивость. Это в некотором роде поединок с соглядатаями, и не в хамских условиях!

Из тех же соображений Всеволод познакомился с Сыро-

мятниковым и пригласил его заходить к нему в Москве, а мне рекомендовал не отказываться от услуг прожженного стукача для «приватной» корреспонденции.

— Все повторяется... на разных уровнях. В Туле наши записки таскал к следователю грязный тюремный уборщик — теперь с ними побежит партийный пройдоха, лезущий в ученую элиту. Побежит по особому пропуску, блудливо, в особый кабинет... Как замаслились, заблестели его щелки, когда узнал о моих знакомствах с американскими бизнесменами, а?.. Еще бы! Какая цепочка счастливых возможностей для карьеры — потенциального разведчика и будущего участника международных научных конгрессов — возникла в его круглой голове! Он не умен, но хитер, с ним держи ухо востро. И, кстати, смотри, чтобы он тебя не объегорил с переводами. У меня впечатление, что он не только законченный провокатор, но и мелкий жулик...

Все эти предположения брата сполна подтвердились. Мы слишком хорошо знали и чувствовали друг друга, чтобы от меня не могла ускользнуть напряженность Всеволода, его озабоченность. Но он был бесподобно весел и остроумен в салоне отставной шляхтянки, буквально таявшей от его умения строить куры. Оказавшийся там бравый моряк почел его самым артельным собутыльником на свете... Покидал Всеволод повисших на нем Нину и Королевну с нежным и многозначительным «В следующий раз!».

Случалось Всеволоду заговаривать о моем приезде к нему на прииск, он набрасывал какие-то планы на будущее и смолкал на полуслове, круто менял разговор... Да и можно ли было поддерживать в себе такие далеко идущие надежды?

...Как ни бессильны были помочь наводнившей улицы нужде такие обнищавшие горожане, как мои хозяева, они не могли от нее отгородиться. Сострадательная Анна Ивановна что ни день приводила к себе обогреться влачившихся по обледенелым мосткам бездомных, особенно пронзивших ее сердце.

В кухню заходили, стуча одеревенелой обувью, и рассаживались по лавкам и на полу ссутуленные, заиндевевшие мужики, укутанные в тряпье, с обмороженными лицами и окоченевшими пальцами; бабы с детьми, смахивавшими на маленьких покойников: потухшие, неподвижные глаза, обтянутые прозрачной кожей худенькие лица... Иногда их набиралось шесть-восемь человек, и они загромождали тесную

кухню. Темная, бесформенная куча, навалившаяся на чистенький домик с еще не угасшим, греющим очагом. Глыбы горя и обреченности...

Они оттаивали понемногу. Но и согреваясь оставались точно придавленными жерновом. Разве кто вдруг отчаянно, непоправимо закашляет. В кухне распространялся сильный запах заношенной, грязной одежды, висело тягостное молчание. Александра Ивановна всех поила кипятком. Часто не выдерживала — совала ребенку ломтик сберегаемого на ужин хлеба. И с тревогой поглядывала на стрелки ходиков.

Но и Семен Иванович оказывался в таких обстоятельствах милостивцем. Он проходил через кухню, еще более хмурый и молчаливый, чем обычно, а рукой делал неопределенный жест — сидите, мол,— и затворял за собой дверь в горницу.

Было́ мучительно смотреть, как грузно поднимаются с места, нахлобучивают шапки и уходят друг за другом в морозную тьму эти отверженные. И оставить их тут нельзя, и страшно думать о предстоящих скитаниях.

— Спаси тебя Бог! — хрипло выговаривал на прощание кто-нибудь из гостей, кланяясь Александре Ивановне и крестясь на угол с образами.

И немудрено, что мы с братом сидели за чашкой остывающего чая молча, не в силах приняться за еду — всякий кусок корил совесть,— подавленные и оглушенные беззвучным ходом отлаженной государственной машины, планомерно и бездушно обрекшей на смерть и уничтожение неисчислимые тысячи наших земляков... И еще мы думали, что не должен быть забыт подвиг милосердия таких безвестных и немощных маленьких людей, как Александра Ивановна, пытавшихся помочь и спасти, когда и самим было впору искать путей спасения!.. И если единицам из этих толп обреченных крестьян или их детям удалось выжить, то спасителями их были как раз рядовые горожане, еще помнившие о христианских добродетелях...

И мы трезво заключали, что если уж так расправляются с мужиками, то нам-то чего ждать?

В один из дней я повел брата к художнику, с которым познакомился в очереди у окошка комендатуры. Привлекли мое внимание его скромность, очевидная доброжелательность, серьезность вдумчивого взгляда. Был он мал и по-птичьи легок, с типичными чертами южанина и темными,

чуть навыкате глазами. Поношенное пальто сидело на нем мешковато.

Жил художник в кое-как отапливаемой мансарде двухэтажного дома, перебивался случайными заказами — то портрет напишет, то театральные декорации подмалюет. Души в эти работы он не вкладывал. Преподавать рисование ему было запрещено. По счастью, поступали посылки из Армении — у семьи сохранился виноградник,— так что жил он, на ссыльные мерки, сносно.

Мой знакомец бывал рад гостям, вторгавшимся в его одиночество. По глухому, пыльному чердаку вокруг его светелки бегали одни крысы, и мы могли разговаривать без опаски. И однажды, заперев дверь на крючок, он отыскал в дальнем углу заставленный всяким хламом холст и выставил его к свету против окошка... Вот эту картину я и хотел показать Всеволоду.

Имя художника — очень распространенное, армянское — я забыл начисто. А вот полотно его и сейчас стоит перед глазами.

...В ровном безжизненном свете простерся пустой, слегка всхолмленный луг. По нему ползут, крадутся, возникают из-за каждой неровности земли неуклюжие мохнатые существа с остроконечной головой, сросшейся с туловищем. Они похожи на толстых бесхвостых крыс, поднявшихся на задние лапы. Ни рта, ни ушей. Глаза, вернее, глазницы — маленькие, круглые, ярко-желтые. Эти порождения тяжелого кошмара словно выбираются из подземных нор. В левой части картины, на заднем плане,— пробившийся сверху сильный свет. Он падает на венчающую крутую скалу мраморную террасу с балюстрадой и колоннами. Там пируют прекрасные, светлые люди в античных одеждах. Однако художником изображен момент смятения, начавшейся паники: на скалу лезут, неотвратимо взбираются, пролезают между балясинами, высовываются из-за колонн те же темные, мохнатые чудища. Несколько их уже бросилось на пирующих: хватают, душат, терзают. От них бегут, прячутся. Молодая обнаженная женщина бросилась со скалы в пропасть... Спасения нет.

По всему видно, что художник долго сидел над композицией, уравновесил все детали, тщательно ее обдумал. Жутью веет от темных безмолвных тварей, хотя нет у них ни клыков, ни когтей — обычных атрибутов жестокости и кровожадности. Художник изобразил немые, глухие существа, неспособные слышать стоны, видеть красоту... Аллегория не нуж-

далась в пояснениях. Кто не увидел бы в ней гибели светлых начал жизни? Наступления владычества темных сил? И до непосвященного дошло бы мрачное исступление полотна — а Всеволод разбирался в живописи.

— Да это ссыльный Босх... У того — средневековый мистический ужас перед греховной сутью человека; тут — ощущение наступившего разгула зла. Оно выбралось на простор, торжествует... Вот доберутся до последних очагов света, разума, красоты и — запируют... в потемках. А там и друг друга станут пожирать. Этот холст — зеркало эпохи... Помнишь, у Гоголя? «Скучно на этом свете, господа...» Что сказал бы он теперь, в нашей-то ночи?.. «Страшно на этом свете...»

Нам еще не по возрасту было поддаваться мрачным предчувствиям, и все-таки день, когда я провожал Всеволода, был тяжелым: не в последний ли раз видимся? Я уже на стезе, сулящей беды; иссякла и инерция, дававшая брату отсрочки. И мы молчали, перекидываясь незначащими словами: «Не забудь бритву...», «Письма в книге...», «Передай привет...»

Крепко-крепко обнялись на прощание.. Храни тебя ангел Господень!

...Он присылал за мной кого-нибудь из своего окружения, обычно милую пожилую массажистку, целиком ушедшую в заботы о церковнослужителях. Я шел в городскую клинику, и санитар из приемной провожал меня к нему в хирургическое отделение.

Он выглядывал из-за двери операционной — с опущенной на бороду маской, в халате и белой шапочке — и просил обождать. А потом двери распахивались перед профессором, и он появлялся — высокий, величественный, в рясе до пят и монашеской темной скуфье. На тяжелой цепи висела старинная панагия. Я спешил подойти под благословение, и преосвященный Лука широко и неторопливо меня крестил. Потом мы троекратно лобызались. Он поворачивался к лаборантам и сестрам, толпившимся в дверях, и отпускал их легким кивком и общим крестным знамением.

Известнейший хирург профессор Войно-Ясенецкий, он же епископ Самаркандский Лука, приучил работавших с ним к молитвам, без которых не приступал к операциям, и к священникам, которых по просьбе больных приводил в палаты для исповеди или причастия. Так что православные обычаи и

обрядность в стенах этой советской больницы принимались как должное. Искусство, прославившее хирурга, служило надежным заслоном: всесильное ведомство следило, чтобы преосвященного не утесняли. Пусть себе тешится крестами да поклонами, бормочет молитвы, лишь бы, когда припечет, он был под рукой — хирург-волшебник.

В городе не осталось ни одной церкви. Был взорван собор. На богослужения приходилось идти далеко за город, в кладбищенскую церковку, вот преосвященный и брал меня иногда с собой. Служить ему было запрещено, и на службах он присутствовал наравне с прочими мирянами. Даже никогда не заходил в алтарь, а стоял в глубине церкви, налево от входа с паперти.

— Мне-то ничего не сделают, даже не скажут, если я и постою у престола или служить вздумаю,— говорил владыка.— А вот настоятелю, церковному совету достанется: расправятся, чтобы другим неповадно было. Меня терпят, но смотрят зорко — не возьмет ли кто с меня пример? И горе обличенному! А мне каково? Знать, что служишь привадой охотнику? Я окружен агентами. Вот и рад, когда ко мне приходят, и страшусь. Не за себя, конечно...

Тогда еще свежи были мои впечатления от двухкратного пребывания на Соловках. О встреченных там епископах и священниках владыка Лука расспрашивал с пристрастием. Особенно — об отце Флоренском, начавшем в те годы свой крестный путь. Не на Соловках ли он?..

...В сквере у подножия соборов собирались, в свободный час и погожее время, обитатели соседних рот, более всего сторожевой, где было одно заключенное духовенство. Сиживал там и я с отцом Михаилом Митроцким. И вот к нему-то однажды подошел человек в летней светлой рясе и монашеском поясе, с небольшой темной бородкой и в очках.

— Нет-нет, пожалуйста, сидите,— остановил он мое движение.— Вы нам не помешаете. Напротив,— и взглянул так приветливо и добро, что я сразу почувствовал к нему расположение.

У подошедшего была в руках книга «Столп и утверждение истины». О ней и зашел у них разговор с отцом Михаилом. Вернее, продолжился. Насколько я уловил, они обсуждали доступность изложения для рядового читателя. В священнике Митроцком говорил политический деятель, озабоченный земным устройством церкви, ее положением в государстве.

Книга должна была наставлять верующих, ободрять и во времена гонений: вооружать для противостояния.

— Если это был отец Павел, то вам повезло. Общение с ним — веха всей жизни. Поверьте, биографию, всякое слово отца Павла будут воспроизводить по крупинкам... И у потомков он займет место наравне с наиболее чтимыми наставниками в вере. Не забудутся и его математические труды. Это человек, отмеченный перстом божьим.

Был ли виденный мною иеромонах отцом Павлом Флоренским, ненадолго заброшенным в те годы к нам на Остров при лагерных бестолковых перебросках — до сих пор не знаю! Но портретное сходство — несомненно...

Кладбищенская церковь на окраине Архангельска всегда полна. Молящиеся — в большинстве те же измученные, придавленные безысходностью разоренные крестьяне, что и на городских улицах. Самые отчаявшиеся лепятся к паперти, хотя — на кого было рассчитывать? Попросту паперть храма остается по традиции местом, где подается помощь. Вот и простаивают тут, даже не взглядывая на проходящих. Но у владыки всегда припасен кулек с едой. Раздать ее он поручает монашке, прислуживающей в храме.

И как ни убога была эта старенькая церквушка с облезлыми главками и закопченными сводами, она, как Онуфриевская церковь на Соловках, оставалась символом, маяком, возвышающимся над жалкой, бесправной жизнью. Светит, несмотря ни на что... И я вот иду открыто по улице бок о бок с князем церкви. Пусть всверливаются в нас острые прищуры глаз, строчатся доносы: и в этом лилипутском вызове кодексу советского правильного человека есть несомненная крупица утверждения, способная стать кому-то примером, кому-то ободрением...

— Вы, оказывается, клерикал, клерикал...— тоненько давится смехом Степан Аркадьевич, пряча бегающие глазки и шутливым тоном прикрывая настороженное ожидание ответа.

Мы на днях разминулись с ним на улице: я возвращался с Войно-Ясенецким с погоста — Сыромятников шел по противоположному тротуару с завхозом института, ссыльным пожилым евреем из Гомеля. Я заметил жест, каким тот указал на нас своему принципалу.

Минута колебания, и:

— Познакомитесь, как я, с язвой желудка, так будете

льнуть к медикусам поискуснее,— парирую я, не отводя от него пристального взгляда. Не позволю ему залезть в душу, коснуться заветного.

Я отдаю ему очередное письмо к брату и желаю благополучной дороги — с некоторых пор сей муж загодя уведомляет меня о своих командировках в Москву.

..В самом покойном кресле, возле натопленной голландки, у накрытого чайного стола сидит почтенный по летам и почетный по званию гость мой, контр-адмирал Карцóв,— некогда боевой моряк, потом многолетний директор Морского корпуса. В другом кресле, подальше от ласкового кафеля,— дядя Алеша, благодаря которому такие «гостьбы», как говорят архангелогородцы, устраиваются нами по воскресеньям. Мы подолгу сидим у самовара, расходимся под вечер, думаем, что вот — завелась у нас зыбкая традиция.

Началось с того, что дядя сводил меня к старому моряку, жившему у соломбальского пильщика в отгороженном переборкой закутке. Потом встречаться стали у меня.

В отношении Данилова к Карцóву проступало различие в чинах,— и вообще-то подтянутый, дядя Алеша в обращении к адмиралу слегка подчеркивал свою внимательность,— но более всего проглядывала в них тесная связь товарищей по оружию. Все офицеры императорского российского флота, знавшие друг друга если не лично, то по именам, были — традициями и воспоминаниями — спаяны в единое братство.

...В Петербурге по воскресеньям у нас собиралась молодежь — разные двоюродные и троюродные, их друзья и однокашники из кадетских и Морского корпусов, из юнкерских училищ. Гардемарины рассказывали были и небылицы про Лангобарда — своего начальника Карцóва, обладателя знаменитой длинной бороды клином, называемой в просторечии козлиной... Само собой, адмирал знал всех прошлых и нынешних Лазаревых — и меня не сразу, но признал. Пришлось для этого воскресить уже неправдоподобную мою петербургскую жизнь.

...На званых обедах у отца нашего с Всеволодом школьного друга Олега, сенатора Алексея Николаевича Харузина, неизменно присутствовали адмирал Григорович, морской министр, и его зять контр-адмирал Карцев. В конце стола скромно сидели мы с Всеволодом, еще в матросках и коротких штанишках. При наступавших паузах в общих разговорах взрослые снисходили до нас.

— В самом деле, что же это их не отдали в Морской корпус? Как-никак правнуки Михаила Петровича Лазарева... Это, знаете, даже в некотором роде обязывает,— очень значительно изрекал Григорович, поглядывая на нас откуда-то сверху — он был громадного роста — из гущины сверкающих эполет.

— Они с моим сыном в Тенишевском училище,— несколько нараспев и томно заступалась за нас с другого конца стола хозяйка Наталья Васильевна, урожденная фон дер Ховен и потому державшаяся в высшей степени аристократично.— Там прекрасные педагоги...

— Да, но служба на флоте... И они так друг на друга похожи... Было бы, знаете ли, очень эффектно — в морских мундирах, оба вместе на смотрах или на караулах во дворце...

Донятые затянувшимся вниманием, мы смущенно лепечем, что оба носим очки и не годимся в морскую службу.

— А они, вероятно, дальтоники,— догадывается Лангобард.— Это когда цвета путают... Я вот сейчас проверю: скажи-ка ты,— указывает он на Всеволода,— какого это цвета? — и подносит белую пухлую руку к орденской ленте.

— Да нет, адмирал, они близоруки. Вдаль плохо видят...

Еле живыми, взмокшими от смущения оставляли нас эти непривычные втягивания в разговоры взрослых за столом: тогдашнее воспитание предписывало сидеть чинно и немо.

...Вспоминая своих питомцев, старый адмирал не удерживается от слез. Мы по крохам перебираем с ним корпусные истории, воскрешаем имена. Однако это вскоре становится тягостным: большинство бывших гардемаринов сгинули невесть где в смуте. Длинны списки расстрелянных... Тут в разговор вступает дядя Алеша и переходит на неиссякаемую тему: моряки погружаются в разбор операций русско-японской войны.

Примерно в те годы вышла книга Новикова-Прибоя «Цусима». Каждый абзац ее старые моряки, досконально знавшие все подробности настоящей, не книжной Цусимы, обсуждали подолгу. Рассказывалось в книге об их сослуживцах, друзьях, с которыми стояли на палубах одних и тех же кораблей. И они придирчиво сверяли свои оценки с характеристиками бывшего баталера. И отдавали ему должное. Описывал он верно и честно, но видел все, как заключили оба бывших штаб-офицера, с «нижней палубы». В их устах это означало «узко», с предвзятых позиций.

Они знали все, о чем так беспощадно поведал Новиков: просчеты и ошибки русского морского командования, трусливость и нераспорядительность отдельных лиц, нарушения присяги... Когда-то это внушило и им, потомственным слугам престола, сомнение в способности царского правительства управлять Россией. И им мерещились какие-то конституционные перемены, несшие избавление от всесилия бездарных великих князей... Да мало ли что пришло в голову и открылось глазам кадровых военных, потрясенных бесславным поражением русского оружия!

Уют и покой тихой комнаты, воспоминания, переносившие в перечеркнутое вчера, оживляли моих гостей. И минута, когда надо было подниматься и уходить, всегда отмечалась резким спадом настроения. Мы возвращались в свои ссыльные будни. Становились тем, чем были в действительности: вполне бесправными, не знающими, что с нами произойдет в следующие мгновения, приученными, но не привыкшими к мысли о возможности пасть жертвой внезапной расправы. Диктатура и террор караулили нас неусыпно, и мы об этом никогда не забывали. Вот разве так, погрузившись в отошедшее и умершее...

Я выходил проводить Карцóва до остановки трамвая, и мы прощались молчаливо и печально. Придется ли собраться в следующее воскресенье?

...Тянулись дни и недели, складывались в месяцы и годы. И вот уже позади значительная часть моего пятилетнего срока. Завершится текущий 1935 год, и можно будет считать на месяцы. И, устыжая себя за загадывание вперед — будто нам дано своим будущим распоряжаться! — я все же строил планы. Еще не близок сорокалетний рубеж, пройденное вселяет уверенность, что «есть еще порох в пороховницах» и можно уповать на свои силы. Да и отнюдь не пропащими были годы странствий: сколько легло на душу впечатлений, помогающих разбираться в жизни и видеть ее истинные блага. Сколько было встречено людей — и каких! Я смутно рисовался себе вооруженным пером, бичующим ложь и зло, самоуверенно полагая, что опыт поможет мне разоблачить их.

В Архангельске я до известной степени обжился. Попривыкли и ко мне. Появилось много знакомых. Помимо упомянутых москвичей, вынужденно ставших архангелогородцами, нашлись и местные жители, не чуравшиеся ссыльных.

С профессором АЛТИ Вениамином Ивановичем Лебедевым мы ездили на охоту. В его продуманно приспособленной для кочевок лодке мы по нескольку дней сряду проводили затерянными среди бесчисленных островков и проток устья Двины. Я не имел с ним дела в институте, он там даже как будто избегал встреч со мной,— тем удивительнее было внимание профессора вне его стен. Вениамин Иванович не только доставал мне ружье с припасом, но и не допускал «вхождения в долю» по расходам, был предупредителен, заботлив и мягок. Под конец нашего знакомства признался, что я напоминаю ему сына, погибшего на юге в гражданскую войну. И сам он — «Только, ради Бога, это между нами!» — бывший преподаватель Первого кадетского корпуса в Петербурге, где, кстати, был директором муж моей тетки генерал Рудановский... Были тут глубоко затаенная трагедия и нужда вечно носить маску.

Даже удивительно, как подробно запомнилось это мимолетное знакомство. Лебедев... Как живой стоит: узкоплечий, с коротко подстриженными рыжеватыми жесткими усиками на сухом, морщинистом лице. А за ним — другие. Еще... еще... Словно выходят на смотр из усыпальниц памяти. Но не сплошной вереницей, а пунктиром. Разрозненные штрихи, случайные, не всегда значительные — и неизвестно почему запечатлевшиеся... И все же эти клочки и обрывки заполняют ячеи того большого и смутного целого, каким лежит в нашей памяти прошлое. В общем-то, мертвое...

Уже далеко за полночь меня будит осторожный настойчивый стук в окошко. Ошибиться нельзя — так стучать способен только воспитанный человек. И я, недоумевая, но безо всякого страха выхожу в сени отпереть дверь. Оказывается — Андрей Гадон, случайный и неблизкий знакомый, бывший петербуржец, заканчивающий здесь трехлетнюю ссылку. Он возбужден более обычного — нервно жестикулирует, путано объясняет, извиняется за ночное вторжение:

— Мне было необходимо вас увидеть... Откладывать больше нельзя. Пусть дерзко, вы говорите, сумасбродно. Но только так есть шансы. Надо ловить случай... ночь... ни зги... отвязать лодку. Ведь только доплыть до судна...

Давно вынашиваемым планом бегства за границу Гадон делился со мной и прежде, и я знал, что рано или поздно он попытается его осуществить. Он не мог не бежать от себя, от своего прошлого.

Революция, сокрушившая его военную гвардейскую семью, застала Андрея кадетиком, кажется, пажеского корпуса. Ни знаний, ни твердых устоев... Вкривь и вкось усвоенный «кодекс чести»: нельзя показаться на улице без перчаток, нести покупку, унизительно работать. Доблестно — кутить, прожигать жизнь... И юноша, едва возобновились рестораны и ночные клубы, сделался крупье. Шальные деньги, чадная обстановка — все, что нужно, чтобы не замечать окружающее. Но и цена за это платится немалая: пришлось дать подписку — сделаться сексотом.

Поначалу это не очень тревожило совесть: подумаешь — сообщить о крупной игре зарвавшегося жида-нэпмана, воротилы треста или о зачастившем в клуб кассире Госбанка! Туда им и дорога. Когда же потребовали сведений более деликатного свойства — Андрей заартачился. И оказался в ссылке. И тут пришло прозрение. Стала мерзкой прежняя жизнь, замучила совесть.

— Это ребячество, Андрей. Пусть вы даже пришвартуетесь к иностранцу, привлечете внимание вахтенного. Вас поднимут на палубу, порасспросят и... сдадут первому подвернувшемуся пограничнику. Были случаи. Бежать надо хитрее, поверьте. Покайтесь в своей слабости, пообещайте исправиться и устройтесь куда-нибудь во Внешторг, а лучше всего — матросом на судно... А сейчас ступайте домой отдохнуть, успокоиться. Я вас провожу...

Он шел рядом со мной — невысокий, все еще плотный; полувоенная фуражка надвинута на лоб, воротник дешевенького плаща поднят. Было что-то хлыщеватое в походке, в глубоко засунутых в карманы руках, напоминающее о сомнительном лоске клубной профессии. И со своими аккуратными усиками, тонкими чертами отечного породистого лица, манерой надменно щуриться, опустившийся и несомненно больной, он выглядел призраком старого петербургского мира.

И все-таки Гадон вскоре исчез — как в воду канул. Я и по сей день в неведении о его судьбе.

...Вглядываюсь в заострившиеся черты моего удивительного Васи. Он лежит без сознания на убогой больничной койке, застеленной нищенским бельем, с набитой комковатым сеном подушкой. И уже не встает: затихли судороги, расслабились мышцы. Так бывает, когда менингит сделал свое дело — разрушил в организме нервную его основу. И дышит теперь Вася ровно — перед концом.

За те месяцы, что Вася простолярничал в макетной мастерской, я к нему привязался. Мне нестерпимо жаль этого паренька, так и не выбравшегося с обочин жизни. Детство в северной деревушке, вконец разоренной гражданской войной и коллективизацией, сгинувший в раскулачивание отец, раннее сиротство и жалкая жизнь с теткой — приютившей мальчика нищей монашкой. Потом Васе повезло: его взял к себе столяр, добрый набожный старик. И научил не только ремеслу, но и грамоте — по Библии.

Мальчик вырос тихим, ласковым; может быть, даже слишком склонным отзываться на чужую беду. «Не от мира сего»,— говорили в старину про таких кротких, бескорыстных отроков.

Моя безлюдная мастерская после работы на заводе показалась ему райским уголком: Вася страдал от ругани и ссор. Был он нескладно широк и короток, прихрамывал на одну ногу, но у верстака преображался — работал сноровисто и красиво.

— Вы мне много платите,— говорил Вася: макеты и в самом деле расценивались высоко.— Дядя Троша сомневается: уж ты, говорит, Васенька, невзначай не баловать ли стал? Не стоишь ты, малец, таких денег. Тревожится он, чтобы я воровать не научился...

Я знал, что едва ли не весь заработок Вася отдавал своему ослепшему наставнику.

Был этот Вася чист как младенец, кроток и светел. Из тех, к кому никакая ржа не пристает. В прежние идиллические времена, когда такие подростки не столь резко выделялись, когда еще не так жестоко и бездушно вершилась жизнь, старые люди, приглядевшись и покачав головой, непременно бы вывели: «Не жилец на этом свете...»

...Ненадолго, но по нескольку раз в год в Архангельск приезжала к сосланным сыновьям шумная московская барыня Марья Александровна Глебова, по первому мужу Кристи, урожденная Миха́лкова — родная тетка по отцу Сергея Владимировича Миха́лкова (Миха́лков — так произносилась до революции фамилия помещика, коннозаводчика и камергера, отца стяжавшего широкую известность писателя и баснописца, достигшего высоких степеней в Союзе писателей). Упоминая о нем, знаю, сколь много распространено о сем муже, верном слуге партии и правительства, всевозможных слухов и сплетен, как поносят его в иных книгах. Не зная ничего

достоверного, не рискую по этому поводу высказываться. Из своих личных сношений с Сергеем Владимировичем я вынес впечатление, что он талантлив и умен, обходителен и во многом выгодно отличается от большинства своих коллег — секретарей Союза,— чванных и недоступных. Однако мне доподлинно известно, насколько Михалков внимателен к нуждам и самых незначительных, скромных людей. Как готов всегда похлопотать за обделенного и обиженного, доступен и доброжелателен.

...Утверждали, что Марица была обаятельна. Один из ее романов закончился нашумевшей дуэлью со смертельным исходом. Во всяком случае, известность в московском high life — большом свете — ей принесли подобные незаурядные приключения. Теперь это была очень немолодая дама, располневшая, но не утратившая живости, даже порывистости, очень душевная и доброжелательная. Она вносила с собой деятельное и веселое начало, струю оптимизма.

Старший сын Марицы Сергей Кристи, чрезвычайно предприимчивый молодой человек, умеющий поговорить и приятный в обращении, небезуспешно подвизался на самых разнообразных поприщах — от цирка до научных институтов,— не имея при этом и законченного среднего образования. В ссылке он пристроился к театру — был режиссером труппы ТЮЗа — и жил на семейную ногу с девицей, причастной к Мельпомене. Марица уверяла, что грудное ее дитё не отпрыск именитых бессарабских бояр Кристи, а принадлежит прошлому этой особы, рыцарски опекаемой ее сыном. Роль отца Сергей выполнял — до поры до времени — безукоризненно. Бывая в его комнате с двуспальным ложем и люлькой, я только дивился умелому его уходу за младенцем. В Москву Сергей возвратился уже безо всякого хвоста и благополучно сочетался браком с дочерью известного ветеринарного профессора Витта, знатока лошадей. И, как стало мне известно много позднее, опочил от трудов на пенсии по высшему разряду, расставшись с каким-то институтом или лабораторией, откуда его с почетом проводили на заслуженный покой после многолетней, на диво разнообразной и, кажется, вполне бесплодной деятельности. Добавим тут же — и вполне безвредной, что в наше время само по себе уже немаловажная заслуга.

Однако любимцем Марицы был ее другой сын, Федор Глебов, посвятивший себя живописи. Пристрастная мать демонстрировала его этюды как творения, по крайней мере, серовской кисти и горячо превозносила их достоинства.

Мастером этот Глебов как будто не стал, но в средненьких московских журналах сотрудничал добросовестно и, как говорят, прослыл славным малым, незаменимым компаньоном на охоте и рыбалках.

Обоих братьев, да и мать я отношу к разряду людей, что бесследно для себя, безо всякой обиды и зарубки на сердце, проходят сквозь трагические времена, не задумываясь, считая их попросту счастливо изжитыми недоразумениями,— благо самим пришлось легко отделаться. Они не способны взглянуть широко, тем более задуматься над тайными пружинами потревоживших их событий. Что им память о толпах голодных обобранных мужиков, полнивших заснеженные улицы Архангельска? Для них-то эксперимент со ссылкой окончился безболезненно! Так что... слава Порядкам и Власти!

Зато была Ксения... Отца ее, известного московского протоиерея Николая Пискановского, преследовали с восемнадцатого года. Он сидел в тюрьмах, приговаривался к расстрелу за «противодействие изъятию церковных ценностей». Ксения не знала покойного, безопасного времени: родилась она незадолго до крестового похода власти против церкви. Обыски, выселения... Девочку вышвырнули из школы. Семья жила в вечном страхе и постоянной нужде.

Рано лишившаяся матери, обожавшая отца, Ксения от него не отступилась. Она носила в тюрьму передачи, навещала его в ссылке, нянчила младшего брата. Непостижимо, как не утратила она способности радоваться жизни? Верить в добро и утешать других? Ни ожесточения, ни замыкания в себе.

В Архангельске Ксения жила с тяжелобольным отцом, отбывавшим бесконечную ссылку. Свойство одним своим видом окрылять, вселять уверенность в хорошем исходе приобрело Ксении множество друзей. И она неутомимо кого-то навещала, опекала...

Жалкая одежда — всегда черная — выглядела на ней едва ли не нарядной; а из-под по-монашески повязанного темного платка и светилось, и улыбалось чистое, юное, доброе лицо. Далеко, далеко не красавица — а вот ведь забывалось об этом. И выдающиеся вперед зубы, прикрытые крупными губами, и не очень-то правильный носик — все казалось у Ксении милым и исключительным. Видимо, такова сила присущего ее лицу выражения. Выражения высшей человечности...

Такие девушки, верующие, самоотверженные, бросали вызов самой сути порядков, опровергали идеологию власти:

И, при всей своей смиренности и слабости, они составляли невидимый становой хребет сопротивления отлучению народа от нравственных устоев. Их пособничество «врагам народа» не только помогало кому-то выжить, спастись, но и оказывало свое тайное действие примера и укора малодушным. Им боялись подражать, но пример их запоминался.

И весь этот подземный ток сочувствия исподволь размывал воздвигнутую систему насилия, помогал разобраться в удушливом тумане напущенной лжи. Поповна Ксения и Лиза Самарина, тысячи и тысячи других верующих русских женщин были светом и истиной в непроглядной ночи гонений. И если России суждено когда-нибудь возродиться — в основании ее будет и подвиг этих православных подвижниц.

* * *

К 1935 году дела мои пошли столь успешно, что я мог устроить приезд ко мне матери из Ленинграда. Ей было тогда шестьдесят шесть лет, силы иссякли, и, встречая ее на перроне, я про себя ужаснулся, узнав в крохотной старушке, высохшей и полуслепой, мать, которую помнил деятельной, полной комплекции. И заговорила она слабо и растерянно, отчасти потому, что, разглядывая меня, едва узнавала сохранившегося в памяти прежнего, долагерного сына.

Поначалу — с отвычки — напрягло, но тут же показалось единственно возможным и естественным обращение ко мне матери по-французски. Как я себя помню, иначе мы с ней не разговаривали. Даже с отцом говорить по-русски мы стали, лишь повзрослев. И от звуков иноязычной речи в этой чуждой обстановке на меня пахнуло прошлым, отчим домом. Старой Россией... И вот сквозь внешнюю отчужденность, незнакомость начали яростно и с готовностью пробиваться наружу дремлющие в нас до поры голоса кровных уз. Интонация, слово, жест пробуждали прежние непосредственные связи, словно и не было длинных лет разлуки...

После толкотни на пристанях и палубе допотопного пакетбота, курсировавшего между берегами Двины, мы потихоньку пошли по щелястым деревянным мосткам, пустынным и гулким. Я нес потертый материнский саквояж, памятный по давнишним поездкам за границу. Она, такая невесомая, семенила рядом, опираясь на мою руку. Хотелось поднять ее на руки и нести, и было радостно сознавать хоть эту возможность быть ей опорой.

Мать прожила у меня с неделю. Я скоро понял, что она лишь смутно представляет себе лагеря и было бы жестоко раскрывать ей глаза. Виделось ей нечто вроде вычитанного у Короленко или в мемуарах Веры Фигнер: решетки, казематы, мрачные тюремщики, непреклонные политические в благородном ореоле...

Людям — особенно женщинам — ее поколения и круга никогда не приходилось так вникать в жизнь, как нам, ощущать ее изнанку, сталкиваться с уродливыми порядками. Их существование протекло в рамках, оберегавших от крайностей. Рамках прочных, определяемых традиций. Мать и революцию-то в ее подлинном обличье познала лишь в единичных случаях — два-три раза в жизни: во время обысков, смахивавших на вторжения вооруженных бандитов. Только тогда она могла почувствовать прямую угрозу насилия. В остальное время какие-то обстоятельства смягчали удары, всегда находилось что-то, становившееся между нею и враждебным окружением. В тревожные первые годы, когда семья еще жила в имении, от соприкосновения с внешним миром мать была отгорожена нами, старшими сыновьями; в критические минуты выручали, как я уже упоминал, сочувствие и заступа соседних крестьян. В Петрограде мать замкнулась в крохотном кругу близких и единичных уцелевших старых друзей.

И всегда немногословная, мать сделалась вовсе молчаливой. Лишь изредка, по нечаянному ходу мысли, всплывали воспоминания, и я слушал ее рассказы о «старине глубокой» — неправдоподобно далекой жизни в Петербурге второй половины XIX века, о дедах, о парижских встречах, известных и даже прославленных людях прошлого, которых ей доводилось знать. И чем полярнее, несопоставимее с нашими очевидностями были понятия, нормы отношений, их обрамление, суждения прежних людей, оживавших в рассказах матери, тем грустнее и безнадежнее определялись выводы: в какие бездны катится Россия? До какого одичания дойдет народ, отваживаемый от простейших нравственных истин?

Мать близко знала Кони. Анатолий Федорович на правах соседа — они жили рядом на Моховой — до последних своих дней приходил к ней «на огонек». Сановник, стяжавший известность защитой революционеров; человек, никогда не погрешивший против совести; государственный деятель, оказавшийся в плену предрассудков своего века и не разглядевший пророка в своем старшем современнике Достоевском... Со слов матери я знал, что свержение Временного

правительства и особенно разгром Учредительного собрания потрясли Кони. Потрясли настолько, что дальше он жил уже раздвоенным, наполовину отрекшимся от себя. В этом я видел неизбежную судьбу таких вот честно заблуждающихся людей XIX века, завороженных багровыми отсветами слова РЕВОЛЮЦИЯ...

Проводил я мать и хорошо помню, что, расставаясь, уверенно, как само собой разумеющееся, обещал летом, по пути отсюда, заехать к ней в Питер, показаться уцелевшим родственникам — кузинам и тетушкам, считавшим, что в семье появился свой декабрист. Но это было мое последнее свидание с матерью...

Проводил я и закончившего трехлетнюю ссылку дядю Алешу. Он отправился в Закавказье — помнится, в Батум,— где осел какой-то давний его приятель-моряк. Тут мы прощались, наверняка зная, что навсегда, хотя дядя и повторял безо всякой убежденности: «Вот закончишь ссылку и приедешь ко мне отогреваться после Заполярья. Там не океан, конечно, но все-таки море...» Он бодрился и не разрешал себе сутулиться, но выглядел плохо. Худой, бесконечно усталый, неухоженный нищий старик... Все на нем было не просто старое, а ветхое, повытертое, с не выводимым никакими снадобьями тавром заношенности. В общем, отражение повергнутого и зачеркнутого вчера. Уже бесплотный силуэт отошедшего, в чем-то даже укоряющий современность с ее деревянным ликованием и вымученными «ура!». И она торопится убрать с дороги докучные призраки...

...Всеволод был женат на премиленькой внучке богачей Морозовых. Помню, он говорил: «Жена должна составлять красивое пятно, оживляющее интерьер»,— и в соответствии с этим выбирал себе спутницу жизни, а потом заботился о нарядах для своей Катюши. Так вот брат ее, забулдыга Игорек, и соблазнил меня показаться на корте.

Этот добродушный компанейский малый, бредивший бегами и теннисом, сыпавший, мило шепелявя, анекдотами — он и переселился из Москвы в Архангельск из-за одного из них,— даже тут ухитрился втереться, на правах столичного спортсмена, к боссам «Динамо». Он убедил их в неотложной необходимости соорудить площадки для игры, хлопотал, инструктировал и в некий день явился пригласить меня «покикаться» для тренировки! Ракетки, мячи, даже туфли — все есть: не зря же «Динамо» — детище Великого Ведомства... Так что — пошли? Я отказался. Охота лишний раз напоминать о себе чекистам? Да еще и как бы драз-

нить их: вы вот нас сослали, а мы преприятно в белых штанах за мячом скачем, жирок спускаем. Было бы из-за чего играть с огнем!

Но от того, чтобы сходить поглазеть, не удержался. Раз и другой. И стали точить сожаления, грызть зависть: Игорь вон как в форму входит, любо глядеть... И оказывается, не все теннисисты из ведомства: есть двое из мединститута, какой-то филолог, еще из Морфлота! Что же себя ограничивать?

Первое время я оправдывался тем, что играю лишь с Игорем, когда на кортах — ни души, что это для моциона. Но трудно быть осмотрительным, если втянулся в дело, которое по душе. И я не заметил, как стал азартно сражаться с доцентом, участвовать в «дублях», забывать, что за братия в безукоризненно белых брюках, молчаливая и подтянутая, деловито играет на соседней площадке! Нет-нет и засечешь пронзительный взгляд оттуда — и метнутся прочь следящие за тобой глаза. И вдруг увидишь окаменелую настороженность лиц, выдающую себя скрытность, а в глубине зрачков уловишь — пусть человек разгорячен игрой и запаленно дышит — острый огонек хищника в засаде. И на мгновение замрет душа...

Но — убаюкивали длинные, бестревожные месяцы, составившие мою архангельскую жизнь. Избаловала ее относительная легкость, приятно занимавший необременительный роман, какие-то отвечающие вкусам занятия. Приподними тогда меня благая рука над моей жизнью, дай мне заглянуть вперед и глубже осмыслить прошлое — ужаснуло бы меня мое легкомыслие. Моя забывчивость. Но опять-таки: изменилось бы что в моей судьбе, живи я тенью, слитой до неразличимости с серыми буднями? Не выставляйся в джентльменской игре? Не покажи я зубки жулику Сыромятникову, не сделайся постоянным посетителем церкви, собеседником владыки? Откажись от общения с Путиловой, Ксенией, Гадоном и прочими подозрительными лицами? Не делай я, наконец, посильного, чтобы прийти на помощь особо бедствовавшим мужикам? Нелегко ответить на этот вопрос... Не окажется ли правым тот, кто верит в предначертанность судеб: именно мне было написано на роду, в отличие от других родных и близких, пройти через некий круг испытаний? Завершить его и продолжать жить, когда почти не осталось никого из «своих» сверстников? И никакие мои предосторожности и ухищрения, попытки маскироваться не избавили бы меня ни от одного из приключений...

По прошествии многих лет, оглядываясь на свое отдаленное уже целой эпохой прошлое, я думаю, что мимикрия, слов нет,— надежное защитное средство. Но вот не бывает так, чтобы приспособленчество не влияло на самую суть человека: покровительственная окраска растлевает сознание. Так что — Бог с ней совсем, с маскировкой!

Глава седьмая

ЕЩЕ ШЕСТЬДЕСЯТ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

Можно начать почти как у Тургенева в романе «Дым»: «Это было 8 июня 1936 года... Стояло солнечное утро, и Архангельск выглядел, против обыкновения, повеселевшим и даже приветливым. С трамвая на конечной остановке сошел высокий мужчина средних лет, одетый в рабочую куртку, и торопливо зашагал по улице Павлина Виноградова к двухэтажному дому со стенами, еще не успевшими потемнеть...» и т. д.

А дальше произошла немая сцена уже по Гоголю.

«Высокий мужчина средних лет» в моем лице исправно трудился со своими мастерами над очередным макетом. В помещении пахло свежей стружкой и красками, шмелем гудел в углу токарный станок, окна нестерпимо сияли, несмотря на пришпиленные к рамам выгоревшие газеты,— я все собирался заменить их пристойными занавесками. Как вдруг...

Они вошли незаметно. Внезапно среди нас замаячили три фигуры в легких серых плащах и темных кепках. Все в мастерской мгновенно отвлеклись, загадывая — что за работу предложат объявившиеся заказчики? Я же, едва взглянув на вошедших, тут же безошибочным чутьем, вернее, предчувствием, определил, что это за птицы... Разогнулся — я как раз лепил рельеф склона из папье-маше для макета лесоспуска — и с какой-то внезапно охватившей вялостью подумал, что вот докрасить не удалось, и что теперь не придется получить деньги, и нет ли у меня на квартире чего-нибудь, что не должно попасться на глаза при обыске.

Тут я поневоле колеблюсь. Что за сказка про белого бычка? Снова оперативники, ордер, «вам придется отправиться с нами...». Ведь я уже не в первый раз принимаюсь об этом рассказывать! И — предупреждаю — не в последний! Но обойтись без этого повторения, без такого рефрена,

напоминающего, как колокол на церковном погосте, о великих тревогах и печалях тех дней, нельзя. Хотя бы потому, что я рассказываю о жизни подлинной, не выдуманной, тщусь на судьбе одного интеллигента, застигнутого революцией в юношеском возрасте, дать по возможности правдивую картину тех мытарств, что достались на долю русских образованных сословий...

...Меня повезли на «козлике» с поднятым верхом и открытым с боков. На главной улице машине пришлось постоять прижатой к тротуару. Мимо — так близко! — шли люди в темной и однообразной одежде, метившей толпу тех лет.

— Далеко ли вы, Олег Васильевич, собрались?

У дверцы — я сижу возле шофера, агенты за спиной — остановился мой знакомый, Константин Константинович Арцеулов, летчик, начинавший длинную свою карьеру в авиации еще с Уточкиным и Нестеровым. Воспитанный, с хорошими манерами Арцеулов был человеком одаренным: он занимался живописью — мы и познакомились с ним в студии художника,— что-то сочинял, а позже и публиковался, помнится, в детском издательстве. Очутился он в Архангельске, как я догадывался, не по своей воле, а в «почетной ссылке» — была для некоторых категорий лиц и такая. И когда уже в шестидесятые годы пришлось читать о «дедушке» русской авиации — кажется, именно так его величали,— я вспомнил стройную, подтянутую фигуру и выправку царского офицера, залитую солнцем архангельскую улицу и своих насторожившихся охранников.

— Чего не знаю, того не знаю, Константин Константинович,— пожал я плечами.— Вот они вам, быть может, разъяснят...

Он мгновенно догадался. Помолчав и секунду поколебавшись, он крепко, сочувственно пожал мне руку. Хотел было что-то сказать, да только вздохнул. Затор рассосался, и машина тронулась...

И еще одного знакомого довелось мне увидеть — но уже безо всяких рукопожатий — в тот последний мой день «на воле» в Архангельске.

...Нудно тянулся обыск. Оперативники перелистывали книги, каждый исписанный листок откладывали в сторону, чтобы предъявить «изъятое при обыске»: авось да дока сле-

дователь откопает, из чего состряпать дельце! Оживлялись, наткнувшись на брошюру или журнал на иностранном языке — это уж верная улика, готовое доказательство шпионажа!

Они шарили методически, но безо всякого рвения, как выполняют формальность, когда заранее знают, что никакого лакомого сюрприза в виде солидной пачки купюр госбанка или, того лучше, валюты не то вещицы из червонного золота да еще с камушком в несколько каратов — не предвидится. И давно бы они прекратили копаться в моих пожитках, не опасайся каждый, что товарищ настучит.

Неожиданно — шаги в сенях.

— Вот и я, Олег Васильевич!

В дверях — теннисист в ослепительно-белом костюме, с ракеткой в руке, сияющий, прямо-таки излучающий оживление. Все немо на него уставились. Я было встал и шагнул навстречу гостю, но меня шустро опередил чекист.

В чем дело, мой спортсмен сообразил сразу. И стал на глазах тускнеть, линять. Вытягивалось лицо, повисали руки; перепуганно забегали глаза и со страхом остановились на подскочившем к нему агенте. Самоуверенно-напористая, весело-предприимчивая блистательная фигура на глазах превращалась в робкую, приниженную тень.

— Ваши документы!

— У меня... товарищ... я... извините, дома...

Мигнув своему подручному — «не дремать!», старший оперативник вышел с гостем в сени и притворил за собой дверь. Двое оставшихся плотнее придвинулись ко мне.

Был, вероятно, понятой, составлялся протокол, опечатывалась комната — я ничего этого не запомнил. А вот забежавшего за мной теннисиста, растерявшегося и позеленевшего,— не забыть, кажется, вовек! И как же клял он про себя ту злополучную минуту, когда попросился играть со мной, завел знакомство со ссыльным! И как, вероятно, бил себя в грудь на допросе, открещиваясь на все лады от замаскировавшегося врага, как от избытка лояльности угодничал перед следователем — лишь бы его не пристегнули к моему делу.

Оно же, как я скоро убедился, учреждалось на широкую ногу. Следствие повели обстоятельно и неторопливо, со вкусом, чтобы объявить мне мат по всем правилам. Я приготовился к обороне. И было предчувствие, что приходить в отчаяние нечего. Выстою.

* * *

В эту камеру я возвращался как к себе домой. Вдоль стен, до уровня глаз выкрашенных в серое, по узкому, врезавшемуся в память коридору с двумя поворотами. Первая дверь за углом — моя. Камера в безраздельном моем владении. Я — в одиночном заключении. Предоставлен себе и своим мыслям.

Лампочка горит круглые сутки. Окно, хоть и прорезано не под потолком (как я узнал, здание строилось не под тюрьму, а для исполкома и приспосабливалось Всемогущим Ведомством для своих нужд), а как в жилом помещении — невысоко, ограждено частой решеткой и снаружи забрано сплошным щитом. Ночь ли, день — все едино. Но по разного рода шумам в коридоре я умею приблизительно определить время. Наловчился: одиночке идет десятый месяц.

Меня периодически лишают книг, передачи, переписки. Все эти блага расчетливо дозируются следователем — в зависимости от оценки моего поведения на допросах. Лишение прогулок предполагается само собой: я нахожусь во внутренней тюрьме НКВД, выстроенной на главной улице. Никаких прогулочных двориков нет и в помине. Темная, зловещая громада в центре города, на которую прохожие посматривают, как в старину горцы в Дарьяльском ущелье на скалу «Пронеси, господи!», нависшую над дорогой...

К следователю меня повели в день ареста. Он держался спокойно, даже доброжелательно, словно сочувствуя моей судьбе. Была заполнена длиннейшая анкета с данными, давно и досконально известными органам,— где и когда родился, кто родители, какие родственники, что делал до революции, в гражданскую войну и прочее, и прочее. Ознакомил с «обвиниловкой» — бланком, где значилось, что такой-то обвиняется по статье 58-й, пункт 6 УК РСФСР, сиречь в шпионаже. Я отказался расписаться. Он не очень настаивал.

— Подумайте. Время у вас есть. Помните: мы зря не арестовываем. Улики против вас серьезнейшие. Так что даю добрый совет: чистосердечно признайтесь. Расскажите о своей преступной деятельности, вам же легче будет. Я велю вам дать в камеру бумагу и карандаш — сами все изложите. Когда кончите, скажите дежурному. Моя фамилия Денисенко.

С этим напутствием отправил в камеру и — оставил в покое. Надолго. Следователи твердо уповают на деморали-

зующее воздействие неизвестности на психику подследственного: весьма полезно дать человеку потомиться и представить себе невесть какие страхи.

И вот я сижу в своей закупоренной коробке — два метра на три. Под высоким потолком — лампочка; стены беленые, железная койка, табурет со столиком и параша. Дни считаю по оправкам и обедам; тягостные часы перемежаются с легкомысленно-безмятежным настроением. «Ну, дадут срок, эка штука!» Но более всего я вхожу во вкус «отключений» — мечтаний и воспоминаний...

Словом, я не терзался и не дрожал, как должен бы был по расчетам следователя, полагавшего, что спустя недельку-другую перед ним предстанет утративший равновесие, изведенный одиночеством и предчувствиями псих, готовый признать все, что ему подскажут.

Первый настоящий допрос состоялся примерно через полмесяца. А так как я не только не принес ожидаемого от меня готового сочинения — об этом, впрочем, следователь знал от тюремных надзирателей,— но и называю обвинение бредовым, да еще отвечаю «вызывающим тоном», Денисенко переменил тактику. Он стал допрашивать меня днем и ночью, часами держать в кабинете, внушительно говорить об имеющихся в распоряжении следствия уликах (тут они до смешного копировали друг друга — тульский дока Степунин и архангельский хохол Денисенко!), заставляя жить в неослабевающем напряжении.

Только улегся после вечернего допроса. Расходившиеся нервы гонят сон. Но вот начинаю успокаиваться, усталость берет свое... И тут снова в волчок: «Такой-то, одеться, без вещей!» И меня снова ведут по полутемным коридорам, и я снова оказываюсь под режущим светом в кабинете Денисенко. Иногда его, утомившегося, подменяет напарник. Протоколы тогда строчатся попеременно.

О чем были эти дести исписанной бумаги? Следствие клонило к тому, что я собирал в Архангельске, по заданию иностранной разведки, с которой был связан через брата («Он давно арестован и во всем признался»), данные о навигации на Двине, глубине фарватера («Доказательства вот здесь,— рука ложится на папку с бумагами.— Но мы хотим, чтобы вы сами рассказали»); тайно встречался со здешними резидентами («Сами назовите. Имена их все тут»,— папка раскрывается, Денисенко делает вид, что ищет список. Потом, словно забыв, откладывает папку в сторону)... Ну, кроме всего прочего, им доподлинно известно, что я монар-

хист, нераскаявшийся белогвардеец, бывший юнкер, так что:

— Вы только сами себе вредите, не сознаваясь. По-хорошему советую: выложите все, как на исповеди у своих попов. Тогда и мы что-нибудь для вас сделаем... Наша власть умеет оценить чистосердечное раскаяние. Признавший вину враг уже не враг для нас, вы это знаете.

Но вот этого я как раз и не знал!

Я понимал, что мой Денисенко чего-то недоговаривает, придерживает про запас какой-то козырь. Смутно предполагал, что этим козырем станет наша с Всеволодом переписка через Сыромятникова, из которой им хочется извлечь улику. Но без откровенной подделки из этой переписки ничего не выжмешь, так что опасаться нечего. А почему мне приплетают речной фарватер и интерес к заходящим в Двину судам? Откуда сие берется?.. Но и это вскоре объяснилось.

Некоторые обстоятельства помогали мне держаться спокойно, даже самоуверенно. Приобретенный опыт, разумеется, в первую очередь.

Вот поднимают меня ночью и ведут на допрос — но не по обычному маршруту. Мы спускаемся по длинным лестницам, задерживаемся в подвалах, блуждаем в полумраке... Настораживаюсь. Сердце сжимает холодок предчувствия. Но тут же всплывает емкая формула уголовников: «На арапа берете!» И она успокаивает: все это уже было, испытано, повторение пройденного, так что — на здоровье! К Денисенко прихожу уже в несколько насмешливом настроении. Бывало, конечно, что за игру и прием я принимал то, что было «всерьез» и опасно, но эта моя настроенность помогала справляться с малодушием. Не распускать нервы.

Затем я имел дело отнюдь не с орлом. Был Денисенко хитроват, но примитивен, и я всегда верно угадывал ход его мыслей. Неограниченные досуги — двадцать четыре часа в сутки на размышления и подготовку — позволяли всесторонне обдумывать ответы и тактику поведения. На допросы я приходил с уверенностью, что буду отчасти сам их направлять.

В добрую сторону влияло и то, что тогда переход на «процессуальные нормы» тридцать седьмого года еще только подготавливался в центре, а в далекой провинции, какой был Архангельск, все еще придерживались видимости законного ведения следствия. Во всяком случае, я не изведал рукоприкладства, физического мучительства и пыток, сделавшихся непременной принадлежностью допросов. Не припомню

даже, чтобы Денисенко меня материл: так уж повезло мне с моим следователем!

Но были и отчаяние, и мучительные, неопределенные страхи. Доведенный почти до невменяемости вымоганием признания, угрозами и уговорами, я переставал себе верить. Уликами стали казаться и шапочное знакомство с Шарком, мужем Королевны, и прогулки по набережным с глазением на иностранные суда... А не шпион ли я и вправду?..

Это был уже бред, idee fixe, от которой нелегко отделаться. Чур меня, чур! Я схожу с ума... А избавиться от этого следственного психоза, подавить его — при отсутствии посторонних отвлечений — было почти непосильно. Тем более что я утратил как раз тогда способность молиться...

И все-таки, по неизреченной милости Творца, угнетенному моему сознанию давались передышки. И воображение уносило меня прочь от клетки с парашей, манекенов-дежурных и следовательских кавалерийских наскоков...

Спустя примерно четыре месяца после ареста меня оставили в покое. Бежали дни, а Денисенко словно забыл обо мне. Перестал думать о нем и я. В своей одиночке я жил в кругу ограниченных тюремных ритуалов — оправка, поверка, пайка, обход фельдшера, оправка, обед, ужин, вечерняя поверка,— изредка нарушаемых событиями-праздниками: получением передачи (трогающая до слез забота близких), тюремным библиотекарем, поездкой в баню городской тюрьмы... Случались и чрезвычайные происшествия. В дверях камеры появлялся областной прокурор.

— Ваша фамилия? Жалобы есть?

И если бы спрошенный по наивности поторопился рассказать, что его задерживают незаконно, не предъявляют доказательств вины, подвергают смахивающим на пытку многочасовым допросам, вымогая признание,— то заглянувшая в тюремную скверну персона в выутюженном кителе и начищенных до солнечного блеска сапогах брезгливо поджала бы губы:

— Вас спрашивают, нет ли насекомых? Горячую ли носят пищу и регулярно меняют белье?.. А вы вон куда заехали! Имейте в виду: следователи у нас проверенные, грамотные, свое дело знают отлично!

У меня долго лежала «Илиада», и я выучил наизусть несколько песен. И гремел гекзаметрами, так что стерильная тишина камеры оглашалась лязгом медных мечей песни о великой битве... Я наполнял камеру робкими пенями Адромахи, прощавшейся с Гектором, или горестными мольбами

Нестора, проникшего в шатер Ахиллеса... Дежурному наскучивали мои декламации, и он предлагал мне «заткнуться». Я иногда спорил, поддразнивал, но, услыхав «в карцер захотел?!», благоразумно отступал.

Должно быть, привычная скука уже не скука, а состояние, с которым свыкаешься, как с любым другим. Я мог без конца простаивать у окна, наблюдая за паучком, потом оборвать одну из нитей паутины, чтобы заставить его приняться за починку; с интересом следил за редкими мухами не то просто сидел неподвижно на табурете, отключившись от всего. Без единой мысли...

Была уже зима, когда мою летаргию прервал внезапный вызов на допрос. Я никак не мог справиться с охватившей нервной дрожью: мерещилось что-то роковое. Это мое последнее свидание с Денисенко и впрямь завершилось бурным аккордом. Впрочем, то, что последнее, выяснилось позднее. Тогда же я посчитал его прологом к дальнейшему разворачиванию поединка между мной и органами. Тут, кстати, обнаружились и нити, из которых была соткана жиденькая ткань обвинения.

...Денисенко начал несколько торжественно. Вот, мол, вы все отрицаете, так сегодня мы дадим вам лично выслушать свидетеля. Убедитесь, что дальше лгать — глупо. Денисенко говорил еще что-то, я не откликнулся никак. Он предупредил, чтобы со свидетелем я разговаривал только через него, и позвонил: «Введите товарища...»

Кого введут — я знал! С первого слова об очной ставке. И не ошибся: конвоир ввел Сыромятникова.

Тот вошел торопливо и сел — напротив и чуть поодаль от меня — на указанный ему стул у стола Денисенко. Чиркнув по мне взглядом, он уставился на следователя. Было видно, что толстяк смущен.

...Предупредив об ответственности за ложное показание, Денисенко предложил «товарищу Сыромятникову» изложить все ему известное о «преступной деятельности Волкова». Следователь обращался к «товарищу» сурово, даже, как мне показалось, недружелюбно.

Куда делся бойкий на язык, находчивый хозяин директорского кабинета? Путано и невразумительно излагал Сыромятников историю нашего знакомства, приплетал множество не идущих к делу подробностей. Уже тверже он рассказал, как доставал для меня с одной кафедры книгу по судостроению, с чертежами.

—... Волков расспрашивал о морских судах, об осадке

лесовозов. Потом интересовался, как укладывают в трюме доски...— уныло бубнил Сыромятников.— Потом просил провести в порт... познакомить с капитанами...— Последнее он выдавил еле внятно и смолк.

Нам, слушавшим, да и самому «свидетелю» по мере развертывания показаний становилось все очевиднее, насколько пусто и незначительно все им высказанное. «Где же криминал?» — мог бы спросить себя даже предвзятый следователь.

Мою попытку возразить Денисенко оборвал:

— Вы потом будете давать свои объяснения! — И обратился к опустившему плешивую голову Сыромятникову: — У вас есть что еще показать, гражданин свидетель?

И тут Сергей Аркадьевич встрепенулся. Оценив свой провал, он заговорил горячо и твердо. Как, заподозрив нас с Всеволодом во враждебной деятельности, намеренно взялся доставлять мои письма брату; в Москве на многое раскрыл ему глаза телефонный разговор Всеволода: беседа-то шла по-английски! А Торгсин, где Всеволод расплачивался долларами?.. Напоследок Сыромятников не поскупился и сообщил, что мой брат-де намекал, что может свести его кое с кем, кто готов заплатить за услуги.

— Это вы изложите в другом месте. Сообщите, что вы знаете дополнительно о подследственном.

О «подследственном» Сергей Аркадьевич сообщал уже свободнее, увереннее; расселся вольнее и даже нет-нет да бросал взгляд в мою сторону. Меня же вдруг осенило, что сказать и что сделать.

Я выждал, пока «свидетель обвинения» кончит. Он приводил какие-то мои высказывания за преферансом, антисоветские остроты, разоблачал «связи с церковниками» — словом, говорил о чем-то вовсе непричастном к «шпионажу», а квалифицируемом как «контрреволюционная пропаганда». Денисенко снова его остановил и обратился ко мне.

— Я заявляю свидетелю отвод,— уверенно начал я.— Этот «честнейший», как он себя назвал, коммунист издал в Москве три книги, переведенные мною по его заказу, а гонорар целиком присвоил себе. Мне же сказал, что издательства с ним еще не рассчитались. Отсюда мне невозможно было это проверить, и только недавно удалось установить, что книги уже давно поступили в продажу. Понимая, что ссыльному ничего не добиться, я ждал конца срока — то есть апреля этого года,— чтобы предъявить вору иск. Ваш «свидетель» знал об этом, вот и пришел сюда, чтобы не

расплачиваться по счетам. А я вот хочу все же счесться...

Я резко вскочил — никто шевельнуться не успел — и с размаху, не жалея кулака, точно и сильно ударил Сыромятникова пониже скулы.

— ... за брата, дерьмо собачье!

Ах, что это был за удар! И что за дикую, хищную радость испытал я!

Очнувшийся конвоир грубо толкнул меня в угол кабинета. Денисенко стал приподнимать навалившегося на стол Сыромятникова. По рукам стукача, обхватившего лицо, бежала кровь.

— Убить надо б... такую! — вопил я, уже больше делая вид, что рвусь к своей жертве. Я удачно разбил ему лицо: кровь лилась из носа и изо рта.

Мы остались вдвоем. Следователь не слишком горячо корил меня, сулил карцер, но о результатах очной ставки молчал. Отдышавшись, я попросил записать мое объяснение. С великой неохотой — «Ни к чему это!» — Денисенко внес в протокол, что чертежи судов и прочие сведения о них мне нужны были для модели лесовоза с действующими механизмами, изготовляемой для кафедры АЛТИ. Все это можно проверить по документам мастерской.

Впервые я подписывал протокол с удовлетворением и также впервые, уходя, попрощался с Денисенко — безответно, конечно. Одержана победа. Теперь, чтобы состряпать обвинение, им придется искать другую зацепку: сыромятниковская карта оказалась битой, да еще вдвойне. Провокатор ушел с выбитыми зубами... Драться, разумеется, дурно, правды кулаками не докажешь. И все же... Такое вспомнить хорошо и спустя полвека!

С Сыромятниковым мне еще довелось встречаться. Но об этом — в своем месте.

* * *

Меня снова оставили в покое, и я решил, что мое дело принимает благоприятный оборот: со шпионажем не выгорело, подбирают другие отмычки, но пока безуспешно. О том, чтобы отпустили, я, само собой, не думал — в этом заведении не принято признавать ошибок,— но на добавление срока ссылки рассчитывал и примерял, как буду дальше жить в Архангельске.

Между тем проходили месяцы. Кончалась зима. В баню

возили уже по огромным лужам, натаявшим из сугробов; в небе клубились яркие, легкие облака. Не послать ли жалобу прокурору? Заявить протест? В законе предусмотрено ограничение срока ведения следствия... Даже попросил как-то дать мне бумаги. Но писать не стал: бесполезно!

В иную бессонную ночь хотелось волком завыть от тоски, безнадежности... Да что же это, люди добрые, делается?! Ни в чем не уличен, а десятый месяц в одиночке! Отвык говорить, взаперти, без дневного света... Десятиминутная прогулка во дворе далекой Бутырки едва не грезится. Не уличен, но и не оправдан. Сколько еще это может длиться?

Я уже с трудом придумывал себе занятия. Чтение осточертело. Приносят книги, от одного вида и заглавия которых тошнит: благоденствующий народ, слава великому вождю!.. Страшат безделье, накатывающаяся праздность ума. Этак окончательно распустишь вожжи... Восстанавливаю в памяти полузабытые стихи, иногда подыскиваю им французский перевод — упражняю память. А зачем?..

...Приговор мне объявили в начале апреля, хотя решение Особого совещания было вынесено еще в январе, в первом месяце зловещего тридцать седьмого года. Участь моя разрешилась всего за считанные дни до того, как была запущена на полный ход мясорубка, какой еще не знала история Нового времени. Прежний потолок — «катушка», десять лет заключения,— сделался расхожим сроком. Меня же приговорили к пяти годам лагеря — чистым, без дополнения в виде ссылки и других ограничений.

Приговор объявили неожиданно, в один их тех неотличимо бесцветных дней, каким я и счет потерял. Не было ни предчувствия, ни особого настроения — ни единой черточки, какая бы его выделила. Вдруг в волчок: «Собраться без вещей!» Я не сразу понял, что это относится ко мне, хотя в камере и не было никого, кроме меня. Потом засуетился, хотя все сборы сводились к тому, чтобы подойти к двери и ждать, когда отопрут.

Повели меня в незнакомую прежде часть здания, судя по высоте просторных коридоров и полированным дверям — начальническую. В огромном кабинете с портретами, за необозримым столом прямо и каменно-строго сидел очень плотный военный с ромбами в петлице — должно быть, сам Аустрин, начальник Архангельского управления НКВД и единодержавный хозяин области. Подле него стояло несколько

человек — подтянутых, с неподкупно бесстрастными лицами. Все молча, высокомерно на меня уставились.

— Дайте ему ознакомиться и расписаться!

Стоявший в стороне младший чин достал из папки листок бумаги. У длинного, узкого стола, упиравшегося в массивный золоченый прибор, громоздящийся перед Аустриным, он отдал его мне:

— Распишитесь!

То была «выписка из протокола» — узенькая бумажка, где слева значилось «Слушали» и было напечатано на машинке: «Такой-то, имярек, 1900 г. р., сын помещика, судимый», а справа, под словом «Постановили», читалось: «Заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на пять лет как социально-опасный элемент». Внизу — неразборчивые подписи.

Пока я читал да подписывал, Аустрин поднялся со своего кресла, подошел ко мне и стал разглядывать в упор. Фигура атлетическая, несколько ожиревшая, но ростом чуть ниже меня. Так что сверху вниз смотрел на него я. Массивная, коротко остриженная голова, короткая шея, заключенная в тугой воротник, белые ресницы и брови; взгляд неподвижный, тяжелый.

— Вы понимаете, что мы даем вам возможность исправиться? Не наказываем, как того заслуживают ваши преступления. Вы можете примерным поведением и честным трудом оправдать оказанное снисхождение. Товарищ Сталин учит нас через полезный труд перевоспитывать... Но мы беспощадны к тем, кто наше доверие обманывает. Не хочет служить партии во главе с товарищем Сталиным и народу там, где ему... назначено.

Аустрин говорил с сильным акцентом, медленно, деревянно. Помолчал, продолжая пристально и с некоторым интересом меня разглядывать. Глаза водянистые, немигающие...

— У вас есть заявление? Хотите сказать что-нибудь?

— Хочу, товарищ начальник,— я умышленно не сказал «гражданин», как обязывало мое положение осужденного.— По правилам русского языка, надо писать не «судимый», а употребить причастие прошедшего времени — «судившийся». Тут упущение, если это слово вообще уместно...

— Да?.. Ну что же... Уведите.

Не знаю, как расценили мою выходку хозяева кабинета — я был для них всего пойманной мухой, дребезжащей не попавшим в клей крылом. Возможно, не уловили насмешки. Собой я был недоволен: не к месту мое умничание. Я

бранил себя за всегдашнюю ненаходчивость. Не умею я, как фехтовальщик, сделать точный мгновенный выпад. Разящие реплики приходили в голову с опозданием. Правда и то, что мне нечего было сказать по существу: не объяснять же им, как гнусна эта пародия на правосудие! Как много отвратительнее она той же комедии выборов, раз в этой игре на кону — человеческая судьба... Этак схлопочешь, не отходя от кассы, новое следствие и новый срок!

Итак, гора родила мышь. Бросили в тюрьму шпиона, а в чем обвинить — не нашли; во всем уголовном кодексе не подобралось подходящей статьи. В ход пущена формулировка — «социально опасный элемент», сокращенно «соэ». По классовому признаку, без нарушения закона!

Таких неопределенно-обвинительных словосочетаний, маскирующих бессудные расправы, в то время появилось множество: они заменили закон и правосудие. Распространилось «свэ» — социально вредный элемент — для воров и шпаны; «крд» и «кра» — контрреволюционная деятельность и агитация; «пш» — подозрение в шпионаже. Арсенал емких формулировок рос. В скором времени хлынет поток осужденных с трудно расшифровываемыми четырьмя буквами «чсвн» — член семьи врага народа — на срок от десяти лет до «вышки», расстрела, в зависимости от степени родства. Попутно черточка: Сталин лично справлялся по телефону, приведен ли в исполнение приговор над двумя родственницами Тухачевского. Не упустили ли их расстрелять...

Подобные дворцовые тайны мы стали узнавать в лагерях, когда их начали пополнять массой разжалованных заправил партии, поскользнувшихся на гладких паркетах угождения диктатору.

* * *

В городскую тюрьму меня переправили в день вызова к начальству. Тут — муравейник, смесь «племен, наречий, состояний...»! После отшельнического десятимесячного уединения я оказался в шумном многолюдье, в вертепе, куда волей ведомства было натолкано, втиснуто до отказа с сотню разношерстных людей. Были они настолько отличны друг от друга, что общность судьбы почти не ощущалась. Все в этой беспокойной камере с обшарпанными стенами, убогими топчанами, тяжелым столом с неотскоблимой щелястой столешницей, со слоняющимися праздными вялыми людьми

выглядело устоявшимся, живущим по своим обычаям. Мне отвели место в полторы доски на нарах; не расспрашивали, давали осмотреться. Разве кто мимоходом поинтересуется откуда, да не встречался ли с таким-то... Камера была транзитной, пересыльной, и все тут были осужденными — со сроками.

Первое впечатление, что не встречу здесь родственную душу, оправдывалось. Состав тюремного люда отражал изменения, произошедшие за двадцать лет после революции. Были истреблены и повымерли подлинные «бывшие», представители верхних сословий царской России; их отпрыскам уже удавалось раствориться во вновь формирующемся обществе, где задавали тон и верховодили люди нового толка. Разгромленное духовенство было так малочисленно, что уже редко приходилось встретить на лагерных перепутьях заключенного священника-тихоновца. Живоцерковники успешно учились жить в ладу с властью. Не стало в 1937 году потоков раскулаченных — они к тому времени поиссякли, да и текли более всего в обход тюрем: эшелоны с мужиками, формировавшиеся по областным городам, выгружали непосредственно в местах ссылки.

...Заключение, особенно длительное, стирает внешние различия между людьми, налагает на всех одинаковую печать, гасит ум, интеллект, способности, и потому я, сколько ни приглядывался и ни прислушивался, не улавливал черт или интонаций, какие бы обличали своего, понятного человека. В камере, помимо воров и другого отребья, державшихся, впрочем, спокойно — перевес сил не на их стороне,— было несколько проштрафившихся служащих: растратчиков-кассиров, махинаторов-завмагов, зарвавшихся взяточников, неунывающих и даже самоуверенных. Конфискации имущества не затрагивали припасенных этими предусмотрительными людишками кубышек, да и в лагере их ждали те же небесприбыльные — коли с умом-то — должности, и любая проходная амнистия или подкрепленные весомой взяткой ходатайства сулили сокращение срока и возвращение к бескорыстному служению вождю, партии...

Неощутимо влился в это сборище и я. Наравне со всеми гремел ботинками без шнурков на гулких лестницах, ходил на оправки и прогулки, напряженно вслушивался в выкликаемые на этап фамилии. Сделался для новичков обтершимся заключенным...

Тут не задерживались. Попав сюда, можно было ждать через десяток дней отправки. Кое-кто застревал, большей

частью специалисты: на них поступали требования из ГУЛага. Об этой механике мне рассказал торчавший на пересылке третий месяц инженер-технолог Иван Сергеевич Крашенинников — один из двух или трех интеллигентных лиц, встреченных мною в архангельской тюрьме. Как старожил с непререкаемым авторитетом, он пристроил меня на отдельном топчане возле себя. В помещении был закоулок, род ниши — уверяли, что мы находимся в бывшей тюремной часовне,— где жительствовали староста (Крашенинников), два его помощника, еще кто-то. Словом, камерное начальство, освобожденное от нарядов — чистки сортиров и помойных ям, уборки коридоров, разноски ушатов с кипятком: арестанты пересыльного отделения обслуживали всю тюрьму. Отмечу, что выполнять эти наряды стремились уголовники — для встречи с дружками из других корпусов тюрьмы. Всегда, само собой, находились добровольцы идти на кухню — кормили впроголодь.

— ГУЛаг — крупнейший, всесоюзного масштаба подрядчик по обеспечению рабсилой,— толковал мне Иван Сергеевич, считавший, кстати, что на пересылке наблюдение ослаблено и можно почесать языки.— Туда отовсюду поступают требования. Из того же Архангельска рапортуют: есть инженер-технолог сорока трех лет, статья 58, пункт 10, срок три года, стаж, узкая специальность, краткая характеристика. В ГУЛаге сверяют с картотекой: откуда поступили соответствующие заявки? Спрос обеспечен. Все стройки, все горные разработки, весь лесоповал Союза! Поставляют партиями и в одиночку, своим родным гулаговским предприятиям и на сторону. Хе-хе! В Англии сто лет назад отменили работорговлю...— Это-то он сказал на ухо.

— Сел я за великого пролетарского писателя,— рассказывал Иван Сергеевич.— Вернее, как сформулировано в обвинении, за его дискредитацию. Это я так неудачно свои именины отпраздновал. Были гости, все свои, между прочим: друзья по работе, старые приятели. Зашел разговор о Горьком... Нечистый и дернул меня сказать: не нравится мне, мол, его язык — вычурный, много иностранных слов... Да еще приплел Чехова, назвавшего «Песню о Буревестнике» набором трескучих фраз. А в газетах только что протрубили, на все лады размазали слова Корифея,— голос инженера сошел на еле внятный шепот, глаза шарят вокруг,— «Девушка и смерть», де, переплюнула «Фауста» Гёте!.. Кто-то за моим столом смекнул, шмыг куда надо и настучал. Меня через день загребли.

Я обрушился на доносчиков.

— Слов нет, гадко. Ни в какие ворота не лезет: угощаться у друга, пить за его здоровье, а потом настучать,— согласился мой собеседник.— Но возьмите в соображение: каждый из гостей, пропустивший мои слова мимо ушей, знал, что ставит себя под удар. Что кто-нибудь донесет — это азбучно. И ты ответишь: при тебе говорили, а ты смолчал... Значит — заодно... И пошло! Так что вернее опередить. Именинник, ничего не скажешь, малый душевный, но сам виноват: собрал застолье и такое ляпнул!

Этот инженер был веселый и остроумный человек. «Испекли» его быстро — следствие не продлилось и месяца. Положение знающего специалиста позволяло не слишком беспокоиться за будущее — инженеры и врачи очень редко попадали на общие работы. Да и срок у него был детский. И инженер мой не унывал, уверял, что «дешево отделался». Могло быть лишсс.

Он был мне приятен обходительностью манер, знаниями и начитанностью; влекли к нему ощутимая доброта, снисходительное отношение к людям. И одновременно немного раздражала какая-то слепая жизнерадостность — наперекор очевидному. Точно он не хотел — или не умел? — видеть, как безмерны вокруг притеснения и страдания, и, человек образованный, не вдумывался в причины, породившие наши чудовищные порядки.

Он как-то упомянул о голосовании на общем собрании. Надо было требовать смертной казни очередных врагов народа, и попробуй не поднять руку за!

И я говорил себе, что судьба избавила меня от таких искусов, и еще неизвестно, хватило бы у меня мужества не последовать за всеми. И все-таки... Был же у меня пример Всеволода, отказавшегося участвовать в таком голосовании и потом еле выкарабкавшегося благодаря чьему-то покровительству... Сложно, как сложно становилось найти человека, с которым бы можно высказаться нараспашку, поговорить начистоту!

... — Наташа, это вы? Боже мой...

— Как вы изменились...

Полчаса назад меня выкликнули на свидание. Я шел недоумевая: кто бы это мог отважиться?.. Меня ввели в большую сводчатую комнату, где поодаль друг от друга на табуретах были рассажены несколько женщин. За ними лениво

приглядывал сонный надзиратель. В дальнем углу, против окна, я не сразу разглядел Наталью Михайловну Путилову, сидевшую спиной к свету.

— Разговаривать только сидя, ничего не передавать,— буркнул страж и отошел, предупредив, что мне разрешено двадцатиминутное свидание.

— Как неблагоразумно, Наташа, ведь вы рискуете!.. Как вам удалось? — Поцеловав своей гостье руку, я сел на табурет, поставленный против нее в двух шагах.

— Я назвалась племянницей вашей матери. Впрочем, после приговора стало проще. А вот с передачами было трудно: то вообще отказывали, то требовали подтверждения родственных связей. Все улаживать помогал шурин вашего брата — Игорь Кречетов.

Торопясь, отрывисто, оглядываясь на медленно расхаживающего по комнате стража, Наташа рассказала мне, что Всеволод был еще зимой арестован и находится в Воркутинских лагерях с пятилетним сроком. Его жена Катюша приезжала к брату в Архангельск. Ей предложили взять мои вещи — при ней сняли печать с комнаты.

— Я принесла, вот тут сапоги, белье, кое-что из одежды... Вас очень поразило известие о брате... Ах, друг мой, ему еще повезло... Вы не знаете, что сейчас творится. В Москве сплошные аресты, берут и здесь... не только ссыльных, но и большое начальство. Говорят, в Москву увозят. Расстрелян сам Аустрин...

...С некоторых пор Путилова часто бывала у меня, иногда заходил к ней я. Сначала это были деловые свидания — Наташа перепечатывала мои переводы. Потом видеться вошло в привычку, я забегал на чашку чая. Когда мы были вместе, с нами было наше милое петербургское прошлое.

Бывала Наташа неровной, то оживлена до экзальтации, то сумрачна и даже агрессивна. Однажды я чуть иронически воспринял ее упреки за неразборчивый почерк. «Вы относитесь пренебрежительно к работе машинистки!..» — и в слезы. Я переполошился. Бросился ее успокаивать, целовал руки, гладил по голове, просил прощения. И открылось мне, что не в моих насмешливых словах причина: была она молода, с нерастраченной потребностью любви и опоры, с горьким сознанием уходящих одиноких лет. Я же, и коротко с ней общаясь, полюбив ее общество, не забывал про две трагические тени — расстрелянный Сиверс, расстрелянный Пу-

тилов. И, разумеется, подавил бы в себе всякое чувство, если бы и увлекся. А вот здесь, в подлой тюремной обстановке, рухнули преграды. Несвязно, жарко, перебивая друг друга, мы торопились сказать все, что могло быть сказано раньше. И горько становилось на сердце, почуявшем то хорошее и светлое, что могло быть между нами.

Последние минуты свидания мы были как в тумане. Маленькие горячие ладошки Наташи — в моих руках. Смотрели друг другу в глаза — и так объяснялись... Но — «Свидание окончено!». Прощались стоя. На какие-то секунды Наташа прижалась ко мне — не оторвать. Мы поцеловались как перед смертью — отчаянно и безнадежно. Еще, еще... Последний раз... И меня увели.

Кружилась голова. И все виделось ее мокрое от слез лицо с горячечными, пронзительно прекрасными глазами. В них — укор, и отчаянное сочувствие, и страх... И прощание навсегда.

Я вписываю ее имя в свой длинный синодик: Наташа Путилова погибла в том же 1937 году. Из Архангельска ее отправили по этапу в трюме судна, переполненном заключенными. Их везли морем в заполярные лагеря. В спертом зловонии трюма Наташа задохнулась. Тело ее выбросили за борт...

Знаю я и другую смерть от удушья в схожих обстоятельствах.

При подходе немцев к Малоярославцу оттуда спешно эвакуировали наловленных высланных, во множестве осевших в этом городке — за пределами «сто десятого километра» от столицы. Был среди них Владимир Константинович Рачинский — маленький, щуплый и близорукий интеллигент чеховского склада, в прошлом богатый помещик и убежденный земец. Его впихнули в товарный вагон, где стояли впритык один к другому. Сдавленный со всех сторон, Рачинский задохнулся — когда и как, никто не заметил. По малому его росту лицо Владимира Константиновича утыкалось в спину или грудь соседа. Быть может, он и пытался высвободиться, шевельнуть рукой, неслышно из-за стука колес вежливо просил: «Пожалуйста, чуть-чуть на секунду отодвиньтесь...» Когда выгружали из вагона, Рачинский, уже застывший, повалился как сноп на провонявший мочой пол... Умер стоя.

...Исподволь старожилом камеры сделался и я: шло время, а меня все не выкликали на этап. Конечно же ГУЛаг не взвешивал, как выгоднее меня запродать. Образованность без технических знаний не стоила и гроша по представлениям этого ведомства, и я мог рассчитывать только на участь, уготованную мне моей первой — «лошадиной» — категорией здоровья: на почетное участие в лесоповале, как острили бывалые лагерники.

В нашу пересылку не попадали непосредственно с воли, а лишь после следствия, но слухи, подтверждавшие узнанное от Натальи Михайловны, проникали через уборщиков. Все прочие корпуса тюрьмы были, по их словам, забиты «чисто одетыми» людьми — в наркомовских куртках, длинных командирских шинелях со споротыми знаками различия. В коридоре «смертников» видели областного прокурора... Я вспомнил его брезгливо сощуренные глазки, манеры олимпийца, роняющего несколько слов перед небритым арестантом в обтертых, мятых штанах...

Эти сведения тревожили — хотелось очутиться подальше от вершившихся под боком расправ; мнилось, что волна их может захватить и тебя, с уже решенной участью. И всякий день я ждал, не появится ли на пороге камеры дежурный со списком?..

Мой черед настал лишь в конце июля — я был включен в состав огромного сколачиваемого на тюремном дворе этапа: было выкликнуто более четырехсот фамилий. Для меня так и осталось невыясненным, почему в этот архангельский арест меня продержали так долго под следствием, не соблюдая даже таких формальностей, как объявление о его продлении и окончании? Не расписывался я и в том, что ознакомлен с материалами и обвинительным заключением... Не знаю, почему оставили почти четыре месяца на пересылке... Но значение таких необъяснимых промедлений открылось мне впоследствии, когда пришлось убедиться в Высшем Смысле происходящего с нами: спасшие мне жизнь проволочки не могла не определить Благая Сила, ПРОВИДЕНИЕ. Именно ТАМ было сочтено нужным сохранить мои дни... И вот я живу, чтобы свидетельствовать!

* * *

Это я вижу впервые. В куче отбросов, сваленных за тесовым навесом уборной, копошатся, зверовато-настороженно оглядываясь, трое в лохмотьях. Они словно готовы всякую

минуту юркнуть в нору. Роются они в невообразимых остатках, выбрасываемых сюда из кухни. Что-то острыми, безумными движениями выхватывают, прячут в карман или засовывают в рот. Сторожкие воро́ны, что, непрестанно вертя головой, кормятся на свалках...

Даже самые опустившиеся, обтерханные обитатели пересылки ими брезгают, им нет места на нарах: они — отверженные, принадлежат всеми презираемой касте. Мне они внове, я смотрю на них с ужасом. Жалость вытесняется отвращением: человеку ни на какой степени отчаяния недопустимо обращаться в пожирающую отбросы тварь. И тут же думаешь, что затяжное, беспросветное голодание способно разрушить в человеке преграды и барьерчики, сдерживающие животное начало.

На босых ногах — разваливающиеся опорки; худоба — уже не человеческая — проглядывает во все прорехи истрепанных штанов, засаленной, задубевшей телогрейки; черные, цепкие руки... Но страшнее всего лица — испитые, с бескровными губами, измазанные, с бегающим неуловимым взглядом. Лица упрямые, мертвые, жесткие. Их не только наказывают, сажают в карцер, но поносят, срамят, бьют свои же заключенные. Однажды утром часовой с вышки застрелил такого «шакала», и труп его в сползших штанах и задравшейся телогрейке — белья на нем не было — полдня пролежал на отбросах, уткнувшись в них лицом. Крупные зеленые мухи ползали по обтянувшей кости коже, желтой, в расчесах... И уже в тот же день, в сумерках, там снова шмыгали тени...

Условия были и в самом деле тяжелые. На пересылку в Котласе поступало куда больше народу, чем она была в состоянии отправить. Катеров с баржами не хватало, а железная дорога исправно подбрасывала новые и новые партии. Формировали пешие конвои, но не хватало охранников,— и люди жили, карауля, когда освободится на нарах место, чтобы хоть ненадолго уснуть, не то ходили взад и вперед по бараку или на огороженном колючей проволокой дворе, мокрые, продрогшие под зарядившим дождем. При раздаче пищи — миски баланды на обед, по утрам кипяток и пайка — творилось невообразимое. Хоть и были мы все разбиты на какие-то сотни с бригадирами и каптерами, но наступал час — и вся пересылка стекалась к раздаточной. Навести порядок не могли никакие окрики и матюги. Охрана ни во что не вмешивалась: следила, чтобы не подходили ближе положенного к зоне, да дважды в день выстраивала всех на

поверку. Была и какая-то иерархия из зэков, но я в ней не разобрался.

Меня привезли в Котлас в солнечный погожий день, что отчасти скрасило первое впечатление, да и ничем после Кемьперпункта не мог поразить меня вид вышек, огороженного проволокой пустыря, темных строений посередине. Но вот теснота и бестолочь насторожили: пробыть здесь я мог неопределенно долго — недобрая слава о котласской пересылке утвердилась прочно,— и надо было изыскивать, как не дать себя подмять здешним условиям.

Еще в теплушке мы — несколько человек, друг к другу присмотревшихся,— условились на всякий случай держаться вместе и не давать себя в обиду.

Подбирались по внешним приметам: кто покрепче да поэнергичнее, не трусит, внушает доверие. Ищущих, «как на чужом горбу в рай въехать», и всякую уголовную дрянь браковали. И сбилось нас около пятнадцати человек. Меня поставили старшим (как-никак третий срок, знаю все ходы-выходы, да и кулаки на длинных рычагах дай Боже!). И мы артельно вперлись в барак, выбрали себе более или менее свободный участок, самочинно раздвинули его границы (деликатно, разумеется: действовали в пределах своих самозваных прав) и учредили караульную службу: пятеро отдыхают, пятерка сторожит, остальные гуляют, добывают сведения, получают, что можно, из довольствия. Все мы были с увесистыми сидорами. Мне, уже к поезду, напоследок, Ксения Пискановская и Игорек, чудом дознавшиеся о дне отправки, принесли изрядный мешок с сухарями, сахаром, салом, теплой одеждой и обувью. Словом, я был огражден от голода, прочно обут, тепло одет и мне было «за что бороться». Как, впрочем, и остальным членам нашей дружины по самообороне.

Приближалась осень с ненастьями и холодами. Я помнил сыпняк на Соловках и искал, как вырваться отсюда, пока не начнутся эпидемии с доходиловкой в карантинах. Начальник пересылки, к которому я пробрался, не стал со мной разговаривать: для порядка облаял, а потом стал истерически кричать, что он один, а нас — как саранчи, и все с него спрашивают... Был он взъерошен и задерган, так что по-человечески заслуживал сочувствия: готовый козел отпущения. При очередной грызне в верхах будут искать виновных в «упущениях», повлекших за собой то ли мор, то ли протесты, еще что-нибудь, чтобы одних холуев заменить другими, своими ставленниками.

Помог мне фельдшер пересылки, поволжский немец, к которому я часто заходил в амбулаторию — отгороженную в бараке тесную конуру с топчаном, табуретом и столиком, накрытым грязной салфеткой. Он раздавал порошки соды, совал пациентам под мышку шершавый от грязи градусник и, в общем, резонно объявлял всех здоровыми, раз не было ни лекарств, ни возможности положить в крохотную больничку, набитую до конька.

Медикус мой был рад звукам родной речи, рассказывал про своих Frau und kindern[1], как было чисто и превосходно в больнице колонии, потом, уже пожимая плечами и недоумевая — unbergreiflich[2],— делился подробностями своего «дела», заключившегося десятилетним лагерным сроком. Все это было ему в диво, не укладывалось в его голове, настроенной на немецких представлениях о законе и порядке, и он выразительно разводил руками: «Das kann ich aber nicht verstehen!»[3]

Этот застрявший в Котласе Питер свел меня с нарядчиком; тот, в свою очередь, переговорил с кем-то в конторе. И состоялось соглашение, в силу которого меня и тех из моих товарищей, кто захочет, внесут в списки ближайшего этапа на Усть-Вымь, откуда переправляли в Княж-погост и на Чибью, что потребует расхода по столько-то рублей с головы. Четко и недвусмысленно. Цена была вполне умеренная и мне доступная. Но из нашей артели только двое последовали моему примеру. Мне уже приходилось писать о предубеждении заключенных к переменам: обжился, приспособился — и ладно! Нечего искать лучшей доли — еще хуже сделаешь!.. Одни объяснили отказ ожиданием обещанного пересмотра дела, другие — предстоящим свиданием с женой... Словом, нам пришлось распрощаться.

И в некий день — по счастью, теплый и ясный — меня выкликнули «с вещами» и погнали к проходной. Возле нее, по ту сторону зоны, дожидался конвой: десяток солдат с примкнутыми к винтовкам штыками, подсумками и юный командирчик в ремнях и при пистолете в кобуре.

Нас было человек двести, и сдача-приемка тянулась долго. Я, по инициативе моего доброго немца, был неожиданно произведен в медицинские работники. Не слушая возражений, он громко, мешая русские слова с немецкими, провозгла-

---

[1] Жена и дети *(нем.)*.
[2] Непостижимо *(нем.)*.
[3] Этого я в толк не возьму! *(нем.)*

сил меня фельдшером с незаконченным медицинским образованием, навесил на меня сумку с красным крестом и вполголоса проинструктировал, как мазать вазелином потертые ноги и давать порошки при кашле и температуре.

Хлопотливый мой доброжелатель, прощаясь, уверял, что я скоро оценю льготы, возникающие из моей должности. И в самом деле: мне была указана подвода, на которой разрешалось ехать, конвоиры словно не замечали, что я иду, выбирая дорогу и нарушая строй, хотя других толкали и материли нещадно, особенно на первых верстах. И даже свой брат арестант покашивался в мою сторону, как если бы попал в некоторую зависимость от меня: отсветы магического ореола врачевателя, способного облегчать недуги и даже отвести смерть, легли на меня.

Впрочем, самозванству моему не было уготовано никаких серьезных испытаний. Начальству решительно все равно, сопровождает ли этап настоящий фельдшер или кузнец в этом звании. Лишь бы была соблюдена формальность: партия отправлена с медицинским работником. Соэтапники, может, угадывали во мне воспользовавшегося неожиданной лагерной удачей счастливца и, зная заведомо, что лекарств в моей сумке нет и никакие «освобождения» в пути недействительны — заставят дошагать до места как миленького, на худой конец товарищи полумертвым дотащат,— ко мне не обращались. Да и не было за двухнедельную дорогу важных случаев — клочки ваты и обрывки бинта для сбитых ног я раздавал нескупо. А кто и занемог — крепился, стремясь не отстать от «своих», добраться до места. Установив, что у меня нет ни валерьянки, ни анисовых капель или других настоек, какие можно бы реквизировать в пользу охраны, начальник конвоя смотрел на меня как сквозь стекло. И лишь однажды я попал в переделку.

Фельдшеру этапа на дневках отводилось отдельное помещение. И вот ко мне в избу зашла деревенская старуха и, жалуясь на колотье в боку и помрачение в очах, потребовала осмотра и лечения. Надежды на установление диагноза путем опроса как-то сразу рухнули. Пациентка настаивала на прослушивании, бралась за крючки кофты, тыкала пальцем куда-то пониже печени, предлагая мне там что-то прощупать... Я врал, холодея от мысли, что посетительница моя и впрямь разоблачится. И не было даже трубки (стетоскопа), чтобы произвести видимость осмотра. Уж не знаю, как мне удалось выпроводить охочую до лечения старушку — она стала податливее после того, как я, держа ее за кисть (куда запропа-

стился этот чертов пульс?), наговорил с три короба о хорошем его наполнении, четком ритме, не по возрасту сохранившемся сердце и отвалил ей пригоршню порошков Natrum bicarbonicum[1]. Вот когда пригодилось знание Мольера!

...Сначала, с непривычки, приходилось тяжело: первые переходы были по двадцать пять — тридцать верст, а нас после тюрем от свежего воздуха качало. Но конвоиры свято верят в пользу крутых стартов: сразу «взять в кулаки», ошеломить теснотой, грязью, угрозами. Словом — выбить из человека представление о каких-то его мифических правах. Сморенный и одуревший от жуткой карусели зэк делается шелковым. Потом мы втянулись, отшагивали легче, да и проходить стали за день по пятнадцати верст. И оставалось возблагодарить попечительное начальство.

Вообще же конвой нам достался относительно смирный, из новобранцев, еще не постигших науки настоящего обращения с нашим братом. На второй или третий день перестали награждать зуботычинами, требовать, чтобы шли рядами, не заставляли трусить, добиваясь рекордной быстроты перехода. Удостоверившись через наушников, что никто не замышляет побега, нет опасных смутьянов, допустили послабления: удлинили дневки, разрешили уходить вперед, в деревнях приостанавливаться, чтобы выторговать или выпросить у опасливо следящих за арестантами жителей картофеля или молока.

Походило ли наше следование по старинному северному тракту, некогда видевшему кандальников, на те, прежние, корившие бесчеловечное царское правительство с полотен художников и страниц писателей-народников? Не было звона цепей и полосатых арестантских курток — видом своим мы мало отличались от глазевших на нас обитателей пустынных городков и немых деревенских жителей. И оттого, вероятно, не умилялся никто над «несчастненькими», подавая милостыню и крестясь, как то делали старинные русские люди, а смотрели насупленно и непроницаемо, без сочувствия, но и без враждебности.

Враждебность пришла позднее, когда лагерными метастазами пророс весь Север. Власти, чтобы поощрить население охотиться на беглецов, распространяли слухи о якобы

[1] Сода *(лат.)*.

совершаемых ими грабежах и убийствах, а то и инсценировали их. Ловля беглых сделалась для колхозников видом отхожего промысла — премии за «голову» были установлены выше, чем за волков.

От того, чтобы ехать в телеге, я отказался сразу: достаточно было истинно в ней нуждающихся — немощных и старых. Я же переживал настроение вырвавшегося на волю затворника и потому шел не только легко — ходоком я всегда был хорошим,— но и весело. Окрыляли и выветривали из памяти затхлые тюремные картинки наполненный лесными запахами воздух, солнечный свет, шелест деревьев, живая земля под ногами, первые мазки осени. И это целительное и заживляющее воздействие природы, осознанное мною впоследствии как божественное начало жизни, я еще неопределенно, без осмысления, стал постигать именно тогда: вдруг ловил себя на том, что не вижу идущего в трех шагах вооруженного охранника, забыл про ожидающие меня лагпункты, а поглощен красотой окропленных багровыми брызгами зарослей черемухи над гладью укромного озерка, покрытого желтыми язычками опавших листьев...

Своего отца-командира мы видели только по утрам, при отправке. Он обычно уезжал вперед на своем воеводском коне или, наоборот, застревал в приглянувшейся ему деревне и потом, обгоняя нас, рысил мимо растянувшейся на версту партии и начальственно на нас покрикивал, недосягаемый для летевших ему вдогонку острот по поводу посадки — он сидел в седле воистину как собака на заборе — и бабьих утех. Осведомленные блатари произвели его в лютые бабники, причем уверяли, что благосклонность сельских обольстительниц он приобретает за счет нашего кровного дорожного довольствия. Солдаты, завидев его, начинали усердствовать, но едва он скрывался за деревьями, рвение их ослабевало и они оставляли нас в покое.

Мы прошли Сольвычегодск, потом миновали Яренск, напоминавшие о старых-старых страницах истории России, заполненных легендами о творимых некогда бесчинствах и насилиях. В вотчинах Строгановых царили каторжные порядки. На соляных промыслах гибли обманутые мужики. В век фаворитов всесильные временщики ссылали на Вычегду и Яренгу своих соперников. Где-то тут могилы незадачливых брауншвейгских и шлезвигголштинских пришельцев, на свою беду породнившихся с наследниками русского престола. «Слово и Дело», Тайная канцелярия, бироновщина, Шешковский... Россия под знаком произвола! Экая невинная кустар-

щина, скажем мы, умудренные славным опытом своего столетия...

Годы моей юности и учения были заполнены чтением исторических повестей: темной жутью веяло от описаний дворцовых соперничеств и интриг, кончавшихся заточением в казематы крепостей и монастырские башни, от рассказов о допросах со щипцами и дыбой, плахой и колесованием. В начале двадцатого века все это не могло не представляться просвещенному юноше давнишним, навсегда изжитым варварством. Как в его время, так и на памяти отцов в России уже нельзя было никого судить без улик и осудить без доказанной вины. Иначе суд оправдывал! Последовательно и успешно вытравлялись последние пережитки старых нравов, и самые заматерелые Угрюм-Бурчеевы уже не решались воспользоваться своим шатким правом решать дела в «административном порядке».

Были все основания считать российских подданных огражденными от произвола власти земскими учреждениями, гласностью и независимым судом. Нельзя было безнаказанно посягнуть на их жизнь, достоинство и положение. И несомненно справедливо исходить именно из этой достигнутой — точнее, отвоеванной — степени свободы, безопасности общественной и частной жизни при оценке всего последующего периода. Пишу об этом потому, что ныне на Западе уж очень громко заявляют о себе — в большинстве самозваные — знатоки русской истории, основывающие свои выводы и заключения в этой области на облыжном утверждении о будто существовавшем у нас до революции произволе и беззаконии!

Дело не только в том, что жестокие расправы с целыми народами, сословиями и группами жителей превзошли по размаху кровавые тризны Ивана Грозного, казни стрельцов или подавления восстаний, превзошли все, что когда-либо вытерпели русские от своих правителей,— но и в утвердившемся в стране бесправии, в ставшем для советских граждан нормой и законом непризнании их прав, достоинства и независимости...

Вряд ли вид старых, добротных деревянных домов Яренска, говоривший о прочных устоях и обособленности неприветливого для пришельцев уклада жизни, вызвал во мне именно такой ход мыслей. Но какие-то исторические реминисценции и сопоставления напрашивались, несомненно, и тогда. Годы заключения, отстранив от активной жизни, невольно приучили предаваться всяким размышлениям.

Общие приметы лагпункта в Усть-Выми смешались с обликом других зон и городков, составлявших систему Ухтинских лагерей. Частокол с приземистыми вышками, дрянной постройки низенькие бараки, грязь, клопы и особая скудость условий. В баньке не хватало на всех воды, имелось всего три шайки; голые нары из жердняка без клока сена или соломы... Черпак баланды выливай хоть в шапку, если нет своей посуды... Но это уже ячейка лагерного хозяйства, которому лишь бы поскорее перемолоть полки́ арестантов — работы развернуты широким фронтом,— и потому давай, давай побольше народу, да поскорее! Едва привели и пересчитали, уже начинают выкликать на внутренний этап: ГУЛаг взял подряд на строительство железной дороги и поклялся любимому вождю сдать ее досрочно. А потому — дух из зэков вон! — пусть вкалывают...

Меня, уже лишенного сумки с красным крестом, а с нею и вкушенных благодаря ей привилегий (эх, ночевки в тихой и чистой избе с мирным тиканьем ходиков и оттаявшими после первого знакомства хозяевами!), вместе с моими соэтапниками погнали, даже не дав домыться в бане, на пристань, где втиснули в и без того перенаселенную баржу, вдобавок груженную железом, которое мы же и перетаскали на своих плечах. Плавание по Выми не оставило особых впечатлений. Уже через день ли, два выгрузили нас в Княжпогосте — лагпункте, ставшем штабом строительства железной дороги.

Но я и тут не задержался. По каким-то соображениям меня увезли дальше, в составе небольшой группы заключенных. Выяснилось, что всех нас роднит общий признак — первая категория, из чего можно было заключить, что нас вряд ли ожидают конторские столы или даже мирная пилка дров на хоздворе.

Все же меня успели несколько раз сгонять на строящуюся трассу, и я даже удостоился лицезреть высочайшее начальство Ухтинского лагеря. Был тут и знаменитый Мороз, заявлявший, что ему не нужны ни машины, ни лошади: дайте побольше зэков — и он построит железную дорогу не только до Воркуты, а и через Северный полюс. Деятель этот был готов мостить болота заключенными, бросал их запросто работать в стылую зимнюю тайгу без палаток — у костра погреются! — без котлов для варки пищи — обойдутся без горячего! Но так как никто с него не спрашивал за потери в живой силе, то и пользовался он до поры до времени славой энергичного, инициативного деятеля, заслуживающего чинов и наград.

Я видел Мороза возле локомотива — первенца будущего движения, только что НА РУКАХ выгруженного с понтона. Мороз витийствовал перед свитой — необходимо, мол, срочно развести пары, чтобы тотчас — до прокладки рельсов! — огласить окрестности паровозным гудком.

— Вы понимаете, какое это имеет значение? Какой эффект! Как это поднимет дух строителей! Они будут рвать все нормы! Откажутся отдыхать... гордиться станут: первыми разбудили тайгу... от векового сна. Можно будет рапортовать в Москву, доложить товарищу Сталину: «Сон северной глухомани нарушен... раздался исторический сталинский гудок...»

Окружавшие оратора чины внимали. Тут же было отдано распоряжение: натаскать воды в котел и разжечь топку!

* * *

Самое трудное дело в землянке — высушить намокшие за день в лесу одежду, рукавицы, портянки. Возле железной бочки, обращенной в печь, тесно. Надо уметь захватить место и его сохранить. Кроме того, металлические стенки нагреваются добела и близко развешенное тряпье того и гляди сгорит, а если развесить подальше — рискуешь к подъему найти свои шмотки сырыми. А как в мороз идти на заснеженную лесосеку, да еще в особенно тяжкий темный предрассветный час, в сыром ватнике и влажных рукавицах, сразу затвердевающих? Про это и помыслить нельзя без содрогания, если даже лежишь, как я сейчас, в несусветной жаре, на верхнем ярусе нар, настланных из неокоренных жердей. Тут бывает как возле паровозной топки. От расшурованных в объемистом чреве бочки смолистых кряжей железо накаляется как в горне и обжигающий жар проникает в самые далекие и темные закоулки землянки: впору лежать как на полке́ в бане — нагишом. Поэтому новички норовят заполучить себе место внизу и подальше от очага.

Но я старожил. Давно кочую по лесным лагпунктам и потому знаю, что усердно топят только короткое время, пока вваливаются с мороза в землянку, ужинают и разбираются. Потом все полягут спать, никому неохота встать и подложить в гаснущую топку дров, да их частенько и не хватает на всю ночь. А с дневального чего спросишь? Больной, обколоченный старик... Пошлет тебя подальше, натянет и обладит вокруг себя неописуемое тряпье, из какого сооружено его ложе, и

снова захрапит. Едва огонь ослабеет, как мороз через тысячу щелей и дыр начинает проникать в землянку: она слеплена из жердей, крыша из лапника, прижатого к обрешетке комьями мерзлой земли.

Потому я и выбрал себе место наверху и поближе к печке: тепло держится тут дольше. Да и сподручнее следить отсюда за своим добром: прозеваешь — и спрашивать будет не с кого. И ступай, пожалуй, на целый день в лес в котах из автомобильных покрышек на босу ногу! У меня завелись суконные подвертки, вырезанные из полы старой шинели, доставшейся от задавленного деревом при валке товарища, и я поневоле над ними трясусь.

В моем представлении поморозиться — последнее дело, хотя немало народу мечтает попасть в стационар с обмороженными пальцами. Даже видит в этом великую удачу. «Уроки», правда, сумасшедшие, за невыполнение грозят тяжкие кары, но превратиться в этой обстановке в инвалида — уж лучше сразу, как поступают некоторые, незаметно отстать от партии и удавиться на суку или попросту лечь на снег в исподнем... Вопреки здравому смыслу и опыту, я вбил себе в голову, что должен непременно выйти из лагеря, пусть нет воли и за зоной. Ни за что не хочу протянуть ноги за колючей проволокой. Умереть хочется так, чтобы в последний хмурый час склонилось над тобой дружеское лицо, а не стояли бы у смертного одра шакалы, караулящие, когда можно будет воспользоваться недоеденной пайкой или завладеть теплыми портянками; чтобы нагой труп не сбросили в безымянную яму... Вернее всего, к тому неизвестному дню не останется дружественных лиц, а «бесчувственному телу равно повсюду истлевать», так что резоны, какими я себя убеждаю not to flinch — не дрогнуть, стоять твердо,— вовсе неосновательны. Но пока что я вот так — сопротивляюсь...

Из-за низкой крыши ложе себе я стелю, ползая на четвереньках. Изголовье приходится улаживать, отступя возможно дальше от свеса крыши: мохнатые и колючие еловые ветви в этом месте закуржавели, как в лесу. Никакое тепло сюда не доходит.

Подушкой служат ботинки и холщовая сумка с моим имуществом — там миска с ложкой, рваная сорочка, лысая зубная щетка, раздавленная мыльница с обмылком, обломок гребня, чехол из-под бритвы, еще какой-то вздор. Сам не знаю, почему я всего этого не выбрасываю, а таскаю за собой, слежу, чтобы не украли, волнуюсь при «шмонах» — не ото-

брали бы. Но есть в сумке и нечто для меня ценное — очки. Я близорук и без них не обхожусь.

Нары я застилаю своими ватными брюками, накрываюсь гимнастеркой и бушлатом. Все это очень заношенное, задубевшее от пота и грязи, всегда чуть влажное. Спасение в том, что спать приходится вповалку. Днем мы между собой если не враги, то ощетинившиеся конкуренты: жизненных благ отпущено на всех так мало, что за них поневоле бьются. Чтобы мало-мальски полегчало, надо добиться расположения начальства, а единственный путь к нему — наушничать и доносить на соседа. И сторожит всех дьявольская ловушка — соблазн пролезть в надсмотрщики... Но по ночам холод заставляет искать соседа, прижиматься к нему ближе, а когда уж очень невтерпеж — накрываться с головой вдвоем одним бушлатом, чтобы надышать потеплее. Тяжел, удушлив дух под таким накрытием. Засыпаешь одурманенным.

С какой брезгливостью вспоминалось зловонное тряпье, каким я накрывал тогда лицо,— кажется, ни за что в мире не прикоснулся бы теперь к этой засаленной рвани! Впрочем, зарекаться ни от чего нельзя: это я хорошо усвоил.

Желанный сон-забытье не всегда приходит сразу: как ни дороги короткие часы отдыха, как ни велика усталость — а может, именно из-за нее,— посещает бессонница. Это очень тягостные часы. Пока тепло — свербит давно немытое тело. Жерди словно обретают твердые шипы. Но печка скоро остывает, и отовсюду проникают ручейки холода. Мороз находит изъяны в коконе, каким я ухитрился от него отгородиться. Одежонки куцые: начнешь подтыкать полу под один бок, откроешь другой — так что лучше не шевелиться и терпеть, пока хватает мо́чи. Лежу и тщетно призываю сон.

Мысли в голове засели тягучие, унылые. Я думаю, что опустился, отупел и не на что надеяться впереди. Второй год не выхожу из зырянских лесов, меня перебрасывают с одного лагпункта на другой, но в том же роковом звании лесоруба. ГУЛаг торгует зэками направо и налево, поставляет их заводам и рыбным промыслам, во всякие конструкторские бюро, в ветлечебницы, даже в театры и рестораны. Есть ловкачи и блатмейстеры, прислуживающие в столовых, торгующие в магазинах, командируемые по городам, счастливчики, попадающие в дворники, кучера, холуи к начальству... Они все живут в тепле, ходят в баню, сыты, спят под одеялом. Но у них — специальность, а у меня «лошадиная» категория: при заключении контрактов с клиентами особо оговаривается, сколько будет поставлено человек (душ, голов) первой кате-

гории. Остальные — как принудительный ассортимент при покупке дефицитного товара. Лингвисты, преподаватели иностранных языков нужны не более упраздненных денег... Темна ночь, и нет просвета.

Но вот становится невыносимой вонь под телогрейкой, сбилась обернутая вокруг ног гимнастерка, и мне приходится открыть лицо и приподняться. Надо упеленываться заново. В землянке почти полная темнота. Храп доносится приглушенно из-за укутавших головы тряпок. В дальнем конце, против топчана дневального, коптит трехлинейная лампа без стекла. Стойки нар и бесформенные тени загораживают огонек. Смутно различаю возле себя темные бугры — фигуры спящих впритык друг к другу, накрытых чем попало.

Ярче огненного язычка лампы — щели в дощатой перегородке, отделяющей небольшую каморку. Там утеплены стены, потолок обит шелевкой, стоят топчаны, есть одеяла, железная, обложенная кирпичом печка и лампа на столе. В этом уюте живут своей особой, недоступной жизнью бригадир-нарядчик, воспитатель КВЧ (культурно-воспитательная часть) и каптер. Эти люди не только сыты, одеты в добротные полушубки и ходят в валенках, от которых любой мороз отскакивает, но и всесильны: судьба всех обитателей землянки в их руках. И потому стоит кому-нибудь из-за перегородки кликнуть: «Эй, кипятку!» — как первый услышавший со всех ног бросится с чайником на кухню, поставит его на печурку, подбросит дровишек...

Из этого маленького эдема доносятся возгласы, громкий смех, веселая ругань: хозяева чулана забавляются с воровкой Лёлькой Конь. Она числится уборщицей на вахте, щедра на любовь и корыстна. Каптер отдает ей бумазею, отпускаемую на портянки,— она красит материю и шьет себе платья. У Лёльки слегка сиплый голос, воспаленные, чуть навыкате козьи глаза и обольстительная развинченная походка. Надо остерегаться ей не угодить — она мелочна и злопамятна.

...Я все не сплю. Теперь одолевают насущные заботы. Разваливается ботинок, нет махорки для инструментальщика, и он непременно подсунет пилу с неразведенными, тупыми зубьями. Прошел слух, что переводят куда-то десятника, душевного человека, безотказно ставящего в наряды «вып» — норма выполнена — и соответственно приписывавшего заготовленные кубометры. «Кто их под снегом проверит? — резонно говорил он.— А когда дойдет до дела, нас тут и следа не будет!» Таких людей раз, два и обчелся... Ока-

жется вместо него кто-нибудь выслуживающийся, подхалим, что тогда делать?

Кто-то трепался, будто в УРЧ поступил срочный запрос из Кеми на зэка, владеющего английским языком. Вздор, конечно, типичная лагерная параша, но все-таки будоражит. Правда и то, что здесь не выстоишь, коли не станешь цепляться за россказни об амнистиях, переменах, совестливых прокурорах, которые вот-вот приедут для нелицеприятного пересмотра всех дел, коли не будешь утлую ладью свою направлять курсом от одной надежды к другой, так, чтобы всегда маячил впереди светлый огонек. Эти надежды никогда не оправдываются, но вечно живы.

...Сухие дрова в костре горят дружно. Пламя с воем завивается кверху и обдает нестерпимым жаром. Мне, сидящему возле огня, впору отодвинуться — колени в рваных брюках припекло, носки ботинок накалились и лицо приходится отворачивать и загораживать рукавицей,— но боюсь потерять место: к костру жмется человек двадцать. Только шагни в сторону, и живое кольцо сомкнется за тобой и отгородит от тепла.

Все сидят или стоят молча, уставившись на огонь, все в одинаковых мешковатых бушлатах и серых суконных ушанках. У всех одно и то же угрюмое выражение, сковавшее потемневшее от стужи и копоти лицо. Табаку ни у кого нет, и цигарок не видно. Оцепенелую тишину зимнего леса нарушает лишь гудение пламени, да за спиной то и дело отрывисто и гулко щелкает мороз, словно кто с размаху бьет здоровой дубиной по стылым стволам. Звук раскатывается по всему лесу.

У костра изредка возникают разговоры — вполголоса, с запинками. Все, в том числе и я, остро прислушиваемся.

— Неужто не помнишь? Тот, у кого романовскую шубу увели. Сразу, как пригнали, в первую ночь. Он еще опознал ее на десятнике нижнего склада, ходил жаловаться,— поясняет ровный, степенный голос.

— Седенький такой, ходил прихрамывая?

— Ну! Так вот, надумал он большой палец себе отрубить, а тюкнул по кисти — почитай, напрочь оттяпал... Не иначе зажмурился, когда топором замахивался. Его потом спрашивают: «Что же ты, дурак, себя без правой руки оставил? Куда ты теперь без нее? Рубил бы, как другие, на левой большой палец...» «Я,— говорит,— встал неловко: руку-то на

пень положил, а ноги-то оскользаются — лед вокруг. Мне бы на колени встать, ловчее б вышло. А так левша я...» Засудят его теперь, как думаешь?

— Десятку как пить дать вкатят,— звучит категорический ответ.— Теперь статья есть в кодексе для саморубов. Только что без руки, куда его? На инвалидной командировке дойдет.

— Нескладный народ эти деды, норовят поскорее до хаты, к бабе на печку, а как сделать — не знают,— рассудительно определяет кто-то и тем подводит итог разговору.

И все снова угрюмо смолкают, и снова становятся слышнее шипение сырой колоды в костре и выстрелы мороза, все лютее оковывающего мир. Мы отлично знаем, что давно пора начать работу, но нет сил оторваться от завораживающей игры огня, покинуть теплое место. И как же трудно сделать усилие, шевельнуться!

Нас, как всегда, пригнали на лесосеку затемно, и мы развели костер, поджидая рассвета. Но уже показался край нераннего зимнего солнца — багрового, зловещего,— а мы все еще сидим. Пожалуй, грейся хоть целый день! В лесу все равно продержат, пока не будет выполнен «урок». Бригадир с воспитателем раскидают костер — это испытанный способ, чтобы заставить свалить назначенное число деревьев и подтащить к санной дороге положенное количество бревен.

И я наконец решаюсь встать первым и отойти от костра.

— Ему больше всех надо, очкастой суке! — злобно цедит кто-то за моей спиной.

Я узнаю голос, но мне неохота обернуться, чтобы ответить. Пусть себе!

Один за другим работяги следуют моему примеру, у костра не остается никого. Еле двигаясь, через силу принимаемся за работу.

Стужа, затаившаяся за пределами очерченного огнем магического круга, сразу сковывает, хватает как клещами. Стоит ступить в рыхлый снег, как он тотчас попадает в ботинок: сухой и черствый, как соль, снег, просыпавшись за портянку, ожигает кожу. Ноют стынущие пальцы, нетвердо охватившие рукоять лучковой пилы.

Не скоро, ох как не скоро начинает брать свое движение: понемногу разогреваешься, мысли сосредотачиваются на том, откуда лучше делать запил, в какую сторону валить дерево, и поневоле начинаешь шевелиться проворнее, чтобы не терять попусту времени: кубометры «урока» как наведенное на тебя дуло пистолета. И только подумать, что находились ликую-

щие перья, писавшие об этом как о трудовом подъеме!.. Но, как бы ни было, ГУЛаг лес заготавливал.

Справившись со здоровенным стволом — не менее двенадцати дюймов в отрубе! Это, пожалуй, без малого кубик,— я распрямляюсь, сдвигаю шапку с влажного лба... Стоит околдованный зимой лес. Да не какой-нибудь жиденький, просвечивающий, а нетронутый от века северный бор — глухой, нескончаемый, с великанами соснами и лиственницами. Его впервые потревожили люди... Деревья плотно укрыты снегом. Ели стоят как торжественные, сверкающие свечи. Там, где не достает солнце, скопились яркие синие тени. Не заросшие подлеском поляны и прогалы в плавных мягких буграх, похожих на белые волны; они искрятся и блестят в тени. И так тихо, так неподвижно кругом, что мерещатся какие-то волшебные чертоги из сказки. Я поддаюсь очарованию, даже отвлекаюсь от своего дела — такой первозданной красотой довелось любоваться! — но не настолько, чтобы забыться, зашагать между деревьями. Уйти в эту красоту куда глаза глядят...

Невдалеке сухо щелкает винтовочный выстрел. Сразу настораживаюсь: давеча у костра рассказывали про знакомого зэка с ближнего лагпункта. Приметный был человек, и многие его знали. Он носил пышные усы с подусниками в память командира своей незабвенной Первой Конной, сохранил папаху, которую лихо заламывал и сдвигал набок. Его не остановил предупредительный выстрел конвоира, крикнувшего ему, чтобы не заходил дальше прибитой к дереву дощечки с выведенными углем буквами: «Зона». Этот бывший буденовец, сильно поморозившийся накануне, будто бы сказал товарищам: «Чем тут понемногу десять лет сдыхать, лучше разом кончить!» — и, зашвырнув топор в снег, открыто попер мимо часового... Так, должно быть, когда-то бесстрашно шел на цепи белых. Четвертым выстрелом часовой убил его наповал.

Однако на этот раз все было вовсе иначе.

Послышалось тугое поскрипывание снега под бойкими шагами, и на дороге из-за деревьев показался припорошенный снежком человек в коротком полушубке, с раскрасневшимся на морозе оживленным лицом; он издали приподнял — смотрите, мол! — убитого глухаря, которого держал за лапы. Это — конвоир. Но сейчас он только охотник, хвастающийся своей добычей, радующийся удаче. Подправив винтовку на ремне за плечом, он запросто подходит к кучке заключенных, рассказывает, демонстрирует убитую

птицу, «аж в сердце угодил». Потом, вынув кисет и закурив, отрывает бумажки и дает щепоть махорки:

— Покурите, ребята!

Проснулся и во мне охотник: не отрывая взгляда, любуюсь великолепной птицей, просто вижу, как сидит на вершине сосны темный, отливающий синим блеском глухарина. Мне хочется сказать, что и я ходил на тока, метко стрелял из мелкокалиберки, расспросить его, как все произошло, но... Сквозь мимолетный приступ добродушия проглядывает — ее не спрячешь — привычная настороженность конвоира, зоркие глаза его помимо воли шарят и шарят по нашей кучке. Да и винтовка с боевыми патронами выдана этому сытому и крепкому, самодовольному парню вовсе не для стрельбы по боровой дичи...

* * *

В растворенные настежь ворота лагпункта с прибитым к перекладине кумачом со слинявшей надписью «Добро пожаловать!» входят быстрым шагом, шеренга за шеренгой, люди с кладью в руках и на спине. Конвоиры с двух сторон громко отсчитывают пятерки. Начальство стоит в стороне, оценивая пополнение. Вокруг преданно суетятся сотрудники УРЧ из заключенных. Они тоже считают людей, делают перекличку, сличают приметы с установочными данными в формулярах. Происходит предварительная сортировка прибывших по статьям — этих в барак, тех — в землянку, а вот того сразу в шизо — штрафной изолятор — в зависимости от спецуказаний при каждом пакете. Врачи бегло всех осматривают и тут же проставляют категорию трудоспособности. Кого-то с места отправляют в стационар.

Мы стоим в некотором отдалении. Приглядываемся к лицам, вслушиваемся в выкликаемые фамилии. Каждый ожидает — и страшится — встретить родственника, друга, прежнего сослуживца. Хотя расспросы впереди и сейчас разговаривать с новобранцами запрещено, у иных не хватает терпения. Они бросают наугад: «Кто, может, встречал такого-то?» Эти наверняка ждут сведений об арестованных близких.

Большинство в партии — военные в комсоставовских длиннополых шинелях, без форменных пуговиц и знаков различия. Много и штатских. Люди самые разные, но вид у всех растерянный; на лицах — обида и недоумение. Этапники словно не вполне очнулись после водоворота событий —

измотавшего следствия, шока приговора, мытарств пересылок. И, наконец, последних ритуалов, как бы подытоживающих переходное состояние и открывающих новую лагерную главу жизни: их стригут и рядят в арестантские бушлаты. У некоторых выражение, словно они не вполне осознают происходящее, надеются, что это им померещилось: они вот-вот очнутся и возвратятся к своим привычным делам — будут командовать воинскими частями, сидеть в штабах, руководить, приказывать, выполнять ответственные поручения за рубежом. Словом, снова вкусят сладости своего положения. Положения лиц, включенных в сословие руководителей...

Большинство расходившихся по лагпункту, подгоняемых дневальными, обряжаемых в лагерную сряду новичков переживало внезапное и жестокое крушение, тем более горькое для многих, что этому резкому переходу «из князи в грязи» предшествовало длинное и упорное, унизительное выкарабкивание из низов.

Но было не только пробуждение у разбитого корыта, а еще и шок, встряска всего существа, вызванные полным крахом нехитрого миропонимания этих людей. Их крушение нельзя назвать нравственным, потому что длительное пребывание у власти — при полной безответственности и безнаказанности, при возможности не считаться ни с чьим мнением, критикой, законом, совестью — настолько притупили у этих «государственных мужей» понимание того, что нравственно, а что безнравственно, понимание границ дозволенного, что они сделались глухи к морали и этическим нормам.

Тут удобно сослаться на появившееся в шестидесятых годах в самиздате сочинение Аксеновой-Гинзбург. Она очень честно рассказала, скрупулезно придерживаясь запомнившихся фактов, о своих тюремных и лагерных мытарствах, начавшихся в 1937 году. Ее воспоминания — это документ, характерный для лиц сословия «ответственных». Автор не то троцкистка, не то вдова крупного партийца-троцкиста, то есть плоть от плоти этой породы. Как же неподдельно горячо она обличает «произвол», задевший ее «неприкосновенную» особу — ведь она старый член партии, сподвижница «вождей», проводница ленинских заветов! И такой конфуз: оказалась за решеткой и в этапе вместе с... да, вот именно, почтеннейшая поклонница Льва Давыдовича! — с кем? Уж не назовете ли вы врагами народа вот ту тройку бородатых работяг в лохмотьях, с наследственными мозолями на руках, которых вы оторвали от плуга, помогли разорить

и благословили сослать сюда, на каторжную работу? Или этих двух истощенных лесорубов, что точат возле инструменталки топоры, обреченных сложить здесь кости только из-за того, что они, поверив вашим обещаниям, не уехали от вас подальше, а остались работать на КВЖД — один сцепщиком, другой стрелочником,— когда вы вырвали дорогу из цепких японских рук? Вы описываете, как выстраивали вас на поверки. Пройдемся с вами вдоль строя, вглядимся в лица, порасспросим... Из десяти брошенных в этот ад — какой не мог видеть около ста лет назад Чехов на Сахалине и почти полтораста Достоевский в «Мертвом доме» — девять человек попали по выдуманному, вздорному обвинению. Они здесь лишь потому, что вы, мадам Гинзбург, с вашими сподвижниками если и не работали сами в карательных органах, то есть лично не отправляли сюда этих несчастных, то одобряли эти расправы, голосовали всегда за. Для вас было нормой, в порядке вещей, чтобы тихого и робкого деревенского батюшку, обремененного многочисленной семьей, придавленного нуждой, невежеством и страхом, хватали, держали в подвалах, до смерти пугали и, вдоволь наглумившись,— «шлепали». Эка штука, одним попом меньше!.. А не то, истерзанного, сломленного, ссылали умирать с голоду в Тмутаракань, а изгнанным отовсюду «матушкам» с исключенными из школы детьми предоставляли погибать как заблагорассудится... Вы сидели в первом ряду партера, когда уничтожали ветхих, впавших в детство царских «сатрапов», кадровых и случайных прежних военных, духовенство, чиновников. Даже лавочников и церковных старост... И приветствовали, и поддерживали: «Враги, так им и надо!» Но вот очередь дошла до вас..

Беды и страхи, что вы считали справедливым обрушивать на всех, кроме вашей элиты, коснулись вас. Грызня за власть закончилась вашим поражением. Если бы взяла ваша — Троцкий одолел Сосо,— вы бы точно так же стали бы избавляться от настоящих и предполагаемых конкурентов! Но вы возмущаетесь, подняли вопли на весь мир, клеймите порядки, но отнюдь не потому, что прозрели, что вам открылась их бесчеловечность, а из-за того, что дело коснулось личной вашей судьбы.

И потому, что Аксенова-Гинзбург пишет обо всем этом, так и не углядев по прошествии лет, как в сущности безнравственна и подла ее позиция, можно с полным правом утверждать, что и прежние ее единомышленники и друзья, пригоняемые тогда в лагерь, не сознавали, что угодили под жернова, ими же приведенные в движение и уже подавившие

и уничтожившие миллионы и миллионы безвинных. Притом жертв, не рвавшихся, подобно им, к власти, а со страхом вжимавших голову в плечи перед грозой, людей, непричастных к политической борьбе и потому не лишивших себя, как лишили себя вы, права роптать и возмущаться. Но воистину — поднявший меч от меча и погибнет...

И еще мемуары Гинзбург позволяют заключить об общем нравственном одичании утратившей совесть «советской интеллигенции», перенявшей мораль и понятия правящей клики.

Потрясение, о котором я упомянул выше, не было тем ужасом и отчаянием, что охватывают человека, вдруг уразумевшего мерзость и непоправимость совершенных им злых дел. Не было началом раскаяния при виде причиненных людям страданий, а лишь возмущением обстоятельствами, швырнувшими их на одни нары с тем бессловесным и безликим «быдлом», что служило им дешевым материалом для безответственных социальных экспериментов и политической игры. Они не только не протянули руку братьям, с которыми их соединило несчастье, но злобились и обосабливались, как могли отгораживались от лагерников прежних наборов. Всякое соприкосновение с ними пятнало, унижало этих безупречных, стопроцентно преданных слуг режима.

Все это, считали отставные советские партдеятели, происки врагов, агентов капитализма, и этой формулой хотели объяснить причины своего падения.

Именно агенты пробрались в карательные органы, чтобы расправиться с вернейшими солдатами партии и подорвать веру в непогрешимость ее «генеральной линии». Пусть им удалось там, наверху, оклеветать. достойнейших — ложь будет неминуемо опровергнута, и тогда Вождь вновь взглянет отеческим оком на своих оговоренных верных холопов и они станут с удвоенным рвением и преданностью выполнять его предначертания. Можно будет, положа руку на сердце, возгласить: «Да здравствует великий вождь Сталин!»

И первой заботой низвергнутых ответственных, вернее, безответственных сановников было установить, чтобы видело и оценило начальство, четкий водораздел между собой и прочими лагерниками; в разговоры с нами они не вступали, а если уж приходилось, то это был диалог с парией.

Однако скученность и теснота брали свое. Я приглядывался и прислушивался к заносчивым новичкам, стараясь разобраться — истинная ли вера и убежденность движут этими твердокаменными «партийцами»? Или в их поведении и

высказываниях расчет, надежда на то, что дойдет же какими-то путями до Отца и Учителя, как пламенно горят любовью к нему сердца под лагерным бушлатом, как далеки они все от ропота и неколебимы в своей вере в правоту вождя и как ждут, когда он сочтет нужным шевельнуть мизинцем — поманить, и они ринутся наперегонки восхвалять его и славить, служить ему — Великодушному и Справедливому! Чураясь зэков-некоммунистов, «твердокаменные» пытались сомкнуться с начальством, держаться с ним по-свойски, словно их — вчерашних соратников и единомышленников, рука об руку укреплявших престол Вождя,— разделило всего недоразумение, случайность, которые вот-вот будут устранены. И потом, разве нет больше на крупных постах, даже среди тех, кто на снимках и в газетах удостаивается быть названным «ближайшим учеником», приятелей, с кем от века на «ты»? С кем неделимы воспоминания о гражданской войне, с кем рука об руку водили продотряды, раскулачивали, устраивали процессы, работали в органах? Они заступятся...

Лагерное начальство на первых порах растерялось: безопасно ли мордовать нынче тех, перед которыми вчера тянулся? Ввело послабления: отдельные бараки, особый стол, освобождение от общих работ. Доходило до полных переворотов.

...Я лежал в центральной больнице лагеря. Однажды с утра наше отделение обошел начальник санчасти со свитой врачей — и началась суматоха. Всех больных стали срочно переводить в другие отделения, а то и выписывать. Оставшихся напихали по-барачному, а освобожденные помещения принялись мыть, скоблить, застилать койки новым бельем. Парадом командовала Роза Соломоновна, врач, ведавшая терапевтическим отделением. Была она из отбывших короткую ссылку по одному из ранних процессов вредителей и в лагере работала вольнонаемной. Больных зэков лечила сравнительно добросовестно, но держалась недоступно.

Мне не приходилось прежде видеть Розу Соломоновну в таких хлопотах. Она вдохновенно входила во все мелочи, требовала со складов санчасти пружинных кроватей, собственноручно застилала тумбочки накрахмаленными салфетками.

Еще не все приготовления были закончены, а в освобожденные от нас палаты поступило пополнение: люди в штатском, неотрепанные, все больше средних лет, не растерявшие самоуверенности и нисколько не походившие на ссыльных и больных. Мы скоро узнали, что то были средней руки аппаратчики, которых по чьему-то распоряжению пря-

мо с этапа отправили в Сангородок — отдохнуть и прийти в себя после тюрьмы — до подыскания им подходящих должностей в лагерном управлении.

Розу Соломоновну мы теперь видели редко и мимолетно: обежав наши переполненные коридоры, она исчезала за дверями привилегированного отделения. Мы слышали, как она из своего кабинета обзванивает отдел снабжения, требуя «курочек» и «яичек» для своих истощенных будто бы больных. Она заботилась о них, как о близких.

Однако эта возня с отставленными опорами режима продолжалась недолго. Только было некоторые из них стали примеряться к должностям в следственном отделе, по снабжению или, на худой конец, брезгливо усаживаться в каких-то плановых отделах, как из центра грянули боевые предписания и понаехали комиссии. Одних лагерных начальников поснимали, другим дали нахлобучку, а всю «троцкистскую сволочь» распорядились держать исключительно на тяжелых работах, поселить с уголовниками — и вообще перевести на положение злейших врагов, и в лагере подкапывающихся под авторитет Сталина. Надежды «падших ангелов» на привилегированное место в аду были грубо похерены.

И пришлось им поневоле вживаться в долю работяг. Они стали искать смычки с уголовниками (против контры!), надеясь панибратским отношением обезопасить от раскурочивания свои полновесные сидоры. Воры их, разумеется, обобрали и стали вдобавок презирать. Надо сказать, что в очень короткие сроки обнаружилось, как нестойки эти внешне решительные и самонадеянные люди — едва им пришлось хлебнуть лагерной житухи. Они становились отчаянными стукачами, кусочниками, причем нередко обнаруживали шакалью хватку. Они позорно пасовали перед суровостью условий, как бы обнажившими их нравственное убожество. Разумеется, встречался среди сосланных оппозиционеров народ иного склада.

Моим соседом по нарам стал бывший военный — начальник дивизии Иван Семенович Терехов. В этом тщедушном, невысоком человеке таилась недюжинная нервная сила, угадывалось мужество. Он едва ли не один из всех отстоял свою длинную, до земли, шинель с кавалерийским разрезом и ходил в ней, хоть и сутулясь от донимавшего его судорожного кашля, но с большим пальцем правой руки, по-командирски засунутым за борт. Был он, по-видимому, настолько болен, что его не угнали на лесозаготовки, а оставили на лагпункте конторщиком в хозяйственной части. Сдержанный и молча-

ливый, Терехов никогда не жаловался, но как-то ночью, измученный кашлем, сказал мне:

— Все внутри отбили: после допросов фельдшер приходил в камеру отхаживать. На мне нет живого места... Протяну недолго. Ах, что за гады там засели!

Терехова вскоре увезли в Сангородок — у него открылась чахотка. Простились мы с ним по-дружески. Этот бывший начдив вел себя не в пример другим командирам: был справедлив, корректен и не заискивал — ни перед начальством, ни перед шпаной. Напоследок Терехов разговорился — и то были речи отчасти прозревшего человека.

Он говорил, что если бы ему пришлось начать все сызнова, он, не задумываясь, как и в восемнадцатом году, бежал бы из гимназии воевать за советскую власть — но не за «власть райкомов»! Полностью отречься от партии он еще не мог и уверял, что вступил бы в нее опять. Потому что она во всем права, вот только сбилась с пути: нельзя было, по его мнению, переносить суровые и жестокие меры военного времени на мирные дни и, тем более, воспитывать в людях привычку к слепому подчинению. Достаточно было холопства в старое время, вот и могли любые держиморды командовать.

А ныне раболепства и страха перед начальством больше, чем когда-либо: в стране слышен только один голос, ему вторит холуйский хор. Как тут не сбиться с пути, не наделать ошибок? Не забыть об ответственности?

—...Хотите, запомните мои слова, но не повторяйте — это опасно... Ах, свежий воздух нам нужен, сквознячок, задохнулись мы. Прощайте, спасибо за добрые соседские услуги. Если доведется встретиться, буду рад. Но вряд ли.

Нет, честный мой и искренний, но слепой командир, не стану я повторять ваших слов. Не только из осторожности, а потому что в них — заблуждение: вы прозрели лишь чуть-чуть, только краешек правды увидели. Истина от вас еще закрыта. Не тогда вы ошиблись, когда преклонились перед «вождем», заползали перед ним на брюхе и распятый народ превратили в немую рабочую скотинку, а намного раньше...

...Сейчас недоумеваешь, вспомнив про сомнения, какие нет-нет да и возникали в то время: да полноте, думалось, уж вовсе ли без основания, вовсе зря оказались за решеткой вчерашние капитаны жизни? Они, быть может, виновны косвенно, помимо воли, но все же замешаны во вредительстве, в заговорах, пусть в роли марионеток иностранных разведок?.. Теперь эти сомнения выглядят наивными. Но если представить себе, какой оглушительной демагогической

декламацией сопровождались массовые репрессии, чудовищные дутые процессы, нетрудно понять, что и люди более искушенные, чем я, были не всегда способны увидеть за этой завесой беспринципную борьбу за власть — вернее, единовластие — средствами террора и устранения действительных или возможных конкурентов. Тогда могло выглядеть, что в ряды верных сторонников и слуг пробрались враги...

Несколько разобраться в этом мне помог один случай. При поступлении очередного этапа я с изумлением услышал, как выкликнули: «Копыткин Сергей!»

Помнил я его деревенским пареньком, сиротой. Садовник в имении моего отца взял мальчика к себе и обучил своему искусству. С Сергеем у меня было связано немало детских воспоминаний. Был он старше меня, его призвали в армию еще в пятнадцатом году. Вернулся он в родные палестины уже после октябрьского переворота — яростным большевиком, ринувшимся перестраивать жизнь в наших захолустьях. Это не помешало ему тогда же вызволить меня — восемнадцатилетнего заложника — из уездной тюрьмы. С дружеским внушением: примкнуть к провозвестникам грядущего счастливого устроения человечества, взяться работать с ними и громить старые порядки. Сам он был преданнейшим сторонником и борцом за советскую власть, свято верившим в провозглашаемые тогда Urbi et Orbi — Городу и Миру — истины. И то, что Сергей Копыткин в лагере, было лакмусовой бумажкой: значит, расправляются со ставшими неугодными соратниками.

Как бы ни было, этому человеку, несмотря на разделявшие нас бездны разногласий и непонимания, я доверял как себе и не боялся высказать ему все, что думаю.

Мы оба подивились, как сильно изменили нас годы. Похудевший, почти лысый Сергей не утратил прежнего решительного и открытого выражения. Держался он превосходно: с достоинством, мужественно.

Ему, занимавшему после вуза значительные должности по своей специальности (сказались юные годы, проведенные у парников и в оранжерее: он стал ботаником-селекционером), припомнили какое-то голосование в середине двадцатых годов и обвинили в троцкизме. Требовали, чтобы он назвал сотрудников своего института, завербованных им в состав подпольного правительства, формируемого по заданию германской разведки на американские деньги. Я узнавал от него про изощренные приемы, к каким прибегали осатаневшие, поощряемые властью следователи, и задним числом содро-

гался: мне-то не приходилось испытывать самому ничего подобного...

— Старались они без толку, ну и бесились вовсю,— рассказывал Сергей.— На одном допросе следователь отворил дверь в смежную комнату. Вижу, сидит там моя двенадцатилетняя дочка. Напугана, не смеет голову повернуть в мою сторону... «Видишь, твоя дочь,— говорит следователь.— Прямым ходом отправим отсюда в колонию — к малолетним преступникам. Как ей там придется, сам знаешь. Так что выбирай: ты отец, от тебя зависит». В другой раз слышу — за стеной женский плач, стоны... Уверяют, что там допрашивают мою жену: «Подпиши — и мы прекратим допрос. Ведь о тебе расспрашиваем. Какая же ты скотина — упираешься, семью не жалеешь...» Ну и снова... то сутками на стойке держат, линейкой по костяшкам лупят... Пот прошибает, когда вспомнишь.

Мы спорили. Копыткин, почти как Терехов, валил все на зарвавшихся заправил НКВД, создающих «дела», чтобы набить себе цену в глазах Сталина. Он-де и не знает, что творится в застенках... Но я с Сергеем не отмалчивался, как с начдивом, а спорил, и очень откровенно.

— Не наивничай. Как ты, умный человек, допускаешь, что все, что творится с нами, с вашим братом, тем более с крестьянами, да в таких масштабах,— дело рук и политики ведомства, а не верхушки — Сталина и его заплечных дел мастеров из Политбюро. Без их разрешения никому в стране лишний раз чихнуть нельзя, не то что пересажать миллионы народу, пачками расстреливать...

Сергей сердился, не давал прямого ответа, но видно было, что и сам он давно поколеблен, сомневается. Даже как-то полушутя признался мне, что сделался форменным ревизионистом, так как додумался до того, что основной порок видит в учении о «диктатуре пролетариата», оказавшейся ширмой для тех, кто рвался к власти.

— И остается,— горько усмехнулся Сергей,— голая диктатура без пролетариата! Насилие, регламентация и подчинение жизни народа правителя — на византийский манер. Попадется когда-нибудь — прочти историю византийских базилевсов. Это они первыми, вкупе с православными иерархами, придумали влезание чиновников во все поры общественной жизни, прочную бюрократическую структуру, мелочную опеку подданных. Даже колхозы — и те у них были!.. С обязательными поставками — добровольными, подчеркиваю — государству продуктов по особым ценам. Вся жизнь

в Византии была опутана тенетами регламентации и правил: духовенство низведено до уровня нынешних партийных пропагандистов. Полезное чтение для раздумий.

* * *

Как и следовало ожидать, моя двухлетняя карьера лесоруба кончилась больницей. Я слишком много мерз, и первыми сдали легкие. Приходилось нет-нет обращаться в амбулаторию, но двух-трехдневные освобождения не помогали: скакала температура, требовалось невероятное усилие воли, чтобы утром подняться и идти на работу. Почти невозможно стало заставить себя съесть пайку. И как-то выслушавший мои легкие фельдшер — поволжский немец — буркнул регистратору, своему земляку: «Schwindzucht» (чахотка), сделав не ускользнувший от меня жест, говорящий недвусмысленно: готов, испекся. И без его взмаха руки диагноз не оставлял надежды — в лагере ТБЦ не прощает!

Я продолжал сидеть на табурете, обнаженный по пояс. Фельдшер всматривался в меня, точно про себя решая мою судьбу. Он мог попытаться меня спасти, отправив в центральный стационар, мог для себя бесхлопотно снова водворить меня в барак. Санчасть строго следила, чтобы персонал не потворствовал зэкам и лишь в самых крайних случаях назначал лечение в больнице. За попытки «дать отдохнуть» или «набраться сил» взыскивали. Я не очень-то поверил, когда фельдшер сказал, что направит меня в Сангородок. Встал, медленно оделся, даже упустил поблагодарить — так мне было тогда все безразлично, кроме надежды сию минуту вернуться в барак, залечь на свои нары и по возможности теплее укрыться. Днем, пока все на работе, можно воспользоваться одеялом соседа.

Однако фельдшер сдержал свое слово. Спустя несколько дней меня на подводе отправили в больницу. Везли мягкой, укрытой светлыми, пронизанными солнцем сосняками дорогой, то вившейся по песчаным гривкам, то спускавшейся в ложбинки с мшистыми кочками, заросшими черникой и багульником. Ехали тихо и мягко, как по ковру,— телегу не подкидывало на ухабах, а слегка покачивало. Чувствуя себя обреченным, я смотрел кругом, мысленно со всем прощаясь. Было грустно, но как-то не остро, а примиренно. Едва не стало необходимости бороться, цепляться за жизнь,

я расслабился. Никакие сильные впечатления не одолели бы моего безразличия.

Безучастно, как посторонний, отметил отдельные койки, чистое, хотя и застиранное белье, давно не виданные тарелки; вяло обрадовался невозбранной возможности лежать.

Первым встряхнувшим впечатлением был врачебный осмотр: у меня оказался тяжелый эксудативный плеврит, а не туберкулез. Радость вспыхнувшей надежды не согрела и не взбодрила: раз не ТБЦ — меня поторопятся подлечить и снова вернут на лагпункт... Вдобавок изменение условий сказалось сразу: мне стало легче, уменьшились скачки температуры. Я приуныл: вылечат за считанные дни.

Не знал я, что попал в оазис, где, несмотря ни на что, последнее слово было все же за врачами. Лагерное начальство было вынуждено считаться с их заключениями. Главврач Сангородка, отбывший детский срок хирург, также из немцев-колонистов,— персона, распоряжающаяся курортами и бюллетенями, назначающая отпуска и отдых по болезни, хозяин целого корпуса для вольнонаемных. Человек политичный и в угождении начальственным женам наторевший, он и заключенным, в чем и когда мог, не отказывал. Взявшиеся мне помочь врачи и рентгенотехник Баян Липский обрели в нем молчаливого пособника.

...Взглянешь на Максимилиана Максимилиановича Ровинского — и безошибочно поймешь, с кем имеешь дело! Все в нем: и внешность — порядочная эспаньолка с пышными усами, аккуратно подстриженная седая грива, пенсне на шнурке, мягкие пухлые руки, и манеры — приятные, с налетом провинциальной светскости,— выдавало старого земского врача, вдобавок бывшего уездного льва со склонностью к общественным начинаниям в кружках либерального направления. Он и был всю жизнь врачом в Крыму — кажется, в Ялте,— где заведовал больницей и создал симфонический оркестр из любителей, ставший его детищем. Максимилиан Максимилианович отбывал десятилетний срок, жил в Сангородке в сносных условиях и ходил в местный клуб, где подолгу играл на расстроенном рояле Мендельсона и вальсы Штрауса. Вот он-то, приглядевшись ко мне, и занялся моим здоровьем и будущим устройством. Потом он мне рассказывал, что принял поступившего с лесопункта долговязого доходягу за уголовника высшей квалификации — медвежатника — и косился в мою сторону несколько опасливо.

— А потом — о капризные начертания судьбы! — пришел ко мне наш милейший Баян и рассказал про вашу одиссею.

И я даже — представьте! — хлопнул себя по лбу: как это проглядел? Положительно, это провиденциально, мы станем теперь вашими э... э... Вергилиями, Орфеями, или как там у этих греков... кто выводил из ада? Вылечим, восстановим, а там и... не отпустим!

Максимилиан Максимилианович любил экскурсы в античную мифологию, звучные слова и многозначительные недомолвки и отчасти прикрывал ими свою очень добрую и чувствительную натуру: помогая от всего сердца, он держался при этом несколько чопорно и выражался витиевато. Ровинский оставался не утратившим вкус к жизни человеком, еще находящим чем и для чего жить. С медициной за многолетнюю практику он сроднился неразрывно — она сделалась частью его сути. Музыка помогала отключаться от лагерных будней.

Трагической выглядела рядом с ним фигура другого врача, Сергея Дмитриевича Нестерова, тоже прекрасного специалиста. Двигался он и разговаривал нехотя, через силу. Ровным глуховатым голосом давал немногословные заключения, сам никогда в разговоры не вмешивался. Он как бы оборвал живые связи с окружающими и механически выполнял все, что от него требовали. Из больницы он уходил к себе, ложился не раздеваясь на койку — и застывал, заложив руки за голову и уставившись в одну точку. И молчал. Если замечал, что на него смотрят, прикрывал глаза. Сожителю по комнате приходилось напоминать ему, что пора укладываться на ночь. Он подчинялся, снимал обувь, раздевался. То же было и с едой. Ему говорили: «Поешьте, доктор, выпейте чаю», и он молча принимался за еду или брал стакан. Товарищи заставляли его менять белье, умываться, водили в баню.

Доктор Нестеров был врачом в белой армии. У него на глазах расстреляли двух сыновей. Потом он жил в захолустном городке на Волге, потерял жену и после очередного ареста был заключен в лагерь на десять лет.

Когда я с ним познакомился, он был уже очень болен, но врачом оставался проницательным и болезнь определял безошибочно. Коллеги делали, что могли, чтобы не дать угаснуть окончательно желанию жить, заботились о нем, негласно следили. И не уберегли — он вскрыл себе вены. Его нашли истекшим кровью в рентгеновском кабинете.

Мне почти не довелось с ним общаться, хотя именно он определил мою болезнь и назначил лечение. Помню, как в операционную, где меня подготовили для выкачивания эксу-

дата, вошел Нестеров — высокий, сутулый, с мешками под глазами, в измятом халате. Взглянув на его застывшее лицо — желтое, с кое-как подстриженными усиками и остановившимся взглядом,— я подумал: «Врачу, исцелися сам!» Прослушав меня очень внимательно, он тихо, как бы с трудом подбирая слова, произнес: «Рассосалось... жидкости нет. Выкачивать нечего... сам... справился».

Тем не менее они с Ровинским меня не выписали: я был оставлен на положении ходячего больного и получал самое укрепительное питание. Затем, когда настало время, меня на комиссии безапелляционно причислили к третьей инвалидной категории, правда временной: она на целый год избавляла меня от общих работ, и я мог вступить в почетную корпорацию «лагерных придурков». Ровинский обработал начальника финчасти Сангородка, вольняшку Семенова, и я прямо из больницы попал к нему в кассиры.

* * *

После землянок и скитаний по глухим лесным лагпунктам зона Сангородка показалась раем. Чистота, в бараках — вагонки, т. е. двухэтажные сдвоенные койки из строганых досок; белье и одеяла; сносная — на лагерные мерки — кормежка. И — немалое благо: малолюдство. Обслуга городка, не очень многочисленная,— без бича лагерной жизни, уголовной рвани.

И немудрено, что на первых порах эти чисто физические радости и удобства ставшего доступным опрятного обихода, покойность условий — ни лошадиной работы, ни зверских морозов на сечах, ни осаждавших в глухих болотистых лесах туч комаров — заслонили все печали. Тем более что и режим в Сангородке был не в пример мягче и переносимее. Сытые, обленившиеся вохровцы не придирались. Да и знали они каждого из нас в лицо и по именам; одно это протягивало между нами какие-то если не человечные, то житейские нити. Меня же, кассира, им даже приходилось несколько выделять: они расписывались у меня в ведомости, я выдавал им зарплату, причем мог наделить пачкой засаленных кредиток или отсчитать новенькие купюры. Даже сунуть авансик до получки.

Так что мне не возбранялось, пройдя утром через вахту — даже не предъявляя пропуска,— до самой ночи не возвращаться в зону: гуляй себе! А куда ходить и у кого бывать у

меня находилось. И мне снова приходится рассказывать об этой передышке в Сангородке, как о днях, осененных милостью Божией...

...Сангородок в известной мере оправдывал свое название. Помимо больничных корпусов, всяких павильонов с кабинетами, хозяйственных построек, бани и длинного ряда домиков вольнонаемного персонала был там еще и настоящий театр — внушительный, с портиком о четырех обшитых тесом колоннах. Такой впору бы иметь и районному центру. Два передних ряда кресел были обиты дерматином и отделены от остального зала, где сидели зэки, широким проходом: они предназначались для хозяев. Перед театром, выстроенным среди остатков соснового бора, на площадке, окаймленной подобием цветочных клумб, в антракты прогуливалась публика. Чтобы не смешиваться с бушлатной братией, начальники выходили подышать воздухом на верхние марши лестницы и там, наверху, вознесенные и недосягаемые, красовались со своими дебелыми крепдешиновыми супругами.

Площадка была для нас местом встреч и свиданий. Сюда стекался народ из соседних лагпунктов — огородного и проектного — ухтинской «шарашки», где были собраны технические сливки лагерной интеллигенции. Подходить к женщинам и с ними разговаривать разрешалось. Их было мало, мужчин — избыток, и потому возле каждой зэчки роем клубились поклонники. Присущее женщинам умение пустяшной мелочью придать авантажность и самому неказистому наряду вело к тому, что они выглядели франтихами рядом с кавалерами, лишь подчеркивавшими убожество своего вида неуклюжим прихорашиванием.

...Не заметить ее было нельзя. Она выделялась из толпы не только ростом, но и осанкой, шедшей от длинной чреды родовитых предков. А одета была во всем лагерном, тогда как товарки ее щеголяли в большинстве в своем. Она шла легко, непринужденно, с ленивой грацией. И тонкая шея выгнута гордо и женственно, и высоко и гибко вознесена ее маленькая, темная головка. В этой женщине я сразу узнал Любу Новосильцову. Было ей тогда двадцать пять лет... А помнил я ее подростком с тугим жгутиком косички, в куцем платье. Я постоянно встречал ее у своей московской тетки — Марьи Юрьевны Авиновой, сестры отца Любочки — Юрия Юрьевича Новосильцова, погибшего в тюрьме еще в первые годы революции.

Мы встретились как две родные души на чужбине, вернее — во вражеском стане. И в горячности нашего родственного поцелуя была радость обретения.

Судьба была к Любе немилостива. Детство, запомнившееся как длинные годы страха и нужды, непрерывных гонений на близких и друзей ее круга; первое, очень раннее замужество. Супругом ее стал простецкий, с кое-каким образованием паренек, чувствительно певший под гитару, добродушный и веселый. Любе отчасти мерещилось, что, расставшись с аристократической фамилией, она сможет жить спокойнее. Однако добрый малый оказался забулдыгой, да еще и бессовестным. Как ни претил ей развод, она с ним разошлась.

В строительной конторе, где Люба работала чертежницей, был иностранец — немецкий инженер, из тех специалистов, что сотнями были приглашены Сталиным из Германии. Все они, поголовно обвиненные в шпионаже, пострадали в разной мере и навлекли гибель и беды на сонмы людей, имевших несчастье с ними соприкасаться.

Любин избранник был красив, мужествен, хорошо воспитан и щедр. Его ограниченность и совершенное равнодушие к культуре обнаружились только позднее. К ним прибавились и другие разочарования... Взаимное непонимание росло. Начались размолвки и нелады — кто знает, повели они к разводу или молодые люди притерлись бы друг к другу? Но вмешалось Ведомство: мужа арестовали, и Люба уже не сочла возможным от него отречься. Тем более по требованию органов, хотя и знала, что формальный отказ от мужа ее бы спас. Перешагнуть через себя, через свои унаследованные представления, она не могла. В этом была она вся — раба того, что считала своим долгом.

Шпионская статья обрекала Любу на общие работы. Но чертежник — специальность в лагере дефицитная. Это и позволило начальнику проектного отдела вытребовать ее к себе. Облегчило дело и то обстоятельство, что шла она по формулировке «пш» — подозрение в шпионаже. Будь у нее полновесный шестой пункт, никакие ходатайства не могли бы помочь.

Я зачастил в проектный отдел — расконвоированную командировку без зоны и вахтеров, с комендантом, пропадавшим с удочками на реке: дом отдела и две утепленные палатки для персонала находились на обрывистом берегу Ухты. Ведущим инженером отдела был Кирилл Александрович Веревкин. С ним нас сближали общие воспоминания.

В старинном петербургском доме на Фурштатской улице,

на площадке верхнего, второго, этажа — дверь с дверью — жили семья Веревкина и моя двоюродная бабка генеральша Маевская. Нас, внуков, во все большие праздники возили к ней на поклон, и фамилия Кирилла Александровича на меди дверной дощечки запомнилась из-за забавного сопоставления с обиходным словом: веревка, бечевка... Я был в том возрасте, когда древности фамилии не придаешь значения и никакого решпекта к «шестой книге», в которую был записан род Веревкиных, не испытываешь.

В лагере Кирилл Александрович оставался тем же суховатым петербуржцем — холодно-вежливым, корректным, не допускавшим и тени фамильярности в обращении. Он и в Ухтинских лагерях не расстался с галстуком и старенькой пиджачной парой.

...Люба понемногу оттаивала. Лишенная переписки и посылок, она со дня ареста ничего не знала о своей матери — единственном оставшемся близком и любимом человеке. Страхи за нее точили Любу, она воображала новые тюрьмы и мытарства, через которые уже с двадцатых годов проходила ее мать. Мне удалось довольно быстро наладить нелегальную переписку: Любины письма отправлялись через вольняшек, ездивших в командировку, а мать давала о себе знать через подставное лицо. Писала она иносказательно, задавая иногда — перестаравшись — неразрешимые головоломки. Поступило и несколько посылок — Люба несколько приоделась.

И снова зыбкое лагерное благополучие усыпило привычную мою настороженность травленого зверя. И мы оба были молоды, и у обоих не было будущего, и общей была тоска по человеческим радостям. Мы одинаково искали иллюзий, способных подменить счастье...

Встречались мы с Любой в летнюю пору и вплоть до весны следующего года виделись почти ежедневно, иногда по нескольку раз в день: от Сангородка проектный отдел отстоял в пятнадцати минутах хода. Облегченный режим в этих особых лагерных подразделениях был, конечно, исключением, но моему вольному хождению содействовало и побочное обстоятельство: статья «соэ» расценивалась либерально, допускала расконвоирование.

Берег Ухты, где расположен Любин отдел, порос сосняком. Мы подолгу бродили по его прогретым незаходящим солнцем мхам в ковриках брусники. Особенно любимым был склон овражка с редкими старыми пнями и пушистой сосно-

вой порослью. Высокое бледное небо над нами, дружелюбная тишина,— и мы могли забыть про лагерь.

Женщины по-настоящему страстные — целомудренны. Люба долго не решалась встречаться со мной в комнатке врача рентгеновского павильона ключ от которого находился у Баяна Липского — обретенного мною в Сангородке друга и заступника.

Баян первым пустил в ход механизм лагерного блата для вызволения меня с лесозаготовок и успокоился, только когда я оказался вполне вылеченным и благополучно устроенным. Мы сошлись с ним коротко. Был он несколькими годами моложе меня, плохо и мало кое-чему учился — из-за рогаток, существовавших для таких, как он, дворянских отпрысков, да еще с матерью, урожденной Орловой! — стал ярым футболистом, отчасти поэтом и — полностью — оптимистом. Здоровье и сила натренированных мышц питали его всегдашнюю бодрость и предприимчивость, как и неизменный успех у женщин, сделавший Баяна немного фатом. Физиотерапия и рентген приводили к нему решительно всех супруг начальников, и Баян, великий, по-лагерному, блатмейстер, легко обращал их в своих покровительниц и, не сомневаюсь, любовниц. Некрасивое, но характерное лицо с чувственным, жадным ртом, плотоядно вырезанные ноздри, прижатые к черепу острые уши, придававшие ему сходство с фавном, да еще фигура олимпийского чемпиона с греческой вазы влекли к нему праздных, сытых пресными ласками своих дубоватых мужей супруг, и Баян мой катался как сыр в масле. Его даже поселили за зоной в домике, отведенном заключенным врачам.

И чудесным же товарищем был мой легкомысленный, циничный Баяшка! Едва о чем-то догадавшись — а сметлив и шустер он был как никто,— он предложил достать для Любы назначение на водные или элетропроцедуры. Вот и предлог для посещения его заведения, а там:

— Комар носу не подточит! Запру вас в своей комнате и — на здоровье... Да не красней, святая душа,— Баян от души хохочет,— дело житейское. И все будет шито-крыто. В лагере, сам знаешь, всего опаснее сплетни.

Пошли дожди, и я передал Любе предложение Баяна. Она закрыла лицо руками. В этом и вправду было что-то унизительное, коробящее стыдливость. Но... затянулось ненастье. И настал день, когда Люба сказала, что сама договорилась с Баяном.

По вечерам мы иногда сидели в опустевшей чертежной.

Добросовестная Люба корпела над своими ватманами и в неурочное время — под аккомпанемент моих рассказов о местных происшествиях. Вспоминали мы и стихи; я, робея, читал свои переводы. Изредка присоединялся к нам Веревкин, по-всегдашнему замкнутый, немногословный. Он был сильно привязан к Любе, даже признавался ей в своих чувствах. Убедившись в отсутствии отклика, стал ее надежным другом. Его выдержка и такт меня поражали.

Мирные, тихие, усыпляющие дни...

Сообща с Кириллом мы уговорили Любу лечь в больницу. Тревога за нее не была напрасной: сдавало сердце. Ее лечили почти наравне с вольными, с выпиской не торопились, и через какое-то время сделались слабее, реже приступы, так пугавшие меня, когда она внезапно замирала с резко сдвинутыми бровями, переставала дышать, потом медленно открывала глаза, устало расслаблялась. «Темная лилия с надломленным стеблем...» — именно так, старомодно и пышно, сказал о ней доктор Ровинский.

У ее койки я просиживал часами. Нам вместе было хорошо. Иногда меня пускал к себе в крохотную каморку подкупленный санитар, и тогда мы оставались с ней подолгу — до подъема. Она серенькой тенью растворялась в глубине полутемного коридора, я осторожно выскальзывал на улицу, испытывая подобие ужаса перед захлестнувшей нас петлей...

Любовь спасала от пошлости и погрязания в вязкой топи себялюбия, не давала опускаться, поднимала нас над собой. «Милый», «любимый» — не было ничего радостнее, полнее и утешительнее этих вечных слов. Они и сжигали, и окрыляли.

Обо всем этом трудно писать и спустя десятилетия, когда уже нет давно Любы. Попытка оживить ее образ приводит к тоскливым размышлениям, застилающим воспоминания об испытанных острых радостях, даже счастье. Томит сознание убожества средств, какими я мог хоть несколько украсить ее дни. Наше чувство обостряли страх и тревога за другого. Всякое опоздание порождало тревогу. Все это придавало нашим отношениям напряженность агонии, неведомую в мирной жизни. И еще они так много значили для обоих, что в них было прибежище и огонек, отогревающий нас — издрогших и отчаявшихся.

Люба была, бесспорно, их тех женщин, чьим расположением мужчины гордятся, чей и мимолетный взгляд не забудешь. Она и в лагерных обносках выглядела сошедшей с рокотовского портрета недоступной придворной дамой. А в манере говорить, в движениях — замедленных, как бы околдо-

ванных — была та сдержанность, что не дает таящейся внутри силе бурно вылиться наружу. В ней угадывалась натура горячая. И если любовь — это сердечная забота о друге, мир, им заполоненный, если она, наконец, в полном взаимопонимании и слиянии чувств и желаний, то мы с Любой тогда познали ее в полной мере, пусть и на очень короткий срок. Познали ли мы тогда то особое, высшее и сокровенное, что присутствует в любви и стремит друг к другу по свету тех, кого Платон считал дополняющими друг друга половинками?.. Кто знает — бросились бы мы там, в большом мире, навстречу друг другу, если бы увиделись не в беспросветных потемках лагеря, где нет выбора?..

* * *

Все лагерные происшествия воспринимались нами болезненно. То были предупредительные сигналы. Напоминания, что в одночасье все может быть расшырено и исковеркано, растоптано в беспощадных лагерных дробилках...

...Итак, в Сангородке имелся театр. На его подмостках выступали профессионалы из заключенных. Подобрать труппу на любые вкусы в те времена было нетрудно: певцов, циркачей, балерин, режиссеров, актеров — на выбор. Заводились эти каторжные сцены не только в видах развлечения начальства, хотя тешило его это немало. Иной говорил «мой театр», «мои актеры» — точь-в-точь как в далекие времена душевладельцы, и хвастал ими перед начальником поплоше. Театры назначались пускать пыль в глаза, подтверждать прогресс и гуманность на советской каторге: тут заботятся о культуре и развлечениях преступников!.. Теперь только плечами пожмешь, вспомнив, сколько неглупых и даже проницательных людей попадалось на эту бутафорию.

...Яша Рубин — пианист Божьей милостью. Все его зовут Яшенькой. Он мой сосед по койке. Тощ, небрит, всегда оживлен; ему двадцать три года. Руки у Яшеньки тонкие и сильные, с длинными пальцами — настоящий клад для пианиста.

Яша почти не выходит из театра: репетирует с кем угодно, разучивает, прослушивает... Он аккомпанирует лагерным примадоннам, сопровождает немые фильмы, иногда выступает с самостоятельной программой. Нечасто, впрочем: сонаты и прелюдии нагоняют на начальство меланхолию.

Было в Яше что-то необычайно милое, непосредственное. Простодушный, даже ребячливый, он словно и не подозревал

в людях зла. Надуть его мог кто угодно. Лагерь перерабатывает почти всех — там и порядочный человек утрачивает совесть, а не ведающие щепетильности и вовсе распоясываются. Редким Яшиным бескорыстием пользовался всяк, кому не лень. Да еще и называли дураком, высмеивали ими же обобранного музыканта.

Ему поступали посылки, деньги — он все без малого раздавал. Стоило кому-нибудь подойти к нему, потужить, что, вот, мол, обносился, как Яша залезал в свой полупустой сидор, вытаскивал оттуда наудачу шарф, носки или кальсоны и торопливо совал просителю, подчас незнакомому,— и при этом конфузился. В результате Яша был гол как сокол. Однако житейские невзгоды его не трогали. Он попросту не замечал убожества обихода, нехваток, дурной пищи; ходил в заношенной вельветовой куртке, какие в те годы носили люди профессий, названных — должно быть, в насмешку — «свободными», в дырявой обуви, обросший и... в самом легком настроении. Музыкальный мир образов и звуков отгораживал его от нашего, лагерного.

Когда находилось время, Яша играл для себя. Я слушал его одинокие импровизации в пустом, полутемном театре. Фигура Яши сливалась с чернотой рояля. Когда музыка смолкала, было слышно, как грызут дерево крысы.

Яша играл и играл. Звуки — скорбные, тоскливые — обволакивали. Веселый Яша играл что-то трагическое, говорившее об одиночестве, мрачных предчувствиях, обреченности... Ближе всего эта музыка была настроениям поздних произведений Рахманинова, которые я услышал много лет спустя.

Яша любил бетховенского «Сурка». Наигрывал, приглушенно напевая слова и по многу раз повторяя рефрен: «По разным странам я бродил, и мой сурок со мною...» И опаляла жалость: у него и сурка не было...

В бараке мое место было через проход от Яши, напротив друг друга. Во сне, тонкое, бледно-смуглое лицо его строжало, взрослело, и он уже не казался так пугающе, так по-детски беззащитен. Заразительной была его всегдашняя готовность к веселой шутке, доброй улыбке; не прочь был Яша подтрунить и над собой. Как-то, благодушно посмеиваясь, он рассказал, как отсоветовал жене важного начальника брать уроки пения.

— Я ей говорю, не тратьте времени на усилия, ничего не выйдет. В вашем возрасте — раз уже за сорок — нет надежды, что слух разовьется. А она говорит: мне слух не нужен!

Ха-ха... Вы научите меня петь, а остальное — не ваше дело. Я сказал, что мне это не под силу. А в театре, говорит, вы так же капризны?

— Да разве так можно, Яшенька! Тебе это боком выйдет! — встревожился кто-то.

— А что тут такого? У нее слуха не больше, чем у этой табуретки.

— Уроки ей все равно ничего не стоят, чего ты щепетильничаешь?

— Ну, знаешь, хоть и бесплатно, а все-таки нечестно давать уроки, когда знаешь, что твоя ученица и кукареку не споет. Лучше открыть глаза, сказать прямо.

Яшу предупреждали: так поступать с начальством опасно — как раз обидится, запомнит.

Из-за полного поглощения музыкой лагерь для Яши был преходящим эпизодом в жизни. Да и срок у него был, кстати, детский — три года. Заработал его Яша шуткой: сочинил, по аналогии с «Марсельезой», слитой с песенкой «Mein lieber Augustin»[1] у Достоевского, попурри из «Интернационала» с чижиком. Кто-то донес. История, в общем, банальная.

Рассказывая о следствии, Яшенька недоумевал:

— Ну что в этом опасного? Шутка, мальчишество... А он: «Дискредитация идеологии!» Право, чудак!

Не ты ли, друг Яшенька, чудак, притом неизлечимый? А быть может, и лучше, что ни в чем Яша не разобрался? Лучше, что тоска и ужас тех, кто хоть раз почуял бездну, не коснулись его сознания, что не ощутил он себя нагим и беспомощным, во власти Князя Мира? И трудно было верить, что минует его горькая чаша...

...В бухгалтерию лагпункта вбежал растерянный Яша.

— Меня прямо из театра взяли... Говорят, на общие работы. Пропуск отобрали... Это наверняка ошибка, правда? Нельзя же прерывать репетиции...

— Не на этап ли берут? — спросил я.

— Нет, говорят, назначили на огороды.

— Вас одного взяли?

— Только меня. Прямо со спевки, мы только начали. Недоразумение какое-то.— Яша прерывисто вздохнул. У него

[1] «Мой дружок Августин» *(нем.)*.

жалко подергивались уголки рта, и он то и дело нервно взглядывал в окошко.

Я стал его успокаивать, обещал все разузнать: авось удастся помочь.

— Я в жизни не работал на огороде. Не знаю, как там все. Вот научусь... огурцы сажать... И на свежем воздухе...— Он пытался пошутить, но улыбнуться не удавалось: губы вздрагивали и не слушались, в голосе прорывались высокие, напряженные нотки.

— Эй, Рубин, чего застрял? — послышался с улицы голос вахтера.

— Сейчас, ах, да... вы, пожалуйста...— Коротко и беспомощно взглянув на меня, Яша выбежал из конторы.

В помещении сделалось тихо. Мы все понимали: снятие на общие работы — пролог к начатому по чьему-то указанию преследованию.

— «Не работал на огороде», «огурцы сажать на свежем воздухе»...— с неожиданной злобой передразнил Яшу холуй начальника лагпункта Васька-Хорек. Он пришел что-то канючить у завхоза и сидел, развалясь на лавке с прилипшей к губе замусоленной папироской.— Там тебе пропишут свежий воздух, жидовская морда! — И сплюнул слюнявый окурок на пол.

Яшу оставили жить в нашем бараке. С зарею уводили с работягами и возвращали поздно — огородные работы были не тяжелые, но держали на них по четырнадцати часов. Яша замкнулся, стал избегать разговоров. Вернувшись, торопился к своему месту и тотчас ложился. Мне было видно, как он, поджав ноги, лежит на боку и не мигая смотрит перед собой.

Когда барак бывал пуст, Яша подходил к окну и, выставив руки к свету, подолгу их разглядывал. На коже множились морщинки, ладони грубели, образовались мозоли; от непривычной сырости болели суставы. Заметив, что кто-нибудь на него смотрит, Яша прятал руки и отходил. Вызволить его с общих работ не удавалось. Оскорбленная певица, жена начальника УРЧ, распаленная доведенными до ее ушей рассказами Яши о неудаче, пообещала: «Будет знать, как трепаться!»

Полили дожди, выпал мокрый снег, и грязь стала непролазной. На Яшу было страшно смотреть. Шла уборка картофеля. Яша приходил иззябший, со сведенными холодом, вымазанными в глине руками: его расползшиеся опорки

оставляли на полу грязные следы. Ворчливый, придирчивый дневальный молча брал швабру и вытирал за ним. И все-таки тщедушный, слабогрудый Яша не слег. Об этом приходилось жалеть: лучше бы он свалился с температурой и попал в стационар. И расположенные к нему врачи опасались положить его в больницу здоровым: из-за затеянной интриги он был на виду.

Яша молчал целыми днями и украдкой все разглядывал свои огрубевшие руки. Утрата беглости пальцев — конец карьеры пианиста. Он перестал, как всегда делал раньше, наигрывать по столу или доскам нар: не верил, что руки удастся спасти. И вот случилось непоправимое.

Утром, как всегда, Яша пошел было на развод, но вдруг, не дойдя до двери, повернул обратно, к нарам. Сел и стал неразборчиво что-то выкрикивать. Я разобрал:

— ...Никакого права!

Мы бросились к нему:

— Яшенька, не смейте этого делать! Вы себя погубите. Потерпите, устроится...

— Яша, у тебя пятьдесят восьмая. За отказ от работы, знаешь...

— Яша, без разговоров расшлепают...

Он упрямо и потерянно повторял:

— Они не имеют никакого права... У меня пропали руки — это моя профессия. Я не могу больше, я объясню... Они не понимают...

— Боже мой, Яша, пока не поздно, бегите на развод. Потом попробуем, напишем заявление, придумаем что-нибудь — только не это! За отказ ухватятся и погубят! Пришьют саботаж...

Отчаяние делало Яшу глухим. Он все твердил про свои права и руки музыканта. Больной, взъерошенный воробьенок, вздумавший обороняться...

В дверях появился нарядчик.

— Ты что это, Рубин, от работы отказываешься? — миролюбиво обратился он к нему с порога.

— Они не имеют права... Я требую перевода на другую работу...

— Права, права... Чудило ты, парень,— снова спокойно ответил нарядчик.— Брось-ка лучше эту канитель. Выходи поскорее.

— Не могу, я... протестую... я требую...

— Тогда пеняй на себя, а я тебе худа не желаю.— Нарядчик постоял, словно придумывая еще какие-то слова, потом,

пожав плечами, повернулся и медленно вышел из барака. Почти тотчас вошли дежурный с вахты и вохровец.

— А ну, собирай барахло,— с ходу приказали Яше, и оба подошли к нему вплотную.

Его увели. Больше никто никогда его не видел.

* * *

Судьба Яши потрясла Любу. Она стала подчеркнуто холодно относиться к одному нашему общему знакомому, Михаилу Дмитриевичу Бредихину, который, по ее убеждению, не захотел поэнергичнее заступиться за музыканта.

Трудно найти подходящее объяснение выбору, сделанному такими людьми, как Михаил Дмитриевич, в тот переломный, трагический для России год. Как постичь переход на сторону большевиков кадрового русского офицера, родившегося в старой дворянской семье с прочными военными традициями, отец которого командовал полком Варшавской гвардии? Воспитанник Михайловского юнкерского училища, выпущенный в полк весной 1914 года, Михаил Дмитриевич был разжалован в рядовые за поединок накануне объявления войны. Он проделал ее всю в строю. Вернул себе дворянство и офицерское звание отменной храбростью, отмеченной Георгиевским крестом и оружием. Как же понять службу капитана и кавалера Бредихина в Красной Армии со дня ее образования?

Он никогда не был революционером. Сохранял все кастовые представления военной косточки и монархические симпатии, пусть слегка поколебленные бессилием и ошибками царского правительства перед концом и личной неприязнью к императрице. Не снедало его и честолюбие, он не рвался к крупным должностям, всегда был человеком чести, неспособным искать выгоду. Людей такой закваски невозможно представить «своими» в новой командирской среде: воцарившиеся в ней нравы и обычаи его коробили.

С брезгливостью рассказывал Михаил Дмитриевич о хапугах-командирах, спешащих первым делом, едва приняв часть, к каптенармусу и на швальню, чтобы приказать доставить себе на квартиру «штуку» материи, сапоги, кожу, что только приглянется: себе, супруге, деткам, деревенской родне... По облику, понятиям и духу он был белым эмигрантом, по характеру — фрондером, кем угодно, но не красным командиром, подчиненным троцким и гамарникам со всеми про-

чими ненавистниками русского офицерства. Бредихин не захотел встретиться с графом Игнатьевым, когда тот, потерпев неудачу в эмиграции, отправился прислуживать новым хозяевам, поманившим его генеральской папахой! «Пятьдесят лет в строю — и ни одного дня в бою»,— с презрением цедил Михаил Дмитриевич, отзываясь об опубликованной книге воспоминаний бывшего царского военного атташе. Прямой, мужественный и честный, Бредихин, если и не хотел, по каким-то принципиальным или личным соображениям, примкнуть к Деникину или Врангелю, не мог, не кривя душой и не вступая в конфликт с совестью, служить в Красной Армии. Внутренний разлад и недовольство собой были неизбежны. И, довольно коротко узнав Михаила Дмитриевича, я именно этим разладом объяснял его повышенную раздражительность и неровное поведение, срывы, еле сдерживаемые прежними вышколенностью и воспитанием грубые выходки.

Бредихина я впервые увидал в больничном халате, с забинтованной головой. В дверях палаты вольнонаемных он что-то выговаривал санитару. Тон его, начальственно-уверенный, вежливо-снисходительный, однако безо всякого хамства, привлек мое внимание: так журит слугу желчный, но воспитанный барин. Отметил я и умные, жесткие глаза, и надменное выражение лица со следами породы и холи.

Я расспросил о нем Ровинского, ему доктор рассказал обо мне. И Бредихин как-то пришел в мою палату. Сближение — в возможных границах — произошло быстро. Михаил Дмитриевич любил вспоминать о своих походах, был отличным рассказчиком; я охотно слушал. Так я узнал подробности многих событий начала революции, со дня отречения Николая II, и узнал от участника, обладавшего острым и проницательным взглядом. Развал, разложение старой армии обретали в рассказах Бредихина звучание национальной драмы. Не раз побуждал я его взяться за записки, он этого, однако, насколько я знаю, никогда не сделал. Возможно, как раз из-за необходимости объяснить мотивы, побудившие его встать на сторону большевиков.

Бредихин был обвинен в соучастии в армейском заговоре и более двух лет просидел под следствием. Но военный туз, которого надо было свалить, скончался в тюрьме, расправляться с мелкой сошкой сочли ненужным. Оправдывать и освобождать, разумеется, тоже не стали — не в обычаях такое в этом ведомстве. И Михаила Дмитриевича, дав ему минимальный срок — три года,— отправили досиживать

оставшиеся несколько месяцев в Ухту. Когда я его узнал, он уже освободился и был назначен — не совсем по своему желанию — начальником строительного отдела лагеря.

Он часто приезжал в проектный отдел, где опекал эффектную панну Жозефину, работавшую вместе с Любой и жившую в одной с ней палатке. Вот к нему-то и обратилась Люба по поводу Яши. Бредихин обещал ей выяснить и сделать возможное. Однако вскоре сказал, что вряд ли может быть полезен: случай был, по его словам, особый.

Деликатность положения заключалась в том, что Бредихин рисковал, заступившись за Яшу, восстановить против себя местную Иродиаду — жену начальника УРЧ, остервенелую активистку, мстившую музыканту за отзыв о ее пении. Та была способна отыграться на прекрасной полячке: за связь с вольнонаемным Жозефину могли крепко наказать. И решительный и самовластный Бредихин спасовал, боясь подставить под удар свой негласный, но всем известный роман.

По характеру и из-за внутренней убежденности в своем превосходстве Михаил Дмитриевич не стеснялся переступать установленные для лагерного начальника рамки поведения. На виду у всех он подкатывал на грузовике к проектному отделу, вызывал оттуда Жозефину, усаживал ее с великими знаками почтения в кабину и увозил к себе в Чибью, орлом поглядывая на всех с высоты кузова! И это под завистливыми, оскорбленными взглядами вольняшек: его пренебрежение запретами, для них обязательными, унижало и оскорбляло их. Да и чуяли они в нем чужака, белую косточку, поэтому, несмотря на занимаемую Бредихиным крупную должность, с ним и тут, в лагере, никто из коллег не поддерживал отношений, кроме служебных. В конфликте с женой начальника УРЧ он был бы обречен на поражение.

И все же положение вольнонаемного, даже на самых подчиненных ступенях, было настолько выделено, настолько вознесено над массой зэков, что и самый ничтожный служащий управления был персоной. Бредихин же, в ранге руководителя ведущего отдела, обладал, при всей своей непопулярности, большими полномочиями и возможностями. Его всесильное и благотворное вмешательство в мою судьбу я ощутил в полной мере.

Михаил Дмитриевич предупредил меня, что в кассирах я долго не продержусь, так как на эту должность прочат вольняшку. Да и в Сангородке, как только истечет срок инвалидности, не оставят. И тогда — греметь мне снова по

предательским лагерным дорожкам. Он поэтому заранее переговорил с начальником геологической разведки, тот согласился взять меня наблюдателем в геофизический отряд. Есть, мол, такой прибор — вариометр, определяющий подземные структуры и нефтяные купола. Игрушка эта стоит целое состояние в валюте, и потому лицу, к ней приставленному, обеспечено прочное положение, едва ли не экстерриториальность — по крайней мере, против посягательств начальственной мелюзги.

— Не боги горшки обжигают. Там есть милейший молодой геофизик, он до полевого сезона вас натаскает — в лучшем виде! Станете незаменимым: маг таинственных крутильных весов Этвеша... Так что решайтесь, а я все устрою.

Перспектива бродить по тайге кружила голову. Но расстаться с Любой?..

— Выхода нет, милый мой,— твердо и печально сказала она.— С лесоповала уже не вырвешься. А геологи расконвоированы, живут за зоной. Из Чибью ты всегда можешь прибежать меня навестить — всего два километра.— Она с усилием, неловко улыбнулась.

Но как мне было решиться? Я все изыскивал разные предлоги, не давал Бредихину ответа. Не только хотелось продлить горькое наше счастье, но было суеверно страшно оставлять Любу, как-никак живущую с сознанием, что она не одна, есть под боком родная душа. Но приключившееся чрезвычайное происшествие побудило меня внять голосу благоразумия.

Экспедитор Сангородка, лицо всемогущее, попался (по-лагерному — погорел) на подделке документов, присваивании денег и посылок заключенных. Его увезли в центральный изолятор, и все считали, что мошеннику не выпутаться. И были ошеломлены, когда через короткое время он вернулся — следствие прекратили, и поганца восстановили на прежней должности!

Он обходил контору и самодовольно, как бы ожидая поздравлений и одобрения, протягивал всем руку. Изо всех, не исключая простоватого начфина Семенова, один я оставил его руку висеть в воздухе, демонстративно заведя свою за спину. Он переменился в лице. Сипло выматерившись, триумфатор вышел с угрозами в адрес чистоплюя, брезгующего честным оклеветанным пролетарием. Этой донкихотской выходкой я нажил себе опасного врага.

Экспедитор вскоре получил повышение — стал завскладом и все сулил проучить меня на всю жизнь: «Будет помнить,

как оскорблять Марка Семеновича!» И когда в моем департаменте произошло ЧП — с кассы была сорвана печать,— мне сразу шепнули, откуда направлен удар. Меня спас на этот раз счастливый случай: кто-то спугнул грабителей, и сейф остался цел. Я помнил судьбу Воейкова на Соловках. И решил не искушать свою.

В эти последние свои дни в Сангородке я запасся впечатлениями, язвящими меня до сих пор.

* * *

Жарко, как бывает на Севере в начале лета, когда солнце круглые сутки не заходит за небосклон. В окошке вахты — прилепившегося у ворот зоны бревенчатого домика — нудно звенят комары и по стеклу упрямо ползают серые от пыли слепни. Они будут искать выхода, пока не погибнут от жажды.

Дежурному вахтеру они надоели до смерти. Дотянуться, чтобы их передавить, лень, да и новые скоро наберутся. Впрочем, у него есть занятие. Он макает перо в пузырек с чернилами и, отыскав на исчирканных листках потрепанной книжки пропусков свободное место, выводит свою подпись. Пишет старательно, навалившись грудью на стол, сопя и высовывая кончик языка. Пухлые пальцы крепко сжимают тонкую ручку у самого пера, а росчерка, какого хочется, не получается. «С. Хряков. С. Хряков. С. Хряков».

«С» выходит здорово, не хуже, чем у начфина Семенова, а вот завиток после «в» — никуда, закорючка какая-то, не поймешь к чему и всякий раз по-иному! Хряков отшвыривает книжку, затыкает пузырек бумажкой, с огорчением замечает чернила на указательном и большом пальцах, про себя легонько матерится и уставляется в окошко.

Что там увидишь, чем развлечешься? В зоне Сангородка и вообще-то народу раз два и обчелся, все только калечь, инвалиды, а в выходной день и вовсе пусто. Вызвать, что ли, кого?.. Рассыльный тут — худой бестолковый старикашка в засаленной телогрейке. Он с ней не расстается и в такую жару — торчит вон напротив на лавочке на самом солнцепеке, свесил голову и не шевельнется. Чурка чуркой! Окликни, вскочит как чумовой, зашамкает беззубым ртом, засуетится, а сразу понять, куда посылают, не может. Пуганый какой-то. Забормочет «гражданин начальник, гражданин начальник», словно каша в слюнявом рту... Такому дай разá по кум-

полу — и дух вон! Какой это рассыльный? Ни расторопности, ни вида — вонь одна!

А Хряков содержит себя в чистоте, любит баню. Белье от прачки принимает дотошно.

— Опять небось вместе с вашим вшивым кипятила? Смотри у меня...

Жара размаривает, томит... Сеня, попав в охрану Сангородка после хлопотливой конвойной службы, на диво быстро отъелся и раздобрел. Вот бы в деревню таким заявиться! Кожа на щеках и округлившемся подбородке натянулась и лоснится, что твой сатин; складочки появились на запястьях, как у новорожденного. За что ни ухватись — не уколупнешь! Гимнастерка, штаны, все в обтяжку. Зато Сеня стал сильно потеть, под мышками всегда растекшиеся темные пятна.

Что придумать? Пол в дежурке вышаркан и выскоблен — его уже два раза мыли с утра, а еще нет десяти... Двор прибран, выметен; песок граблями изузорен; пройди вдоль и поперек — не подберешь обгоревшей спички, не то что чинарик, можно поручиться! Насчет порядка — народ вышколенный, не придерешься... Даже Жучка, что прижилась у заключенных, и та в зоне ни-ни! У вахты встанет, хвостом повиливает: ждет, когда кто пройдет в калитку, чтобы прошмыгнуть наружу. И таким же манером обратно в зону: вежливенько в стороне дожидается, пока пустят. Тоже школу прошла, шельма! Голоса никогда не подаст: знает — нельзя. Начальство и так сквозь пальцы смотрит: не положено зэкам держать животных. Вон она — улеглась в тени каптерки против проходной, прижалась к завалинке, так что не вдруг заметишь. Тварь, а свое место знает.

Стрелки ходиков еле ползут. Хряков не дает гирькам опуститься, то и дело подтягивает. Потом подолгу, упорно смотрит — как идут часы после подводки. Забастовали они, что ли? Часовая стрелка — туды ее растуды! — на месте стоит. До смены, как ни верти, три часа с гаком.

В распахнутую настежь дверь идет раскаленный воздух, если затворить ее — вовсе нечем дышать. В носу, во рту пересохло, ладони влажные — прямо наказание! За квасом в вохровскую столовую посылать рано. Повар не поглядит, что ты дежурный по лагпункту, и пошлет твоего рассыльного с кувшином подальше: знай время! Можно бы прогнать старикашку на кухню зэков за пробой, да на эту жратву Хрякова не тянет. Ему сейчас кисленьких да солененьких заедок, жирненького, запить компотцем: если похолоднее, враз ведро бы осадил! Или нет — сперва лучше помыться. В предбаннике

полутемно, скамья застлана простынями, припасен свежий веник. Примешься не спеша разбираться и на дверь поглядываешь: сейчас принесут белье прямо из-под утюга, чистый таз. В прачечной знают, кого посылать к Хрякову. Там, на воле, и не поглядел бы на такую бабенку, а в лагере сойдет. Да и парить мастерица...

Хряков вздрогнул от нахлынувших ощущений. Ему, сытому, двадцатисемилетнему, в самом соку, ему ли сидеть тут зазря? Он с досадой потянулся за книжкой, но больше негде пристроить ни одной подписи. И откуда эта чертова духота взялась? Чем займешься? На беду, раздавил карманное зеркальце. Хряков любит, усевшись поудобнее и облокотившись на стол, не торопясь, обстоятельно освидетельствовать свою физиономию — участок за участком. Портрет, ничего не скажешь, правильный. Возьми хоть глаза — острые, так и сверлят, голубенькие; тот же нос — не задранный какой-нибудь, а с горбинкой, небольшой. Верхняя губа тонковата, к зубам прилипла, зато нижняя полная, валиком. И кожа всюду гладкая, чистая, не как у некоторых, в веснушках да угрях! Про зубы и говорить нечего — все до единого целы, ровные, крепкие, недаром их Сеня на дню по нескольку раз спичкой прочищает. Только вот брови огорчают — чего-то не растут и светлые, не видать совсем...

Сеня долго и дотошно осматривает ногти: обкусаны так, что ни единой заусеницы не оставлено, хоть грызи живое мясо!.. Хряков потянулся, снова взглянул на часы и вышел наружу.

С верхней и единственной ступени вся зона как на ладони. По-прежнему ни души. Все словно нарочно попрятались по баракам: ни один не выйдет. Боятся, выученные черти, как бы ради выходного не попасть в кандей! И для чего только зэкам выходные? Ни на что они им, баловство одно. Приподняв фуражку со звездочкой, Хряков стал обтирать платком обритую наголо, с плоским затылком и маленькими, мясистыми ушами голову. Заодно обтер лоснящиеся щеки, подбородок, тоже свежевыбритый. Исайка не зря трудился — намыливал, скоблил, оттягивал тугую кожу, подчищал, тер, парил компрессами и напоследок освежил «Ландышем».

— Только для вас, гражданин начальник, достал!

— То-то, обрезанный, знаешь!..

Капельки пота, скопившиеся между лопатками, струйкой потекли по спине. Сеня расстегнул пряжку ремня — авось дунет чуток, пахнёт под рубаху...

И Хряков стоит, прислонившись к косяку двери, взмок-

ший и взведенный неопределенной, не находящей выхода досадой, смутной неудовлетворенностью плоти, и слегка пощелкивает сложенным пополам ремнем. Распоясанный, он выглядит еще более плотным, налитым.

Что бы такое сделать, чтобы скорее пришло время банного блуда, жирного обеда с компотцем? Маета одна...

А этому дохлому рассыльному жара нипочем: все сидит на солнце и не шевелится. Наверное, задремал. Да что ему — забота, что ли? Сиди себе день-деньской, жди, когда куда сгоняют — на кухню, к нарядчику или каптеру. Ему небось везде обламывается: повара, каптер, хлеборез не дураки — знают, что около начальника трется!

Старикашка, впрочем, не спит. К нему подобралась собака, стоит возле, положив голову ему на колени, и еле-еле, деликатно помахивает опущенным хвостом, а он темной, с крючковатыми пальцами рукой водит у нее по спине — гладит с головы, вниз по шее и дальше, потом снова и снова. Хряков даже недоумевает: перестанет ли он когда гладить, а дворняга шевелить хвостом? Они, похоже, позабыли обо всем на свете, даже его, дежурного, не замечают, даром что он стоит тут же, почти навис над ними в пяти шагах. Старику что надо? Рад, дурень, теплой собачьей морде на высохших коленях, а ей, твари, только бы приласкаться к лагерникам! Они ее кормят, балуют, каждый норовит погладить, полакомить. Эта ихняя Жучка зато разжирела, обленилась, будто так положено: живет в холе, сыта по горло, спит сколько вздумается, лебезит перед зэками. Ведь что, стерва, придумала: как подходит время к шабашу, садится возле вахты и ждет. Только начнут работяги из-за зоны возвращаться, к каждому подходит, о ноги трется, хвост так и работает... Ни одного не пропустит!

... — Жучка, подь сюда! Чего, дура, боишься? Ко мне!

Старик вскочил с лавки как ужаленный, заморгал на солнце. Хвост у Жучки сразу замер. Уши ее с вислыми кончиками насторожились. Хряков сошел со ступени, шагнул к собаке.

— Не тебе, что ли, сказано — подь сюда?.. Дура упрямая... Поучить тебя, что ли...

Ошейника на Жучке нет. Хряков поглядел кругом, вдруг вспомнил про свой ремень. Он пропустил его сквозь пряжку и подошел к собаке вплотную. Жучка стояла неподвижно и следила за ним, поджав хвост. Вахтер, нагнувшись, надел ей на шею петлю и легонько потянул за конец.

— Ну что, и теперь не пойдешь? Уперлась? Сила на силу? Да ты никак укусить вздумала, сволочь?

Собака мотнула головой, норовя освободиться от ремня, уперлась четырьмя лапами: петля сдавила ей шею, и она, испугавшись, метнулась прочь. Потом, замерев, с тоской уставилась на Хрякова. Он начинал входить во вкус.

— Ты вот как — не хочешь? Обленилась? Ну так я научу тебя, краля, вьюном вертеться! Ты у меня, стерва, побегаешь...

Он с силой потащил за собой собаку, она поволоклась по песку, упираясь лапами. Петля затянулась туже, тогда Жучка побежала, стараясь не отстать от своего дрессировщика. Он, забыв о жаре, обливаясь пóтом, стал бегать взад и вперед, круто менять направление. Полузадушенная собака сбивалась с ног, висла и тогда волочилась по земле.

— Бегай, сволочь, бегай! — хрипел он, запаленно дыша.

И тут, на крутом вираже, с силой развернутая собака на миг отделилась от земли. Хрякова осенило.

Он остановился, расставил ноги и стал вертеться на месте, все быстрее и быстрее. Жучке уже не удавалось пробежать — она падала, тащилась по песку. Шея у нее неестественно удлинилась, сделалась тонкой. Дергаясь всем туловищем, она сделала несколько последних судорожных усилий.

— Я те научу, я те устрою карусель,— свистел Хряков. Говорить он уже не мог. Весь в пене, он бешено вертелся. Лицо его налилось кровью, дышал он со всхлипами и клокотанием, бормотал что-то косноязычное и страшное.

Жучка, с вывалившимся языком и вывернутыми белками, крутилась вокруг него по воздуху, как праща.

Хряков приседал и качался, удерживаясь на месте. Наконец, внезапно ослабев, выпустил ремень. Собака шмякнулась на песок, странно длинная, с вывернутой не по-живому головой.

Вахтер в изнеможении опустился на лавку. Бегавший все время вокруг него старикашка тоненько верещал, давясь слезами:

— Гражданин начальник! Гражданин начальник! — так что и не разберешь.

Хряков отдышался:

— Ремень, падло, подай!

* * *

...Летний дождь шумит по заплатанному брезенту палатки. В ней как в теплице, и влажная одежда льнет к телу, а глаза слезятся от едкого дыма. Старенький брезент для комаров не преграда, они пролезают в тысячи мелких и крупных прорех, не дают отдохнуть. Дымарь их несколько угомоняет, но и нас доводит до одури.

Я — в сердце печорских дремучих заболоченных лесов. Всю кладь мы переносим на себе — от лошадей в этих дебрях пришлось отказаться. Солнце светит почти круглые сутки, и круглые сутки донимают комары, в дождь и вёдро — одинаково. Духота в густых ельниках такая, что в накомарниках нельзя работать. Изнурительная ходьба по кочкам и бурелому; за день еле удается справиться с работой, на отдых — и какой! — остаются скупые часы, так что я выматываюсь вконец. Но настроение легкое, даже веселое. Осточертевшие лагпункты с поверками, людными бараками, обысками, стукачами, тупыми и придирчивыми вахтерами, с вечным страхом козней — от начальства и своего брата каторжника — в сотне километров отсюда. И я готов как угодно уставать, кормить таежный гнус, лишь бы туда подольше не возвращаться. Жизнь у костров, без крыши над головой, с ложем из лапника и умыванием в студеных ручьях мне по сердцу. Терпкие запахи трав, изначальный мир нетронутого леса, такой далекий нашей скверны! Не окажется ли и в будущем моя вновь обретенная специальность средством устроить жизнь? С охотой, вольным кочеванием, за тридевять земель от городов-предателей, недосягаемым для очередных репрессий...

Отряд невелик — человек десять притершихся друг к другу техников и рабочих. Со мной в партии — профессор математики Бауманского института в Москве Сергей Романович Лящук и бывалый штурман дальнего плавания Егунов, оба с небольшими сроками. Они не утратили интереса к материям, далеким лагерного житья-бытья, и у костров оживают отголоски забытой жизни. Стихи, Бернард Шоу, Анатоль Франс, миры и звезды...

Снабжение неплохое: чаю с сахаром и махорки хватает. Немало добываем сами. В таежных ручьях пропасть харисов: я научился ловко подсекать их на мушку. Проводник — местный охотник — дает мне контрабандой ружье, и я приношу рябчиков и глухарей. А когда он дал мне патроны с пулей, я с подхода застрелил лося. Мясо жарили, коптили

впрок. У костров — пирование. А сколько ягод! Едва сошла черника — стала поспевать черная смородина, за ней кислица, потом брусника, черемуха, клюква... До затяжного осеннего ненастья мы живем благодатной таежной жизнью. Наконец снега и мороз заставляют выбираться из леса. Нам отведен дом за зоной. Мы вычерчиваем свои маршруты, составляем векторные схемы. На ватмане возникают загадочные очертания подземных структур. Нефтяники по ним укажут, где бурить.

Новенький наш бревенчатый дом оказывается неконопаченым. Сколько ни топи — вода в помещении замерзает. Но мы крепимся: лишь бы не переселяться в зону. Весь день уходит на пилку дров — печь ненасытна. Да еще обороняешься от крыс — их полчища. Они и белым днем снуют по стеллажам с кернами — мы живем в казарме брошенной буровой вышки,— по столам с картами и готовальнями и разъяренно пищат. Эти умные твари, как и козлы, сродни нечистой силе. Они способны сблизи злобно смотреть в глаза, причем безошибочно угадывают мгновение, когда надобно отступить.

Вот одна уселась на краю стола, за которым я работаю, и сверлит меня своими бусинками. Я в метре от нее. Замахиваюсь — сидит, не шевельнется: крупная, разъевшаяся. Хватаю припасенный камень, швыряю: она сидит, словно знает, что я промахнусь. Глазки впились в меня, горят — вот-вот подпрыгнет, вцепится. Вскакиваю, бросаюсь к ней. В последнюю секунду она мягко соскальзывает по ножке стола, тяжело шлепается об пол и исчезает. Крысы, когда их много, вызывают мистический страх.

В исходе ноября два наших вольнонаемных руководителя — славные молодые люди, нисколько не похожие на лагерных начальников — добились перевода профессора, штурмана и меня в Ухту и пристроили нас в геологический отдел. Поселили над речкой Чибью, на окраине поселка, в теплой, просторной избе. Там мы и профилонили зиму.

Меня нередко приглашал в свою пустую квартиру Бредихин, и я по два-три дня жил у него в совершенном затворе... Длинные тихие часы одиночества и размышлений. Хозяин не обзаводился ни вещами, ни книгами, жил как на биваке и сам дома не засиживался — все разъезжал по ближним и дальним лагерным стройкам.

Убирал квартиру и приносил обеды из столовой молчаливый, исполнительный Франц. Покончив с пустяшными своими обязанностями, он уходил проведать земляков из приволжских колоний. Возвращался под вечер. Это был настоя-

щий бауэр — с сильными, тяжелыми ручищами пахаря, тосковавший по своим волам, запахам хлебов, разделанной как пух земле и вечерним беседам у пастора, завершаемым пением псалмов.

В двадцать шесть лет Франц стал инвалидом: потешаясь над наивным, плохо понимающим по-русски парнем, надзиратели швырнули его в камеру к отпетым уголовникам. Оттуда его вынесли обобранным, с тремя сломанными ребрами, заикающимся. Напуганным и потрясенным навсегда. Врачи поставили ему инвалидную категорию, и Михаил Дмитриевич взял его к себе. Франц служил с таким рвением, с таким страхом не угодить, что становилось пронзительно его жалко. Из-за явного моего сочувствия и возможности говорить со мной на родном языке он тянулся ко мне и был по-детски, подкупающе доверчив. Когда Бредихин наконец добился увольнения из лагеря и засобирался в Москву, Франца удалось устроить к нам в геологический отряд — поваром и завхозом.

С отъездом Михаила Дмитриевича я потерял влиятельного покровителя, что, впрочем, не возымело на первых порах для меня дурных последствий. Возглавлял геологию в лагере пожилой петербургский ученый Тихонов. Лагерные начальники им очень дорожили: ухтинская нефть должна была вознести их до счастья рапортовать Вождю народов. Тихонов мирволил заключенным и не дал переселить нас в зону, как ни мозолили глаза начальственной мелюзге зэки, жившие в поселке наравне с ними. Тихонов твердо заявил, что мы бываем ему нужны во всякое время и ему удобно, чтобы мы были у него под рукой. И начальство уступило, хотя его очень раздражали зэки, не утратившие пристойного облика и замашек гнилой интеллигенции.

Сам начальник управления часто заходил в геологический отдел — расспрашивал и обхаживал Тихонова: не терпелось доложить в Москву о найденных неслыханных запасах нефти. И как-то вздумалось ему взглянуть на магический вариометр. Аппарат стоял в пристройке к чертежной. Рядом с помещением для драгоценного прибора — светлая комнатушка-закуток, отведенная мне.

В моей келье было чисто и прибрано. Расстеленный половичок у кровати и букет черемухи на самодельном столе делали ее уютной и привлекательной. Начальник поинтересовался, кто тут живет. Ему назвали мое имя. Он помолчал, что-то припоминая.

— А-а, этот барин...

Зловещие эти слова были тотчас переданы мне прибежавшим в контору дневальным. Он запричитал надо мной, как над покойником. Я тут же все бросил и побежал прощаться с Любой. Как было сомневаться, что «барину» пропишут кузькину мать?!

Гроза, однако, счастливо не разразилась. Как потом стало известно, властелин лагеря не преминул в разговоре с Тихоновым ввернуть ядовитую фразу о заключенных, столь, очевидно, необходимых, что их поселяют в квартирах люкс. Добрый мой начальник сухо заявил, что должен быть спокоен за прибор с золотыми деталями и рад, что нашелся человек, заслуживающий доверия.

Будь у начальника на то власть, он и Тихонову показал бы, как разговаривать на равных с ним, владеющим не одним десятком тысяч заключенных душ. Да вот позарез нужны знания оставленного по недоразумению на воле старорежимного специалиста — недобитой контры, какой были, несомненно, для таких вот чекистов в крупных чинах русские дореволюционные интеллигенты...

* * *

Наступала весна 1941 года. Я был вправе считать на дни и недели оставшиеся до конца срока месяцы: после пятидесяти семи «высиженных» — три «до звонка». Как будто так мало! Но — это давно отмечено — для заключенного эти последние, поддающиеся счету дни особенно тягостны: они тянутся бесконечно, наполнены страхами, предчувствием внезапной беды. Хотя я суеверно боялся строить заранее планы на будущее, все же про себя решил остаться в лагерной геологической разведке вольнонаемным. Как ни манило очутиться подальше от зон и лагпунктов, не соприкасаться больше с их начальниками и буднями лагерей — я бы остался, даже если бы не было Любы. Начинать жизнь приходилось с нуля, и, чтобы мало-мальски опериться, мне приходилось рассчитывать только на собственные силы. Всеволод, освободившийся из Воркутинских лагерей в марте, советовал мне не торопиться с возвращением в родные места и стараться зацепиться на Севере. Брату не разрешили вернуться в Москву, а в городишке под Калугой, где он поселился, не принимали на работу. Он жалел, что отказался от предложения остаться в Воркуте.

Передал мне с оказией совет не стремиться из Ухты и Бре-

дихин, которому какие-то военные связи помогли устроиться в Москве. Он, кстати, оказался одним из немногих ухтинских знакомых, с которыми мне пришлось встречаться несколько лет спустя, в обманчиво улыбчивые хрущевские времена. Покидая Ухту, Михаил Дмитриевич очень смело взялся доставить моей сестре кое-что из скопившихся у меня тогда заметок, так что если у меня и сейчас в архиве сохранилась тощая пачка пожелтевших, истершихся на сгибах страничек — и этим я обязан ему. Вид их воскрешает его отъезд из Ухты, Франца, пришибленного расставанием, с полными слез глазами; холеную, светски-выдержанную панну Жозефину, с кресла молча наблюдающую за последними сборами. Сам Михаил Дмитриевич громогласно командует отправкой вещей: он в необычно приподнятом, нервном настроении. Однако с панной Жозефиной особенно учтив и предупредителен — манера рыцарски-вежливого преклонения перед дамой ему никогда не изменяет. Угадывалось, впрочем, что обе стороны расстаются спокойно, без надрыва.

В Москве Бредихин с налета покорил сердце подруги моей сестры Натальи Голицыной — Ольги Борисовны Шереметьевой и на правах мужа поселился в бывшем графском особняке на углу Воздвиженки и Шереметьевского переулка (ныне пр. Калинина и ул. Грановского), с комнатами для прислуги, населенными уцелевшими потомками прежних владельцев. Там жил Александр Александрович Сиверс, отец погибшего в соловецкую бойню мужа Натальи Михайловны Путиловой. Старый Сиверс-отец, благодаря редким знаньям геральдики и генеалогии, опекался Академией наук в качестве незаменимого специалиста. Но об этом дотлевающем очажке старой Москвы когда-нибудь потом...

Люба работала теперь только урывками. Она почти не выходила из больницы. Кончилось тем, что ей определили постоянную инвалидную категорию. Это означало перевод на особый лагпункт, куда свозили нетрудоспособных. Начальник проектного отдела заступался вяло, хотя и ценил искусство Любы: ему был не нужен постоянно болеющий сотрудник. Вмешалось и бдительное начальство, заставившее выписать Любу из Сангородка — у нее был декомпенсированный порок сердца.

В нескольких ветхих бараках, окруженных забором, с караульной будкой у ворот, помещали свозимую со всего лагеря калечь и искали, как и тут выжать из нее возможную

пользу. Старики плели корзины и вязали метлы; женщины чинили и штопали всякую рвань — арестантскую одежду и белье. Не пригодным ни для каких работ предоставляли медленно умирать на сверхэкономном пайке.

Эти инвалиды «загибались» на диво быстро. И в сторонке от зоны пустырь, поросший редкими сосенками, на глазах заполнялся могильными холмиками величиной с кротовый бугорок. Закапывали мелко, без гроба, раздетыми догола, безо всяких табличек. К зиме вырывали несколько просторных ям, как в эпидемию тифа на Соловках, чтобы не долбить мерзлую землю, и уже не хоронили каждого отдавшего Богу душу отдельно, а сбрасывали в общий котлован.

Любу поддерживала вера. Она не ожесточилась и не роптала. Учила и меня терпению. И это испытание она перенесла спокойно, с присущим достоинством, хотя понимала отлично, что распахнувшиеся перед ней дрянные воротца инвалидного лагпункта уже никогда перед ней, живой, не отворятся: к весне сорок первого года она только разменяла третий год своего пятилетнего срока. Не было у нее надежды еще увидеть свою родную Москву, комнатку матери на милом Арбате, оставленных близких и друзей.

Конвоир с сопроводиловкой, Веревкин и я провожали Любу. Женский барак мог, на первый взгляд, обмануть приметами уюта. Топчаны с прибранными постелями, застланные салфетками столики, на окнах занавески, пришпиленные над изголовьями карточки и вырезанные из журналов иллюстрации. Что-то мишурно-неверное на мгновение заслоняло вопиющую нищету и безысходность жизни в этих стенах. Были тут слепые и впавшие в детство, парализованные, безногие, однорукие... Любу, правда, поместили в одну из двух отгороженных в бараке комнат, отведенных для «работающих». Стоявшие вдоль стен койки обрамляли большой стол на козлах, заваленный стираным лагерным бельем. Его чинили сидевшие вокруг на табуретах женщины.

Эта картина отдаленно напомнила мне просторное сводчатое помещение в женском монастыре в Торжке, где послушницы вышивали белье городским и уездным модницам. Мне мальчиком доводилось там бывать с матерью или гувернанткой — искусное шитье и кружева новоторжских монахинь пользовались большим спросом, помещицы и купчихи заваливали их заказами.

— Ну вот, видите,— говорила измученная дорогой Люба,— совсем и не страшно: чисто, светло. Буду тут жить спокойно и тихо, в свободное время вышью маме сорочку.

У вас на работе, Кирилл Александрович, все не успевала. Вы ведь будете меня навещать? И книги носить...

К Любе подошла старшая мастерица — рыхлая, астматическая, с добрыми поблекшими глазами,— показала ей застланную пустую койку:

— Только вчера освободилась. Постарше вас была женщина. Померла в одночасье. Ртом воздух ловит, а дыхания нет... Захрипела, и все!

Конвоир поторапливал. Кирилл Александрович вышел первым. Люба стояла против меня с закушенной губой.

— Простимся, милый.— Люба провела рукой по моим волосам, погладила щеку.— Храни тебя Бог... Маме передай...

Сжала руки, зажмурилась и замерла, стиснув зубы: всеми силами справлялась с взрывом отчаяния.

— Не думай так, я же говорил тебе: через три месяца меня освободят, я никуда не уеду, останусь подле тебя. Вольнонаемному будет легче о тебе заботиться. Пуще всего — береги себя. А там, Бог даст, выхлопочем тебе перевод в ссылку...

— Да, да, так, наверное, и будет, все устроится,— одними губами подтверждала Люба.

Она истово меня перекрестила, довела до двери, молча поцеловала в лоб, потом коротко в губы, и я пошел, веря, что и впрямь мне еще доведется ее видеть, потом вызволить отсюда... И мы устроим нашу жизнь, и я снова буду слышать ее родной, медленный, колдовской голос, видеть прекрасные движения длинных точеных рук...

* * *

Еще по санному пути гравиметрическая партия была отправлена на полевой сезон и осела в зарянской о нескольких дворах деревне Лачь, на крутом берегу холодной и быстрой Ижмы, еще крепко закованной льдом. Мы расселились по избам.

Мои хозяева, потомственные охотники Габовы, были по-таежному гостеприимны, радушны, и я вскоре почувствовал себя членом семьи, был посвящен во все ее дела. Глава дома Николай Костя, как на местный лад переделали русское Константин Николаевич, маленький, жилистый и подвижный, легкий на ногу, и в семьдесят лет добычливо рыбачил и белковал. Сын его, веселый и обходительный Костя Вань, был подряжен к нам проводником и этой удаче откровенно радо-

вался: паек и зарплата лагерного вольняшки должны были подправить дела многодетной семьи, живущей, как и большинство обитателей Лачи, скудно. Костя Вань сводил меня на сказочно обширные глухариные тока, о каких за пределами северных нетронутых лесов и понятия не имеют. Мы с ним вдвоем намечали летний маршрут и по неделе не выходили из тайги. Мог ли я тогда предположить, что длинные наши и откровенные разговоры мне придется вспомнить в трудный час, дивясь нитям, какими жизнь опутывает нас самым непредвидимым образом?

В нашей партии произошли перемены: освободились и уехали Ляшук с Егуновым. И, искренне желая друг другу благополучия, мы не могли не чувствовать при расставании некоторого облегчения: взаимная откровенность выявила глубокие расхождения между нами. Профессор, напористый последователь Кропоткина, презирал всякую власть, а меня, из-за моего умеренного монархизма, отнес к черносотенцам; капитан же, набравшийся каких-то абсолютистских теорий и считавший неизбежным покорение мира германским вермахтом — как раз тогда Гитлер заглатывал одно европейское государство за другим,— нетерпеливо и начисто отвергал мои либеральные взгляды и суждения о достоинствах христианской морали.

Сменился и начальник партии. С новым — молодым, корректным и сухим — установились подчеркнуто официальные отношения: он, не в пример своим предшественникам, сразу дал почувствовать пропасть, отделявшую его от зэков. И я еще больше сблизился с Францем и несколькими охотниками. Никакая лагерная ржа не могла разъесть честную крестьянскую суть несчастного немца: раздавленный, не понимающий, за что обрушилось на него столько бед, Франц оставался самим собой — добродушным, услужливым, простым, неспособным на зло. Велик был в нем запас любви к людям: обо мне он заботился как нянька и был рад услужить кому угодно. Зато во всей Лачи не было более желанного гостя, чем Франц. Его круглую стриженую голову можно было увидеть в любом конце деревни — то он кому-то помогает напилить дров, то истопит баню или наносит воды. Да еще одаривает всех своей простодушной, печальной и славной улыбкой.

Под стать общежительности и простоте Франца был и строй жизни этой глухой лесной деревушки, где и на третьем десятилетии после революции продолжали почитать старших, держать клети незапертыми, выручать друг друга. И как

первый грозный признак наступающего разложения — вошедшая в обиход богохульная матерная брань...

Счет моей неволи шел уже на куцые недели, наконец пошел на дни... Настроение было приподнятым, и дни стояли яркие, солнечные, удачно складывались дела на маршруте, Люба писала часто и уверяла, что чувствует себя много лучше. И вот свершилось: начальник отозвал меня с трассы и предложил сдать лагерное обмундирование — иначе говоря, разуться и раздеться. Было велено отправить меня в Ухту, на лагпункт № 1.

Через реку меня перевез на своей лодке Костя Вань. На ближайшем лагпункте. я был присоединен к нескольким этапируемым зэкам и отправлен на грузовике с вохровцами. После почти двух лет расконвоированного существования я снова прошел через все ощущения арестанта, охраняемого бдительным недобрым оком. На огромном центральном лагпункте — в столице ухтинской рабовладельческой провинции — я несколько дней вкушал в полной мере от сладости поверок, вохровских придирок, «шмонов». И дождался часа, когда с развода меня выкликнули и повели в УРЧ, где после множества идиотских формальностей, опросов и сличений — процесс освобождения из заключения глубоко чужд и противоречит прочным традициям карательно-подавляющих органов — вручили временное удостоверение, подлежащее обмену на паспорт по месту постоянного жительства. Из обшарпанного здания УРЧ я вышел самостоятельно, без конвоира за спиной.

С крыльца управления, построенного на горке, открывался вид на поселок. Над излучиной сверкающей реки дымила кирпичная труба ТЭЦ, темнели бревенчатые стены однотипных домов под тесовыми крышами... Мне предстоит жить в одном из них. Долго ли? Стараясь теперь, спустя тридцать с лишним лет, воскресить как можно точнее тогдашние свои переживания, я припоминаю, что занимали меня практические соображения. Не было и тени того ликования, того вздоха полной грудью, предчувствия воли, что так впечатляюще описал Достоевский в «Записках из Мертвого дома»...

Я зашагал к геологическому отделу, где, как было договорено, меня должны были принять на работу в качестве вольнонаемного: я рассчитывал в тот же вечер показать Любе свеженькое удостоверение лагерного сотрудника...

Глава восьмая
И ВОТ, КОНЬ БЛЕДНЫЙ

— Слышали?

— О чем?

— Как о чем? Война!.. Немцы перешли границу, бомбят наши города.

— Быть не может! — только и мог я, ошеломленный, еще не постигая всего значения новости, проговорить. Однако сразу отключился от насущных забот, меня занимавших.

Эту новость мне преподнес Алексей Иванович Куликов, освободившийся уже года два назад бывший зэк.

Он юнцом участвовал в Ледяном походе, уцелел в резню, устроенную Бела Куном в Крыму после ухода Врангеля, а затем испытал все превратности судьбы человека с тавром белого офицера. Ему благоволил Бредихин, через него с бывшим поручиком познакомился и я. Это был замкнутый, привычно скрытный человек, державшийся незаметно и сводивший свои отношения с людьми к интересам специальности: в лагере он прочно закрепился инженером-строителем.

Мы с ним встретились на безлюдном пустыре, каким была тогда центральная незастроенная площадь Чибью.

— Я только что вышел из кабины грузовика... Мы в тайге ничего не слышали. Это что — западный вариант Халхин-Гола или...

— Вот именно, «или»... Схватка не на жизнь, а на смерть. И у хлопов будут чубы трещать, как никогда: паны позаботятся! — Алексей Иванович оглянулся и, хотя вокруг за двести метров никого не было, продолжал горячим шепотом: — Начальство беспрерывно заседает, в управление никого не пускают. Телеграф работает круглые сутки... И то сказать — есть над чем задуматься. Война, а в стране десятки миллионов за решеткой. И им не заслабит, перестреляют одну половину, чтобы устрашить другую. Прошел слух, что всех расконвоированных загонят в зону. Вашу геологоразведку прикрывают — не до нее: будут жать на режим... Опасные наступили дни, дорогой мой, не придумаешь, как поступить. Залезть бы на какое-то время как таракану в щель, да где ее тут найдешь? Бежать отсюда надо. Если уже не опоздали...

Мне вспомнились Соловки — остров-западня. Не то же ли и здесь, да и по всей стране, опутанной тенетами слежки, паспортной системы, каким позавидовали бы и самые изощренные полицейские режимы?

Молчун Алексей Иванович заговорил напористо, выговаривая все то, что годами подспудно скопилось на душе:

— ...Обратился к народу — по радио: проникновенно, с дрожью в голосе: «Братья и сестры!» — а? — Алексей Иванович очень верно скопировал неистребимый акцент Сосо.— «К вам обращаюсь я, друзья мои...» Чуете? Друзьями стали, о братьях и сестрах заговорил, палач! Приспичило, наложил в портки — и протягивает руки: выручайте, спасайте... А руки-то выше локтя в крови этих самых братьев и сестер. Да народ таков, что не разглядит и впрямь подымется защищать... своего убийцу!

Мы простились. В отделе, куда я забежал, уже знали о предстоящем свертывании геологической разведки. Все ходили растерянные и озабоченные. Бывшим зэкам был «временно» запрещен выезд за пределы Коми республики, а оканчивавшим срок прекратили выдавать документы «до особого распоряжения». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!..

В военкомат посыпались заявления добровольцев: «Отправьте на фронт». Пятьдесят восьмой статье отказывали. Возможность отсюда вырваться через армию была закрыта.

...На улице уже шагают первые отряды мобилизованных; по поселку ползут слухи о стремительном наступлении немецких танков, о залетающих в глубокий тыл «мессершмиттах»... Впечатление, что в магазине убрали с полок все товары. Люди боятся разговаривать, старательно выполняют первые приказы о затемнении... Беда надвинулась вплотную. Привычный мрак еще сгустился, вот-вот объявятся таящиеся в нем угрозы: убивать будут не только на фронтах войны!

Я сижу в наглухо затемненной кухне — окно плотно задраено одеялом — у моего приятеля и сослуживца. Он — ухтинский старожил, работает в геологическом отделе уже пятый год после ссылки. Но нас с ним сближают дела куда более давние. Он петербуржец и носит фамилию, бывшую особенно любезной юным жителям прежней столицы: это внук или правнук основателя известной кондитерской фирмы «Жорж Борман и К°», поставщика двора его величества. Не знаю, от каких предков — французов или евреев — у Юрия жгучая южная внешность: сросшиеся на переносице шелковые темные брови, крупные, плотные завитки волос; глаза ярко, густо черные; нос тонок, породист, с хищной горбинкой. Юрий тих, осмотрителен и разборчив в людях, с хозяйственной жилкой. На работе он строг и недоступен. Подчиненные — хозяйственники и кладовщики — его побаиваются: у него не украдешь.

Но сейчас мы далеки от проблем снабжения экспедиции. Вполголоса на все лады обсуждаем нависшую надо мной угрозу. Накануне ночью на лагпункте № 1 переарестовали много народу. Целый отряд попок ходил с начальниками по баракам, вызванных по длинным спискам выводили на улицу и рассаживали по грузовикам. Прошелестело: «Заложники...» Выкликнули и мою фамилию. Кто-то с нар ответил: «Ищите ветра в поле. Он освободился!» Вохровец отметил что-то в списке, тем дело и кончилось.

— Опоздали. До следственной части еще не дошло, что вы уже освобождены. Машина лагерного учета громоздкая — не поспевает... Это дает нам крохотный срок, чтобы что-то предпринять. Пока в отдел сообщат, что вас больше нет на списочном составе лагпункта, узнают, что вы приняты на работу вольнонаемным, и начнутся розыски — пройдет день-другой. За этот срок надо отсюда вырваться во что бы то ни стало. Но как?

Юра перечисляет разные варианты, я напряженно слушаю. Ничего путного не придумывается, и мы откладываем решение до утра. Оно, как известно, мудренее...

Уже ночь. Мы потихоньку выходим на лестницу. Юра ведет меня вниз в пустую квартиру: сосед уехал в командировку и отдал ему ключ. Устроив меня, Юра запирает дверь снаружи и велит ни на какой стук не отворять. И я остаюсь один, на самодельном диване, наедине со своей тревогой. Но в безопасности: сюда за мной не придут.

Полудремлю, перебирая в голове всевозможные планы. На всех дорогах заставы — проверка документов: если пробираться тайгой — буссоль есть, карт в отделе достаточно,— то куда? Задержат в первом поселке. Связанные с тайгой заманчивые планы не выдерживают трезвой оценки. Чтобы достать фальшивый документ, нужны не только деньги — они у Юры, может, и есть,— но и знакомства. Да и не вижу я себя живущим под чужим именем.

Под утро я заснул как убитый. И снилось что-то праздничное, светлое. Юра разбудил меня, и сознание тотчас же, без перехода, возвратило к поискам выхода. Я казался себе обреченным, подумывал о самоубийстве: не трать, кума, силы — опускайся на дно! Но Юра — трезвый, находчивый — был настроен иначе. Его рискованному плану я подчинился с облегчением: сейчас меня более всего устраивало поступать по чужой указке.

Было еще очень рано. Мы позавтракали, а к часу открытия учреждений я стоял у двери отдела кадров управления —

сам сунулся в пасть волку! — с заявлением «об отчислении в связи со свертыванием полевых работ». Для читавшего мою бумажку чиновника это было рутиной — увольнялись тогда из лагеря пачками,— но он все-таки спросил:

— Куда переходите?

— У меня повестка из военкомата,— четко ответил я. И это было как раз то, что он в эти дни слышал от большинства посетителей. В верхнем левом углу моего заявления появилась резолюция: «Бух. Произвести расчет».

Потянулись казавшиеся бесконечными нервные часы ожидания, пока оформлялось увольнение «по собственному желанию», готовилась справка, выписывался расчет, открылась наконец касса. Я сидел в коридоре управления как на угольях, прячась за других. Томил страх: вот опознает кто-нибудь из снующих здесь начальников и... Гадать, что ожидало меня в этом случае, не приходилось.

Когда меня выкликнули к окошку за удостоверением и расчетом, я уже был измучен, напряжен до предела: мне просто мерещилось, как, пока с одного стола на другой кочуют бумаги на мое увольнение, оформляются другие — на мой розыск и арест... Тут я был в самом деле, как говорят англичане, a narrow escape — на волосок от гибели!

Но временного удостоверения об отбытии срока и справки об увольнении недостаточно: билет на поезд по ним не получишь. И я снова под запором в пустой квартире. Юра рыщет по поселку в поисках «вольной», не принадлежащей лагерю конторы: авось найдется в которой-нибудь работа в отъезд!

Томительно идет время. Рабочий день подходит к концу, а назавтра — воскресенье, все учреждения закрыты. Это почти верный провал: отсрочка истекает. Чем-нибудь отвлечься, заняться невозможно. Я стою в прихожей и вслушиваюсь в малейший шорох за дверью. А когда надежды почти не осталось — у меня нет часов, светло круглые сутки, но я чувствую, что приблизился вечер,— резко лязгнул замок, дверь открыл Юра.

— Ступайте скорее в представительство ленинградского геологического треста, адрес вы знаете. У них работает в Сыктывкаре отряд, и туда еще вчера набирали народ. И если примут, идите прямо на станцию, поспеете к вечернему поезду. Никуда не заходите — кое-что в дорогу я вам соберу, буду ждать на перроне, в конце, у пакгауза... Только не пускайтесь по улице бегом, покажется подозрительным.

За запертой дверью с табличкой тихо. Никто на стук не отвечает. Я жду и снова стучу. И когда в отчаянии уже схожу

с крылечка, раздаются шаркающие шаги, звук отодвигаемого запора. Слышу из приотворившейся двери:

— Вам кого? — На меня глядит очень грузный, с огромным животом и отечным лицом пожилой человек, совершенно лысый. У него тяжелое, астматическое дыхание.

Я сую ему свои бумажки, запинаясь от волнения рассказываю о своем стаже в геологоразведке. Сам чувствую, что получается путано. Он слушает, глядя куда-то в сторону. Я умолкаю. Молчит и он. Молчит долго, мучительно долго. Наконец:

— Зайдемте в помещение.

Крохотная комнатка с конторским столом и несгораемым шкафом выглядит тесной для своего громоздкого хозяина. Пройдя к окну и повернувшись ко мне спиной, он что-то выглядывает на улице и вполголоса, словно рассуждая с собой, роняет редкие слова:

— Что тут сделаешь? Да... у них там комплект... И распоряжение — вон на столе телеграмма из треста: представительство закрыть, мне сматывать удочки. Война, буровые консервируют... Да и бурильщики мы, а вы гравиметрической съемкой занимались... Нет, ничего, пожалуй, не придумаешь...

Я стоял как приговоренный, даже не пытаясь настаивать, просить. Видимо, не судьба отсюда вырваться... И все же... он не повертывался ко мне, не выговаривал твердо слова отказа. Я медлил, не уходил, сам не зная, на что еще надеюсь. Мелькнуло в голове: сказать начистоту, какая надо мной нависла опасность? Я и сейчас не могу решить: испугался бы толстяк и сразу меня выставил или, наоборот, это побудило его меня выручить?

— Мне необязательно техническую должность, я могу и рабочим...

Наконец начальник и, как я догадываюсь, единственный служащий представительства отворачивается от окна и долго в меня всматривается, как бы определяя — что за птица к нему залетела?

— Небось по пятьдесят восьмой сидели? Сколько?

— Пять лет. И до этого пришлось...

Кряхтя и продолжая с собой говорить, грузный добряк — именно таким было первое впечатление, едва он отворил дверь,— стал отпирать сейф, достал бланк, печать, снял чехол со старинного ремингтона.

— В Сывтывкаре всего одна гостиница — найдете сразу. В ней у нас постоянный номер, работы только начали по-

настоящему разворачивать. Начальник экспедиции хороший человек, мой приятель. Вот для него записка — спрячьте подальше. А это — командировочное удостоверение: с ним прямо в кассу, получите билет. И — с Богом, как говорится.— Он взглянул на часы:— Поезд через час, еще успеете.

Станция, разумеется, наводнена охранниками и агентами, но я пробираюсь сквозь толпы без той тревоги, что клещами сжимала сердце в последние двое суток. После встречи с добрым, отзывчивым человеком на душе легче. Можно, значит, жить, коли в критическую минуту еще находятся незнакомые люди, идущие на риск, чтобы выручить. По тем временам и Юрий, не побоявшийся меня спрятать, и незнакомец в конторе, выдавший мне спасительный документ, подвергали себя несомненной опасности: тут было пособничество врагу, во всяком случае, личности подозрительной.

Как я упомянул, станция кишела народом, и я почувствовал себя затерянной в толпе песчинкой. Еле протиснувшись к окошку кассира, я смело подал свои бумаги. «Сезам, отворись!» И билет мне продали. Я, ликуя, ринулся вон из тесного зальца разыскивать Юру.

— Вижу по лицу — со щитом... Уф, вздохну свободно — уже не чаял, что пронесет! Вот вам рюкзачок — белье, фуфайка, провизия. Возьмите и немного денег. Берите, берите, пригодятся... Какие там счеты! Впрочем, мне кажется, мы не навсегда прощаемся, еще увидимся. Как подадут состав, не спешите к вагону: протиснитесь в последнюю минуту, когда документы еще смотрят, но уже не проверяют. Есть поручения?

Как не быть! Никакие страхи и заботы последних дней не заслоняли тревогу за Любу. Мучила невозможность к ней сходить, дать знать о случившемся. Веревкин в отъезде, и принести от нее известие было некому. Я тут же наспех на клочке бумаги написал несколько слов и печальные прощальные строки из Байрона:

Fare thee well, and if for ever
Still for ever fare tnee well[1].

Надо было найти слова ободрения, надежды, но где их взять? Юра обещал сходить на инвалидный пункт и рассказать о поспешном моем отъезде.

[1] Прощай! И если навсегда,
То и тогда все-таки — прощай! *(англ.)*

Мимо платформы покатили обшарпанные пассажирские вагоны. В открытых тамбурах рядом с проводником стояло по два вохровца. Выждав, пока проверочный пыл поостынет, я пробрался к вагону, где посадка шла всего живее. Охранник и впрямь едва взглянул на мои документы и пропустил на площадку. Поток едущих тотчас потащил меня, и я очутился в проходе, набитом людьми, ищущими, где бы пристроиться на плотно занятых трехъярусных полках. В окне мелькнул Юра. Я почувствовал себя спасенным.

* * *

Начальника партии я застал утонувшим в груде бумажек в походившем на вещевой склад номере. Борис Аркадьевич Сеймук был сухощав, примерно моих лет, с большими залысинами и в стареньких металлических очках. Суховатый, деловой человек, несомненно умный и проницательный.

Взглянул он на мою справку, прочитал магическую записку. Задумался.

— С лошадьми управитесь?.. Вот и отлично. Нечего вам тут сидеть, на людях толкаться. Требуется перегнать на буровую тройку лошадей, вот вы на первых порах и займитесь этим. А там подумаем, как вас использовать.

Спустя час я шел в подгородний колхоз, где мне, завхозу геологической экспедиции, передали лошадей, повозку, сбрую и фураж. С этим надлежало отправиться верст за восемьдесят в деревушку на реке Кельтме за Усть-Куломом, а оттуда провести лошадей по тропе на буровую. В дорогу я пустился словно в увлекательное путешествие.

В лесной своей пристани — заимке о двух легоньких бревенчатых домиках, еле отвоевавших тесную площадку у дремучего леса,— я обжился очень скоро.

Мне отвели голую комнатенку с оставленной прежним постояльцем кое-какой по-походному сколоченной мебелью. Я выписал себе — сам хозяин каптерки! — постельные принадлежности, добрые охотничьи сапоги, обзавелся котелком с кружкой и приступил к несложным обязанностям кладовщика, рассыльного. Отчасти учетчика. Кроме меня на заимке было несколько семейных рабочих, техник, не ахти какой квалификации мастер — в общем, с семьями человек тридцать, живущих своей обособленной жизнью, замкнутых и необщительных.

Оком власти на буровой был, как я догадался, пожилой

слесарь, член партии с девятнадцатого года, хмурый и ленивый. Если ему и было поручено следить за нами, то действовал он не слишком ретиво, предпочитал всему сидеть в своей конуре — он соорудил себе отдельную полуземлянку, впрочем уютно обставленную, и углублялся в затрепанную книжку. У него была до дыр зачитанная «Как закалялась сталь»... Этот, в общем, мирный и покладистый работяга, может быть, и разделял накалявшие Павку страсти, но сим бурлящим молодым вином опьянялся человек изношенный, утомленный жизнью.

Спустя некоторое время на буровую приехал Сеймук, окончательно очертивший круг моей деятельности: я возводился в ранг его помощника по хозяйству и снабжению и должен был отныне ездить по району и в колхозы — получать всякое прод- и вещдовольствие. Борис Аркадьевич был, как я понял уже в номере гостиницы, не только деловым специалистом, но еще и ловким политиком. Убедив руководителей Коми республики в первостепенном значении экспедиции для ее судеб, он добился исключительного внимания для своей организации. Да и умел, очевидно, щедро благодарить за оказанные ей услуги. Передо мной, как представителем Экспедиции с большой буквы, отворялись все двери и, что было особенно ценно, склады с такими архидефицитными существенностями, как сливочное масло и сахар, которые в военные годы употребляли одни начальники и снабженцы. Картофель экспедиции поставляли колхозы, расставались с овечками и бычками, выделяли овес для наших лошадей — это было какое-то округлое фантастическое благополучие, невесть на чем основанное. И это в то время, как сами колхозники не получали зерна за трудодни, не помышляли о мясе, а кляч своих кормили чем попало, поскольку накашиваемое ими сено шло в армию!

Теперь, по прошествии стольких лет, нелегко ощутить реальность того времени, когда узаконилось, сделалось нормой обирание крестьян до нитки, до степени, обрекавшей их на голодание. Они должны были кормить всех, не оставляя себе ничего. Под флагом снабжения армии сыто обеспечивались руководящие работники и примазавшиеся к ним холуи, не зевали и такие ловкачи, как мой начальник, столь деятельно и успешно хлопотавший о сотрудниках экспедиции, чтобы обеспечить и свою семью, и многочисленную родню, предусмотрительно вывезенную из Питера в тихий тыловой городок.

Прочно сделавшись «агентом по снабжению», я почти не

жил на буровой, а обосновался в Кирде, упомянутой мною деревушке на берегу Кельтмы. Там была учреждена перевалочная база, откуда грузы вьюками доставлялись на три или четыре участка, где работала экспедиция. В пяти домах деревни оставались малые да старые. Жили тихо и дружно, какой-то особой замкнутой лесной жизнью: главными кормильцами были два деда, делившие между всеми поровну добытые ими дичь и рыбу — хлеба почти не ели.

Неправдоподобной, невозможной для того тягостного, накаленного злыми страстями времени выглядела жизнь этой горстки спокойных и мирных людей, родившихся и состарившихся в незамутненной тиши первозданных лесов, живших, «как жили деды». Ни ропота, ни богохульства: не жалуясь и не озлобляясь, сносили обездоливавшие их поборы, молча скорбели о своих взятых на войну сынах. Дед Архип, мой хозяин — рослый и крепкий семидесятилетний таежник,— привечал соседских детей наравне со своей внучкой, следил, чтобы никого не обделили рыбой. Приняв меня в свой дом, обходился как со своим. Так же благожелательна и заботлива была его бабка, любившая меня расспрашивать об оставленных далеко близких, соболезновавшая моему одиночеству. На первых порах дичилась молодая хозяйка, их невестка, незадолго до меня проводившая на войну мужа.

И из своих частых поездок по деревням и в районный городок я стал возвращаться в Кирду как домой. Там меня ждали. Дед Архип выходил помочь распрячь лошадь, бабка доставала из печки чугуны с обедом, оживлялась и сдержанная, молчаливая Дуня. Эти хлопоты согревали и радовали. Топилась для меня банька, у бабки бывали припрятанные свежие хариусы, Дуня заботилась о моем белье. Я нередко привозил гостинцы — кулек сахару, хлеб, пачку чая, а то и кусок мыла, отрез ситца или иной материи, о которых давно забыли жители деревни. Всем этим меня премировал мой начальник — разумеется, вполне незаконно.

Ласковая и тихая обстановка помогала восстановить утраченное после последних передряг и внезапного расставания с Любой душевное равновесие. Писать ей в лагерь я не мог, опасаясь выдать свой адрес. Все же из Кирды мне удалось отправить несколько писем родным и узнать кое-что о Всеволоде.

Отбыв свои пять лет в Воркутинских лагерях, он успел до войны выехать с Севера и жил в небольшом железнодорожном поселке под Калугой. Работы там не находилось. Нечего и говорить, что к тому времени никакие Калинины

и иные прежние его влиятельные покровители (в большинстве не пережившие 37-го года) уже не могли помочь, и жилось ему тяжко. И он, человек мужественный, неспособный пасовать перед неблагоприятными обстоятельствами, поступил решительно: осадил местного военкома, пока не добился от него назначения в санитарный железнодорожный отряд. Пусть наденут на рукав повязку с красным крестом, раз признан «недостойным защищать Отечество с оружием в руках!».

Правда, под этим предлогом отказывали в приеме в армию социально чуждым лишь на первых порах. Едва обозначилось, каких гекатомб требует сталинская стратегия, приступили к формированию из этой «контрреволюционной сволочи» особых батальонов и бросали их, кое-как вооруженных и обученных, на затычку прорывов и дыр фронтов. И были придуманы красивые слова: «Они смертью искупили вину перед Родиной...» Их чудовищную лживость должно оценить потомство.

От брата я получил письмо, когда им был сделан второй — непоправимый — шаг на единственном, как он полагал, пути, ведшем к нормальной жизни.

«Пятилетний срок в лагере закрыл мне все дороги,— писал он.— Я даже не могу жить с семьей в Москве. В сорок один год с таким положением нельзя мириться. И я решил: голова в кустах или грудь в крестах! После двухмесячных курсов, куда я откомандирован по ходатайству начальника санпоезда, помощником которого я сделался, меня направят на фронт офицером. Коли вернусь — все должно быть забыто, потому что я намерен отличиться. Если погибну — жене и сыну станет легче жить».

И невозможно отсюда, из своей норы, остановить брата, не дать ему совершить этот мужественный, благородный, но такой напрасный и ошибочный шаг, открыть ему глаза на его заблуждение! Мне было так очевидно, что никакие заслуги и жертвы, никакие подвиги не могут изменить отношения властей к тем, кто был однажды занесен в списки лиц, для них опасных,— лиц, осуждающих и рассуждающих, со своим мнением и взглядами, способных умалить авторитет, посеять сомнение в непререкаемой праведности. Короче — тех, кто не обманут ни гримом, ни демагогией, а видит их неразоблаченную суть дорвавшихся до пирога власти невежественных временщиков. Даже наоборот: человек, выдвинувшийся благодаря своему мужеству, заслугам, таланту, становился особенно опасным и подозрительным. Упования Всеволода поко-

ились на первых оценках, на непонимании сути господствующей политики и тактики, основанных на принципе, что лучше обезвредить сотню невиновных, чем прозевать одного врага или возможного конкурента. Прошлое никогда не забывалось и не прощалось никому.

Не дожил ты, родной мой, до дня, когда так трагически оправдались все эти предчувствия и безнадежные оценки! Уже на второй год войны сразили тебя немецкие пули, и покоится где-то в новгородских лесах твой безвестный прах, так что и узнать нельзя, где могила...

Как оборвалась твоя жизнь? Что передумал ты, оказавшись в рядах армии, сражавшейся против вековых врагов России?.. Почти наверняка угадываю, что ты, как и я, едва нарушили гитлеровские полчища наши границы, стал жить надеждой на то, что победительницей из огненной боевой купели выйдет милая наша, исстрадавшаяся Россия, не только поставившая на колени извечный тевтонский милитаризм, но и покончившая с домашними диктаторами... Должны были, непременно должны были и тебе мерещиться задышавшая вольно Россия, наш народ, наши мужики, по-настоящему расправившие плечи, поднявшие голову, почуявшие, что нет более над ними жестоких указчиков и погонщиков...

Я штудирую строки последнего письма Всеволода и вспоминаю нашу переписку с ним в тульской тюрьме и в Архангельске, какую мы вели, помня о перлюстрации и соглядатаях... Не они ли мерещились ему, когда он писал мне в этот последний раз?..

* * *

Все это еще впереди, за жутким опытом смертельной схватки двух диктатур, за годами лишений, голода, расправ. Пока что я разъезжаю по пустынным дорогам Зырянского края, ставшего республикой Коми, с редкими таежными деревнями, глухими лесами и растекшимися пятнами лагерной проказы. Война, и потому матери не могут требовать хлеба для своих детей, колхозники — оставления им зерна для посева, переселяемые и ссылаемые народы — еды в свои теплушки: все для фронта, все для победы!

Иногда мне приходилось бывать в Сыктывкаре, прежнем Усть-Сысольске, ставшем столицей Коми. Тут я получаю от моего шефа очередные выхлопотанные им наряды на поставки и снабжение. Не то он поручает мне самому сходить в

соответствующие республиканские организации. Тогда я ощущаю, с каким затаенным негодованием, с каким внутренним возмущением ведающие выдачей служащие подписывают документы на получение сахара, масла, мяса, круп... кем же? Чужаком, представителем никому не нужной экспедиции, когда всего этого лишены они сами, их дети и родители...

Городок наводнен приезжими. В Сыктывкар доставляют вывезенное из Прибалтийских республик население. Это большей частью семейные горожане, интеллигентные люди с семьями и обычным бестолковым багажом беженцев и ссыльных. Они рады обменять на кусок хлеба, на что-либо съестное все, что находит покупателя. Рынок кишмя кишит этими продавцами, а спроса почти нет. Золотое время для спекулянтов и ловкачей! Повторяется то, что наблюдалось в первые годы революции, в период военного коммунизма, когда и меха, и драгоценности сбывались за овес и картофель. С той только разницей, что овес и картофель мужики обменивали свой, добытый трудом, тогда как нынешние ценности, служащие валютой — буханки хлеба, куски сахара или завернутые в газету крохи масла и ломтики сала,— ворованные, поступившие со складов или пекарен от заведующих и кладовщиков, работающих в доле с начальством. А в остальном — те же попавшие в беду люди, расстающиеся в мороз с валенками или овчиной, с последним бельем, и те, кто, радуясь удаче, жадно бросается на добычу... Впрочем, была и Ленинградская блокада, после которой, я полагаю, удивить ничем нельзя: и там были люди, ни в чем не нуждавшиеся и располагавшие даже излишками, которые очень выгодно выменивали на ценные вещи, когда под боком у них вымирали целыми семьями, а выжившие с гадливостью вспоминают, как варили кошек...

* * *

...Облитые ярким лунным светом нескончаемые ельники, бросающие густую тень на окаменевшие от мороза сугробы, и тишина, взрываемая нещадным скрипом полозьев. До ближайшей деревни не менее пятнадцати верст. Конь мой, весь закуржавевший, неторопливо трусит, но чаще переходит на спорый шаг. Я не очень понукаю — позади уже с десяток верст, надо поберечь лошадку, да и приходится то и дело соскакивать с саней и идти рядом, держась за оглоблю. На мне тулуп, валенки, ватные штаны, но стужа пробирает, и,

если время от времени не разогреваться, не выдержишь дороги. Накануне в городе термометр упал до —38°, а тут ночью застывший лес и воздух словно железный. И так пустынно, так все недвижно, что из-за этого хочется двигаться, подтвердить себе, что ты живой в этом мертвом, стыло мерцающем царстве.

За два с лишним часа дороги не было встречных, никого не пришлось обогнать. И так будет всю ночь: во всей простывшей насквозь — до еле мигающих звезд — вселенной попряталось все живое, затаилось и пережидает... И только моя упряжка с хрипящим конем и подневольным седоком движется крохотной живой точкой по едва наезженному твердому снегу: ничтожный и беспомощный очажок жизни. Страшны эти заковывающие Север стойкие стужи, беспощадные для ослабевших, плохо укрытых, бездомных.

Я остановился, чтобы очистить ноздри у лошади от закупоривших их льдинок. Яростный скрип полозьев смолк, и особенно глубокой и полной сделалась всеобъемлющая тишина тайги. Белое безмолвие! Такое же, как по Клондайку,— и тут на десятки верст кругом нет ни живой души, ни жилья.

Вдруг явственно донесся скрип. Сразу сделалось тревожно. Добра не жди, если это один из тех патрулей, что разъезжают по деревням, разыскивая лагерных беглецов! Эти охранники опасны: они приучены охотиться за людьми и получают премии с «представленной головы». Вдобавок я везу два ящика со сливочным маслом, связку одеял, еще кое-что — приз богатый...

Я вскочил в сани, высвободил из-под сена топор, потом круто натянул вожжи, хлестнул ими задремавшего конька: на всякий случай — вдруг придется пуститься вскачь... Снова послышался настороживший меня скрип. Он раздался ближе, прервался, чтобы снова ненадолго возобновиться и тут же смолкнуть окончательно. Я тронул лошадь навстречу, вслушиваясь и вглядываясь. Мелькнула догадка: раз не слышно матюгов, вряд ли это охранники. А потом на фоне заиндевевших, ослепительно белых, искрящихся придорожных кустов зачернела человеческая фигура.

Синий свет месяца в большие морозы настолько силен, что позволяет на близком расстоянии видеть как днем, только выглядит все неживым, вернее, непривычным и таинственным, как в старинных балладах. Я сразу различил лицо старой, грузной женщины с побелевшими от мороза щеками и блестящими неподвижными глазами. Она закутана в тряпье: голова обернута в обрывки шали или пледа, туло-

вище неимоверно утолщал заплатанный просторный бушлат, надетый поверх пальто, ноги-тумбы обуты в огромные разношенные армейские ботинки. Ей в плечо врезалась лямка от веревочных постромок, привязанных к деревянным санкам — довольно длинным, но не настолько, чтобы уместились ноги лежащего на них навзничь мужчины. Они деревянно вытянулись, оставаясь на весу, носки расшнурованных ботинок, неподвижные и жуткие своей оцепенелостью, торчат кверху. Я успеваю разглядеть лагерные штаны, что-то вроде ватного рваного одеяла, каким был накрыт лежащий... очевидно, мертвый, подумал я.

Завидев лошадь, женщина замахала руками, стала что-то хрипло торопливо выкрикивать. Я подошел к ней. Сблизи мне показалось, что она смотрит на меня, не вполне сознавая мое присутствие. Не все мог я разобрать в ее непрерывной скороговорке, тем более что она продрогла до косноязычия, губы и язык ей плохо повиновались. К русским словам примешивались украинские, немецкие; акцент выдавал еврейку из какого-нибудь белорусского местечка.

И все же по бессвязным ее фразам — она то обращалась к лежащему на санях мужу, пеняла ему за то, что он не хочет встать и ей помочь, то доказывала кому-то, что нужное лекарство легко достать в соседней аптеке, или просила помощи, жаловалась, в каком отчаянном положении ее оставили — из всего этого я догадался, что она повезла заболевшего мужа в больницу и не сознает, что он мертв и окоченел. Заключил я, что она помешалась от нужды и лишений, а в пути ее разум окончательно помутился. Что было делать?

Старуха, случалось, впопад отвечала на мои вопросы, и это помогло принять решение: везти ее в деревню, куда ехал сам и откуда она отправилась в свой безумный путь.

Они с мужем жили там на отшибе, никому не нужные чужаки-ссыльные — дряхлые и беспомощные. Голодали и мерзли в развалившейся избе. И когда заболел муж, начал в жару бредить, плохо соображавшая старуха не стала ни к кому обращаться — да и не к кому было, скорее всего! — решив, что сама отвезет его в больницу, как возила на себе из леса санки с валежинами на дрова. По ее словам выходило, что она еще засветло пустилась в путь — не зная толком ни расстояния, ни названия деревни с больницей — по уводившей куда-то первой попавшейся дороге.

Муж ее замерз уже давно — на его лице с синими втянутыми губами и плотно закрытыми глазами, на которых

как-то удерживались железные очки, блестел иней. В женщине огонек жизни еще не потух, помутневшее сознание побуждало непрерывно что-то бормотать и двигаться, куда-то стремиться.

Она не сразу поняла, что я собираюсь с ней делать. Когда я стал снимать с нее лямку, повел к своим саням, она даже запротестовала, уперлась. Но силы ее были на исходе: она еле держалась на ногах, и мне пришлось ее — грузную и неповоротливую — приподнять, чтобы посадить в сани. Чуть не всей дюжиной одеял я с головой укутал свою пассажирку, зарыв поглубже в сено. Труднее пришлось с покойником — он никак не умещался в возок, а подогнуть затвердевшие ноги было нельзя. И я уже собрался оставить его в лесу, как вдруг нашел выход: уложил вниз головой в передок, так что туловище легло наискось вдоль роспусков, а ноги торчали наружу. И сам кое-как примостился между старухой и покойником.

Я с места погнал лошадь крупной рысью, понимая, что если еще можно спасти несчастную путешественницу, то только доставив ее как можно быстрее в теплую избу. Сани подбрасывало на ухабах, и мне пришлось остановиться, чтобы привязать мертвого. Потом я стал мерзнуть сам, так как изрядно взмок, пока возился со своими седоками. Но слезть с саней и согреться бегом я не мог: лошади нельзя было давать сбавлять ходу, и сквозь толщу одеял я чувствовал, как старуху, начавшую стонать, колотит озноб.

До деревни было недалеко, и мы скоро доехали. Тут я бывал прежде и сразу направился к знакомому хозяину. Он помог мне внести в дом еще живую старуху. Покойника мы побоялись оставить во дворе из-за собак и заперли в чулане. Оказалось, что в деревне уже знали об исчезновении стариков ссыльных. Об этом сообщили в сельсовет, оттуда ответили: «Ладно, отыщутся, далеко не убегут»,— чем деятельность властей и заключилась.

Звонок в сельсовет, чтобы объявить о происшествии и вызвать фельдшера, мне пришлось отложить до утра: ночного дежурного на телефоне не было. Старуха перестала бормотать, прерывисто и мелко дышала. Хозяин уверял, что до утра ей не дотянуть. Дав лошади отдохнуть, я поехал дальше.

Она и в самом деле скончалась вскоре после моего отъезда. Колхозники, наряженные закопать одного ссыльного, уложили в яму обоих. Ходившая прибрать избу покойников соседка даже не нашла, что бы взять на память: так называе-

мого имущества в наличии не оказалось. Ничего. Наверное, и во всем свете не было живой души, которая бы знала эту чету, помнила, ею интересовалась. Не люди, а горстка праха, вьющегося за колесницей революции...

* * *

Среди деревень, которые подвергались моим наездам, оборачивавшимися мешками картофеля и овсеца, возами сена, свежей убоинкой,— деревень, один вид которых говорил о скудости обихода, выделялась одна, выглядевшая, несмотря на поборы, менее опустошенной и пришибленной, поживее и посытее остальных. Десятка два изб недавней постройки, добротные общественные дворы и прочие хозяйственные заведения, скирды соломы вокруг гумна, сараи с сеном — все тут свидетельствовало хозяев «справных», как говорили в старину.

Это был вовсе молодой колхоз, основанный не более десяти лет назад ссыльными — раскулаченными русскими мужиками. Председатель, крепкий и напористый мужчина лет под сорок, у которого я не раз останавливался, со временем, когда мы сошлись покороче, рассказал, как довелось ему с уцелевшими земляками поселиться здесь, в пропастях тайги, корчевать лес, таскать на себе бревна, строить дома. Обживать бедный от века Зырянский край...

...В белых берегах темная вода незамерзшей речки выглядит жуткой. Сплошные стенки елей и пихт, подступившие к ней вплотную, четко отражают тарахтение катера. Это единственный звук, нарушающий литую тишину предзимней тайги. Короткий день быстро гаснет, и еле поднимающийся встречь течения караван сливается в сумерках с тенями леса. Штыки часовых на корме и носу барж взблескивают тускло, словно оловянные.

Двигатель смолк. С катера забрасывают в прибрежные кусты якорь. Течение прибивает к берегу и баржи. С катера сходят на берег военные в ремнях поверх белых полушубков. Под их командой начинается выгрузка.

По крутым, упертым в обтаявшие кочки доскам с набитыми поперечинами сходят люди. Мужчины тяжело нагружены мешками, женщины несут узлы полегче. Детей и дряхлых стариков сводят на берег общими усилиями. Иные

оступаются, попадают в ямки с талым снегом и тогда, уже не разбирая, куда ставить ногу, спешат напрямик через узкую болотистую пойму на угор, где под соснами сухо.

Там уже скопилось много народу, а с барж все сходят и сходят новые люди. Ни разговоров, ни возгласов — все стоят молча, неподвижно. Никто даже не присаживается на вещи: ждут. Вот опорожнят баржи, всех построят в колонны и поведут. Только куда? Не видать нигде дороги, нет даже срубленного дерева. И никаких следов жилья. Со всех сторон обступил дремучий, хмурый лес...

Между тем охранники накидали через борт катера на берег кучу лопат, топоры, пилы.

— Чего встали? — зычно кричит начальник охраны.— Не видите — ночь на дворе... Или кто станет тут за вас разворачиваться? А ну живей — р-р-разбирай струмент!

Охранникам приходится вновь и вновь повторять распоряжение браться за топоры, сооружать навесы и шалаши из хвойных ветвей, зажигать костры и готовить дрова на длинную октябрьскую ночь: люди, оцепеневшие от долгого пути в баржах — друг на друге, без места, где бы лечь, без обогрева, кипятка,— не могут сразу взять в толк, что властью им предназначено поселиться именно здесь, в этом диком таежном урочище.

По толпе расхаживает, с руками в карманах полушубка, начальник.

— Лес станете валить, рубить избы,— упруго ступая, бодро растолковывает он онемевшим мужикам.— Кирпичу мы вам на первых порах подвезем. А там пни начнете корчевать, хлеб сеять... заживете! Это ж какую почетную задачу вам поручил наш любимый вождь товарищ Сталин: сделать цветущим советский Север, где прежде была одна царская катóрга...

Разгуливает и говорит, говорит и разгуливает, сознавая, как все это выходит у него складно и к месту, округло и убедительно. Несмело и настороженно, еще не вполне веря, что все это не розыгрыш, не очередное издевательство, кое-кто из мужиков отбрел в сторону, прихватив топор, и выглядывает сушину на дрова или жердняк для шалаша. Две-три бабы взяли по лопате и молча сшибают мшистые кочки, расчищают от снега и лесного мусора точки́; кто достает из мешков котелки, высыпает из сумок раскрошившиеся сухари на расстеленный грязный рушник. Несколько

человек слоняются у реки — отыскивают место, где посуше берег и способнее зачерпнуть воду.

Взялись за дело лишь немногие — те, кто потверже, самые крепкие. И те, кто с детьми, особенно маленькими. Большинство же так и стоят, не двигаясь, все еще не веря, чтобы такое было возможно. Отсюда тесный, сырой трюм баржи с брезентом над головой выглядит уютным пристанищем. Глаза у людей потухшие — в них тоска, отчаяние. Смерть...

Но вот загорелся один костер, вспыхнул другой. Огонь бежит по дровам, становится ярче, разрастается, искрит. Сразу непроницаемо сдвигаются вокруг потемки, и дети замирают от страха. Мужики копошатся в темноте, волокут откуда-то жерди, охапки лапника. С катера кричат, чтобы шли за пайками — по одному человеку с мешком на каждые двадцать душ.

К ночи выросло несколько шалашей. В них настлали еловых ветвей и уложили вповалку сморенных усталостью самых маленьких детей. Кто-то продолжает с отчаянным упорством рыть яму — затеял сразу соорудить землянку. Песок сухой, и работа спорится. Вокруг костров сидят тесно, смотрят в огонь. Все как онемели: привела судьба! Детей пугает настороженное молчание, они боятся плакать громко и жмутся к матерям. Даже не просят есть.

Тишина необъятная. Лишь в кострах сильно трещат дрова да с катера доносится пение под балалайку. Кто-то фальшивым тенорком все начинает песню «Тучки над городом встали» — произнося «тючки»,— сбивается и начинает снова.

...И потянулась над диковинным кочевьем долгая таежная ночь. Когда забрезжил рассвет, в хвое вершин легонько зашуршал снежок, тихий и ласковый. Он неслышно порошит затоптанный мох и брусничник, шапки и плечи дремлющих у потухших костров новоселов, ложится на борта, рули, палубы барок и берега. Речка выглядит еще глубже и чернее..

На утренней перекличке недосчитываются восьми человек. Кто говорит — утопились, кто — в лес убегли! Охранники посмеиваются:

— Далеко не убегут, куркули проклятые! Тут вокруг на полста километров тайга да болота... Эти, считай, себя сами в расход вывели...

...Себя вывели в расход не одни беглецы. К весне перемерло более половины всех новоселов. Но сама собой сколотилась группа тех, кто поздоровее и крепче духом, кто решил во что бы то ни стало не поддаться, выжить. Сплотились, стали валить лес, рубить по началу зимовья, позже обращенные в баньки, подбадривать других — не давали опустить руки. Нашлись умевшие ладить с начальством, выколачивать нужное, добиваться продовольствия, материалов, а потом семян.

Выжила всего, как определял председатель, пятая часть высаженных с барж в тайгу: поумирали дети, смерть косила стариков, гибли беглецы, морозились, мерли от поносов, простуд, разных воспалений — лечить было нечем, негде и некому. А уцелевшие, не растерявшие своих вековых крестьянских навыков, стали прилаживаться к нерожающей таежной земле, вскапывать грядки, корчевать. Завели плуги и бороны, лошадей и коров. Понемногу, куриными шагами, начали выбираться из пропасти, куда их загнала власть. И — «всем смертям назло» — выбрались, и выстроили вдоль широкой улицы два порядка домов, и обзавелись всяким скарбом, одежонкой и живностью. И уже спешили власти обложить их татарской данью, начисто забыв про свое обещание на двадцать лет освободить от всяких податей и налогов «новоселов»...

— Им иначе никак нельзя,— объяснял председатель.— Кругом зырянские деревни — сами видели, какая нищета. Разговоры пошли, недовольство: русские как бары живут, а вы с них не берете — всё с нас лупите... Выходит, скоро и здесь в кулаки запишут. Ну да Бог милостив — война кончится, и нам можно будет отсюда податься. Куда? Нет, что вы, какие «свои деревни»... Там теперь для нас пусто, не светит: чужая сторона. Да и с землей, видать, надо кончать: не кормилица она нам долее. Время новое, а мы всё по старинке — норовим холить ее да ласкать, к ней приноравливаться. В город, в город будем подаваться, запишемся в рабочие — оно спокойнее. Станем хозяевами жизни, а не пасынками...

Одна из тропок крестного пути русского крестьянства... Сколько же лихолетий вынесло оно за свою многовековую историю! Вот и нет меры стойкости, мужеству и трудолюбию русского мужика, того самого, кого назвали кулаком, выставили к позорному столбу и разорили дотла. Изгнали из деревни, лишив землю лучших ее сынов.

* * *

Пир, да и только, настоящий пир! Опорожненные блюда с жареным и вареным мясом, тарелки из-под холодца — убирают и тотчас заменяют полными. В бутылках желтеет еще теплый — свежей перегонки — первач, стаканы беспрерывно наполняются, а перед главным распорядителем гулянки, моим боссом Борисом Аркадьевичем, стоит бутылка ректификата: из нее он самолично разливает гостям по своему выбору.

Застолье — с десяток человек: колхозное начальство, какие-то нужные райкомовцы, три начальника буровых. Шеф знает, кого позвать, с кем как обойтись, чем закрепить дружбу. Меня он посадил возле себя по правую руку: пусть видят, что я его доверенное лицо — «alter ego», «другой он»! Борис Аркадьевич, как и я, не пьет спиртного, и мы чокаемся налитой в наши стаканы водой. Причем он преискусно разыгрывает приподнятость, компанейское веселье, шутит, откровенничает.

Мы собрались по случаю сдачи-приемки мяса в колхозе, назначенном снабжать экспедицию. Хозяин обширной избы на подклете — единственный не вступивший в колхоз хозяин в деревне. Экспедиция арендует у него дом — для проезжающих сотрудников, под склад, вот для таких оказий. Во двор его дома колхозники навели скота, и хозяин расторопно и со знанием дела распоряжается всей операцией. Телят, овец, бычков взвешивают, тут же режут, обдирают, разделывают туши. И выписывают квитанции. Выполнившие «добровольную» сдачу мяса государству бережно их складывают, прячут в карман и уходят, не позаботившись проверить сделанную запись: знают, тут все равно ничего не докажешь — всегда будет права сторона, за которой власть!

Этот последний единоличник деревни Антон — жилистый пожилой мужик с рыжеватыми неседеющими волосами, реденькой бородкой и тусклым, ускользающим взглядом. Он говорит тихо, мало, распоряжается немногословно, приглядывает за всем незаметно, но все видит, и дело у него спорится. Успевает за взвешиванием проследить, проверить резаков: отнял у кого-то припрятанный за пазуху кусок мяса. Заходит он и к нам наверх, в просторную горницу, распорядиться прислуживающими бабами, присесть к столу и медленно, со вкусом выцедить без передышки стакан самогону. Не закусив, снова отправляется вниз — к растущей груде туш, развешиваемым шкурам, к бабам, копоша-

щимся у ведер с внутренностями. Случается, подойдет к Борису Аркадьевичу, что-то на ухо ему скажет, дождется утвердительного знака и снова исчезнет.

Благодать моему шефу с таким приказчиком! Никто не будет обделен при дележе, грамма не пропадет: получат, что полагается, буровики, понесшее труды начальство, сам шеф с детками; и себя не забудет хлопотун старик. И все сойдется тютелька в тютельку, комар носа не подточит.

На меня этот угрюмый, рыжеватый, вкрадчивый мужик производит неприятное впечатление. Он расчетлив, хитер и, несомненно, не из робких: чего стоит одному из всего «обчества» упереться против коллективизации... А глядеть, как он с ножом подходит к обреченной овце, и вовсе жутко.

Весь деревенский наш двор — с добротной просторной избой на подклете, ладными хозяйственными строениями, толпой в деревенских овчинных шубах и подпоясанных туго кушаками армяках, в подшитых валенках, а то и в чунях — напоминает картину дореформенного времени, когда крепостные привозили на усадьбу своему барину оброк. Толпились у избы приказчика или возле барской конторы с живностью, куделью, дровнями с хлебом. И, должно быть, так же тоскливо и недоверчиво поглядывали на проворных приемщиков — барских холуев, зная наверняка, что обвешают и обсчитают! И так же ни с чем убирались восвояси. А на поварне уже шипели сковороды и бурлили котлы, и дворня готовилась попировать всласть. Вот и мы, местная «элита», пресыщенно тычем вилками в куски сочной, дымящейся баранины, пируем невозбранно, почитая это даровое угощение естественной принадлежностью присвоенных нам должностей. И будем удивлены, если при отъезде у каждого в санях не окажется увесистого гостинца.

Глядя на непринужденно расположившихся вокруг стола гостей, внимая обрывкам несдержанных речей, я понимаю, что народ этот привык бражничать за счет тех, кому по долгу службы обязан что-то сделать. Это самые обыкновенные, традиционные взяточники, возродившиеся гоголевские типы! Пригнанные сюда председателем колхоза деревенские женщины старательно и добросовестно стряпают, подают, моют посуду; этим не обломится ничего — разве дед Антон позволит унести домой связку бараньих кишок. Но по лицам видно — они не ропщут, покорны, ни одна не осмелится уйти к оставшимся без призора ребятишкам. Великий трепет перед властью проник всюду. И нет ему противоядия!

Мне приходилось останавливаться в этом доме и в тихое

время, когда дед Антон был в нем один. Топилась печь только на кухне, в остальных горницах было холодно и сыро. Наперекор нежилой тишине громко тикали старые ходики, и хозяин, проводивший целые дни на печи, не ленился то и дело подтягивать гирьки. К нему нет-нет заходили односельчане: одолжить подсанки, продольную пилу, бурав, мешок, кадку, возовую веревку... У него находилось все, и он одалживал охотно — не отказывал никому. Себя он содержит крайне скудно, хотя запасено у него всего, должно быть, и припрятано на черный день достаточно. Живет он, не крестьянствуя. Зарезал корову, продал лошадь, чтобы не попасть под твердое задание.

В один из моих приездов я увидел у Антона жилицу — он поселил у себя молодую женщину. Был он с нею молчалив, даже суров, но прикармливал и определил ей место на печке — самое теплое в доме. Мне никак не объяснил ее появление.

В его отсутствие она сама рассказала о себе — сбивчиво, что-то привирая, о чем-то умалчивая. Была она, по всем признакам, горожанкой, оставленной, должно быть, завезшим ее в эти края случайным сожителем. По ее словам выходило, что она, потеряв работу где-то в районе, пробирается домой — к матери в Москву. Но вот — обокрали по дороге: не оставили ни вещей, ни денег. Даже литер на бесплатный проезд стащили. Но в Сыктывкаре знакомый — влиятельный человек, только бы до него добраться...

Я скоро убедился, что многогрешный Антон обратил странницу в свою наложницу, с чем она, из-за безвыходности положения, должна была мириться, однако сносила эту повинность с трудом: похотливый старик внушал ей отвращение. За постылые ласки она была не прочь вознаградить себя со мной, и я вынужден был довольно круто пресечь призванные соблазнить меня маневры. И сейчас помню, что она была хорошо сложена, еще свежа, не лишена известной привлекательности, но признаки беспорядочной жизни были налицо, и элементарная опасливость требовала держаться от нее подальше. Я даже стал следить за подаваемой мне к столу посудой, сам ее перемывал.

И вот странствующая одалиска исчезла: собралась тихо, пока мы еще спали, и скрылась. Я вспомнил, что она накануне расспрашивала у меня дорогу в Сыктывкар, но говорить об этом Антону не стал. Он, всегда молчаливый и спокойный, был в это утро возбужден и без толку ходил по избе, что-то без нужды перекладывал с места на место и не давал гирькам

часов опуститься ни на вершок. По лицу у него шли красные пятна, и всегда тусклые зрачки блестели: мне показалось — недобро, мстительно. Однако он сдерживался, даже заводил посторонние разговоры. Вдруг, спохватившись, кошкой бросился в соседнюю нетопленую комнату, там повозился, выдвинул ящик комода, пошарил... И разразился крикливой бранью. Его душила злоба. Он подвывал, скрежетал зубами... Не надо было быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться: хозяин обнаружил какую-то пропажу. Особа, видимо, решила вознаградить себя за понесенные труды и, дождавшись его отлучки, обыскала все укладки. Чего он хватился, Антон мне не сказал. Он хрипло матерился — чего за ним не водилось,— сулил б... нож в сердце, грозил задушить своими руками. Меня он больше не замечал и метался по избе с перекошенным лицом. И вдруг решил, что побежит ее догонять. Какое-то время колебался — должно быть, взвешивал, успеет ли. Обулся в легкие ичиги, достал короткую куртку, туго перетянулся кушаком, порылся в каком-то хламе в чулане, взял было топор, потом положил на место. И, ни слова не говоря, выскользнул из дома.

Возвратился он ночью, из последних сил: на рухнувшем на лавку старике лица не было, он даже не осилил разуться.

Я так и не узнал никогда, что произошло. Думаю, что он все же догнал беглянку и похищенное у нее отобрал, иначе продолжал бы бесноваться и на следующий день. А вот выполнил ли он свои угрозы — как угадаешь? Мог он, конечно, побить ее, плюнуть в лицо, изругать, а мог и порешить. Такой человек, разгоряченный погоней, чего не натворит...

* * *

Пришла весна, разлились реки, и мои поездки прекратились. Наша деревенька стала островом, отделенным от мира расступившимися болотами, затопленными речными поймами, что обратились в усеянные табунами уток озера, рухнувшими зимниками — двухаршинная толща снега сделалась жидким месивом.

Отступили привычные хлопоты и дела, подспудное ожидание подвоха, что рано или поздно собьет с налаженной и благополучной стези. Далеким и посторонним представлялся охваченный раздорами, ввергнутый преступными доктри-

нерами во вселенскую бойню мир. Тут были пробуждающаяся под высоким небом природа, ликующие голоса птиц, достигших своих гнездовий, весенний праздник любви, радость первых ростков возобновленной жизни.

Целыми днями ползали мы с дедом Архипом по разливам в его просторной долбленой лодке, перегораживали сетями залитые старицы и курьи, ставили вентири и верши. Под вечер я оставлял семью за разделкой и засолкой рыбы и уходил, вернее, уплывал на утлой и быстрой, легкой как перышко ветке за реку, в бор, где на полянах собирались несметные стаи тетеревов и зорями пели по мшаринам глухари. У меня загодя, еще по насту, были поставлены шалаши возле первых очистившихся от льда озерков, и я на ранней зорьке, еще затемно, подбирался к токующим мошнякам, подкарауливал на перелете уток или следил из скрадка за яростными поединками косачей. Птицы было много, невиданно много, и мне случалось грузить в лодку увесистые связки дичи. Та весна 1942 года сохранилась в памяти несравненным охотничьим праздником. Уже никогда впоследствии не приходилось мне так полно предаваться охоте, видеть такое количество всевозможной дикой птицы и тем более слышать, что лишь одни мои выстрелы будят эхо в безлюдных угодьях. Даже позже, на Енисее, не видел я таких «населенных» глухариных токовищ, таких туч уток на разливах.

Наконец весеннее буйство начало понемногу стихать, исподволь отступала полая вода, просыхали пригорки; утомленная игрищами птица стала покидать тока, нежиться и дремать в пригревающих утренних лучах. Откуда-то узналось, что под Усть-Куломом налажена переправа. Я стал нехотя готовиться к возобновлению своей деятельности — на первых порах надо было пробраться на буровые, проверить кладовые, инвентарь.

В одно радостное весеннее утро я возвращался из леса и еще с лодки увидел Дуню: едва меня заметив, она по мосткам сошла к самой воде. Значит, поджидала. Сердце кольнуло недоброе предчувствие, хотя — видит Бог! — далек я был, бесконечно далек от тревожных мыслей. Заботы, думы о будущем как бы вовсе от меня отступили, весь я был в делах семьи, в которой жил, поглощен весенними превращениями в природе... Дуня выглядела озабоченной.

— Там тебе повестку принесли — нарочным. Из комиссариата, требуют явиться.

Печально звучал ее голос, похоронным звоном отозвались ее слова в моем сердце. Завертелись, завертелись в голове

догадки, предположения; сразу прихлынула сосущая тоска, как перед бедой.

— Ну мало ли что, Дуняша, не стоит заранее огорчаться... Пойдем домой, небось озябла — давно тут караулишь? Ах, милая... Пошли, вот увидишь, все еще обойдется...

Дед Архип протянул мне помятую бумажку — предписание военкома немедленно явиться в Усть-Кулом для перерегистрации. Это выглядело подозрительно: всего в феврале — три месяца назад — мне поставили в этом комиссариате на удостоверении штамп регистрации сроком на шесть месяцев... Но свою тревогу я скрыл, стал уверять, что тут недоразумение не то изменились ограничения для призыва в армию таких, как я...

— Словом, давайте завтракать, а там подумаем, как и когда добираться мне до района. Вот увидите, через неделю вернусь!

Но до чего трудно убедить людей, будто требование власти явиться ничем не грозит. Хозяин сосредоточенно молчит, бабка глядит на меня пригорюнившись, Дуня еле сдерживает слезы — то и дело выбегает из горницы.

Начались сборы. По понятным причинам я не торопился, даже тянул последние «красные деньки», как сверлило где-то в глубине сознания. Мы подконопатили и просмолили лодку экспедиции — легкую гребную посудину, дед закоптил добрую связку рыбин, бабка сбила комок масла, насыпала туес ягод... Ничего из своих вещей я брать не стал, отчасти подкрепляя этим успокоительное «возвращусь непременно!», отчасти из предчувствия — не пригодятся они мне! Да и пусть останется хоть что-нибудь на память: добрые охотничьи сапоги деду, хозяйке простыни и одеяла... А Дуне, милой Дуне что оставить? Я, кажется, разбередил ее сердце, хотя и в помыслах не было нарушить ее одиночество... надо прощаться... Ой, лишенько!

Через неделю я тронулся в путь — в тихое, ласковое утро. Река, еще по-весеннему полноводная и стремительная, весело сверкала рябью. На прибрежных тальниках нежно обозначились зеленой дымкой первые листики. Прощались мы по-деревенски сдержанно: пожимали друг другу руки. А хотелось обнять закручинившихся стариков, поцеловать Дуню в теплые губы, признаться: «Не ждите обратно, милые! Простите. Снова ударила в колокол судьба и угоняет меня прочь. Не поминайте лихом!»

Я вскочил в лодку, оттолкнулся веслом, и сильная струя

тотчас подхватила и понесла. Берег с тремя фигурками быстро удалялся и вскоре скрылся за поворотом — навсегда! Невесело было у меня на душе.

* * *

Грести не надо. Течение несет быстро и плавно. Достаточно, сидя в корме, подправлять веслом ход лодки, чтобы не дать струе отнести ее в сторону, обогнуть мыски, обойти свесившиеся с берега кусты и деревья. Это не требует ни усилия, ни внимания — бесшумное и легкое скольжение: сиди и любуйся лесистыми берегами, наслаждайся ярким солнцем, теплом, идущим от распустившихся ив горьковатым медовым запахом. И не думай! Вспоминай, загадывай, коли хочешь — считай последние часы, что остались до роковой минуты, когда войдешь в помещение, протянешь бумажку и... узнаешь, что тебе уготовано попечительной властью: опыт и чутье подсказывают, что арестуют и заключат в лагерь. Безнадежное это ожидание оспаривает не слишком уверенный голосок, уговаривающий не падать духом: не переведут ли на положение ссыльного с обязательной регистрацией? Не то, в самом деле, призовут в армию — немцы захватили пол-России, нужен каждый лишний солдат...

Я накануне отверг — правда, не сразу, сгоряча ухватился было — предложение старого Архипа увести меня в дальнее надежное зимовье: за болотами, за трясинами можно отсидеться, переждать. Там еще в гражданскую войну хоронились. Подумав и поостыв, я отказался: Советскую власть в лесу не пересидишь и не миновать, пусть через год, через два, сдаваться. Да и самолеты теперь — в два счета обнаружат. Тогда голову снимут и с тех, кто пособлял.

Можно было уйти в другую сторону — выплыть по Южной Кельте на Каму, там затеряться или, достав паспорт, жить под чужим именем... Но, Боже мой, я не уголовник, не разведчик, чтобы носить маску! И потом — как это достаются паспорта?

И вот я плыву навстречу своей судьбе и не умею или не властен ей воспротивиться, повернуть по-своему ее начертания... Помню, как под вечер я причалил к берегу для ночевки, выбрал место для костра, ладил его, варил ужин — и все в уверенности, что в последний раз, что навсегда прощаюсь с лесом, с вольными речными дорогами, с возможностью распоряжаться собой как хочу. В общем — малодушное

чувство обреченности, когда не хватает мужества или находчивости восстать, взбунтоваться. Надо было самому лезть в петлю: деться, я считал, некуда!

Случайно выбранное для ночлега место оказалось токовищем. Неожиданно, уже в ясных весенних сумерках, в десятке метров от костра с шумом опустился великолепный косач: посидел тихо, прислушиваясь, потом чуфыкнул раза два и замолк. Я не отрываясь смотрел на неподвижно сидевшую птицу, видимо остро прислушивавшуюся — не откликнется ли где соперник? Но тетерки уже сидели на яйцах, призыв остался без ответа. И так же внезапно косач сорвался и улетел... Я решил, что он прилетал проводить охотника.

...В Усть-Кулом я приплыл к концу следующего дня и явку в комиссариат отложил до утра. Не ради лишней ночи, проведенной вне тюрьмы,— выйдя из леса в дрянной, убогий районный городок, я как-то сразу проникся равнодушием: днем раньше, днем позже, не все ли равно? — а чтобы отправить несколько писем. Одно Любе — дать ей знать, что я жив и не теряю надежды на встречу.

Сотруднику экспедиции было где остановиться и в Усть-Куломе. Предусмотрительный Борис Аркадьевич и тут арендовал дом, хозяева которого — бездетная пожилая чета, люди по нраву необщительные и негостеприимные — были все же достаточно заботливы: иметь дело с моим начальником всегда выгодно. Высокий и худой чахоточный Николай помог мне вытащить на берег лодку, отнес в дом мои пожитки, его супруга заспешила с самоваром. На вопросы, еду ли я дальше и долго ли погощу, мне захотелось ответить нарочито прямолинейно: знать этого не могу, так как вызван по повестке. Это прекратило расспросы. Я провел вечер за письмами.

Утром тщательно уложил в чемоданчик белье, провизию и отправился на почту. Оттуда вразвалку пошел в военкомат. Проходя мимо отделения НКВД, чуть было не зашел: «Вот, мол, я — могли пригласить меня сами, незачем было морочить мозги!» Однако передумал: многолетнее общение с этим ведомством убедило в тщете всяких жестов и демонстраций. Когда имеешь с ним дело, нашему брату от них ни толку, ни лавров, ни удовлетворения не добиться...

Принявший от меня повестку дежурный в полувоенной форме исчез за дверью, предложив подождать. Потом я услышал, как крутят ручку телефона, вызывая абонента. Последовал короткий разговор, и не более чем через десять минут мимо меня прошли вошедшие, как и я, с улицы два молодца в фуражках ведомства. Не задерживаясь, они

проследовали в дверь за стулом дежурного, а через минуту попросили туда и меня. Навстречу мне, едва я вошел в кабинет военкома, шагнул, протягивая бумажку, молоденький оперативник. Это был ордер на мой арест, подписанный еще в феврале. Целых четыре месяца меня разыскивали. Иначе говоря, я незаконно разгуливал на воле еще с зимы! «И то выигрыш»,— подумал я про себя, и отдаленно не представляя себе решающего значения для меня этой проволочки.

Я расписался, меня обыскали, отобрали удостоверение, какие-то служебные записки, деньги, хотя их было ничтожно мало. И повели, уже под стражей, в местное отделение милиции: содержать меня и этапировать по назначению поручалось ей. Уже будучи заведенным в крохотный «клоповник» — КПЗ (камера предварительного заключения) городской милиции,— я попросил принести мне с квартиры вещи. Получил их лишь на следующее утро, после повторных настойчивых требований. Мог бы, впрочем, и не хлопотать. Чемоданчик оказался раскуроченным по всем правилам: рыба, сахар, белье, мыло, теплая одежда, сапоги — все было похищено.

— Откуда мы знаем, что у тебя там было? — резонно разводил руками милицейский чин.— Может, хозяева твои польстились, или он и был пустой, а тебе теперь подавай полный...

Впрочем, уцелели очки, пара портянок, еще какая-то мелочь. Захватить бы, идя с квартиры, чемодан самому, корил я себя задним числом, как ни наивно было рассчитывать сохранить в камере свое добро. Будь чемодан при мне — подсадили бы задержанного вора, меня вывели на полчаса, и я вернулся бы к пустому чемодану. Времена были голодные не для одних заключенных и ссыльных: всего доставалось скудно, продовольственные карточки почти не отоваривались. Особенно тяжело жилось семейным. И несколько полновесных килограммов копченой рыбы, сахар и масло были завидным призом не только для рядового милиционера, а и для среднего начальства.

Мне стали выдавать пайку, однако наметанным арестантским глазом я сразу увидел, что не получаю и половины полагавшихся мне четырехсот граммов хлеба. Но жаловаться некому. Уже на второй день пребывания за решеткой я был остро голоден.

Сутки за сутками я сижу в полутемном грязном закутке с вонючей парашей и кормлю полчища клопов. Доски нар

голы, нет ни одеяла, ни подушки. Резок, что и говорить, переход от жизни в прибранном доме деда Архипа с баней и мисками наваристой ухи! Но я не впадал в отчаяние, полагая, что вот-вот буду отправлен по назначению,— как мне объявили, в распоряжение следственного отдела Ухтпечлага. А там — те самые лагерные условия, что мне хорошо ведомы. Чибью, Ухта — значит, Боян, Борман, друзья в геологическом отделе... Как-нибудь, как-нибудь выберусь, выживу, милостивый мой Боже!

* * *

...Полустанок, куда меня доставил милиционер, чтобы дальше этапировать по железной дороге. Возле лавки, на которую он посадил меня в ожидании поезда, валяется корка черного хлеба. С мякишем! Я сижу так, что она почти подо мной, немного справа от моих ног: стоит нагнуться, слегка протянуть руку — и можно взять. Утоптанный песок в этом месте гладок, и хлеб не обвалялся. Упал, должно быть, плашмя, песчинки пристали разве снизу. Да и произошло это только что: кусок выглядит совсем свежим. Очень тянет его поднять, а я между тем сижу — и давно,— не отрывая глаз от этого участочка земли с ломтем хлеба. И не смею сделать быстрый вороватый жест — мгновенно нагнуться с вытянутой рукой и схватить,— медлю.

Вдоль платформы легкой трусцой, опустив морду и чуть прижав уши, бежала небольшая черная собака. Так пробегают у нас полубездомные приблудшие псы, чтобы прошмыгнуть незаметнее: ждут, что заулюлюкают, ударят, швырнут подвернувшийся камень или палку. Я всегда жалею этих несчастных, и если есть под рукой съестное, терпеливо скармливаю им, преодолевая их настороженный страх перед приближающимся человеком. Они по опыту знают: подманят, чтобы напугать или ударить.

Тут я сжался от страха — вдруг пес учует запах хлеба и унесет «мой» кусок? Ведь я все надеялся — вот переломлю себя и съем этот хлеб! Голод я узнал сравнительно недавно, и мне чудится в нем что-то постыдное, чего нельзя обнаруживать на людях. А тут мимо проходит народ, на соседних лавках сидят пассажиры. Причем мне кажется, что все за мной незаметно наблюдают: в дорожных буднях человек под конвоем — предмет праздных догадок и любопытства.

Со дня, что меня повезли по этапу из Усть-Кулома к

железной дороге, прошло очень немного времени — всего шесть недель. Поездом довезут до Княж-Погоста, где милиционер сдаст меня лагерю. Но эти недели дались мне трудно, длятся бесконечно, расшатали мою собранность и уверенность в себе. Как будто и не происходило ничего страшного, тяжелого, а я измотан. Даже доведен до какой-то черты.

Приключение, в сущности, очень обыденное и даже мирное. Меня препровождают из сельсовета в сельсовет, то есть из одной деревни в другую. В них содержат в местных КПЗ при отделениях милиции. В этих крохотных, обшарпанных и еле освещенных помещениях всегда угарно, зловонно, клопы и вши. Держат в них, пока не представится оказия переправить дальше, то есть не найдется свободного милиционера и наряженного колхозника с подводой. И случается, сидишь в этих гиблых дырах подолгу, иногда по неделе.

Бани нет и в помине. Не везде удается даже умыться. Конвоирующие милиционеры, садясь в повозку или телегу, стараются держаться подальше — из-за вшей. Но худшее — это голодный паек, все труднее и труднее переносимое недоедание. Чаще всего случается обойтись двумястами граммами хлеба, а иногда и этого не добиться: не успели выписать, выходной день, пекарня на запоре...

Это обманутое ожидание как-то приглушить голод напрягает нервы, заставляет подскакивать к двери, колотить в нее, требовать начальника.

— Снова без горячей пищи! Пайку не выписали, гражданин начальник,— лепечу я растерянно и неубедительно появившемуся наконец старшему милиционеру, хотя готовился протестовать резко и внушительно...

— На фронте по неделе не видят щей, понятно?

А в общем, эти милиционеры народ спокойный. В них меньше враждебности, чем в лагерных охранниках, они тянут служебную лямку старательно, но не усердствуют. Случается даже поговорить с ними за долгую дорогу, даже услышать слова сочувствия. «Всех теперь берут,— ободрял меня однажды пожилой милиционер в очках, более походивший на конторщика, чем на вооруженного стража порядка.— Время такое подошло. Коли лагерь дадут — скажи спасибо, как-нибудь проживешь, все не на фронте». От них можно дождаться и послабления.

Как-то на речной пристани — часть пути меня этапировали по Вычегде — ко мне подошел пассажир, по виду

питерский мастеровой на покое или сельский учитель. Попросив у милиционера разрешения, он передал мне несколько завернутых в бумажку ломтиков пожелтевшего сала и аккуратно срезанных хлебных корок, какие оставляют беззубые старики. Так впервые в жизни мне подали милостыню. Она потрясла меня. Со стыдом и страхом оглядывал я свидетелей этой сцены, но милиционер небрежно кивнул — бери, мол, разрешаю, и я взял. Хотел было отложить, чтобы съесть не на людях, видевших мой позор. Но не удержался — стихия голода уже засасывала — и стал тут же запускать пальцы в кулек и совать, совать в рот корки... На исходе второго месяца пути я был сдан в лагерь и водворен в небольшую пересыльную зону Ухтлага при станции Княж-Погост.

* * *

Не так запомнились скученность и грязь, как неизбывные все сильнее обволакивавшие разговоры о еде. Нас в тесном бараке с нарами из жердей, вероятно, около ста человек — в большинстве такие же пересыльные, как я. Никого на допросы не вызывают, нет, разумеется, и прогулок: мы сутками сидим взаперти и, когда не спим, до одури толкуем все о том же. Я еще настолько свеж, что это меня ужасает. Нет, что ли, ни у кого иных забот, тревог? Не могут разве переключиться на другие воспоминания? А самого сладко будоражат рассказы соседа по нарам. Он оказался ветеринарным врачом из-под Кировабада, прежнего Елизаветполя, и расписывал на все лады свое плодоносное, изобильное Закавказье, благодатные ореховые и каштановые рощи, щедрые урожаи лесных фруктов. Нависают над головой тяжелые ветви, обвешанные плодами: бери сколько хочешь, ты в лесу, ешь, все тут твое!

В этой зоне меня продержали с месяц, но тут пайку и баланду выдавали аккуратно, можно было очень непрочно, но регулярно приглушать голод. В общем, ступенька вверх после кочевания с милиционерами.

И наконец выкликнули: «Волков!» Меня включили в партию, отправляемую в Чибью, по всем лагерным правилам: всех обыскали, потом насовали в кузов грузовичка, заставили сесть с подвернутыми ногами, над нами встали попки с винтовками, и мы поехали.

Уже наступала ранняя северная осень. Сумерки быстро

сгущались, было холодно и тоскливо, шел ровный несильный пронизывающий дождь. Немели поджатые ноги, было больно сидеть на голых досках, на ухабах вытряхивало из нас душу, мы дрогли. А шофер гнал, цепко держащиеся за борта и кабину охранники материли нас и не упускали случая ткнуть прикладом куда попало — так, на всякий случай, чтобы знали, чувствовали, что в лагере! И это было узаконенным, ставшим традиционным способом транспортировки зэков — в лагерной империи — озябших, побитых, голодных...

В Чибью меня завели в здание управления, остальных повезли дальше. Ночной дежурный запер меня в каком-то темном чулане под лестницей, где стоял табурет и крохотный столик. Я растянулся на полу и заснул как мертвый.

Близко к полдню меня вызвали к какому-то чину. Тот задал несколько вопросов, сличая мои ответы с лежавшей перед ним справкой, и объявил, что сегодня же меня отправят дальше, на Крутую. Потом спросил, выдано ли мне с места отправки «хлебное довольствие».

— А должны были по правилам снабдить,— назидательно изрек он, узнав, что довольствия вообще никакого не было.— Мы ведь ничего этапируемым не выписываем. Управление здесь, комсоставская столовая. Да и та только в обед открывается. Так что придется до места потерпеть.

Теперь даже трудно вообразить, как расстраивали тогда невыданные пайки, никогда задним числом не компенсируемые...

Крутую я увидел только поздно вечером. Весь длинный день просидел на скамье в прихожей управления, предоставленный себе. Мне было велено никуда не отлучаться, в дверях торчал вахтер из зэков, и я послушно не покидал свое место, разве осмеливался ходить в уборную, находившуюся подле моего ночного чулана. Народ сновал мимо почти непрерывно. Скрипучая и разбитая входная дверь хлопала то и дело, озабоченные военные спеша взбегали по стертым ступеням. Редко кто бросал на меня рассеянный взгляд, я же всматривался во всех жадно — все ожидал, что увижу знакомое лицо, может быть, друга. Мечтал, что остановится кто-то, поразится встрече, расспросит и побежит добыть для меня хлеба, авось достанет мыло, зубного порошка... Но не нашлось ни одной знакомой души, и я сидел на своей жесткой лавке, измученный обманутым ожиданием, опустошенный сознанием своей беспомощности и слабости перед надвинувшимися испытаниями.

На Крутой мне приходилось бывать. Небольшая зона и поселок при сажевом заводе, где я когда-то останавливался, выйдя с партией из тайги. У меня там даже было несколько знакомых заключенных, работавших в местном геологическом отделе. Один из них, фон Бринкен, типичный остзеец, прежний военный топограф и крупный специалист по аэрофотосъемке, был приятен своей воспитанностью, но держался чрезвычайно замкнуто и — помню — ждал тогда, ждал всем существом, считая последние недели, окончания своего десятилетнего срока.

Другой, Гордельман, тоже немец, но из волжских колонистов, очень обруселый, был геологом, влюбленным в свои палеозойские отложения, способным сочинять гимны мергелям и магмам, будто бы таящим в себе жизнь, крайне непрактический и неосторожный человек, фантазер, верящий в добрую человеческую суть. Он нередко появлялся в нашем таежном стане, интересовался данными съемки, но пуще всего любил отвлеченные мечтания, споры на возвышенные темы у костра, был поэтичен, красноречив, искренен. Я любил слушать его импровизации. Свой пятилетний срок в лагере переживал легко: «Все в жизни — ко благу», и я очень надеялся его увидеть. Оба эти мои знакомца должны были, по моему расчету, закончить срок и перейти на положение вольнонаемных. Им вряд ли, полагал я, разрешили покинуть Север.

Но доставили меня на Крутую не в зону и не в поселок вольнонаемных, а к расположенному в лесу участку, обнесенному высоким дощатым забором, увенчанным колючей проволокой. Ничего этого прежде тут не было.

Все было новеньким — из-под рубанка. Доски не успели потемнеть, сверкала чистотой незахватанная ручка двери проходной. Посередине огороженного пустыря красовался свежерубленый дом под железной, блестевшей краской крышей, с высоким крыльцом без перил. Не было у дома ни фундамента, ни завалинки — он стоял, вознесенный частоколом деревянных стульев, между которыми валялись стружки и обрезки досок. Я потом не раз их рассматривал сквозь щели в полу, но уже сверкавших инеем, занесенных снегом...

Небольшой Т-образный в плане дом был разделен коридором, расходившимся в обе стороны. Посередине его, против длинных сеней, стояли стол с табуретом дежурного, со своего места проглядывавшего весь коридор с дверями камер по обе стороны. Все и внутри было незатоптанным и пахло свежим деревом. Передо мной распахнули дверь

угловой камеры, потом ее захлопнули, прогремели ключи в замках, скрипнули засовы, и я мог оглядеть свое новоселье. Меня прежде всего поразил давно забытый запах: такой скапливается в необжитых бревенчатых помещениях — на дачах, когда переезжали туда после долгой зимы, и в только что покинутых плотниками помещениях. Я был, несомненно, первым постояльцем крохотной одиночки с зарешеченным окошком под потолком и чисто выстроганными узкими нарами. За стеной довольно явственно были слышны голоса. Я прислушался: там спорили, долго ли еще ждать обеда. По манере выражаться и интонациям, разговаривали дорогие бытовички — «социально близкие». Кто-то сказал, что надо бы узнать, кого привели в одиночку.

— Чего узнавать? Известное дело — фрайер, раз к нам не подбросили.

Потом ровный, немного приподнятый голос стал дорассказывать, какие у них в образцовой колонии под Москвой варили обеды: жирная свинина, каша на палец залита маслом... Мне все было слышно, точно стены вовсе не было. Она оказалась неконопаченой.

В коридоре затопали, что-то с грохотом поставили на пол, загремела посуда. Обед! Я подошел вплотную к двери — скорее получить свою миску баланды с хлебом после двух дней полного поста. И дверь действительно отперли, однако не с тем, чтобы дать обед: охранник предложил следовать за ним на допрос «без вещей» — словно они у меня были!

— Что мне теперь с вами делать? — огорошил меня следователь вопросом, едва я сел у его стола и вышел конвоир.

— Вам лучше знать,— только и нашелся я ответить.

Попереливав из пустого в порожнее и заполнив длинную, уже множество раз повторенную, знакомую по всем пунктам анкету с «установочными данными», проведя, в общем, более часа за праздным выспрашиванием, он отправил меня в камеру. Мой огороженный коттедж был, как я узнал, Центральным следственным изолятором Ухтлага, всего две недели назад запущенным в эксплуатацию.

Отправил надолго. И я стал забывать, что нахожусь под следствием. В камере я был по-прежнему один, но соседей слышал беспрепятственно. Иногда они со мной переговаривались. Мне постепенно открылось кое-что из лагерных событий, имевших прямое отношение к моей судьбе. Теперь-то я могу изложить их полно и связно, пристегнув к ним и загадочную реплику следователя. Обстояло все вот как.

Понагнав на зэков страху расстрелом заложников в первые месяцы войны, лагерное начальство стало далее прибегать к испытанному методу монтажа процессов: раскрывались «заговоры», предупреждались «попытки восстания». Эхо постоянных залпов должно было напоминать лагерникам, что никакие поражения на фронтах не ослабили карательные органы, и они по-прежнему бдят, на посту, и горе тому, кто вообразит, что настал час избавления!

Дошла очередь и до геологического отдела Ухтлага. По заранее составленному списку всех, кто чем-нибудь маломальски выделялся, объединили — при помощи провокаторов, лжесвидетелей, пыток и запугиваний — в преступную группу, якобы сформировавшую «подпольное правительство». Оно ждало наступления Гитлера на Москву, чтобы «поднять восстание» в лагере. В списке министров оказались не только ведущие геологи — фон Бринкен, Гордельман,— но и я. Узнать об этом мне пришлось позднее — из толстой папки с моим «следственным» делом.

Всех переарестовали, на меня объявили розыск. На след мой навел сотрудник лагеря, знавший меня в лицо и случайно увидевший в гостинице в Сыктывкаре: он и донес о встрече в следственный отдел. За те полгода, что меня разыскивали и доставляли, заговорщиков успели расстрелять.

Сидевшие в соседней камере уголовники рассказывали, что встречали в старом изоляторе Гордельмана. Его долго держали в одиночке, выколачивали признание. И как-то ночью, по воровскому выражению, «взяли» — вломились в камеру, связали и потащили по коридору. Как раз об эту пору меня — затерявшегося «министра» — арестовали в Усть-Куломе. И тут, впервые в жизни, международные события непосредственно повлияли на мою участь. В Москве побывал английский премьер Иден, сказавший Сталину о чрезвычайно неблагоприятном впечатлении, какое производят на общественное мнение Англии расстрелы заложников в советских лагерях и казни духовенства. И дана была команда — отставить! Священников стали пачками освобождать из заключения, прекратились дутые процессы. И все это со дня на день, как может произойти только в государстве, где нет законов и диктатору достаточно пошевелить пальцем или кивнуть, чтобы падали головы или, наоборот, им разрешалось и дальше моргать глазами, шевелить ртом и выражать преданность. И когда я наконец предстал перед очи следователя, все мои «заговорщики-единомышленники»

были расстреляны, дело, по которому меня привлекли, перечеркнуто и объявлено небывшим! Как было поступить со мной?

Было бы наивно предполагать, чтобы следователь действительно ломал голову — как мною распорядиться? Была железная заповедь: не выпускать, не освобождать! Осечка с «подпольным правительством» — дело поправимое: найдется и другая зацепка, да и статей кодекса и формулировок достаточно... Время терпит — можно не спеша подыскать не то что-нибудь само подвернется! Никаких стеснительных процессуальных норм нет — в лагере просто смешно о них упоминать. Непререкаемая аксиома и истина: раз арестован — значит, виноват!

Примерно два месяца спустя — со счета времени я стал сбиваться — меня потребовали к следователю, однако не для допроса, а по особенному случаю. Приехавший ревизовать лагерных следователей бывший мой архангельский допрашиватель Денисенко, очевидно выслужившийся в тридцать седьмом году и сильно влезший в гору, захотел на меня взглянуть, любопытствуя посмотреть на то, что он мог справедливо считать отчасти творением своих рук.

Развалившись в кресле — я сразу отметил, как прибавилось в нем важности,— Денисенко неторопливо меня разглядывал. Он прищуривался, откидывал голову, небрежно делился с младшим коллегой соображениями и выводами по поводу моей персоны — этаким метром перед подмастерьем. Тот внимал с величайшим пиететом.

— Ну, право, не узнаешь... Лагерный работяга, да и только! Щетина на подбородке, телогрейка замызгана, из ботинок торчат портянки. И не догадаешься — а?! — кого эта сряда прикрывает. За-ма-ски-ро-вал-ся! Ты бы поглядел, каким франтом он по Архангельску разгуливал — брюки в складочку, куртки заграничные... Еще бы! Его брата американская разведка снабжала. Так что если бы тогда не разоблачили... И ты не смотри, коли он станет комедию тут разыгрывать: беспартийный я, политикой не интересуюсь. Спроси, на любом языке тебе ответит... И вообще... помни: перед тобой матерый враг. Озлобленный! И ты следи, дознайся — с кем он теперь связан, чем дышит? Разве не так, Волков? Ну, что опять натворили? Небось опять скажете — ни в чем не виновен! Пока вас не приперли...

— Вы и тогда ничего не доказали,— вдруг вскипел я,— и теперь вот уже более трех месяцев сижу — где обвинение? Небось и предъявить-то нечего...— Я сбился, забыл, что

хотел еще сказать: мысли в голове путались. Мне не удавалось сосредоточиться, излагать связно.

— Все ершитесь? Не обломали рога? Ну что ж, ваше дело. А мы, это вы хорошо знаете, добиваться своего умеем.

Меня вели обратно в изолятор, и я, помню, корил себя, что вот обменял на хлеб свою куртку, теперь хожу в обносках и всякие Денисенко могут надо мной потешаться... И мучительно стыдился своих грязных рук, рваных бумажных штанов, настолько коротких, что из ботинок торчали голые ноги. Носков не было...

Изредка — это зависело от настроения дежурного в коридоре — меня выводили на прогулку в огороженный двор. И хотя сходить и особенно подниматься по крутым ступеням крыльца становилось трудно — не было уверенности в ногах,— я все же торопился выйти, чувствуя, что поддаться искушению лежать, не утруждая себя, нельзя, что тут одна из позиций, которую я должен отстаивать как можно дольше, защищая свою жизнь. Дежурный усаживался на крыльце с папиросой, я медленно ходил взад-вперед перед его глазами или садился на валявшийся чурбачок, ощущая тепло последних солнечных дней — в пасмурную погоду не выводили гулять,— но не умея подняться мыслями и душой над сосредоточенными вокруг выживания заботами.

Чем труднее становилось, например, нагнуться, чтобы разуться, или требовалось больше выдержки, чтобы сохранить до вечера кусочек хлеба, тем полнее эти напряжения мышц или усилия воли поглощали и занимали сознание. Ни о чем другом уже не думалось и не мечталось. Драмой, трагедией оборачивались недоразумения и разочарования, относящиеся к пайке или обеденному ритуалу. Надзирателям приходилось следить, чтобы соблюдалась очередь на получение горбушки. Каждый караулил ее ревниво, и какими же исступленными сценами сопровождались и самые пустяшные заминки! Ожидавший получить ее утром уже с вечера нервничал, тревожился: вдруг на камеру не достанется ни одной горбушки или, на грех, попадется вовсе сырая, с мягкими корками? А как следили за черпаком раздатчика, коротким движением уравнивавшего содержание «гущи» — редких крупинок, взвешенных в мутной тепловатой жиже. Миску выхлебывали, не черпая ложкой до дна, чтобы напоследок зачерпнуть пол-ложки крупы! А ее сплошь и рядом не оказывалось вовсе.

В стене в одном месте между бревнами оставалась порядочная щель. Округлость бревна не позволяла видеть сквозь

нее, но пальцы проникали настолько, что можно было просунуть не только записку, но и небольшой сверток. Мне не с кем было вести переписку, да и не о чем, но соседи как-то соблазнили меня произвести обмен: я отдавал на три крученки табаку, мне следовала порция сахару.

Как же я волновался, согласившись на обмен! Надо было отсыпать махорки достаточно, чтобы не вызвать нарекания, но и каждой лишней крупинки было жалко. И я добавлял, снова отсыпал, прикидывал. Но, подбираясь по нарам к щели с пакетиком махорки, я испытывал чувства, обуревавшие почтмейстера с письмом Хлестакова в руке: мерещилась ложка сахарного песка, подсластившая кипяток, и страшно было — вдруг обманут? По договоренности, я должен был отдать свой товар первым.

И конечно, меня обманули. К отчаянию моему по поводу пропажи ценной махры примешивалась обида: надули как новичка, желторотого фрайера! Мне-то пора было знать, с кем имею дело. Не такое же ли отребье обирало на этапах, отнимало у слабых пайки?.. Я понимал, что уже не умею четко вести свою линию, распознавать надвигающееся. Ведь я и у щели проторчал бесконечно, все веря, что за словами: «Сейчас, завертываем!» — последует и передача, пока меня не заставили просунуть пальцы как можно дальше, обдирая их о дерево «Да бери же, вот он, еще чуть просунь...» — и не огрели чудовищной сальностью. Не скоро пришел я в себя после пережитого потрясения.

Потом со мной был разыгран другой фарс, но уже не ворами, а следователем. Ко мне в камеру втолкнули человека, сопроводив его появление мизансценой, за версту отдававшей режиссурой. Новый сокамерник — юркий человечек с мелкими чертами неумного, лживого лица с убегающим взглядом — на весь изолятор материл какого-то партийного секретаря, преследующего его за раскулаченного отца, поносил порядки, взывал ко мне: где у советской власти справедливость? Я каменно молчал. Улегшись на нары, он стал то же повторять монологом, изредка вызывая меня на ответы. Закрыв глаза, я притворился спящим.

Когда внесли обеденные миски с баландой, он набросился на еду, притворившись осатанелым от голода. Но ел нехотя, лениво и посуду отставил, не слив последнюю капельку в ложку. Почти сразу после обеда дежурный вызвал его на допрос, хотя конвоир с улицы не заходил — в изоляторе всякий звук прослушивался с одного конца в другой.

И когда этого молодца снова ввели в камеру, я спросил его в упор:

— Ну как, сытно покормили?

Еще дня два прожил я с наседкой, потом его убрали и от затеи состряпать «камерное» дело, видимо, отказались. Там подбирали под меня ключи, искали, из чего слепить мало-мальски приглаженный повод для обвинения. Но все это, как я говорил, не занимало воображения, скользило по мне, глубоко не задевая. Как раз тогда стала одолевать другая забота: к голоданию прибавился холод. В камере не было печи, в неконопаченые стены и щели пола дуло,— а на дворе стоял октябрь, уже выпадал снег и согреться почти не удавалось.

Но тут, должно быть в начале ноября, меня перевели в общую камеру, куда выходило обмазанное глиной зеркало печи. Топили, правда, редко и плохо, но немного тепла печь давала: прижавшись к ней спиной, мы простаивали тут подолгу — пока держали ноги. Сморившихся тотчас подменяли другие — очередь не переводилась весь день. И нередко возникали ссоры, даже драки из-за места.

Эта камера сделалась на долгие месяцы тем тесным, придавившим меня мирком, за пределы которого уже не вырывалось ущербное, гаснущее сознание.

...Ближе к полудню понемногу стихают напряженные разговоры о разных блюдах, преимущественно сытных деревенских яствах, приготовленных в русской печи с великим обилием мяса, сала, щедро политых сметаной и растопленным маслом, яствах, накладываемых горой в просторные миски-тазы. Идут на убыль сводящие с ума воспоминания о том, кому, по скольку раз в день и чего приходилось есть там, на воле, вдвойне недоступной для этого полутора десятка человек, не только заключенных в лагерь, но еще и запертых в изоляторе.

Никто не замечает, как перестали спорить о разносолах и угощениях, от одного перечисления которых всех лихорадило, и съехали на простой черный хлеб.

Ты, русский ржаной хлеб-батюшка, ты — сытный, пахучий, увесистый мужицкий каравай, с нижней коркой, обсыпанной прижаренной мукой, и твердо-глянцевой верхней! Да и ты, городской формовой кирпичик с пахнущими подсолнечным маслом боками, вы одни день и ночь мерещитесь и снитесь нам неотступно!

Буду ли я, Боже мой, держать когда-нибудь в руке ломоть ржаного хлеба или отрезать от целого каравая большие

доли и, поедая их, иметь перед глазами оставшийся хлеб, от которого волен отрезать еще и еще куски, потом бережно их разламывать, чтобы не уронить крошек, набивать и набивать рот мякишем? Это видение одно занимает мое воображение.

Как же все на днях набросились на паренька из Закарпатья, когда тот стал уверять, что на воле не съедал и четверти фунта хлеба, довольствуясь другой едой! Есть мера лжи: как поверить, чтобы человек мог равнодушно отказываться от ржаного хлеба, предпочитая ему какие-то галушки и налистники?! То было посягательство на самые дорогие представления, какими мы жили. Казалось просто чудовищным, даже кощунственным, чтобы можно было так пренебрежительно упоминать о хлебе, от него отвернуться, и я, едва не плача от бессильной досады, поддакивал общему негодующему хору: «Врешь все, обманщик, все врешь! Да хохол просто смеется над нами, дурачит!»

Но наконец стихают разговоры и о хлебе. Один за другим все смолкают. Но не лежат спокойно после пережитых волнений, а прислушиваются. Напряженно ловят всякий звук в коридоре. В камере часов, само собой, ни у кого нет, окно загорожено деревянным щитом, и все-таки час раздачи пищи мы угадываем безошибочно, как животные в зверинце. Его ожидание всех настораживает и напрягает до изнеможения. Воцаряется гробовая тишина. Вздумавшего ее нарушить злобно одергивают, раздаются истерические протесты.

Но вот лязгнули запоры наружной двери. По нарам шелестит вздох, возникает короткое движение — и в камере снова стихает. Тихо, впрочем, во всем изоляторе, словно обед принесли в морг.

Эта глиняная плошка с черпачком жиденького мутного отвара! Он вдобавок едва теплый, потому что его приносят издалека и разливают в мерзлую посуду — после ополаскивания ее складывают в стопки на полу у столика дежурного. И хотя ничего, кроме этой жидкой бурды, я, пока там пробыл — то есть больше года,— не получал, ждал своей обеденной миски всем существом, томясь и волнуясь... Вот заскрипели под валенками половицы, стукнули поставленные ведра. Потом звякнул черпак. Слух, обоняние, нервы напряжены до мучительного предела. Тем более из-за того, что дежурный начал раздачу с противоположного конца коридора.

Меньше чем за минуту миска опорожнена до последней капли. Съеденного без хлеба супа так мало, что голод ни-

сколько не отступил. Но разрядка предобеденного ожидания привела к призрачному оживлению — диспуты о еде возобновляются. Это наваждение, помутнение разума. Настолько заразительное, что избавляешься от него только в часы, когда удается крепко заснуть.

На днях в камере внезапно заболел, стал бредить и метаться в жару пожилой колонист-немец, недавно попавший в изолятор, а потому еще хорошо экипированный — по нашим меркам, понятно,— и прятавший, как можно было подозревать, запасец махорки и даже, быть может, сахару. Под вечер зашел фельдшер, измерил температуру и буркнул, уходя, что переведут больного в стационар. Но надвигалась ночь, и никто не приходил. Больной горел еще пуще, стонал, иногда затихал. И тогда становилось страшно — не умер ли?

Он помещался на нижних нарах, как раз подо мною. И уже с вечера к нему в ноги сели двое, как бы случайно, как бы с тем, чтобы подать кружку воды или поправить сползший бушлат. Но мы знаем, что они караулят — чтобы, в случае чего, оказаться первыми — и что гложет их неотступно: не обманет же он их ожиданий — помрет в камере, и тогда что-нибудь да перепадет на их долю. Они уже высмотрели, где в изголовье спрятана пайка, уже облюбовали суконную куртку, портянки... Уже поделили между собой пожитки умирающего!

Нет — чур меня, чур! — я не желаю ему смерти, я отгоняю мысль о конце... И все же — сверлят сознание эти щепотки махорки, этот несъеденный кусок хлеба, даже виденный на немце теплый шарф. Я не пойду сторожить и осуждаю воронье, что, учуяв добычу, ждет, караулит, сидит над ним,— но, Боже, если он умрет, ему уже ничего не будет нужно, и почему всем воспользуются другие, а не я?

Изредка, с большими многонедельными промежутками меня водят к следователю. Он о чем-то спрашивает, вызывает на откровенные суждения, попеременно угрожает и уговаривает. Я понимаю, что он все еще не нашел, за что зацепиться, чтобы состряпать обвинение, но не способен ни вникнуть в суть его хитросплетений, ни принять близко к сердцу всю эту возню. Словно дело идет не обо мне, а о постороннем лице. И кроме того: при всех обстоятельствах дадут срок, куда-то погонят... И там будут кормить! И в общем — повторение пройденного. Я уже не осмысливаю, что со мной происходит.

С головой делается что-то неладное — это я начинаю сознавать в редкие минуты душевной ясности. Они — гости ночи. В камере бывает относительно тепло, и, проснувшись, я чувствую, что угрелся. Еще не точит голод, а с ним и навязчивая мысль о хлебе. Ненадолго возвратилась трезвая способность оценить свое положение.

В камере находился помешавшийся от голода портной Селим — не то курд, не то турок со склонов Арарата. За добавочный черпак супа он мастерил дежурным тюбетейки из материала, который они ему приносили. Подражая ему, я на днях сшил из подкладки фуражки нечто, отдаленно напоминавшее изделия Селима. Потом терпеливо надергал ниток из ветхой нательной сорочки и принялся за узор. Задумал я пустить по кромке тюбетейки волнистую нить, а на маковке — расходящиеся лучи, что-то, в общем, вовсе примитивное, лишь бы было что предложить дежурному.

Но что это? Почему игла ходит и тычется как в бреду, оставляя за собой путаный след? Я утратил власть над нею и не способен расположить узор так, как хотелось. На старенькой лоснящейся ткани возникают неровные запятые, беспорядочно расположенные косые черточки... Вот нитка пьяной линией, точно спотыкаясь, увела на самый край тюбетейки. Воображаемые узоры и серенькая нить опутали, как паутиной, мое сознание, утратившее устойчивость. И я собираю все свои силы, дрожащей от напряжения рукой тычу иглой в потертый шелк, мучительно стараюсь подчинить ее движения какому-то замыслу, сбиваюсь и растерянно останавливаюсь: мне кажется, что я схожу с ума!

...Кромешная темнота камеры и мертвая тишина. Голодные видения и страхи копошатся где-то в сторонке, не подступают вплотную, и я вдруг ясно сознаю, что заболеваю, как Селим... Так ли это плохо? Быть может, даже к лучшему: сознание притупляется, многое скользит мимо, не задевая... И в самом деле, иначе разве бы я так быстро успокоился после сегодняшней передряги? Вспоминал бы о ней, словно не со мной все произошло, а при мне? Вот только с брезгливостью думаю о некоторых подробностях.

...Надзиратель стоял надо мной и орал во весь голос:

— Вставай, интеллигент моржовый, не то пну ногой, и угодишь в очко — в дерьмо головой! Открыл мне тут заседание... Все давно оправились, а он расселся, профессор говенный...

Я отчаянно цепляюсь за стену, ищу за что ухватиться, другой рукой опираюсь в икру, в грязную доску стульчака,

хочу подняться, лишь бы смолк крик, но ноги как ватные, и я продолжаю раскорякой сидеть перед расходившимся вахтером, еще ниже опускаю голову. Жду, что толкнет, ударит. От страха растерял последние силы. Наконец, наскучив криком, дежурный зовет уборщика, тот помогает мне подняться и приводит в камеру.

Я уже давно — должно быть, месяца два назад — перебрался на нижние нары, хотя там гораздо холоднее: влезать на верхние сделалось не под силу. Я что-то быстро слабею. И мысли в голове бродят вяло, путаются; ни с того ни с сего навертываются слезы, посещают ребячьи страхи. И все же в такие вот умиротворенные ночные минуты я начинаю, наперекор всему, тешить себя надеждами. Обстановка так их опровергает, в таком противоречии с ними, что они как бы вне меня, не порождают сил, какие бы помогали цепляться, бороться, чтобы выжить. Впрочем, что это за хилые, бескрылые мечтания! И не уводят далеко: получить бы лагерный срок и выйти из этого страшного домика, показавшегося мне, когда я его впервые увидел, таким мирным, таким безобидным...

Думаю даже, что срок будет небольшим: что может, в самом деле, высосать из пальца следователь, что потянуло бы от силы на пяток лет? Меня даже могут отправить в ссылку... И на лагпункте, а тем более за зоной, несомненно, будет возможно раздобыть хлеба, на первый случай хотя бы граммов двести... Или лучше полкилограмма. Или даже — буханку. Я усядусь с ней в укромном месте и начну расчетливо, сдерживая нетерпение, аккуратно отрезать по ломтику пальца в два толщиной, потом... Кошмар возобновляется...

...В крохотной камере не больше четырех квадратных метров. От двери к окошку тесный проход, по бокам высокие двухъярусные нары. Все тут свежевыстроганное, незатоптанное, как оставили столяры. Даже стружка по углам лежит. На вбитых в стену под окошком крюках висит батарея, но трубы к ней не подведены. Металл густо покрыт инеем: это я обнаружил только теперь, когда рассвело.

На дворе ясно, морозно. Свет идет в карцер через загороженное козырьком окошко, но его за ним столько, что отраженное сияние солнца попадает и сюда. Да еще светлеют щели между половицами. Приглядевшись, вижу сквозь них припорошенные снегом щепки и моховые кочки: здание приподнято над землей более чем на метр.

Меня втолкнули сюда накануне вечером. Тогда я ничего этого в потемках не увидел, как не заметил и иней на калорифере, только ощутил такой холод, что себе не поверил. Решил, что за отворенной передо мной дежурным дверью не «кандей», а тамбур или даже обшитое тесом крыльцо. Но то была настоящая «холодная»... Хотя все относительно: на лесных лагпунктах я видел непокрытые срубы, обращенные в карцер. Зимой в них запирали зэков босыми и в нижнем белье.

Но сейчас мне впору думать о собственном отчаянном положении. Снега в карцере, правда, нет, но мороз как на улице, а оборониться от него нечем: на мне летние старые гимнастерка и брюки, куцая — чуть ниже пояса — телогрейка с короткими не по росту рукавами; на ногах, обернутых в бумажные портянки, кирзовые ботинки, на голове та самая кепка, откуда я выдрал подкладку, из которой так неудачно пытался смастерить тюбетейку. Она-то и стала косвенной причиной моего заключения в карцер. Помешанный Селим, усмотрев во мне конкурента, бросился на меня отнимать мое рукоделие. Едва сцепившись, мы грохнулись на пол. Селим успел уползти под нары, прежде чем дежурный отпер дверь, я же никак не мог подняться.

— Драку мне устраиваешь? Говори с кем? Я вас, доходяг, проучу! Что, что? Споткнулся, упал? Так я тебе и поверил... то-то крик стоял. Не хочешь назвать — я те остужу мозги, интеллигент ср...!

Надо было, вероятно, осторожно постучать в дверь карцера и униженно, льстиво просить прощения и милости, назвать Селима. Но этого сделать я не мог...

Мне показалось, что я бесконечно долго простоял в проходе, прислонившись к двери и смутно ожидая, что за мной придут. Не может быть, неправда, чтобы это было всерьез: припугнули, и все... Но никто не приходил, и я достоял до того, что вовсе окоченел. Сделалось невмоготу шевельнуться. И меня охватил подлинный ужас.

Превозмогая стылость во всем теле, я стал карабкаться на верхние нары, чтобы достать до решетки окна. Еще когда дежурный отворял дверь, там в луче света из коридора блеснула висевшая на ней проволока. Но послужить мне она не могла. Пальцы оказались слишком слабыми, чтобы ее разогнуть и, тем более, соорудить из нее петлю: проволока была толстой и упругой. Изо всех сил, придаваемых отчаянием, я старался ее отмотать. В ту минуту мне казалось легче повеситься, чем медленно замерзать.

И все-таки надо было что-то предпринимать. Я вспомнил своих зябких пойнтеров — как они в холод свертываются калачиком и, уткнув морду в брюхо, греются собственным дыханием. Забравшись на верхние нары — все-таки дальше от стылого пола,— я заставил себя окостеневшими пальцами расстегнуть телогрейку и снял ее. Потом встал на колени и согнулся так, что почти достал их головой; телогрейкой покрыл спину, растянув полы ее от ступней до затылка. Свисавшими рукавами кое-как ухитрился с боков. Потом лбом оперся о скрещенные руки и засунул пальцы под мышки; в таком положении кровь приливала к голове, и это слегка оглушало. Я затих и стал ждать. Чего?..

Я уже плохо помню последующее, даже не могу сказать доподлинно, в какое время меня вывели из карцера: пробыл я в нем несколько более полусуток. Пока был в силах, заставлял себя шевелить пальцами в ботинках, причинявших боль и сделавшихся каменными. Мерзли руки, колени, несло холодом с боков; иногда казалось, что со спины съехала телогрейка, колотил озноб. Стылый воздух вокруг словно отвердел.

Мерещились открытый огонь, хлынувшие отовсюду волны тепла. Особенно упорно возвращалось одно видение. Чудилось, что я лежу на нарах, окруженных со всех сторон пышущими жаром батареями. Под досками тоже проложены трубы отопления. Я никак не мог придумать, как защититься от холода, идущего сверху, и приспособить калориферы над собой.

Так — то отчетливо сознавая окружающее, то забываясь в видениях или снова думая о проволоке на решетке — я просидел, скорчившись, на досках, скрипевших от мороза, всю долгую зимнюю ночь. Помню проникшие в карцер первые отсветы зари. И четко обозначившиеся в полу щели.

Холод страшнее голода.

* * *

Как ни плох я был и вяло соображал, некоторые протоколы из папки, которую положил передо мной следователь, объявив об окончании следствия, я прочел с интересом. Даже волновался, вчитываясь, даже пытался что-то выписать для памяти. Мне дали карандаш и бумагу: я мог готовиться к защите — законность и правосудие торжествуют! В кабинете было тепло, передо мной был поставлен стакан сладкого чаю, и от такой благодати я немного приободрился.

Выходило, будто мои прежние коллеги-геологи меня оговорили. Я будто не раз высказывал монархические взгляды, давал согласие взять на себя внешние сношения директории, как только произойдет восстание и надо будет связаться с немецкими союзниками. В одном из показаний даже говорилось о моем сходстве с Романовыми, которое можно бы при известных обстоятельствах использовать. Были ли эти протоколы целиком подложными, или следователям удалось угрозами и пытками добиться таких показаний — не придется, вероятно, никогда установить. Впрочем, то была «историческая часть» моего дела. В обвинительном заключении о ней не упоминалось: ничего из этого бреда мне не инкриминировалось, а обвинялся я очень четко в ведении агитации против колхозов, что подтверждалось показаниями рядового охраны лагеря, колхозника деревни Лачь Ивана Константиновича Габова, моего квартирохозяина во времена пребывания в составе экспедиции.

Костя Вань! Друг и неразлучный спутник длинных таежных походов! Гостеприимный внимательный хозяин, доверительно изливавший мне у лесных костров свои жалобы на нищенскую жизнь! Обремененный большой семьей отец, которому я выхлопатывал, в своей ипостаси старшего наблюдателя, какие только было возможно премии, льготы, пайки.

Как дошли до следователя сведения о моих бывших связях с Габовым, попавшим по мобилизации в охрану лагеря, я не узнал, но как его заставили дать нужные показания — представлял себе отлично. В то время чины лагерной администрации и охраны зубами держались за избавлявшую их от фронта службу. Каждый искал, как выслужиться, проявить рвение, закрепиться попрочнее, стать незаменимым! Путь для этого был один: жестко и беспощадно обращаться с зэками, безотказно угождать начальству, всюду обнаруживать козни врага. От Кости Ваня потребовали подписать облыжные показания против меня — мог ли он отказаться? Своя рубашка ближе к телу... Ему, несомненно, пригрозили отправкой на фронт, а дома «жена, малолетки» — полуголодные, беспомощные; отсюда же всего тридцать километров до деревни — удается помочь семье, ее подкармливать.

Должно быть, в марте — стояли уже светлые длинные дни, и было слышно, как за окном отчаянно возятся воробьи,— меня вызвали на суд. Впервые мое дело «разбирали» при мне, а не решали заглазно, как уже трижды делали в прошлом.

По дороге охранник стал было подгонять меня, но,

сообразив, что никакие окрики его и понукания не помогут, обреченно поплелся в нескольких шагах позади, приостанавливаясь закурить или попросту оглядеться, подставить лицо горячим лучам весеннего солнца. И я бы наслаждался теплом, светом, мягким ветерком, уже несущим запахи оттаявшей хвои, первых прогалин, раскатистыми голосами птиц, не поглоти меня всего трудность ходьбы: не только требовалось невероятное усилие, чтобы волочить ноги, но было ощущение, что никак не ступишь твердо — вот-вот споткнешься и упадешь. На подтаявшей дороге было скользко, и видневшийся в полукилометре поселок казался отстоящим недостижимо далеко. И я чувствовал, что не дойду, не хватит сил.

К Дому культуры или клубу, где должен был состояться суд, мы подходили вместе: вохровец, подхватив меня под локоть, твердой рукой поддерживал мои шаги. И в зале, с покрытым кумачом столом, портретом Сталина на затянувшей заднюю стену алой портьере и рядами жестких, сбитых вместе стульев с подлокотниками, он довел меня до назначенной для подсудимого лавки.

— Суд идет! — провозгласил вышедший из-за кулис военный.— Прошу встать!

У меня это не вышло, и конвоир снова подошел ко мне и помог подняться. Усевшись на свои места, трое военных — члены «выездной сессии военного трибунала»,— посовещавшись, разрешили мне в дальнейшем не возобновлять попыток вставать всякий раз, когда мне надо было отвечать.

Смысл спрашиваемого доходил до меня с трудом. Я просил повторить, отвечал неуверенно, останавливался, утратив нить мысли. Собственно, я даже не мог сосредоточиться на происходящем — занимало меня более всего ожидание перерыва: бывалые люди в камере уверяли, что в это время подсудимых кормят «по рабочей норме». И судебные прения все более смахивали на скороговорку, на прокурорский монолог, подкрепляемый репликами председателя суда. И вся тройка, скоро наскучив пустым разыгрыванием разбирательства не то почувствовав неприглядность этой возни с полутрупом перед конвоирами и несколькими случайными людьми в зале, объявила перерыв и удалилась на совещание. Провели его в ускоренном темпе. И, должно быть, через четверть часа — я едва успел дотащиться до уборной и вернуться — председатель, спеша и глотая всякие «именем...» и «в составе...», объявил приговор: четыре года заключения в трудовом лагере за «к/р агитацию». Это означало, что меня тотчас же водворят на лагпункт. Изолятор был позади.

Я радовался, чувствовал какую-то приподнятость. Вот только огорчало несбывшееся ожидание обеда. Я даже решился напомнить о нем конвоиру. Он очень весело рассмеялся — его, видимо, позабавило, что я поддался на розыгрыш.

* * *

...Все это в памяти сохранилось. Воспоминания об этом времени порой прихлынут, бередят душу, и годы не в состоянии умерить их горечь. Бывает, я словно спокойно рассказываю, деловым голосом описываю свои приключения — происходило со мной вот то-то и то-то,— словно гляжу со стороны и герой мой человек мне посторонний. И вдруг необъяснимо, какая-нибудь подробность, пустяковая мелочь мгновенно воскрешат подлинное давнее переживание, когтями процарапавшее сердце, и оно оживает во всей своей жестокой наготе. И сжимается сердце, и подводит голос, и надо с собой справиться, чтобы не «облиться слезами» — увы, не над вымыслом! Пронзают когда-то перенесенные обиды и унижения. Они похоронены на дне души, но не мертвы. Не выветрились. Способны и сейчас, разбуженные, сочиться кровью...

...Меня как-то, уже очень ослабевшего, уже вовсе доходягу, вели по обледеневшей тропинке в баню. Я оступился и упал в рыхлый снег. Прошли десятки лет, я начисто забыл, в каком именно месте это было, на каком лагпункте и даже во время отбывания какого срока, но и сейчас вижу всю сцену, как на четком снимке. Все, все, до малейших подробностей помню...

Я беспомощно барахтаюсь в сугробе, не нахожу, обо что опереться, чтобы перевернуться — упал я навзничь,— встать на четвереньки и выползти на тропу. Снег сразу просыпался во все прорехи куцей, рваной одежды, заполнил надетые на босу ногу кирзовые ботинки. Сразу выдохнувшись, я затихаю, лежу без движения. Слышу матерную брань конвоира. Фигура его высится надо мной, четко определилась на фоне синего неба, штык над папахой блестит против солнца. Лоснятся и даже блестят его разрумянившиеся на легком морозце щеки. Молча и серьезно вслушиваюсь в исходящие оттуда — из этого беспощадного полногубого рта — потоки смрадной ругани и угроз:

— Все не бросил свои штучки, интеллигент ср... Ему бы

только поиздеваться... Разлегся — мать его перемать! — на дороге, ожидай его тут на морозе, пока подымется. А ну, живее, не то как подколю в зад! — И краснощекий идол надо мной срывает с плеча винтовку, даже повертывает штыком ко мне.

Особенность этого воспоминания в том, что я и тогда как бы видел всю сцену со стороны, сознавал ее безобразность. Понимал, насколько уродлива была моя долговязая фигура в грязном рванье, с заголившимся животом, раскоряченная на снегу, с руками, цепляющимися за неровности утоптанной тропки, со свалившейся со стриженой головы ушанкой...

Кстати, на всем протяжении моих лагерных хождений, на этапах, в следовательских кабинетах, на лесоповале и при генеральных «шмонах», как охранники, так и начальство всех рангов тыкали меня интеллигентностью, усугублявшей мою и без того преступную сущность. Причем качество это устанавливалось по необъяснимым для меня признакам, даже в периоды, когда я оказывался на самом дне, был среди самых обтрепанных и самых немытых. Самых голодных...

...Как ни туго жилось заключенным на лагпункте, меня старались поддержать чем могли: приносили миски с супом, остатки каши и даже крохотные куски хлеба, отторгнутые от драгоценной пайки. Я принимал все с признательностью, съедал, но сил не прибавлялось: я продолжал слабеть и неимоверно отекал. Доброхоты советовали добиваться больницы; кто рекомендовал покориться и идти на инвалидную командировку. Считая, что то и другое — верная «доходиловка», я продолжал упрямо, отчаянно цепляться за свой статус «работяги», чтобы получать рабочий паек. Но ходить становилось день ото дня труднее. Почти невозможно...

— Из строя не выходить, шаг в сторону рассматривается как попытка к бегству, конвой будет применять огнестрельное оружие без предупреждения. Партия, шагом марш!

Это напутствие при отправке на работу за зону. Выстроенных в колонну у ворот пересчитывают в последний раз — уже на ходу. Конвойные в пути потораппливают. Только и слышно: «Не отставать, шире шаг!» — с соответствующими кудреватыми добавлениями. Проводники с собаками идут вплотную к строю. Это тоже стимул.

До места работы менее километра, но конвоирам хочется скорее сдать партию, чтобы до самого вечера бить баклуши.

Идти со всеми в ногу я просто не в состоянии, хотя и мои

товарищи, по правде говоря, не торопятся: их ведь не ждут, как вохровцев, уютные чистенькие квартирки с раздобревшими бабенками, закармливающими своих мужиков сдобными пышками! Зэкам, наоборот, хочется растянуть прогулку.

Меня поставили в первый ряд, но уже через полсотню метров я оказываюсь в последнем, затем отстаю и от него, пока не начинаю маячить далеко позади. Вохровец в хвосте покрикивает. Но рыхлые ноги бесконечно тяжелы, и, стиснув зубы от усилий, я еле тащусь. Дорогу, на беду, пересекает узкоколейка: не могу переступить через рельсы, ногу никак не отдерешь от земли. Топчусь на месте, без толку опираясь на палку. Выручает выбежавший из строя товарищ. Конвоир терпеливо ждет, для порядка вяло ругаясь,— к доходягам здесь давно привыкли.

— Сидел бы в бараке, дохлый, коли проку нет! А то туда же — выискался стахановец... Ковыляй давай, интеллигенция вшивая, с тобой тут до вечера проваландаешься. Завтра нипочем не возьму, загорай в зоне!

Это самая страшная угроза. Я задохнулся, черпаю силы в отчаянии, но до двора сажевого завода добираюсь с отставшим конвоиром, когда все уже выстроены в две шеренги и нарядчик отсчитывает зэков бригадирам.

Развод подходит к концу, а я все стою — кому нужен этот еле держащийся на ногах отечный полумертвец?.. Что за тяжкая минута... Сейчас раздастся: «Забирайте обратно в зону!» Но и среди вольнонаемных могут встретиться люди, хотя — видит Бог! — их подбирают с толком.

— Беру к себе в лабораторию!

Женщина в белом халате делает мне знак следовать за ней. И идет, не оборачиваясь, к избушке в углу двора. Я так рад, что почти за ней поспеваю.

В темном низеньком помещении, схожем с деревенской банькой, с высоким порогом, крохотным оконцем и грубо сколоченным голым столом, уставленным лабораторной посудой, тихо. Никого нет. Тут же оцинкованная лохань с горячей водой, тряпки. Вода остывает, а я все сижу на лавке, не берусь за мытье. От напряжения и ходьбы отекло все тело — живот, даже грудь точно обложены подушками и сковывает движения мягкая, неодолимая тяжесть. Вдобавок сильно натянулась кожа. И сидеть становится невмоготу — надо хоть немного отдохнуть. Я осторожно соскальзываю на пол и на нем растягиваюсь. Будь что будет!

Ноги я взгромоздил на высокий порог. Если их так подер-

жать приподнятыми, отеки слегка спадают. Лишь бы никто не пришел...

В проем отворенной двери видно далекое бледное небо. Ветерок редкими волнами наносит дыхание жаркого июльского дня. Невдалеке — в сотне метров от лаборатории — сплошь заросшая розовым кипреем опушка тайги; жужжат шмели и перелетают молчаливые таежные птицы. Укромно там, под лесным пологом, надежно... Лишь бы никто не пришел!

Лаборантка появляется пред шабашем. Услышав ее покашливание за стеной, я успеваю подняться.

— Собирайтесь, сейчас будут строиться,— говорит она, остановившись у входа и не заглядывая в помещение.

Мне необходимо и хочется что-то сказать в свое оправдание, пообещать, что завтра я непременно перемою все колбы и пробирки. Но говорить надо много и убедительно, я этого не могу и потому виновато молчу, не смея на нее взглянуть. Она тоже молчит и помогает мне перенести ноги через порог — сначала одну, потом другую. У меня по лицу катятся слезы — от стыда, жалости к себе и страха, что завтра меня наверняка прогонят с утреннего развода. Конец тебе, конец, человече! Нет у тебя сил для жизни в джунглях!

* * *

То, чего я так страшился, все же произошло. С рабочего лагпункта меня отправили в стационар № 8, куда свозят безнадежных дистрофиков. Я лежу на топчане с тощим соломенным тюфяком и жиденьким одеялом, под головой — подушка с комками сена. Палата заставлена стоящими вплотную друг к другу топчанами и вся занята такими же доходягами, как я. Из нас мало кто выживает, потому что сюда поступают с опозданием, когда истощение зашло слишком далеко и ничтожные средства лагерной медицины уже бессильны отстоять у смерти ее жертвы.

Я собрал остатки воли и энергии, чтобы не поддаться. Врача слушаю, как оракула. Сколько человек умерло при мне — по-лагерному «загнулось» — из-за того, что неумеренно пили воду, обманывая сосущую пустоту в брюхе, наедались всякой дряни или, раздобыв подпольными путями хлеб, сразу пожирали весь не то, наоборот, обменивали пайку на махорку. Я отвергаю все соблазны, ем только в предписанное время и то, что дают. Даже, как велит врач, застав-

ляю себя сидеть, сколько могу выдержать, на койке: нельзя залеживаться, надо перебарывать слабость, из-за которой подчас не шевельнешь рукой, не поднимешь головы.

Случается, я слышу, как надо мной переговариваются. Ясно разбираю полушепот, знаю, что это слоняются по проходам между топчанами те, кто еще способен ходить, и подкарауливают умирающих. Но нет сил открыть глаза, тем более заговорить. И про себя я упрямо твержу им: «Шиш вам! Не достанется вам ни моя пайка, ни обед. Вот соберусь сейчас с силами и встану! Я еще поборюсь, я еще выкарабкаюсь!»

...Поносы лишают последних сил. Провалы сознания чередуются с детской возбудимостью; выпадают и короткие промежутки прояснения. Я продолжаю судорожно цепляться за край ямы. В палате смрадно и угарно. И еще мучает грязь, ощущение немытого тела. Изредка водят в баню, но как вымоешься, если невмоготу и пустую шайку поднять, потереть тело тряпкой?.. Голодные дни, голодные бредовые ночи — огонек жизни еле тлеет и чадит.

Главный врач — громадный, тяжелый еврей с лошадиной челюстью, крикун и самодур — показывается в палатах в короткие промежутки между запоями. Тут он бывает сладкоречив и даже растроган.

— Эх, бедолаги мои,— останавливается он у койки, окидывая нас отеческим взглядом, охватывающим всю палату,— эх вы, горюны! Всех вас, ей-ей, поставил бы на ноги в два счета, будь только чем! Варил бы крепкий куриный бульон — наваристый, густой, по котелку на брата в день, да пшеничного хлеба в придачу по полкило давал, да еще лимоны всем бы прописал, молоко... Через неделю поднялись бы все, стали за бабами бегать...

И как-то, задержавшись возле меня, распорядился выдать мне халат — мы все ходили в нижнем белье — и поручить в канцелярии составление строевой записки. И назначил вознаграждение: стакан простокваши и дополнительное блюдо.

Маленький, размером в четверть листа, типографский бланк, на котором надо проставить против четырех слов — «налицо на...», «прибыло», «убыло» и «состоит» — соответствующие цифры. Старший санитар дает мне сведения: «За день умерло 28 человек, в венерический диспансер отправлено 3 человека, поступило с лагпунктов 30 человек». Ну что же, отлично, сейчас разберусь! Накануне числилось в стационаре триста одиннадцать человек — четким калли-

графическим почерком вписываю сверху: «Налицо на такое-то декабря 311 человек». Так же красиво проставляю прибыль — «30 человек». Дальше идет «убыло» — это умершие, да, но там еще сифилитики; их — в ту же графу. Надо сложить, потом вычесть из первой цифры. А там — еще прибавить поступление. Я начинаю растерянно смотреть на цифры, чувствую неуверенность, от этого робею еще больше и перестаю соображать окончательно. Сижу, облокотившись на стол, гляжу на образцово выведенные мною первые цифры, на сведения, вчерашнюю строевую записку и теряюсь окончательно — не знаю, что делать. Все спуталось, плывет в голове так, что не могу ни за что ухватиться, найти с чего начать сызнова... Приходит за сведениями сестра-хозяйка, я не нахожу, что ответить. Заглянув в бланк, она пожимает плечами и отходит, фыркнув что-то вроде «Нашли грамотея!». Я понимаю, что пропал. И действительно, меня в тот же день водворяют обратно в палату, отбирают халат. А вскоре происходит чрезвычайное событие, после которого я оказываюсь окончательно изгнанным из стационара.

Прогневал я старшего санитара, первейшего вора, державшего вместе с сестрой-хозяйкой в руках весь стационар, включая и главного врача, подчинявшегося им слепо: они выделяли ему спирт, отпускаемый для перевязочной. Пользуясь беспомощностью доходяг, эта шайка вместе с поварами-урками бессовестно, в открытую вполовинивалась в наши пайки, и без того скудные. И однажды, получив вместо полагавшейся мне крохотной порции супового мяса кусочек голого сухожилия, я запротестовал, потребовал замены. На мою беду, тут приключился главный врач, громивший и разносивший всех с утра. Он бросился выгораживать своего дружка:

— Кто, кто тут недоволен? А, этот, как его, самозваный профессор! В университетах учился, а дважды два не знает... Так он что, моих больных тут мутит? От обеда отказывается? Списать немедленно! Перевести в рабочий барак, проучить! Я ему покажу бунтовать: идет война, а ему цыплят подавай... Знаю я этих... выродков-интеллигентов...— И он грязно, по-блатному выругался.

Под аккомпанемент криков и угроз нетвердо стоявшего на ногах врача санитар содрал с меня больничное белье, мне швырнули принесенный из кладовой узел с моими лагерными обносками и свели в рабочий барак, стоявший на отшибе в той же зоне лагпункта № 8.

...Врачи сюда не заглядывают. Раз в день забегает самоучка фельдшер и, раздав порошки с содой, уходит, прежде чем успеет растаять иней на его усах: они у него тщательно подвиты и, должно быть, нафабрены мылом. Иногда он записывает на бумажке: прислать санитаров с носилками.

Кто покрепче, ходит в столярку, чистит картофель на кухне, толчется возле прибывающих больных: у них бывает махорка, иногда удается что-нибудь стащить. Хлеборезу понравились мои очки, и он передал мне через прислуживающего холуя, что даст за них восемьсот граммов хлеба, по довеску в двести граммов четыре дня подряд. И я, разумеется, с ними расстался.

Я почти не поднимаюсь с топчана и этим навлекаю на себя нарекания:

— Ишь, разлегся, барин, полена не принесет, таскай за него! Интеллигент дохлый! Не пускать его к печке!

Завхоз не выдавал дров на этот барак, и отапливались чем придется: обрезками и стружками из столярки, ночью воровали дрова из поленниц возле кухни и бани.

И, должно быть, меня в этом бараке, холодном и грязном, уходили бы не только условия, но и враждебное отношение — постоять за себя я уже не мог,— если бы не сосед, больной пеллагрой, но еще способный ходить. Он защищал меня от нападок, ободрял, иногда делился добытым котелком супа. Был он инженером на автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. После командировки за границу его арестовали и приговорили к двадцати годам заключения в лагерь.

У инженера были выбиты передние зубы и глубоко рассечена верхняя губа. Обрабатывавшему его следователю не удалось сломить допрашиваемого приемами, обычно приводившими к согласию подписать и признать что угодно. В припадке бешенства (разумеется, наигранного!) он подскочил к инженеру и, подставив ногу, сильным ударом сшиб его с ног так, что тот как стоял с заведенными назад и связанными руками, с размаху упал лицом на вентиль отопления.

У этого человека на ногах, пониже колен, зловеще темнели широкие поперечные полосы — следы ударов рантом сапога. Следователь усаживался на край стола против подведенного вплотную к нему конвоирами инженера и, непринужденно болтая ногами и вкрадчиво и мягко задавая вопросы, внезапно резко и сильно ударял носком сапога по кости, не спуская при этом глаз со своей жертвы. Неистовая резкая боль должна была заставить упрямца сдаться. Иногда

он терял сознание. Из инженера выколачивали признание, что его завербовала вражеская разведка.

— Почему я так отчаянно сопротивлялся? — объяснял инженер, когда мы оставались с ним наедине.— Да распишись я в том, что шпион, и конец бы мне: заставили бы назвать десяток-другой имен по списку и расстреляли. Вот я и боролся. Не знаю, чем бы кончилось, но сдался товарищ, ездивший со мной в Америку: он подписал все, что им хотелось, и от меня отступились. Его расстреляли, я очутился здесь.

Нужно было видеть зловещие пятна на ногах инженера, его изуродованное лицо, глаза, полуослепшие от ярких, как прожекторы, ламп, на которые его заставляли смотреть в упор, чтобы убедиться в реальности сталинских застенков. О них уже в тридцатых годах знали в стране все, у кого были родственники или друзья в заключении, т. е. все население Союза. Но не смели говорить. Замалчивают и по сие время.

Знали и молчали: обывательская робость, усугубленная страхом и, пожалуй, оправданная у тех, кто был «одним из миллионов», составляющих серую, невежественную и затравленную толщу советского народа. Но были и те, кто, зная все досконально, на весь мир объявляли правду клеветой, доказывая справедливость и гуманность сталинского правления.

В конце пятидесятых годов мне пришлось встречаться с писателем Ильей Эренбургом, уже желчным, больным стариком, почивающим на заработанных дачах, квартирах, коллекциях и сомнительных лаврах. Я тогда переводил русских и советских писателей на французский язык, и Эренбург как-то привез из-за границы томик своего друга, бельгийского поэта, надписавшего его мне — переводчику понравившихся ему сказок Сергея Михалкова. Мы иногда виделись, причем — свет мал — случайно установили, что его дядя был на рубеже столетия поверенным моего деда. Я помню изысканно (на коммивояжерский лад) одетого джентльмена с бриллиантом в галстуке, приезжавшего в Петербург и останавливавшегося только в «Европейской» гостинице. Он появлялся у нас с визитом и презентовал моей матери роскошные коробки шоколадных конфет харьковского старинного кондитера-француза Фока, очень ценимых в столице («PHOQUE» — золотым тиснением по белому атласу коробки). Разумеется, я не поведал Илье Григорьевичу, как его почтенный дядя едва не пустил по миру мою бабку и присвоил-таки себе из наследства деда изрядный куш: мы беседовали о временах более близких.

Эренбург интересовался моими приключениями, расспрашивал. Он и сам знал о множестве жертв сталинских катов, был даже, пожалуй, шире осведомлен в отношении размаха злодеяний, убийств неугодных лиц, свидетелей и исполнителей операций, вроде ликвидации Кирова и т. п. Развертывались бесконечные хроники режима, более кровавого и коварного, чем любые летописи средневековья, пресловутых тиранов прошлого. То были списки жертв, длинные, как столичные справочники...

Вижу перед собой Эренбурга — ссутулившегося, худого, с потухшими глазами на костистом лице; вслушиваюсь в его глуховатый, но четкий голос; улавливаю оттенок брезгливости и презрения, с каким интеллигентный человек говорит о насильниках, вероломстве, держимордах...

И представляю себе этого человека на международных форумах, выступающим с горячей апологией порядков у себя на родине, язвительно разоблачающим оппонентов, тех, кто говорит о закрепощенном русском мужике, о рабском труде в лагерях. Воздающим в каждой речи хвалу Сталину, мудрейшему и гуманнейшему; искусно и последовательно обеляющим устроителей процессов, палачей целых народностей.

Его посылали — и он отправлялся в Париж и Стокгольм, Вену и Лондон и там поднимался на высокие трибуны: Эренбург, беспартийный, неподкупный представитель советской интеллигенции — совесть народа! В то самое время, как гибли Мандельштам, Корнилов, Михоэлс, Марина Цветаева, Мейерхольд, десятки близких ему людей, сотни и тысячи его соплеменников...

Я иногда думаю: ничего не изменилось бы, если бы такие Эренбурги и иже с ним не брались объявлять — вполне корыстно и лицемерно — на весь мир несуществующую ленинско-сталинскую правду. Не просветлели бы от того тяжкие народные судьбы. Но одновременно не забываю, что большинство имен этих приспешников и глашатаев было известно за границей, по ним судили об отношении нашей интеллигенции к творимым преступлениям — и потому тяжка, безмерно тяжка вина их перед своим народом, перед обманутым ими мировым общественным мнением. Что нам негодовать по поводу разглагольствований Роменов Ролланов, Сартров, Расселов и прочих Линдсеев, коли они, развесив уши, внимали таким соловьям, как Илья Григорьевич?!

...Я забыл имя своего недолговременного товарища,

не знаю, естественно, его судьбы. Но и сейчас, спустя десятилетия, отчетливо вижу его отечное бритое лицо, беззубый рот, помню глухоту, лихорадочный блеск глаз под темными хохлацкими бровями, нервные руки; его истлевшую, аккуратно застегнутую залатанную гимнастерку... И — за далью и годами — лучше понимаю высоту духа этого мужественного человека, этого безымянного героя, выдержавшего непомерный искус и сохранившего честь и достоинство настоящего человека, сочувствие к людям и готовность помочь.

Именно в этом неотапливаемом, загаженном бараке, на хромом топчане, среди одичавших от лишений отверженных, по недоразумению еще числящихся на списочном составе лагеря и уже вычеркнутых из жизни, как раз в этом отторженном от всего мира, забытом Богом и людьми уголке мне было дано получить два свидетельства памяти и заботы. Обо мне еще помнили!

В барак зашел техник из проектного отдела управления — осмотреть его на предмет ремонта. Мне показалось, что он, пока ходил по помещению, обмеряя простенки и полы, нет-нет пристально в меня вглядывался. И под конец, усадив сопровождавшего его завхоза за составление акта, как бы невзначай подошел к моему топчану.

— Я вас разыскивал. И узнал — вы бывали у нас в отделе, приходили к Любови Юрьевне. Тут в пачке несколько штук папирос — в одной из них записка... Выздоравливайте.

Он поторопился уйти, а я стал дрожащими руками, хоронясь от соседей, потрошить пачку. Написанное на папиросной бумаге длинное послание было свернуто в трубочку, засунутую в мундштук.

Люба уже давно узнала, что меня привезли на Крутую. Пока я сидел в изоляторе, не было способа со мной связаться. Теперь она будет мне писать и постарается собрать посылку. «Не беспокойся обо мне, бедный ты мой,— писала она,— я очень сносно устроена, научилась вышивать, мои изделия сбывают вольняшкам, так что у меня приработок, и я ни в чем не нуждаюсь. Не болею: жизнь как в теплице. Поправляйся — теперь ты снова от меня близко, и мы, Бог даст, увидимся». Потом Люба писала о нашей общей родне, упомянула, что ее постоянно навещает Кирилл Александрович — как раз он и наводил обо мне справки на лагпункте. Через его техников и надеялась Люба наладить переписку. И были в строках Любы ласка, и ободрение, и твердая вера в милость Божью — слова надежды. Но

как раз тогда я достиг грани, когда уже ничто не могло всколыхнуть, ободрить меня — не сама жизнь, а какие-то слабые отголоски слегка тревожили мой слух. Любин посланец не обещал вернуться, и передать ответ я не мог, но если бы и представилась возможность, я вряд ли мог бы тогда связно и толково написать.

А вскоре после этого мне поступила посылка. Даже смутно не помню, при каких обстоятельствах это произошло. И если бы не заботившийся обо мне инженер, ее, вероятно, украли бы и я даже никогда про нее не узнал. Это он расформошил меня, заставил спустить ноги с топчана, сесть, потом положил на колени фанерный ящичек и втолковал, что содержимое его — мое. Меня снова спасал Юра Борман — именно он ухитрился одолеть все рогатки и прислать с надежным человеком «на первый случай», как значилось в записке, теплое белье, носки, мыло, немного сахара и сухарей. Был в ящике и мешочек с самосадом — Юра завел огород и выращивал свою махорку, составлявшую тогда, наравне с хлебом, самую ходовую обменную ценность.

Я растерялся перед свалившимся на меня богатством, с радостью, слезами — они тогда по всякому поводу непроизвольно появлялись на глазах — делился полученным с инженером, заставлял его брать, как он ни отказывался. Он же взялся за охрану и разумное расходование доставшегося мне клада. Мы стали мыть руки с мылом, пить сладкий чай с размоченными сухарями; мой друг приносил из столярки котелки с вареным картофелем или кашей, выменянными у каптера на махорку.

Уже через несколько дней инженер стал уверять, что чувствует себя чуть крепче, и внушал мне, что и я должен взбодриться, стряхнуть с себя безразличие, двигаться... А я не мог: одолели одышка, отеки, почти не спадавшие и после лежания. Даже были немного в тягость дружеские его попытки растормошить меня, вывести на улицу, пройтись, сходить в баню. Я нехотя им подчинялся; всего более устраивало меня сутками лежать навзничь на набитом стружкой тюфяке, не шевелясь, в полусне. Окружающее воспринималось равнодушно и терпеливо. Лишь бы не беспокоили, не нарушали мою летаргию...

...— Не узнаёте? Да что это с вами сделали? Почему вы здесь? Вас не лечат?

Вглядываюсь в близко склонившееся надо мной лицо,

улавливаю в голосе слышанные прежде интонации, но продолжаю молчать. На меня уставился стоящий позади главврач стационара — лохматый, грузный, насупленный,— и я предпочитаю не отвечать.

— Я — доктор Ефремов, помните? Срок окончил, остался по вольному найму. Теперь я начальник санотдела лагеря. Ни за что бы не узнал, но прочел вашу фамилию в списках. Кто вас сюда загнал?.. Ну-ну, ладно, не отвечайте, я сам во всем разберусь. Не бойтесь никого. Сегодня же я вас отправлю на центральный лагпункт, а там и назначу на комиссию — спишем вас по акту: через месяц дома будете!

Я сдерживаюсь изо всех сил, и все-таки по лицу текут слезы. Хотя я почти не вникал в суть обращенных ко мне слов и тем более не мог в них поверить — задел сочувственный тон, вспомнилось, как мы с Ефремовым провели с неделю на одних нарах в Кеми, пока сортировали нас перед отправкой. Я тогда сидел уже второй срок и делился лагерным своим опытом с новичком. Его, еще свеженького, только начинавшего восьмилетний срок и на редкость не осведомленного о волчьих нравах лагеря, тогда увезли на Медвежью Гору.

Ефремов выполнил свое слово. В тот же день меня выкликнули на этап. В кузов машины затаскивали как нескладный груз. Набили нас в него плотно и усадили на голые доски. И если я выдержал тряскую езду и меня живым внесли в больничную палату, значит, и в самом деле возносились где-то горячие и искренние молитвы за меня и Провидение их услышало — ему угодно было сохранить мои дни.

Спустя несколько дней меня осматривала комиссия из трех врачей и одного лагерного чина, очевидно следившего за ними. Меня и освидетельствовать не стали. Едва я предстал перед ними, дружно замахали руками: «Идите, идите, одевайтесь!» Лишь один из докторов почему-то поинтересовался взглянуть на меня со спины — очевидно, чтобы удостовериться, что сидеть мне действительно было не на чем! Сам я, разумеется, отлично об этом знал, так как сидел на костях. Впрочем, не было не только ягодиц, но и икр, ляжек, живота, мышц на руках: оставались одни «мослы», как у дряхлой клячи. Живые мощи — обтянутый кожей скелет да череп с ввалившимися глазами. Про таких доходяг в лагере говорили «ворона пролетит», имея в виду промежуток между ляжками при плотно сдвинутых коленях. Иногда я, впрочем, сильно отекал, и это была какая-то ватная, водянистая полнота.

Определив у меня пеллагру, скорбут, ББО — «большой безбелковый отек» — и крайнюю степень истощения, комиссия заключила, что «дальнейшее пребывание в лагере угрожает жизни», и постановила досрочно выпустить из заключения по статье четыреста пятьдесят восьмой. Ее ввели в кодекс, чтобы помочь лагерям избавляться от лишних ртов — неработоспособной калечи. Этих беспомощных, износившихся на работе заключенных, стариков с переставшими гнуться суставами, скрюченными пальцами, с пудовыми грыжами, тронувшихся умом, оглохших и ослепших, скапливалось так много, что их надо было куда-то сбывать — освобождать скрипучий рабочий организм ГУЛага от этого балласта. Поступить, как на далекой Колыме, где ослабевших и больных бросали на глухих приисках, предоставляя морозу с ними покончить, в прочих — менее удаленных и недоступных — лагерях было сочтено, вероятно, неполитичным из-за нежелательной огласки. Вот и стали пачками выпроваживать за зону. Пусть сами отыскивают себе нору, куда заползти, как почуявшие близкую смерть старые собаки, и где дождаться Великой Избавительницы... Я видел, как выпускали за зону этих гулаговских ветеранов труда.

* * *

Их стали собирать сразу после утреннего развода. Бойкий табельщик из УРЧ ходил со списком по баракам и выколупывал оттуда дедов, как вытаскивают колоду или грузный камень из засосавшей их болотистой почвы. Все они вросли, словно пустили корни, в свои клопиные логова, угнездились в них, чтобы уже до смерти не расставаться. Эти деды, раз водворившись в своем уголке на нарах, уже далеко не отлучались, обрастали тряпьем и томились одной заботой — как бы их отсюда больше не стронули.

Однако — стряслось. На лагпункт приехала комиссия, уполномоченная освобождать из лагеря самых престарелых, самых огрузших, самых разрушившихся. С разбором, понятно. Однако деды — древние российские мужички, над чьей горькой долей сокрушались прогрессивно мыслящие россияне в XIX веке и объявленные врагами народа в нынешнем,— не подпадали под эти ограничения: для строя считалось безопасным выпустить их за зону.

Дежурный указал первому приведенному деду, где дожидаться — у лавочки возле вахты,— и к нему стали лепиться

остальные, по мере того как их доставлял разгоряченный табельщик, подгонявший своих подопечных хлесткими прибаутками вперемежку с матюгами.

Сняв с плеча перевязанные мешки, деды оглядывались, потом, постояв немного, нерешительно присаживались, приваливаясь спиной к лавке, на корточки не то располагались прямо на земле. Она после снега пообсохла, но еще не прогрелась — шла от нее зимняя стылость. День был, впрочем, теплый, с затянутым легкой пеленой небом.

Мы проходили мимо и оглядывали дедов с удивлением, хотя и знали, что накануне их актировали и теперь отправят за зону. Но откуда их столько наползло? В каких щелях они прятались, раз так редко попадали на глаза на пятачке лагпункта?

Решительно все деды — высокие и приземистые, худые и грузные, сивые и пестрые, с жиденькой куделью бородки и заросшие до глаз,— все они выглядели скроенными на один лад. Так казалось потому, что двигались они все одинаково натужно и с опаской, сидели сутулясь, с обвисшими плечами, что лица у всех были темными, с кожей, задубевшей от грязи, опаленной стужей и у костров. И особенно из-за выражения глаз, смотревших с неприкрытой тревогой, пожалуй, даже ребячьей.

И, само собой, из-за одежды. Большинство дедов в вытертых донельзя нагольных полушубках с рваными полами, частично употребленными на рукавицы и стельки, в казенных летних кепках с наушниками из клоков овчины, пришитыми грубыми стежками, в расползшихся стеганых чулках, заменявших валенки, в ботах из автомобильных покрышек, с тряпьем вокруг шеи, с тряпьем на ногах, во всем латаном, заношенном, залоснившемся от грязи и пота. Были деды как тумбы: поверх остатков шубы напялен бушлат, надето по двое шаровар. На себе все, что удалось накопить, чтобы оборониться от самого лютого врага лагерников — стужи.

Этих обряженных, как огородное чучело, дедов, торчащих у вахты среди сваленных мешков, перевязанных бечевками и тесемками, сумок и торб, легко принять издали за тюки утиля. Да и сблизи не вдруг распознаешь лицо. Оказывается, здесь не сплошь деревенские деды. Чуть в стороне стоит, прислонившись к стене, Романыч, бессменный счетовод вещстола. Его знает весь лагпункт. У него отекшее бескровное лицо, щетинистый подбородок и вислые пожелтевшие усы. Стекла пенсне в трещинках. Он сгорбился и не расстается с палкой: какая-то чудовищная, двойная грыжа мешает ему

ходить. Все привыкли видеть, как он, кряхтя и расставляя ноги, ковыляет по утрам из барака в хозчасть. На нем особенно засаленная, особенно изношенная лагерная сряда — это удружил кладовщик: пусть помнит интеллигент с...й со своей дерьмовой честностью, за кем последнее слово. Косясь на вахту, прошмыгиваю к Романычу:

— Что, Сергей Романович, и вас отправляют? Можно поздравить?

— Не знаю, поздравлять ли. Еду, сам не зная на что. Никого близких не осталось. Выбрал наугад Алма-Ату. Все же юг, а там яблоки, ведь это по-старому Верный. Знаменитый вернинский апорт! Да и вузы там...

— Преподавать-то вам все равно не дадут.

— Буду частным образом репетировать: я не только математике, могу еще и немецкому обучать.

У Сергея Романовича — бывшего преподавателя столичного вуза — даже узелка с собой нету: нести все равно не может — при ходьбе заняты обе руки. Ах, как остарел он, да и один как перст на свете. И его все страшит — дальняя дорога, город, где нет души знакомой...

— Поди, равняйся с ним, с прохфессором,— простуженно сипит сидящий подле дед. Шея туго обмотана тряпьем, и он с трудом поворачивает голову. Дед беззуб, поэтому шепелявит и шамкает, слов почти нельзя разобрать. Он не очень ветх, но на левой отмороженной руке недостает четырех пальцев.— Грамотей, и тут был при должности. А мне вот куда деваться? Хоть сейчас ляжь да помирай. К кому поеду, кто меня ждет? Пайку где дадут, в баню сводят?

В обед к вахте поднесли ящик с хлебом и в мешках — сухой приварок: побелевших от соли твердых щук. На длинной фанере — рассыпанный на кучки влажный сахарный песок. Дедов начали вызывать по фамилии. Они стали суетливо развязывать — негнущимися пальцами, а кто зубами — мешки и сумки, доставать кисеты, столь же заношенные, как и все остальное, запихивать и ссыпать туда полученные продукты. Они молчали, но были, видимо, взволнованы. Остерегались, как бы не обронить довесок, не просыпать сахар и наверняка хотели, но не смели пожаловаться на каптеров, так бессовестно вполовинившихся в их пайки.

Потом принесли дедам в ушатах кипяток, и они пили его из жестяных банок и кружек, помятых и ржавых. Под конец длинного дня явилось начальство. Дедов стали выкликать по одному, тщательно опрашивали, вручали каждому литер на проезд «до избранного места жительства», справку об

освобождении и сколько-то денег — суточные на проезд. Все это они, как и хлеб с соленой рыбой, завертывали в тряпки, перевязывали и убирали понадежнее. Потом стали вызывать их снова и по одному выпускать за зону. Деды подхватывали свою ношу и, волоча ноги и запинаясь, ковыляли мимо толпившегося у вахты начальства и вахтеров.

— А ну, дед, шагай веселее, держись козырем: небось к старухе едешь, то-то радости будет!

Странный пронесся на следующее утро по лагпункту слух: говорили, будто бы неподалеку от вахты, за зоной, на обочине дороги заночевали — и стоят там до сих пор табором — вчерашние деды. Не все, но более половины, человек сорок. К ним не раз подходил дежурный с вахты, утром побывал сам начальник лагпункта, а они твердят одно: «Некуда нам ехать, деревни наши давно разорёны, семьи повымерли, берите обратно в зону. Попривыкли в ей — тут и отмаемся. Нигде нам, кроме как тут, не светит. Не отказываемся, станем снова корзины плесть, веники вязать. Словом, что прикажете, то и станем делать...»

Что это? Свет наизнанку? Люди отказываются покидать лагерь, просятся в зону! Клопов кормить, перед всяким вертухаем тянуться... Мы ходили смутные и озабоченные. Да что же это за жизнь настала, коли гиблый лагерь милее той самой расхваленной счастливой жизни, дарованной рабочим и крестьянам?

В чердачное оконце третьего барака через палисады было видно дедов, и мы, прячась от попок, стали туда пробираться.

К дороге, уходившей на станцию, примыкал клин озимой ржи. На яркой зелени темнели унылые фигуры упраздненных пахарей. Деды держались кучкой, только два-три человека дыбились у самой кромки поля, за придорожной канавой, похожие на нескладные пни-раскоряки. Кто-то лежал ничком на молоденькой травке, другие сидели неподвижно на своем барахле, иной еле-еле отбредал в сторонку, к кустикам. Словно кто выбросил горсть серых и тусклых, сонных жуков на ярко блестевшие против солнца зеленя... Так прошел, без всяких перемен, долгий весенний день.

На следующее утро мы слазили на чердак задолго до подъема. Деды были по-прежнему на месте, слегка скрытые тающим утренним туманом. Почти все лежали, укрытые с головой, на своих мешках. Лишь немногие сидели, грузно

осев и понурив голову: не то дремали, не то выглядывали что-то на дороге.

В зоне гадали, перешептывались — как будет поступлено с ослушниками дедами. Им велено ехать, а они вот уперлись: «Не хотим!» И это всем скопом! Ведь это же бунт, почти восстание... Однако местное начальство ничего не предпринимало, дожидаясь указаний.

В середине дня дежурный по лагпункту послал двух рабочих с кухни снести дедам полкотла баланды. Его потом пробирал на вахте начальник: «Они с довольствия сняты или нет? Я спрашиваю: они на списочном составе или нет?»

Солнечному дню на лагпункте втихомолку радовались. Но к вечеру натянула хмарь и должен был неминуемо пойти дождь.

— Хлеб у дедов в мешках раскиснет — пропадут...

Ночью их куда-то увезли на грузовиках. От стоянки следов не осталось. Да и откуда им быть: ничего такого лишнего — ни бумаги, ни банок — у дедов не водилось. Да и не такой они народ, чтобы что выбрасывать, не любят, когда что зазря валяется... Ведь они и в лагере не то чтобы что бросить, а всякий лоскут, веревочку подберут — и к себе под тюфяк или в изголовье. Скопидомы они...

Впрочем, что-то у самой канавы чернело, но и самые зоркие не могли за далью разглядеть, что именно: кто говорил — развалившаяся калоша, кто — клок овчины или шапка. Грузили ночью, в спешке, тут и самый бережливый дед мог оплошать, обронить что, пока в кузов втаскивали...

* * *

Вот, видимо, и меня теперь сочли не более опасным для строя, чем ветхих деревенских дедов и калеку-математика, потому что следственный отдел лагеря заключение медицинской комиссии утвердил и постановил выдать мне документы на освобождение, на вольное проживание — поезжай куда вздумается! Кроме, разумеется, столиц, портовых и режимных городов, областных центров, пограничных и прочих специальных зон.

Меня оставили в больнице подлечить, причем Ефремов едва ли не ежедневно навещал, следил, чтобы выполнялись все назначения. Я находился в двойственном положении: как бы и вольный, которому дозволено выходить за зону, но лежал в больнице для зэков, правда с обедами, витаминами и лекарствами, предназначенными вольняшкам.

И силы восстанавливались. Начали уменьшаться отеки, стали надежнее служить ноги, укрепились в деснах зубы. Меня навещали Юра, Веревкин, мы подолгу разговаривали, я уже читал книги, писал письма. Ждал с нетерпением, когда окрепну настолько, чтобы сходить к Любе, и слал ей записку за запиской. Словно спáла пелена, окутывавшая сознание, прекратилась путаница бессвязных мыслей.

Но Ефремов предостерегал: до подлинной поправки — ох как далеко! И, говорил он, без юга не поправиться — надо на два-три года расстаться с зимами. Я вспомнил ветеринарного врача из Закавказья, его рассказы о горах фруктов и ореховых рощах. Ожили в памяти и мусаватисты — их дружелюбие и приветливость. И, получая справку об освобождении и литер на проезд, указал «Кировабад, Азербайджан». Этот выбор представлял и другую выгоду: на каждый день пути выдавалось по шестьсот граммов хлеба, а туда ехать чуть не две недели... Я должен был сделаться Крезом.

В этой записке — последней — Люба писала:

«...Уж лучше пусть о постигшем тебя горе ты узнаешь от меня. Да помогут тебе моя любовь и сочувствие с ним справиться. Олег, милый, бедный мой Олег, крепись: у тебя нет больше брата. Всеволод уже скоро два года как погиб на Волховском фронте...»

И были еще слова любви и преданности, и ощущалось, как больно ей за меня. Но что могло заполнить вдруг образовавшуюся пустоту?..

Я не сразу дочитал длинное письмо. А в последних строках там стояло: «Не одно у тебя горе, узнай все сразу. Прошлой весной в Москве скончалась твоя мать — тихо, во сне. Легла с вечера и не проснулась. Ей было семьдесят пять лет, и она многих потеряла. За тебя одного более пятнадцати лет болело сердце. Смерть соединила ее с ушедшими. А за тебя и остальных своих детей она будет молиться оттуда. Помоги тебе Бог. Твоя Люба». И еще стояло припиской: «Я немного простудилась». И уже вслед за нею, совсем с краю: «Хочу, чтобы ты помнил, знал: пока я жива, ты не одинок».

Сгоряча я не ощутил невозвратимость и горечь утрат в полной мере. Слишком притуплены были тогда мои способности, слишком я был поглощен возвращением к жизни, возникающими надеждами на будущее, насущными заботами о лечении, самочувствии, режиме. Минуты отчаяния, прихо-

дившего от сознания, что нет больше Всеволода, любимого брата, были впереди... Как сообщили из части его жене, брата вынесли из боя с простреленной грудью.

С остальными членами семьи, даже с матерью, у меня никогда не было близких, сердечных отношений. В детстве я считался упрямцем, замкнутым и неласковым, а повзрослев, уехал. Жизнь в разных городах еще ослабила и без того не слишком тесные узы, а длительное заключение почти вовсе их пресекло. Известие о гибели Всеволода заслонило боль от утраты матери.

«Я немного простудилась»,— упоминала Люба. Это тревожило: с ее сердцем так опасно всякое заболевание. И наполнило, придавило сосущее, тяжелое предчувствие. Пришибленный всеми этими известиями, я не находил себе места. Все ждал Юру, надеясь, что уговорю его проводить меня к Любе.

Но вместо Юры пришел Кирилл Александрович. Я впервые увидел у этого сдержанного и замкнутого человека на глазах слезы. Он говорил не своим голосом. У Любы воспаление легких, сильнейший жар. Она с ночи бредит, никого не узнает, зовет мать...

Как же мы спешили! И когда наконец-то одолели дорогу до инвалидного лагпункта — я еле шел, вынужден был останавливаться, Веревкин со мной измучился,— вахтер на проходной не стал нас пускать за поздним временем. Но согласился вызвать санитарку или сестру. Пришла пожилая мастерица, та самая рыхлая, с одышкой, что принимала Любу, когда мы ее сюда проводили. Она откровенно плакала.

Несколько часов назад, не приходя в сознание, Люба скончалась.

— Уже в морге. Завтра нашу голубушку похоронят. Тут без гроба — яму выроют и положат... Отмучилась, милая, Господи милостивый, такую молодую прибрал!

Мастерица передала мне крохотный сверток: связку писем, несколько фотографий, салфетку с незаконченной вышивкой. И тихо мне:

— Поминала вас... ждала. Жалела. Как надеялась, что поправитесь, придете...

Люба, Любочка... На следующий день я не мог подняться. Кирилл Александрович один пошел на лагпункт. А мне вдруг показалось невозможным не проститься с Любой, не взглянуть в последний раз на милое ее лицо. Но сил хватило только на то, чтобы спустить ноги с койки.

Люба была еще в морге — не пришли рабочие вырыть

могилу. Веревкин вернулся к себе, запасся махоркой и хлебом и снова туда отправился, чтобы самому устроить похороны. Заказал гроб и небольшой крест.

Спустя две недели, уже перед самым отъездом, я на поросшей редкими сосенками вырубке, обращенной в кладбище, без труда нашел по кресту бугорок земли, под которым лежала Люба. На кресте надпись славянской вязью: «Любовь Юрьевна Новосильцова, 1912—1944».

Сколько простоит этот крест? Впрочем, это не имело значения: сюда все равно никогда не придет навестить родной прах близкий человек. Завтра уеду я, не останется здесь и Веревкин. Подгнивший крест со стертой надписью станет никому не нужной памятью о неизвестном человеке...

Не пришлось тебе, болярыня, покоиться в усыпальнице с пышным новосильцовским гербом и мраморным надгробием, на принадлежавшем тебе по праву месте, рядом с прадедами твоими и прабабками... Как ласково встретили бы они свою замученную внучку...

* * *

...В серенький весенний день — это было в конце апреля — я шел на станцию. Уже не в кирзовых пудовых котах, а в галошах Юры. Они пришлись впору по шерстяным носкам — также подаренным им. Мы решили, что так я выгляжу пристойнее, да и ходить легче — ноги продолжали отекать. Нашлись у Юры и летние брюки, гимнастерка — все очень короткое, но выстиранное и заштопанное. Не расстался я только со своей задубевшей от тяжкой службы телогрейкой: предполагалось, что в Москве тепло, и я оставлю ее в вагоне.

На спине горбилась порядочная торба с хлебом. С ним мне очень повезло. В те поры в лагере выпекали хлеб из американской крупчатки — своей ржаной муки не было,— и мне выдали три пышных буханки белейшего хлеба, какого я очень давно не видел.

Велико было искушение наесться до отвала, но много сильнее — предостерегающий голос: теплый мягкий хлеб способен убить, внушали врачи, образно объясняя нам, как при длительном голодании организм начинает сам себя поедать и всякие оболочки и кишочки становятся тонки и непрочны, как папиросная бумага! Бог с ним, со свежим, пусть зачерствеет. И сухим съем его до последней корки.

Всего полчаса назад я видел в зоне, как двое из получавших вместе со мной хлеб в каптерке кандидатов на «волю» стали, едва буханки оказались у них в руках, тут же отрывать грязными пальцами куски и с невероятным проворством запихивать в рот. Потесненные толпящимися у раздаточного окошка, они ступили несколько шагов в сторону и присели на бревно, ни на мгновение не переставая жевать и проглатывать хлеб.

— Вы что, ошалели? — крикнул следивший за ними одним глазом каптер.— Обожретесь и до станции не дойдете. На месте загнетесь — заворотит кишки.

Они словно не слышали: слепо взглянули в его сторону и продолжали жадно и торопливо пихать и пихать в рот теплый мякиш с похрустывающими корками. Совали с остановившимися, невидящими глазами: они словно были обращены внутрь, напряженно караулили, когда отступит неутолимая несытость, разойдется по всему телу благодатная удовлетворенность, заглохнет сосущее ощущение голода. На них было жутко смотреть, но и отвернуться невозможно. Эти два безудержно наедающиеся бедняка завораживали, вызывали острое желание последовать их примеру. Мне захотелось тут же развязать свой мешок, выхватить оттуда буханку. Я уже почти ощущал, как начну уминать и жевать пахучую, сытную массу.

Вдруг один из них выпустил из рук хлеб, со стоном схватился за живот, скрючился и стал сползать с бревна на землю. Я поспешил отвернуться и поплелся на станцию, весь взмокший от переживаний.

И думал по дороге, что вот возвращаюсь снова в мир, уже позабытый, но наверняка ощетинившийся опасностями, зыбкий и обманчивый. Возвращаюсь ослабевшим и безоружным: если позади — трясина, едва не поглотившая, то впереди — джунгли. Устраивание жизни под подозрительным и враждебным оком власти, в обстановке предательства и зависти.

Как лагерное напутствие — последняя ночная сцена. В темноте на меня набросился дюжий санитар, чтобы отобрать висевший у меня на груди порядочный кисет с махоркой. Подаривший мне ее практичный Юра полагал, что за длинную дорогу она пригодится: за цигарку не только кипятку принесут, но и место посидеть уступят. И я, как ни был слаб, стал стойко обороняться, мертво уцепился за свою сумочку. Схватка затянулась, стали просыпаться соседи, зажгли свет, и насильнику пришлось убраться несолоно

хлебавши. И на прощание мне все-таки пришлось услышать: «У, дохляк, морда интеллигентская!» На шее и на груди остались ссадины и подтеки.

На станции, кишевшей освобождающимися лагерниками, я неотступно караулил свое сокровище. И в первую ночь в вагоне его у меня украли.

Глава девятая

И ВОЗВРАЩАЮТСЯ ВЕТРЫ НА КРУГИ СВОЯ

Путь мой пролег поперек всей России — от Печорской тайги до предгорий Арарата,— России 1944 года, втянутой в четвертый страшный год войны, притерпевшейся к лишениям, придавленной двойным гнетом — войны и произвола, нашедшего дополнительное оправдание в необходимостях военного времени.

Словно весь народ взялся переезжать с места на место. Битком набитые вагоны опаздывающих, простаивающих на запасных путях поездов; кишащие проезжим людом станции и вокзалы; семьи, спящие вповалку на узлах и мешках в загаженных нетопленых залах с полами, устланными измученным народом. Ступают, пробираются к дверям и в чудовищно грязные сортиры, балансируя и не всегда находя место, куда поставить ногу между телами. Крики, ругань... Отпущенные на побывку и возвращающиеся в часть солдаты; пробирающиеся из голодной эвакуации в свои разоренные деревни жители; бабушки, отправившиеся на розыски сирот-внуков; подростки, заблудившиеся во всеобщем переселении; покинутые старики и конечно же пропасть безруких и безногих, «костыльников», как называют инвалидов милиционеры... Нужда, беды, горе...

Вкраплениями — плотные, справно одетые, самоуверенно прокладывающие себе дорогу в толкучке люди с прочно увязанными тяжелыми чемоданами и твердыми лицами. Скудость и нехватки расплодили многочисленное племя знающих, где, что и у кого достать и куда переправить, чтобы нажиться. Всюду комендатура, охрана, патрули: развернуты внушительные военные силы против своих мирных граждан. А для таких, как я, эшелонами отправляемых на высылку и рассасывающихся по дороге лагерников,— летучие отряды оперативников. Они то и дело прочесывают вагоны, проверяя документы. Их не обескураживает никакая толчея в про-

ходах: все равно протиснутся, не пропустят никого. Наметанным глазом сразу обнаружат подозрительное.

Среди нас большинство уголовников. Их — «социально близких» — легко отпускают из лагеря: для них — зачеты рабочих дней, какие-то амнистии. Они голодны и дерзки: то в одном, то в другом конце вагона раздаются вопли обокраденных. Оперативники выслушивают жалобы и проходят дальше.

Как я упоминал, в первую же ночь обокрали и меня: выхватили из-под головы торбу с хлебом. Я спал на узкой боковой полке для багажа. Пока слезал, расталкивал: «Пропустите, хлеб украли!» — вора и след простыл. Стал было заявлять проходившему по вагону оперативнику... В отчаянии снова улегся на своей полке: нет на свете ни правды, ни милости...

Но случилось невероятное. Под утро — поезд стоял на станции — меня вызвали в комендатуру. Я сразу увидел на столе свой мешок. В сторонке стоял паренек в бушлате — вор, безошибочно определил я. Человек за столом предложил перечислить содержимое мешка. Пока я называл хлеб, рыбу, теплые носки, кружку с ложкой, он шарил в нем рукой, удостоверяясь в их наличии. Потом пододвинул его ко мне:

— Забирай и уходи. Повезло — всё цело, не успели растащить, попались на другой краже. А ты, парень, отгулял на воле...

Так пришлось и мне — впервые — воздать хвалу оперативной службе и ее расторопности!

А потом я медленно и робко шел в толпе, запрудившей платформу московского вокзала. У выхода стояло несколько человек в штатском. Они пронзительно зорко оглядывали пассажиров, словно просвечивали. На миг остановили взгляд и на мне. Мелькнуло — сейчас задержат! — и я чуть ли не сделал шаг в их сторону. Но острый взгляд скользнул — и мимо. А вот шедшего рядом мужчину в пальто поманили, стали о чем-то спрашивать. Он полез в карман — за документом...

На вокзальной площади гремели трамваи, бежали грузовые машины и «эмки»: за годы, что меня не было, Москва пересела с лошади на автомобиль. Огоньки убегавших машин образовали вдалеке, на подъеме к Красным воротам, хоровод мелькавших в темноте точек, и мне чудилось, что то загораются и гаснут в потемках глаза таинственных инфернальных существ, подозрительно и враждебно присматривающихся к пришельцу. Они как бы свидетельствовали пришествие

новой эпохи, покончившей с вековым укладом жизни, еще не полностью подчиненной власти машинных ритмов и скоростей. И я почувствовал, как много утекло воды, как я отстал от совершившихся перемен.

Задерживаться в Москве было рискованно из-за вошедших в обиход проверок жильцов. Пустивший к себе ночевать гостя был обязан тотчас известить жилищное управление, представить его документы, получить разрешение. Нарушение этого порядка грозило немалыми неприятностями и даже карами. Было тем более неполитично обращаться с объявлениями о своих связях со вчерашним лагерником. И родственники продержали меня в городе всего два дня, да и то с тем, чтобы я ночевал в разных местах, не показывался, пока светло, на лестницах и не попадался на глаза соседям... За свиданием чудились осложнения. Меня очень энергично и поспешно снаряжали в дальнейший путь. Как ни бедны все были, как ни обносились, отыскивали одежду и белье, нашлись даже парусиновые туфли — на юге они должны были пригодиться.

Так пустился я в далекий путь. Но не по Курской железной дороге, а через волжские города. Ехали бесконечно долго, и того дольше повсюду стояли или едва ползли по только что восстановленным путям.

Ехали по опаленным войной полям с торчащими надолбами, изрытым траншеями, мимо разоренных станций и деревень. Особой жутью повеяло от развалин прежнего Царицына, многоверстных кладбищ сбитых самолетов, сгоревших танков, гор покореженного металла, на котором чудилась кровь. Выглядело, словно жизнь никогда не возродится после такого разорения; уродливые развалины с просвечивающими глазницами окон должны навеки отпугнуть ее отсюда. Любой бугорок земли казался могилой.

Вагоны медленно катились длинные километры; слева от дороги блестели широкие и пустынные излучины Волги, мощно и невозмутимо стремившей свои воды к далекому морю. Она так же изливала их, когда утвердилось на ее берегах, а потом пало Хазарское царство, шумели таборы кочевников, основалась Золотая Орда; когда простерлась сюда длань Москвы и мирно и мерно протаптывали бечевники бурлаки с их будившей совесть россиян песней-стоном. Справа расстилалась мертвая степь — без единого клока зелени,— высились покинутые дома с пустыми проемами окон и дверей; корчились железные переплеты взорванных мостов и почерневшие остовы сгоревших заводов.

Пока ехали этими местами, пассажиры не отходили от окон, внимали инвалидам соседям и военным, рассказывавшим о виденном и испытанном, вошедшем в героическую летопись; о великой Сталинградской битве, к очевидцам и участникам которой они в большинстве себя причисляли. И, узнавая о гигантском сражении из первых рук, в местах, где оно развернулось, невольно представлялось, что всякий участок земли вокруг полит русской кровью, кровью моих современников.

Я вглядываюсь в измученное нездоровое лицо солдата, сидящего на лавке против меня. У него охрипший, тусклый голос. Не нужно вслушиваться в его слова, чтобы заключить: он прошел через величайшие муки и перед глазами у него все еще стоит смерть. И таких — миллионы. Они через немного лет станут ветеранами Великой Отечественной войны, почетными людьми, о которых будут все больше заботиться, окружат всенародным вниманием. На мраморных и чугунных досках бесчисленных мемориалов будут увековечены имена павших. Мне же и таким, как я,— уступать им дорогу и с глубоким уважением и признательностью земно кланяться: они отстояли родную землю! И таких, как я, лишенных возможности ее защищать,— тоже, как и убитых и уцелевших, миллионы. Нас заперли в лагерях, завезли в тайгу, и мы пережили войну за сотни и тысячи километров от фронтов. Даже медали «За доблестный труд во время войны» не оставим мы своим детям и внукам на память, мы — лишенные права защищать Отечество с оружием в руках. Победа над Наполеоном в 1812 году не стала победой над крепостным строем и самодержавием. Обе Отечественных войны — торжество народа, вдохновленного любовью к родной земле...

Святой подвиг защиты Отечества останется навсегда в памяти совершившего его народа. Но отвергнут потомки отождествление его с увековечением «произвола», ставшего орудием управления страной.

Не Сталину и его «ученикам и соратникам» фигурировать на скрижалях, где высечены имена великих людей России, ее славных вождей и полководцев. Ведь именно они уничтожили цвет русского народа, расшатали нравственные его устои, растоптали чувство собственного достоинства в людях, сознание права судить и оценивать. Горькой насмешкой прозвучала хвала «терпению русского народа», воздданная его притеснителем.

Не виноваты русские солдаты в том, что участвовали в подавлении Венгерского восстания 1848 года, штурмовали

стены Туркестанских крепостей, покоряли Кавказ, что были завоевателями и насильниками,— мир праху павших в бесславных делах русских царей! Однако в народной памяти не сохранились имена героев взятия Будапешта, не увенчаны лаврами сподвижники генерал-адъютанта Кауфмана...

Исторические параллели помогают разобраться в первопричинах противоречивых чувств, испытываемых перед полем Сталинградской битвы или измученным лицом ветерана. Сердце русского человека обливается кровью при виде их, но радость избавления от чужеземного нашествия омрачена торжеством своих насильников...

...Пока ехали по Кубани, по Ставрополью, нас не покидали следы войны, картины пожарищ и разорения. И только когда добрались до Каспия и повернули к югу, они остались позади. Изменился и состав пассажиров. В вагоне все чаще слышался нерусский говор, места занимали кавказцы в папахах и ноговицах, подпоясанные наборными ремешками, однако без традиционного кинжала, отнятого революцией. Вполне мирный народ, едущий с женами в глухих платках и длинных, до земли, сборчатых юбках, как у цыганок, и все — с ковровыми вьючными сумами, из которых достают лаваш с пахучим сыром и молча сосредоточенно едят. Но теперь и у меня не пустой стол. На больших станциях я иду к крану за кипятком, завариваю им щепоть чая в эмалированной кружке, потом, выложив из сумки разную снедь, не торопясь чаевничаю за накрытым чистым и выглаженным полотенцем столиком. Мне все еще так внове этот опрятный обиход с чистыми салфетками и посудой, а главное, с отступившим жадным стремлением как можно скорее съесть все доступное, что чаепитие обращается в милый сердцу обряд.

На последних перегонах перед Кировабадом все сильнее гложет беспокойство — не безумие ли ехать в чужой, иноплеменный город, без единой знакомой души? Что-то не торопились меня приветствовать ореховые рощи, не манили к себе обремененные плодами сады! Всюду было голо, даже пустынно, по долинам едва зеленела трава, и безлюдными выглядели крохотные пристанционные рынки. Меня не всегда понимали, когда я заговаривал по-русски. Край не только далекий, но и иноязычный. Попутчики, знающие по-русски, на вопросы отвечают неуверенно — затрудняясь, видимо, дать дельный совет. Я только и узнал, что город разделялся рекой на две части — тюркскую и армянскую, и в нем сельскохозяйственный институт. Помня своих друзей мусаватистов, я решил искать доли в первой.

Конечно же это добрый мой гений подсказал мне отправиться первым делом в институт. Оставив багаж на вокзале, я пустился в длинное путешествие по городу в дребезжащем, переполненном трамвае, тотчас погрузившем меня в местные патриархальные нравы. Водитель сбавлял ход, чтобы дать пассажиру выйти в нужном ему месте или взять нового, издали машущего рукой; резко останавливался и начинал неистово звонить, чтобы понудить невозмутимого буйвола сойти с рельсов. Десятки людей давали мне советы — где лучше всего сойти, как ближе добраться до института, составлявшего, очевидно, городскую достопримечательность.

Вдоль тротуаров обсаженных платанами улиц текли в узеньких желобах потоки чистейшей горной воды из знаменитых «кыгрызов» — сооруженного еще в средние века ганджийскими ханами водопровода. Мостки через них были перекинуты не везде, и мне, еще с трудом волочившему ноги, запомнились эти рискованные переправы: приходилось, потоптавшись на месте и попримерившись, отчаянно оторвать ногу от земли и широко шагнуть... И как же я рад был радешенек, что обходилось без падения после этого аршинного прыжка через бездну.

Я стоял возле не чересчур импозантного подъезда института, с огорчением дочитывая вывеску, на которой значилось, что почтенное это заведение «имени Л. П. Берия». Сразу потускнели мои смутные надежды увидеть себя в этих стенах преподавателем языков: имя современного Малюты над входом в институт как бы преграждало путь ускользнувшему по недоразумению из его застенков.

— Вы, вероятно, кого-нибудь здесь разыскиваете?

Обернувшись на голос, я увидел очень немолодую русскую даму в старомодном платье и крохотной соломенной черной шляпке, красноречиво напоминавшей о старом Петербурге. Пока я торопливо излагал свои сложные обстоятельства, стараясь дать как можно более выгодное представление о своих знаниях, незнакомка с участием слушала.

Ксения Дмитриевна Кленевская ведала кафедрой иностранных языков института, остро нуждавшейся в преподавателях. Она оказалась сестрой мичмана, чье имя высечено на памятнике «Стерегущему» на Каменоостровском проспекте...

Ксения Дмитриевна ввела меня в темноватый вестибюль и, предложив там подождать, отправилась к директору. Потом мы с ней вместе сидели в его кабинете. Прием директора поразил меня чрезвычайно: он не только говорил со

мной благожелательно, но очень твердо заявил, что с осени зачислит меня в штат института, и тут же вызванному начальнику кадров поручил согласовать мой прием с НКВД.

— Никаких препятствий не будет, поверьте,— угадал он мое сомнение в возможности обремененному судимостями человеку сделаться вузовским профессором,— тут у нас не придают этому значения.

Летние месяцы он предложил мне поработать в библиотеке института по разбору иностранной литературы. И мое жалкое временное удостоверение было тут же передано на оформление.

Ксения Дмитриевна, когда мы вышли, рассказала немного о себе. Как я угадал, она была смолянка и принадлежала петербургской военной семье. В дни великого исхода русской интеллигенции из Петрограда, когда бежали куда кто мог от зловещих камер Шпалерной, повальных обысков и дирижируемых Зиновьевым массовых расстрелов, они с мужем укрылись в Закавказье. Ее супруг служил в Министерстве юстиции. Оба давали уроки языков — тем и жили. В институт она была приглашена со дня его основания.

Библиотекарем оказалась молоденькая русская девушка, бывшая студентка Кленевской. Она указала на груды книг, ожидавших внесения в каталог и размещения по полкам — этим предстояло заняться мне. Поручив меня попечениям милой застенчивой Наташи, Ксения Дмитриевна ушла.

Моя новая принципалка первым делом осведомилась о моем устройстве. Узнав, что у меня нет крыши над головой, как нет и основы основ — хлебной карточки, расстроилась.

— Как можно, конец рабочего дня, а завтра воскресенье... Я побегу. Ждите меня. Хотя нет... Лучше съездите за вещами, привезете их прямо сюда — у меня идея. Один справитесь?

Пожитки мои, хоть и громоздкие, были не очень тяжелы. Ничего капитального в дерюжном мешке и допотопном портпледе не было: заполнявшие их белье и одежда, старые и изношенные, весили немного. Однако доставив все это во временное мое пристанище, я выдохся окончательно и, пока не возвращалась Наташа, удерживался от искушения растянуться на полу, как случалось не раз на этапах и пересылках.

Она пришла едва ли не более нагруженной, чем я. Принесла подушку, одеяло, белье, какую-то посуду — и горшочек супа, и кукурузные лепешки, и ветку сушеного винограда!

— Вот видите, как хорошо все устроилось. Комендант разрешил вам временно поселиться здесь. Соорудим постель

на стульях, вон как их тут много. Карточку он вам достанет, а пока я вот немного принесла... После дороги...

Воскрешать ли эти ничтожные подробности, спустя десятилетия перечислять, что именно припасла для незнакомца, впервые увиденного, занятая и обремененная собственными заботами, нелегко живущая девушка? И почему мне с такой пронзительной четкостью вспоминаются стеганое лиловое одеяло в сшитом из кусков пододеяльнике, прокаленный на огне глиняный горшочек с луковым супом, вижу как сейчас баночку с засахаренным вареньем из айвы?.. Во всем этом было подлинное человеческое тепло, сочувствие, не забываемые не привыкшими к ним людьми. И смутно представляя себе сейчас черты Наташи, я все слышу ее мягкий голос с вызывающими расположение и отклик интонациями, все помню ее серьезные глаза, в которых — искреннее сочувствие. Она мне потом говорила, как поразили ее мои медленные, неуверенные движения и больной вид.

А вот Ксению Дмитриевну в первую очередь привлек покрой моей куртки — это была, кстати, английская куртка погибшего в тюрьме отца Любы Новосильцовой, отданной мне ее матерью: бывшая воспитанница Смольного института учуяла в ней нечто принадлежащее отвергнутому, но не забытому миру. Мое произношение убедило ее окончательно, что облачен в потертую, но все еще щеголеватую куртку человек, с которым у нее может быть общее.

В эту первую ночь я, как ни удобно лежал, не мог уснуть. Занесший хлебную карточку комендант — пожилой добродушный армянин, одним видом своим опровергающий жесткое представление об облаченных этим званием лицах — внимательно оглядел все, чем располагал я для ночлега, зацокал языком, покачал головой:

— Нэ годится! Что дэлать будэм?

И очень быстро нашел, как именно поступить. Через полчаса за библиотечным шкафом стояла раскладная кровать с матрацем, а на столе высилась увенчанная чайником керосинка. Комендант даже не забыл снабдить меня спичками.

Было очень тихо, даже глухо. Скреблись и шуршали по углам мыши, и телу было предельно покойно. Но слишком много набралось за день впечатлений, разрозненные мысли не давали уснуть. Зароились надежды. Вот она, зацепка для них: в вольно гуляющих по стране, заливших все вокруг волнах злобы, жестокости, себялюбия сохранились и добро, и отзывчивость. Меня попросту ошеломил переход от привыч-

ной грубой враждебности, от черствости к нуждам «чужого» — к такому вот сердечному приему, бескорыстной готовности помочь. На глаза нет-нет набегали непрошеные слезы. Я поднимался, ходил по комнатам, стараясь взять себя в руки, успокоиться; потом всего вдруг пронизывало острое ощущение своей беспомощности, зависимости от других, одолевали горькие сожаления.

И еще эта куртка. Нить к Любе. Мучительное воспоминание о свидании с ее матерью не давало покоя. На семейном совете было решено скрыть от нее смерть дочери, дать пройти времени: опасались, что внезапное известие убьет ее. И мне пришлось, ровным голосом и глядя тетке в глаза, уверять ее, что Любу перевели на другую командировку, что ей там будет лучше, но пока не налажена связь для переписки, и Веревкин хлопочет, что мне хоть и не удалось с ней встретиться, но письмо от нее было... Глуховатая тетка переспрашивала, задумывалась, снова задавала вопросы. И я врал, боясь запутаться в своей лжи и выдать себя фальшивым тоном.

А потом жизнь вошла в предначертанную ей колею, и потекли дни. Очень скоро к занятиям в библиотеке прибавились частные уроки. Дважды в неделю я ходил в дом доцента института — азербайджанца, женатого на русской,— обучать английскому языку его супругу и дочь-школьницу. Глава дома с самого начала отнесся ко мне сдержанно, как бы подчеркивая намерение не выходить за рамки официальных отношений, в противоположность жене — молодой, очень яркой женщине с пышной фигурой, крупными голубыми глазами и роскошными белокурыми волосами героини нордических саг. Они с дочерью стали баловать меня, к договоренной плате прибавлялись чаепития с угощениями и украдкой передаваемые кульки с овощами и ранними фруктами — доцент-ботаник ведал оранжереями института. Со временем я привык к радушному приему, освоился с ролью домашнего учителя, на которого отчасти косится хозяин дома, недовольный вниманием, оказываемым ему его семьей. Было очевидно, что супруга не очень считается с нахмуренным челом ревнивого мужа, как бы приглашая и меня не принимать всерьез его надутость.

Покинул я и библиотечный кров. Та же Наташа подыскала мне приют у уборщицы института, одинокой русской женщины с двумя детьми. Я сделался «угловым» жильцом в ее просторной, неперегороженной комнате. Жилось этой Дусе с двумя болезненными, хилыми мальчиками бесконечно

трудно, хотя ей и выдавали нищенское пособие за пропавшего без вести мужа. Она была вечно озабочена, затуркана, до ночи перестирывала груды белья, отдаваемого ей не слишком щедрыми клиентами.

По вечерам я готовился к предстоящей педагогической деятельности, штудировал программы различных курсов, читал руководства и пособия. И со страхом представлял себе, как окажусь перед незнакомой аудиторией, десятками молодых людей, ожидающих, что на них сейчас просыплется — через мое посредство — манна знаний. У меня не только не было опыта, но и той необходимой самоуверенности, какая может всегда прийти на помощь: я заранее постыдно робел. Тем более что чувствовал себя еще слабым и неполноценным, что было стыдно появиться в профессорской и перед студентами в заплатанных штанах и невозможной, недопустимой обуви. Из-за отеков я был вынужден ходить в фетровых домашних полусапожках — очень уютных, чтобы сидеть в вольтеровских креслах у камелька, для чего они, несомненно, некогда предназначались (они нашлись в старом сундуке на чердаке). Пока на дворе было сухо, они отлично служили для походов в библиотеку и в город. Но как я буду выглядеть в таких зелено-коричневых, утративших форму растоптанных ладьях перед насмешливыми очами юнцов, готовых по косточкам разобрать своего преподавателя?

Повадился я — увы! — ходить на рынок, кишевший толпами людей, жаждущих что-то спустить, приобрести, перекупить, подцепить. Я нуждался лишь в одном — в покупателях, которые бы польстились на те тряпки и вещички, что я выносил туда, мучаясь необходимостью держать их перед собой на виду, давать оглядывать и прощупывать, назначать цену, торговаться. Чувствовал я себя униженным не только из-за жалкого скарба, какой приходилось сбывать, а еще и потому, что расставался с тем, что с такими хлопотами и далеко не безболезненно было мне пожертвовано в Москве. Дали, чтобы я носил, мог регулярно менять белье, а я вот продаю и на вырученные деньги покупаю съестное — не обхожусь полагающимся мне пайком!

Но со мной происходило странное. То ли стал организм возрождаться и восстанавливаться, то ли по другим причинам, но я всегда остро хотел есть. По карточке скромного служащего полагалось четыреста граммов хлеба в день, давали соль и кусок стирального мыла. Не будучи ни преподавателем, ни студентом, я не был вхож в институтскую столовую, поэтому с приварком обстояло предельно скудно.

На обесцененные деньги можно было купить на рынке так мало, что моей месячной зарплаты едва хватало на кирпичик хлеба и кулек картофеля. Я, разумеется, стеснялся откровенно «приналечь» на угощения Валькирии, чтобы не выдать своего волчьего голода. Да и семья была не слишком обеспечена, жила, с трудом сводя концы, прибегая к разным стратагемам, чтобы что-то достать, откуда-то привезти. Милые хозяйки подкладывали на тарелку, а я отказывался, уверяя, что сыт...

Испытываемый стыд — пусть ложный — при продаже своих шмуток трудно объяснить, но он сковывает тем более, чем сильнее нужда в выручке. Чрезвычайного усилия, даже насилия над собой потребовал почин, но положение рисовалось безвыходным: хлеб по карточке забран вперед, последние гроши от зарплаты истрачены и — никаких запасов, хоть шаром покати! Я уходил — будто бы по делам — из дому, чтобы не присутствовать при скудном обеде хозяйки.

И вот я шарю в своем мешке... Ага! Почти не траченная молью шапка, да еще бобровая. Тут юг, я вполне без нее обойдусь; вот еще свежий жилет от костюма; пара сносных башмаков, из-за отеков тесноватых... Выбор труден бесконечно, я колеблюсь, соображаю, перерешаю, наконец понимаю, что медлю, обманываю себя — страшно идти туда, в эту ощетинившуюся подвохами и унижением горластую толкучку. И вдруг срываюсь, почти в отчаянии выбегаю из дому, завернув в платок первую подвернувшуюся вещь.

Я никогда к этому не привык, хотя за почти лишними или мало нужными вещами наступил черед сорочек, белья, даже надежной английской бритвы. С выручкой я шел в ряды, где продавались хлеб, крупа, кукуруза — на стаканы, и тут же покупал, что удавалось. Там же торговали маслом, сыром, молоком, иными недоступными благами. Туда я и не совался.

Не сразу решился я заглянуть в чайхану — мне можно было бы в те поры приписать комплекс неполноценности,— но однажды все-таки переступил ее порог, сел за столик и заказал чай, подаваемый, как в старых русских трактирах, в двух чайниках. Это стоило недорого, и я попривык сюда заходить. Изредка, если удавалось сбыть что-нибудь поудачнее, добавлял к чаю сахар или конфету.

Мне нравилось подолгу тут сидеть, поглядывая на посетителей, прислушиваясь к незнакомому языку, смутно и лениво о чем-то мечтая. Выглядело, словно все тут друг друга знают. Были клиенты, перед которыми трактирщик, едва

они появлялись, ставил горшочек «пти» — местный наваристый бульон, тарелки с каймаком, медом и маслом. Как истые кавказцы, они расплачивались величественно, швыряя пачки еле пересчитанных денег и небрежным жестом пресекая попытку вернуть сдачу. Но по-настоящему свою широту и щедрость эти состоятельные посетители,— как я узнал потом, мясники и другие торговцы с рынка — проявляли, когда в чайхану приходил певец, мужчина лет сорока с полным, выбритым до синевы лицом, в добротной, военного покроя одежде.

Певцу тотчас же освобождали столик в дальнем углу, ставили перед ним еду. С его появлением помещение быстро наполнялось. На певца как бы не обращали внимания, он не торопился начинать. Но вот наступала минута, когда, почти не меняя позы, облокотившись на стол и слегка подперев голову рукой, он начинал петь. Сначала низким глуховатым голосом, речитативом, с вибрирующими горловыми нотами. Постепенно они усиливались, и чайную наполняли напряженные окрепшие звуки. Чем больше расходился певец, тем выше, пронзительнее и слитнее звенела гортанная нота, отдавалась в сердце невысказанная скорбь. Все сидели молча, затаив дыхание, взятые в плен. Мне, не понимающему ни слова, чудилась в песне отчаянная жалоба, трагический плач, тоска Востока... Вопль, исторгнутый из-за невозвратной потери. И я вдруг осознал, что песнь оплакивает моего Всеволода. С беспощадной ясностью представился ужас разлуки с ним навсегда, его ухода навечно. Как тисками сжали сердце сожаление, нежность к брату. Вспомнились его заботы, и укором — моя невнимательность, случаи, когда, занятый своими переживаниями, бывал неотзывчив и черств, а он словно и не замечал... Я в отчаянии закрыл лицо руками. Мир заполняли похожие на рыдания звуки. Меня терзало раскаяние, тем более горькое, что я только и мог про себя повторять: «Брат мой, милый братец, что ж ты оставил меня одного? Как я без тебя, близнец мой родной?» Я насилу с собой справился; украдкой вытер лицо и не сразу решился оглянуться вокруг.

Песня внезапно оборвалась. Я осмотрелся. Кругом были расстроенные лица, взволнованные люди, опущенные головы. Потом все стали подходить к певцу, и на его столике быстро росла кучка денег. Как ни были они обесценены, я видел, что кладут купюры, составлявшие и тогда весомую сумму. И все же осмелился положить свою бумажку под отсутствующим взглядом певца.

И вот как бывает: все замечавший хозяин, до того достаточно неприязненно смотревший на чужака, от которого ни дохода, ни чаевых, заставлявший подолгу ждать, сделался внимательным. Вступал в разговор, расспрашивал, сразу приносил мои чайники. Он хорошо говорил по-русски — до революции держал буфет на одной из крупных станций Николаевской железной дороги, ныне Октябрьской. Тут он ведал пищеторговской точкой на закавказский манер, то есть был одновременно директором, официантом, кассиром и пайщиком заведения. Я запомнил его — со всегдашней сильно отросшей седой щетиной на подбородке, с добрым и очень темным отечным лицом постоянно пьющего человека.

Он рассказал, что приходивший в чайхану певец — один из известнейших ашугов Азербайджана, что он вернулся израненным с войны, орденов не носит и что песня, так потрясшая меня,— переделанный им на свой лад старинный плач невесты над убитым джигитом. И был хозяин чайной первым человеком, с которым я в Кировабаде заговорил о своих встречах с мусаватистами,— до того показался он мне заслуживающим доверия. Он знал несколько семей погибших в заключении, но, все взвесив, отсоветовал заводить с ними знакомство: это только разбередит старое горе. Да и небезопасно — трагедия мусаватистов оставила глубокие следы и власти по-прежнему относятся очень ревниво ко всему, что может напомнить о расправе с ними.

Занятия начались поздно, в октябре: студенты были мобилизованы по колхозам. Я подзабыл, как именно сие произошло и как я впервые поднялся на высокую вузовскую кафедру, но сохранил воспоминание о чрезвычайной суете и загруженности — мне сгоряча поручили столько групп, что пришлось перетряхивать расписание, чтобы я мог физически поспевать на лекции: аудитории были разбросаны по всему городу. Учил я двум языкам тюрков и армян, первокурсников и оканчивавших вуз, и, конечно, очень долго не узнавал в лицо своих студентов, не представлял себе, усваивают они хоть что-либо из моих объяснений, терялся, имея дело с пареньками из далеких горных аулов, не понимавших русского языка. Как всякого неопытного преподавателя, меня угнетало сознание собственной недостаточной подготовленности и пробелов в знаниях, и я до смерти боялся каверзных вопросов, какие бы могли меня оконфузить перед всем честным народом.

К концу семестра я справился с внутренней робостью, в аудиторию входил увереннее и даже научился наводить тишину и порядок на занятиях. Познакомился и кое с кем из своих коллег. Ксения Дмитриевна следила, чтобы я чувствовал себя полноправным в профессорской комнате, выхлопотала мне пропуск в столовую и дополнительную, полагающуюся ИТР карточку. Положение мое существенно улучшилось: прибавилось наполовину хлеба, сахару; случалось отоварить талон с надписью «Жиры»!

Дел становилось все больше. К концу зимы — неверной, непривычной и тоскливой южной зимы — меня стали регулярно дважды в неделю возить в пригородный НИИ табаководства (или южных культур — запамятовал), где я учил языкам научных сотрудников, сдававших кандидатские и докторские минимумы. Мне подавали машину и с почетом доставляли в оба конца. Вдобавок меня произвели — по представлению Кленевской — в старшие преподаватели кафедры, что повлекло за собой и «дополнительные блага»: повысилась зарплата, к продовольственной прибавилась «промтоварная» карточка! Можно было независимее сидеть в кресле в преподавательской, коллеги пожимали руку, кто-то приглашал в гости, а на ногах были новые, приобретенные в закрытом распределителе башмаки по ноге; завелись парадные светлые брюки... Словом — живи и радуйся... намазанному маслом хлебу за завтраком, успешной карьере, женским благосклонным улыбкам: не гулаговский немытый доходяга, а штатный вузовский преподаватель!

Но вот в жизнь ворвались оглушительные фанфары. У диктора Левитана не хватает октавы, чтобы объявлять победоносное продвижение фронта на запад, перечислять возвращенные, а потом и завоеванные города, освобожденные столицы, трофеи. Имя Верховного Главнокомандующего генералиссимуса Сталина произносится на истерическом пределе, скандируется так, как возглашали придворные дьяконы долголетие членам царствующего дома... Сделалось очевидным: разгром Гитлера неминуем, имя Сталина озолотят лучи славы полководца-победителя.

И мне заранее страшно. Несравненное счастье и милость Божия, что повергнут лютый враг России, близится конец войны. Но уже можно предвидеть, что все силы режима будут брошены на подавление и рассеивание проявляющихся — робко и осторожно — надежд многострадального народа на льготы, человеческую жизнь, послабление. То были месяцы зародившихся иллюзий. Предсказывали —

на ухо и с оглядкой — всеобщую амнистию, роспуск лагерей; колхозникам мерещилось раскрепощение, конец грабительским поборам; оптимисты ожидали реформ, отдушин для торговли, производства, снабжения; безумцы уповали на добровольный отказ власти от бессудных расправ, дутых процессов, произвола.

Победа, доставшаяся ценой чрезвычайных жертв, потоков крови и слез, должна была неминуемо вызвать подъем духа. Люди непременно захотят видеть и знать больше, чем дозволено, их потянет поездить по белу свету, показать свое, поперенимать чужое, в пораженных апокалипсическим ужасом сердцах оживут заглушенные ростки веры, тяга к нравственному совершенствованию, поиски правды. Народ захочет жить сытнее, достойнее, лучше одеваться, вольнее говорить, шутить, критиковать, возмущаться, высвободиться из-под гнета полицейской цензуры и казарменных порядков.

Но в глазах власти всякое мечтательство предосудительно, таит в себе семена критики и недовольства, неверия в справедливость ее путей и потому должно пресекаться. Притом — в зародыше, пока эти смутные, почти инстинктивные сомнения не переросли в уверенность, что творится неладное, что людское счастье на земле устроятся по-иному, не обязательно путем затыкания ртов и устрашения.

За неполные четыре года, что длится война, множество народу побывало на запрещенном Западе, повидало, как живут люди, угнетаемые капитализмом; русские солдаты насмотрелись на немецкие и чешские деревни, на жителей «нищих» балканских стран. Они не смеют рассказывать о зажиточных «бауэрах», условиях жизни австрийских рабочих, о независимой прослойке ремесленников; не смеют заикнуться о невмешательстве буржуазных правительств в частную жизнь, отсутствии запретов на выезд. Но победа неминуемо развяжет языки. И можно априори сказать, что Сталин со товарищи не упустят вовремя дать острастку, подсечь под корень всякие «бессмысленные мечтания».

Я привел эти слова Николая II, сказанные депутации тверского дворянства, всеподданнейше советовавшей после коронации ввести реформу строя — ограничить самодержавие парламентом. Но последние русские цари уже не могли и не умели никаких мечтаний пресекать и подавлять. Принимаемые ими куцые и непоследовательные меры для искоренения крамолы лишь подбавляли в огонь жару, дразнили и разжигали страсти, бывали бессмысленно жестоки и безобразны, вроде дикого расстрела на Лене...

Итак — посыплем главу пеплом и раздерем на себе одежды — похороним поглубже «бессмысленные мечтания» о либерализации строя и прекращении произвола.

В моем безоблачном небе как-то прогремел громок. Это было уже после 9 мая, дня капитуляции Германии, отмеченного в нашем городе фейерверками, пальбой, собраниями, торжественным появлением партийных тузов на трибунах, обращениями к толпам горожан, призывами воздать хвалу вождю, раскатистым и многократным «ура» выразить беззаветную преданность и признательность единственному Великому; более или менее «открытыми» столами с бочками вина, развезенными по площадям, корзинами нарезанного хлеба и ломтиками брынзы для угощения «простого советского человека»; банкетами более высокого уровня — закрытого типа — по учреждениям, вроде институтского застолья, собравшего вокруг разложенных на блюдах жестковатых кусков мяса зарезанного для пира в подсобном хозяйстве выбракованного буйвола и внушительного количества наполненных красным вином кувшинов весь профессорско-преподавательский состав, с отлично отрепетированной готовностью отрывавшийся от щедрого угощения, чтобы вскочить и, дожевывая и доглатывая бифштексы, во все горло возгласить здравицу в честь Учителя и Корифея; с вынесенными на улицу из домов простосердечными добрыми пожилыми людьми, еще не растерявшими традиций священного праздничного гостеприимства, столами, накрытыми скатертями и уставленными всем, что только Аллах позволил припасти для великого дня, и усаживавшими за них прохожих...

Словом, было и регламентированное, казенное ликование, и душевная радость тех, кто дожил до дня, когда можно ждать домой уцелевших близких и от полноты сердца накормить нуждающихся и обездоленных.

Так вот, вскоре после этого гремучего дня, когда я готовился отправиться на каникулы в горы, погостить у родителей одного из моих коллег, ко мне с таинственным и многозначительным видом подошел начальник кадров института и предложил после занятий зайти к нему в кабинет. Я, естественно, насторожился и, все взвесив, решил ослушаться. К тому времени у меня сложились дружественные отношения с местным видным врачом-гинекологом, вхожим, в силу своей специальности — через супруг, в дома работников КГБ,

и я отправился его разыскивать; хотел предупредить о вызове, исходившем, я в этом не сомневался, из госбезопасности. Он мог разузнать, в чем дело, и, по возможности, отвести или смягчить надвинувшуюся на меня угрозу.

Однако до доктора не дошел. Встретив по дороге к нему директора института, вдруг решил: именно ему расскажу о происшествии. Этот человек, с самого начала хорошо ко мне отнесшийся, нашел и в дальнейшем не один случай выразить сочувствие моей судьбе, схожей с тем, что испытали многие его друзья, среди которых были жертвы Багирова. Мне приходилось разговаривать с ним с глазу на глаз, очень откровенно, и я вполне уверился в его доброжелательности.

Он сразу провел меня в свой кабинет и оттуда переговорил с начкадрами. Тот подтвердил — повестка из КГБ, явиться имярек в 24.00 в бюро пропусков управления госбезопасности. Тогда директор заглянул в записную книжку, позвонил куда-то и долго потом разговаривал. Раза два назвал мою фамилию. Потом положил трубку.

— Вам придется сходить — это запрос из Москвы, очевидно, проверка, потому что ни о каких мерах в отношении вас речи нет. Анкету заполните и вернетесь. Да нет, не сомневайтесь — вы знаете, что, если бы вам что грозило, я бы, поверьте, предупредил. Не нервничайте... До завтра!

Все и на самом деле ограничилось длинным опросником, параграфы которого старательно и медленно заполнял плотный рыжий следователь с воспаленными глазами навыкате. Это была все та же знакомая канитель с генеалогическими экскурсами, графами о службе в охранке и в белой армии, перечислением родственников за рубежом до третьего колена, судимостей — с тем чтобы совокупность всех данных позволила обнаружить в биографии любого лица изъяны, какими бы можно подкрепить обвинение. Так на допросе следователь вам бросает: «Ваш дядя был товарищем прокурора — значит, присуждал революционеров на каторгу, значит, научил вас с детства ненавидеть революцию, и таким образом вы...» и т. д. Или: «Ваша тетка выехала из оккупированной зоны на Запад... У вас была с ней переписка, значит, вы...» и т. д. Воспаленное полицейское воображение творца этих анкет возносится к идеальному варианту, когда бы одних расставленных в них ловушек было достаточно, чтобы дать человеку срок!

Грустно и теперь, через много лет, признать, что мы, опрашиваемые, чувствовали себя и в самом деле виновными

в том, что был дядя прокурор и тетка, уехавшая на Запад, считали себя в ответе...

В четвертом часу ночи я вернулся домой и разложил по местам зубную щетку с мылом, полотенце, белье и кулек с провизией — все, чем запасся, отправляясь на ночное собеседование.

Нависшее надо мной грозовое облачко рассеялось, таким образом, бесследно, явилось как бы лишь с тем, чтобы напомнить: ведомство обо мне не забыло, и я состою у него на учете... Помни о смерти! Но то был очень слабый тревожный звонок, и я не стал о нем задумываться... С легким заплечным мешком и посохом отправился я побродяжничать в горы, потом жил в заоблачном ауле, умывался родниковой водой, спал на пуховиках и сидел на покрытых коврами тахтах, ел печеные на углях лепешки, совершал длинные одиночные прогулки. Снежные далекие вершины, грозные ущелья, у подножия отвесных скал — пенистые, прядающие по камням потоки и еле приметные следы троп, пробитых столетия назад. Я осматриваю древние, венчающие скалы крепости с обвалившимися стенами из валунов, уцелевшими глубокими цистернами и проемами, перекрытыми многотонными плитами. Никто в округе не знал, когда и кем были воздвигнуты эти стороживщие перевалы каменные твердыни и когда ушла отсюда жизнь. К какому веку, какой народности принадлежат эти циклопические постройки — этого я не узнал и позднее, в Москве.

Часами осматривал я остатки вымощенных плитняком дворов и ступеней, дивился уцелевшим в кладке деревянным связям, крепившим стены, угадывал в нагромождениях камней разрушенное жилье. И казалось, так бесконечно удалены от нас жившие здесь не одну тысячу лет назад люди, и было невозможно представить, что они думали, чувствовали, любили и гневались, как мы... Что будут знать о нас потомки через тысячелетия? Если вообще сохранится жизнь на земле...

В октябре 1945 года я возвратился в аудитории института если и не как в родной дом, то и без следа прошлогодней растерянности. Я знал в лицо и по именам всех своих студентов, со многими установились хорошие отношения, появились любимые группы и фавориты обоих полов.

Койку у уборщицы я покинул ради крохотной сторожки в одну комнату с прихожей в обширном саду армянского семейства, состоявшего из двух немолодых одиноких сестер и брата, всем скопом опекавших семнадцатилетнего племян-

ника-сироту. Были это люди интеллигентные, не очень-то умевшие приспособиться к тогдашним трудным обстоятельствам, а потому и жили они стесненно и необеспеченно. Подкармливание и даже закармливание юного краснощекого шалопая, будто бы расположенного к туберкулезу и катавшегося как сыр в масле при такой опеке, составляло основную круговую заботу.

Особенно хорошие отношения сложились у меня с одной армяно-русской группой старшекурсников, на диво не только мне, но и всему институту охотно и прилежно ходившей на мои лекции французского языка. Я даже с увлечением к ним готовился, с чем-то похожим на вдохновение рассказывал о языке, крепко сидевшем — несмотря ни на что — из-за воспоминаний детства в моем сердце.

Октябрь в Кировабаде — сезон роз, и в первый день занятий студентки этой группы разносили целые вороха их своим преподавателям. Одна из моих хозяек, помогая ставить цветы в кувшины и ведра, занявшие почти половину моей каморки, пожимала плечами:

— Розы! Нашли что приносить... Да две трети ваших студентов дети состоятельных родителей и могли бы лучше поддержать своего учителя. Вы бы поинтересовались, как устраиваются другие преподаватели... А вы что... сидите на карточке, хлеб вперед забираете!

Не одна она — увы! — советовала мне поступать «как все»: не отказываться от подношений, какие в обычае принимать от учеников и студентов. Один из моих коллег, молодой и популярный в институте преподаватель русского языка, терпеливо и настойчиво объяснял мне, что мои студенты — почти поголовно дети колхозников, которым ничего не стоит преподнести дорогому муэллиму кулек муки, комок масла, овечьего сала или банку меда.

— Как откуда возьмут? Или вы думаете, что они на пайке, как у вас там, в России? Э, дорогой мой, наши давно приспособились. Как именно? У каждого уважающего себя председателя заначка: столько-то пашни, лугов, скота — бывает, около половины — не числится ни в каких планах, отчетах, ведомостях. Это свой персональный фонд, предназначенный руководству, родне, нужным людям. Государству сдают, что полагается,— план выполняется. И сами не в обиде: как говорится, кесарю — кесарево. Ну а остальное, сами понимаете,— жить как-то надо. Если на рынок пуд муки или головку сыра не свезешь — без керосина останешься, соли не будет, рубаху не из чего будет сшить... Заставляет жизнь,

так-то вот! Поверьте, и студенту приятно поделиться излишками с уважаемым преподавателем, выразить благодарность... При чем тут взятка? Глупое слово! Что я ему, пятерку поставлю, если он не в зуб? Да кол влеплю как миленькому! Это подарок, знак признательности.

А я вот знал, что этот милый и сладкоречивый жрец науки выводит удовлетворительные отметки совершенным неучам и лодырям. Но, разумеется, не за банки мацони или кульки лобио, а за отрезы на костюм и пачки денег...

Пришлось мне несколько раз изгонять являвшихся ко мне домой со скромными свертками студентов — иностранные языки были дисциплиной второстепенной, отметки по ним всерьез не принимались, а потому и подношения были пустяшными,— причем изгонял столь горячо и даже шумно, что попытки меня одарить не возобновлялись. Так что хозяйка моя была права — я и в самом деле мог завести буфет с запасцами всякой снеди. Но как вот, принимая зачет у студента-дарителя, смотреть ему в глаза? И я жил, никак не умея связать концы.

Бесконечно долго тянулись пустые и томительные, голодные воскресные дни. Хлеб, как правило, забран вперед, иногда на десяток дней — уломать продавца на большее невозможно. Столовая закрыта. Не было и загородной поездки к научникам, где меня привечали химик Галина Федоровна и ее мать, из потомственных оренбургских казаков,— гостеприимные, сердечные и простые.

Галина Федоровна была немного старше меня. Ее в шестнадцать лет выдали замуж за диковатого есаула, от которого она сбежала через неделю, после чего жила в одиночестве. Отец ее, богатый офицер, увел своих казаков за рубеж; разоренная мать осталась с единственной дочерью. Она обожала свою Галочку, да и чувствовала, вероятно, вину перед ней, так что жили они спаянно и согласно. Когда дочь горячо взялась за мой быт — то платки подрубит, то скроит и сошьет сорочку или свяжет носки, она была выдающейся рукодельницей,— старая казачка всячески поощряла ее. И всегда настаивала, чтобы Галина приводила меня к ним после занятий, угощала за обедом особыми оренбургскими лепешками, темным сахаром и патокой, вываренными из свеклы по рецептам дочери-химика.

Все это давно поглотили годы. Потому не будет нескромно здесь упомянуть, что я, как ни мало присматривался тогда к людям из-за поглощенности своими заботами, скоро заметил, что Галина Федоровна относится ко мне особенно

внимательно и пристрастно, но видел в этом женское сочувствие к одинокому, выбитому из седла человеку. Лишь несколько лет спустя, встретившись с Галей в Ялте, я убедился, что был предметом привязанности более серьезной. Но у меня еще будет случай вспомнить эту достойную, добрую женщину. Надо мне признаться и в том, что, быв смолоду избалован женским вниманием, сделался несколько легкомысленным по этой части.

Так вот, по воскресеньям ничего этого не было — обедом в субботу заканчивались мои трапезы до понедельника. Я проводил время, лежа на своем жестком ложе с закрытыми глазами, лениво перебирая в уме, что следовало бы предпринять, чтобы добыть что-нибудь съестное, но не шевеля для этого и пальцем. Овладевала мною в те часы великая необоримая апатия. Беда моя была еще и в том, что после лагерной голодовки я утратил способность наедаться при случае впрок, про запас, и чувствовал поэтому постоянную слабость, словно какая-то пружина во мне сломалась. А потом я стал хрипнуть.

Врач, к которому я обратился, поморщился: все вы, лекторы и актеры, на один лад — горло, горло! Читать надо поменьше лекций, да вполголоса, не напрягая связок, утром полоскать горло...

Иначе на все взглянул мой приятель-гинеколог, уже давно внимательно ко мне приглядывавшийся. Он потребовал, чтобы я разделся, прослушал мои легкие. После чего повел, ничего не объясняя, к своему другу — старому врачу ларингологу. Тот долго меня мучил, заставляя тянуть звук «и» с высунутым языком, обследовал своим зеркальцем недосягаемые глубины гортани. Эскулапы потолковали между собой по-армянски, а на обратном пути мой милый Степан Акопович объявил мне, что у меня двусторонний диссеминированный процесс в легких и задета гортань, так что надо срочно ехать в Москву к профессору Вознесенскому — единственному специалисту, умеющему лечить горловую чахотку.

Я поверил лишь отчасти — горло-то не болело. Да и помнил, как ошибся лагерный лекарь, определив у меня туберкулез. Не прав ли тот врач из поликлиники? Великовата нагрузка — бывает, по шесть и даже восемь часов в день. Но в Москву все-таки написал — просил похлопотать о разрешении поселиться за пределами стокилометровой зоны от столицы, запретной для бывших заключенных.

Ответ — благоприятный — я получил лишь летом следующего, сорок шестого года. За это время мне сделалось хуже, хрипота усилилась, и я с трудом дотянул до конца учебного года. Попривыкшие ко мне студенты как бы сговорились сидеть на моих лекциях тихо, почти не переспрашивали, хотя чаще всего меня было плохо слышно. Директор, заведующий учебной частью, не говоря о Кленевской, словно не замечали моей хрипоты и даже относились ко мне подчеркнуто бережно и внимательно.

В эту первую послевоенную зиму жилось еще очень трудно, нуждались в самом необходимом, но появившиеся у меня друзья оградили от лишений. Валькирия, доктор, Галина Федоровна, несколько коллег и студентов, с родителями которых я довольно близко сошелся, снабжали меня наперебой. И если бы хороший стол с мясом, маслом, медом, фруктами мог вылечить, я бы, несомненно, поправился. Тогда-то я окончательно избавился от отеков, окреп, даже сгладилась непристойная худоба, но голос не возвращался; порой овладевало безнадежное настроение, и, думая о скором конце, я не делал никаких планов на будущее. Горевал, что вот — не удалось оставить после себя, как мечталось, мемуаров, которые послужили бы людям предостережением. Я, признаюсь, был высокого мнения о поучительности моего опыта, не оставлявшего иллюзий...

Но внимательной Валькирии или ведуну доктору удавалось нет-нет отвлечь меня от загробных предчувствий. Я начинал верить в искусство великого мага Вознесенского, в уготованные для меня впереди успехи и радости и тогда бомбардировал госбезопасность заявлениями, требованиями, просьбами: пустите в Россию!

Несмотря на серьезный и даже грозный диагноз и солидный возраст — уже сорок шесть лет! — именно тогда случалось мне надеяться на удачи и счастье, на высокий час необычайных встреч и переживаний... То не было еще огоньком возродившейся веры, от которой я когда-то, в архангельской одиночке, отступился в одну ночь,— я по-прежнему не обращался к Богу и не вспоминал полузабытых молитв,— но было, вероятно, преддверием еще далекого, но ожидавшего меня просветления.

Здесь мне придется прервать хронологическую последовательность рассказа, чтобы вернуться назад, к прожитым годам.

...В своих воспоминаниях я не упоминал некоторых обстоятельств моей личной жизни, связанных с людьми, о которых мне не хотелось говорить. Эти люди, некогда мне близкие, сделались впоследствии настолько чужими, что как бы для меня умерли. И, предчувствуя, что я не могу рассказть о них достаточно беспристрастно, а накопившаяся в памяти горечь не позволит быть справедливым, я почел за лучшее руководствоваться латинской поговоркой «de mortem aut bene aut nihie»[1]. Рассудил я так еще потому, что все, с этими подробностями и людьми связанное, выглядит несущественным в свете моего намерения правдиво рассказать о моем времени и, насколько возможно, объективно его оценить. Личная моя судьба, как я полагаю, неспособна привлечь внимание сама по себе, а лишь как отражение общих судеб моего народа и России. Поэтому и не имеет значения — упущу ли я или нет рассказать о некоторых своих домашних обстоятельствах.

Однако, приближаясь к концу рассказа о моих лагерных годах, я стал в растущей степени ощущать, что вовсе умолчать о женщине, с которой был прежде связан, сберегшей в течение двадцати семи лет очаг, к которому я имел возможность вернуться, помогавшей мне и вырастившей двоих детей, было бы не только несправедливо, но и навело бы тень на понятие о долге у русских женщин.

Итак, мне приходится уточнить, что неопределенные выражения «мои родственники» или «близкие», неоднократно встречаемые на страницах этих воспоминаний, означало на самом деле мою собственную семью.

Еще в 1924 году, желторотым и влюбчивым молодым человеком, я женился в Москве на дочери упоминавшегося мною Всеволода Саввича Мамонтова, девице Софье. Было у нас двое детей: дочь Мария, родившаяся через год после свадьбы, и сын Всеволод, увидевший свет в Архангельске, куда была сослана после лагеря его мать.

Таким образом, моя оборванная арестом в 1928 году семейная жизнь длилась всего четыре года! Впоследствии съезжались мы с женой от случая к случаю, чаще всего ненадолго. Причем вмешательства госбезопасности неожиданно и грубо зорили наши зыбкие очаги, какие удавалось соорудить. Неволи пришлось отведать и Софье Всеволодовне, почти полностью отбывшей пятилетний срок в Мариинских лагерях и короткую ссылку в Архангельске.

---

[1] О мертвых хорошо или ничего *(лат.)*.

Внучка русского мецената и железнодорожного деятеля Саввы Мамонтова, правнучка декабриста Трубецкого и известного славянофила Д. Н. Свербеева, всеми корнями принадлежащая Москве, она была в высшей степени предана понятию о долге, внушаемому рассудком. Став, волею судьбы, женой каторжника, Софья Всеволодовна и приняла на себя все тяготы, обязанности и ореол этого состояния. Растила детей, помогала мне сколько было возможно, предпринимала хлопоты, а когда удавалось — пускалась в дальнюю дорогу, чтобы со мной повидаться. Не оставляла без писем. И прочно завоеванная, заслуженная репутация супруги, не отвернувшейся от впавшего в ничтожество мужа, сделалась как бы опорой в ее жизни и руководила ее поступками.

Властная и умная, она умела себя поставить, и ею, преемницей русских женщин Некрасова, восхищались многочисленные родственники и друзья. Быть женой «декабриста», человека, пострадавшего за справедливые цели или без вины,— это не только социальное положение, но и роль в обществе. Они вознаграждали за то, что неизбежно уносили годы разлуки: привычку к взаимному общению, живое чувство, потребность в близости. Необходимость распоряжаться собой, детьми, в полной мере нести одной бремя и ответственность «главы семьи» делали бесповоротно самостоятельным ее характер, и от природы твердый.

Доставшиеся на долю передряги, лагерный искус — все, что надо было вынести и перетерпеть, Софья Всеволодовна перенесла и вытерпела с честью, как полагалось женщине ее круга и традиций. То был долголетний подвиг. Подвиг, настолько приучивший к сочувствию и хвале и заполнивший жизнь настолько, что им удовлетворялись ум и сердце. Коротенькие годы с любовью и нежностью сделались далеким, остывшим воспоминанием; прежний близкий и необходимый человек — символом.

И чем меньше становилась надобность в его реальном присутствии, тем педантичнее и скрупулезнее выполнялось то, что требовало Положение, пьедестал Пенелопы: изыскивались средства, чтобы собрать посылку или перевести деньги, поддерживалось знамя разъединенной, но не разбитой семьи. Детей учили помнить отца — и никогда о нем не говорить (из осторожности!).

Это отступление следует заключить справкой, освещающей хронологию наших встреч с Софьей Всеволодовной со времени ареста по 1946 год, то есть за восемнадцать лет.

В конце лета 1928 года она вместе с Линой Осоргиной, женой Георгия, приезжала на Соловки для недельного свидания. Пока я был в Ясной Поляне, не раз меня навещала, иногда живала подолгу, но не порывала с Москвой и друзьями. Гащивала она и у своего отца на Тульской госконюшне, в прежнем имении Бутовича на реке Упе, в полутора десятках километров от Ясной Поляны.

Затем мы встретились в Архангельске, в 1935 году, после Мариинских лагерей. Дочь жила с бабушкой в Москве, с нами был новорожденный сын. После моего ареста Софье Всеволодовне удалось вернуться в Москву.

И потом была еще короткая — двухдневная — встреча при проезде моем в Кировабад. Повзрослевшая дочь глядела с ужасом на «живые мощи», обряженные в жалкие обноски, плакала и дичилась. Софья Всеволодовна, еще в лагерях начавшая работать в больнице, а потом закончившая фельдшерские курсы, была в то время линейным работником в г. Малоярославце, получила там, при станции, квартиру и оттуда приезжала для свидания. Естественно, что медика не мог расстроить вид отчаянного дистрофика — она их перевидала бессчетно в сибирском лагере!

Вот летом 1946 года мне предстояло как раз возвращаться к ней в Малоярославец. Дочь работала радисткой в Арктике, на Диксоне; там вышла замуж за начальника острова, инженера связи Валентина Игнатченко. Странно мне было, что дочь стала женой коммуниста.

Покидая Кировабад, я почувствовал, что, прожив в нем около двух лет, так и остался ему чужим — пусть и сложились у меня единичные дружественные отношения, встретил я там человеческое сочувствие и помощь. Это был все-таки «не мой народ». Язык, нравы и психология стеной отгораживали его от меня. Я не умел разгадывать людей, суть их оставалась для меня нераскрытой. Да и не было той общности переживаний и интересов, что некогда так быстро сдружили меня с мусаватистами. И естественно, что, едва я уехал, быстро и безболезненно отмерли всякие связи. Много лет спустя обо мне вспомнили два моих студента, приехали в Москву. Но я так и не собрался навестить их в свою очередь в Бак и знакомство иссякло само собой.

Помог я, покидая юг, одной своей студентке, русской, казавшейся мне талантливой, переехать в Москву. Устроил ее жить у вдовы Всеволода, с которой она отлично сдружилась. Но отношения между нами прервались почти сразу — думаю, что моей знакомой не слишком нравилось видеть

меня в роли семьянина. И вскоре я узнал, что приятельница моя вышла замуж за... чекиста! Вот насколько плохо разбирался я, живя в Кировабаде, в людях — там не помогал ни выработанный в лагере нюх, ни галерея знакомых следователей.

В Малоярославце, где было больше высланного народа, чем местных жителей, мое появление не могло привлечь к себе внимания, но с первых же шагов я ощутил — тут каждый следит за каждым. И при случае, натурально, доносит. Здесь опыт меня не обманывал, как среди азербайджанцев, и я с некоторым страхом — как же далеко зашло! — убеждался, что соседка, зубной врач, подслушивает у нашей двери, что зашедший сослуживец жены бегает глазами по лежащим на столе бумагам, что за очередной пулькой все играют молча, а заговорившему красноречиво указывают глазами на дверь и окно. Не потому, что предполагалась возможность рискованных высказываний, а из опасения, как бы кто не завел речь о дороговизне картофеля, пустых прилавках... О жизни всемером в одной комнатенке.

На привычные сплетни маленьких городов накладывались улавливание неосторожных слов, наушничание, питаемые завистью к лишней комнате соседа доносы. Жить тут было душновато.

Впрочем, я, сколько мог, бывал в Москве, куда влекли завязывавшиеся первые робкие связи с редакторами, достаточно смелыми, чтобы снабжать работой, не вдаваясь в обстоятельства моей биографии. Не помню, кому я был обязан первыми контактами в «ИЛе» — издательстве иностранной литературы, где мне стали поручать переводы. На первых порах помогли знакомства моей сестры Натальи Голицыной, сведшей меня с внуком настоящего Толстого Сергеем Сергеевичем, публиковавшим свои учебники английского языка в этом издательстве, и с вдовой советского Толстого Людмилой Ильинишной, принадлежащей столичному бомонду и соизволившей отнестись ко мне благосклонно. У нее, само собой, были на кончике телефонного провода самые влиятельные товарищи. Она входила в чекистско-литературный салон снохи Горького и могла позвонить кому-либо из непосредственного окружения Берии, кремлевскому церемониймейстеру слинявшему графу Игнатьеву, расшаркивающимся перед ней заправилам Союза писателей.

Эта львица поставила меня в несколько двусмысленные рамки: встреч со мной отнюдь не избегала и принимала с очаровывающей приветливостью, однако — не вводя

в кружок своих друзей и знакомцев. Мне назначались — с лестной для меня готовностью — часы и дни, в какие я оказывался единственным гостем. Такт и воспитанность Людмилы Ильинишны искусно вуалировали этот маневр, обусловленный необходимостью не афишировать визиты столь чуждого элите гостя. Из длинных «тэт-а-тэтов» за музейно сервированным столом (покойный сталинский лауреат, как известно, не зевал по части приобретения антиквариата!) был изящнейшим образом раз и навсегда изгнан малейший намек на вольные суждения: нас интересовали только вопросы искусства и апробированные оценки.

Я понимал, по каким острым граням ходишь, видаясь с этой женщиной, как она может быть опасна и даже страшна... И все же восхищался ее светкостью и чисто женским очарованием, задушевностью тона, в искренности которого было почти невозможно усомниться, ее умением вести разговор так, чтобы не дать ему ни на секунду выплеснуться за пределы безопасного русла. Меня изумляло, с какой естественностью, точно о предмете давно и незыблемо установленном, о котором не может быть двух мнений, Людмила Ильинишна говорила о необходимости всем пишущим перенимать стиль Иосифа Виссарионовича, «четкий и лапидарный, как у античных мастеров». И тезис свой выдвигала так, что гасло намерение возразить, и я допускал, чтобы мое молчание истолковывалось, как признание его справедливости. Лишь потом, на улице, когда улетучивалось действие опасных чар обворожительной хозяйки, я ужасался прочности брони лицемерия, в какую раз и навсегда облачались те, кто составлял хор и свиту диктатора, усердную клаку, рукоплескавшую и кадившую своему идолу. Тряслись от страха и тянулись за милостями, в погоне за ними топили друг друга. Надетая личина преданного слуги и восторженного почитателя прирастала столь плотно, что становилась сущностью. Снять ее не приходило в голову и с глазу на глаз с человеком, общение с которым скрывалось от своего, привычного круга. Войдя в него в качестве супруги купленного с потрохами, задаренного, приближенного к трону даровитого писателя, Людмила Ильинишна не помышляла сбросить маску и став вдовой. И — женщина образованная и со вкусом — привычно искренне восхваляла беспомощный и корявый стиль недоучившегося семинариста! И это — перед изгоем, прошлое которого ей было известно... Хотя, само собой разумеется, и упоминания о нем не проскальзывало в наших разговорах. И я — слаб человек! — не

выдерживал зароков, которые давал себе, больше не показываться в обставленных старинной ценной мебелью аппартаментах советской графини, хотя и оценивал трезво, насколько тут не «мои» и не для меня сани.

В скором времени для этих визитов объявился неоспоримый повод. После того как я перевел «Слепого музыканта» Короленко, детские сказки Михалкова, еще что-то, издательство «ИЛ» уверовало в мои возможности и предложило взяться за «Петра Первого». С кем было обсуждать блестящую компиляцию Алексея Николаевича, как не с подругой его последних лет? И хотя из затеи ничего не вышло — издательство сочло выгоднее поручить работу переводчикам в Париже, и несколько переведенных мною и одобренных глав хранят в издательских архивах память о моих несбывшихся надеждах на фантастический заработок и славу,— мы продолжали видеться с Людмилой Ильинишной, по-прежнему любезно и охотно бравшейся похлопотать о моих делах, хотя надобность в этом почти миновала.

Работа находилась все больше уже автоматически: успешный старт предопределил дальнейшее благополучное течение событий. У меня в «ИЛе» появился влиятельный покровитель, возглавлявший ведущий отдел издательства,— образованнейший эрудит и благожелательный человек Иосиф Ханаанович Дворецкий. Он не только следил за тем, чтобы я не оставался без заказов, но и очень успешно устранял препятствия, возникавшие из-за призрачности моего промежуточного состояния гражданина, не способного предъявить у кассы тот самый «серпастый и молоткастый» паспорт, без которого грош цена советскому человеку. Временное мое, бессчетное количество раз продлеваемое удостоверение освобожденного из заключения настораживало и самого беспечного кадровика и частенько отвергалось бухгалтерами. Как это человек без московской прописки очутился в стенах столичного издательства и предъявляет какую-то ветхую бумажку с подозрительными штампами? Иосиф Ханаанович кому-то что-то объяснял, брал на себя не то находил для формальностей подставных лиц. Это был мудрый и умудренный жизнью человек — хотя, как и все вокруг державшийся ни в чем не сомневающимся и ни над чем не задумывающимся придатком власти и порядков. Он сохранил свое лицо, достоинство и известную самостоятельность суждений.

Бывал я у него дома, в небольшой, заполненной книгами квартире. Они словно вдохновляли своего хозяина: он сбрасывал оболочку исполнительного советского чиновника,

оживлялось его крупное лицо с высоким лбом под красивой седой львиной гривой; загорались темные восточные глаза. И речи его лились свободно, и не боялся он выражать свои гнев и боль по поводу взнузданных муз и растоптанной мысли. Это был в Москве тех послевоенных лет единственный, пожалуй, человек, встреченный мною, который, умея думать и судить, был готов в подходящей обстановке высказать свое мнение, внушенное просвещенным сознанием и совестью. Впрочем, я уже упоминал о том, насколько поражали меня по выходе из заключения знакомые моего круга, ставшие попугаями, затверживающими передовицы «Правды», всеобщая немота и придавленность.

Разумеется, всякая отлучка из Малоярославца была в какой-то степени событием и даже приключением. Хотя бы потому, что высланным запрещалось бывать в столице и всегда был риск очутиться в лапах МГБ. Изредка в вагонах поездов и всегда — у выхода в город выборочно проверяли документы. Наружность моя и платье, по счастью, не вызывали подозрений, и за неполных два года, что я прожил в Малоярославце и Калуге, постоянно наезжая в Москву, ко мне ни разу не подошли с леденящим сердце: «Ваши документы!» Исход бывал разным — все зависело от случайных обстоятельств. Иной раз тут же отправляли восвояси, не дав покинуть вокзал, не то задерживали «до выяснения» — и тут могло последовать что угодно. Новая тюрьма, дальняя ссылка, лагерный срок... При благоприятном отзыве местного отделения МГБ — «Ни в чем предосудительном не замечен, отмечается исправно»,— да и в силу всегда непредсказуемых путей этого ведомства, можно было, истомившись и похудев от беспокойства, вернуться к себе.

Я скоро попривык к тому, что обшаривающие толпу глаза сыщиков на мне не останавливаются и никакие проверки не задевают, и уже без прежних усилий держался независимо, так что за версту учуивалась моя благонадежность. Настолько, что я отваживался на вовсе отчаянные предприятия. Так, какой-то журнал (не то «Огонек», не то «Охотник») предложил мне, успевшему под псевдонимом опубликовать несколько заметок, съездить в Саратов к некоему отставному полковнику, стреляющему волков с самолета. Как решился я без всяких разрешений и документов сделаться «столичным корреспондентом», ехать ничтоже сумняшеся с моим полковником на аэродром, где возле его «кукурузника» стояли засекреченные и строго охраняемые первые реактивные самолеты (как же я струхнул, когда мой спутник

на них указал, небрежно назвав «свистульками»: мне они померещились в зловещем свете статьи УК о военном шпионаже, и я даже отвернулся, чтобы впоследствии твердо заявить, что их не видел!),— до сих пор не знаю. Но все обошлось без задоринки, я благополучно возвратился, а охотничья литература обогатилась несколькими беглыми описаниями охоты с воздуха, поселившей, кстати, во мне навсегда к ней отвращение: такая стрельба не для охотника!

Жил я деятельно и даже напряженно. Втягиваясь в ремесло переводчика и делая первые неуверенные попытки печататься, я стал лелеять куда более широкие и дерзновенные планы: посредством пера донести свой опыт, мысли и чаяния до читателя — осторожно, намеками, эзоповым языком,— чтобы хоть чуть-чуть, на микрон, разбудить чье-то сознание, приоткрыть глаза. И хотя тогда и помыслить было нельзя переслать что-либо за рубеж или напечатать у себя, я набрасывал планы сочинений, пытался на исторической канве построить фабулу, которая бы перекликалась с тем, что переживала Россия. Писал горячо и воодушевленно, потом уничтожал, задним числом холодея от предчувствия провала. Увы! Невозможно жить изо дня в день — годами — под ярмом постоянного страха, ожидания доноса и ареста, стремления быть незаметным, ничем не привлекать внимания, не поддавшись повальной апатии общества. За колючей проволокой, где не было искушения проявить себя и жизнь сводилась к заботе выжить,— отсутствовало и острое сознание кляпа во рту, скованности, как не было надобности подчеркивать свою преданность власти. Во всяком случае, там можно было оставаться больше самим собой, нежели здесь, вне зон с вышками и без конвоиров с овчарками.

Ныне — спустя несколько десятков лет — трудно очертить свою жизнь в то беспросветное время, с ее неизбывными заботами и однообразием, не нарушаемым событиями или переменами течений. Ни гроз — неизреченная милость Божия! — ни ярких солнечных дней, слов, высекающих в сердцах искру, окрыляющих сознание... Так бурлаки должны были, оглядываясь на свою жизнь, испытывать ощущение неизбывной тяжести, вспоминать натершую плечо лямку и длинные унылые версты бечевников...

Жилось в те годы трудно, зарабатываемых обесцененных денег никогда не хватало, одеты были несомненно pauvrement* (бедно), но далеко не всегда достаточно prorpement*

---

* У французских романистов прошлого века — признак достойно переносимой бедности.

(чисто), потому что мыло, как и все прочее, распределялось по карточкам, а нормы выдачи подсказывал, по-видимому, властям предержащим тот цыган из поговорки, что приучил коня кормиться у пустых яслей. Именно тогда власть долепливала образ «правильного» советского человека, слепо перед ней холопствующего, распевающего на голодное брюхо хвалы ее попечениям и мудрости, уверенного в своем превосходстве перед разными прочими «несоветскими» народами и про себя им завидующего. Огромная нация со славным прошлым препоручила кучке властителей за нее думать, судить, определять ее пути и вкусы. Позволила исконное свое доброжелательное и терпимое отношение к иноплеменным обратить в агрессивный национализм, во враждебность ко всему «несоветскому». Целый народ, обращенный в тощую заезженную клячу, повторял то, что велят и подскажут...

...Дорога в Москву отнимала изрядно времени, приходилось проводить в поездке несколько часов, и я брал с собой книгу. Однако с выбором, подсказанным наличием соседей: чтение на иностранных языках исключалось, оно могло всегда привлечь подозрительное внимание — не связь ли тут с заграницей? Так-то мы были настеганы и вышколены: путешествуя, углублялись в добронравную советскую книгу (тогда настольной книгой, стяжавшей и в то подхалимное время репутацию рекордной по каждению вождю и картинам изобилия, был «Кавалер Золотой Звезды» Бабаевского) или притворялись дремлющими, чтобы не быть втянутыми в беседу. Случалось — и не раз,— что кого-нибудь прорывало. Слушает себе человек, слушает, как расписывает сытый и справно одетый пассажир чудесную житуху колхозников с клубами и баянистами, да и взорвется: ляпнет с искаженным болью лицом про пятьдесят граммов охвостья на трудодень, про забытые сахар и ситец, да еще вытащит из кошеля завернутую в тряпицу, замешенную на несеяной овсяной муке черную клеклую лепешку из картофеля пополам с бураком и лебедой. Или инвалид, захлебываясь от негодования и бессилия, заматерится на весь вагон, набросившись на тыловика, беззастенчиво расхваливающего заботы о солдате. Как сейчас вижу куртку в заплатах и дрянную обувь похожего на арестанта колхозника, его испитое лицо и бешеные глаза, пустой рукав. А вокруг — паника: как ветром сдуло соседей, уткнулись в пол испуганные взгляды. Иные косятся, осматриваются: откуда возникнет страж порядка, пред-

ставитель недреманного ока? И чаще всего возникает неприметный гражданин в штатском. Он подходит к безумцу и предлагает ему за собой следовать, да еще непременно прихватит свидетелей...

Должно быть, надвинувшиеся потемки вовсе задавили бы жизнь, не находись все же мужественные, светлые люди, искавшие случая помочь и выручить, пренебрегавшие опасностью. Делали они это, не выставляясь и не ища не только вознаграждения, но и благодарности. Обстоятельства сложились так, что я никогда не видел принявшего горячее участие в моей судьбе московского врача Лазаревича, лишь знавшего обо мне со слов сестры, детей которой он лечил. Теперь и не представишь себе, на какой риск надо было идти, сколько проявить настойчивости, чтобы устроить в привилегированную больницу — туберкулезный институт — бесправного высланного, лагерного ветерана, контрабандно наезжающего в Москву.

Не пришлось мне видеть и сопроводительную бумагу — ту липу, что была предъявлена начальству клиники. Но в некий день меня туда положили и потом три месяца лечили — наравне с полковниками госбезопасности, партийными сановниками, самим Отто Юльевичем Шмидтом! И пользовавший кремлевскую знать профессор Вознесенский стал самым добросовестным образом врачевать мое недужное горлышко, прописывать те же недоступные для простых смертных заморские лекарства, что и важным своим пациентам. Я иногда прогуливался по аллеям парка со знаменитым полярником, не раз пожимавшим руку вождю и особенно прославившимся потоплением своего корабля. С ним я еще находил, о чем говорить — хотя бы об улицах Архангельска или красавице Северной Двине, но — боже мой! — как было общаться с пятком гепеушников едва не в генеральских чинах, чьи койки стояли в обширной палате, где помещался и я! Помогала хрипота: профессор запретил разговаривать. Но их беседы слышал поневоле. Не запоминал и не записывал, но могу свидетельствовать: эти люди, если не обсуждали свое лечение, подробности ощущений, аппетит, физические отправления, толковали только о продвижении по службе, чинах, вакансиях, завистливо разбирали карьеру счастливчиков, у которых «рука», и еще — кому что удалось вывезти из Восточной Пруссии в то незабываемое единственное время (да здравствует Сталин!), когда орудия еще гремели под Берлином, а на завоеванную неприятельскую землю хлынули тыловики в военной форме и стали вагонами

и эшелонами отправлять домой «трофеи»! И — само собой — не иссякали самые грубые казарменные анекдоты, весь смак которых в сальности выражений.

Занятые сверх меры собой, эти цветущие здоровяки — они проверялись «профилактически», поскольку состоящим в номенклатуре чинам вообще, а их ведомству особенно, доступно по нескольку месяцев в году кантоваться по клиникам и санаториям,— на меня смотрели свысока: какой-то издательский писака. Я же научен был не распространяться о своих заслугах и говорил неопределенно глухо: «Переводчик, литработник». Халат больного избавлял от необходимости предъявлять паспорт!

...Со старой, почти сорокалетней давности, фотографии на меня глядит средних лет сухощавый, одетый в летнюю курточку человек в парусиновых туфлях, достаточно независимо расположившийся с книгой на скамейке среди едва распустившихся кустов и деревьев. В верхнем углу надпись «Ялта. 1948». Это — я, хлопотами врачей отправленный на юг. Приморская благодатная ранняя теплынь должна доделать то, что не поддалось лечению в клинике на Яузе: голос все не восстанавливался. Но, как бы ни шло выздоровление, мягкий ветерок с моря, запахи распускающихся деревьев, тишина и безлюдие пустынного живописного южного города, обволакивающее мягкое ощущение расслабленности после многих напряженных лет — все это поселило в душе мир, словно с Севером оставлены были позади вечные заботы и страхи, дергания и вся зыбкость существования.

Я поселился у сестры доброй моей кировабадской Галины, несомненно наказавшей опекать меня вовсю, и наслаждаюсь уютом комнаты с увитым виноградом балконом, в доме, отгороженном от мира стенкой кипарисов и густым садом: подлинный «приют муз и неги», как выражались в карамзинские времена! Я, правда, стихов не кропаю, но в прозаическом жанре упражняюсь усердно. И не впустую: мне заказана книга для молодежи об охоте, и я воскрешаю в памяти этапы своего посвящения в «невмроды», вспоминаю свои первые волнения на тяге или с легашом. Но писать надо так, чтобы не прозвучало ни одной элегической ноты, не было и тени грусти по каким-то ушедшим дням. С охотничьими радостями должен знакомиться бодрячок-комсомолец, приобретающий в лесу меткость и закалку, потребные будущему «ворошиловскому стрелку». А участие в волчьем окладе — исполнение гражданского долга во имя целости колхозных барашков. Словом, я впоследствии радовался,

что опус этот принадлежал некоему Осугину, был выпущен малым тиражом и заслуженно сгинул в мутной пучине советского массового чтива.

Из далекого Закавказья приехала Галина Федоровна договориться о своем переводе в пригласивший ее на работу Ялтинский институт виноделия. Кажется, мне отводится некое место в ее планах свить уютное гнездо в пленительной Ялте. Во всяком случае, она намерена, устраивая свою половину дома, выделить в ней комфортабельную комнату для приезжих друзей, в том числе склонных к литературным занятиям. Моя заботливая приятельница очень верно учуивала непрочность моих семейных уз и предвидела их распад, но жестоко заблуждалась относительно места, какое могла бы в будущем занять наша дружба.

Провожая Галину Федоровну в обратное путешествие, я, разумеется, не предполагал, что мне не суждено более встречаться с ней и что последовавшие невдолге свидетельства ее памяти и сердечных забот завершат наше знакомство. Роль моя в нем бесславна: я податливо позволил сделать из себя предмет опеки и забот, поддерживая своим поведением иллюзии, без которых был бы их лишен.

Свежий утренний ветер с моря слегка знобил, расстроенная Галина Федоровна кивала мне на прощание с палубы отдавшего швартовы судна. Я с мола еще долго махал ей вслед платком. И возвращаясь в то утро по пустынному приморскому бульвару, с горьким чувством думал, что через два года мне исполнится пятьдесят и что не только ничего не сделано — я живу блеклым пустоцветом,— но и «настоящего», захватывающего, возносящего над собой чувства я так и не испытал и бесплодно перегорают предчувствия и ожидания. Сбыться им пришлось только через пятнадцать лет!

Недовольство и разочарования точили тем более, что наедине с собой я отвергал скидки на обстоятельства, считая, что они не властны над подлинными достоинствами, способностями и характером. Бесплодность — синоним бездарности. А я был про себя честолюбив и мечтал оправдать слова Натальи Михайловны Путиловой, когда-то сказавшей обо мне: «On peut l'aimer ou non, mais c'est quelqu'un», что в несколько вольном переводе означает, что меня можно любить или нет, но я все же не первый встречный!

Потом элегическое мое одиночество нарушил приезд Софьи Всеволодовны с сыном и моим крестником Николкой Голицыным, и жизнь на некоторое время вошла в матри-

мониальную колею, из которой столь часто выбивали меня приключения. Ялта с приближением сезона стала утрачивать прелесть малолюдства, и я не без удовольствия стал мечтать о долгих прогулках по грибы в окрестностях Малоярославца, столь скрашивавших жизнь в этом постылом городке. Однако вскоре после возвращения с юга последовали события, заставившие с ним расстаться.

С переводом главврача поликлиники, чрезвычайно ценившего Софью Всеволодовну и ей покровительствующего, сложные служебные обстоятельства побудили ее переменить работу. Она уехала в Москву, мне же представился случай перекочевать в Калугу. Предполагалось, что в дальней перспективе удастся выхлопотать и мое водворение в столицу. Не наступит ли наконец «мирное» время, когда прекратятся репрессии, введенные, как известно, из-за предвоенных происков врагов и нападения фашистов...

И вот я в закутке у Клавы, бывшей сослуживицы Софьи Всеволодны. Она живет с матерью — состарившейся, прачкой — и без отца воспитывает мальчугана. За окном — текущая в крутых берегах Ока и заречные деревни с уцелевшими колокольнями сельских церквей; старая Калуга с губернаторским дворцом и торговыми рядами, выстроенными Баженовым,— почти неизмененные черты русского провинциального города, видевшего Гоголя. Однако ни панорама эта, ни предупредительность хозяек не искупают неудобств совместной жизни с семьей, потеснившейся ради жильца, и я был счастлив, когда увенчались успехом поиски отдельной комнаты. В домишке, вполне сошедшем бы за деревенский, если бы не украшал он длинную унылую улицу городской окраины и не был внутри обставлен по всем канонам мещанского уклада, мне была отведена горница за хлипкой тесовой перегородкой, оклеенной, однако, обоями и с дверью. Под единственным моим окошком тянулись деревянные мостки тротуара, и редкие прохожие промелькивали так близко от стекол, что загораживали свет на моем столе, вплотную к нему придвинутом.

Как всегда, мне повезло по части женского окружения. Домик принадлежал пожилой пенсионерке, выросшей в помещичьем доме и сохранившей в обхождении повадки прежних опрятных и щепетильных горничных, не стершиеся и за последующие десятилетия работы на фабрике. Подавая чай, она уставляла поднос по-старинному, не забывая ненужных щипчиков для сахара и салфеточку. Дочь ее работала фельдшерицей в больнице и вечно выглядела озабоченной —

я догадывался об осложнениях, вызванных распутыванием старых узлов и завязыванием новых.

И не впервые в памятных мне обстоятельствах последних двух десятилетий наступил уравновешенный период — с потянувшимися друг за другом заполненными работой и незначащими происшествиями днями, одинаково тускло окрашенными в благополучный серенький цвет. С выполненной работой — переводом, рассказиком или комментарием — я отправлялся в Москву, там шел в ставшие «своими» издательства, виделся с нужными людьми, в платежные дни пристраивался в очереди у касс, навещал литературных знакомых, круг которых понемногу рос, затем возвращался в калужскую свою горенку, откуда не было почти поводов отлучаться. С калужанами не завелось никаких связей. Отчасти из-за того, что судьба не сталкивала меня с людьми интеллигентными и симпатичными, отчасти из-за моей необщительности — я попросту избегал знакомств. Всего в один дом хаживал я изредка в гости: к молодой чете, где мне очень понравилась совсем юная жена избалованного, прикованного болезнью ног к креслу одаренного дилетанта: он рисовал, играл на скрипке, штудировал философов. Она несла бремя нелегкого ухода за больным и хозяйства, а всякую свободную минуту склонялась над чертежами и планами для городского архитектора. В городе не было ни одной действующей церкви, и ей приходилось ездить в подгородное село. Именно вера помогала ей оставаться ко всем благожелательной, быть светлой духом и приветливой. Костная болезнь мужа осложнялась наследственностью. Усилий жены не всегда хватало, чтобы удерживать его от отцовского пристрастия к рюмке. Нет, далеко не благополучные лары рассаживались у этого очага, его мрачила тень грустных предчувствий. Оба супруга отлично рисовали, и мне удавалось пристраивать их иллюстрации у знакомых редакторов.

Шла весна пятидесятого года. Не сулящая перемен, исполнения ожиданий. Были, правда, славные воспоминания о недельной отлучке: я ездил под Медынь к старому леснычему, водившему меня на тетеревиный ток, и постоял несколько дивных вечеров на тяге в гремящем птичьими голосами лесу, в виду ярких зеленей за опушками, у говорливых в эту пору ручьев. И что-то от пробуждения природы с его обещаниями и надеждами еще не улеглось во мне, настроение было приподнятым, и я даже с некоторым подъемом работал за своим столом.

Пока проплывшие в окне две тени не заставили вдруг

насторожиться и вскочить со стула. Я стал напряженно прислушиваться. И хотя не успел разглядеть промелькнувших прохожих, безошибочно учуял, что они — про мою душу. И в самом деле — в калитку нетерпеливо застучали.

Я растерянно уставился на листы бумаги на столе, лихорадочно соображая, как их спрятать или уничтожить. Стук возобновился. Не было под рукой ни спичек, чтобы их сжечь, ни времени, чтобы вынести на чердак или огород... Щеколду на воротах ничего не стоило отпереть с улицы — просунь в щель щепку и входи. В глубине комнаты стоял столик с чайной посудой. Я подсунул под скатерть уличающие листки и вышел в сени. Посетители уже отперли калитку и ринулись к крыльцу. Мне тут же был предъявлен ордер на арест, и чекисты приступили к обыску.

Те исписанные странички не были найдены и снова попали ко мне: их, вместе с другими бумагами, хозяйка передала моему племяннику, съездившему спустя некоторое время после моего ареста в Калугу за оставшимися вещами.

Я храню их. Они — о Любе Новосильцовой. Тоскливые мысли о ней, о ее печальном лагерном конце меня преследовали. Эти строки о женском этапе на кемьской пересылке я воспроизвожу здесь, однако в переводе, так как писал я по-французски, тем делая их менее доступными для нескромного глаза. Верхний уголок первой страницы отрезан ножницами: там было посвящение Любе. Понятно, почему я его изъял. Вот этот перевод.

СКОРБНЫЙ ПУТЬ

Над пыльными улицами пригорода простерлось чистое, светлое небо. Косые ласковые лучи солнца облили землю. Все вокруг — в розовых отсветах закатного золота.

Что за диво эти лучи! Все выглядит празднично: даже вытоптанная тощая травка по обочинам дороги, даже вымостившие ее булыжники и бесконечно длинные заборы, увенчанные колючей проволокой,— все в этом свете оживает, окрашиваясь в теплые и нежные тона... Но вот из-за поворота показывается что-то плотное и серое, некая сплошная масса, медленно вползающая на дорогу, освещенную закатом. По мере того как она приближается, начинают выделяться плотные ряды человеческих существ. По мощеной дороге медленно разворачивается длинная лента этапа, похожая на

застывающую от холода змею. Она еле шевелится, как скованная, движется в полном молчании.

И лучи солнца бессильны оживить эту мертвую процессию — придать блеску, зажечь ласковый отсвет в этой серой массе. Вдохнуть жизнь в то, что движется, уже не принадлежа ей...

В этой веренице привидений — бескровные, изборожденные морщинами и складками лица, потускневшие, отражающие все оттенки отчаяния взгляды... Головы обернуты изорванными платками, неподвижны зрачки; бесформенные, заношенные одежды на поникших плечах, согбенные спины и безжизненно повисшие руки... Все эти существа движутся как автоматы, словно их охватила неодолимая усталость, отнявшая у них силы, стершая возраст, пол...

Если опустить взгляд, откроется зрелище, быть может, еще более жалкое: тысячи ног, обутых в гнусную обувь — в рваных башмаках, подвязанных веревками, в бесформенных калошах,— обернутых в тряпье, перепачканных грязью, голых, изуродованных, побитых, омерзительных, бесшумно ступающих по камням дороги. Не стукнет по ним каблук, ни одна подошва. Эти ноги принадлежат призракам и ступают мягко, словно ватные ноги кукол...

И все-таки на всех — юбки, пусть засаленные, чиненые, но они указывают, что это ведут женщин. Над ними висит каменное молчание. Смешок или обрывок шутки прозвучали бы кощунственно — богохульством, разорвавшим сосредоточенную тишину заупокойной службы.

Эти бесконечные ряды автоматов с изношенными пружинами, одни за другими, шагают неслышно, словно видение. Это призраки, еще никогда не порождавшиеся человеческим воображением. Между движущимися ногами робко запутываются лучи заката: они мерцают как свечи, то гаснущие, то вновь вспыхивающие.

Этап, занявший дорогу во всю ширину, подошел к распахнувшимся воротам в опутанной колючей проволокой ограде.

Здоровые смуглые парни, шагающие по бокам этапа, покрикивают и изредка щелкают для развлечения затворами. Они жизнерадостны и ступают пружинисто, бодро...

И присмиревший вечер меркнет. Наползают сумерки...

1949 г.

Глава десятая
ПО ДОРОГЕ ДЕКАБРИСТОВ

— Собирайсь, с вещами!

Я только что задремал, подложив под голову холщовую сумку с остатками белья, но тотчас привычно вскакиваю. Осторожно потягиваюсь: сильно болят лопатки и кости таза — успел-таки отлежать.

Нас в камере человек двадцать — этапируемых из разных тюрем. Все мы можем сказать, откуда поступили, но не знаем, куда нас везут. Так, гадаем... И ждем.

Гремит замок. С надзирателем — корпусной со списком. Он с порога привычно четко и повелительно называет несколько фамилий. Никто не откликается. Чертыхнувшись, поспешно убегает. Дверь снова запирают. Мы спешим улечься.

Снова кладу сумку в изголовье, бережно убираю очки и долго примащиваюсь, чтобы меньше врезались доски.

В потолке неяркая лампочка на голом шнуре, окна в решетках наглухо забраны козырьками, не разберешь — день ли, ночь ли. Я окончательно сбился со счету. Но какое это имеет значение? Вот если бы удалось часок-другой поспать, было бы славно.

Необычное для тюрем отсутствие тишины. Ни на минуту не затихает шум шагов: то громкие, то отдаленные, они раздаются над головой, доносятся сбоку, как будто с лестниц; иногда топот наполняет коридор. Люди спешат мимо нашей двери, почти бегут. Мы зачем-то пытаемся определить, сколько прогнали мимо человек. Случается, кто-нибудь из проходящих прильнет на секунду к глазку, что-то второпях неразборчиво крикнет — какую-то фамилию. Все настораживаются.

Наступает и наша очередь. Список на этот раз совпадает, и нас выводят из камеры; в коридоре строят, бегло пересчитывают, ставят в пары и уводят: один надзиратель впереди партии, второй — сзади, подгоняет отстающих. Вверх-вниз по лестницам, вдоль длинных коридоров, опять лестница, снова коридор — уже в другом корпусе. Надзиратель коротко переговаривается с коридорным, тот лениво встает с табуретки, перебирает связку ключей и идет отпереть одну из камер. Мы быстро занимаем места. Те же нары, намордники на окнах, лампочка, свисающая с потолка, и параша. Кто-то развлекается, перечисляя номера камер, в которых уже перебывал за сутки... Еще не конец!

Бывает, кого-нибудь отделяют — выкликнут одного и уведут. Или, наоборот, подбрасывают новичка. Его вяло расспрашивают: откуда, давно ли на пересылке? И вовсе наивно: не встречал ли такого-то? Нет смысла интересоваться. Бывает, пока перегоняют, передний конвоир вдруг заматерится, всех останавливает и гонит назад или резво бежит к двери и ее захлопывает. Это значит — напоролись на встречную партию: перемешаемся, не скоро потом нас разберешь. Но частенько, входя в один конец коридора, видим, как исчезает в противоположном хвост другой партии. А на маршах лестниц всегда гулко отдаются — внизу или над тобой — топот ног, стуканье деревянных чемоданов и терханье мешков о стены, возгласы, подхватываемые эхом пролетов. Бывает, что с коротким списком, чаще с одной-двумя фамилиями, приходят в камеру по нескольку раз: это значит — потеряли.

Такие поиски нам на руку: чтобы напасть на след затерявшегося этапируемого, приостанавливают формирование партий, а именно для этого нас тасуют и перетасовывают по камерам, подбирая в эшелоны, регулярно отправляемые с какого-нибудь из девяти московских вокзалов. Ну что ж, все-таки — передышка: поспим.

Сколько? Это никак не определишь — три минуты или час. Все равно не выспишься к очередному «Собирайсь!». Только все больше балдеешь от этой карусели: камера, коридор, лестница; камера, коридор, лестница...

Плохо тем, у кого уцелело барахло, тяжелая одежда: бросить жалко, перетаскивать мóчи нет. Да еще стеречь! Тем более что всю эту гимнастику мы проделываем как связанные. На пересылке первым делом отобрали ремни, только что возвращенные железнодорожным конвоем. Без них сваливаются штаны, и их приходится одной рукой поддерживать.

Хорошо бы знать, что сейчас — вечер, глубокая ночь или близко утро: тогда бы раздали пáйки, кипяток. Твердо знаю, что привезли меня сюда примерно в полдень — я мельком видел часы на Курском вокзале, пока нас выгружали из столыпинского вагона.

По городу везли как будто недолго, хотя в этих наглухо закрытых, набитых до отказа «воронках» темно, нельзя ни сесть, ни выпрямиться и время тянется куда как долго. В Москве нас, правда, не упрессовывали, как случалось в других городах, дюжие развеселые конвоиры, врезавшиеся с разбегу плечом в застрявших в задней двери машины.

Огромный, тщательно подметенный двор тюрьмы. С трех сторон — ровные ряды козырьков на окнах в высоченных

стенах. С четвертой его замыкает карбас — кирпичная оштукатуренная стена в три этажа высотой. На славу выбелены и корпуса тюрьмы.

На этом дворе непрерывное движение машин, громоздких черных «воронов» и «воронят». Одни выстроились у ворот, сигналят десятку привратников со свистками и кобурами, другие стоят у дверей корпусов: выгружают доставленные с вокзалов партии или сажают отправляемых. Всюду деятельные, самоотверженные, носящиеся рысцой надзиратели со списками и пачками формуляров, стажеры в синих халатах — для «шмонов». Идет деловая круглосуточная «отправка — приемка». И многотонные створки тюремных ворот в непрерывном движении: впускают и выпускают, впускают и выпускают.

Так что во дворе круглосуточно:

— Иванов?

— Я.

— Петров?

— Я.

— Иванова?

— Здесь.

— Петрова?

— Тут я.

Из одних дверей, как с конвейеров, выходят и выходят люди, обносившиеся, заросшие, серые, груженные мешками, обшарпанными фанерными чемоданами, узлами, и выстраиваются у машин. Подгонять не надо: их так нашустрили, пока перебрасывали из камеры в камеру, с этажа на этаж, из корпуса в корпус, что они сами по инерции все делают бегом. Все они следуют к месту заключения или отбывать срок ссылки. В другие двери втекает со двора непрерывный, но разбитый на мелкие партии поток — это осужденные или подследственные из районных и областных тюрем. Краснопресненская пересыльная тюрьма обслуживает только провинцию, о столичной жатве заботятся Бутырская и прочие тюрьмы Москвы.

Для привозимых за дверями обязательная баня с последующим стоянием в очереди за барахлом, в сто первый раз прожариваемом в вошебойках. Потом беглая проверка и — странствование по этажам пересылки с бросками, паузами и остановками.

Надзиратели сбиваются с ног, хрипнут от мата. За оградой и во дворе сигналят «вóроны». Тут круговорот, чертов омут, Мальстрём, вбирающий с областей ручейки и потоки,

чтобы, перемешав и рассортировав, снова извергнуть их вон... И так ежедневно, без праздников и выходных, неделями и месяцами подряд. Длинными годами. А народу все много, как ни прожорлив этот спрут.

Долго ли тут задерживаются? Да по-разному: кто отделывается сутками, иной застревает на недели и даже месяцы. Мне как-то все равно — задерживаться здесь или следовать дальше. Разумеется, тут беспокойно, одуряющая суета, но ведь и впереди — не родной дом.

Течения и сквозняки пересылки подхватили и кружат — в глазах рябит от ступеней и железных ограждений, проволочных сеток, решеток. Лязг и грохот дверей доносятся и сквозь сон. Иногда слышу, что выкликают мою фамилию, и оглядываюсь: почему никто не отзывается? Нет такого... Это я совсем закружился — до одурения.

Изредка кому-нибудь в камеру приносят передачу: родные разыскали. Бывают и свидания. Я гадаю: мог ли кто из моих узнать, что меня вывезли из областной тюрьмы? Вряд ли. Еще в Калуге я узнал, что Софья Всеволодовна в отъезде, тесть скончался... Так что «не надейся и не жди!», как поется в песне. Тем более что все сыты по горло моими приключениями, не стало мóчи меня опекать... И все-таки червячок гложет: при всяком вызове я настораживаюсь.

Лязгают замки, хлопают решетки, коридоры и лестницы гудят от тысячи ног... И отлично, что все мое достояние — полупустая сумка с бельем. Едва хлестнет из глазка «Собирайсь с вещами!», я подхватываюсь и сажусь на край нар в боевой готовности.

* * *

Калужское мое сидение сложилось не слишком благополучно — я почти сразу попал в тюремную больницу и бóльшую часть времени пробыл в ней,— но в смысле следственных волнений оказалось непревзойденно спокойным. Едва ли не в день ареста меня вызвал смуглый, коротконогий майор Табаков — я твердо запомнил фамилию,— старший следователь отдела, ведущий мое «дело».

— Хочу с самого начала поставить вас в известность,— любезно сказал он,— что мы вас ни в чем не обвиняем, но оставить на воле не можем: вы — повторник, и мы вынуждены вас изолировать. Дадим вам срок — он будет, очевидно, минимальным. Не могу пока сказать, будет ли это лагерь или

дальняя ссылка — это определит Москва. Сколько продлится? Затрудняюсь сказать: вас ведь много... Но рекомендую — наберитесь терпения, вы не новичок.

Я не взорвался, не стал вопить о беззаконии. В самом деле: проводится продуманная государственная мера — вылавливаются все бывшие зэки, постепенно просочившиеся в центральные области, и отправляются, по давно заведенному на Руси порядку, «dans le pays de Makar et de ses veaux», как коверкал еще у Достоевского Степан Трофимович исконную нашу поговорку о пределах, недоступных для Макара и его телят. Даже изобретена формулировка — «повторник»! Чем она уступает «пш» или «чсвн», какие я приводил в своем месте? У меня за плечами четыре судимости, вполне справедливо влепить мне срок, раз я все не угомонюсь, продолжаю бременить землю...

И я заговорил о своих делах — прежде всего о лечении. Потребовал, чтобы было доставлено с квартиры и отдано тюремному врачу лекарство — бесценный по тому времени, добытый для меня с великим трудом Корнеем Чуковским и писателем Треневым, сыном драматурга, пенициллин. Майор не отказал, и к моей хозяйке был отряжен сотрудник, но двадцати драгоценных ампул не оказалось: фельдшерица — увы! — знала им цену. То был за всю мою долгую зэковскую карьеру всего второй — после истории с Сыромятниковым в Архангельске — из трех случаев, когда моим бесправным положением мошеннически воспользовались знакомые. Третий оставил еще более гадкое воспоминание, потому что присвоила себе мои деньги фрондирующая дама, размножавшая на машинке неопубликованные стихи Пастернака.

Марина Барановская сделалась моей присяжной машинисткой. Когда оказалось, что издательство не может заключить договора с «беспаспортным» на переведенную мною «Историю ацтеков» Брайяндта, я попросил Марину выступить в качестве подставного лица. С издательством все уладилось; оно даже согласилось опубликовать книгу без упоминания фамилии переводчика, и с этим я... сел в Калужскую тюрьму. Это не помешало моим ацтекам увидеть свет, однако «les absents ont toujours tort» — отсутствующие всегда неправы, и на титульном листе было выставлено «Перевод Марины Барановской». И она же положила себе в карман весь гонорар — до копейки! С брезгливостью вспоминал я потом нервические капризы эстетствующей машинистки, прикрывавшей игрой в утонченность чувств элементарную подлость.

Но это я узнал много позднее, из прекрасного далека, а пока коротал дни в грязной и запущенной, переполненной областной тюрьме. За те полгода, что я в ней пробыл, ко мне не более двух-трех раз приезжал следователь, что-то у меня спрашивал, чтобы создать видимость следственного делопроизводства и вложить в соответствующую папку протокол допроса... В дело шли даже наши диалоги по поводу месяцев, проведенных Софьей Всеволодовной в занятом немцами Малоярославце, словно я не был в то время в лагере!

Пришел конец и этой игре, которую вели, кстати сказать, на высоком уровне законности: знакомили с «материалами» дела, предлагали встречу с прокурором, заставляли расписываться в санкционированном юридически надзором продлении срока следствия... Этот балаган закончился постановлением Особого совещания, приговорившего меня к десятилетней ссылке в отдаленных районах СССР. Десятка была в те годы и вправду «минимальным» сроком!

Я, разумеется, обрадовался. Обстановка в тюрьме была тяжелой, мои силы таяли. В камерах бесчинствовали уголовники, начальство им мирволило и случаи насилий и издевательств не переводились. Престиж старого соловчанина несколько ограждал меня от шпаны, да и отбирать было нечего; но я слабел, хирел, и условия пугали. С незалеченным туберкулезом гортани отправляться на Север страшновато, однако во мне тогда стали снова оживать надежды на одолимость зла. И было ощущение, что, вопреки всему, обо мне печется Благая Сила. Так что я вовсе не в безнадежном настроении отправился на этап, о котором знал только, что путь предстоит далекий и трудный.

* * *

Он начался с Ярославского вокзала, где сколоченный солидный этап — более шестисот человек — погрузили в теплушки. Разумеется, и тут от нас скрывали место назначения, но мы теперь могли догадываться, что путь наш — на Восток, очевидно, за Урал.

Доставить до места не торопились — везли с дневками во всех больших городах, в тюрьмы отводили пешими колоннами, по проезжей части улиц. Конвоиры с примкнутыми штыками сурово покрикивали не только на нас, но и на глазевших горожан, замешкавшихся отойти в сторону. Право, воскресни какой-нибудь полицейский чин, отошедший в

лучший мир еще при Александре III, и попадись ему на одной из бесконечно длинных привокзальных улиц наш этап, он бы порадовался живучести традиций тюремщиков: все те же нестройные ряды затурканных арестантов, те же бравые солдатушки в серых шинелях и те же окрики и команды, приправленные сочной руганью. Он бы даже восхитился (или оторопел) разворотом деятельности своего ведомства — такие многолюдные партии ему видеть не приходилось никогда. Но, может быть, отчасти и огорчился: не было шашек наголо и аккомпанемента — кандального звона.

Мы шагали, погруженные в угрюмое свое безразличие, про себя кляня канитель с высадками из вагонов, пыльные булыжные мостовые, осточертевшие процедуры перекличек, обысков, санобработок. И недосягаемой мечтой мерещился эшелон прямого назначения, который мчал бы день и ночь до места! Но такого для рядовой арестантской скотинки не было, и я побывал во всех тюрьмах областных центров Западной и средней Сибири, в Вологде и Свердловске. И мог бы по свежим следам составить славное описание действующих там тюрем — от старых, со сводчатыми кирпичными потолками в камерах и с выстланными каменными плитами коридорами, перестроенных, обновленных и расширенных, до воздвигнутых тщанием ведомства, рассчитанных на неиссякаемые многотысячные потоки арестантов,— многоэтажных, с гулким колодцем и беспотолочными коридорами, обслуживаемыми центральной вахтой...

Теперь все это стерлось в памяти, отложилось общим тягучим воспоминанием о двухмесячной дороге в тесноте, сутолоке, с круглосуточным дерганьем в изнурительном, озлобляющем многолюдии: ни одной секунды наедине! И были мы все настолько обезличены и обколочены этими бесконечными тяготами, что стали все как бы на один покрой: орда забитых нерассуждающих людей с вытравленным чувством собственного достоинства, но живучих, цепких, не способных возмутиться и протестовать — разве на лакейский манер исподтишка про себя огрызнуться... Было бы даже невозможно ответить на вопрос: кто такие эти набившие два десятка теплушек люди? Разные возрасты, фигуры, масть, но до скрытой обличием этапируемого арестанта сути не доберешься...

Помню, какой неожиданностью было узнать, уже под конец пути, в средневозрастном соэтапнике, обряженном во что-то заношенное и мешковатое, ничем решительно не выделявшемся, с неряшливой щетиной на подбородке, московского

инженера, сына предводителя дворянства одного из уездов Тульской губернии!

В строю на перекличке я услышал, как стоящий рядом отозвался на фамилию Свентицкий, хорошо мне запомнившуюся по разговору с кем-то из старших детей Толстого. Они рассказывали, что, назвав так одного из лиц в своем романе, отец воспользовался фамилией хорошо ему знакомого помещика Крапивенского уезда, служившего по выборам. Я рискнул спросить. Моя догадка подтвердилась, хотя и шепотом, хотя и с оглядкой. Сергей Владимирович принадлежал той породе вышколенных советских специалистов, что научились носить маску безоговорочной преданности вождю и партии, никогда не откровенничали и как позорное клеймо утаивали принадлежность к прежнему благородному сословию. Надо было, должно быть, съесть пуд соли с таким Свентицким, чтобы распознать в нем следы воспитанности, некоторую общую, хотя и очень поверхностную, культуру, запрятанные за грубостью манер и выражений, свойственных прорабу-строителю, деликатность и даже остатки кастовой предубежденности. Нам пришлось прожить с ним несколько лет в одном селе, и у меня были случаи убедиться в отзывчивости этого порядочного человека, принявшего обличие советского бурбона.

Красноярская тюрьма оказалась последним пунктом нашего железнодорожного путешествия. Отсюда, после растянувшегося больше чем на месяц ожидания, меня отправили — уже по Енисею — на север.

Было нечто символическое в том, что нами набивали трюмы старого колесного парохода, некогда доставившего Ленина в минусинскую ссылку и носившего имя Ульяновых («Мария Ульянова»). Тут прослеживалась прямая преемственность: судно, сподобившееся иметь своим пассажиром ссыльного поселенца Владимира Ульянова, стало, не расставаясь с его именем, верно служить делу обращения Сибири в гигантскую каторжную территорию. Став этакой баржей Харона, перевозившей в суровые северные пределы бессчетные тысячи неприкаянных душ, целые группы населения, даже народности, расправами с которыми власть укрепляла свою непререкаемость... Подлинное прежнее название судна — «Святитель Николай» — позже было ему возвращено, когда пароход стал экспонатом музея революции в Красноярске. Оно стоит на приколе у городского причала, выкрашенное и пустое, с русским трехцветным флагом на корме и выведенным золотыми буквами названием на носу. Но чудо возвращения христианского имени — увы! — не символ и не обещание:

уже никогда не вернется на Русь Чудотворец Мир Ликийских...

Я задаюсь праздным вопросом: открылись бы у советских людей глаза, если бы рядом с золотыми буквами названия стояли цифры — шести-, а вернее, семизначные,— указывающие число невинных людей, отправленных на этом судне за сталинское время в лагеря и ссылку?

Сплывали мы по Енисею несколько дней, но видеть великую сибирскую реку не пришлось — на палубу нас не выпускали. Подобравшись по низким нарам вплотную к иллюминатору, изогнувшись под нависшим потолком, можно было, прильнув к толстому мутному стеклу, увидеть лишь крохотное пространство воды с воронками и узорами стремительного течения. Было тесно, смрадно и тоскливо. Этот последний участок пути казался особенно нудным и длинным.

И наконец свершилось: пароход пришвартовался у очередной пристани, и нам скомандовали выходить с вещами. В густой темноте ночи — это было в исходе сентября — за пределами тускло освещенных мостков дебаркадера ничего увидеть было нельзя. Где-то в кромешной тьме под ногами всплескивала струя. Нас завели в пустые пассажирские помещения пристани и там оставили до утра.

Торопившиеся восвояси конвоиры подняли этап затемно и, выстроив в последний раз и пересчитав на пустыре против пристани, повели по пустынной улице — унылой и неприветливой. Темные избы, глухие ворота в бревенчатых заплотах, бродячие тощие собаки, дощатые узкие мостки без единой живой души... Против одного из этих слепых домов попросторнее, с вывеской «Комендатура МВД», нас остановили, сгрудив, скомандовали «Вольно!», и конвоиры, отойдя в сторону, закурили и по всем признакам приготовились ждать. За нами почти не приглядывали, нас не одергивали, как бы наперед зная, что сбежать тут некуда — край света. И мы порасселись, кто где нашел: по краям мостков, на завалинках ближайших изб, вытащенных из поленниц чурках.

Не заставила себя ждать и главная персона ожидаемого заключительного действа — местный комендант, которому предстояло поставить подпись под актом приемки нескольких сот ссыльных душ. Это был тщедушный, курносый человечек, облаченный в длинную кавалерийскую шинель до пят, сидевшую на нем подрясником. Выступал он, впрочем, важно, с большим пальцем правой руки, по-генеральски заложенным за борт шинели, и разглядывал нас с начальственным прищуром.

Пока всех по одному выкликали, подводили к столу, где мы расписывались в ознакомлении с обязанностями ссыльных и карами за нарушение режима, вокруг нас стали собираться местные жители, обряженные в большинстве, как и наш брат арестант, в телогрейки и бушлаты. Появились и представители леспромхоза, смахивающие на лагерных нарядчиков. Они тотчас приступили к отбору рабсилы: с нами прибыли списки лиц, заранее назначенных на лесозаготовки. Не были включены в них единицы — в том числе и я. То ли для удобства надзора, то ли еще для чего, но нам было определено оставаться в селе и самим подыскивать себе заработок. Свентицкого тут же увел с собой начальник районной стройконторы, успевший даже подыскать для него жилье: инженеры тут котировались. Я спокойно поглядывал на происходящее, сидя в сторонке со своей котомкой, решив довериться ненаправляемому ходу событий: впереди целый незанятый день, погода хоть пасмурная, но мягкая, хлеб в мешке есть, можно ничего не форсировать и ждать, как распорядится судьба... Так и произошло. Когда нас оставалось совсем мало — почти всех увели, а кто убрался сам,— ко мне обратилась женщина, предложившая у нее поселиться; подошел познакомиться и местный врач, незабвенный Михаил Васильевич Румянцев.

* * *

На живую нитку сколоченная столярка — дощатая пристроечка с земляным полом, прилепившаяся к одному из подсобных строений опытной сельхозстанции на берегу Галактионихи, впадающей у села в Енисей речки,— заполнена заготовками: выстроганными брусками с пазом и фальцем, с аккуратно запиленными на концах шипами. На полу — ворох пахучих стружек; возле верстака они вспенились прибойной волной, затопившей рабочее место. При каждом движении фуганка я снимаю с него теплую свившуюся ленту и сошвыриваю в кучу.

Мне заказали связать несколько десятков парниковых рам. Работа спорится: я размечаю ресмусом, отпиливаю, строгаю, долблю, как заправский столяр — очень и очень «средней» руки! С благодарностью вспоминаю уроки ручного труда в Тенишевском училище в Петербурге, где мне пришлось впервые взять в руки стамеску и рубанок; доброе меланхолическое лицо нашего деревенского столяра Михай-

лы, у верстака которого мы, мальчики, были готовы провести полдня, дожидаясь, когда он даст нам побаловаться своим инструментом. И уроки тучного Якова Семеновича в училище, и наставления Михайлы (даст лучковую пилу, обхватит своей лапищей руку и начнет водить по запилу, приговаривая: «Держи крепче, не заваливай вбок!» — и ты как пойманный. И как же рад, когда наконец упадет отпиленный конец доски, но и горд безмерно!) в какой-то мере способствовали тому, что я вот теперь с грехом пополам вяжу рамы, табуреты, сооружаю прилавки и перегородки в рыбкоопе.

Столярной работы в селе, к сожалению, немного. И я, с тех пор как меня привезли в Ярцево, уже переменил не одну профессию. Предполагающую, само собой, использование мышц и пребывание на свежем воздухе: ни в какие конторы ссыльных не берут, разве найдется всесильный блат! Пришлось мне сторожить плоты на берегу Енисея и работать конюхом в лесничестве. А так как оно рядилось доставлять ярцевскому начальству воду, то я с год развозил ее по домам. Чтобы вывезти бочку из-под береговой кручи, приходилось не только понукать лошаденку, но и помогать ей изо всех сил, взявшись за тяж. Много позднее одна дама, милейшая жена доктора Румянцева (эта чета сильно скрасила мое ярцевское житье и помогла выжить), признавалась, что случалось ей поплакать, увидев меня — в дворницком фартуке и застиранной гимнастерке — восседающим на колеснях с бочкой или наполняющим очередной хозяйке подставленные ведра... Чего бы, кажется? Как раз в ипостаси водовоза я вспоминаю себя без особой горечи: чистые стремительные речные струи, обтекающие, журча, островок моих колесней и стоящую по брюхо в воде лошадь; сверкающая против солнца гладь Енисея, конек, с которым мы так старательно одолеваем кручу,— словом, библейской или античной простоты картинки... Были, правда, ненастье, обмерзающий на ветру черпак, темнота и недомогание, но их в памяти оттеснили как раз идиллические воспоминания.

Пробовал я плотничать и даже пошел как-то в напарники к рыжему и ражему кержаку, нанявшемуся поставить купленную Свентицким старую избу, подрубив несколько нижних венцов. Но строителем наш хозяин был искушенным, дом ставил для себя и рубку «в охряпку», как он выражался, не признавал. Самозваный плотник был изобличен и изгнан, что и положило конец моей деятельности на этом поприще. Впрочем, работа по-настоящему тяжелая была мне не по си-

лам: прежней выносливости не стало. И я очень скоро познакомился с районной ярцевской больницей.

Правда, сама собой чудесным образом исчезла хрипота, с которой не справились лечение в туберкулезном институте и Крым, но стала все настойчивее беспокоить язва желудка; как-то долго продержала на больничной койке желтуха.

Чтобы более не упоминать о своих невзгодах, укажу, что жилось долгое время в Ярцеве скудно: приходилось и в немилостивые енисейские морозы щеголять в драповом стареньком пальто, не было и теплой обуви; заработка не всегда хватало на самый непритязательный стол и оплату квартиры. Поселен я был в отгороженном тесовой перегородкой закутке избы уведшей меня из комендатуры доярки Анисьи, вдовы невесть как колотившейся с малолетними детьми. Убедившись, что ни пастьба лошадей, ни подряды на топорные строительные работы не способны мало-мальски обеспечить, я пытался восстановить порванные связи с московскими издательствами, разумеется, через подставных лиц. Мечтал как одержимый о двух листах переводов в месяц: они дали бы мне впятеро больше, чем я мог выколотить из неподатливых сибирских работодателей. Но тут меня постигло одно из самых тяжких, когда-либо доставшихся на мою долю огорчений. Почта доставила мне письмо дочери — ее матери не было в ту пору в Москве,— написанное как бы от лица и всех прочих родичей, в котором четко стояло, что трудно живется теперь всем, у каждого своих забот по горло, так что мне не следует прибавлять тяжести хлопотами о себе — всякий должен устраиваться как может. «Так что не обессудь,— заключила она едва не сразившее меня послание,— а помогай себе сам, как умеешь...» Что ж, заботы обо мне и впрямь длились уже третье десятилетие. Пора было, как говорят, и честь знать!

По счастью, у меня завелись друзья в Ярцеве, они и выручали. Никогда не забуду, как мою каморку — я лежал с высокой температурой — заполонила богатырская фигура доктора Румянцева. Он посидел, ободрил, выложил на стол какие-то лекарства, а потом, смущаясь, и завернутый в бумагу кирпичек белого хлеба: «Шел мимо пекарни, прихватил, еще горячий, вам нельзя сейчас выходить...» — и поторопился уйти. Владимир Георгиевич Бер, попавший в Ярцево после десяти лет тайшетской каторги,— петербуржец, мой ровесник с воспоминаниями о дореволюционном детстве в помещичьей усадьбе средней руки, ученый энтомолог, с которым мы впоследствии коротко и дружески сошлись,— принес мне

сшитые из овчин чулки; Свентицкие (к Сергею Владимировичу приехала жена — дочь моего соловецкого знакомого Буевского) по воскресеньям угощали меня обедом...

Я, кроме того, стал постепенно переходить на стезю траппера, то есть рыбачить и охотничать. Отвоевание права этим заниматься шло очень медленно. Надо было получить разрешение коменданта отлучаться из села — сначала в дневное время, потом с ночевками,— завести ветку — долбленую охотничью лодочку. А там — добиться права ходить в тайгу и, наконец, разрешения на ружье. Ссыльным нельзя было обзаводиться огнестрельным оружием, и я длительное время промышлял ондатру и белку капканами, ставил петли на рябчиков и зайцев, настораживал в борах слопцы на глухарей. Но вот заготконтора премировала меня двустволкой за отличное качество сдаваемых шкурок. Тут комендант, посоветовавшись с начальником милиции, вызвал меня к себе, подробно втолковал, как быть достойным выходящей мне льготы, и милостиво выдал удостоверение на пользование ружьем. Со временем мне разрешили завести и мелкокалиберную винтовку, что сравняло меня с местными промышленниками. И я стал жить сдачей пушнины, добыванием боровой дичи да рыбной ловлей. То были занятия по душе, и тяготы таежной жизни и сейчас в моей памяти овеяны непреходящим обаянием общения с нетронутой природой.

О годах, прожитых в ярцевской ссылке, я уже не раз писал в своих книгах, из которых редакторы, само собой, вымарывали все, что могло подсказать читателю истинные причины моего появления на Енисее, любой намек на ссылку. За этим следили бдительно: наторевшая цензура научилась расшифровывать потаенный смысл и в самых невинных подробностях.

И здесь мне не хочется повторяться — я ограничусь беглыми заметками о том, о чем и помыслить нельзя было рассказать в легальной советской прессе.

* * *

Веснами, еще по льду, я забирался на остров, полностью отрезанный от мира после вскрытия реки и во время половодья. И пока сюда, на заимку, не перебирались пастухи со стадом, я был тут полным хозяином. Владения мои простирались верст на шесть в длину и две-три в ширину. Я караулил в полузатопленных тальниках гусей, стрелял на разливах

уток, перегораживал протоки сетями. Отсутствие людей — это ощущение полной безопасности, недосягаемости для их козней.

Правда, и на селе жизнь протекает сравнительно мирно и бестревожно. Распростертая над страной зловещая сталинская тень здесь как бы менее застит свет, не маячит над таежным безлюдьем. Душный туман страха, придавленности и немоты, окутавший советских людей особенно плотно с тридцатых годов и не развеянный их подвигом в войну, этот туман здесь, за тысячи километров от Москвы, как бы разрежен. Ссыльным в далеком енисейском селе кажется, что о них забыли, не станут больше мытарить, и одни отчаянные пессимисты пророчат новые каторги. Но Робинзоном на необитаемом острове я чувствовал себя в полной безопасности от вездесущих, явных и тайных, подлинных и мнимых агентов всемогущей госбезопасности.

...В свободное время и хорошую погоду мы нередко прогуливались по тропке, бежавшей вдоль прибрежного угора над Енисеем, с Николаевым — потомственным петербургским пролетарием, вступившим в партию еще в 1903 году и испившим до дна чашу тридцать седьмого. Мне приходилось замедлять шаг, часто останавливаться, чтобы дать моему спутнику перевести дух. Здоровье Николая Павловича из рук вон плохо, но он не унывает — и это после десятки в самых страшных — Колымских! — лагерях.

— Вот увидите, мы с вами еще выберемся отсюда — по невским набережным пройдемся, поедем в Мацесту лечиться. Нашли что сказать — для могилы место себе облюбовал! Я на добрый десяток лет вас старше, и то думаю дома побыть, родные места увидеть. Всё выдержали — теперь как-нибудь дотянем. Быть того не может, чтобы гангстеры вроде Берии...

— Тише вы, неугомонный! — останавливаю его я.

— Эк вас вышколили! Что, рыбы нас в Енисее подслушают? Одни мы тут с вами.

Я считаю Николаева неосторожным, но не в его натуре молчать. Этот человек отдал жизнь тому, что считал правдой. Когда-то он самоотверженно оборонял Петроград от Юденича, в гражданскую войну командовал частями Красной Армии, затем возглавлял крупные предприятия в родном Питере. Бессменный член, а потом и секретарь ленинградского обкома, Николаев знал о многом, что творилось в годы, когда страна стала захлебываться в потоке казней, расправ и насилия. Непроизвольно нервничая и шаря глазами по пустынному берегу, Николай Павлович рассказывал про убийст-

во Кирова, очевидцем которого ему пришлось быть в Смольном. И я помню, как верил и не верил в изощренное вероломство и лицемерие убийцы, оплакивавшего друга-соперника, убитого по его заданию.

— Меня больше года лупили следователи всех рангов. Догадывались, что я все знаю. Добивались признания, чтобы расстрелять: ведь Сталин следил, чтобы были уничтожены не только организаторы, исполнители и свидетели убийства, но и те, кто вел по нему следствие, потом и те, кто отправлял на расстрел первых палачей. Не знаю, как я уцелел... Думаю, не было ли все же в органах людей, пытавшихся кое-кого спасти?

Николаев говорил, что непременно напишет воспоминания. Вряд ли ему пришлось это сделать — смерть настигла его почти сразу после возвращения в Ленинград. А жаль — это была бы летопись честно прожитой жизни. Человек этот вряд ли когда запятнал себя поступком против совести, был верен своим представлениям о правде и справедливости. Николаев был членом профсоюза печатников со времени его основания в начале века, принадлежал к старой рабочей интеллигенции, и это сквозило в его обличье, речах и поведении: то был человек терпимый, внимательный к людям, скромный и благородный.

* * *

Далеко не весь подневольный люд, пригоняемый на Енисей, умел приспособиться и выжить: Север встречал сурово и неприветливо. Многие не выстаивали. И не непременно южане: на приезжих влияла вся тяжесть условий и обстоятельств — начиная с непривычного климата и пищи до пережитого душевного потрясения.

В Соловецкий лагерь в конце двадцатых годов привезли как-то партию якутов — человек триста. Эти крепкие смуглые люди в оленьих доспехах были нагружены вышитыми сумками и торбасами, ходили в легких пыжиковых парках и унтах, словно только что вышли из тундры. И эти-то жители высоких широт, привычные к лютым стужам, не выдержали зимовки на острове: их пригнали в августе, а к весне не осталось в живых ни одного якута — всех скосили легочные заболевания. Поумирали они не только из-за непривычной пищи — их погубил влажный морской воздух: сравнительно мягкая беломорская зима с постоянными оттепелями и сырыми ветрами оказалась для них роковой.

Странно и жутко было видеть этих выросших у полюса холода людей, одетых с ног до головы в меха, чахнущих и пропадающих среди снежной зимы почти на той же параллели, что и Якутск, на острове, освещенном теми же сполохами, что их стылая лиственничная тайга!

На Енисее та же участь постигла калмыков.

Я не знаю, какова была численность этого народа, но из приастраханских степей вывезли всех калмыков до единого — от мала до велика. Их целыми семьями грузили в вагоны и отправляли на восток. Массовая эта операция была произведена, если не ошибаюсь, в 44-м году, под гром победных салютов.

Часть калмыков была отправлена на Енисей — их расселяли по реке вплоть до Туруханска и ниже; несколько сот человек попали в Ярцево. Трудоспособных угоняли на лесозаготовки, отдавали в колхозы, преимущественно на работы, связанные с конями. Калмыки умело с ними обращались, но во всем остальном оказались трагически неспособными примениться к новым условиям, пище, климату, укладу жизни...

Бойкими смуглыми бесенятами носились первоначально отчаянные калмыцкие мальчуганы на неоседланных и необратанных мохнатых лошаденках, пригоняя их с пастбища и водопоя: со свистом, гортанными степными криками, так что только завидовали и дивились местные подростки, сами убежденные, лихие конники. А вовсе маленькие калмычата с живыми черными, как у куликов, глазами и плоскими лицами выжидательно смотрели на матерей — когда они пойдут доить кобылиц и принесут пенистого, с острым запахом молока. Однако — не дождались... Кто скажет, отчего стали чахнуть и помирать в приенисейских селах калмыцкие дети? Или и впрямь нельзя было обойтись без привычного кумыса? Или не хватало им по весне свежих цветущих лощин в тюльпанах, жаркого душистого лета, напоенного пряными ароматами высушенных солнцем степных трав?.. Все больше детей, а потом и взрослых калмыков стали попадать в больницу. Ни внимательные русские врачи, ни ласковые сестры в белых косынках, сами заброшенные на чужбину, а потому старавшиеся помочь от всего сердца, ничего не могли сделать... Калмыки лежали на больничных койках тихие, ужасно далекие со своим малоподвижным лицом и чужим языком, горели в сильном жару и помирали. Одного за другим их всех — детей и подростков, девушек, женщин и мужчин в расцвете лет, стариков — попереносили на голые сибирские кладбища,

позакапывали в землю, так и не признавшую их за своих сынов.

Когда меня в 1951 году привезли в Ярцево, трагедия калмыков подходила к концу. В селе их оставалось наперечет. Вскоре узналось, что и по другим деревням перемерли все степняки. И настал день, когда в нашем Ярцеве уцелела всего одна женщина — Последняя Калмычка. Все ее знали, жалели, но помочь ей уже было нельзя.

Мы с ней вместе караулили на берегу плоты — она от рыбкоопа, я от другой организации. Калмычка приходила на дежурство с опозданием, неряшливая, разгоряченная и недружественная. Мы были одни меж бревен, устилавших прибрежный песок, против пустынной реки и чуть видных за гребнем яра коньков крыш села. Она меня словно не замечала, усаживалась где-нибудь на плоту и понуро сидела с засунутыми в рукава телогрейки руками, потом задремывала, свесив голову, обвязанную платком не по-нашему. Так было под утро. С вечера она обыкновенно скороговоркой непрерывно бормотала что-то на своем языке. Наш она совсем не знала, выучила всего несколько слов. Калмычка иногда негромко и на одной заунывно-пронзительной ноте пела, долго и тоскливо, и это походило на безответную жалобу.

Моя напарница много курила, свертывала себе нескладные цигарки из газетной бумаги, просыпая при этом махорку, глубоко, не по-женски, затягивалась. А когда кончался табак, подходила ко мне и хрипло выговаривала: «Курить дай».

Прежде она никогда не пила и исправно ухаживала за овцами на скотном дворе. Поначалу будто бы и не очень тревожилась, когда умирали ее соплеменники, редко навещала больных и тем более не ходила на кладбище. Ее привезли в Ярцево со стариками — родителями убитого на войне мужа. Из замкнутой отчужденности — в деревне всегда все известно, а потому знали, что она безутешна после потери мужа,— вывела, однако, вдову не утрата родных, а болезнь чужого мальчика, матери которого она стала помогать за ним ходить. Носила ему парное овечье молоко, доставала что могла из лавки. Мальчуган помер. И тогда Последняя Калмычка впервые прибегла к спирту по наущению сердобольных соседок, давно зарившихся на доставшиеся ей от свекра со свекровью сундуки с шелковыми одеялами и пуховыми шалями. Одинокая калмычка скоро сбилась с круга, забросила работу и с каким-то ожесточением стала прогуливать что только попадало ей под руку. И за короткое время спустила все свое добро.

И в рыбкоопе Последняя Калмычка продержалась недолго — не могли держать сторожиху, постоянно пропускавшую дежурства и уходившую с них когда вздумается. У нее уже ничего не осталось, она обносилась, бедствовала. Хозяйки неохотно пускали ее к себе жить...

Мне однажды пришлось видеть, как вырвалось у Последней Калмычки наружу сильное чувство, страстная тоска, на миг поборовшая всегдашнюю угрюмую замкнутость. Это было на восходе, когда должно было вот-вот показаться из-за лесов правобережья солнце. Перезябшая за ночь калмычка забралась на угор повыше, в полгоры, караулила первые лучи. И когда они наконец хлынули, ласковые и яркие, она внезапно оживилась, стала подставлять им, не жмурясь, лицо, запрокидывая голову, словно устремлялась навстречу их жару и свету.

Я стоял внизу, на песке, в тени.

— Иди, иди! — поманила меня к себе Последняя Калмычка и быстро-быстро залопотала на своем языке, с живостью показывала на солнце и куда-то вверх по Енисею.

Не понимая слов, я знал, что она рассказывает о своем юге, о своем жарком щедром солнце, прокалившем душистый простор ее степей и давшем жизнь ее народу. Глаза калмычки блестели, на смуглом бескровном лице скупо показалась краска.

— Это плохо, плохо! — вдруг горько по-русски заключила она и сразу потускнела. Глаза ее угасли, и резко обозначились ранние морщины на облитом утренним солнцем лице.

Последняя Калмычка внезапно покинула Ярцево. Ходили слухи, будто ей разрешили переехать в Енисейск, где еще были живы несколько ее земляков. Ничего достоверного о ее дальнейшей судьбе так и не узналось.

* * *

У моей хозяйки Анисьи Ивановны было пятеро детей. Только старший Анатолий работал, как и она, в колхозе. Веня, Нина и Минька ходили в школу; самый младший, большеголовый Вася, был дома. Анисья, женщина лет сорока, рано состарившаяся и заезженная нуждой, ежедневно по три раза ходила на ферму — километра за полтора — доить и обихаживать свои пятнадцать коров. Ни разу — за все годы, что я прожил в этой семье! — не было у Анисьи Ивановны выходного дня... Ни разу, будь то Майские праздники,

она не пропустила дойки, не отпрашивалась с работы, не ссылалась на ломоту в суставах, не дававшую ей уснуть по ночам. Долгих три года, в лютые зимние стужи и темное осеннее ненастье, она ежедневно подымалась до света и убегала на скотный двор в куцей своей телогрейке, бумажном платке и чиненых сапогах, суровая и озабоченная.

А вечером, после третьей дойки, Анисья торопилась в контору своего колхоза «Ленинский путь» — и там задерживалась подолгу. И эта ее конторская повинность была намного унылее и даже страшнее неизбывного ярма на ферме. Сюда она приходила выпросить — вернее, высидеть — аванс в три рубля — тогдашнюю цену двухкилограммового кирпичика черного хлеба, без которого нельзя было ей возвращаться к детям.

Колхозники «Ленинского пути» в те поры на трудодень не получали более или менее ничего, и председателю было и впрямь нелегко изыскать, в счет каких зыбких перспектив удовлетворить просьбу доярки. И, с другой стороны, было невозможно отпустить мать пятерых детей, солдатскую вдову, не выписав ей трояк, с которым бы она могла забежать в сельпо. Занимаясь очередными делами в своем кабинете, председатель ни на миг не забывал про молча и упорно дожидавшуюся его просительницу. Следует, к чести его, сказать, что, поворчав и отведя душевную досаду криком: «Ходите все ко мне, а я где возьму?» — он неизменно кончал тем, что подписывал бумажку. И истомившаяся Анисья бросалась к кассиру, потом опрометью бежала в лавку, боясь не поспеть до закрытия. На следующий день все начиналось сначала.

Немыслимо колотились в те годы ярцевские колхозники. Трудная, подневольная их доля особенно оттенялась тем, что в селе — районном центре — жило начальство, размещались конторы леспромхоза, рыбтреста, торговых учреждений — словом, было немало сытого, вполне благополучного народа, работавшего вольготно.

Жители этого старинного села в давние годы мало занимались хлебопашеством. Их основным занятием были промыслы: рыбный и пушной. Коров держали помногу, правда, малоудойных, мелких, но неприхотливых к корму и условиям зимовки. Теперь даже трудно взять в толк, как это, налаживая новые формы жизни в этих краях, не направили усилия на развитие животноводства и таежных промыслов, то есть укоренившихся и проверенных вековым опытом занятий, наиболее выгодных и надежных в условиях таежного Севера.

Весь этот опыт был перечеркнут во имя погони за химерой: надо было доказать, что и «на льдине лавр расцветет» — стоит только выработать конституцию и припугнуть!

Припоминаю деятельность Опытного опорного пункта Института полярного земледелия в Ярцеве в начале пятидесятых годов как своего рода рекорд очковтирательства. Директор Бастриков хлопотал о фруктовом саде; его супруга, тоже агроном — и даже с ученой степенью! — взяла на себя не менее сенсанционное, хотя и столь же бесперспективное здесь, как и плодоводство, дело — выращивание особых сортов гречихи и пшеницы, которые бы «наперекор» стихии созревали за короткий здешний вегетационный период между последним весенним и первым осенним морозами, выстаивали в знобящие плотные туманы...

Если яблони не плодоносили и никак не росли, в лучшем случае давали по горсти дрянных плодов величиной с грецкий орех, к тому же больных, тем ставя Котика, как ласково звали Бастрикова подчиненные и собутыльники, в положение почти безвыходное, когда требовалось посылать образцы даров северной Помоны на Выставку достижений в Москву, то хозяйке полеводства все же удавалось выбрать на своих участках сноп-другой достаточно длинных стеблей пшеницы. Они и свидетельствовали на далеких столичных стендах успешное и победоносное продвижение сталинского земледелия за Полярный Круг!

Преступность всей затеи заключалась в том, что эти шарлатанские эксперименты внедрялись в практику на ярцевских полях. И в колхозе не созревала пшеница, гречиха даже не прорастала, под снег уходили борозды с карликовыми корнеплодами; на покосах курились зароды сопревшего сена. Задерганные мужики не знали, за что браться, не справлялись со взваливаемыми на них работами. То поступало срочное, как боевой приказ, распоряжение ввести куроводство или, наоборот, ликвидировать птицеферму, чтобы тут же переключиться на тонкорунное овцеводство; телеграф приносил колхозу приказ немедленно — со дня на день — обзавестись пасекой; перепахать клевера, чтобы засеять поле медоносными травами... Охотничать и рыбачить этим прирожденным таежникам, готовым все отдать, лишь бы дали побелковать в сезон и поневодить на реке, запрещалось — и очень строго,— чтобы они не отвлекались от полевых работ. А на трудодень колхозникам начисляли в иной год по пятнадцати граммов зерна, причем выдавали им из того, что оставалось в тощих колхозных закромах после выполнения «первой запо-

веди» — сдачи хлеба государству: то были чаще всего сметки — охоботья, куриный корм низкого качества...

Помню я и корреспонденции, печатавшиеся в те годы в краевых газетах и частенько воспроизводившиеся в центральных. В них на все лады воспевались успехи приполярных хлеборобов. Один такой корреспондент, некто Казимир Лисовский, красноярский борзописец и пиит, расписывал свои впечатления от бастриковских яблоневых садов, «шелестящих листвой на ветру». Они явно не предназначались для жителей Ярцева, хотя — кого в те годы не убеждали в чем угодно газетные безапелляционные строки! Читая оды Лисовского, я имел перед глазами хилых карликовых питомцев Бастрикова, которым не помогали никакие укутывания и удобрения: они редко выживали в грунте — большинство погибало в ближайший год после пересадки из теплицы.

Все это смахивает на анекдот в стиле Салтыкова-Щедрина, на гигантский розыгрыш, над чем бы посмеяться, если бы жертвой ученых экспериментаторов, благоденствующих и процветающих, каких развелось в сталинское время множество, готовых подтасовать, надуть, угробить уйму средств,— если бы, повторяю, жертвой этих бесчестных очковтирателей не стало обширное село, жители которого расплачивались за эти авантюрные затеи.

* * *

Начало шестидесятых годов. Я снова в Ярцеве, но уже по своей воле: приехал по писательской командировке.

Нескончаемые боры на Сыму — впадающем неподалеку от Ярцева могучем притоке Енисея — тянутся по обоим берегам реки. За ними — обширные болота. Они прорезаны речушками и ручейками, потаенными, холодными, наполненными темной торфяной водой. Это лучшие места для промышленника: глухарь с рябчиком держатся здесь — пойменная чаща кормит и прячет. На угоре, по кромке этой поймы, можно всегда набрести на следы расчищенных некогда точков и остатки ловушек давно заброшенного охотничьего путика.

Промышляя по таким речкам, случается наткнуться на старые сечи с редкими дотлевающими пнями. На оголенных площадях — молодые сосняки и отдельные, неведомо как устоявшие столетние великаны. И как-то я набрел на остатки лежневки: вдоль зарастающей, еле приметной просеки дог-

нивали шпалы. В иных еще торчали нагели, какими пришпиливались к ним лежни. Я знал, что заготовки здесь вел Сиблон — Сибирские лагеря особого назначения,— как знал и то, что вывозили бревна по этой лежневке заключенные — чаще на себе, чем на лошадях. Где-нибудь неподалеку должен был находиться лагпункт, какие Сиблон основывал в тридцатые годы везде, где росли сосны и был выход к сплавным рекам. А росли тогда сосны повсюду щедро.

Страшное это слово «лагпункт», особенно если это лагпункт лесной, затерянный в тайге, в те годы не только не обжитой, но большей частью и нехоженой. Лагпункт, где, по сложившейся в лагере поговорке, был «один закон — тайга, и один прокурор — медведь».

Вот оно старое пепелище... Расчистка с оплывшими ямами, валяющимися бревнами, редкими кирпичами; ограничивает площадку с одной стороны невысокий обрывчик над болотистой поймой быстрой реки с глубокими омутами. Сохранилась выемка — съезд, по которому возили воду, носили в ведрах. Внизу, у самой речки, истлевшие, вросшие в дерн бревна: это, вероятно, нижние венцы прачечной или бани.

Главные строения были наверху — я без труда обнаруживаю их следы. Это, прежде всего, тянущиеся параллельно на небольшом расстоянии друг от друга ямы, похожие на осыпавшиеся парники. Из песка торчат редкие концы жердей, кое-где покосившиеся стояки — это остатки развалившихся землянок. Если раскопать, там окажется множество тонких неокоренных жердей, лежащих, скорее всего, в два слоя: ими выстилались двухъярусные нары, тянувшиеся во всю длину землянки, по обе стороны среднего прохода. Или же обрешечивались стропила. Жерди были самым ходовым материалом для жилья на лесных лагпунктах.

От зоны остались обрывки колючей проволоки и прясла повалившихся палей: если наступить, они рассыпаются в прах — от них сохранилась одна кора. Когда стояла зона, заключенные не смели к ней приблизиться — часовые стреляли без предупреждения.

Вот остатки кухни — битые кирпичи, обломок чугунной плиты и заржавленный, весь в дырах, противень: на таких воры-повара жарили премиальные пирожки, достававшиеся более всего прожорливым нарядчикам и бригадирам; не брезгали ими и вохровцы.

Домик начальника, кордегардия, клуб для вольняшек и казарма находились в стороне, вне зоны: их рубили из бревен,

добротно, и, скорее всего, разобрали и увезли. Не раз приходилось мне мыть полы в таких помещениях, подносить дрова и воду, и я хорошо знаю, как все тут выглядело снаружи и внутри, пусть никогда в этом лагере не был. Все строилось по стандарту и разряду, повышавшимися с увеличением количества зэков: у кого больше «душ», тот и жил просторнее и удобнее. Поэтому я не только могу определить, был ли у этого хозяина отдельный дом в две или четыре комнаты, полагались ли ему ванна и теплый сортир, но даже обрисовать здешних вольняшек — начальника, его помощников, охранников: надо только прикинуть, сколько могло содержаться зэков на этом лагпункте. Но здесь и на любом другом, они всюду были скроены на один образец, знали один символ веры: выбивать из отданной под их начало рабсилы установленное количество кубиков древесины и, сколько удастся, сверх того. Для этого им была предоставлена полная, бесконтрольная власть над зэками. На лесопункты назначались начальниками преимущественно солдафоны и Пришибеевы.

В иных был перенят из Колымских лагерей закон, каравший смертью систематическое невыполнение нормы, приравниваемое к контрреволюционному саботажу. Ввели и соответствующую процедуру — куцую и жуткую. Не справлявшегося с заданием зэка отделяли от бригады и заставляли работать в одиночку. Сделанное им за день отдельно замерялось бригадиром. Проверяемый работяга возвращался в землянку, где отдавался неизбывным заботам своего состояния — раздобывал махорку, чинил развалившуюся обувь, канючил освобождение у неумолимого фельдшера... А невдалеке, за зоной, начальник накладывал бестрепетной рукой резолюцию на малограмотном рапорте бригадира. Если норма оказывалась повторно не выполненной на сколько-то процентов — менее чем на три четверти,— беднягу в одну из ближайших ночей выводили за зону, в тайгу... Товарищи его никогда больше не видели. Пропадал он и для родных — сгинул человек в тайге, и вся недолга! Эти расправы заставляли вкладывать в работу последние силы.

А вот оплывшие, слегка заросшие холмики, в которых нетрудно узнать могилы. Ямы рыли мелкие, раздетые трупы слегка присыпали песком, так что, если копнуть, непременно обнаружатся побелевшие кости... Тут сыны украинских сел и алтайских предгорий, выходцев с Волги и Кубани, жители Прибалтики и Крыма, но более всего российских мужичков, легших здесь во славу коллективизации... Что злодейский

синодик Ивана Грозного, его «массовые» казни, расправы с новгородцами, о которых мы узнавали из учебников истории, ужаснувших на всю жизнь! Имена сгинувших и замученных на лесных лагпунктах, разбросанных на наших бескрайних просторах, не припомнит ни один палач!

Я сижу на бревнах, скрепленных скобами и костылями. Это догнивающие остатки поваленной сторожевой вышки. С силой оживают давние воспоминания. О том, как приходилось жить в таких зонах, выполняя непосильную работу, вшивея и слабея, перенося лютый холод, летом — гнус и постоянно — недоедание. И особенно остро воскресло, точно я снова лагерный лесоруб, чувство подавленности, зависимости от злой или доброй воли начальника, расположения духа охранников, от наговоров, от каждого распоясавшегося насильника...

Очнулся я от лая моей собаки, бросившейся навстречу человеку, показавшемуся за соснами. Это знакомый охотник из кержацкой деревни на Колчиме, глухом притоке Сыма. Едва ли не все жители ее ушли в тайные лесные укрытия сразу после поражения белых из страха перед властями, преследующими веру. Так образовались в наше время скиты, еще не нашедшие своего Мельникова-Печерского. Век их был, впрочем, недолог. Нет более лесных дебрей, над которыми бы не летали самолеты: по дыму, тоненькой струйкой поднимающемуся над лесным пологом, летчики засекают потаенное жилье, а наведенная на их след власть спешит обезвредить отшельников. При Сталине выловленных скитников карали сурово, главарей расстреливали; после него — лишь сселяли и объявляли неисправными налогоплательщиками.

Но мой охотник — отщепенец, давно расставшийся с кержацкими предрассудками: нет для него ни Христа, ни Антихриста. Он сделался сельским активистом и кооператором. Зимовье моего знакомца находилось недалеко, и я охотно принял его приглашение отправиться к нему почаевничать и отдохнуть.

* * *

Ранний час мартовского утра — морозного и темного. Зима еще в полной силе. Помещение, где идет разнарядка, освещено керосиновой лампой. Нас, рабочих опытной сельхозстанции,— десятка два. Мы сидим на узких лавках, молчаливые и нахохленные: еще не прошла сонливость, впереди

нелегкий день на морозе, да и надоело до смерти батрачить за гроши в этом опостылевшем за долгие годы ссылки негостеприимном селе. И невеселые, безотрадные шевелятся у каждого мысли. Выйдя по окончании промыслового сезона из тайги, я нанимаюсь сюда на пустые зимние месяцы. Никак не удается заработать впрок, про запас, чтобы сколько-то прожить вольно, отдохнуть. Ведь я все-таки не потомственный таежник и, как ни влегаю в промысловую лямку, не могу сравняться с местными охотниками: нет их выносливости и сноровки, вековых навыков, и мне, кроме того, не очень везет — я не из удачливых промышленников!

Возле ведущего разнарядку старшего рабочего, верзилы латыша с похмельным лицом, в мохнатой рысьей шапке — очень славного и доброго малого,— сидит, чуть обиженно и брезгливо поджимая губы, супруга директора, давно увядшая особа, придирчивая и ворчливая. Ей частенько приходится заменять супруга, доставляющего своей половине немало хлопот и огорчений развеселыми гулянками и приверженностью к женскому полу. Морщится же она потому, что, будучи научным работником и незапятнанным членом партии, почитает общение с ссыльными для себя отяготительным. Она тут чувствует себя в дурном обществе, способном набросить тень на ее безупречную репутацию. Для нее ссыльные — ходячая скверна.

Я знаю заранее, что меня опять пошлют возить сено или, того хуже, вскрывать силосную яму, где не заработаешь и на хлеб: чтобы получить хорошо оплачиваемый наряд, надо стать участником попоек директора и его клевретов, уметь им подслужиться. И я сижу безучастно, ожидая, когда выкликнут мое имя. И вдруг встрепенулся: что, что такое сообщает почтенная директорша? Она, надо сказать, считает своим партийным долгом изредка проводить с нами политбеседы и пересказывать переданные по радио новости этим косным, извергнутым советским обществом отщепенцам.

— Правительство сочло нужным опубликовать сообщение о состоянии здоровья товарища Сталина...

Голос Бастриковой, прилично случаю, выдержан в сугубо строгом, даже суровом регистре, говорящем о тревоге и сердечном сочувствии.

Меня как током подбросило. Я живо вскинул голову, быстро всех оглядел — не ослышался ли? Вот бы Бог дал... Тому, чье имя избегают произносить в разговорах между собой, чтобы не накликать беды, как остерегались старые люди упоминать сатану, уже за семьдесят. Или вылечат?

Медики при нем дрожат за свою жизнь,— любой промах, недогляд... Однако надо скорее потупиться, чтобы не встретиться ни с кем взглядом, а то еще прочтут что-нибудь в глазах!

Сталин — злой гений России, растливший сознание народа, присвоивший себе его славу и подвиг в войну, похоронивший — навеки! — надежды на духовное возрождение...

Я запряг лошадь и поехал в луга: выдирал вилами пласты смерзшегося сена из зарода, увязывал воз, отвозил на скотный, снова отправлялся за сеном, а в голове весь день бродили мысли и шевелились надежды, перемешанные с опасениями: а вдруг выживет?

...Нет, не выжил! О радость и торжество! Наконец-то рассеется долгая ночь над Россией. Только — Боже обороні! — обнаружить свои чувства: кто знает, как еще обернется? Вот директорша с рыданиями сообщила о невозвратимой утрате, в газетах стенания и плач осиротевших учеников и соратников... Дети в школах, доведенные до истерики, горько рыдают — помер Отец родной! Однако все это — ложь и притворство одних, инерция многолетнего вдалбливания в сознание представления об Отце, Вожде, Великом, Корифее, Учителе, Единственном, Справедливом других... Лицемерие вошло в плоть и кровь, сразу не отвыкнуть. Но никаким казенным проявлениям скорби не подавить возникшее чувство освобождения, появившейся отдушины — не повеет ли в нее свежим, вольным воздухом! ВОЛЬНЫМ — о Боже! Надежды и предчувствия преждевременные, скажем мы по прошествии трех десятилетий, но нельзя было все же не видеть, что народ изжил нечто страшное, стоившее ему великой крови, неисчислимых страданий, приучившее порабьи ползать на брюхе и восхвалять попирающий сапог — невежественный и безжалостный. Но — воистину, «тираны приходят и уходят — народ остается». Изрекший сие великий вождь был начисто лишен чувства юмора...

Ссыльные, встречаясь, не смеют высказывать своих надежд, но уже не таят повеселевшего взгляда. Трижды ура! Лихолетье, при всех обстоятельствах, позади, пришла для народа весна, он неминуемо справится, оживет, воспрянет... Крепки были тогда в нас эти надежды, и каждый про себя уже видел, как один за другим распахиваются ставни, не пропускавшие в Россию свет, правду, справедливость, добро... Редки, очень редки были прозорливцы, ожидавшие, что

возбужденные смертью грузина надежды не осуществятся так же, как бесплодны были ожидания, порожденные несколько лет назад Победой!

Вскоре в небе черкнула первая ласточка — радио сообщило об освобождении врачей-евреев. Казалось неизбежным, что оговорившие их провокаторы будут тут же разоблачены и наказаны. А чем я хуже этих эскулапов? Разберутся и со мной, и со всей нашей тьмой репрессированных — придет время...

И оно действительно наступает, но не для меня. Вот приунывший комендант вызывает Николаева и объявляет ему о прекращении дела, вручает свидетельство об освобождении из ссылки и литер для бесплатного проезда к избранному месту жительства — в Ленинград. Становится модным слово «реабилитация». Ссыльные один за другим покидают село. Ходит слух, что возвращенным ссыльным предоставляют квартиры и работу, выплачивают компенсацию... Любопытно, какие установлены расценки на годы, проведенные за решеткой и колючей проволокой?..

Моя очередь наступила лишь через два года — в апреле 1955-го. Мне выдали справку о реабилитации по последнему делу, свидетельство, литер. Я не стал дожидаться открытия навигации на Енисее — до Красноярска долетел на самолете. За четверть века до того, на Соловках, я переправлялся на материк на лодке. Вот он — прогресс-то, завоевание века.

Впрочем, я могу подводить и другие итоги. За плечами почти **двадцать восемь лет** тюрем, лагерей, ссылок, отсиженных ни за что. У меня в архиве пять уже ветхих бумажонок со штампами и выцветшими печатями. Я их собрал ценой двухлетних хлопот в Москве. Это по-разному сформулированные справки трибуналов, судов и «особых совещаний» о прекращении дела по обвинению имярек в том-то, по статье такой-то, ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Я собирал их не ради коллекционирования, а для представления в жилищное управление Мосгорисполкома: чтобы получить квартиру и быть прописанным, надо было привести доказательства, что длительное отсутствие из Москвы было вызвано не вольным бродяжничеством по свету, а занявшими весь период репрессиями.

Но это — последующее. А тогда Ярцево покидал пятидесятипятилетний, порядочно испытанный человек с сильно поседевшей бородой, без чрезмерных надежд или иллюзий,

но воодушевленный приключившейся переменой и решивший использовать ее в меру способностей и оставшихся сил. Как ни легковесны и незначительны были мои прежние пробы пера, я твердо настроился более не тратить времени ни на какие занятия и профессии, кроме как с ним в руке. Я надеялся, что у меня найдется о чем писать.

Настроение было приподнятым, весенним — в небе стояло высокое апрельское солнце, сияли снега, так что — прочь опасения и малодушие! И все же подспудно, в глубоких закоулках сознания шевелились сомнения, охлаждавшие зароившиеся надежды... Как-никак со смерти Сталина истекло два года, а что-то не похоже, чтобы у нас взялись выкорчевывать палачей... Процессом над преступниками «против человечности» и не пахнет... И у власти остались те же «сподвижники». У них не только рыльце в пуху, а и порядочно крови на руках. Подлинное разоблачение тридцатилетнего режима неминуемо ниспровергнет и их. А раз сталинскую занозу не выдергивают из больного тела нации, страна не избавится от сталинщины. Иными словами, все может повториться, вернуться на круги своя...

Но именно тогда, в весенний день 1955 года, я перевернул страницу своей жизни и передо мной раскрылась новая, чистая. Что-то на ней напишется?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло более двадцати лет с того дня, как я вылетел из Ярцева на юг, потом поездом поехал на запад и оказался в Москве, признавшей за мной право снова тут жить.

В Москве ни враждебной, ни дружественной; во всяком случае, на время упрятавшей карательные свои когти, недоверие и подозрительность и стелившей на первых порах мягко;

обновляющей, но не укрепляющей и тем более не углубляющей прежние связи, родственные в том числе;

с некоторым любопытством приглядывающейся к человеку «с того света» и даже готовой шепотом назвать его декабристом;

поощряющей оптимизм;

настойчиво рекомендующей не оглядываться на прошлое и предать его забвению, все упования возлагать на будущее;

снисходительно, как чудачество, принявшей мой демон-

стративно обставленный отказ от грошовой подачки «реабилитированному»;

представившей мне жить и устраиваться, как мне заблагорассудится;

словом, в Москве, в чем-то обнадеживавшей и во многом разочаровывавшей.

Рассказ об этих годах потребовал бы отдельной книги. Но мною — увы! — достигнут возраст, уже не располагающий строить планы на будущее и в него заглядывать: я лишь очень условно, как бы платонически, рисую себе работу над главами повествования о вполне мирных днях столичного жителя, прибившегося к одной из наиболее привилегированных прослоек советского общества.

Принадлежность к корпорации советских писателей не служит мерилом литературной одаренности, но дает представление об общественном положении.

О том, как преуспеть на литературном поприще в Советском Союзе, заслужить прижизненное причисление к классикам и, наоборот, при истинном таланте не удостоиться признания, можно бы, разумеется, рассказать немало любопытного и поучительного, но — не скороговоркою и походя, в заключительных страницах воспоминаний о подытоженном периоде жизни. Мне хочется их использовать для нескольких замечаний и небольшого комментария «от автора».

Первое время по возвращении я налег на переводы, писал рассказы и очерки в охотничьи журналы. И приняли меня в Союз писателей в 1957 году по рекомендации известной переводчицы Н. И. Немчиновой, широко и на разные лады прославившегося С. В. Михалкова, чьи сказки я переводил на французский язык, благоприятствующего людям, принадлежащим кругу его собственной родни, и охотничьего писателя В. В. Архангельского, памяти которого я навсегда признателен. Еще в бытность мою в Ярцеве он, подвергая себя серьезному риску, опубликовал написанную мною в Калуге под псевдонимом книгу и позаботился перевести в ссылку гонорар. На такое в то время могли отважиться немногие!

В последующие годы я выпустил несколько книг, но завоевал себе «место под солнцем» не ими, а своим участием в движении в защиту природы, кстати лишь лицемерно поощряемом властью, поскольку государственная экономическая политика внутри страны зиждется на хищническом использовании природных ресурсов и подлинное их сбереже-

ние идет наперекор привычной близорукой эксплуатации, отражающей психологию временщиков «после нас хоть потоп». Принципиальная масштабная критика не допускается, цензура бдительно следит, чтобы говорилось лишь в частных недочетах и правда о подлинном уничтожении природы не просочилась.

Все мое прошлое подготовило меня к вступлению в ряды защитников природы: юность, связанная с деревней, охота и — крепче всего — годы, научившие видеть в окружающем мире живой природы утешение и прибежище, нечто, не причастное человеческой скверне. К тому же на Севере и в Сибири я насмотрелся, как безоглядно зорят тайгу, гноят и топят в реках бестолково заготовленную древесину, и за природу, особенно леса, заступался горячо, от всего сердца обличал и критиковал в зацензуренной печати невежественных и беспечных хозяйственников — рангом не выше стрелочников, само собой,— и со временем удостоился некоего признания. В глазах руководителей Союза писателей я стал присяжным защитником природы и в таком качестве бывал участником всевозможных конференций, «круглых столов» и обсуждений... Словом, тех бесчисленных говорилен, какими в нашем государстве маскируется совершенное бессилие общественного мнения и инициативы. И кстати: накопив опыт и приглядевшись, я вышел из Общества охраны природы, включившего меня в свой Центральный совет. Отстранился и от участия в работе Общества охраны памятников истории и культуры, в организации и первых шагах которого деятельно участвовал. Истинное назначение этих организаций — быть ширмами, отгораживающими власть от критики и нареканий: они переадресуются обществам. У них нет реальных полномочий и прав, поэтому они не обладают никаким авторитетом в глазах хозяйственников и градостроителей. Если удается изредка в Советском Союзе отстоять памятник, добиться сохранения природного урочища, то в подавляющем большинстве случаев это результат усилий отдельных лиц, использующих личные связи и удачно выступивших в печати. Заключу это отступление справкой о том, что власть радеет лишь о «потемкинских деревнях» — о туристских международных маршрутах, на которых проезжие могут свидетельствовать великолепное состояние памятников архитектуры и разнести по всему миру славу правителей, бережно сохраняющих старинные храмы.

...Шли обеспеченные, не ведающие тревожных звонков годы: закатные по возрасту, облитые утренними лучами на

литературной стезе. По мере того как упрочивалось мое положение и становилось устойчивее благоденствие, все громче и требовательнее звучал голос совести, побуждавший рассказать о прошлом. И чем очевиднее становилось, что в арсенале власти все те же методы управления, что и при Сталине, что ни о какой либерализации режима, ни о каком притоке свежего воздуха в пригнетенной нашей действительности мечтать нельзя, что никакого отречения — отмежевания — от прошлого не произойдет, что пришедшие на смену правители ввек не откажутся затыкать рты, подавлять и оглушать дезинформацией и лживой демагогией, тем сильнее становилась потребность поведать правду, вскрыть корни, протестовать против бесчестного ее замалчивания. Если короткий период хрущевской «оттепели» и навеял зыбкие иллюзии, их в прах развеяли последующие события... Гонения на Дудинцева, расправа с Пастернаком, волчье-танковый оскал за рубежом...

Становилось невыносимым таить про себя свидетельства уничтожения русского крестьянства, молчать о гибели бессчетных невинных жертв. Пока, убедившись в тщете надежд опубликовать и клочки куцей правды о пережитом, не пришел к заключению о необходимости писать в обход цензуры. И писать, как все было, отказавшись раз и навсегда от всяких вариантов с полуправдами, намеками и недоговоренностями, какие — и довольно упрямо — я составлял и относил на суд редакторов журналов и издательств.

Помню день, когда, окрыленный публикацией «Ивана Денисовича», положил на стол Твардовскому свою повесть «Под конем».

— Ну вот,— сказал, прочтя рукопись, Александр Трифонович,— закончу публикацию Солженицына, напечатаю и вас. Только не сразу, а то обвинят в направлении...

Но «оттепель» прекратилась раньше, чем ожидал редактор «Нового мира». Он, однако, оставался оптимистом и, возвращая рукопись, обнадежил меня:

— Видите, я надписал на папке «До востребования»: мы к вашей повести вернемся.

После этого я ее не единожды переделывал, изымая оттуда один острый эпизод за другим, менял название, пока не удостоверился окончательно, что никакие лагерные воспоминания напечатаны не будут, если не говорить о верноподданной стряпне Дьяковых и прочих ортодоксов.

Чиновные архонты дали команду считать выдумками и россказнями толки о лагерях, раскулачивании, бессудных

казнях, воздвигнутых на костях «стройках коммунизма» — упоминание о них приравнивалось к клевете и враждебной пропаганде.

Но должно было пройти еще какое-то время, чтобы приступить к работе. Понадобилось до тошноты объесться хвастливой ложью бездарных лидеров, еще и еще раз убедиться в беспочвенности надежд на их способность наладить в стране достойную жизнь, хозяйство, торговлю, производство, остановить бесшабашное разбазаривание природных богатств России; нужно было понять, что мелочная придирчивая опека, вмешательство в частную жизнь, грубое подавление свободы мнения — органическая принадлежность строя; наконец удостовериться, что во главе страны, хоть и одряхлевшие и постершие клыки, но опасные своей приверженностью методам подавления и устрашения, знающие по-прежнему только «тащить и не пущать» доктринеры, ничему не научившиеся, глухие к поступи времени, питающие сектантское предубеждение против вольной науки, знаний, истинной культуры.

Узость не позволяет им критически осмыслить опыт истекших десятилетий и, признав несостоятельность проделанных экспериментов, пойти на решительные реформы. Между тем выглядит, что от того, произойдут ли они или нет, зависит не более и не менее как будущность нации. Судьба страны, называвшейся некогда Россией.

Тут я имею в виду нечто более существенное, чем нетерпимость власти к критике, неумелое хозяйничанье, груз двойной бюрократии — административной и партийной,— буквально парализующей всякую здоровую честную инициативу. Все это хоть и вредит стране, задерживает ее развитие, обрекает население на трудности и скудный обиход, однако может быть в короткие сроки изжито. Достаточно вспомнить, как замирающая от голода, холода и паралича промышленности Россия двадцатых годов воспрянула, едва власть отменила военный коммунизм, вернулась к практике частной торговли, раскрепостила мужиков и разрешила ограниченное частное предпринимательство, чтобы уверовать в силу и возможности огромной страны. Подорванное хозяйство еще может быть восстановлено разумными мерами. Неизмеримо страшнее выглядит разрушенное моральное здоровье нации, обесцененные нравственные критерии. Длящаяся десятилетиями пропаганда, направленная на искоренение принципов и норм, основанных на совести, не могла не разрушить в народе самое понятие Добра и Зла. Проповедь примата мате-

риальных ценностей привела к отрицанию духовных и пренебрежению ими. Отсюда — неизбежное одичание, бездуховность, утверждение вседозволенности, превращение людей в эгоистических, утративших совестливость, неразборчивых в средствах искателей легкой жизни, не стесненных этическими и моральными нормами. Проросло карамазовское «все дозволено», практически вылившееся в готовность не стеснять себя ни в чем, сообразовывая поступки и поведение лишь с одним соображением: «Не попадаться!»

Побуждаемые — и в какой-то мере оправдываемые — низкой оплатой труда рабочие воруют и тащат из цехов что попало (привратник за мзду отведет глаза!), торговцы обвешивают и обманывают напропалую, хозяйственники и бухгалтеры монтируют головоломные мошеннические комбинации, начальники берут взятки, безнаказанно грабят казну; ржа коррупции разъедает вузы и больницы, все ступени служебной зависимости, любые общественные организации.

Пьянство скрашивает невзгоды жизни, глушит критику, ослабляет людей, ими становится легче управлять, и поэтому власть спаивает народ. Он пьет безобразно, без просыпа. На улицах столицы за редкость и удачу не встретить растерзанных, не стоящих на ногах, нагрузившихся москвичей всех возрастов — старших школьников до стариков. Непристойных, пьяных женщин. У винных лавок очередь с раннего утра. То не люмпены, не босяки и всякое отребье: пришли опохмелиться корректно одетые служащие, лица так называемых интеллигентных профессий — те, кто через час будут принимать посетителей в своем кабинете, подчас неосторожно обдавая запахом винного перегара... С пьянством на Руси боролись еще в средние века: церковь, лучшие люди, общественное мнение. Патриарх Никон заставил царя Алексея Михайловича закрыть в Москве кабаки; земство боролось с откупами и «монополькой»; существовали общества трезвости. С 1914 года был введен по всей империи сухой закон. И все-таки на самодержавии так и удержался ярлык: «Царь спаивает народ»...

У нынешнего «самодержавия» нет объявленных хулителей, и спаивание проходит гладко. Доход от «архангельского сучка» — слишком весомая, доходная статья бюджета, чтобы власть позволила откровенное обсуждение и тем более обнародование правдивых данных о масштабах и росте пьянства в СССР. Промелькнет изредка в газете статейка медикуса о вреде алкоголя, и баста! — ни о каких кампаниях не может быть речи! Было бы трюизмом упоминать о скудном снабже-

нии, «безмясных» зонах, пустых прилавках продуктовых магазинов, нашествии провинциалов в столичные универмаги в надежде купить хоть что-нибудь из раритетов — вареной колбасы, масла, сыра, сельди... Зато водки и «бормотухи» — хоть залейся, круглый год, бесперебойно, и это в любой сельской убогой лавчонке, не говоря о столичных магазинах. Пей невозбранно на полусытое брюхо и — помалкивай...

Отметим, что власть вмешивается, лишь когда злоупотребления, позорное поведение — будь то пьянство, прогулы, порча оборудования, бытовые скандалы и размеры хищений — приобретают вопиющие масштабы, когда раскрываются настоящие панамы, драки завершаются убийством и т. д. Лишенная возможности предоставить населению подлинные блага, власть щедра на поблажки, смотрит сквозь пальцы на будничные, привычные нарушения законности, мелкие служебные проступки, заурядный мордобой...

Вдумываясь в жизнь рядовых советских людей, угадываешь истоки их поведения, бросающего вызов общественным устоям, постоянной раздраженности, резких вспышек по ничтожному поводу, какие частенько наблюдаешь в очередях или при давке на транспорте. Это все, как и пьянство, коренится в разительном контрасте между тем, что людям сулят и говорят, и тем, что происходит и они видят на самом деле.

Право, красные каблуки дворян в королевской Франции не более вызывающе подчеркивали избранность сословия, чем открыто выставляемые роскошь и довольство, сверхобеспеченная жизнь нынешней элиты. Спекуляция на ярлыке «слуги народа» никого не вводит в заблуждение и тем более не утешает! Слишком резка грань между обслуживаемой, ублажаемой и охраняемой за счет государства элитой и ее «хозяевами» — простыми смертными, чей удел — давиться в очередях в автобусы, неизбывные нехватки, стесненность; мелочная регламентация жизни, отдыха, всякого шага, общая бесперспективность существования. Разглагольствования по поводу забот о народном благе, будто бы составляющих основу деятельности правительства, не только никого не обманывают, но и вытравили в людях последние крупицы веры в цели и идеалы, о которых еще продолжают, по усвоенной привычке, скороговоркой бормотать в печати и с трибун. Блага и привилегии — для правителей и их холопствующего окружения; серые будни и плохо оплачиваемый труд — для остальных. Для поощрения и в утешение — щедрая раздача рассчитанных на тщеславие побрякушек; девальвированных

орденов (расплодились троекратные Герои Труда!), почетных грамот и значков; портретов на стендах и в газетах...

И если присовокупить ко всему этому шесть десятилетий запрета на собственное мнение, лишение права высказывания, отучившие людей мыслить и поощрявшие лакейскую психологию, то надо еще подивиться вскормленной вековыми традициями нравственной силе русского народа, не давшей ему одичать окончательно, встать на четвереньки и благодарно захрюкать у корыта со скудным кормом, возле которого его обрекли топтаться...

Словом, нужно мыслящему человеку — гомо сапиенс — пожить в шкуре нового покроя, чтобы понять, какой силы протест исподволь копится в душах против порядков, заставляющих немо и бессильно мириться с ложью и лицемерием, безнаказанно расцветших в обстановке, не допускающей, чтобы прозвучало правдивое слово.

Я не сгустил краски. Новая Россия унаследовала большинство язв и пороков старой, не устранив и основного нашего векового зла: русскому человеку не дали распрямиться во весь рост, не внушили ему чувство собственного достоинства, не просветили его душу и разум, а преследованиями еще усилили чувство приниженности, психологию «мы люди маленькие, негордые», заставили еще раболепнее тянуться перед начальством, славословить и обожать «вождей». И убили в нем веру в возможность иной доли.

Нам опротивело настоящее, мы не надеемся, чтобы жизнь можно было направить по доброму пути: некому на него указать — накоплен только отрицательный опыт. Мы знаем лишь, что плохо. Все оболгано, искажено: религия, вера, демократия, терпимость, традиции, духовные идеалы и искания, свобода, братство...

Что же нужно России? Нелегко, а может, и вовсе невозможно кратко сформулировать ответ. Должны истечь сроки. Должна когда-нибудь оправдаться всеобщая уверенность, что дальше «так продолжаться не может». В какой-то мере Идола подтачивает критика — камерная, глухая, подпольная, но встречающая понимание и сочувствие. И все же из всего, что с нами произошло, мы извлекли только знание гибельных путей, того, что заводит в тупик, закабаляет человека, суживает его горизонты до миски с хлёбовом. А вот как дать ему понять, что у него могут отрасти крылья? Что есть мир высоких духовных радостей, перед которыми меркнут тусклые и плоские идеалы материалистов? Воздвигнуть его на подлинное братолюбие? Мы этого не знаем.

И, может быть, лучшим вкладом в эти поиски путей для тех, кто не знает, куда идти, является правдивый рассказ о прошлом, отдельными крупицами которого воспользуются — кто знает? — те, кому будет открыто, как вывести на путь спасения...

Этот вывод повлек и соответствующее направление деятельности. Я не стал искать общения с людьми созвучных настроений, не принимал участия ни в каких коллективных обращениях-протестах (под каждым из которых неизбежно стоит хоть одна подпись провокатора!), не выходил с плакатами на улицу, считая, что мое назначение — написать воспоминания. Как-то, правда, присоединился к общему хору: послал руководству Союза писателей телеграмму, протестуя против расправы с Солженицыным. Но — Боже мой! — как подтвердила реакция писательских боссов уверенность в совершенной бесполезности подобных акций! И еще: чтобы посвятить себя задуманному делу, требовалось одно условие. Я был не один — и приходилось ставить под удар едва обретенные покой и благополучие. В памяти семьи были свежи пройденные мытарства, страхи, нужда. Пуганая ворона куста боится: даже в публицистических моих выступлениях в защиту Байкала семье чудились источники возможных осложнений. Да и прочно усвоено в Советском Союзе, что один последовательный конформизм — залог бестревожного существования, а при везении — и преуспеяния. Словом, мне нельзя было рассчитывать на сочувствие и поддержку близких.

В начале шестидесятых годов круто изменилась моя жизнь: окончательно распалась подточенная длинным разъединением семья. Я был волен поступать по-своему. И тут судьба оказалась пособницей моих планов: послала мне встречу с человеком, не только мне сочувствовавшим, но видевшим в правдивом рассказе о прошлом мой долг и призвание, готовым ради него поступиться личным благополучием и покоем. Естественно, что, поощряемый таким образом, я напрочь отбросил всякие колебания и откладывания.

Случилось так, что молодая женщина сумела внушить шестидесятилетнему, порядочно во всем изверившемуся человеку веру в его возможности, создала условия, позволившие забыть о возрасте и с молодой энергией окунуться в работу. Увидев Маргариту Сергеевну, ставшую моей женой и матерью нашей Ольги, старинный друг семьи Волковых — еще по дореволюционному прошлому — умудренная годами Татьяна Ивановна Татаринова (царство ей небесное!) сказала о доставшейся на мою долю «улыбке судьбы». Мне же

видится в этой поздней встрече гораздо больше, чем улыбка, пусть и самая светлая! В ней для меня — проявление Благой Силы, воли Промысла, не раз спасавшей и хранившей меня в опасности и давшей на склоне лет познать в полной мере радость и вдохновляющую силу полного взаимопонимания и единодушия с любимым человеком — верным и преданным. То, о чем я писал, сделалось Маргарите Сергеевне столь же дорого, как и мне. Над этими строками кровоточило ее сердце.

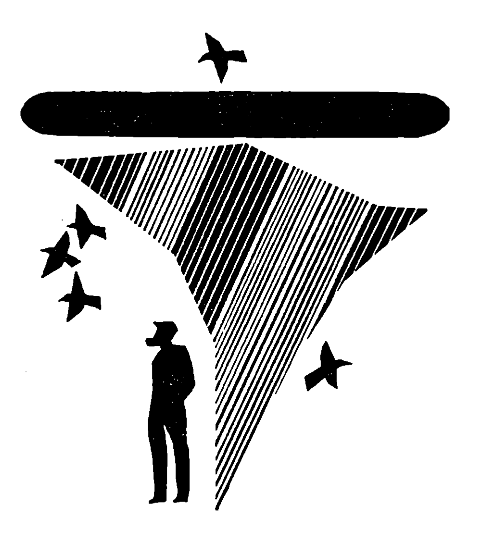
...Мне, разумеется, трудно судить, в какой мере будут интересны читателю эти воспоминания. Осторожность и опасение кому-либо навредить исключали пробные чтения, советы и консультации: единственным и, бесспорно, пристрастным судьей сочинения была моя жена. Это и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что, отгородившись от внешних влияний, я писал только как подсказывало собственное чутье, совесть и память, не поддаваясь соблазну драматизировать изложение и прибегать к выигрышным ходам. Плохо же, вероятно, из-за того, что некому ответить на гложущее меня сомнение в очень существенном вопросе: не создал ли я, описывая свою личную судьбу, сложившуюся не по шаблону, а со столькими чудесными избавлениями, счастливыми поворотами в пору величайших тягот и опасностей, впечатления, будто бы и не столь страшна и беспощадна лагерная мясорубка? Не окрашен ли кошмар тех лет розоватыми отсветами субъективных удач? И дело не только в том, что меня на волоске от беды выручали связи брата, счастливые случайности — попросту берег ангел-хранитель,— но и в моей манере писать от первого лица. Я свободнее и обнаженнее рассказал бы о пережитом через третье лицо, которому бы приписал свои приключения, увиденные мною как бы со стороны. Без того сковывающего чувства, для которого я нахожу только французское слово «pudeur»,— позволяющего лишь до известного предела обнажать душу и делиться интимным.

Но все же следует рискнуть отдать свои воспоминания на суд читателей, потому что они, в первую очередь, выполнение долга перед памятью бесчисленных тысяч замученных русских людей, никогда не возвратившихся из лагерей, откуда меня вызволила рука Провидения. И если хоть у одного читателя содрогнется сердце при мысли о крестном пути русского народа, особенно крестьянства, о проделанном над ним жестоком и бессмысленном эксперименте, это будет означать, что и мною уложен кирпич в основание памятника его страданиям.

Москва, 1957—1979 гг.

В КОНЦЕ ТРОПЫ

Повести
Рассказы



В КОНЦЕ ТРОПЫ

Часть первая

1

Автобус наш, застрявший в дороге, опоздал к поезду, и пассажиры разбрелись кто куда: ждать предстояло до следующего утра. Большинство подалось в местный Дом колхозника, всегда переполненный. Счастливчики, у которых были знакомые в маленьком пристанционном поселке, прибегнули к их, может быть и вынужденному, гостеприимству.

Я сидел в полутемном буфете станции за стаканом тепловатого жидкого чая. Ночевать в тесном, уставленном кроватями Доме колхозника, куда к тому же отправилась шумная компания, еще в пути досаждавшая задиристыми выходками, не больно улыбалось.

Однако что-то надо придумать — немыслимо провести ночь за голым столиком унылого буфета. Я пил чай и машинально пробегал глазами расписание, висевшее на вымазанной густо-зеленой краской стене. И лишний раз убеждался: в стороне от больших магистралей движение замирает задолго до вечера...

На знакомых названиях остановок автобуса я задерживался. Неподалеку моя родина, которую я не видел уже... уже...

* * *

Нелегкий, ошеломляющий счет! Подумать страшно, что прошло без малого четыре десятилетия — тридцать шесть ухабистых и длинных лет.

Сколько раз за эти годы я собирался навестить свое Давыдово... Да мало ли планов и намерений остаются никогда не осуществленными? Никакая жизнь не обходится без неисполненных дел, ускользнувших возможностей и тщетных ожиданий...

* * *

Я расплатился с вялой, ко всему на свете безучастной полногрудой буфетчицей и вышел на крыльцо станции — деревянное, затоптанное, с остатками краски у шатких перил. Небольшая, залитая неровным асфальтом площадь стиснута случайными постройками: торцом длинного склада, лавками, фасадом опрятного продмага, несколькими домиками, прятавшими избяную свою суть за застекленными терасками с частым, как в парниковых рамах, переплетом. Стояло это все как придется — боком к площади, углом или отступало от нее за кусты запыленной отцветающей сирени. В промежутках тянулись потемневшие, кое-как сколоченные заборы. Все тут, несмотря на асфальт, было покрыто серой прилипчивой пылью — и беспризорные, обложенные побеленными кирпичами клумбы возле станции, и зелень в палисадниках, и бревенчатые стены складов до свеса крыш. Валялись окурки, разорванные и растоптанные обертки из-под сигарет.

Куда-то уводила станционная улица, такая же запыленная и скучная, как скверик, и не манящая никуда. Задерживаться тут было тошно.

Правда, и особой досады из-за задержки у меня не было. Домой я не торопился. По возвращении из командировки мне предстояло сразу идти в отпуск... А я все еще не знал — как распорядиться. Никакой план особенно не увлекал, я колебался, зная по опыту: что бы я ни выбрал, потом все равно буду недоволен. С возрастом крепло у меня недоверие ко всякого рода решениям на будущее. И я давал обстоятельствам самим за меня определять, как поступить. Так было, вероятно, из-за отсутствия выраженного призвания и профессии по душе. Прожив достаточно длинную жизнь, я так и не прибился к делу, к которому бы крепко прильнул, брался то за то, то за другое, не полюбив по-настоящему ни одно. Я даже избегал вспоминать про тот короткий период, когда казалось, что у меня есть занятие по сердцу.

То было очень давно, в возрасте, непосредственно следующем за юностью. Я вдруг и горячо принялся за писание. В голове зароились планы произведений, трепещущих гражданственностью и великодушием, поисками высокой правды. Молодым людям моего поколения в ту раннюю пору становления нового государства освобождение всего человечества рисовалось на пороге. Так что немудрено было отдаться

юношескому стремлению высказать свой взгляд, ниспровергающий, разумеется, все авторитеты.

Но стать литератором мне не было суждено. Повинны в том были отсутствие подлинного призвания и — это я теперь особенно ясно вижу — пробелы в знаниях... Когда их недостаточно, бываешь очень самонадеянным. И долго невдомек тебе, что изобретаешь велосипед или порешь ахинею.

Как бы ни было, попытки мои на ниве сочинительства потерпели неудачу. Не было в них необходимых последовательности и настойчивости, а главное, порыва и жертвенности, неотделимых от истинного «дара божьего».

Период тот поселил сомнение в моих способностях. Последующие годы так и не рассеяли его: я считал себя неудачником, стараясь, однако, поменьше об этом думать и, по возможности, не обнаруживать.

* * *

Из кабинки грузовичка, остановившегося возле крыльца, высунулся водитель.

— Подвезти, что ли, куда? — крикнул он мне. Я как раз собирался, за неимением другого выхода, идти в Дом колхозника.— Я на базу еду в Т***...

Вот оно — решение! То был нежданно-негаданно подвернувшийся случай повидать родные места, перескочив через расхолаживающие сборы и раздумья!

— Вы как — сразу поедете или станете пассажиров дожидаться? — спросил я.

— Какие пассажиры, ночью-то?

Я закинул плоский мой чемоданчик в полупустой кузов со старыми брезентами и сел рядом с водителем — пожилым, с удлиненным худым лицом, усталым и озабоченным. Машина тронулась — и я чуть ли не стал себя ощупывать: так невероятно было, что начала осуществляться давно мерещившаяся поездка!

Изношенный мотор нещадно скрежетал, словно что-то в нем должно было сейчас неминуемо разлететься вдребезги, перегретый воздух обдавал снизу удушливым зловонием, бугристое, лоснящееся от масла сиденье не давало удобно усесться, но я не замечал этой докуки. Настроение сделалось легким и покойным. Я стал с сочувствием следить за всем, что проносилось мимо. Полого уходящие вдаль поля заколосившейся ржи и яровых хлебов сменялись перелесками и

сосновыми рощами, подступавшими к самой дороге. Кое-где на шоссе бросал длинную четкую тень строй берез. Слабое движение воздуха еле шевелило свислые ветви. В небе только что дотаяли нежные краски зари, и густую траву на обочинах покрывала обильная роса, сверкающая там, где доставали косые желтые лучи солнца.

С годами я стал все сильнее, глубже привязываться к природе, ощущать ее жизнь, пожалуй, потому, что мои самые задушевные и неомраченные воспоминания связаны с деревней. И из-за того, что ее творениями, не в пример человеческим, любуешься, не думая сопоставлять их с собственными малыми делами. Милее всего мне были окоемы средней полосы России, наша «расейская» деревня, меня выпестовавшая. Я ощущал сейчас на лице и волосах нежгучее тепло солнца и вдыхал несущиеся навстречу запахи наших приволий, такие привычные с детства!

Вот я и в своих краях... И как же просто оказалось осуществить столь долго манившее! Застрял в пути автобус, пассажиры опоздали на поезд, подвернулась машина — и я еду!..

Впрочем, не совсем так. Не раз и прежде бывал я близко от своих мест, так что мог бы туда наведаться. Но, признаться, я длительное время жил, опасаясь чем-либо обнаружить свою принадлежность к упраздненному сословию, и, уж разумеется, не хотел объявляться там, где было так легко ее установить.

Поскольку на всю волость наша семья была едва ли не единственной, оставленной жить на усадьбе и пользоваться небольшим участком земли, у нас, в годы гражданской войны, не раз учинялись обыски, проверялись документы живущих в доме лиц. И хотя кончались эти передряги благополучно, они вносили чрезвычайное волнение — семья после них не скоро успокаивалась.

Надо было дать утечь годам, ибо время не только великий исцелитель, но медленно и неуклонно стирает острые грани, примиряет противоположности и гасит страсти...

И вот каждая минута, каждый километр приближают меня к местам, так давно покинутым.

Стоило промелькнуть знакомому с детства названию проезжаемой деревни, как к нему стали лепиться воспоминания, словно и не прокатился по ним грузный каток времени! Лишь впечатлениям ранней поры жизни дано так долго сохранять прелесть пережитого.

И красноречивы же эти сохранившиеся наперекор мгле

и провалам истории старорусские названия! Нижний Ям, Шорники или Хомутово воскрешают ямской промысел, воспетые бубенцы лихих троек. В иных названиях сел и урочищ — память о давно забытых подвигах Руси в лихолетия. Вот фельдшерский пункт, стоящий в стороне от шоссе, со странным названием Шелдомежский. Оно от давно исчезнувшего монастыря. Монастырь тот был поставлен или стоял на меже, до какой дошли Батыевы полчища: «шел до межи»... Миронежье, Возмище, Логовеж, Киёво овеяны всей прелестью седой славянской старины...

Какими-то стали места, где мне открывался мир? Узнаю ли я землю, по которой бегал в детских сандалиях, сохранившую, быть может, родные могилы? Придорожные виды все более похожи на окрестности Давыдова... И наплывают — одеваются в плоть и кровь! — памятные вехи жизни, протянувшейся длинной-длинной дорогой. И ведут они в мир, настолько отличный от нынешнего, что нет, кажется, возможности навести между ними мост...

По обочинам шоссе в зелени молодых посадок изредка белеет ствол одинокой березы — дуплистой, с обломанной вершиной и мертвыми суками. Разве на каком-нибудь одном еще зеленеет листва. Ствол, раздавшийся в толщину, не рассыпается в прах лишь из-за корявой коры — не поддающейся тлению бересты. Такие березы, уцелевшие, быть может, от знаменитых екатерининских посадок, видели тройку Пушкина и возок Гоголя. А сейчас они же внемлют грохоту мастодонтов-грузовиков. Знать, и человеческая жизнь не так уж коротка, если способна связать собой старую Россию с новым веком!

2

С удивительной четкостью удержала память панораму России начала века — глаза же видят ее сквозь призму истекших лет. В свои оценки мы закономерно и неизбежно укладываем весь опыт пережитого.

Людям из круга знакомых моей семьи — в городе и в деревне — все, вершившееся тогда, в первые годы двадцатого столетия, казалось предназначенным навсегда, до конца дней, довлеть России. Им и невдомек было, что крошечные подземные толчки предвещают землетрясение, что отдаленные гулы в небе — не веселящая сердце майская гроза, а знамение наступившего сурового века. Первые раскаты бурь,

долженствующих потрясти человечество! Вглядись, прислушайся... И готовься! Ничто им... Живут себе, погруженные в повседневные дела. И, покорные вековой привычке пещись о своем будущем, которое надо подготовить так, чтобы оградить наследников своих от черных дней, озабоченно копят и припасают, чтобы хватило не только детям, а и на правнучьи времена. Но при этом решительно ничего не умеют прозорливо предугадать.

Современную жизнь справедливо уподобляют полету воздушного корабля: бешеная скорость и оглушающий шум... Летишь, несешься. В разрывах туч проносятся города, страны, континенты. И если случается высадиться на отдаленном аэродроме, где-нибудь на безлюдном Севере, то ошеломляет лежащая вокруг тишина, совершенная пустынность раскинувшейся кругом тундры... И смешно тихим кажется собственный шаг, пока идешь с чемоданом к низеньким домикам аэродрома.

Схожее ощущение погружения в неправдоподобный покой испытываешь, когда переносишься в далекие дни начала столетия. И как представить себе сейчас полусонный, без потрясений, неторопливый ход жизни, укоренившуюся поколениями уверенность в прочности уклада и надежности завтрашнего дня, ограниченность мирка, пределы которого немало людей не перешагивало за свой век?

* * *

На эти ранние годы века приходится мое детство. К ним протянулись первые отчетливые воспоминания.

Если случается идти по летнему проселку, я до сих пор ищу в его запахах легкий дегтярный дух, надолго повисавший вслед за проехавшей стукотливой телегой. И отмечаю среди отпечатков гусениц и шин на укатанных колеях единичный след конной повозки...

О тех, кто в деревне завел тележку на железном ходу, упоминали особо: вся русская деревня ездила на деревянных осях. Вытесывали их из березовой колоды, долго сушившейся в тени под свесом сарая. В желобке, выдолбленном вдоль оси снизу, укреплялась железная полоса, утопленная заподлицо с его краями: оси снашивались — заведенное же дедами железо служило внукам.

Потому ли, что мальчишкам в деревне всего более дела до лошадей, но все с ними связанное запечатлелось особенно

отчетливо. Кони с их кличками, мастью, нравом и повадками; полубоги, что запросто распоряжались чудесными животными; особенный, матовый стук подков выводимой из денника лошади в хомуте и седелке, непременно задевающей ленивым копытом порог конюшни.

— Балуй! — бросает через плечо, не оглядываясь, конюх, дернув для порядка за повод недоуздка. Он идет впереди с дугой на плече и смотанными вожжами. И лошадь, словно понимая, что оступаться нельзя, шагает, чуть выше поднимая ноги.

За тем, как запрягали, я следил с беспокойством: кучер мог прокатить до подъезда, опушки парка или хмуро не заметить напряженного ожидания, подобрать вожжи и укатить без грубовато-ласкового: «Полезай, что ли, барчук!»

А что за праздник — ежегодные поездки на уездную ярмарку, многолюдную, пеструю, шумную! Отец впервые прихватил меня с собой, когда мне было шесть лет.

* * *

Пока выбирались по лесной дороге на большак, кучер придерживал лошадей — темно-серую тройку,— и отец, любивший быструю езду, нетерпеливо поглядывал вперед. Пролетка раскачивалась на ухабах и корнях, пристяжные совались к кореннику или тянули прочь, оступаясь в колеях, шарахаясь от пней, кучер внимательно объезжал болотинки и грязь. Меня подкидывало на жестковатом сиденье, и я крепко держался за медную скобу подлокотника.

У въезда на большак кучер слез с козел, распустил у лошадей подвязанные хвосты, выправил гривы из-под шлеек и хомута, обтер вычерненные копыта. Потом, уже небрежнее, прошелся волосяным веничком по лакированным крыльям и подножкам экипажа. Отец, державший под уздцы рысака в корню, поторапливал.

И мы полетели!..

По большаку пылили вереницы крестьянских телег. Их обсели бородатые мужики в цветных рубахах навыпуск и бабы в сборчатых длинных юбках. Белые платки, надетые по повойнику, плотно завязаны под подбородком. Порой возница одной из подвод, прискучив трусить в хвосте, разгонял лошаденку и пускался обгонять обоз. Стоя во весь рост в телеге, он раскручивал над головой конец веревочных вожжей и зычно понукал свою расскакавшуюся конягу. Вслед

ему неслись насмешливые подбадривания и шутки. Особенно если объехать не удалось, и лихач смиренно пристраивался в ряд на свое место.

Чем ближе к городу, тем становилось оживленнее. Пыль клубилась на всех объездах, тянувшихся по обе стороны мощеной дороги. Катили телеги, брички, двуколки, тарантасы... По тропкам за обочинами шли пешие, босиком, с закинутой за плечо обувью, привязанной к палке. У меня разбегались глаза, но более всего я глядел на прилежно бежавших лошадей, мимо которых проносилась наша тройка.

Ровно и упруго скакали пристяжные, размашисто выбрасывал ноги коренник, и неподвижный, застывший как изваяние кучер, с вытянутыми вперед руками, плыл, покачиваясь, над взвитыми облаками неоседающей пыли. Он изредка покрикивал: «Гэп, гэп!» — и слегка поднимал руки, посылая лошадей в обгон. Мелькали объезжаемые запряжки, тут же отставали, мы снова устремлялись вперед в пыльные клубы, и мальчишеское сердце замирало от восторга. Отец успевал с кем-то обмениваться приветствиями, кому-то кивал, иногда снимал панаму, но тоже не отрывал пристального взгляда от наших лошадей...

Но вот стук и грохот колес по булыжникам, возгласы, звон бубенцов и весь шум конной лавины стал покрывать гул и перезвон колоколен города. В нем было два больших монастыря, несколько соборов, десятки церквей и часовен, так что колоколов хватало! Ярмаркой сопровождалось празднование Ефремия-угодника, основателя местного древнего монастыря, и звонари друг перед другом брякали и били в свои колокола на совесть. И суету, и гомон ярмарочной площади — с балаганами, длинными рядами распряженных телег с поднятыми оглоблями, ларьками, разносчиками, конной площадкой, каруселью с дудочниками, шарманками, криками торговцев, мычащим скотом — топили густые звуки стопудовых монастырских колоколов. Все, казалось, куда-то плыло под мерные удары.

Наша пролетка со взмыленными, потемневшими от пота лошадьми еле-еле продвигалась по площади. Расступавшаяся у самых конских морд толпа мгновенно смыкалась за нами. Впереди тянулись другие экипажи, мы то и дело останавливались. Кучер ослабил вожжи и, обмякнув, сидел, ссутулившись. Отец здоровался налево и направо, его то и дело окликали. Мужик с седеющей подстриженной бородой легко шагнул на подножку. Сатиновая желтая рубаха его выпущена из-под расстегнутого жилета, толстая металлическая цепочка

пущена по всему животу, а синий картуз с лакированным козырьком лихо надет чуть наискось.

— С праздником, барин! Сынка привез на ярманку? Хорошее дело! — приветливо заговорил он, здороваясь с моим отцом за руку.— Нынче ярманка изо всех... А рощицей той не дорожись, Ляксандрыч, уступи: обчеству хорошо и тебе не убыточно... Ужо приеду! — слезши, крикнул он вдогонку.

Потом, держась за отцовскую руку, я глазел на приманчивые лотки торговцев в тени монастырской ограды. Какими только прибаутками не развлекали веселые продавцы покупателей! Чего там только не было! Разворачивали с язвительным присвистом ядовитую свою пестроту тещины языки; диковинные американские жители с выпученными глазами необъяснимо как всплывали в стеклянных трубках и снова погружались на дно... Глиняные петушки-свистульки и святые в бутылке. Сладковатые александрийские стручки, маковники и нежно-розовые каменные жамки; пряничные генералы, боярышни и наполеоны. Какая-то липкая, похожая на вату масса,— настолько, на взрослую мерку, подозрительных свойств, что мне и попробовать ее так никогда и не пришлось. Уводил меня отец из этого сказочного ряда отведавшим угощений, о каких и мечтать запрещено было дома, нагруженным всякими редкостями. Я до сих пор помню деревянного красноглазого конька, купленного на этой ярмарке. Плоский, выкрашенный в бледно-зеленую краску, он крепился на длинной палке с колесиками. Обтертый, лишенный колес, с оборванным поводом и отлепившейся мочальной гривой, он не один год служил мне боевым конем, хотя в детской красовались всамделишные, столичного изготовления лошадки из папье-маше с настоящими хвостами и гривами из конского волоса, подседланные и в нарядных уздечках.

Кроме пестрого, крикливого торжища с его толкотней, стеной животов, задов и рук, загораживавших от меня мир,— страшноватый, если бы не надежная рука отца, подтаскивавшая меня то к балаганчику с лубочными картинками, то к мужику, боровшемуся с медведем,— я запомнил и посещение женского монастыря. Отец наносил обязательный визит настоятельнице, матери Аглае, дальней родственнице, называемой в семье по-прежнему тетей Аней.

В длинном, низком и темноватом сводчатом проеме ворот монастыря толпились нищие. Самые нетерпеливые загораживали дорогу, протягивая черные от грязи деревянные плошки, не то суя висящий на груди складень с иконкой и полочкой для монет. Чем больше медяков раздавал отец,

тем настойчивее тянулись к нему руки и азартнее отталкивали друг друга, причитая на все лады, нищие. Босые, оборванные, лохматые, они пугали меня кто вытекшим глазом, кто бельмом или обрубком руки, язвами, щербатыми ртами, грязью тел и лохмотьев, лицами, заросшими дикой бородой. Монетки, которые дал мне отец, наказывая отдавать по одной, у меня сразу, едва я протянул руку, выхватила сгорбленная нищенка со сморщенным белым лицом. Отец, поначалу невозмутимо выдерживавший натиск, стал спешить, рассовывать монетки кому придется и уже решительнее прокладывал нам путь. Резкие движения нищих, умильное бормотание, мелькание рук в торопливых крестных знамениях, перемежавшиеся со злобной перебранкой между соседями, замахиванием друг на друга костылями и палками, вонь заношенных лохмотьев — все это вдруг в полутемном гулком проеме показалось мне страшным. Я вцепился в платье отца и наверняка бы разревелся, если бы мы наконец не миновали ворота и не вошли в тенистый и пустынный монастырский двор.

Я был слишком мал, чтобы чувствовать присущую древним монастырям обособленность, строгую тишину, заставлявшую и случайного посетителя говорить вполголоса и ходить чинно по выложенным плитами дорожкам. Но запомнил, что отец велел мне вести себя тихо. Торопливо шмыгнувшие мимо нас две монахини ступали неслышно и не подняли опущенных глаз. Только прошуршали по камням подолы их длинных глухих ряс.

Еще нерушимее окутала тишина в приемной, несмотря на сидящих по тяжелым твердым диванам и креслам посетителей, явившихся, как и мы, с праздничным визитом. Отец шепотом переговаривался со знакомыми дамами, одетыми богато и пышно в кружевные белые платья. Меня взгромоздили на стул. Оттуда я рассматривал темные картины по стенам, бронзовые затейливые канделябры с хрустальными подвесками на подзеркальниках, расставленные всюду цветы. Монахиня в черном платочке и такого же цвета узком платье подходила к гостям с покорно сложенными на животе руками и еле слышно приглашала пройти за ней к матушке.

* * *

До отца очередь не дошла. К нему пожаловала сама мать-игуменья — полная, внушительная, в строгой монашеской одежде дама — и по-родственному с ним расцеловалась.

— Ну вот еще, дожидался... Кажется, не чужие! Да ты с сыном? Им сейчас займутся... А мне надобно с тобой посоветоваться. Сестрица Груша!..

Так я оказался сданным на попечение рыхлой и тихой женщине. Она увела меня в свою застланную половиками келью. Все тут сильно пахло деревянным маслом — вплоть до рук и одежды хозяйки. Перед киотом, уставленным образами, светло горели лампады разноцветного стекла.

Никогда — ни прежде, ни потом — не приходилось мне съедать зараз столько изюму и каленых орешков, как у словоохотливой сестры Аграфены, журчавшей ручейком все время, пока я у нее просидел. Узнал я, что отец-батюшка ее, овдовев, ушел пешим куда-то в дальнее богомолье, поручив хозяйство и детей сестре с мужем, очень скоро их разорившим.

— У батюшки — царствие ему небесное, коли помер, доброго здравия, если жив! — земли было три души, три лошади, четыре коровы изо всего стада, овечки... Кузнец он был... Шибко книги читал божественные, по монастырям каждый год ходил. А однажды ушел и не вернулся, как сгинул. Ну, без хозяина, сам знаешь, прахом все пошло... Тетка нас побираться посылала, я было и попривыкла под окошками стоять, милостыню научилась просить Христовым именем... И помогал он, ничего не скажу — подавали. Да барыня наша, дай ей бог здоровья, проведала и к себе в монастырь взяла. Сначала в послушницах ходила, а летось и постригли меня... Так-то покойно тут, жизнь чистая... На праздники паникадила в храме так и горят, больше нашего свечей нигде не зажигают — матушка наша любит, чтобы свету много было... И дров не жалеют, чтобы тепло было, хоть в церкви, хоть по кельям... Да ты кушай, кушай, заговорилась я! Это все свяченое, богово. Водицей вот запивай, она пользительная — из церкви.

Оказалось, что упоминаемая сестрой Грушей барыня — отцова кузина тетушка Аня, ушедшая в монастырь после истории, по тем временам скандальной.

Теперь поневоле недоумеваешь: сколько горя доставляли семьям подобные происшествия, как искренне почитали их несмываемо позорными! Это все равно как всерьез переживать ныне французский роман конца прошлого века, в котором разорение отца — источник страдания детей. И какая это любовь, если жених отказывается от невесты, ставшей бесприданницей? Грош ему цена, не так ли? Эка штука, ска-

жем мы, потеряли деньги! А тут стреляются, покидают родину, становятся отшельниками...

Разумеется, дело не в том, будто менее прежнего любы людям деньги и достаток. Но двадцатый век приучил к мысли о чрезвычайной зыбкости земного благополучия.

* * *

Тете Ане приходилось подолгу живать одной — муж ее, моряк-гидролог, уходил в длительные плавания. И как-то отсутствовал около двух лет. Из-за раннего ледостава в районе бухты Тикси он не мог выбраться с островов, где промерял морские глубины. О судьбе его сведений не поступало очень долго, его даже считали одно время погибшим. Будь тетя Аня счастлива в замужестве, она дождалась бы следующего лета и точных известий. Но жить вместе им довелось очень мало — ни близости, ни ладу между супругами не было. И тетя Аня уступила домоганиям какого-то столичного удальца, известного своими успехами у женщин.

Связь была столь кратковременной, что почти не получила огласки. И тетя Аня сравнительно спокойно жила, пряча свою беременность и готовясь к родам. Была подыскана надежная кормилица для будущего ребенка. Его, после благополучных родов, увезли в далекую деревню.

Известие о возвращении мужа застало тетю Аню вполне оправившейся и обеспечившей прикровенность своей тайны. Муж вернулся обмороженным, еле живым после цинги. Лечение и уход помогли кое-как наладить совместную жизнь. И в семье тети Ани все пошло, как часто бывает: внешнее согласие и корректность отношений не позволяли и отдаленно предположить отсутствие любви и понимания. Жизнь супругов текла в соответствии с понятиями их круга, без перемен и потрясений.

Отъезд тети Ани в монастырь, где она через короткое время постриглась, был полной неожиданностью. О причинах его долго гадали, пока она сама не объяснила все в письме мужу. Ребенок ее, воспитываемый в деревне, умер, не дожив до года. Эта смерть, как будто уничтожившая всякие следы «греха» тети Ани, смутила ее покой. Она представляла себе своего брошенного младенца неухоженным, голодным, перезябшим в выстывшей за ночь избе, на руках у равнодушной бабы, которой он мешает спать... И не находила себе оправдания.

Тетя Аня, как было принято в то время, открылась на исповеди своему духовнику. Батюшка, перебрав в уме ограниченный арсенал способных исцелить болящую душу средств, какими располагала церковь, имея дело со светскими дамами, посоветовал удалиться на время в монастырь. Там можно было, не возбуждая толков, принести, после строгого поста и епитимьи, церковное покаяние. Оно, купно со сделанным в монастырскую казну вкладом, вернуло бы грешнице душевный мир.

Увлекающейся тете Ане мысль удалиться за молчаливые стены древней обители и, распростершись на каменном церковном полу, день и ночь замаливать свою вину понравилась. И она покинула Петербург.

Скоро ли тетушка получила утешение и успокоилась, сказать трудно, а вот размеренный и тихий чин монастыря сразу пришелся ей по душе. К тому же тете Ане было в то время за сорок, и она сознавала, что жизнь, не порадовавшая ее большим счастьем смолоду, вряд ли сулит ей его в будущем. В монастыре же грешницу окружили вниманием и почетом: в десяти верстах от него находилось ее обширное неразоренное имение. Она поняла, что здесь ей обеспечено видное положение и род деятельности по душе.

Уже через два года после пострижения тетя Аня сделалась настоятельницей монастыря, с которой считались не только в консистории, но уездные и даже губернские власти...

* * *

В городе мы прожили несколько дней, однако на ярмарку меня больше не водили. Я прескучно проводил время у городской родни и почти не видел отца, пользовавшегося праздничным съездом, чтобы повидаться с давними знакомыми и для деловых свиданий. И к нему приходило немало народу, больше всего крестьян, на все лады склонявших одни и те же слова: «обчество», «земля», «ссуда», «банк»... Им, видимо, представлялось, что отец, член правления крестьянского банка, всемогущ, и они настойчиво, мало вникая в его возражения и ссылки на закон и устав, просили помочь приобрести землю.

— А ты, барин, через банку... Через банку все можно... Разве мы против? Обчество приговор выправит...

Мужики были приодеты, разговаривали рассудительно и

терпеливо. Исчерпав перечень доводов, начинали, немного обождав, повторять все снова, что подчас приводило к цели. Отец говорил: «Давайте попробуем» — и указывал, куда и с чем обратиться. После чего они расходились, вполне довольные друг другом.

Обратная дорога запомнилась по событию, придавшему такой праздничной поездке на ярмарку жуткий колорит.

* * *

...На большак легли тени придорожных деревьев. Жара спала, и в воздухе висел запах неостывшей пыли, смешанный с нанесенными с полей ароматами цветущих хлебов. На дороге было по-прежнему тесно — народ разъезжался из города. Лошади охотно бежали к дому под веселое покрикивание и песни, не слишком ладно затягиваемые подгулявшими седоками. За телегами, ехавшими шагом, прижимаясь к обочинам, устало ступали привязанные за рога коровы, подгоняемые бабами с хворостиной. Я дремал, укачиваемый ровным ходом коляски.

Очнулся я от толчка: кучер осаживал лошадей. Отец, стоя в экипаже, всматривался в толпу, скопившуюся возле кустов у самой дороги. Кругом беспорядочно наставились покинутые телеги. Лошади тянулись к зелени, волоча брошенные вожжи; длинные оси со стуком сталкивались, соскочившие с них тяжи волочились по земле, еще больше все запутывая.

— Эх, грех какой! Убили человека...— сказал кучер, которому с козел было видно через головы толпящихся людей.

Я вскочил и в ужасе бросился к отцу. Он довольно резко отстранил меня, усадил на место и, приказав никуда не уходить, сошел с экипажа. Я успел разглядеть, как два стражника в плоских фуражках с кокардами выволакивали из толпы мужика, нетвердо стоявшего на ногах, без шапки и в разодранной у ворота светлой рубахе. Руки у него были заведены за спину и связаны в локтях веревкой. Оттого что его сзади подталкивал огромный мужик в поддевке, связанный горбился и мотал низко свесившейся головой. Страшнее всего были забрызганная кровью рубаха и залитые ею онучи. Мужик был обут в лапти.

— Не напирай! И куда лезут! Сказал — отойди! — надрывно покрикивал кто-то из толпы, тихой и недвижной.

Оттуда вышел отец с чиновником в крылатке и форменной фуражке, знакомым доктором в мешковатой чесучовой паре

и щеголеватым урядником, придерживавшим шашку на длинной портупее. Они остановились возле экипажа.

— Какой ужас! Какой ужас! — восклицал отец, быстро прощаясь с ними.— Поедем, Федор... Какой ужас! — снова повторил он.

— Никак наш мужик, барановский? — осторожно спросил кучер, подбирая вожжи.

Тройка стала шагом выбираться мимо наставленных телег.

— Да... Самойло... Ну кто бы мог подумать?.. Говорят, как выехал из города, стал браниться с женой, попрекал, грозил, донял так, что она с телеги соскочила и пошагала назад в город. Он за ней — с топором... И зарубил... Ах, что вино делает! Себя не помнят...

— Чего говорить, барин,— не утерпел Федор,— видят-то это самое вино один раз в год, на праздник,— вот и хмелеют с одной чарки... Да и она у него, барин, еще летось гулять стала. С приказчиками чернышевскими путалась... Самойло-то больной, а она баба...

— Ладно, Федор, при ребенке,— спохватился отец.

Миновав подводы, кучер тронул лошадей, и мы покатили шибко.

На лесную дорогу мы съехали, когда уже зашло солнце. В просветах бора алела заря, бросая багровые отсветы на вершины сосен. Некоторое время с большака еще доносился грохот телег по булыжникам, обрывки песен, гикание. Кто-то пронзительно, на весь лес, по-разбойничьи свистнул, потом захохотал. В притихшем лесу словно неслись ватаги развеселых молодцов, не знавших, куда девать свою удаль. Я сжался и притих.

— Разгулялись,— процедил Федор.

До самого дома никто больше не произнес ни слова.

3

Должно быть, дальность расстояний и скудость транспортных средств — по теперешним представлениям, россияне, особенно в провинции и по деревням, вовсе «сиднем сидели», почти не выезжая со своей родины,— породили распространенную в нашем народе поговорку «моя хата с краю». Пусть происходят где-то перемены, волнения, погромыхивают войны, все это — за горами, за долами, и местная жизнь от того не возмутится. И на рубеже первого десятиле-

тия века люди в уездных городках и по волостям отходили ко сну вполне спокойно — вспомним, что до войны четырнадцатого года газет в деревнях не выписывали вовсе, да и у городских обывателей не было к ним привычки,— в уверенности, что и назавтра утром все останется в точности, как накануне. Лишь отдельные души метались, чая перемен.

Между тем незримая стрелка исторического компаса, дрогнув, заколебалась и пошла, пошла смещаться по градусной сетке, все резче меняя направление... Жили слепыми и глухими, думаем мы, не допуская, чтобы была возможна жизнь без сомнений и тревог, без сознания своей причастности тому, что делается далеко за околицей или строем бесчисленных полосатых верстовых столбов вдоль тысячеверстных трактов... И — тем более! — в других странах, на других континентах...

Мудрый француз, утверждая, «чем более все меняется, тем более остается прежним», имел, несомненно, в виду человеческие инстинкты и натуру. Они стойко переживают все мыслимые общественные сдвиги, революции, перевороты в науке, крушение верований, удивляя своей неискоренимостью. Формы жизни вряд ли подвластны этому изречению. И как раз их изменение заслоняет от нас облик предшественников и затрудняет понимание того, чем они жили.

Первые мои городские воспоминания падают на четвертый и пятый год века, когда шла русско-японская война, а Петербург, где мы жили, сотрясали события первой революции.

И если возникающие в памяти картины далекой деревенской жизни всегда связаны с простором, открытым воздухом, зелеными далями — воспоминания о петербургском детстве воскрешают что-то замкнутое, ограниченное, лишенное яркого света. В городе мы жили зимами.

* * *

...Настенная керосиновая лампа с абажуром в виде огромного тюльпана матового стекла с синими прожилками мягко освещает стоящую напротив вешалку с тяжелыми шубами и шинелями, дубовую спинку и сиденье дивана-ларя, зеркальный столик с военными фуражками, меховыми шапками, шарфами. На углы передней и двери в глубоких проемах света не хватает, они затушеваны тенями. Мое внимание приковал положенный на подзеркальник морской кортик в черных ножнах, с белой костяной рукояткой, сверкающим, золоченым эфесом и пряжкой на черной портупее. Это приехал

проститься перед отплытием на Дальний Восток дядя Андрюша, двоюродный брат матери. У него мягкие душистые усы и небольшая бородка; на голове у дяди мало волос, он носит пенсне на шнурке, так что даже в сюртуке с эполетами у него нет бравого военного вида. Да и разговаривает он негромко, грассирует.

Отец говорит, что дядя Андрюша — копия одного его профессора в университете. И ему бы надо кафедру. На что мать отвечает, что в их семье мальчиков всегда отдают в морской корпус. Так повелось от прадедов, адмиралов русского флота.

Однако кортик этого военного мирного облика — воплощение самых героико-воинственных доблестей, какие я могу себе представить. Он влечет меня неотразимо. Я дергаю за рукоятку, и клинок неожиданно легко выходит из ножен. Он блестит остро и опасно, я чувствую в этом что-то недозволенное и тороплюсь водворить его обратно, пока не застигла ворчливая гувернантка.

Отклики далеких сражений доносились до детской, где зазвучали незнакомые прежде слова — «банзай», «Порт-Артур», «Мукден». Мне подарили коробку оловянных солдатиков с желтыми лицами и раскосыми глазами. Я их выстраиваю вокруг сооружения из кубиков, изображающего нашу тихоокеанскую твердыню. Гарнизон ее составляют рослые бородатые солдатики в серых папахах и офицеры в фуражках с красным околышем и обнаженными шашками. Были и пушки, стреляющие деревянными шариками, и розовый колесный пароход со сломанным заводом, который я превратил во вражеский флагман «Иокогама». Лупил я по нему из пушек с великим остервенением: на этом театре военных действий японцы бывали всегда наголову разбиты!

Не менее памятна и уличная обстановка того времени. Конные разъезды казаков патрулировали столицу. Они стояли биваком на перекрестках, жгли на снегу яркие костры, и спешившиеся всадники, обвешанные оружием, грелись возле них, выставляя к огню руки или раздвигая полы шинелей и бекеш. Но всего занимательнее было глядеть на гарцующих на своих мохнатых коньках удальцов в лихо заломленных желтоверхих папахах и с разрумяненными морозом бородатыми лицами. Иные из них озорно крутили над головой нагайкой, затягивая повод и заставляя лошадь подняться на дыбы. Окружавшие всадников зеваки испуганно шарахались, и казак отъезжал с веселым хохотом, поправляя петлю пики на плече или размахивая сверкающей шашкой.

Няня спешила увести меня подальше. Я упирался, напуганный и очарованный. По дороге она мне толковала про злодеев, затеявших мутить Россию и извести царя.

А дома на случай забастовки запасали воду. Взрослые ходили озабоченные, с тревогой ожидая событий. Запомнились на столе в кабинете отца груды ярких журналов и листков, в которых преобладал красный цвет: то были революционные издания, выходившие во множестве в короткое бесцензурное время. Рисунки в них немного говорили ребенку. Почти во всех фигурировал один и тот же кургузый усатый человечек в горностаевой мантии и криво сидящей на голове короне. Рядом с царем неизменно изображался дракон бледно-зеленого цвета с чешуйчатым хвостом; в его кольцах помещалась избушка с вывеской — царев кабак,— и растерзанный лохматый мужик, пьющий из горлышка бутылки. Взрослые читали надписи про зеленого змея и царя, спаивающего народ, чтобы иметь деньги на солдат.

Знакомые и почта приносили тревожные вести. Отношение к ним было двоякое. Как ни мал я был, мне было понятно из разговоров взрослых, что в России допотопные, плохие порядки, которые давно пора изменить: вот в Англии... И даже торжествовали с оттенком злорадства: не захотел царь по-хорошему дать конституцию, как его просили всеподданнейше в начале царствования, так теперь заставят. Народ *сам* потребует! Но за стенами уютных гостиных, где судили и витийствовали по этому поводу, происходили события, не предусмотренные подобными видами на мирные преобразования. Разыгрывались ветры, грозившие всколыхнуть страну по-пугачевски и, чего доброго, перехлестнуть все границы...

Приятель отца, восьмипудовый казанский помещик, приходил расстроенный. Он вяло сидел за столом и охал, показывая письма приказчика с известиями о спаленных гумнах, самочинных порубках, о растерявшихся и утративших власть волостных старшинах.

— Вот увидите, разгуляются — не унять будет! И чего царь смотрит...

Узнавалось о случаях неподчинения в войсках, о вспыхивавших и в захолустьях волнениях, распространившихся и на богатые хлебные города юга. Вовсе притихли и задумались, когда прогремела по России весть о восстании на Черноморском флоте... Самодержавие, разумеется, постыдная азиатчина, за него неловко перед просвещенной Европой,— но если запылают усадьбы и взбунтуется городской люд, оборонит только царь, не так ли?

...Отец не поддавался страхам, говорил о неизбежных отклонениях маятника и уверял, что все встанет на свои места, будет либеральная конституция, справедливая земельная реформа... И вдруг — известие о гибели многочисленной семьи главного инженера рудников в Екатеринославской губернии, принадлежавших моему деду. Зверское убийство — там удавили и детей — было делом шайки грабителей, и хотя оно и отдаленно не было связано с забастовками и беспорядками на шахтах, рядом с озабоченными толками о них и эта трагедия отложилась в памяти. Вот оно, пугался я,— пошли разбойнички гулять по Руси! Сарынь на кичку!

Впечатление было, по-видимому, очень сильным, если я до сих пор помню, как мать разглядывала в альбоме фотографии обширного деревянного флигеля, на террасе которого сидят взрослые, подростки и малыши, и плакала, что никого из них больше нет в живых...

* * *

Меня водили гулять в сквер на Греческом проспекте, поблизости от которого мы тогда жили. У входа сидели торговки с полными семечек, александрийских стручков и леденцов корзинами, поставленными прямо на снег. Наблюдавший за порядком сторож с метлой сердито косился на носившихся по площадке детей и цыкал на них.

Самым интересным было пробраться к задней решетке сквера, примыкавшего к пожарной части. Тревоги и учения пожарных — гулкие удары колокола, грохот выкатываемых красных колесниц, блеск медных касок, ни с чем не сравнимое зрелище холеных одномастных коней, гривастых, как в сказках, запряженных четверками в ряд и бешено выносящих гремящие по булыжникам повозки, помпы, бочки и лестницу, скачущий впереди герой, звуки рожка — все это составляло истинный праздник для ребят, прильнувших к железному переплету ограды. Немудрено, что родственники, докучавшие детям стереотипными вопросами, слышали от меня в ответ: «Буду пожарным!»

По воскресеньям няня отправлялась со мной в Александро-Невскую лавру и там подолгу простаивала на коленях перед сверкающей выпуклыми серебряными фигурами чеканной ракой благоверного князя. Я должен был смиренно стоять неподалеку. Стоило мне потянуться к застывшей струйке воска на пылающем тысячью свечей паникадиле или

поводить пальцем по подножью высоченного распятия, как няня тут же шепотом меня одергивала и требовала чинного стояния лицом к иконостасу. И я вновь и вновь оглядывал пышное убранство храма, уходившие под купол ряды сияющих икон, мраморы и позолоту. Иногда из боковой двери алтаря выходил огромный чернобородый иеромонах в необъятной шуршащей рясе, клобуке и с наперсным крестом на массивной золотой цепи. Мимоходом он весело подмигивал заскучавшему мальчонке, широкие шаги его гулко отдавались пустом храме. У паперти дверь перед ним распахивалась сама собой, и он, не останавливаясь, делал неопределенное движение поднятой правой рукой в сторону чьей-то согнутой в три погибели спины.

У няни на обратном пути бывало отрешенное, важное настроение. Она наставительно поясняла мне великую пользу молитвы такому угодному богу святому, извечному заступнику Руси, как Александр Невский.

В комнате няни стояла божница со множеством образов, убранная фарфоровыми яйцами на лентах, крестиками и освещенная лампадой, мягко мерцавшей красным огоньком. Я и сейчас вижу ее пышно взбитую оборчатую постель с горкой подушек, накрытый домотканым рядном сундук, столик, за которым няня любила сумерничать с блюдечком остывшего спитого чая. В слабо освещенной фитильком лампады горнице печка бывала жарко натоплена. У няни всегда было уютно и чинно, и она, не слишком кроткая вне этих стен, здесь бывала умиротворенной и благостной и, без обычного накрахмаленного чепчика, с гладко причесанными седеющими волосами, разобранными на пробор, выглядела доброй, тихой. Я сидел присмиревший, внимательно слушал, не перебивая, неторопливые ее пересказывания жития Феодосия Печерского или юности Николая, чудотворца Мир Ликийских. Рассказывать сказки она была не охотница.

* * *

Воспоминания детской смыкаются с первыми школьными впечатлениями. Учился я в Петербурге, в Тенишевском коммерческом училище, куда меня отдали в 1908 году.

Я провел в стенах этого далеко не заурядного учебного заведения — основанного аристократом-либералом в посрамление гимназий и прочих казенных средних школ

с их устарелыми программами и допотопными методами обучения — девять лет, заслуживающих, вероятно, подробного рассказа. Однако память удержала лишь отдельные картинки.

Какой была тогда Россия, чем жили мои родители, знакомые, встречные на улице, народ в деревнях, люди того времени? Люди, не знавшие, что постыдно богатеть, предосудительно пользоваться чужим трудом, не слыхавшие о марксизме и верившие в то, что «все в руцех божиих»?! Можем ли мы их понять, представить себе их горизонты?

Сейчас, пожалуй, нетрудно, оглядываясь на то время, указывать на признаки назревавших в России крутых событий, делать заключения об очевидных будто бы и тогда симптомах болезней, предопределивших скорое крушение строя. Минувшие десятилетия позволяют, как с горы, обозревать обширные горизонты, сближать и обобщать разрозненные явления. Так, с самолета легко и наглядно рисуются течение и бег самых крошечных ручейков и притоков, вливающих свои воды в общий поток. Но как это далеко от того, что доступно бредущему по земле человеку! От того, что могли прозревать в то время подданные русского царя, затерянные на необозримых пространствах империи! Тогда могло казаться, что страна, вопреки обветшавшим порядкам, устремилась наверстывать упущенное, занять свое место среди ведущих держав мира...

* * *

У нас в деревне часто бывал приятель и дальний родственник отца Василий Ефремович Новоселов — наследник старинного «торгового дома» в уездном городе, человек деятельный и даже кипучий, поражавший и нас, детей, азартом, с каким он носился с ракеткой по теннисному корту, готов был прыгать на пикнике через костер, исходившей от него веселой, самоуверенной напористостью. Сопутствовавший ему во всех начинаниях успех — инженер с не то бельгийским, не то французским дипломом, он основал процветающую льняную фабрику, распространил дедовскую торговлю русскими ситцами по всей империи, женился на уездной первой красавице, обратившейся после трехлетнего пребывания в Париже в подлинную светскую львицу, элегантную и недосягаемую, трижды завоевал Гран-при на

голубиных садках в Монте-Карло,— эта неизменная удача или везучесть сделала Василия Ефремовича неувядаемым оптимистом.

Как сейчас вижу его, несколько небрежно одетого в летний дорогой костюм, в очках с толстыми стеклами — этот первоклассный стрелок был сильно близорук,— его круглую, стриженную под ежик голову с оттопыренными ушами и широкий рот с полными, выдающимися под щеточкой коротеньких усиков, губами, умостившегося с чашечкой послеобеденного кофе в руке на балюстраде веранды, откуда он, возвышаясь над сидевшими в плетеных креслах вокруг кофейного стола гостями, низвергал на них поток своих суждений, призванных подразнить и раззадорить слушавших.

— Ох уж эти нытики! Дурно все кругом, нищая Россия... да откуда вы это берете? Помилуйте! Приглядитесь, что на матушке-Руси сейчас делается.— Он сделал широкий жест, словно приглашая всех осмотреться, потом ловко поставил чашечку рядом с собой на покатые перила и выставил вперед руки, как делают, чтобы считать на пальцах.— Нашего брата — фабрикантов и промышленников — все прибывает, и мы не жалуемся на дела: разворачиваемся, завоевываем азиатские рынки, тесним господ англичан. Это — раз.— Он загнул палец.— Не спят путейцы, строят железные дороги. В Донбассе сеть их — как в горнопромышленном Уэльсе, из Петербурга во Владивосток прямого сообщения международные вагоны. Загибаю второй палец. Ну и три: Россия по праву называется житницей Европы, кубанская пшеница лучшая в мире. A cuir russe — русская кожа, лен? Мы начинаем исподволь работать в Сибири — вот уж Новониколаевские заводы поставляют рельсы, вот и наш тверской мужик, переселившийся в Алтайские степи или в Уссурийский край, сделался там процветающим фермером... Это все, господа, как на ладони, не хватит пальцев все перечислить...— Знаю, знаю, вы начнете говорить — малоземелье, теснота...— хотя никто не прерывал оратора,— а разве нельзя понять, что дворянские поместья доживают век: кромсаются, дробятся, переходят в руки мужиков, лесопромышленников, огородников, мелких и крупных предпринимателей... Крестьянский банк с каждым годом расширяет операции.

Василий Ефремович был небольшого роста, ноги его не доставали до пола, он их скрестил и помахивал положенной сверху победно.

— Да что говорить! Я стал хозяином львовской родовой вотчины — Василёва, так что извольте теперь указать на

грань, отделяющую благородное сословие от разночинцев: прежние ограничения сделались пережитком, само понятие «податное сословие» успело выветриться, стерлось. Наше губернское «благородное собрание» исправно присылает нам с женой приглашения на все балы и торжественные вечера... Куда ни посмотри — развиваются и богатеют промыслы, не за горами замена общинного отсталого земледелия фермерскими хозяйствами хуторян: тесный кафтан устаревших порядков трещит по всем швам. Вот только побольше бы грамоты, просвещения, и русский народ опередит своих западных соседей. Некому, по совести говоря, у нас тужить — разве одному духовенству, ему, верно, вряд ли удастся вернуть себе прежнее влияние в народе. Даже удивительно, господа, сколь непопулярным оно сделалось, правда,— не со вчерашнего дня...

— Да, да,— подхватил он снова, после паузы,— пресловутый «рабочий вопрос», но ведь и тут, после пятого года, сдвиги и перемены к лучшему: на крупных заводах учредились профессиональные союзы, кассы взаимопомощи, инспекции, и хозяевам уже нельзя с ними не считаться... Подвожу итоги своей затянувшейся филиппике против маловеров и мрачных предсказаний: Россия на подъеме, народ выбирается из темноты, становится зажиточным, и невдолге будет устранено все, что мешает прогрессу, в первую очередь рогатки ветхого строя. Нам, промышленникам, деловым людям, нужны демократия, гласность, подлинные парламентские порядки, они у нас будут, несомненно будут!

Василий Ефремович соскочил с перил и взволнованно зашагал взад и вперед по веранде.

— Не думайте, что я витаю в мечтах, не вижу у себя под ногами,— продолжал он уже без иронических ноток, серьезно и с чувством.— Разве нет под боком у богатеющих крестьян бедствующих горемык — безлошадных, бескоровных? Не кишат голью городские ночлежки, не ужасают своей отверженностью Хитровы рынки, а нужда не приводит в публичные дома толпы девушек из деревень и мещанских слобод?.. Благополучие бок о бок с отчаянием, сытость, уживающаяся с лишениями. И сколько еще этих вековых язв России — нищета, неграмотность, убожество официальной идеологии, пережитки дореформенных порядков, тупоумие административной власти. Но открылась отдушина: обо всем этом говорится и пишется открыто. Губернаторы и полицмейстеры стали опасаться ядовитых фельетонистов и разоблачений с трибуны Государственной

думы. Еще десяток, много два лет, и вы, господа, будете обо всем этом знать, как о крепостных порядках в рассказах Радищева, как про зверства Салтычихи. Не знаю, как вам, а мне вот ясно видится такая обновленная, процветающая Россия, с либеральными порядками, с независимыми судами, с изжитым навсегда унижением безгласных, непросвещенных людей.

— Это все так выглядит с твоей колокольни, Вася,— заговорил после короткой паузы отец; в тоне его был упрек.— Да, слов нет, тугая мошна отворяет все двери, мостит любые дороги, хоть это и не сегодня началось. Но вспомни: давно ли министр просвещения объявлял с трибуны Государственной думы о ненужности знаний для кухаркиных детей? А помнишь зловещее «так было — так будет», прозвучавшее в устах другого министра в подавленной ужасом стране после Ленских расстрелов? Верно, понятие о податном сословии стерлось, но — согласись — как часто еще приходится сталкиваться с предвзятым отношением к разночинцам... И не одним нашим батюшкам приходится огорчаться, ощущая, как уходит из-под ног почва. Знаю, что и крестьянам нашим бывает невтерпеж: Европу Россия кормит — пусть, но мы-то с тобой не назовем, если по совести, подряд двух лет, когда бы обошлось без «голодающих губерний»; а как мало делается, чтобы изжить бич неурожаев, ты знаешь не хуже меня. Так что в розовые твои краски справедливо изрядно добавить темных...

— Сереньких — пускай,— не сдавался Василий Ефремович, но разговор перевел на другое.

* * *

Резкая веха — год начала германской войны. Она не только в наблюденных сценах и картинах, в запомнившихся разговорах взрослых, но и в прочитанном. Утреннюю газету спешили развернуть, нервничали, если разносчики запаздывали с вечерним выпуском. Они на всю улицу выкрикивали сообщения об очередной победе на австрийском фронте и о тысячах взятых в плен солдат. На всех перекрестках, по всем закоулкам столиц шелестели слухи о наших поражениях, о бездарности генералов, о подкупленных врагом министрах и измене двора!

Тогда, помнится, мне впервые разрешили самостоятельно читать газеты. Однако присматривали, чтобы я не заглядывал в последнюю страницу: там печатались уголовная хроника и отчеты из «зала суда», способные дурно повлиять

на мою нравственность. Мне кажется, что четырнадцатый год стал в моей жизни метой, у которой закончилось детство.

Нечего говорить, что война воспринималась не по одним газетам и слухам. Она откладывала отпечаток на всю жизнь и так резко запоминалась именно потому, что глубоко проникла в ее толщу — и стала на глазах менять мироощущение, выветривать остатки патриархальности, искоренять равнодушие к общественному делу. Все стали чувствовать себя втянутыми и втягиваемыми в судьбы государства. И если за десять лет до того, узнавая про осаду Порт-Артура и сражения в Маньчжурии, можно было твердо полагать, что «моя хата с краю», теперь в самых глухих захолустьях с опаской приглядывались к надвинувшимся на отечество тучам.

К нам в деревню известие о войне с Германией принес нарочный, присланный отцу из уезда. Почти сразу после него появился урядник с мобилизационными предписаниями. Так что одновременно с начавшимися разговорами, гаданиями и предположениями на террасе, где собирались хозяева и гости усадьбы, почувствовалась и беспощадная рука войны. Кому-то предписывалось назавтра явиться в уездное воинское присутствие, кто-то заспешил в Петербург, прервав отпуск. Пролились первые слезы разлуки, раздались горестные причитания деревенских баб, провожавших своих кормильцев.

Еще утром этого дня я запанибрата купался с любимым племянником отца, молоденьким адъютантом какого-то полка, играл в лапту и теннис с ним и двумя кузенами-юнкерами. А теперь уже молча, с величайшим почтением, чувствуя себя ничтожно маленьким и незначительным, присутствовал при спешной укладке ими чемоданов. Я понимал, что они отныне призваны выполнить свой долг взрослых перед Россией, отдавая ей свою жизнь, и имеют полное право не замечать меня. Собрался уезжать и отец. Стали прощаться гости, так что усадьба, до того веселая и оживленная, притихла. Напряженно и нервно поджидали известий. И вскоре они нахлынули в избытке.

Газеты сенсационно-крупным шрифтом сообщали о первых пограничных сшибках разъездов казаков с уланами; стало сразу известно всей России имя казака Кузьмы Крючкова, расправившегося с дюжиной противников; публиковались портреты бородатых генералов; появилась ставка Верховного главнокомандующего; в Таврическом дворце гремели речи...

Журналы наводнены фотографиями — тут запруженная толпами Дворцовая площадь с лесом рук над головами, портретами, раскрытые рты. Шли внушительные колонны петербургских заводов, пели гимн, кричали «ура». Особо снимались депутаты Думы, явившиеся в полном составе заявить царю о своей поддержке правительству. Милостивые приемы, потоки слов и обещаний, клятвы... Сразу появилась отдельная рубрика: списки — пока короткие — убитых и раненых, поименно перечисленных, некрологи. И едва ли не возглавил их сын великого князя Константина Константиновича Олег. В первый день войны в стычке у границы его смертельно ранил пикой немецкий улан. Романовы надели траур.

Одушевление и подъем спали очень скоро. Газетные вести с фронта — процеженные, с угадываемыми недомолвками, дополняемые наводнившими страну слухами,— будоражили уже меньше. Разве уж очень выдавались из ряда. Глаза привычно скользили по журнальным иллюстрациям с выезжающими на позицию орудиями, смотрами, батальными эпизодами. Оптимизм первых дней продержался недолго. Все почувствовали, что недостаточно подготовленная Россия втянута в труднейшее испытание; что до возвещанного победоносного вступления в Берлин трагически далеко. И видели зияющие провалы там, где недавно все рисовалось прочным и благополучным. Поползли и по деревням шепоты об измене царицы, о связях двора с врагом. Был повешен Мясоедов, отстранен Сухомлинов. Назывались высшие офицеры и приближенные с немецкими фамилиями... И на смену непрочному примирению общества с верховной властью, не умевшей оправдать надежд и внушить веру, пришли раздражение и подозрительность.

Иллюзии, которые без войны могли продержаться еще десятки лет, рассеивались как по волшебству. Сделалось очевидным, что в деле спасения России от военного разгрома существующий строй не опора, а помеха. Это сознание никчемности царской власти укрепилось во всей стране. Не было, должно быть, глухой деревушки, где бы не толковали о никудышном Николае, поддавшемся своей жене, злой немке, которую уже никто отныне не называл Александрой Федоровной, а Алисой.

Ломая ведомственную рутину и сопротивление сановников, Дума и общество брали в свои руки дело обороны. За июльскими фанфарами четырнадцатого года потянулись тяжелые и мрачные военные будни...

* * *

Здание Тенишевского училища цело и поныне — на Моховой улице, со школой и театральным залом ТЮЗа. Казалось оно мне огромным и вмещало целый неизвестный, заманчивый мир. Всякий раз, что нас, приготовишек, пестун наш Николай Платонович Вукотич, белый как лунь маленький, тщедушный человечек в длинном, испачканном мелом сюртуке и в пенсне на черном шнуре, выстраивал в пары, чтобы вести куда-нибудь по зданию, я как бы отправлялся в фантастическое путешествие. Чего стоил один зимний сад с пальмами, пышными растениями и бассейном с водорослями! Среди них в темной глубине проплывали пестрые рыбки и прятался сом.

С первых же классов малышей водили в мастерскую, уставленную верстаками и пахнущую стружками,— нас учили обращаться со столярным инструментом, строгать и пилить. И как же пригодилось это мне впоследствии!

Путь в класс ручного труда лежал через анфиладу кабинетов и лабораторий. Там в шкафах — неведомые приборы с блоками и металлическими рычагами, банки со змеями и осьминогами. А в одном — скелет со скалившим зубы черепом! Старшеклассники нагревали докрасна стеклянные трубки на синем пламени горелок, вертели головки винтов микроскопов; иногда поражали младших опытами с дымом и бурным кипением или вырастающей на глазах из стакана с сахаром, политым серной кислотой, черной и вонючей ноздреватой шапкой,— этого я и через полстолетия не забыл! И вовсе восхищал зал с кольцами и трапециями, свисающими с потолка, лестницами и турником, матом, на котором кувыркались после прыжка через кобылу. Тут командовал элегантный учитель в визитке, со сверкающей булавкой в галстуке — настоящий швед, выписанный из Стокгольма и сильно коверкавший русский язык.

Тенишевское училище и стало модным в Петербурге именно благодаря таким выписным преподавателям, своим лабораториям и кабинетам, обильным и вкусным ученическим завтракам и особым, прогрессивным методам обучения, позаимствованным чуть ли не в английских колледжах. Тут, кроме этого, была изжита рутина казенных гимназий, введены ручной труд, практические дисциплины. Не было, само собой, формы. Все это вполне отвечало настроениям общества, тянувшего прочь от всего, что отражало еще дух и строй николаевской России. В Тенишевском училище все

было поставлено на широкую ногу. И сюда отдавали своих отпрысков люди разных кругов и сословий — но не состояний! Высокая, значительно выше, чем в гимназиях и ведомственных учебных заведениях, плата за учение предопределила некий имущественный ценз для поступающих. И он стоил ценза сословного или ограничений по вероисповеданию!...

* * *

Однажды в классе был неожиданно прерван урок и всех учеников собрали в просторном коридоре второго этажа — с подобием амвона и киотом на одном конце и портретами царя и царицы на другом. Коридор этот служил рекреационным залом и местом для того, что мы называем сейчас летучками. Торжественные собрания происходили в актовом зале с многоярусным амфитеатром. К нам вышел директор училища в сопровождении словесников и объявил, что умер Лев Толстой. После него говорил мой учитель русского языка Алексей Матвеевич Смирнов-Куфачевский. Он заразил учеников своей влюбленностью в древнюю российскую письменность и вдохновенным чтением «Слова о полку Игореве». Я и сейчас, перечитывая «Житие протопопа Аввакума» и «Слово о погибели земли Русской», вспоминаю милого и неловкого, пришепетывающего Алексея Матвеевича. Его засаленный сюртучок, целлулоидные воротнички и шипящее, с присвистом произношение, над которыми позволяли себе трунить бойкие классные хлыщи.

Возле директора стояли оба законоучителя. Они довольно живо обсуждали что-то вполголоса. Однако переговоры не привели ни к чему: священники, видимо, отказались служить панихиду по отлученному от церкви графу. Непонадобившееся облачение унесли, так и не развернув.

Мне приходится признаться: в то время имя Толстого мне почти ничего не говорило. Знал я только его «Детство» и «Отрочество». Я вообще мало читал русских книг — недаром в классе у меня была кличка «Француз». И вправду, я, как себя помню, был приучен к французскому языку. Он настолько вошел в домашний обиход, что мне привычнее было разговаривать с родными на нем, чем на своем языке. Перечитал я множество французских детских книг, повести Гектора Мало и Доде, знал наизусть сказки Перро и басни Лафонтена. Зато русских сказок почти не читал.

Однако на последующие годы пришлись три важные даты, широко отмеченные всей Россией и решительно повернувшие интересы мои и чтение ко всему национальному.

С начала 1911 года старшеклассники репетировали инсценировки «Записок охотника», а мы разучивали стихи Никитина и Плещеева — деревенская тема выплеснулась наверх. Общество собиралось, воспользовавшись пятидесятилетием освобождения крестьян, разобраться в своих отношениях с мужиком. Петербург наводнили юбилейные издания. В писчебумажных магазинах продавались литографированные портреты царя-освободителя с пышными подусниками и пробритым подбородком, открытки с картины Мясоедова, изображавшего девочку, читающую бородатым мужикам в зипунах царский манифест о воле. На театре шли пьесы о крепостном времени.

У нас дома вспоминали старых слуг и знакомых крестьян — свидетелей дореформенных порядков в деревне. На вечере в училище я прочел стихотворение Майкова «Картинка (после манифеста 19 февраля 1861 г.)». И до сих пор помню строчки оттуда:

И, с трудом от слова к слову
Пальчиком водя,
По-печатному читает
Мужикам дитя.

Однако в те поры хвалить власть, хотя бы и за полезные меры, было не принято — этим занимались отдельные газетчики и деятели, не пользовавшиеся уважением. И о крестьянской реформе, которую мало кто решался назвать Великой, судили строго. И особенно осуждали ее в стенах Тенишевского училища. Преподаватели внушали нам, вчерашним приготовишкам, что отмена крепостного права лишь отчасти и несправедливо разрешила крестьянский вопрос и долг общества перед хлебопашцем по-прежнему велик. И даже неоплатен. Тогда вообще ужасно любили толковать о «младшем брате», и чувство неопределенной вины перед ним прививалось едва ли не с детства. То было время, когда в среде русской интеллигенции не редкостью было встретить бескорыстных и прекраснодушных земских деятелей, людей крайне непрактичных, чью трагическую судьбу предчувствовал Чехов.

Статьи пыпинского многотомного издания, посвященного крестьянской реформе, были мне еще не по зубам, хотя я и слышал много толков о справедливости их обличительного

направления. Но о таких деятелях, как сенаторы Кони и Ковалевский, у меня и в десятилетнем возрасте сложилось самое возвышенное представление. Неподкупность их суждений, верность гуманным принципам, просвещенная терпимость, твердая и достойная позиция в отношении «власть предержащих» казались тогда таким юнцам, как я, образцом для подражания. Нечего говорить, что тут сказывалось влияние отца. С пеленок внушал он мне уважение к людям — и особенную щепетильность по отношению к тем, кто поставлен в зависимое положение.

* * *

На следующий год Россия — на этот раз официальная и народная, в едином порыве,— торжественно праздновала столетие «изгнания двунадесяти языков». Не было тогда школьника, который бы не мог наизусть отбарабанить лермонтовское «Бородино», не знал наперечет имена Давыдова, Фигнера, Сеславина, Платова, у которого бы голова не кружилась от гордости за русских, так блистательно расправившихся с пришельцем. Портреты Кутузова и Александра Первого продавались повсюду. Рынок наводнили лубочные картинки с эпизодами народных подвигов. Особенно распространен был лубок с вооруженной вилами деревенской бабой, ведущей вереницу связанных французов.

Не успели отгреметь салюты на Бородинском поле и смолкнуть речи у вновь открытых памятников, как стали готовиться пышнейшие торжества по поводу трехсотлетия дома Романовых. Его последние представители успели сделаться крайне непопулярными. Куцые половинчатые уступки власти после 1905 года не устраивали никого. Государственная дума хотела стать парламентом, самодержавие тщилось ограничить ее деятельность преподношением верноподданнических адресов. Царем были недовольны решительно все — от крещенных в купели пятого года рабочих до богатейших промышленников, жаждавших избавиться от опеки косной и неповоротливой администрации; от зажатых в тиски малоземелья мужиков до недовольных переменами крупных землевладельцев и монархистов старого толка.

Но, несмотря на это, многовековая традиция монархии еще держалась каким-то образом в народном сознании и затеянные правительством празднества не обратились в балаган, а привлекли к себе общественное внимание. Этому способствовали «высочайшие» смотры войск, в последний

раз облаченных в старую форму времен наполеоновских войн, театральные дворцовые выходы, паломничество царской семьи к колыбели Романовых — Ипатьевскому монастырю, обставленное приемами крестьянских старшин, депутатов от мещанских управ, раздачей милостей, снятием недоимок, подарками и наградами — всем арсеналом блестящих и завораживающих средств, какими располагает власть, чтобы воздействовать на народное воображение.

Меня повезли в Мариинский театр на оперу «Жизнь за царя», как назывался тогда «Иван Сусанин» Глинки. Ею традиционно открывались театральные сезоны на императорской сцене — тем более должна была ее музыка, воспринимаемая тогда как гимн русской монархии, апофеоз триединству «вера, царь, отечество», прозвучать в такие знаменательные для династии дни.

И нельзя было, разумеется, вообразить для этой придворной оперы, да еще в исключительном исполнении — пели Нежданова, Шаляпин, Собинов,— более подходящего обрамления, чем сцена императорского Мариинского театра с ложами и партером, заполненными петербургской знатью, сановниками, генералитетом, дипломатами. Министерство двора рассылало приглашения на представление, приуроченное ко дню восшествия на престол Михаила Федоровича, первого Романова. Нужды нет, что праздновалась фикция, трехсотлетие давно прервавшейся династии, о чем, разумеется, знала вся Россия, почитавшая линию Романовых закончившейся на дочери Петра Елизавете. Но такова сила легенд, если их внушать достаточно последовательно: их принимают и им подчиняются, не вникая.

В царской ложе — Николай II с семьей. Кресла и ярусы заполнили парадные мундиры и придворные платья. Оркестр бессчетно исполняет «Боже, царя храни». Овации, крики «ура»... Царь, царица и великие княжны, не переставая, кланяются на все стороны. Несутся со сцены голоса хора и музыка, славящие православного самодержца, выливаются в сверкающий зал. В ту минуту все верят — перед ними праправнук царя, за которого Сусанин отдал жизнь!

Нечего говорить, какими восхищенными глазами смотрел я — тринадцатилетний мальчик — на весь этот блеск, на всю эту мишуру, как западали в душу музыка, гимн, блистательно-праздничная атмосфера. Мне запомнился старый военный, стоявший в проходе партера возле ложи бенуара, где я сидел. Отвернувшись от сцены, он с побагровевшим от натуги и залитым слезами лицом неистово громко, отчаянно кричал

«ура», воззрившись остановившимися глазами на царскую ложу. Антракт кончился, дирижер уже поднял палочку, кругом зашикали, а старый полковник продолжал стоя тянуть в затихшем зале свое хриплое «у-р-р-а-а». Впрочем, и дамы в ложах то и дело подносили к глазам надушенные платки, смахивая слезы умиления и восторга.

Нет, ничто тогда в гремящем, пахнущем духами, сверкающем драгоценными камнями и золотом праздничном зале Мариинского императорского театра не предвещало, что за этим пышным апофеозом последует очень скоро крушение. Ни одна душа не могла тогда расслышать в несшемся со сцены перезвоне московских соборных колоколов ударов, отбивавших последние часы российской монархии!

* * *

Время понемногу открывало мне глаза на иную жизнь, резко отличную от мира представлений, почерпнутых из старомодного воспитания и оранжерейной среды, в которой я рос.

У меня, кстати сказать, до сих пор не вполне выветрилась обида на моих воспитателей: нормы детской комнаты довлели мне значительно дольше, чем большинству сверстников. Выбор товарищей, хождение в театр и в гости и особенно чтение очень долго находились под строгим домашним контролем. Меня, обряженного в штанишки и чулки, гувернантка провожала в школу, а одноклассники мои уже носили пиджаки и крахмальные воротники с галстуками, многие курили тайком. И кое-кто хвастал посещением таинственного для меня «Павильона де Пари» — заурядного шантанчика на Садовой улице в доме Шувалова, и сейчас украшающем улицу своими тремя легкими портиками с колоннами.

Как-то на большой перемене меня подозвал к себе наш классный наставник, математик Иван Никифорович, кстати не слишком наторевший в своем предмете и потому недолюбливавший и втайне побаивавшийся наших двух-трех учеников, умевших поставить его в тупик каверзным вопросом или просьбой решить трудное уравнение. Был он какой-то весь рыхлый и белый, с пухлыми мягкими руками и внушительным свислым носом. Прогуливаясь со мной сторонкой по рекреационному двору, Иван Никифорович стал

расспрашивать о моих вкусах и увлечениях. Выяснив, что я более всего зачитываюсь историческими повестями Авенариуса, Разина, Мордовцева, Данилевского, посоветовал читать про более близкие времена и предложил для начала книги о декабристах.

Вскоре он принес мне «Воспоминания декабриста Кривцова», какое-то описание жизни в Петровском остроге, причем указал, чтобы в классе я об этом не рассказывал. Как польстила мне эта доверенность! Любопытство мое было возбуждено, но из затеи ничего не вышло. Иван Никифорович не умел подобрать книг, подходящих для возраста моего и развития, они показались мне сухими и трудными. А когда я, услыхав однажды дома разговор старших о террористах, попросил своего просветителя достать мне книжку о народовольцах, тот замялся и в дальнейшем прекратил снабжать меня книжками «с направлением». Зачем понадобилась Ивану Никифоровичу столь робкая попытка приобщить меня к зарождению революционной борьбы в России, оставленная в начале пути? Кстати, этот Иван Никифорович Кавун был одним из немногих преподавателей Тенишевского училища, состоявший на казенной службе и добравшийся до солидного чина действительного статского советника!

В осень первого года войны все классы пополнились учениками, переведенными из западных губерний. Заливавший империю поток беженцев явочным порядком ломал черту оседлости и другие ограничения для жителей Царства Польского. Мой класс, и без того пестрый по составу — за одной партой сидели силач Терка, Терентий Попов, сын разбогатевшего крестьянина-извозопромышленника, и холеный наследник табачной фирмы «Братья Шапшал», караим Данька Танатар; отпрыск придворного банкира Животовского в паре с сенаторским чадом; последний носитель имени вконец захудавшего рода князей Масальских; сын фарфорового короля Корнилова; обучал всех нас приемам бокса Реджи, сын англиканского пастора; легко писал эпиграммы и непристойные стишата Владимир Набоков, энглизированный до пробора и обутых в «брогги» ног юноша, выходец из семьи крупного петербургского чиновника; его отец был одним из лидеров кадетов, другом Милюкова, мать владела большим состоянием, так что Владимир прикатывал в училище в лимузине и порядочно заносился — класс этот сделался подлинным Ноевым ковчегом. В нем оказались дети ремесленников из еврейских местечек, радикальная братия из городских училищ

какого-нибудь Новозыбкова или Могилева, донельзя кипучие и самолюбивые польские шляхтичи, великовозрастные провинциальные реалисты, вносившие совершенно новые и неизвестные дотоле дух и нравы в alma mater, если и видевшую прежде еврейских мальчиков, то только из богатых столичных семей.

Это повело к резкому расслоению между учениками, образованию группок и кланов, с истинно мальчишеским задором соперничавших и воевавших между собой. Классным наставникам, а иногда и директору приходилось разбирать происшествия и казусы, выходившие за пределы обычных школьных проделок. Хотя то, что мы назвали бы сейчас классовой рознью, и не было еще разбужено и дремало подспудно, распри вспыхивали по всякому поводу. Несколько горячих «панов» давали отпор бесшабашно-черносотенным мальчуганам монархического лагеря. Дети, подравшись, бросали друг другу в лицо оскорбительные клички и считали себя принадлежащими к разным политическим партиям.

Я не примыкал ни к какой группе, по-прежнему крайне далекий политических и социальных вопросов, начавших занимать моих сверстников. К четырнадцати — пятнадцати годам у меня сильно развился вкус к средневековой романтике, я бредил Вальтером Скоттом, уносившим меня в мир исторических фантазий. Да и особенности домашнего уклада не способствовали развитию во мне общественных устремлений и тяги к расплывчатым идеалам. В моей семье придавалось исключительное значение манерам и воспитанности, культивировалось достаточно рационалистическое понимание назначения человека и его долга. В общем были в почете внешняя и внутренняя подрядочность, прилежание, трезвая подготовка себя к жизни, в которой человек сам кузнец своей судьбы. Какой-то органический, врожденный либерализм родителей исключал, само собой, внушение детям своих взглядов — отец полагал, что до всего надо доходить своим умом. И разве что свое отвращение к насилию и несправедливости заявлял решительно и даже требовательно.

Меня как-то высмеял одноклассник, которому на его вопрос о партии кадетов я ответил невпопад, простодушно полагая, что речь идет о воспитанниках кадетских корпусов. В четырнадцатилетнем возрасте я не подозревал о существовании думских фракций, тогда как сверстники со всевозможным жаром вкривь и вкось судили газетные новости, повторяя запомнившееся из разговоров взрослых за столом.

Между тем и средние учебные заведения понемногу

втягивались в водоворот закипавших страстей и событий тех предгрозовых лет. Помню, когда распространилась весть о взятии Перемышля, я целый сырой и пасмурный день ходил по улицам Петербурга с манифестацией. Мы несли трехцветные флаги, портреты Николая II и Брусилова, до изнеможения и хрипоты горланили: «Боже, царя храни!..» Сгустились ранние сумерки. Все понемногу разбрелись, а я все не отставал от небольшой кучки, из озорства и упрямства продолжавшей месить сырой снег на опустевшей Дворцовой набережной. Мрачные стены Зимнего дворца с темными до одного окнами как-то тупо гасили наши голоса: гимн падал в пустоту. Чуда не произошло: дверь ни на одном балконе не отворилась и никто к детям не вышел!

Теперь, когда мне известно, что среди преподавателей Тенишевского училища были эсеры и эсдеки, я понимаю: патриотические наши выступления составляли для них неизбежное зло. Но иногда они останавливали нас лишь по долгу службы. Так было, когда старшеклассники сманили нас отправиться на похороны Ковалевского. Наставники запрещали, грозили всякими карами, но ручейки мальчиков обтекали загородивших двери учителей, как речка камни в своем русле. Вскоре и я, с шапкой в руке, очутился в густой толпе, запрудившей улицу возле дома, откуда выносили гроб опального сенатора-профессора.

Потом Тенишевское училище всколыхнула форменная революция — она пришлась, если память мне не изменяет, на осень шестнадцатого года. Новый директор, вспылив на уроке — он преподавал алгебру,— оскорбил тихого и застенчивого Абрашу Малкина, щадимого и самыми лютыми задирами. Слух об инциденте разнесся по классам, начались бурные собрания, кричали: «Долой директора!» И я орал вместе со всеми: «Обструкция!» — не совсем понимая, как ее предстоит совершить. После этого стоило директору войти в класс, как ученики поголовно вставали и молча уходили, не вступая в объяснения. Мне, сидевшему с краю впереди, пришлось как-то первому пройти «перед очи» грозно насупившегося директора. Было жутко и весело.

В ту минуту я впервые так остро ощутил дух товарищества, побудивший моих одноклассников — поклонников Пуришкевича — заступиться за еврейского мальчика. Срываясь со своей парты, я твердо знал, что за мной последуют все мальчики до единого. Никто в классе не останется, будь он распреперв ый ученик и любимчик наставников! Когда я теперь вспоминаю этот эпизод, такая несговоренная круговая

порука — при существовавших между нами несогласиях и розни — кажется мне невозможной. Протест завершился компромиссом. Однако запомнился и послужил прологом для последующих бурных столкновений между учениками и преподавателями: и тех и других уже сильно лихорадило в преддверии революции.

Подростки оставались подростками. Возникавшие симпатии перешагивали через программные расхождения — недаром нам прививали терпимость к чужим верованиям,— приятелями самым непоследовательным образом становились мальчики, чьи родители ни за что не пожелали бы знакомиться. Сближали игры, особенно когда они переходили в увлечение спортом, еще мало в то время распространенным, и ученические спектакли. Одни прослыли записными актерами, кто считался искусным гримером, тот был незаменим как декоратор. Мой одноклассник Рошал, про которого математик Соловьев острил, что «Рошал решал и не решил», и в самом деле никогда не постигший азов математических наук, прославился чтением монолога Гамлета. Умел он с раздирающими воплями одним духом исторгнуть: «Я, Франц фон Моор, хочу, приказываю, чтоб там ничего не было!..» — неистово тыча при этом воздетой дланью в потолок, брался за гоголевского Поприщина, и театралы дружили с ним и превозносили напропалую.

Я однажды сочинил для спектакля сценку из римской жизни — ведь я был записным латинистом! — и должен был изображать в ней жреца, вопрошающего богов для легионера, идущего в Ливийский поход. Сшили мне хитон и тогу с цветной каймой; все мои сбережения ушли на покупку матерчатых роз для венка, украсившего мое чело. Роль свою — обращение к Юпитеру — я выучил назубок. Но наполненный зал за самодельной рампой показался жрецу столь страшным, а волнение перед выступлением так взвинтило, что на первом же заклинании я запнулся. Дальше все забыл, всхлипнул и убежал со сцены. Бежал, путаясь в тоге, теряя самодельные сандалии и оклеенный золотой фольгой жезл. Плачевнее дебюта не придумаешь! С тех пор ответственных ролей мне уже не доверяли и я фигурировал в числе статистов.

Вне школы мы, одноклассники, общались мало — сказывались всякие условности. Жизнь вершилась в кругу родственников и знакомых семьи. Часто устраивались для нас, детей, танцевальные вечера. С малолетства был я обучен танцам, танцевать любил и сделался признанным бальным кавалером. Начались непременные влюбленности в кузин и их

подруг. Память сохранила отдельные имена, обрывки милых сцен, воспоминания о поэтических прогулках и ревнивых переживаниях... Однако сердце возвращается к ним без волнения.

Оно и тогда принадлежало деревне.

4

Лето, как я себя помню, всегда проводили в Давыдове. Сборы и отъезд были такой желанной вехой! Я бежал в магазин на Конюшенной или, в последние предвоенные годы, в «Забаву и Науку» на Литейном. Там покупал заранее облюбованные лук и колчан со стрелами, гербарий или ящик для бабочек, бумеранг, теннисные мячи — что только отвечало увлечению поры и было доступно моему школярскому кошельку.

Мальчиком меня с няней отправляли в деревню в купе второго класса. Едва поезд трогался, я прилипал к окну, пялил глаза на паровозы, стрелки, семафоры — на весь этот дымящий, гудящий, громыхающий, перекликающийся свистками и рожками, играющий огоньками чудесный железнодорожный мир. Любовь к нему жива во мне до сих пор. За мчащимся на всех парах паровозом, с его сверкающими в смазанном сиянии энергичными поршнями, я и сейчас слежу с упоением. Для меня в нем — воплощение механической работы, одушевленной живым усилием. Несравненно мощнейшие электровозы оставляют меня равнодушным.

Во всех мелочах помню первое самостоятельное путешествие по железной дороге. Я ехал без провожатого, порученный присмотру хмурого кондуктора. На станции, где мой вагон прицепляли к другому поезду и надо было ждать три часа, я решился проникнуть в станционный ресторан и сесть за столик. С волнением и опаской следил я, как официант снисходительно ставит передо мной стакан теплого какао. Хотя я несколько раз проверял серебро и медяки в портмоне, прежде чем отважиться на такой взрослый поступок, было страшно: вдруг недостанет денег расплатиться?

На станцию уездного городка за мной высылали легкую пролетку или тарантас, запряженный парой вороных лошадей.

— Бобер! Это Бобер! — кричал я, еще издали узнав статного коренника с волнистой гривой и строптивым глазом. И бежал навстречу экипажу, тронувшемуся к крыльцу станции от коновязи возле тенистого скверика.

Кучер Арсений, с жидкой бородкой клинишком, грустными глазами на худом лице, в картузе и плисовой безрукавке поверх яркой рубахи, встречал неизменно ласково:

— Ишь какой подрос в Питере! Ты, барчук, так-то и меня скоро перерастешь...

Перерасти его было нехитро — Арсений мал ростом, тщедушен, часто болел. Так что еще до войны в один из весенних приездов я увидел на козлах вместо него дородного чернобородого Тимофея: минувшей осенью Арсений приказал долго жить.

Зимой я сильно ленился, и летом приходилось заниматься с репетитором. И это под неусыпным контролем. Может, оттого я так невзлюбил математику, что решать задачи и заучивать теоремы приходилось сидя у распахнутого окна мезонина. А оттуда открывался вид на парк, дорожку к купальне, крыши конюшни с верховым коньком Глазком... Манили наружу щебет птиц, детские крики, вся звенящая и радостная ярь летнего знойного дня. Зато с обеда до вечера можно было делать что хочешь. И месяцы житья в Давыдове запомнились как пора самая вольготная и счастливая за все прожитые годы.

Как-то, еще дошкольником, меня с няней и кухаркой отправили в Давыдово — родители и другие дети оставались в Петербурге. Почувствовал я себя упоительно свободным, недостижимым для вечных запретов — «Это нельзя! Этого не делай!»,— блокировавших мою жизнь с пеленок. Я мог сколько угодно играть с легавым щенком Банзаем, спать с ним вместе в детской, проводить время с конюхами в каретном сарае, помогать отпрягать возвращающихся с пашни лошадей, водить их на водопой. Я пробирался на черную кухню, через порог которой строжайше запрещалось переступать. Кухарка ставила на стол глиняную чашку с гречневой кашей, пахнущей конопляным маслом, вооружала щербатой деревянной ложкой, и я угощался на славу вместе с рабочими, хлебавшими из одной миски и дружелюбно надо мной подшучивавшими:

— Отведай, барчук, мужицких харчей, с них как раз на баб поведет!

Из собирательного образа дворни, прежде для меня безликого, стали проступать отдельные лица, привязавшие к себе, приоткрывшие завесу, что отгораживала усадебного мальчика от деревенской жизни.

Особенно я подружился с пожилым столяром Галкиным, прозванным Галкой. У него была густая всклокоченная

борода с проседью, доброе отечное лицо пьяницы, а на волосатых руках с засученными выше локтя рукавами золотились опилки. Теплый и чуть грустный запах мертвого дерева, свойственный сухим доскам, всегда шел от него. Я подолгу глядел, как он, стоя за верстаком, строгает или долбит, сосредоточенно размечает и ресмусит заготовленные гладкие, один в один, бруски и дощечки.

Пользуясь своей свободой, я заказывал любимые блюда. Просил накрыть то в цветнике, то на галерейке кухонного флигеля — где вздумается. И как-то настоял, чтобы со мной пообедал мой друг Галка. Тот не сразу поддался уговорам, но наконец сел за детский столик с табуретками, должно быть изготовленными его руками. Отведав сливочного мороженого, он крякнул, отер усы фартуком и одобрительно сказал:

— Я теперь знаю, для чего господа поваров держат!

* * *

...Удивительно, какие мелочи доносит память спустя полвека, не растеряв ни единой крупинки! Катя на грузовичке мимо крытых дранкой изб растянувшейся вдоль шоссе деревни, я вдруг увидел под свесом сарая висевший на деревянном гвоздике бороновальный хомут с соломой, торчащей из прорванной холстины, и обтертыми, когда-то крашенными клещами... И боже! Что только и кого только не напомнил он мне, какие только образы не всплыли со щемящей отчетливостью...

...Хомуты для пашни и другую сбрую ладил и чинил угрюмый конюх Алексей, век прослуживший в солдатах и только под старость вернувшийся в деревню. Кавалерист, он презирал все, что не относилось к лошадям и езде. Сидя на низком чурбачке в отгороженном закутке конюшни, он ловко и красиво сшивал сыромятным ремешком шлеи и уздечки, чинил седла, напевая под нос лихие солдатские песни. Мне, подолгу простаивавшему возле него, он иногда говорил: «Не запоминай и — боже упаси! — не повтори где... Попадет! А из песни слова не выкинешь...» И посмеивался в усы. Словечки были и впрямь соленые, не для детских ушей.

Мать и гувернантка, приехавшие спустя месяц, обнаружили, что я разучился сидеть за столом, употребляю бог знает какие выражения и сделался похож на своих сверстников,

детей дворни. Были, разумеется, приняты меры для восстановления утраченной благовоспитанности и прекращения пагубных знакомств.

Но время неуклонно ломало воздвигаемые ограничения — в деревне куда быстрее, чем в Петербурге. Я все расширял рубежи своих походов, из сделавшегося тесным парка уходил в лес и плавал где угодно, лишь бы не в купальне. У меня завелась дружба с сынишкой телятницы Анисьи, тихим, задумчивым Васей. Он приучил меня молча сидеть над речкой и слушать лес в вечерний час. И до странности болезненно для деревенского мальчика Вася переживал брань, ссоры, грубое обращение с лошадьми. В ночном, куда я тайком сбегàл к стерегущим лошадей детям, он уходил от костра, вокруг которого возились и состязались в озорстве и удали остальные пареньки. Вася бродил по уснувшим лесным опушкам или садился на пень и глядел на еле мерцающие в светлом небе звезды.

А потом мальчик вдруг исчез. Я узнал, что его сманили еще водившиеся в те годы на Руси бродячие сборщики милостыни, посылаемые на этот промысел монастырями поплоше. Иногда это были прикрывавшиеся подвешенной на цепочке кружкой и складнями нищие, обращавшие подаяния на собственную потребу. В домотканых армяках, порой в рясах и монашеских скуфьях, обутые в лапти, они кочевали меж деревень, обходя губернию за губернией, запыленные и обросшие, используя исконную жальливость русских крестьян, всегда готовых уделить от скудных своих достатков «несчастненьким». И конечно же сгинул Вася бесследно, тем более что ступил он на древнюю стезю калики перехожего в канун грозных перемен, покончивших с богомольями и нищенским промыслом.

* * *

В одиннадцать лет отец подарил мне первое ружье. Я с ним исчезал из дому на целые дни: рощи и поля, боры и душистые луга сделались моими. Мой охотничий наставник — незабвенный егерь Никита — знал лишь одну страсть: охоту и был слит с лесом, легашами и гончими, глухариной песнью и багряными звуками рога... Ах, боже! Оглашая ими облетевшие мелоча в ранние осенние сумерки, Никита делал дело своей жизни: то был лесной человек, исполняющий свое назначение. Невзрачный, косматый и безбородый, с лицом скопца, темный мужичонка Никита в этот миг превращался в

лесного бога, был прекрасен и одухотворен, как сама Природа... Поднятая голова в замызганном картузе и нескладная лапа, зажавшая высоко над головой медь рога, выделялись на фоне заката эпическим охотничьим видением...

К концу лета я успевал отбиться от рук и огрубеть окончательно. В стеснительный петербургский обиход врастал трудно. Сердце мое целиком принадлежало оставленным в деревне друзьям; русская природа прочно владела моим воображением. Чем старше я становился, тем более тяготился городом, и зимними месяцами мерещились мне милые давыдовские приволья.

* * *

...Жаркий летний день. Еле ощутимое дуновение ветра колышет волны разогретого воздуха: опахнув пылающее лицо, они обжигают его и обдают пьянящим горьким запахом вянущих трав и цветов. Над лесом на горизонте дрожит и переливается струистое июньское солнце. За лугóм блестит река. Вдоль валов подсыхающей, скошенной утром травы движется вереница деревенских баб и девушек в ярких сарафанах и платках. Коротким движением грабель они раскидывают и переворачивают ее сочно-зеленой стороной к солнцу. На глади покоса пышными островами лежат большие кучи готового сена. К ним на махах или вскачь подъезжают порожние телеги с привязанным позади подпрыгивающим на кротовых бугорках гнетом.

На одной из них, стоя, в совершенном азарте, правлю я. Лихо выкатываю на луг, и с жаркого сена навстречу мне поднимаются женщины, начинают подносить крепко сбитые берема. Наклоняясь за ними с растущего воза, я вижу вблизи разгоряченные загорелые лица с приставшими к влажной коже сенинками. Бабы подтрунивают над моей неумелостью, подают сено по двое и по трое зараз, подгоняют, смеются.

Я стараюсь поспеть за ними изо всех сил. И особенно хочется отличиться и показать, что я умею навивать воз не хуже заправского мужика, когда с сеном на граблях подходит девушка-подросток, повязанная по-бабьи платком. Из-под него на меня серьезно смотрят синие глаза. В них нет веселой насмешливости, как у остальных, а сочувствие. И нежность.

Этот сенокос положил начало моему юношескому роману с Настей, повлиявшему на судьбу мою в те годы. Завелись тогда наши первые робкие разговоры, мы стали тянуться друг

к другу. Доверчивость Насти, сердцем подсказанное умение отвечать потребности моей к вниманию, нежности влекли меня к ней невыразимо. Она становилась мне все более и более необходимой и дорогой.

В тот год — последний перед революцией — в Давыдове гостило пропасть народу, устраивались пикники, состязания в теннис, поездки по реке. Я стал избегать затей веселой компании, не ухаживал больше за кузинами. И это было, разумеется, замечено. А вскоре из болтовни прислуги, пользовавшейся деревенскими сплетнями, узналось, что я по вечерам хожу за реку, в деревню, там танцую с парнями и девушками, а с одной из них допоздна хоронюсь по укромным ложкам. Я не поддался попыткам пресечь мое деревенское знакомство, и на меня махнули рукой. Прогулки в экипажах и верхом устраивались без моего участия; взрослые смотрели на меня строго и неодобрительно. Я же радовался, что меня оставили в покое.

В ту зиму в Петрограде я думал о Насте непрестанно, но написать ей так и не решился.

5

Порывистый ветер с Финского залива гонит низкие, клочковатые тучи. Февральское хмурое небо посылает то снег, то ледяные капли редкого дождя. Потемневшие громады домов столицы угрюмо сторожат улицы. Дни бесцветны, и длинны тревожные ночи. Город бурлит, как темная вода в полыньях под арками Троицкого моста.

С Выборгской стороны, с Васильевского острова, с Охты, по всем невским мостам, из-за Обводного канала, от Московской заставы, по Лиговке — отовсюду вливаются в город нескончаемые колонны фабричных в темных куртках. Над ними лоскуты красных флажков, у всех на груди приколоты банты — они как пятна и брызги крови: коротким и порывистым шквалам песен — «Варшавянке» и «Марсельезе» — тесно в каменных коридорах улиц... Вместе с рабочими идут солдаты в серых шинелях: они иногда образуют сомкнутый строй, шагают в ногу, над папахами поблескивают штыки.

Старшеклассники вовсе забросили учение. Я целыми днями шатаюсь по Петрограду, приглядываюсь и слушаю: мне впервые доводится видеть народ, от которого я всегда отгорожен. Даже война не привела к сближению: мне она представлялась цепью вычитанных из газет патриотических

подвигов, не вызывавших мысли о жертвах и страданиях народа, о предельном напряжении его сил. Наравне с другими школьниками я участвовал в сборах пожертвований на увечных воинов, распространял билеты на патриотические концерты Долиной, ходил в Таврический дворец сортировать и упаковывать обувь в импровизированном складе комитета помощи беженцам Государственной думы. Таков был мой вклад в оборону отечества.

И сейчас вижу подъезд дома по Литейному проспекту, на ступеньках которого мы стоим с моим приятелем-правоведом. В десяти шагах от нас движется людской поток — все шагают твердо и спешат. Иногда где-то впереди происходит задержка, колонна останавливается, рабочие сумрачно посматривают кругом. Чувствуется напряжение. Толпа накалена, и ее сдерживаемая ярость должна по малейшему поводу неминуемо прорваться наружу.

Рабочие оглядываются на столпившихся по тротуарам настороженных горожан — я отчетливо различаю на лицах неприязнь, слышу злые насмешки и замечания, недобрый смех. Обернувшийся на ходу пожилой рабочий с благообразной круглой седеющей бородкой машет кулаком и со злобой выкрикивает угрозы. Я вдруг догадываюсь, что это относится к моему товарищу: из-за золотых пуговиц и зеленых петлиц пальто они принимают его за офицера, снявшего погоны.

На скрещении Невского с Литейным происходит короткая стычка с одним из последних заслонов конной полиции. Всадники несмело наскакивают на плотную стенку народа. Одна лошадь из-за гололедицы падает, и спешенный всадник оказывается в нескольких шагах от дрогнувшей, но не побежавшей черной массы. Блеснули обнаженная шашка и выхваченный из кобуры наган. Из толпы летят булыжники — как только удалось их отодрать от мерзлой мостовой! В напряженной тишине раздается жуткий и разымчивый звон битого стекла: камни полетели в витрины магазина Соловьева. Гулкой хлопушей раздается одинокий выстрел: жандармский ротмистр пристрелил лошадь, сломавшую ногу при падении.

Грозны и неисчислимы наводнившие столицу толпы. Идут путиловцы, обуховцы, рабочая Охта... Питерский пролетариат, о котором я знал только понаслышке, неудержимо заполнил центральные площади и проспекты. Город сановников и парадов во власти рабочих окраин, отдан «мастеровщине» и солдатам! От их первого напора как ветром сдуло

всех, кто как будто стоял или обязан был стоять на страже... чего? Настолько-то я просвещен — кругом достаточно, кому не лень, толковали о бездарности и слабоволии отрекшегося царя, продажности двора и обреченности строя. Вот все и рухнуло в одночасье, как карточный домик!

* * *

Никогда, ни до, ни после первых дней февральской революции, кур д'онер[1] старого Потемкинского дворца и прилегающие улицы не видели такого столпотворения. Главный портик превратился в трибуну. Туда выходили господа депутаты для приветствия нескончаемых делегаций, едва ли не круглые сутки прибывавших к Таврическому, чтобы изложить свои требования и чаяния представителям Думы. Она тогда решительно заявила на весь мир, что ею возложены на себя полнота власти и руководство судьбами России.

Людской поток захлестывал ступени и площадку портика. Каким-то подтянутым молоденьким военным с красными нарукавными повязками и пышными бантами на груди, взявшим на себя соблюдение маломальского порядка, едва удавалось оградить ораторов от толкотни и обеспечить проход. Все теснились сюда, к колоннам, чтобы расслышать хоть что-нибудь из льющихся речей. Чуть подальше уже ничего не доносилось, и стоящие плотно друг к другу люди нетерпеливо спрашивали у соседей: «Кто говорит? О чем он там?» Лишь редкие имена были известны толпе, любопытство оставалось неудовлетворенным, и люди продолжали пробираться вперед, искали тумбы, выступы ограды, чтобы, поднявшись над толпой, увидеть самим. Уходить никто не хотел: про себя каждый боялся пропустить что-то самое важное, что сейчас произойдет.

Не раз приходил сюда и я, один или с товарищами, и тоже подолгу здесь толокся, упрямо протискиваясь к портику. Особенно много дефилировало перед ним делегаций от петроградского гарнизона. Иные части шли строем, с офицером впереди, подчеркивая порядок и выправку. Сильное впечатление оставила депутация балтийских моряков. В городе знали о кронштадтских событиях, и на их участников невольно смотрели опасливо — эти шутить не станут! Матросы глядели сурово и подозрительно, словно ожидали, что их

[1] Парадный двор (от *франц.* cour d'honneur).

сейчас попытаются обмануть и улестить велеречивыми заявлениями. Я, кажется, тогда впервые увидел живых матросов с перекрещенными на груди пулеметными лентами, которые со временем сделались едва ли не символом преданности революции.

Наступил вечер. С темной Шпалерной улицы, где я стоял в несколько поредевшей толпе, были хорошо видны освещенные площадки и колонны думского крыльца. Выделяясь богатырским своим ростом над черневшими вокруг куртками и пальто, там стоял Родзянко. Он сильно жестикулировал правой рукой, державшей меховую шапку. Говорили, что Родзянко совсем осип от непрерывных выступлений и сейчас выходит только по требованию делегаций. И беспомощно хрипит перед ними, показывая на горло.

Зато здесь, на задах, говорили громко, азартно, спорили и завирались. Народ тут грудился самый разный. Деликатный, больше прислушивавшийся к чужим высказываниям педагог или врач в теплом пальто с бархатным воротником и интеллигентском пенсне; два бородатых мужика в шинелях — те самые ратники второго разряда, которым в казарме ежечасно грезились травянистые луга, оставшиеся некошеными, полоска родной пашни, беспомощное семейство; степенный старик с бакенбардами, смахивающий одновременно на сенатора и на дворецкого; студент в заношенной шинели, горячащийся больше всех. Общим вниманием завладел невзрачный длинноносый тщедушный человечек в пальто до пят. Вытертый меховой воротник шалью открывал скатавшийся шерстяной, очень заношенный шарф. Показался мне человечек с первого взгляда кутейником. Однако речи его, да и произношение, выдававшее одессита, противоречили такому заключению. Тихий голос его и сдержанность как бы подчеркивали непомерное внутреннее бурление.

— Дураки и слушают,— клокотал он с презрением и злобой.— Ну чего он там несет?! «Народ», «святая отчизна», «беспощадный враг»... Это ему, помещику, да его брату фабриканту немец — враг. А рабочим и крестьянам он никакой не враг. Такие же в Германии трудящиеся с мозолистыми руками: им нашего не нужно, а мы ихнего не хотим. Нам свое отдай! Подумаешь — «завоевания»... У помещиков и капиталистов свое отобрать — вот что народу нужно! Да буржуи разве отдадут? Им все себе да себе, чтоб на них все работали, капиталы росли. На языке — «солдатушки», «братья хрестьяне», а норовят только крепче к рукам прибрать. Чего этих волков слушать? Они это сейчас струхнули,

мягко стелют, рядятся в овечьи шкуры. Надо за теми идти, кто действительно за рабочий класс, за бедноту. Кто землю крестьянам отдаст, от помещиков всю отберет и поделит. Царя спихнули, и этих надо к ногтю — вот тогда народ вздохнет...

Солдаты слушали завороженно.

— Это кто ж такие, разрешите вас спросить, могут собственность отнять? — впился в говорившего бархатный воротник.

— Объявятся, не торопитесь! — бросил тот в его сторону.— Думаете — у вас теперь руки развязаны народ грабить? — вдруг приступил он к нему. Воротник съежился и отошел.— С буржуями сполна разочтемся, не беспокойтесь! Вам что, война до победного нужна? Так ступайте и сами воюйте, а мы по домам разойдемся да помещиков из усадеб повытрясем. А землю отдадим тем, кто на ней трудится.

Теперь уже все слушали незнакомца. Он приобрел неожиданную силу, и слова его — вес. Он бросал одну за другой фразы, попадавшие как раз в цель, отвечавшие тому, чего кровно хотелось обоим ратникам, солдатам — всем до одного расейским крестьянам.

Я окинул море голов вокруг, блестевшие над ними штыки, посмотрел в сторону трибуны. Родзянко сменил другой оратор,— может, Милюков или Керенский, Церетели, Чхеидзе. Не все ли равно? Разве их будут так слушать, как того напористого, устремленного человечка, уже затерявшегося в толпе? Это — господа, белоручки, и тут такой разрыв, такое непонимание. Веками углублявшаяся пропасть. Не долететь через нее никаким словам...

В эту минуту мне что-то, быть может, и открылось. Во всяком случае, я почувствовал: конец моему благополучному и бестревожному существованию. Отныне в жизнь вторгалось новое, грозное и пока неведомое мне, что уже не даст спокойно остаться в стороне. И еще сделалось мне очевидным, что враждебность всколыхнувшейся стихии направлена и против меня.

* * *

Труба оглушительно играет зорю. Крепкий юношеский сон резко обрывается. Сознание возвращается сразу, и я с унынием думаю о предстоящем дне — с дерганьем и муштрой, которыми заглушают всеобщую встревоженность. Во-

круг наигранно молодцевато или неподдельно весело вскакивают с коек такие же юнцы, как я, спеша натягивают галифе, обуваются и, обнаженные по пояс, бегут из дортуара в умывалку. Смех, сальности, шум. У крайней койки юнкер старшего курса Баградзе уже впился в «зверя» — первокурсника Ушакова. Усевшись на краю стола и болтая безупречно обутыми ногами, Баградзе методично отсчитывает: «Тридцать семь... Тридцать восемь...» — пока тот порывисто и глубоко перед ним приседает. У Ушакова — оттопыренные уши, большой губастый рот и неистребимо штатский облик, что и побуждает «господ корнетов» его цукать не покладая рук: надо же привить ему отменную выправку и дух питомцев «славной тверской легкоконной школы»! На багрово-красном от напряжения лице «зверя» — вымученная улыбка. Глаза испуганные, и он еще не вполне очнулся от сна. Я стараюсь пройти мимо так, чтобы не встретиться взглядом с товарищем.

Ошеломляющие новости поступают одна за другой: в городе демонстрации, в них участвует гарнизон, на заводах забастовки; вестовые отказались чистить лошадей; старший курс носит из цейхгауза в актовый зал походные седла, карабины и ящики с боевыми патронами, пики и шашки; начальник училища — полковник Кучин — велел прятать от нижних чинов приготовления к походу на Москву на выручку юнкеров Алексеевского училища. Но все делается в открытую. Юнкера ждут команды: «По коням!» Заманчиво и жутко... Впрочем, солдатскому комитету уже донесли, он вмешивается,— и начальник охотно дает команду: «Отставить!» Оно спокойнее. Да и сделано все, что велит присяга такому расплывчатому фантому, как Временное правительство. Верность Керенскому — не слишком ли это много для кадрового русского офицера?..

Как случилось, что я очутился в этих казармах, добровольно встал под знамена Временного правительства? Еще летом мне открылось, что у этого правительства ничего за душой нет и его наспех состряпанные лозунги — творение растерявшихся перед событиями политиков. Во имя какого мифического порядка и каких надуманных идеалов «сознательные и честные» граждане должны объединяться вокруг Керенского и его защищать? Это ублюдочное правительство не умело даже обеспечить созыва Учредительного собрания, которое я,— вероятно, с чьих-то слов,— считал панацеей от всех бед, земским собором, способным устроить русскую землю.

Приходилось слушать то ратовавших за отъезд за границу, то робкие голоса, советовавшие осмыслить надвигающуюся народную революцию и от нее не отшатываться, то уговоры примкнуть к «партии порядка»... какого? чьего? О, хаос и неразбериха, трусливые компромиссы, болтовня и непонимание!

Кончилось тем, что в исходе лета я дал себя уговорить кузену с хорошо подвешенным языком и подал заявление в юнкерское училище. Оформлявший поступление ротмистр, знакомый семьи, брюзжал, пожимая плечами:

— Нашли время соваться сюда — ноги надо уносить, молодой человек!

...Шел октябрь семнадцатого года. Страна притаилась перед неминуемым взрывом, а в стенах училища корнеты продолжали беспощадно цукать новичков, заставляя их распевать «журавли»[1] и заучивать на память имена коронованных шефов всех полков «императорской» гвардии. В знакомом доме выхоленный юнкер, подвыпив, шепчет, жарко сопя в ухо, что вербует в общество защитников трона («Пустого»,— мелькает в голове). Ради конспирации его члены выжигают черную точку на околыше фуражки вместо отмененной Керенским кокарды... О непроходимая, преступная глупость, о кротовая близорукость! Мне иногда кажется, что я в сумасшедшем доме. Из Давыдова поступают тревожные письма. Что делать? Во что верить? К кому примкнуть?..

* * *

...Нагоревший за длинные потемки фонарь «летучая мышь» с закопченным, густо покрытым мучной пылью стеклом едва освещает пятачок в мельничном амбаре. Еле видны фигуры помольцев, копошащихся возле ларя или приткнувшихся на мешках, сложенных в штабельки не то поставленных отдельно: каждый хозяин норовит, насколько позволяет помещение, ставить свои мешки особняком. Одни мужики спят, растянувшись на подстеленной дерюге; другие мрачно сидят в сторонке. Иные, собравшись в кружок, вполголоса беседуют...

Темнота и пыль поглотили полати, где работают постава; лестница на верхний этаж уходит в полный мрак. Жернова

---

[1] Откровенно непристойные куплеты, исполняемые с разными вариантами в полках царской армии.

однообразно шуршат, мягко постукивают на ходу деревянные зубья шестерен. Зимняя ночь тянется нескончаемо.

Я в чиненых-перечиненых валенках и овчинной папахе, глубоко засунув руки в рукава задубевшего от налипшей мучной пыли полушубка, сижу на верхней ступеньке лесенки на полати. Сижу не шевелясь, но не только не сплю и даже не дремлю, а чутко прислушиваюсь к шумам и стукам работающей мельницы: по ним я определяю, как мелют жернова, все ли в порядке с механизмами. Время от времени иду в обход по амбару проверить, не греются ли подшипники или головка турбины, взглянуть на грохоты, по которым бежит поступающее на второй этаж с самотасок зерно, снять с них застрявшие камешки и мусор; потом спускаюсь по стремянке в канаву и освещаю тусклым лучом фонаря черные, как в колодце, струи бегущей воды — за ее уровнем приходится постоянно следить.

В этот ночной час всюду глухо и холодно. Потревоженные моим фонарем жирные крысы нехотя уползают в темноту. Бесшумный бег залоснившихся канатов на быстро вращающихся маховиках, ровное и напряженное движение шестерен и валов особенно подчеркивают немоту и стылость обступившей мельницу ночи. Хорошо возвратиться к живым людям в амбар, где от разогревшихся жерновов и человеческого дыхания словно чуть теплее, а красноватый язычок огня светит уютно.

Я снова усаживаюсь на свое место, откуда удобно за всем наблюдать и до жерновов всего два шага: если нужно, встану, отрегулирую сыпь или перепущу зерно разных хозяев. Дав отмоловшемуся крестьянину стаскать мешки на весы, иду получать с него деньги за помол. У крестьян домотканые мешки разных размеров, они набивают их мукой всяк посвоему, и все-таки я научился на глаз определять вес любого мешка с точностью до фунта и очень люблю щегольнуть своей наторелостью перед помольцами.

Проходя мимо ларя, проверяю на ощупь муку, поступающую теплой пахучей струей; иногда пробую на язык. Баба, подняв над ларем туго обвязанную платком голову с опушенными мукой ресницами, непременно попросит: «Помельче бы, на каравашки мелю!» Я и сам понимаю достаточно в размоле, чтобы знать, когда надо просьбу уважить, а когда оставить без внимания, ограничившись ублажительной репликой. Именно это приобретенное умение работать, сделавшее из меня, как сказали бы теперь, специалиста, заставляет мужиков относиться ко мне уважительно — я мельник, нуж-

ный человек им. Бабы, те больше смотрят на мою молодость — кто побойчее, говорят непристойности, грубовато заигрывают. Это тоже мне нравится, прибавляет уверенности в себе. Я теперь привык к мужикам, уже не робею, когда приходится пробираться в их гуще, отвечать на придирчивые замечания и претензии, выслушивать приветствия вперемежку с насмешечками, вступать в «политичные» разговоры со стариками, особенно пристально приглядывающимися к затесавшемуся в их мужицкий круг вчерашнему барчуку.

Произошло это превращение отчасти по моему собственному желанию. Вернее, из-за вялого и безразличного отношения к своему будущему: чего желать, к чему стремиться среди обломков крушения? Я в те поры не знал, чего ждать, к чему готовиться, и легко подчинился желаниям семьи.

...Осенний Петроград семнадцатого года представлялся моим родителям отданным на поток и разграбление дезертирам и анархистам, и они остались в Давыдове пережидать события, разумеется полагая, что все разъяснится и уладится очень скоро. Разобраться в происходившем, и тем более приспособиться, не успевали. Было как в дружную весну, когда прочный и цельный зимний лед на реке, вдруг уступив напору снеговых вод, дробится на тысячи беспорядочно сталкивающихся, налезающих друг на друга и обваливающихся в пучину льдин, уносимых в неведомую даль...

Я сначала заметался. С облегчением расставшись с юнкерской формой (кавалерийские и все прочие военные училища были упразднены), я сунулся было в Петроград, чтобы с опозданием примкнуть к своему курсу в университете, куда был принят летом. Но вытеснившие занятия яростные политические диспуты, призрак гражданской войны, совершенное отсутствие средств на жизнь и неумение ее устроить заставили меня внять настойчивым письмам из Давыдова и уехать в деревню. Надежда на встречу с Настей сильно повлияла на это решение.

В Давыдове творилось странное. Мой отец, всю жизнь неравнодушный к толстовской проповеди возвращения к земле и мужицкому труду, увидел в создавшемся положении возможности для удовлетворения своей неясной, но глубокой тяги к «оседанию на земле». Он создал из членов семьи, нескольких друзей и оставшихся на усадьбе рабочих сельскохозяйственную артель. Ее устав утвердили земотделы волости и уезда, закрепившие за ней сколько-то пахотной земли, покосов и других угодий, которые и стали обрабатывать своим трудом новоявленные хлебопашцы.

Я был обращен в мельника на приданной артели давыдовской мельнице и стал вкупе со старым крупчатником, пьяницей и матерщинником Артемием и сноровистым, дельным, но плутоватым Павлом Майоровым молоть крестьянское зерно, ковать жернова и заодно — привыкать к самогону, махорке и мужицким соленым речам.

Мне теперь кажется удивительным, как легко сносил я тогда тяготы непривычной и скудной жизни. Более того, ощущал душевный подъем и радость существования. А тревоги не переводились: как-то ночью из уездного города прискакал преданный человек предупредить, что отца назавтра возьмут в заложники. В то взбаламученное время власть в городе ненадолго захватил самозванец-анархист, рвавшийся к какому-то всесветному разбою. Было решено, что отцу следует немедля уехать в Питер. Мне было поручено вывести с конюшни и подседлать со всеми предосторожностями лошадь, чтобы не подглядел кто-нибудь посторонний. Ночь была темная, и отец благополучно по лесным дорогам выбрался в село верст за десять, где жил бывший наш приказчик. Тот тут же отправил лошадь отца обратно, чтобы ее наутро не хватились, а сам в двуколке вывез его на станцию в нескольких перегонах от городка. Отцу удалось доехать до Петрограда. Там давний его приятель, крупный военный инженер, руководивший строительством гидростанции на Волхове, пригласил его к себе работать.

Больше мы отца не видели. В недолгом времени он скоропостижно скончался, о чем в Давыдове узналось уже много спустя... Так и запомнились мне проводы отца: полный мрак — мы боялись засветить огонь,— темная его фигура в седле, поглощенная, едва он отъехал от крыльца, густой тенью въездной аллеи... Но я несколько забежал вперед.

...Не умея по-настоящему вести хозяйство и строго за ним присматривать, чтобы все кругом не тащили, мы жили, несмотря на мельницу и несколько десятин запашки, впроголодь. Жадные кулацкие женки, увозя последние ценные бобры и серебро, оставляли за них мерки картофеля и нерушеного овса.

Но ни картофельные лепешки с лузгой и осевнями, ни рваные сапоги и зыбкость устройства, или, вернее, полная неустроенность, не способны были одолеть мои девятнадцать лет и моей влюбленности. Острая радость свиданий с Настей вознаграждала за все невзгоды. И вдобавок я всей душой прильнул к охоте, по-настоящему красившей дни. Дробь и порох доставались с огромным трудом, не было замены старым

раздувшимся гильзам, но с двумя-тремя кое-как заряженными патронами и уцелевшим пойнтером, привезенным некогда щенком от управляющего царской охотой, я отправлялся в лес. Дичи в окрестностях Давыдова водилось изобильно. Охотничьи скитания уносили за тысячу верст от тревожных будней с их смутным завтра...

Стоит ступить в росистый луг, шелохнуть плечом сонные ветви кустов, стоит вдохнуть полной грудью запахи молодых трав и лесной прели, обволокшие теплую землю, достаточно заглянуть на окутанную легким туманом ложбинку ручья с вознесшимися кронами деревьев, уже освещенными первыми лучами солнца, чтобы охватили тебя великий мир и покой, показалась суетной и лишенной красоты наполненная соперничеством и раздорами жизнь, сердце и ум возликовали от необъяснимого, но полного понимания «любви и языка» живой природы.

Вид векового дерева говорит мне о преемственности жизни. О поколениях моих предков, останавливавших, как и я, взгляд свой на его раскидистой вершине и корявом вечном стволе и, может, думавших о тех, кто будет после них любоваться им. Давно истлели их кости, а дерево все стоит — молчаливым, но не чуждым нашей жизни свидетелем. Через него я вещественно связан со своей землей и с ее судьбами. И особенно истово гляжу я на зеркальце родника на дне заросшего черемухой и сиренью укромного овражка, неиссякаемо изливающего студеную свою и чистую живую воду. К нему с незапамятных времен протоптана стежка, углаженная ступнями длинной череды деревенских женщин, ходивших сюда с ведрами на коромысле. Может ли, пока стоят такие деревья и не пересохли эти родники, ослабеть вера в свою землю!

* * *

...Запущенными и пустынными были улицы Петрограда в августе двадцатого года. Я шел от Николаевского вокзала, кишевшего серым, молчаливым и озабоченным людом,— и все сильнее давили тишина и малолюдье, а пыльные стекла окон и закопченные облезлые стены придавали жилым домам вид брошенных складских помещений. Ни одного извозчика. Редкие прохожие шли, не придерживаясь тротуаров, а где

было глаже и меньше выбоин. На Фурштадтской улице я стал разыскивать нужный мне дом. Булыжная мостовая зеленела проросшей между камнями травой. Было на этой улице совсем мертво. Случись нужда о чем-нибудь справиться — и не у кого!

Но вот из ворот, мимо которых я шел, показалась старая женщина в стоптанных козловых ботинках на пуговицах и обвисшем черном платье в рыжих пятнах. Она неуверенно переставляла ноги, точно боялась упасть. Отечное лицо с мешками под глазами и синими бескровными губами — свидетели длительного голодания. Вряд ли запомнилась бы мне эта женщина — тогда были не в диковинку изможденные, больные цингой,— если бы не ее шляпка. Черная соломка выгорела; широкие поля, местами траченные, потеряли форму; остатки сникших и запыленных, линялых цветов, закрывавших тулью копной некогда розовых и красных лепестков, не везде прятали державшие их проволочки. Сбоку, где находился бант, свисали темно-красные вишни, не утерявшие своего вызывающего глянца. Проходя мимо меня, дама поправила шляпу рукой в черной разорванной кружевной митенке с кокетливой отделкой. Я невольно поглядел ей вслед. Митенки и шляпа с вишнями для этой дамы с неподвижным отсутствующим взглядом — последние свидетели минувшей неправдоподобной элегантности... Вот где «все в прошлом»!

Как ни привык я к тощим харчам и вечной готовности поесть, скудость обихода наших деревенских соседей, к которым я приехал, привела меня в уныние. И не столько поразили меня подсушенные и скопленные картофельные очистки и отруби, как развившееся дрожание над мизерным пайком, постыдная мелочность, приводившая к семейным ссорам и попрекам из-за недоданной ложки жиденькой пресной размазни. Тщательно завязывались и убирались специально сшитые мешочки для крошек или доставшейся где-то горсти сорного зерна. Злобились и замыкались в себе. Чтобы приняться за пустой отвар из листьев смородины, ждали ухода гостя.

Я приехал в Петроград возобновить учение. Остановился я у нашего соседа по имению, в прошлом крупного петербургского чиновника, приходившегося мне троюродным дядей по матери. Он занимал с молодой женой квартиру, где было множество ненужных комнат, заставленных старинными мебелями, затхлых и пыльных. Для жизни приспособили прежний кабинет с обширным министерским столом, на одном краю которого в величайшем беспорядке стояла

кухонная утварь и посуда, а на другом лежали стопки дровишек, аккуратно напиленных из ящиков, табуреток и полок стенных шкафов. Возле стояла на полу железная печурка, мятая, без конфорок, с трубой, кое-как выведенной в форточку. На всем — отпечаток неумелости, бивака, без заботы устроиться удобнее и красивее. Лишь бы тянуть как-нибудь осточертевшие дни, которым должен же, как всякому наваждению, прийти конец...

Дядя мой никогда не был богат и даже постоянно нуждался в деньгах из-за привычки покучивать и жить широко. Сейчас же... Боже мой, я предпочитал ходить голодным, сославшись на мифический обед в студенческой столовой, чем садиться за его стол! Чувство это поселилось во мне сразу, в день приезда.

Стал я выкладывать привезенный из дома немудрый деревенский гостинец. Не в силах удержаться, дядя едва не выхватывал из моих рук свертки и банки.

— Как, сухари? Говоришь — ржаные? Их... их лучше пока прибрать. Что, мед? Настоящий? Ну это... это, батенька мой... Нет, этакое надо на запор, а то, пожалуй, накинетесь... И сразу... Да и прислала твоя мать все это мне!

Не тронули его и не умилили,— его, страстного охотника и рыболова! — ни соленые щуки и окуни, ни подкопченные тетерева, выловленные и настрелянные на его родине! Он все брал, цепко и торопливо, убирал, суетился... С одной заботой — понадежнее припрятать, чтобы ни с кем по возможности этим всем не делиться... Он, как я вскоре убедился, обделял и жену.

— Ты, Надя, никак хочешь положить ему всю кашу? — нервно замечал он, вымученно улыбаясь, понимая при этом всю низость своих чувств. Но вынести, что жена его, отскребая присохшие корки со дна кастрюли, собралась часть их положить мне, был он не в силах.

Когда не стало моих запасов, вернее, когда дядя не счел более возможным уделять из них мне, слышать его ворчливо брошенное в мою сторону: «Садись, что ли, с нами. Хотя, какие уж тут угощения...» — сделалось вовсе невыносимым.

Я подыскал было себе квартиру, в то время в Петрограде пустовали целые дома, брошенные квартирантами. Но надобность в переезде отпала сама собой. В университете началась чистка. Меня из числа студентов исключили.

* * *

...Дни и месяцы шли, складывались в годы. Всякий год с наступлением весны прекращалась работа на мельнице, и я целиком обращался к крестьянским делам — пахал, возил навоз, потом косил траву, убирал хлеб. И все лето ремонтировалась плотина, на мельнице вводились всякие усовершенствования — заботы о ней были на первом месте. Мельница сделалась главным источником существования. Казалось, что жизнь и вправду сложится вокруг нее. Я строил планы: стану образцовым хозяином, буду охотиться и, конечно, женюсь на Насте. Порой странно было представить себе будущую жизнь, устроенную на крестьянский лад. Но с другой стороны, на что теперь образование и книги, иностранные языки, городская культура, когда важнее всего откормить поросенка да запасти сено для скота?

Знал я одного давнего знакомого родителей — человека состоятельного и родовитого, некогда женившегося на крестьянке. Увез он свою Матрену на три года во Францию и вернулся с супругой, отлично умевшей принимать гостей и достойно держаться в обществе. Теперь же все куда проще: я научился ловко обматывать ноги онучами и красиво перекрещивать оборы кожаных «цибиков», чувствуя себя непринужденно в избе за праздничной застолицей; меня не смутят разладившаяся коса или ослабевшие гужи у хомута...

И все-таки на самом деле души точит сомнение: жизнь не вернется к прежнему укладу — это бесспорно. Но и в новом что-то все же смахивает на ряжение — без перемен не обойдется. Порой смутно глодала неудовлетворенность и осточертевал каждодневный круг обязанностей. Но я не хотел признаваться в этом и сказать себе, что сел я все-таки не в свои сани...

Быть может, я еще долго продолжал бы жить, со дня на день откладывая окончательное решение, если бы не крутые обстоятельства, резко изменившие мою жизнь. Уездные власти, вдруг спохватившись, что в уезде на четвертом году революции проживает помещичья семья, постановили передать крестьянам все оставленные нашей артели земли Давыдова. И этим положили конец призрачному усадебному существованию. Семья навсегда отсюда выехала и перебралась в Петроград. Мельницу взял в свои руки упродком и тотчас поставил своего заведующего. Мне пред-

ложили остаться рабочим. И я, пожалуй, уцепился бы за эту возможность продолжать деревенскую жизнь подле любимой девушки. Но меня и тут подстерегло крушение.

Как-то, когда я вечером возвращался из деревни от Насти, меня подкараулил отец ее.

— Вот что, друг,— с грубоватым смешком сказал он мне,— моей Насте замуж пора. А с тобой она только ославится — не дети, чай, пора за ум браться. Не пара ты ей, как хочешь: хоть и не барин больше, но и не мужик. Жизнь твоя теперь мудреная. Не обессудь, а дорожку к ней считай себе заказанной.

На следующий день Настя тайком прибежала ко мне — отец велел ей готовиться к отъезду. Горькие слезы ее лишь растравляли мое отчаяние. Мы были бессильны отвратить навалившееся на нас несчастье. Нам надо было вместе бежать, но куда? И на какие средства? У меня только и имущества, что английское ружье, подаренное отцом к шестнадцатилетию, да и оно уже послужило... Я беспомощно гладил ее милую головку. Мы были уверены, что выхода для нас нет. Более полувека назад выглядели неразрешимыми вопросы, над какими сейчас и не задумался бы. Кто теперь в моем положении поколебался бы завербоваться на дальнюю стройку и укатить с любимой, нимало не тяготясь несогласием «предков»?!

Это оказалось последним нашим свиданием. Через день Настю увезли за сорок верст в деревню к тетке. И я вдруг увидел, как пусто разоренное Давыдово. Голые стены дома глянули на меня холодно и отчужденно...

6

...— Вы невозможны, мой друг. Снова просите взаймы... Давно ли вы продали табакерку?

— Деньги существуют, чтобы их тратить, милая Натали, это сказано еще у Маркса, если не ошибаюсь... А потом впереди всеобщая кувырк-коллегия... Чего ради скопидомничать? И да здравствует этот самый пир во время чумы, как говорится... у кого бишь?

Пожурив меня за легкомыслие и мотовство, Наталья Сергеевна выдает мне все же сколько-то денег. Я, осчастливленный, исчезаю.

По вечерам в длинную, тесно заставленную мебелью комнату, где приютились Наталья и Анна Сергеевны,

сестры-девицы из соседней с Давыдовом усадьбы, перебравшиеся в Москву с уцелевшими «остатками крушения» — шкатулкой с фамильными драгоценностями и столовым серебром,— в эту комнату, прозванную «гарсоньеркой», приходят друзья: молодежь, по большей части отпрыски выставленных из усадеб родителей. Тут — складчина, непринужденная болтовня, выступления доморощенных талантов, а иногда и настоящих цыган, флирт за чаем, разлитым в музейные чашки, или за рюмкой вина, смесь богемных нравов с поврежденными старорежимными манерами.

Гости — все народ недоучившийся. Но это никого особенно не тревожит, потому что задумываться над будущим не принято, как считается дурным тоном жаловаться на обнищание, интересоваться серьезными материями и замечать поношенную одежду. В ходу крылатое изречение Людовика XV: «После меня хоть потоп!», элегически сентиментальные воспоминания о венценосцах, сожаления об утраченной «красоте» жизни. Само собой, изгнаны всякие политические суждения и прогнозы: «Мы лояльны, мы все очень лояльны!»

Живут эти приятнейшие люди, спуская все, что осталось и котируется из наследия предков, случайными заработками, мечтают попасть переводчиками к иностранцам. Главным образом из-за посылок «АРА»[1] с какао и шоколадом, заграничных отрезов и башмаков, но отчасти и потому, что это сообразуется с духом горделивого и независимого лозунга не работать «avec les bolcheviks». Правда, на эту тему в стенах гарсоньерки — молчок! Но про себя кое-кто еще тешится своей «принципиальностью».

Однако жить зажмуриваясь, эстетствуя и отгораживаясь от действительности, играть в золотую молодежь становится все труднее — реальность перемен и времени берут свое. Кое-кто уже пристроился у большевиков, втягивается в нормальную жизнь после встряски, выбившей на много лет из колеи. Те, кто еще не у дел, хотели бы сделаться совслужащими или студентами с перспективами и обеспеченным будущим, но боятся: «Ах, ах, надо заполнять анкеты, а у меня тетка фрейлина...»

— Я вас уверяю, мой друг, что чувствую, какое это наслаждение — преподавать тем, кто хочет учиться, стремится знать... Я просто с увлечением готовлюсь к лекциям.

— Непостижимо, Натали, как вас там терпят? Что ни

---

[1] «АРА» — американское благотворительное общество.

говорите, Институт красной профессуры! Узнав ваше прошлое...

— Полноте, они его прекрасно знают! Не преувеличивайте свой удельный вес, mon ami. Все мы, в сущности,— нули и мелочь со всем нашим прошлым. Ни вы, ни я — не члены царствовавшего дома, не белые каратели и даже не министры Керенского, не правда ли? Я чувствую к себе доверие, особенно довольна тем, что не на побегушках у неотесанных иностранных коммивояжеров и надутых дипломатов. Тут свои и, кстати, очень способные и искренние люди...

— Вас уже распропагандировали...

У меня вырывается жест досады. И сам чувствую, что не в ладу с собой и своей жизнью. Мне давно претит собственное несерьезное отношение к ней. Эти дурацкие полтора месяца ношения юнкерских погонов — всю жизнь буду сожалеть об этой глупости! Нашел кого защищать: эгоистов-краснобаев, визжавших от страха за свои сейфы. Очень они были нужны России! Теперь мне все пути закрыты: «А-а, бывший юнкер, доброволец! А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!»

— Нет, Натали, je suis un[1] конченый человек... В этом роде, по-моему, говорил незабвенный Степан Трофимович Достоевского... Вот и остается мне, как ему, осанисто козырять с червей. Беда моя в другом: от старого берега отстал — изверился в него и презираю, к новому не пристал — не постигаю, боюсь. Вот и болтаюсь — ни то ни се...

— Берегитесь застрять! Время фрондирующих жантильомов прошло — не семнадцатый век! И жизнь пойдет прахом, и помехой для всех станете, смотрите, как бежит время. Наши с вами воспоминания — уже давний вчерашний день, достояние истории. Я прежде всего — русская. И более всего боялась почувствовать себя чужой в своей Москве. А это ведь могло случиться, согласитесь? Помните, чем дальше, тем труднее будет пойти и сказать: я хочу работать, возьмите меня. Собственная фанаберия не даст: как это — не уверовав или уверовав по принуждению? Ведь я вас знаю.

Эти серьезные разговоры меня расстраивают. Я чувствую справедливость слов своей приятельницы, но продолжаю откладывать... Не поступаю ни учиться, ни на работу, про-

---

[1] Я *(франц.)*

бавляюсь частными уроками: преподаю русский язык иностранцам, французский и английский — своим.

Промедление смерти подобно, не так ли?

7

И вот — в пути. Впереди дальняя дорога, кажется, свыше четырех тысяч верст. А там еще вниз по Енисею чуть ли не неделя плавания. Словом, между мною и опостылевшим проживанием в Москве с вечными тревогами и немилыми занятиями должна лечь целая страна.

И потом — я уподобился герою Джека Лондона: отправился в Клондайк ради красочной жизни, фейерверков удач и всякой романтики. Правда, про этот Клондайк мне известно очень мало. Пожалуй, меньше, чем про джек-лондоновский: он где-то за Ангарой, в дремучей тайге, на быстрых речках с каменистым дном и плесами золотоносных песков. Но что нужно, чтобы сделаться старателем, как там живут — я представляю себе очень худо. И что стану я делать после находки многофунтовых самородков, превращающих счастливцев в богачей? Как-никак время и жизнь начисто отучили строить воздушные замки. Да и деньги сделались таким неверным мерилом человеческого благополучия...

Гораздо практичнее и трезвее меня действует мой приятель, славнейший Юра Кунин, из-за которого и загорелся весь сыр-бор. Именно он прочитал на Московской бирже труда объявление какого-то акционерного общества золотых приисков в Бодайбо, сулившее приглашаемым на Лену специалистам и рабочим самые выгодные условия. Не было, правда, в длинном списке всевозможных профессий ни самоучек-преподавателей иностранных языков, ни слушателей Школы живописи и ваяния имени Сурикова, но Юру это не смутило. Он стал наводить справки и выяснил, что надо ехать не в Якутию, отпугивающую своим полюсом холода, а на речку Большой Пит, где-то под Енисейском. Там здоровые молодые люди, сильные и выносливые, всегда найдут себе применение и за два-три года могут скопить достаточно, чтобы приобрести в Москве отличное жилье. У нас обоих катастрофически плохо обстояло с квартирой: ютились кое-как, стесняя терпеливых родственников. Ну, а затем начнем обновленную жизнь — с завершением высшего образования, со справками

о рабочем стаже и т. д. Юра вдобавок мечтал обзавестись семьей. Я поневоле задумывался.

Ходил я на урок к одному малому, чьи родители процветали в нэп. В четырехкомнатной квартире в коврах — серванты, горки, шкафы, набитые хрусталем и фарфором... А у меня в кабинете будут шкафы с книгами, я сведу тесное знакомство с букинистами, чьи прилавки до сих пор осматривал робко, лишь облизываясь. Вот наберусь духу да и обновлю заказанный путь. Подстерегу, стану горячо шептать в ухо: «Не забыла ведь? Брось же все, едем со мной отсюда...» Тогда я еще был вправе о ней мечтать...

* * *

...Маленький двухосный вагон потряхивает на стыках, его стенки, пол, крыша скрипят, при всяком толчке дребезжат рамы. Сквозняки никак не выдворят духоту, ставшую особенно тягостной, когда поезд потащился по открытым Барабинским степям, застывшим в знойном июльском мареве. Пылища и копоть; нагретой водой, нацеживаемой в пригоршни под краном в отчаянно запущенной уборной, только размазываешь по лицу грязь. Где уж там отмыть руки или освежиться...

Мы сбились в счете дней. Наш поезд из пасынков пасынок у диспетчеров: пропускает не только пассажирские, но и товарные и отстаивается на разъездах. Точно паровоз изнемог и никогда уже не наберется сил, чтобы стронуть состав дальше. Немощно пыхтит он с притушенной топкой, машинист заснул, свесив голову в своем окошке. Одуревшие от жары и однообразия пассажиры бродят бесцельно вдоль путей или сидят, ссутулившись, в жалкой тени вагонов, прямо на раскаленных рельсах. Вокруг — безлюдье. Куда-то за горизонт уходит пустынная мягкая дорога через степь. Нелюдимый сторож переезда неприветливо приглядывается к разбредшемуся вокруг его будки чужому народу.

По ночам в вагоне относительно просторно — все рассовались по полкам, храпят или неслышно дышат, мечутся, стонут и скрипят во сне зубами. Гуляющему поверх спящих ветерку невмочь развеять повисший над ними смрадный воздух, тяжкие запахи разутых ног, пеленок. Но помещение проглядывается из конца в конец. Оно не освещается, и через окошки проникают расплывчатые отсветы летней ночи. По утрам, когда пассажиры слезают с полок и скапли-

ваются в проходах, диво, сколько в тесном ящике вагона живет, спит, дышит и шевелится народу! Почти всех «своих» знаешь в лицо, со многими перезнакомился. Особенно преуспел тут Юра. Его окликают, зовут к расстеленным полотенцам со снедью, теребят дети. Со всеми ровный, терпеливый и внимательный, он умеет никого не обойти, отозваться на всякое обращение. Юра высок, чуть нескладен — у него покатые плечи и широкий таз; небольшая голова на длинной шее; верхняя губа чуть припухлая. Он, когда говорит, слегка пришепетывает. Притом силен невероятно. Юра едва ли не всем женщинам в вагоне помог втиснуть наверх тяжеленные ящики и корзины, обвязанные толстыми, как тяжи, веревками.

Я больше валяюсь на верхней полке и, неудобно свесив голову к окошку, часами слежу за расстилающейся во все стороны равниной с пожухлой травой и островками камыша над пересохшими озерками. Все живое попряталось от солнца. Лишь изредка увидишь ворону, взлетевшую от поезда: она редко машет крыльями и широко раскрыла клюв. Жара нестерпимая, и о ней всего больше обрывки вялых фраз, какими перебрасываются изнывающие, потные и истомленные соседи.

Едет народ самый пестрый. Такой спокон веку заполняет полутоварные поезда, идущие без расписания — когда доедет! — составленные из теплушек и допотопных вагонов четвертого класса, с обшарпанными нарами и черным от въевшейся грязи полом. Больше всего семейных, деревенских и городских, потянувшихся вслед за разведчиком — чаще всего отцом,— что уехал вперед и вызвал к себе остальных. Или едут коренные сибиряки, откочевавшие на запад в смутные годы гражданской войны и теперь возвращающиеся на свои места. Все они выглядят озабоченными, жадно слушают — не расскажет ли кто что обнадеживающее про будущую оседлость? Или так задумаются, что не докличешься. Несколько старых крестьянок в повойниках под косынкой, сборчатых широких юбках и сапожках с ушками на резинках больше молчат, присматривают за детьми, отбившимися от рук в этой муторной обстановке, и, когда зевают, торопливо крестят рот.

Мне кажется, у всех этих путешественников убеждение: они делают то, что им надлежит, знают свое назначение в жизни и — охотно ли, вынужденно ли — идут по ней своим определенным путем. Возле них вопиют легковесность моей затеи и общая шаткость моего существования...

— Мой-то навозил лесу на пятистенок, зимой будем дом рубить. Пока у брательника мужнина поживем. И сена на двух коров и коней накосил. Подыскивает — овечек в зиму пустить...

Это всем, кто только захочет слушать, рассказывает, окая и цокая, нестарая крестьянка с тяжелыми мужскими руками. На маковке у нее зашпилен малюсенький, перевязанный тесемкой пучок, вовсе не по крупным ее статям и широкоскулому лицу, которое она то и дело обтирает концами сбившегося назад платка. Я невольно завидую этим определенным рамкам, прочной форме, в которую должна уложиться жизнь этой женщины с тройкой сытых детей.

Соседка хвастает, что муж ее, ранее служивший конюхом в воинском присутствии, теперь состоит кучером при райкоме, начальство возит. Квартиру отвели, дрова готовые.

Юру, недавно демобилизовавшегося и одетого в галифе и гимнастерку, стянутую ремнем с пряжкой, зовет ехать с ним такой же вчерашний красноармеец, нахваливающий жизнь в родном алтайском селе. Он, несмотря на жару, не снимает с головы выцветшую, измятую буденовку, донельзя лихо сдвинутую на одно ухо.

— С войной да с этой заварушкой у нас половина деревни в девках засиделась. Тебе, Жора, невесту с ходу подберем. Примут в дом, а у нас живут, сам знаешь, справно, не как у вас в Расее...

Юра мягко отказывается. Притом улыбка — точно он всей душой рад бы поехать с пареньком за невестой, да вот нельзя ему, другие дела... Отчего мне такое никогда не удается?

Воин в буденовке находит и в мирной обстановке вагона случай проявить свою кавалерийскую лихость. Он оставляет в покое только заведомых бабок. И так как действует он с налету, не тратя времени на церемонные обхаживания, сразу дает волю рукам, привычно ищущим прорех в кофтах или забирающимся под подол, то и раздаются в вагоне попеременно возмущенные вскрикивания или смущенный шепот, уговаривающий напористого кавалера выйти в тамбур или обождать сумерек. Целомудренный Юра снисходительно улыбается, слушая, как я возмущаюсь бесстыдником. Он, вероятно, прав, указывая, что в вагоне все преспокойно относятся к бойкому малому: дело молодое!

...Посмотреть обстоятельно Красноярск нам не пришлось: надо было обжиться на приисках до наступления холодов. Город не походил ни на какой другой, виденный прежде. Его бесконечно длинные улицы, широкие, с дощатыми лентами мостков и деревенского обличия приземистыми, просторно стоящими домами, с глухими дворами за крепким заплотом, говорили о размахе, неведомом европейским городам. О какой-то самоуверенной обособленности жителей. И мы, прожив в Красноярске неполные два дня, бродили по нему с великим прилежанием.

Докатившиеся сюда с запада перемены как бы только затронули здешний устоявшийся и малоподвижный уклад. Они едва начинали размывать старые порядки. А пока продавцы государственных магазинов походили на купеческих услужливых приказчиков; паперти церквей облепили нищие; из калиток на улицу выходили горожане в одежде дореволюционного провинциального покроя и оглядывались настороженно и хмуро.

Жили тут размеренно, неторопливо. Жизнью, по-сибирски обеспеченной и сытой, в условиях, позволявших запасаться нужным без московских гонки и напряжения. Мы видели, как в крепкие ворота домохозяев въезжают телеги с дровами, сеном, бараньими тушами и плетенками с рыбой. Тут по старинке набивали погреба кадками и ведрами солений, рубили и квасили капусту; круглый год обходились своей солониной, тешками и балыками красной рыбы; насыпали полные подполы картофеля. Везде по заплотам сушились рыбацкие снасти, берег Енисея был сплошь утыкан лодками, так что казалось, словно рыбачит весь город. Осенями выплавляли из тайги карбасы, груженные мешками с орехами.

На главной улице — единственной в городе, сплошь застроенной каменными домами,— в магазинах и лавках под свежевыкрашенными вывесками бойко торговали новоявленные коммерсанты. Причем на одном прилавке бывали выставлены самые, казалось, несовместимые товары: сахар и ситец, кожи и стопки школьных тетрадей. Торговцы брали без разбору все подряд, что только подвернется под руку и сулит барыши, зная наперед — после годов разрухи и застоя удастся сбыть любой товар. Да и торопились очень нажиться, скопить, заткнуть прорехи, пока можно, пользуясь моментом. Чуяли, насколько зыбки предоставленные им права, несовместимы с устоями, на каких воздвигалось новое государство.

На той же главной улице в угловом двухэтажном доме был открыт купеческий старый ресторан — с облезлыми пальмами в новеньких кадках и накрахмаленными салфетками в желтых пятнах. Но мы с Юркой, сберегая скудные свои средства, лишь сунули нос в такое размашистое заведение. Подкреплялись на рынке с его изобилием невиданных сибирских угощений — шанег с черемухой, калачей, звеньев осетрины и прочей дешевой снеди. И мы отъедались, вознаграждая себя за дрянные харчи в дороге.

Нас, едва мы сошли с поезда и стали осматриваться — в какую сторону пойти? — повел к себе в домишко у привокзальной площади холодный сапожник, прибивший у Юры отставшую подметку. Во время этой операции они разговорились, потом Юра мне кивнул, и мы отправились вслед за своим счастливо обретенным квартирохозяином. Он — поручив кису с колодками и ведьму[1] товарищу по промыслу, мы — перекинув через плечо свой необременительный багаж. Было у нас по небольшому чемодану с бельем и узлу с постелью, связанному ремнями.

Дом оказался чистым, с застланными половиками горницами, хозяйка — легкой в обращении и внимательной. Она истопила для нас баню, поставила самовар, постелила, не скупясь на подушки и перины. Так что — живи, не думай! Но Юра, внешне покладистый и мягкий, был неумолим и тверд во всем, что касалось задуманного дела: никаких поблажек! На следующий же день он отправился к пристани наниматься в матросы: денег на билеты у нас не было, и мы еще в Москве решили, что устроимся на какое-нибудь судно.

Юре повезло: он в два счета договорился с капитаном буксирного парохода — тот взял его помощником кочегара, меня определил водоливом. Наш буксир, зафрахтованный «Интегралсоюзом», шел с двумя баржами в низовья, за Верхне-Имбатское, с солью, бочками и всякими товарами для рыбачьих артелей и промышленников.

Помню, как понравилось мне отведенное в кубрике помещение. Оно напоминало виденные в детстве матросские каюты на военном корабле. Низкое и уютное, хорошо освещенное иллюминаторами, с продуманным устройством вешалок, полок и всяких укладок, какие отличают жилье на судах: всему есть место, все под рукой, никакого беспорядка. Все шесть коек были заняты, но стояли мы в разные

---

[1] Ведьма — приспособление для сапожного дела.

вахты, и толпиться вместе нам в каюте не приходилось. Капитан поддерживал на своей старой посудине морские порядки: койки у всех бывали заправлены преаккуратно, полы без соринки, всякая железка надраена. Кормила нас по очереди в тесном камбузе жена жившего в нашей каюте боцмана, плававшая с ним за кока. Юра сразу стал ее любимцем, и она наливала ему миску супа так, что ложка стояла.

Мне чудилось — не из-за мнительности ли? — что боцман приглядывается к нам с некоторым предубеждением. Или он вообще смотрел на всех недружелюбно и подозрительно? Был он, кстати, изрядный лежебока, распоряжался нами больше со своей койки. Развалясь на ней, он частенько вызывал к себе, стуча запасенной на этот случай палкой в низкий потолок — камбуз находился над каютой,— свою супругу. Мы тогда тотчас удалялись и возвращались только после ее появления на палубе.

Обстоятельства того плавания запомнились мне смутно. Вернее, их заслонила довлевшая мне неизбывная забота: внимание, все помыслы и силы уходили на откачивание воды из трюма баржи. Надо было тысячу тысяч раз приподнять и опустить длинный металлический рычаг насоса с рукояткой, обмотанной тряпьем и все равно врезавшейся в ладони. Они горели, точно их положили на раскаленную железину с острыми краями. Не помогали никакие рукавицы. И все время казалось, что за борт с каждым качанием сливается жалкая струйка, ковшик воды. А накопилось ее под настилом трюма бездонное море: сизифов труд!

Как пошевелиться утром, когда каждая мышца болит, хоть кричи? За длинную двенадцатичасовую смену я не раз приходил в отчаяние. Юра уговаривал меня не срамиться, пасуя перед первым испытанием. Я же готов был по-ребячьи взбунтоваться и послать все к чертям...

Юра молча отстранял меня и становился к насосу. Поплевав на ладони, начинал мерно и без видимого усилия качать. Мне становилось стыдно, и я снова, как прикованный к веслу на галере каторжник, брался за рычаг. И начиналось нескончаемое, изнурительное «вверх-вниз, вверх-вниз», пока... Пока я, черт побери, не втянулся и не стал легко, как косец играючи режет траву, держа одними пальцами ручку и косовище, качать без напряжения, механически. Даже забывая о том, что делаю.

Хриплое посвистывание и хлюпание под поршнем перестало дразнить, как насмешка над моими поклонами, а, наобо-

рот, убаюкивало своим ритмом. Теперь уже кто-то другой, отдельный от меня, раскачивался всем телом у насоса: поклон — выпрямился, поклон — выпрямился. Сам же я то перебирал в памяти старые впечатления, то думал о предстоящих приключениях. Или непрерывно следил за медленно плывущими мимо берегами, манившими своей пустынностью.

Вдобавок капитан, не раз видевший со своего мостика безостановочную откачку воды на барже, послал боцмана ее осмотреть. Тот, кряхтя и чертыхаясь, полез в трюм, поднял где-то настил и обнаружил очень скоро течь у одного из рангоутов. Я же и помогал ее заделать. После этого приходилось откачивать воду лишь раз в сутки, и я справлялся с этим за час. Боцман, убедившись, что я умею держать в руке топор, мерекаю, как тесать и конопатить, смягчился, перестал покрикивать и зло прохаживаться насчет белоручек, «примазавшихся к рабочему классу»...

Появились досуги, и я стал помогать Юре. Правда, в пути он легко управлялся со своими обязанностями — дрова так и летели в топку. Но на стоянках, где мы их запасали, ему доставалось, хотя Юра, на диво всем, поднимал и переносил в одиночку такие кряжи, какие и двоим едва под силу. Уже на второй или третий день плавания капитан стал уговаривать Юру остаться на судне до конца навигации, сулил прибавку. Потом предложил включить в штат, с зимовкой в затоне. И первый заронил у нас сомнение по поводу приисков.

— Туда,— уверял он,— идут одни отпетые бродяги, всякая рвань. Если вы что и намоете, хотя откуда там взяться золоту, коли старые хозяева полвека назад отступились, забросили — будете в старых отвалах крохоборничать, так и то отнимут у вас, украдут. Не то самих зарежут. В тайге управы не сыщешь...

Мы не поддавались.

Под конец нашего пребывания на «Красном речнике» пошла вольготная жизнь. Караван уже миновал устье Ангары. С невольным замиранием всматривались мы в крутые, покрытые дремучим лесом, уступы хмурых ее берегов. Где-то за ними, в глухих каменистых распадках прятались поселки золотоискателей, рисовавшиеся грязными и дикими.

Мы привыкли к работе, четким судовым порядкам, жили в чистоте, сытно,— и перемена немного страшила. К тому же у нас стало много свободного времени. Мы валялись на корме баржи, бездумно наблюдая жизнь непотревоженной природы, любуясь величественным речным простором, становящимся все более живописным. С командой мы сжились,

перестали приглядываться и примеряться друг к другу. Но как ни жалко становилось расставаться с буксиром, мы мужественно отгоняли соблазн махнуть рукой на клондайкские планы и пуститься по дорожке, выглядевшей заманчивой и легкой. Много лет спустя я понял, что нас забрала в плен поэзия речного плавания, складывающаяся из ровности скольжения, тишины и непосредственного ощущения первозданной красоты природы.

— Пожалеете! — сказал нам на прощанье капитан, когда мы, уже сходив в город и оставив вещи в чайной, вернулись на пристань Енисейска проводить буксир. Дальше на север он уходил без нас.

Простились сердечно. Нам крепко жали руку, с сожалением вздыхали: «Эх, братишки, зря вы... Разве плохо вам было?» — продолжали уговаривать. Наверху у трапа пригорюнилась жена боцмана. Утирая фартуком слезы, говорила:

— Натерпятся они там, в какую страсть суются! Парнишки без опыта...

Еще не была изжита вековая, широко и твердо установленная разбойничья репутация приисков. Я даже подивился ее живучести.

Впоследствии я часто вспоминал все это — поднявший якорь буксир, взбурливший колесами воду у пристани; медленно двинувшиеся за ним спаренные баржи, вытянувшие заскрипевший на барабане трос; машущих нам с мостика капитана и команду... Но вот караван скрылся за поворотом реки, и мы начали медленно подниматься по песчаному въезду в город. Именно тогда судьбе было угодно распорядиться нами по-своему. Избрала она для этого средства, правда, старые, как мир, но испытанные и верные...

* * *

...Мы вышли из чайной и стояли, решая, откуда начать поиски квартиры. Вот тут и прошла мимо Анна Васильевна, мимоходом взглянув на нас и наши узлы с чемоданами. Надо сказать, что саквояж Юры — из дорогой английской кожи, с массивными медными застежками,— хоть и сильно потертый, выглядел солидно. Анна Васильевна потом призналась, что именно он бросился ей в глаза. Поколебавшись, она вернулась к нам и спросила: устроены ли мы с жильем?

Не только долгие годы, проведенные перед школьной аудиторией, но и врожденные свойства выработали у Анны

Васильевны внушающую уважение манеру держаться. Она заговорила — сдержанно и вежливо, без тени фамильярности,— и мы сразу подтянулись. Отвечали смущенно и даже теряясь из-за своего малопрезентабельного облика. Задав еще несколько попутных вопросов и внимательно вглядевшись в нас вблизи — у нее были серьезные синие глаза, смотревшие мягко и доброжелательно, по-близорукому напряженно,— Анна Васильевна пригласила нас к себе.

По дороге объяснила, что дом после смерти родителей стал слишком просторным: живет она в двух комнатах вдвоем с унаследованной вместе с ним старой Глашей — Глафирой Яковлевной, прежней няней брата. Остальные от случая к случаю сдает.

Нам отвели светелку в мезонине, куда поднимались по лестнице из холодных сеней. Окна наши были обращены во двор — настоящий сибирский просторный двор, открытый посередине и с лепящимися по всему периметру бревенчатыми помещениями — баней, стайкой, чуланами, кладовыми, разделенными лабиринтом узких темных проходов.

Двор был всегда пустынен. Лишь изредка звякала тяжелая щеколда калитки и пропускала тихую фигуру укутанной в шаль деревенской женщины или мужика с палкой и котомкой. От Глафиры Яковлевны мы знали, что у них во дворе ночуют, случается, знакомые крестьяне из дальних деревень. А в давние времена — это рассказывала Анна Васильевна — у родителей ее была во дворе келийка с замаскированным окошком. Там, бывало, останавливались те, кому никак не хотелось попадаться на глаза полиции.

Кроткая и все еще деятельная тетя Глаша заботилась о нас, как о родных: мы были обстираны, одежда наша, немилосердно рвавшаяся, исправно чинилась. И мы делали в доме, что могли: кололи и носили дрова, ремонтировали решительно все, что только пришло в ветхость и требовало починки — крыши, ворота, всякие кадки и шайки. Даже перестлали расшатавшиеся ступени крыльца. И уж само собой, наnашивали из речки, впадавшей неподалеку, у монастыря, в Енисей, столько воды, сколько вмещали все кадки, ведра, самовары и умывальники в доме.

Как ни ахала тетя Глаша: «Виданное ли дело?» — мы мыли и скребли некрашеные полы в сенях и в коридоре, скоблили мостки и пороги. Делали мы все это с великим рвением, выходило у нас все споро и ловко. Не без тщеславного удовлетворения посматривали мы на результаты своей рабо-

ты, когда тетя Глаша, оглядев заблестевшие половицы, простодушно восклицала: «Экие молодцы! Да где же это вы научились?»

* * *

Теперь, когда появилась сноровка, хотелось даже щегольнуть: четко рассчитанным движением подхватить мешок и вскинуть на плечо, вразвалку пробежать по качким доскам трапа, у люка сбросить без помощи рук, шевельнув лопаткой, и лишь напоследок ловко подхватить, чтобы мягко уложить на место. И так всю смену, пока бригадир не объявит перекур. Я твердо знал, что работаю лучше многих и заслужил уважение бригадира. А еще так недавно он, презрительно сощурившись, глядел, как я, весь в мыле, корячусь с ношей. Не выдержав, цедил сквозь зубы: «Да подхвати выше! Гляди под ноги! Опять обронил, прости господи!» Он теперь нередко заискивающе шептал: «Уж вы с Жорой нажмите, за вами и лодыри потянутся...»

Это внушало веру в себя, позволяло держаться независимо. Договариваясь о новом подряде, бригадир советовался с нами — за сколько браться, какой назначить срок. Был этот оборотистый, невзрачный на вид мужичонка, более тридцати лет покрутившийся в пристанских артелях, слабо грамотен.

— Бывало, получишь с купца договоренное, прикинешь про себя, кому сколько заплатить, рассуешь всем — и вся недолга! Никаких тебе расписок да записок, ведомостей. Про фининспектора и слыхом не слыхали! — вздыхал он, покачивая головой над полученной от меня ведомостью,— расчерченной по всем правилам, с цифрами выполненной работы, норм, процентов выработки, заработка, отчислений и графой с корявыми подписями.

Он даже зазвал как-то Юру и меня в трактир и там угостил рябиновкой — в благодарность за безвозмездное ведение всей отчетности.

Мы зажились в Енисейске. В поисках заработка прибились к грузчикам на пристани да у них и застряли. Платили нам хорошо. Настолько, что у нас завелись обновы и замена вдрызг износившейся обуви. А квартиру нашу мы сразу полюбили. От добра добра не ищут.

Поживем, пока не появится долгожданный вербовщик с приисков: он вот-вот должен появиться в городе. На при-

стани мы об этом услыхали бы в первую очередь — самые свежие новости всегда узнавались здесь. Пристань служила Енисейску, обложенному непроходимыми лесами, единственным окном в мир. Трактом в те годы пользовались только по зимнему пути.

Время шло. Наступил сентябрь, сразу напомнивший, что мы в Сибири. Не только похолодало, но выпал снег, пролежавший несколько дней. Потемневшая река в побелевших берегах стала неприветливой, матовые струи под тяжелым небом — зловещими, и поневоле тоскливо думалось о необходимости пускаться в дорогу, забираться в мохнатые дебри, где речки с ледяной водой и черные стылые камни. И представлялось, как на приисках я буду целыми днями перелопачивать окоченевшими руками песок, с темнотой возвращаться в переполненный барак, шумный, смрадный, со страшными рожами «золоторотцев», склонившихся при свете огарка над участком нар, очищенным от тряпья для карт! Вспыхнула ссора, сверкнули ножи... Тут было, разумеется, больше от рассказов Мамина-Сибиряка о бродягах-старателях прошлого века. Но в те ранние двадцатые годы попавшему в Сибирь свежему человеку было нелегко отделаться от старых представлений. Кругом было еще сколько угодно следов дореволюционной жизни.

Как бы ни было, мы с Юрой заколебались: подумывали — не отложить ли прииски до весны? Не зазимовать ли в Енисейске? С ледоставом работа на пристани прекращалась, но легко можно было найти занятие на шпалорезном заводе под городом или в затоне, где отстаивались и ремонтировались суда со всего Енисея. Да и работали мы перед концом навигации едва ли не сутками: грузоотправители платили, не торгуясь. Бригадир мог заламывать любую цену, а ему чуть не в ноги кланялись: «Возьмись, выручи! Не зимовать же с товаром...» У нас с Юрой появились деньги. Пожалуй, можно было протянуть без малого всю зиму, даже кантуясь.

Появились в Енисейске и другие магниты...

* * *

...Когда Люба нас навещала, мы усаживали ее в единственное кресло, стиснутое нашими кроватями, а сами располагались на них. Так что она находилась между нами. И разворачивались наперегонки — бегали к тете Глаше за чаем,

потчевали припасенными конфетами, развлекали, пересказывали новости, услышанные на пристани. Люба лениво листала лежавшие на столе книги, которые мы брали у хозяйки или из местной библиотеки, кстати сказать, отлично укомплектованной проживавшими в Енисейске до февральской революции многочисленными ссыльными.

Люба — о ужас! — была поклонницей Брюсова, и мы спорили о поэтах и писателях; потом неизменно переходили на всякие воспоминания,— и время шло незаметно. Наша гостья спохватывалась и уходила, неизменно твердо отказываясь от провожатого: надо-де еще к Анне Васильевне зайти, да и квартира в двух шагах...

Как-то Люба сидела у нас. Разговор не клеился. Юра вдруг куда-то заспешил. Смутившаяся Люба попыталась было его удержать. А я промолчал...

Прошло столько лет, а мне все еще страшно взглянуть на слишком живо воскрешенное пережитое.

Это началось сразу, когда Люба впервые при нас пришла к Анне Васильевне.

Из соседней комнаты доносился разговор. Анне Васильевне отвечал женский голос — молодой, с никогда не слышанными интонациями, словно принадлежавший какому-то иному миру. И так стало мне радостно, так тоскливо! Точно проносится мимо что-то прекрасное и — недосягаемое... Манера ли говорить — замедленная, как бы сдерживающая внутренний жар,— сам ли голос, теплый, грудной, делали такими особенными все обычные слова. Идущими к сердцу... И когда вспоминаются те грустные и невозвратно счастливые дни, мне первым слышится он, этот медленный, родной и завораживающий голос...

Анна Васильевна нас познакомила. И я с блаженным удивлением все слушал, как она говорит, и все смотрел, как движется и изредка взглядывает,— серьезно и внимательно...

Я сразу почувствовал, как нуждается эта впервые увиденная мною женщина в опоре, и сразу страстно захотелось стать ее защитником.

Люба была тонкой и высокой, очень высокой. Маленькая головка на покатых плечах, гордо взнесенная плавно очерченной шеей, была как на портретах XVIII века. А манеры и выговор ее как раз принадлежали тем московским семьям, в доме которых висели подобные старинные портреты томных прабабок с пудреной прической и низким корсажем, открывавшим ослепительную грудь, и кавалеров в жабо

и шелковых кафтанах, словно созданных для изящной любовной переписки.

Люба узнала Анну Васильевну годом раньше нас. Приехав с мужем в Сибирь в составе геологической экспедиции, она некоторое время жила у нее. Дружеские отношения сохранились: Люба сильно привязалась к Анне Васильевне, та опекала ее по-матерински, жалела, тревожилась...

Ко времени знакомства с Любой мы сжились с Анной Васильевной настолько (просто полюбили эту редких душевных качеств женщину), что мне позволительно было и порасспрашивать.

Выяснил я, что муж Любы, Сергей, работал в экспедиции на гравиметрической съемке; она — там же, вычислителем и чертежником. По недомолвкам Анны Васильевны я заключил, что ей не по душе Любин муж. Дознаваться дальше было, само собой, нельзя. Да и Анна Васильевна все равно бы промолчала. Она была из тех, кому доверив и самое сокровенное, никогда потом не раскаешься.

Нашей хозяйке было тогда лет пятьдесят. Жила она в старом доме, в котором и родилась. Родители ее, революционеры начала семидесятых годов, были сосланы в Енисейск, здесь и умерли. Разрешение вернуться из ссылки они получили, когда уже крепко связали свою жизнь с Сибирью. Отец Анны Васильевны служил в городской управе, мать возглавляла женскую гимназию, открытую их стараниями. Стала педагогом и их дочь. Был у Анны Васильевны и младший брат.

Анна Васильевна преподавала в старших классах и возвращалась из школы поздно. Шла она по улицам — прямая, несколько чопорная, в темном, длинном и глухом платье старого покроя с маленькими буфами у плеч и узкими у кисти рукавами. Седые волосы, аккуратно расчесанные на прямой гладкий пробор, закрыты черной кружевной накидкой. Строгая ее фигура сразу бросалась в глаза на малолюдных улицах Енисейска.

* * *

...Мы оба измучились. Люба, с ее обреченной убежденностью верующей, страшилась уступить своему чувству, хотя отношения с мужем расстроились окончательно. Стало оче-

видно, что надо с ним порывать. Я не умел найти выхода — настолько зыбким выглядело мое будущее. Не обладал я и тем малым, что мог дать ей непутевый безалаберный Сергей: служебное положение, практическую специальность... Я же — всего сезонный грузчик!

И все-таки я не мог не искать встреч с Любой, не стремиться остаться с ней наедине. И однажды она назначила мне прийти к церкви и подождать ее после вечерней службы. Мне запомнилась пустынная набережная и строй оголенных тополей, неприютно шумевших на ветру. Было темно и холодно, низкое черное небо посылало редкие капли дождя, и было слышно, как неспокойно плещется о деревянные стенки речная волна. Голова у Любы была закутана в черный платок, оттенявший бледное лицо. Мы долго ходили с ней взад и вперед на коротком участке под деревьями, словно должны были непременно то и дело поворачиваться, подчиненные движению маятника, и оттого на сердце откладывались тоска и бессилие. Мы говорили много, горячо, но и выговорившись, никаких узлов не разрубили.

— Я хочу быть только с тобой — знай это. Но все еще ничего не сказала мужу... Как же это сделать, чтобы уйти к тебе со спокойной совестью? Да и ты... неприкаянный мой!

Люба говорила ласково и грустно, каждое слово шло от сердца... Уже тогда я ощутил у нее сознание своей обреченности, она как бы знала, предчувствовала, что ей не суждено счастья, и боялась в него поверить. Быть может, ее надломили какие-то ранние детские впечатления. Люба думала о своей ущербности, готова была считать жизнь свою искуплением грешной и легкой жизни отцов и дедов. Уже тогда мне смутно виделось за внешним очерком молодой, гордой и обворожительной женщины что-то горькое и даже трагическое. Вероятно, Люба сама догадывалась, что недолговечна.

Еще тогда, в Енисейске, я заметил, как Люба невзначай чуть судорожно переводит дух, точно выравнивает дыхание. После глубокого, нервного вдоха она на мгновение замирала, словно пережидая, когда что-то у нее внутри отпустит. Я страшно пугался. Очнувшись, она взглядывала на меня потемневшими глазами и через силу улыбалась:

— Всполошился, глупыш? Пустяки, это у меня давно, невроз какой-то.

* * *

Да, жаловаться Люба не умела.

Я познакомился с ее мужем. Были в нем подкупающая на первый взгляд легкость обращения, простодушная напористость, бесшабашность. Он недурно пел, подражая манере цыган,— этакий добрый малый веселого обычая с приятно очерченным лицом, мягкими волнистыми волосами. И я понимал, что им могла увлечься семнадцатилетняя девушка, тем более не слишком пристально опекаемая родными. Как я мог догадаться, они не одобрили ее выбора, и обвенчалась Люба с Сергеем, преодолевая сопротивление матери. Было очевидно, что в глазах людей старшего поколения он терял всякую привлекательность. И не только из-за своей невоспитанности. Из Сергея так и выпирал жизнелюбивый эгоист, более всего озабоченный пожить в свое удовольствие. Как все люди такого склада, он был толстокож, занят только собой.

В маленьком городке все становится очень скоро известным. Сергей приобрел репутацию человека распущенного. От него, пьяного, Люба искала убежища у Анны Васильевны. Та была единственным человеком, которому она открывалась. Как-никак мужа она выбрала себе сама и гордость не позволяла жаловаться!

Сергей приходил за женой — Люба отказывалась выйти. Он упрашивал Анну Васильевну вымолить для него прощение, клялся, что это в последний раз. Анна Васильевна не могла, по совести, советовать Любе примирение. И она убеждала Сергея дать времени загладить остроту обиды. Но Люба была ему нужна — он упрямо канючил, не уходя, усаживался на ступени крыльца, безнадежно обхватив голову руками. Любе ничего не оставалось делать, как собираться. Мне пришлось видеть, как они идут: она медленно, впереди, не оборачиваясь, понурая, почти трагичная; он — сзади, виноватой, только прощенной собакой. По походке, по скрытой ухмылке угадывалось, как он торжествует, укрепившись в уверенности, что ему все всегда сойдет с рук — бабы и вино — и что, протрезвев и отоспавшись, он ляжет в постель рядом с женщиной, которую всегда сможет подчинить своим желаниям... И — боже мой! — с какой женщиной! Как ненавидел я его...

* * *

...Вечер начинался так славно, так идиллически празднично!

Стол накрыли в большой, приятно обставленной, по-сибирски умело натопленной комнате, освещенной редко зажигавшейся большой, свисавшей с потолка лампой. Мы, гости Анны Васильевны, принаряженные и чуть торжественные, как всегда бывает в эти минуты, поглядывали на старинные часы под стеклянным колпаком. Они стояли на горке, уставленной разрозненной чайной посудой, вазочками, фарфоровыми пастушками и маркизами с отбитыми носами и жеманно оттопыренными пальчиками. Все ждали, когда золоченые стрелки сольются на римской цифре «XII». Под слабый мелодичный звон непостижимо долговечного механизма мы должны были «содвинуть стаканы» и поздравить друг друга с наступившим Новым годом.

Все эти мелочи врезались в память потому, что до боли ясно напомнили Новый год в детстве. У нас в деревенском доме в столовой с потолка тоже свисала лампа на трех цепочках и в стороне тоже стояла горка со старинным фарфором — склеенным, щербатым, никчемушным, но знакомым нам, детям, наизусть. У меня был любимец — наполеоновский гренадер, державший «на караул» обломок ружья; сестра обожала пейзанку в кринолине, нежно склонившуюся над безголовой овечкой, повязанной голубой лентой... В глубине зеркальной стенки таинственно отсвечивали грани хрустальных графинов и стаканов венецианского стекла. И так же однообразно и тихо жужжала горелка «молнии» с ярким венчиком огня. И я, мальчик в накрахмаленной матросской блузе, доверчиво ожидающий чуда возникновения новорожденного года. Так вид склеенной чашки способен вдруг со щемящей ясностью воскресить целую страницу жизни, оживить давно ушедшие лица...

Анна Васильевна, раскрасневшаяся и захлопотавшаяся, рассаживала гостей: двух своих сослуживиц, по-провинциальному церемонных и разодетых, мужчину лет сорока, с подстриженной бородкой, в куртке полувоенного фасона и охотничьих унтах, державшегося подчеркнуто замкнуто. Возле него должна была сидеть тетя Глаша, но она, вся в тревогах за свои пироги и прочую стряпню, убегала на кухню, возвращалась, спохватывалась, снова уходила и за стол так и не присела. Нас с Юрой усадили рядом, напротив — Любу. Открытое платье — бархатное, гладкое, от-

деланное старинным кружевом,— увеличивало ее сходство с дамами, позировавшими Рокотову и Левицкому, однако без их уверенного спокойствия.

Сергей явился, когда все уже сели за стол.

— Решили, Сережка опоздает? Или рассчитывали — авось да не явится вовсе? — расхохотался он еще в передней, суетливо раздеваясь.— Тут женка? Ишь, разрядилась! Для кого только...— прыснул он уже в комнате и, проходя мимо Любы, протянул к ней руку, словно собираясь небрежно провести по лицу. Она резко отстранилась. Сергей сразу насупился.— Выходит, погладить нельзя... И вообще — не тронь,— проворчал он вполголоса и стал молча со всеми здороваться.

Колесики пира расходятся постепенно, непринужденности и легкому застольному настроению надо преодолеть первые минуты заминки. В ту новогоднюю встречу все пошло наоборот. Росли скованность, смутное ощущение неловкости. Языки не развязывались. «Тихий ангел» слетал все чаще, не принося, однако, умиротворения.

Сергей пришел сильно навеселе и — это чувствовалось — с какими-то намерениями: говорил с вызовом, преувеличенно громко, задирал жену. Своими шутками с затаенным намеком он напористо обрывал завязывавшиеся было разговоры. Люба сидела сжавшись. Что муж ее явился подогретым неспроста, она поняла сразу и готовилась к худшему.

Удивительное дело: из-за того, что тут был муж с его какими-то особыми правилами, не допускающими вторжения третьего лица, я чувствовал себя скованным и не мог вмешаться. Я отлично понимал, что дело коснется именно меня.

Завлечь Сергея в общий разговор не удавалось. Ответив односложно, точно отмахнувшись, он снова громогласно обращался к жене, как бы приглашая всех нас в свидетели своих выступлений:

— Только посмотрите на такую скромницу... Сидит с постным лицом, глазки потупила... Вы думаете, она и дома такая? Люба, расскажи-ка, какой ты дома бываешь... А? — глумливо подмигивал он.

Уговоры не действовали: он их будто и не слышал. Подливал себе вина и не хмелел. Глаза были злые, трезвые.

Юра поднялся, сходил за гитарой.

— Сережа, споем застольную. Начни...

— Спеть? Что же, я с превеликим...— Он резко отодвинул стул, не без аффектации чуть покачнулся и, с ухмылкой подойдя к Юре, встал за ним.— Повеличаем, что ли...

Сергей затянул цыганское величание. Когда дошло до слов «к нам приехал наш родимый, наш...», он оглядел всех. На мне задержался и многозначительно, с легкой издевкой, процедил мое имя. Потом подмигнул Любе и прошелся вокруг стола, пощелкивая пальцами и молодецки поводя плечами. Вдруг, повернув свой стул к Любе, резко сел.

— Когда кого величают, полагается чокнуться с ним да поцеловать в уста сахарны. Надо бы знать! Сама рассказывала, что дядя научил тебя всем манерам. Ведь он не вылезал от «Яра». Цыган на рысаках катал. Уж эти мне аристократы... с короткой памятью... А, Люба? Ты что же, при мне побоялась целоваться, так, что ли, а?

— Сиди,— сильно надавил на мое плечо Юра. И я снова опустился на стул, даже не заметив, как с него поднялся.— Сергей! — сказал Юра громко.— Не порти компании! Оставь Любовь Юрьевну в покое: ты ведь в гостях. С женой дома будешь разговаривать...

Сергей и ухом не повел. Как сидел, обернувшись к Любе, с локтем на столе, так и остался, не сводя с нее пристального взгляда. Он словно бросился с кручи очертя голову: ему нужен был скандал. Унизить жену при всех, показать власть над ней. Чем высокомернее и сдержаннее она вела себя, тем яростнее ему хотелось сделать что-нибудь такое, что бы взорвало ее. Прикрикни на него Люба, швырни чем-нибудь,— он угомонился бы, почувствовал себя с ней наравне.

— Холодна, видите ли. Не удостаивают... Фарфоровая маркиза, фу-ты ну-ты.— Он внезапно обернулся к гостям: — Мода теперь у нас такая — муженьку стелется отдельно, в столовой, а свои покои — на крючок. Французских романов начитались, адюльтеры мерещатся...

Люба с тоской взглянула на Анну Васильевну и стала подниматься с места.

— Вот,— завопил Сергей,— вот кто компанию-то портит! Юра, будь свидетелем! Сиди, женка, потолкуем... ладком да рядком.— Он рассмеялся, цинически, ядовито.— Рассказать про свадебку-то нашу?.. А?.. От друзей ведь секретов нет, а? Как до нее не дотерпела? Торопилась... крючочки-застежки летели...

— Негодяй! — как хлыстом полоснул молчавший до того охотник.

Люба охнула, сжала руками виски. Я отшвырнул стул и бросился к обидчику. Меня опередил, оттолкнув, Юра. Он тяжело положил руку на плечо Сергея.

— Уходи домой.

— Ага! И второй тут... защитник... Рыцари... Пошли, жена, раз нам от ворот поворот!

— Нет... Никогда...— еле слышно ответила Люба. И судорожно перевела дыхание.

— Нне ппойде-е-ешь? — взревел Сергей.— П-п-отаскуха...

Последовала короткая безобразная сцена. Юра сгреб Сергея в охапку, а тот вырывался, цеплялся за стулья, бился, сквернословил. Мы выволокли его в сени, потом на улицу. Насильно втиснули в полушубок.

Сергей бежал по улице. Снег громко визжал под его валенками на мертво тихой улице.

Был сильный мороз.

* * *

...Шли дни и недели, наступил март, а мы с Любой все ехали и ехали. Морозы стояли лютые, и я следил, чтобы Люба не мерзла, спешил, пока кормили лошадей на дневках, напоить ее горячим чаем или соорудить обед; улаживал ей для ночлега место поспокойнее и поуютнее. После пережитого Люба медленно приходила в себя, и меня всего поглощали заботы нашего нелегкого путешествия и обережение моей спутницы. Да, теперь моей, и не только в дороге, но всюду и всегда.

Мы пробирались в дальний северный район края, почти за тысячу верст от Енисейска, к бывшему ученику Анны Васильевны. Он, глава крупной заполярной стройки, обещал нас принять на работу, дать кров. В Енисейске он случился как раз, когда стало очевидным, что Любе оставаться там дольше нельзя.

...Сергей, чтобы нам насолить, состряпал донос, куда насовал всякой дряни, вкривь и вкось перетолковав все, что знал о нас. Это сочинение он, в первый же день нового года, сдал дежурному в доме на главной улице, где помещалось НКВД.

К Анне Васильевне ни с того ни с сего пожаловал участковый милиционер. Не слишком внимательно сличив наши паспорта с записями домовой книги, он, пробурчав, что, «как и наперед знал, все по пустякам гоняют», ушел. Да и приятельница Анны Васильевны под большим секретом поведала, что видела Сергея выходящим из НКВД.

Анна Васильевна, депутат горсовета и уважаемое лицо в

городе, отправилась сама навести справки. Тут и выяснились подробности.

Сергей писал, что гости Анны Васильевны, поголовно из беглых бывших, вели за столом предосудительные разговоры и склоняли его поднять стакан за здоровье Керенского. Козырял Сергей тем, что на встрече был брат хозяйки, колчаковский офицер. Мы с Юрой скрывали, как он уверял, что были юнкерами.

Сергей просчитался. Все, что следовало знать о нас двоих и об Алексее Васильевиче, в местных органах знали много точнее, чем он; сама же Анна Васильевна и ее подруги были вне подозрения. Разоблачения Сергея почли вздором. Для проформы послали милиционера проверить домовую книгу.

По складу своего характера Люба, пожалуй, не рассталась бы с Сергеем, провинись он только перед ней: и, не простив оскорбления, понесла бы дальше — молча и не жалуясь — свой крест русской женщины, обреченной терпеть нелюбимого. Но он пошел на предательство. И Люба была потрясена: ее муж, ее избранник — и вдруг доносчик! Клеветник! И — мало того — растоптал все ее понятие о чести и честности.

Она окончательно переселилась к Анне Васильевне. Та сама сходила за ее вещами, прихватив своего брата и Юру. Тут Сергей повел себя вполне пристойно: корыстным он не был и предоставил унести все, что они сочли нужным. Кажется, он тогда понял, что натворил непоправимое И оставил Любу в покое.

Мы жили тихо, словно в доме был больной. У меня сердце разрывалось, глядя на ушедшую в себя Любу. Я не только не решался заговорить с ней о нашем будущем, но иногда, дойдя до ее двери, останавливался, не смея постучать: такой Люба выглядела тогда израненной. Казалось, малейшее неосторожное прикосновение способно причинить ей боль — ни сердце, ни ум не подсказывали верных слов, несущих облегчение.

И как-то она зашла ко мне, притворила за собой дверь, нежно погладила по голове.

— Не страдай, милый,— сказала она ласково,— потерпи. Ничего не изменилось, я приду сама к тебе. Дай только время отойти от всего, что было.

Мы ближе сошлись с братом Анны Васильевны, а Юра совсем с ним сдружился. Алексей Васильевич много пожил на Крайнем Севере, и ему было что рассказать. Жизнь его рисовалась нам приключением, почерпнутым из фан-

тастической старой хроники. В то время в Сибири еще была возможна прикровенная, отгороженная ото всего мира жизнь.

Едва рухнули порядки царской России, как появились те, кого ужаснули наступившая перемена и грядущая ломка. Шевельнулась давнишняя, подспудно таящаяся в русской душе тяга в пу́стынь, к отгороженной от суеты жизни в благословенных безлюдных дебрях. Возникло стремление уйти подальше от взбаламученного мира. И вот стали семьями уходить в глушь жители старинных кержацких сел, где оставалась непоколебленной власть главы дома. Случалось, рассказывал Алексей Васильевич, подросшую дочь, умолявшую ее оставить и не хоронить заживо в тайге, вязали и уволакивали насильно. Уходившие были отнюдь не всегда из тех, кому грозили преследования: скрывались и возжаждавшие тишины и уединения, искавшие «спасения души».

Темными ночами, хоронясь соседей, грузили всяким припасом просторную лодку, брали корову, домашний скарб и уплывали, бросая на произвол дом и хозяйство. И исчезали, как бы растворялись в необозримом таежном море... Быть может, и доводилось какому охотнику или рыбаку увидеть на безымянной речке медленно плывущую груженую лодку и даже опознать отталкивающихся шестами пловцов, но он наверняка молчал — тайга карает болтливых.

По неведомым речкам и протокам, через маятные волоки и заросшие озера забирались в такую глушь, оставляли позади себя такие засеки и заломы, такие гиблые топи, что оказывались за пределами, вне досягаемости суетного мира — греховного и ощетинившегося угрозами. Угрозами не только земному благополучию, но и спасению души: в тайгу уходили не отступившие от православного бога потомки старинных раскольников, увидевших конец света в наступившем торжестве безбожия. Уходили, чтобы не оскверниться, не стать приспешниками объявляющегося антихриста.

Так в двадцатом веке появились в тайге отшельники, основались скиты. И происходило это более или менее так же, как в XVII веке. Иногда по нескольку беглецов рыли себе землянки или рубили избушки друг возле друга, начинали сообща добывать у тайги средства к жизни. На раскорчеванных вручную клочках земли высевали бережной рукой горстки ржи или ячменя из прихваченного драгоценного запаса. Сажали картофель. Но более всего кормили сети с вершами, слопцы да петли, обильные таежные ягодники.

И пуще всего стереглись навести на свой след власти.

При малейшей тревоге снимались с места и уходили дальше, еще выше по заломленным упавшими деревьями, укрытым зарослями ручьям и речкам, забирались в самое что ни на есть лешачье сторожьё.

Завелись у скитников связные, пробиравшиеся осмотрительнее самого чуткого зверя к верным людям на далеких заимках и в селах за необходимым запасом: солью, свинцом, порохом, крюками для самоловов, пилами, всяким инструментом. Отдавали за них беличьи шелковые шкурки, глянцевитый мех выдр, драгоценных соболей. И так жили долгими годами, старились и умирали. И подрастали дети, не зная иной жизни, как на своем таежном островке, спасенные от соблазнов мира, ставшего добычей сатаны.

Искали укрытия в тайге и остатки разгромленных белых отрядов, те, кто не надеялся уцелеть, сдавшись на милость победителя. Они надеялись отсидеться в лесу, пока не развалится новая власть. Но время шло. Остывал накал борьбы. Улегшиеся страсти уступали место трезвому суждению. Из тайги стали понемногу выходить «беляки» разных калибров и сдаваться властям. Да и кержаки из менее упорных бросали свои лесные логова, отчаявшись когда-либо в них спастись.

Алексей Васильевич провел в тундре более двух лет, пока разыскавшей его сестре не удалось дать ему знать, что зауряд-врачу, мобилизованному в белую армию, не угрожают никакие кары, если он и объявится.

— В жизни «детей природы» есть своя прелесть,— вспоминал вчерашний таежный Робинзон.— Меня, полумертвого, подобрала семья остяка, дала место у своего очага. И стал он мне ближе брата... В те поры я кочевал с ним по Пясине, на Таймыре. Но вот — осточертело заячье житье, положение беглого. Все казалось, будто настоящая жизнь бежит мимо, вершится вдали. И я решил: будь что будет — послушаться сестры. Отдал свой чум, оленей остяку, простился с ним и поплыл на своей берестяной лодке навстречу судьбе... Что ждало меня? За длинный путь — был я за Полярным кругом и плыл по порожистой Бакланихе — вспоминал свою жизнь, оставленных остяков. И дал зарок: если доведется самому выбирать дальше — непременно вернусь! Что за люди — простые, доверчивые, а как гостеприимны — и не опишешь! За все два года, что я прожил с ними, никто не захотел знать обо мне больше, чем я сам рассказывал...

Сестра оказалась права: все обошлось. Меня, после проверки, отпустили на все четыре стороны. Теперь я снова в

тундре — командую там медпунктом. Ведь я без пяти минут врач — на войну, еще ту, германскую, пошел с четвертого курса медицинского института. Там, у остяков, и моя семья.

* * *

Когда человек молод, разочарования, обиды лишь ненадолго подавляют чувства и желания. Любе было двадцать лет, и она полюбила. Характер цельный и честный, она не стала играть со своим влечением, уверившись во мне,— тянуть с окончательным решением.

Свою любимицу Анна Васильевна поместила в комнате, некогда устроенной ее родителями для своей подросшей дочери. Все в ней говорило о старомодной заботливости и внимании к девичьим вкусам. Были тут низкие кресла возле рабочего столика, лампа с шелковым абажуром, светлые занавески в крупных ярких цветах, туалетный стол с большим зеркалом. За ширмой с вышитым шерстью по канве пасторальными сценами — столик с подсвечником и умывальник с фаянсовыми принадлежностями, перед кроватью с коваными спинками — ночной коврик. Шло это все Любе как нельзя больше и волшебно переносило меня в мир моей юности, далекой нынешних тревог.

Вечерами мы все собирались у Анны Васильевны вокруг самовара. Тетя Глаша уютно хозяйничала, шли неторопливые разговоры, радушие обстановки располагало засиживаться, и наши беседы затягивались, когда уже смолкал окончательно заглохший самовар и задремавшая тетя Глаша, вдруг спохватившись, поднимала голову, всех нас оглядывала сонным оком:

— Вы как хотите, а я пойду!

Стал я теперь с нетерпением ждать, когда все разойдутся по своим комнатам. Юра забирался к Алексею Васильевичу, с которым они засиживались допоздна. Выждав некоторое время, я тихо спускался по лестнице, и легкий скрип ступеней, казалось мне, наполнял весь дом. У Любиной двери я замирал, ожидая ответа на свой стук... Она обычно сидела за шитьем, я усаживался в низкое кресло напротив.

В свою светелку я возвращался все позднее и позднее. Случалось мне разминуться в сенях с тетей Глашей, занятой самоваром. Нечего говорить, что отношения наши с Любой сделались для обитателей дома секретом полишинеля.

Да и делать что-либо крадучись, тайком, было не в натуре

Любы. Я же переживал то восторженное состояние, когда мужчина победоносно смотрит на весь свет, переполнен горделивой радостью, готов счастливо возглашать со всех крыш: «Она моя! Моя — и ничья больше!» Что мне до скромных или нескромных свидетелей моего торжества!

Люба повеселела. Она бывала шутливо настроена, держалась менее сдержанно, и легко угадывалось, сколько страсти таит ее внешне холодный облик.

С работы Люба возвращалась оживленной, открыто при всех подходила меня поцеловать, советовалась с Анной Васильевной — как поступить, чтобы получить развод и расторгнуть церковный брак с Сергеем.

Мирное и счастливое течение дней, однако, вскоре нарушилось. Юра внезапно объявил, что едет на Север с Алексеем Васильевичем. Хочет-де вольно поскитаться по тундре, рассказы о которой его приворожили. Меня охватило чувство невольной вины — нехорошо бывает на душе, когда вдруг тебе четко и обнаженно представится, сколь нелегко жить другу с тобой — счастливцем — бок о бок, когда пустовато у самого...

Я стал отговаривать, возражать... Как же с нашими планами?

— Ладно, друг,— грустно усмехнулся Юра.— У тебя теперь иная судьба. Надо и мне поискать своей. Придется разъехаться — это необходимо. Будь счастлив!

Мне нечего было сказать. Где-то на самом дне сознания у меня таилась давнишняя догадка: не полюбили ли мы с Юрой одну женщину? Заглушая ее горечь, я заговорил о сроках поездки Юры, его возвращении, датах возможной встречи. Он только плечами пожал...

Счастливый себялюб, и я постыдно примирился с отъездом друга. Сам уже поступил на работу в геологическую экспедицию. Чтобы разобраться в «крутильных весах Этвеша» и постичь азы вычисления векторов, обложился книгами: мне предстояло в полевой сезон самостоятельно производить съемку.

Однажды Люба пришла с улицы сама не своя. Снова Сергей! Устроил сцену в конторе, потом шел за ней по улице, требуя, чтобы она вернулась к нему, угрожал, давал срок на обдумывание. Анна Васильевна в тот же вечер сходила к Сергею, надеясь его уговорить примириться с уходом Любы. Однако нисколько в этом не успела. Сергей ей вдогонку не только пообещал «переломать мне ребра», но и приволочь Любу домой за косу. И я отправился с ним драться.

Сергей оказался жалким противником. Да и был я много крупнее и сильнее его. Он, едва я замахнулся, повалился на землю, закричал, стал звать на помощь... Получалось избиение. О таких, к сожалению, «кулаки не марают». Но как быть, если не удалось проучить, отбить охоту?..

Сергей переменил тактику. На всех перекрестках — а они так тесны в городке о восьми тысячах жителей! — он ославлял свою гулливую жену, жаловался на нее в местком, взывал к начальству экспедиции. И не давал проходу Любе, приступая к ней, однако, по-иному: хныкал, каялся, уверял, что без нее не жилец, давал обещания.

Все это извело Любу. Оставался один выход — отъезд. От возвращения в Москву она отказалась сразу: ни за что не хотела ехать одна, даже временно. Мне, само собой, о такой поездке нечего было думать: не мог я уподобиться ослу восточной поговорки, отправившемуся за рогами и вернувшемуся с отрезанными ушами... Тут и подвернулся ученик Анны Васильевны. Он предложил мне заработок, о каком я и мечтать не смел, приобретение технической специальности, «жизненно необходимой», по его словам, любому современному молодому человеку.

Этот же инженер устроил нашу дорогу: меня зачислили главным в отряд, сопровождающий партию лошадей для строительства. Я принял по акту двенадцать разномастных коняг, трое дровен, груженных фуражом, ворох тулупов, унтов, мохнашек, топоры, веревки, запасную сбрую — список на трех листах. Мне придали двух конюхов, и мы поехали.

8

...Просторы замерзшего Енисея, где-то в белесой дали ограниченные темной полосой тайги; холодное серое небо; наезженный по смерзшемуся снегу санный след, переметенный поземкой... Однообразный глуховатый перестук копыт некованых, дружно бегущих лошадей; жидкое позвякивание колокольца под дугой головной запряжки, скрип полозьев на ухабах и раскатах и — пустота, пустота. Вокруг ни человека, ни зверя, ни птицы. Точно за темные зимние месяцы стужи истреблена на земле всякая жизнь. Отклоняясь от русла, дорога изредка покидает лед реки и змеится по лугам, вдоль стариц со щеткой погребенных сугробами тальников, не то уходит в лес — заснеженный, величавый, тихий. Мороз гулко

бьет по стволам, звук эхом раскатывается в тишине, пугая лошадей.

Люба оказалась стойкой, нескучливой путешественницей. Она не соглашается укутанной куклой сидеть под меховой полостью в гнезде из сена. Устраивается боком на роспусках, вертится, глядит по сторонам, расспрашивает наших конюхов — бывалых возчиков, не раз ходивших с обозами в низовья Енисея. Благодаря Анне Васильевне Люба одета с ног до головы в меха, как настоящий туземец, и мороз ее, слава богу, не берет. После самых длинных переездов у нее руки и ноги теплые, словно она не выходила из натопленной избы. И мы едем почти без дневок. В любую стужу. Если только не поднимается ветер, несущий навстречу колючий снег, закладывающий лошадям ноздри. Тогда приходится останавливаться и обламывать наросшие на мохнатых мордах льдинки.

День прибавился, но ночевки все равно длинные. Каждая из них — погружение в обособленный мирок, соприкосновение с открывшейся на миг чужой жизнью. Любу, природную горожанку, восхищает местное бесхитростное доброжелательство к путникам. Замкнутые и немногословные люди оказываются радушными, внимательными и чуждыми корысти. Женщины жалостливо сокрушаются: «Да куда же ты, такая молоденькая да худая, собралась? В этакую дорогу, одна, с мужиками... Знать, неволя заставила...» И подкладывают Любе лучшие куски, особенно тонко настрагивают ломтики нельмы и осетрины.

Для Любы такое общее доброжелательство — радостное открытие. Оно, как волшебное снадобье, врачует ее страх перед жизнью, ее раннее неверие в людскую доброту. Она повеселела. На щеках появилась краска — конечно, больше от мороза, но и мои попечения сказываются. Ни одна самая заботливая нянька так не печется о ребенке, как хлопочу я вокруг Любы: ей должно быть всегда тепло, ложе ее — уютным, по вкусу дорожные трапезы. Никакие тени прошлого не должны мрачить легкое дорожное настроение.

Избы в станках, где мы останавливаемся, по большей части просторные, и нам с Любой отводят отдельную горницу. Сон после холода, укачивания в санях и хлопот о конях долит необоримо. Но Люба успевает нашептать мне в ухо, как добра здешняя хозяйка, как пожилой возчик Кеша — лихой конник, и ночью не расстающийся с искусно сплетенным ямщицким бичом, висящим у него на запястье,— сунул ей давеча кусок «духовитого» мыла в обертке: «Возьми, дочка...» Какие все в

Сибири славные, добрые! А я-то боялась — нелюдимы да суровы...

Люба восторгается еще чем-то, тормошит, заставляет дослушать, но я уже сплю... счастливый!

За Подкаменной Тункуской установилась солнечная погода. Все вокруг заблистало. Слепили дали, в тайге запахло хвоей — густо и терпко. Казалось, все вокруг сулит радость и удачу. В них так легко верить в яркий предвесенний день, под залитым светом бездонным синим небом, посылающим первое тепло, ощутимое в заветриях; когда перед глазами — первое движение жизни: с густо засыпанных елей днем соскальзывает подтаявший снег, и ветви, распрямившись, в облаке сверкающих снежинок, замирают облегченно. Как страшно было бы жить, если знать заранее, что ждет тебя...

Эти без малого два месяца однообразного зимнего пути, проведенные наедине с любимой, были чудесны, наполняли предчувствием ожидающего впереди безграничного счастья. Люба оживала на глазах, словно, чтобы расцвести, она только и ждала этих длинных верст ровного конского бега по льду сибирской реки, томительно долгих остановок в метель, этих светящихся красным огоньком окошек, суливших радушный ночлег и тепло...

* * *

...А уже в конце апреля Любы не стало.

Умерла она не при мне. И много спустя — в последовавшие пустые окаянные годы — меня преследовало горьким укором видение ее последних дней. Она ждала меня, ждала до последней секунды. Я же в это время... Да что вспоминать! Произошло как раз то нелепое стечение обстоятельств, жестокость которого все сильнее и горше постигаешь по мере того, как оно отходит в прошлое.

«Если бы я был дома! Если бы я оставался с ней!» — я с мучительной настойчивостью, до мельчайших подробностей воображал, как бы все обошлось при мне... Как бы я предотвратил беду, не дал пустяковым случайностям вторгнуться в нашу жизнь и не допустил непоправимого. Терзаясь этими мыслями, я был не в состоянии их отстранить от себя и снова и снова к ним возвращался, поворачивал на все лады, отказываясь признать тщету любых наших предосторожностей перед лицом смерти.

Любы не было. И не было навсегда.

Как это случилось?

...Я не обмолвился — у нас в самом деле появился свой дом: двухкомнатная квартира с отдельным ходом в коттедже на две семьи. Я затрудняюсь объяснить, почему наши типовые двухквартирные домики, рубленные на самый что ни на есть расейский лад, окрестили на строительстве коттеджами.

Получив изрядные подъемные, мы с Любой весело обрастали хозяйством. Ее сразу определили в проектный отдел. С пантографом и чертежным столом на шарнирах она, к моему удивлению, обращалась умело и быстро. Ей нравилось спокойно разбираться в сложных схемах. На меня же один их вид наводил оторопь.

Обстановка разворачивающихся строительных работ с многотысячным людским муравейником, их хаотичностью, авралами и напряженным ритмом была мне не по душе. Не хотелось ни ходить по «объектам», хронометрируя разные операции — я короткое время пробыл в техниках-нормировщиках,— ни тем более торчать в плановом отделе, разлиновывая и заполняя бесчисленные формы и ведомости, ненужность доброй половины которых попросту выпирала. Меня, кроме того, беспричинно тревожило окружающее многолюдье. Я чувствовал, словно бурлящий, захлестывающий стройку людской поток подхватывает и меня, катит, как песчинку, и я теряюсь среди тысяч и тысяч незнакомых лиц, почти нераспознаваемых в однородной одежде. Вызванное этим напряжение не сразу улегалось и по окончании рабочего дня.

Вот почему я ухватился за разведочные партии. Их с приближением весны начали отправлять на розыски промысловых угодий, для снабжения строительства рыбой и дичью. Меня тянуло по-настоящему испробовать тайгу, до того манившую издали. Люба с легким сердцем согласилась на мой недолгий отъезд.

— Поезжай, милый... Наша инженерия, видно, не по тебе. Станешь вольным траппером, как у Купера. Оденешь меня в беличью шубку. И потом — это разве надолго? Промысел всего два-три месяца в году, да? В остальное время будешь, если захочешь, заниматься техническими переводами — здесь организовано бюро. Обо мне не беспокойся. Мне тут так нравится! И чертежи мои нравятся — их хвалят. Да и относятся ко мне в отделе хорошо. Буду обедать в итээровской столовой — без забот! А дома читать, штопать, ждать тебя...

И мы так буднично простились — ведь ненадолго! Я проводил Любу на работу — мы крепко поцеловались, поглядел

ей вслед. Она с крыльца помахала мне рукой, исчезая за дверью чертежной. Собрав рюкзак, я запер дверь, положил ключ в условленное место и отправился на конный двор за подводой.

Выдумки это, будто сердце вещун!..

Удивительная, бьющая через край жизнь нетронутой тайги ошеломила меня, захватила целиком. Прилетной птице было тесно на первых лывах и редких пропаринах по быстринам речки, по закрайкам озер с родниками под берегом. В двухстах шагах от избушки, где мы жили с проводником, зорями пели непуганые глухари — сотни! По опушкам весь день свистели рябчики, вокруг стоял птичий гомон и шелест крыл. Над головой в кронах резвились порыжевшие белки, за ними гонялись куницы и колонки; в расставленные нами повсюду мережи насовывалось пропасть рыбы, всюду на льду оставляли следы выдры... И я жил в охотничьем угаре — стрелял, выслеживал, наблюдал... Протокольно записывая все увиденное для отчета и на глазок подсчитанное, я впервые ощутил острую потребность рассказать о своих впечатлениях. Поделиться восторгом от соприкосновения с извечным кругом жизни Природы. Когда ступаешь по мшистым кочкам слегка оттаявшего болота, сплошь красным от клюквы, которую никто не обирал от века, когда стоишь под столетними соснами бора, не слыхавшего звона топора...

В середине мая, по последнему зимнему пути, я тронулся в обратный путь. Ехать можно было только во второй половине ночи и по утрам, по чарыму. Вынужденные дневки изводили меня, и не хватало терпения дождаться, пока размякший под солнцем снег затвердеет. Как надеялся: заражу Любу своей влюбленностью в таежную жизнь, и мы когда-нибудь вместе поживем в укромной лесной сторожке, на берегу живописного озера... Я вез дичь и предвкушал, как буду угощать рябчиками и подкопченной рыбой... Как, должно быть, заждалась она меня там!

* * *

...В поселке без прошлого, где люди живут недавно случайным скоплением, без объединяющих уз старого соседства, родства или дружбы отцов и дедов и, тем более, при многолюдстве, смерть рядового человека проходит незамет-

но. Просто некогда задержать на ней внимание: в сложном организме не стало клетки, он же продолжает жить по-прежнему.

Желание узнать, как все произошло с Любой, стоило мне усилий мучительных и горьких: кто не помнил, иной не обратил внимания.

— Ах, да — та высокая, с темными глазами,— припоминал кто-то.— Как же, помню... Жаль, право, очень жаль! Но она так недолго у нас работала... Ее, кажется, в больницу свезли... Там же — сами знаете: врачей не хватает, мест нет... Впрочем, спросите у того молодого человека в очках, за ее столом сидит. Ему, кажется, ее дела передавали, он, может, больше знает.

Люба, перемогаясь, два дня все же приходила на работу. Под конец второго на ее горячечный вид обратил внимание начальник, с которым она рассматривала какой-то чертеж, и велел ей отправиться домой. Прибирая напоследок стол, она сказала соседке, что в выходной, соблазнившись солнечной погодой, постирала на улице и, должно быть, простудилась.

Кто-то в отделе на второй или третий день отсутствия Любы спохватился, сказал, что ее надо бы навестить, сходить узнать. Но в рабочей суете об этом забылось, и только еще через день, когда о Любе спросил начальник, к ней послали. Квартира оказалась запертой, и Люба в больнице. Начальник помолчал, задумчиво пожевал губами и велел недоделанный Любой чертеж срочно кому-нибудь передать.

Соседка по «коттеджу», замкнутая и, видимо, всего навидавшаяся женщина, ходившая в военной шинели, коротко рассказала, что, зайдя к Любе одолжить тройку стульев, застала ее в постели, с сильным жаром, в забытьи.

— Лежит, глаза открыты, а не видит. Губы потрескались. А воды в квартире ни капли...

Соседка сбегала за врачом — спешила, ждала гостей. Тот пришел поздно, когда у нее уже собрались. Ей было не до Любы.

Врач, определив двустороннее воспаление легких, обещал забрать в больницу. И действительно, за Любой приехали.

Палаты больницы — последнего Любиного пристанища,— хоть и просторные, заставлены сдвинутыми по две и по три узкими железными койками с тощими тюфяками и провисшими сетками.

В одной из таких палат Люба пробыла четыре дня... До конца. Должно быть, когда возвращалось сознание, неотступно смотрела на дверь — не покажусь ли я... Может

быть, просила дать бумагу и карандаш, но сделать это было некому.

И еще я узнал от врача — он полистал при мне историю болезни,— что если бы не порок сердца, Люба могла бы выжить. Могла бы...

В один день с нею хоронили еще несколько умерших, и никто не мог указать с уверенностью, под которым из свеженасыпанных холмиков погребена она. Крест я поставил на месте, где — быть может — лежала Люба.

* * *

...Не знаю, как удалось мне тогда с собой справиться. Давно-давно — хотя я еще помню это время — старые люди говорили, что родительская молитва удерживает на краю бездны... Что помогло мне? Более всего, несомненно, вложенное и привитое с детства, определившее на всю жизнь каноны поведения. Врожденное отвращение к распущенности и безалаберщине не дало пойти по пути хмельных утех, беспорядочных связей и неразборчивого приятельства. Крепко сидело во мне представление, что нельзя размениваться, жить несерьезно, мелко. Корректное поведение и внешняя благопристойность — о, родительские наставления! — бывшие правилом жизни, помешали опуститься, махнуть рукой: «Эхма, где наша не пропадала!» или: «Живем-то один раз!» — и покатиться вниз...

Пережил я крушение и потому, что как раз тогда особенно сильно стала притягивать меня к себе природа. Я не оставался глух к ее зову и когда уходил всей душой в тоскливые мысли о Любе, когда снова и снова шаг за шагом восстанавливал в памяти нашу с ней жизнь...

Не равнодушно оглядывал я открывшуюся мне с обрывистой сопки волнистую лесную даль и плесы пустынной речки в кудрявой зелени тальников; вбирал прелесть укромного родника, выбегавшего из-под мшистых камней и стволов упавших великанов; различал в шуме потока, ровном и глухом, полнящим темный распадок с каменно-неподвижными лиственницами и елями, отголоски древних преданий земли; останавливался, с замершим в руках веслом, перед горящими, как факелы, в красном свете заката султанами осоки на травянистом озере.

Я тогда же, в ту самую весну, покинул строительство. И, переселившись несколько к югу, забрался в тайгу —

как мог дальше и глубже. Лишь бы отгородиться от всего, что напоминало тот неполный год, за который я изведал возможную меру счастья и познал утрату, кладущую печать на всю жизнь,— сколько бы человек ни прожил и какие бы ни достались ему потом радости.

Тишина и мир дебрей теперь, когда я подолгу жил в промысловых избушках, передавались и мне. Сжившись с их величавым строем, с охватывающим окрестности покоем сумерек, с глубоким ночным сном природы, с ее зимней летаргией и с весенним пробуждением, нельзя было не поддаться их умиротворяющему воздействию. Это врачевало. А суровая жизнь таежного промышленника исключала гиблую праздность.

Крутая перемена, позволившая мне уловить в языке природы материнский зов, не могла заполнить душевную пустоту. Но то был род жизни, при котором все лежало похороненным в глубине и не бередило повседневно, потому что дни поглощали заботы промысла, а тяготы его исключали ночные бессонные часы. Будучи прирожденным охотником, я отдавался новому делу всей душой.

* * *

...И пошли, потянулись годы длинных кочевий по тайге, сделавшейся для меня родным кровом. В непромысловое время я жил в разных селах, чувствуя себя в них лесным человеком, идущим своей обособленной тропкой. Нигде я не пускал корни, ни к какому из временных своих пристанищ не привязывался. Несколько лет подрял я разведывал для Заготпушнины ондатровые угодья. И это превратило меня в подлинного лесного бродягу. Имущество мое свелось к ружью да нехитрому промысловому снаряжению. Со мною всюду была преданная и смышленая сучка Ирга, и я неделями не выходил из тайги, обследуя озера, куда подчас не знали дорогу и местные охотники. Высадят тебя с катерка или самоходки на пустынный берег Енисея, возле устья неприметной речонки, где ни следа человеческого и в полсотне метров — сплошной стеной тайга. Помашешь шапкой вслед суденышку и начинаешь гадать над выкопировкой со схематической карты, сделанной где-нибудь в лесхозе. Идти напрямик по компасу? Или пробираться вдоль речки, будто бы вытекающей из нужных озер? По опыту знал, что довериться лучше всего чутью. Оно одно подскажет, если ты уже «быва-

лый» таежник, где обойти непролазные топи и костры накрещенных бурями деревьев, образующих неприступные, порой тянущиеся на километры, засеки. Поглядишь на солнце, сверишься с «маткой»-компасом и часами, осмотришься и — пошагаешь.

Бросив такой вызов тайге, испытывающей пришельца, подтягиваешься, словно перед поединком. Надо всякий миг быть начеку. Нельзя идти напролом,— но того менее следует бояться опасного шага, чересчур осторожничать. На каждом километре не только семь потов сойдет, но достанется не раз до предела напрячь силы, сноровку и изобретательность. Зато когда позади топь, опасно предостерегавшая темными окнами, глубокий ручей с плывучими берегами, оплетенные хмелем заросли и часок-другой хода по метровым, поросшим режущей болотной травой кочкам, да еще переполох, вызванный встречей с медведем, настроенным, по счастью, благодушно, а впереди, за расступившимися стволами сосенок, блеснет озеро — в лилиях и камышах, с потянувшей от воды свежестью, такой желанной после духоты и комариного звона пройденных болот,— чувствуешь себя первооткрывателем. На какое-то мгновение горд и счастлив... Нет, не отстал бы от Семена Дежнева и прославленных сибирских атаманов!

* * *

И все-таки — пришло время, и я захандрил.

...Жил я тогда в Сумарокове — старинной деревне из десятка дворов над крутым яром, стиснутой тайгой, особенно глухой и нехоженой в тех высоких широтах, на границе с тундрой. Я вышел оттуда после удачного промысла, сдал пушнину, и у меня оказалось на руках порядочно денег.

Замкнувшись и отгородившись от мира, я растерял все прежние — как родственные, так и дружеские — связи. Никто не был мне нужен. И когда я, до того года за два, съездил в Москву с намерением там пожить, а может, и остаться там, то не пробыл в столице и свой промысловый отпуск. Я выбыл из круга тамошней жизни. Немногие оставшиеся прежние знакомые шли путями настолько отличными от моего, что между нами не стало понимания. Немногочисленные родичи на добровольное мое одичание смотрели косо. Кузина, собравшая в мою честь друзей на маленький вечер, на котором я просидел пнем, прощаясь, сказала чуть снисходительно:

— Это все теперь для тебя неинтересно,— имея в виду занимавшие гостей дилетантские споры о новейших стихах, литературных новинках и знакомых художниках.

Она была права: взвешивая впечатления от интересов своих интеллигентных знакомых и полученные от непосредственного соприкосновения с природой, рисовавшейся мне тогда мудро устроенной и содержательной, я пришел к выводу, что хлопочут и горячатся мои милейшие интеллектуалы по поводу предметов мелких и проблем надуманных. Но себе признавался, что сделался невеждой. Это мучило меня всю обратную дорогу. Тогда я умел себе доказать, что общение с вечной природой стоит продвижения по дорожкам знаний и участия в жизни общества. Но где-то внутри червячок стал точить...

В очень солнечный и синий мартовский день я забрел на крохотный сумароковский погост, лепившийся над крутым обрывом к Енисею. Кладбищенская церковка, хоть и каменная, была выстроена по образцу деревянных часовен, какие всегда рубили на Севере — низенькая со слепыми окошками, под крутоскатной крышей, с игрушечной луковкой на тонком, как птичья шея, барабане. В Сумарокове прежде жили рыбопромышленники и ямщики, возившие кладь и почту по всему Енисею, и над прахом местных крестьян, приписанных к купеческому сословию, стояли добротные мраморные памятники с золотыми надписями. Одна из них воскрешала целую стародавнюю сибирскую трагедию — в духе рассказов Короленко. Она говорила о зарезанном в пути «татями», вместе с супругой и малолетними детками, местном купце: «Господи, помяни убиенных». За строками надписи — в виду ряда насупленных изб и мрачной тайги за околицей — чудилось глухое и темное прошлое, когда в дорогу запасали топор, а у кого был — и тяжелый кремневый пистолет. А по благополучном возвращении из поездки служили благодарственный молебен, нескупо жертвовали на сооружение храма...

Возле церковной стены освободилось от снега грубо отесанное надгробие из источенного временем, потемневшего известняка, сплошь покрытое древнеславянской вязью. Я не мог прочесть даты, хотя сохранились четкие знаки, обозначавшие цифры; знакомый с детства славянский алфавит стал мне недоступен.

С кладбища я вернулся удрученным. Было горько сознавать, что вот — всего десяток лет после поступления в университет, а уже растеряны все знания. Я стал неучем. Это больно уязвляло самолюбие.

На следующий день, твердо решив поступить на заочный, я перебрался в Бор, где была посадочная площадка, и улетел в Красноярск. Надо запастись книгами: по истории, искусству, непременно французскими, английскими... Не допущу я ни за что, чтобы забыть языки, даже латынь восстановлю. Буду снова знать назубок римских императоров, всех пап и французских королей — с полной хронологией!

Не понимаю, почему я трезво не подумал специализироваться в своем промысле? Тогда открылся институт охотоведения. Но все манили пристрастия юношеской поры, все тянуло к истории литературы, погружению в архивы, к тайнам умерших языков, загадочных могильников — словом, к предметам, далеким от моих обстоятельств, как луна.

В Сумароково я не вернулся, а перебрался в менее заброшенное село — с почтовой связью, районной библиотекой, образовавшимся вокруг школы и больницы интеллигентным ядром. С двумя тюками книг и пачкой вузовских программ я рассчитывал готовиться к поступлению в институт — и одновременно рыбачить и охотиться, чтобы не только обеспечить себе жизнь, но и предстоящие поездки на экзаменационные сессии.

* * *

Выработанная на промысле привычка все — и самое нудное и немилое — делать самому, очень пригодилась теперь, когда надо было, не теряя времени, одолевать программу «от сих до сих», хотя бы за день умаялся до смерти. И дело пошло быстро. Память, как мышцы, не терпит праздности: едва я стал ее шевелить, как что-нибудь одно, извлеченное из ее кладовых, тянуло за собой другое. И прежние знания возвращались хороводом. Оказалось возможным готовиться сразу на второй курс.

На первых порах мне нравилось вносить этакий школярский элемент в повседневные занятия первобытного охотника: обстрагивая палочки для ловушки, я скандировал на весь пустынный бор гекзаметры «Метаморфоз», а бросая на дно ветки рыб, вынутых из сети, называл их по-французски — bróchet, perche, esturgeon?..[1] Это походило на карнавал. Я — ряженый: не то бакалавр в ичигах, не то сын тайги, коротающий время у костра с томиком Мюссе. Все это тешило —

[1] Щука, окунь, стерлядь *(франц.)*.

по-мальчишески... Но и поселяло в глубине души смутное беспокойство: ведь неудачниками бывают как раз те, кто не умеет выбрать одну четкую дорогу, а льнет то к одному, то к другому...

9

...Из Москвы я вернулся в конце лета в самом приподнятом настроении. Еще бы! Принят на второй курс. Экзамены прошли без задоринки, и было ощущение, как когда отыскивал неведомое озеро: все могу!

В охотничий сезон я ходил на озера за ондатрами. И как-то к концу маршрута, облавливая уже ближние озера, невдалеке от дома, я выстрелил по гусю с челнока и перевернулся вместе с ним. Выплыв, я спас ружье, но остальное потопил. И самое неприятное в ту минуту — в воде размок последний коробок спичек.

Смеркалось. Набегавшие низкие тучи посылали через ровные промежутки шквалы мокрого снега. Я потащился ночевать на заимку, верстах в трех от кораблекрушения. Под берегом, на воде, ловившей последние отсветы узкой полоски зари, темнела перевернутая лодка. Поодаль плавали весло, клоки сена и — еле различимыми продолговатыми комочками — мертвые ондатры...

На заимке все спали. Только в одном доме горел свет. Я постучал.

— Кто? — голос был свеж и нетерпелив.

Я через дверь объяснил свое злоключение. Мне отперла молодая женщина. Пышные волосы заплетены на ночь в нетугую косу. Ни о чем не расспрашивая, она провела меня за перегородку, отделявшую кухню, и велела скорее раздеться. Я стал стаскивать задубевшую одежду, ледяное белье; едва справился с сапогами, никак не снимавшимися из-за скатавшихся портянок. И все ужасался растекавшейся вокруг на полу темной луже — и при свете семилинейной лампы было видно, как всюду выскоблено и прибрано.

— Вот сухое.— Хозяйка протянула мне из-за занавешенного ситцем проема белье и какие-то брюки с курткой.— От мужа осталось...

Потом она поторопилась с самоваром, нарезала малосольной рыбы, подала хлеб, ягоды. А я сидел за столом, не в силах справиться с ознобом. Словно все легко плыло мимо меня и надо было искать, за что задержаться. Голос хозяйки

доносился издалека, и кто-то другой, вместо меня, пил, обжигаясь, чай и о чем-то без умолку рассказывал. Мимолетно захотелось узнать — что за книгу оставила на столе хозяйка,— но тут же забылось.

Всю ночь я дрог на вытопленной русской печи и только под утро ненадолго заснул.

Едва рассвело, я, не слушая хозяйку, упрямо отправился на озеро и, действуя довольно бестолково, за несколько часов выручил потопленное имущество. Потом, оттащив ветку под густую ель и бережно уложив под нее весь свой охотничий скарб, пошел назад. Не забыл и трофеи — раздувшиеся тушки десятка ондатр, которые не успели расклевать и порвать хищники. Снятые щкурки понес с собой.

...Я очнулся от беспамятства. Долго не мог понять, где нахожусь. Оказалось, что Дарья — так звали мою спасительницу — разыскала меня в лесу, у полуразрытого муравейника, на полдороге от озера. Дома, уложив в свою постель, она пять дней ходила за мной.

Лежа мягко и удобно на ловко взбитых подушках, под пуховым одеялом, я чувствовал себя необыкновенно покойно и с удовольствием следил за Дарьей, бесшумно и легко двигавшейся по комнате. Она была неразговорчива. Спросив о чем-то, слушала внимательно, глядя пристально глазами-вишнями, словно угадывая, что может прятаться за словами. Мне было неловко, что, пока я был в бреду, за мной ходила чужая молодая женщина. Но это протягивало между нами и какие-то доверительные нити.

Отходил я быстро и уже через два или три дня сидел в полужестком кресле, сооруженном покойным мужем Дарьи. Был он питомцем Тимирязевской академии, и любителем-столяром, и резчиком. Вернувшись в родные места агрономом, он полагал всколыхнуть местное отсталое хозяйство, увидеть его расцвет, и вот — нелепо погиб: переезжая Енисей по весеннему льду, утонул вместе с лошадью. Дарья, тоже местная уроженка, работала на ферме ветеринарным врачом. Проводила она там целые дни, но определить — по душе ли ей профессия, было нелегко. Как и угадать, что вынесла она из неполных своих трех лет замужества. Казалась Дарья замкнутой и скрытной, быть может, прячущей в глубине целый ворох неудовлетворенных желаний, надежд и мечтаний. Как у многих коренных сибирячек, в ее смуглом лице, черных волосах и азиатском разрезе темных глаз угадывались предки буряты или остяки.

* * *

— И не выдумывайте,— решительно сказала она, увидев, что я засобирался в путь.— Поедете, когда я скажу, что можно... Я как-никак ваш доктор! Да и взгляните — что на дворе: сивер такой, что с ног валит, да с крупой... Нисколько вы меня не стесняете и не загостились. Даже наоборот...

Размагнитила ли меня болезнь? Или приманили давно забытые уход, женская предупредительность, уют, свежие простыни и не кое-как состряпанные обеды? Я легко сдался. Отчего, в самом деле, не поблаженствовать несколько дней? Моя холостяцкая постылая конура и закопченный чайник в селе казались отсюда такими непривлекательными. За многие годы бродяжьей жизни внутри копилась, не находя случая проявиться, тяга к мягким условиям, к холе, к какой-то передышке. Не совсем спавшая температура служила дополнительным оправданием желанию посибаритничать.

* * *

...Я сидел за столом у разбурлившегося самовара, только что мною внесенного, и дожидался хозяйку. Она переодевалась после работы в спаленке за моей спиной. Мне было слышно каждое ее движение, шуршание материи, беглое потрескивание гребня в волосах... Вот он — домашний уют, мирный очаг, ограждающий от уныния, порождаемых одиночеством тягостных размышлений.

Я оглядывался на десяток с лишним годов, прожитых после смерти Любы, и понимал, что испытанные за это время радости, одушевление задевали поверхностно, не изгоняли устоявшегося равнодушия, серого привычного спокойствия. И лишь остро воскрешали — до головокружения, до перехваченного дыхания — волнение и ощущение полноты жизни, когда эти радости и одушевление делились с ней...

— Эх, чадушко неприкаянное,— вдруг шутливо и ласково вздохнула у меня над ухом Дарья, провела рукой по моим волосам и тихонько села на свое место у самовара.

Я растерянно глядел на нее, растроганный и обожженный ее мимолетной лаской. Она сосредоточенно следила за бегущей из крана струйкой. Наполнив чашку, проворно повернула кран и медленно обратила ко мне лицо.

— Четверо суток ты надрывал мне душу... И каменное

сердце не выдержало бы. Где уж тут мягкому, бабьему...— Дарья горьковато усмехнулась.

К горлу подступил комок. Меня потрясло это внезапное сочувствие. Я как бы вдруг открыл, насколько одинок и, в сущности, несчастлив. Пробормотав что-то вроде: «Извините, я сейчас!» — и неловко вскочив со стула, я выбежал в прихожую, кое-как оделся и выскочил на улицу. Душили глупые, никогда не испытанные слезы.

Когда спустя часа два я вернулся, в доме было темно. Лишь чуть светлел занавешенный проем двери в ее горенку. Пробравшись на цыпочках к себе и раздевшись, я лег. Но было не до сна. Пожалевшая меня Даша неотступно стояла возле, тянула к себе. И внутренний голос, предостерегавший и удерживавший, слабел и глох...

— Даша,— тихонько позвал я.— Вы спите?

— Нет,— сразу ответила она.

Я откинул занавеску. Даша сидела в постели, подтянув закрытые одеялом ноги и обняв колени, на которые положила голову. От белой сорочки резче смуглели шея и точеные плечи. Блестели испуганные глаза. Я задул горевшую на ночном столике свечу...

* * *

Сожалел ли я впоследствии о случившемся?.. Нет, пожалуй. За последующие годы я привязался к своей горячеглазой Даше, пусть никогда не покидало сознание, что живу не так, как следовало бы, и я обязан — мой долг — искать иной удел. Постепенно укрепилось чувство, будто, связав свою судьбу с ней, в свои неполные сорок лет я исчерпал все, на что еще мог рассчитывать. Отныне — нет для меня будущего. Я — конченый человек.

Даша была неистовой, подверженной частым непредвиденным сменам настроения. Она не любила меня отпускать, мрачнела, едва я начинал готовиться к отъезду. Но порой ходила как в воду опущенная, избегала меня, отчужденная, точно ее глодали тайные тоскливые мысли. Ей, вероятно, самой было бы трудно определить их причину. Такие периоды молчаливой сосредоточенности вдруг обрывались: Даша вновь становилась общительной, веселой, готовой необузданно ласкаться, порывисто проявлять свое чувство. Она летала по дому напевая, наряжалась, шалила. Было ей тогда не-

многим более двадцати лет. И потом, вдруг — ни с того ни с сего — вялость, безразличный взгляд исподлобья.

Эти перемены и мучили, и приковывали меня к ней. В свои хорошие дни Даша была восхитительна, и возвращения их я напряженно ждал. В это время с ней было удивительно легко и просто.

Одно приключение отчасти приоткрыло мне суть ее характера. Как все дочери Енисея, Даша была прирожденной рыбачкой. Особенно нравилось ей рыбачить с наплавными сетями. Поднимались мы далеко вверх по Енисею — Даша гребла отлично, сильно и сноровисто, часто сменяла меня на веслах. Затем спускали гагару — деревянную крестовину с коротенькой мачтой для флажка днем и фонаря — в ночное время. К ней прикрепляли конец сети, сложенной в лодке. Отплывая от гагары, волочившей по дну груз, мы выметывали сеть, норовя растянуть ее поперек реки. Течение, подхватив, потихоньку нас сносило, и Даша на веслах следила, чтобы мы не сплывали быстрее гагары. Попавшаяся рыба топила участок поплавков, мы спешили к нему, выпрастывая запутавшуюся в ячеях добычу, и снова расправляли сеть. И так спускались по течению, пока не оказывались против своей заимки. Стерлядей почти всякий раз налавливали помногу, нередки были и крупные осетры.

Как-то в неустойчивую погоду внезапно налетела буря. Река сразу вздыбилась. Лодку стало швырять и разворачивать. Даша бросилась к веслам; я что есть силы тянул тетеву, выбирая сеть в лодку. Обернувшись на внезапный крик, я увидел в руке Даши обломок весла. И не успела она достать запасное, как громадный вал тяжко грохнулся о борт, сбил ее с ног и залил водой нашу посудину. Я полоснул ножом по тетиве, не дававшей выправить лодку, и, подхватив кормовое весло, бешено им заработал. Даша, пробравшись в нос лодки, оставшимся веслом помогла мне повернуть огрузшую, полузатонувшую лодку поперек волны. Когда это удалось, нас стало попеременно подкидывать и бросать вниз. Со стороны это ныряние залитой почти до бортов лодки должно было казаться очень страшным. Но и я и Даша понимали, что неминуемой опасности — раз нас не перевернуло и посуда осталась на плаву — нет. Надо только не давать налетавшим шквалам ее поворачивать боком к волне. Мы сидели лицом друг к другу — Даша на носу, я в корме — и короткими гребками удерживали лодку.

— Наша взяла! — внезапно закричала Даша, разудало и хмельно.— Не сдавайся, сокол мой! Я с тобой...

И когда буря уже пронеслась и напор валов стал ослабевать, возбужденная до предела Даша все продолжала оглядывать реку загоревшимися дикими глазами. Чувствовалось — какой лихой порыв перегорал в ней. Даше нужны были сильные, стихийные переживания, острые ощущения, невозможные в нашей обыденной жизни.

Тогда я еще не знал, что эта неудовлетворенность со временем пересилит остальные чувства. И Дашу неодолимо потянет искать средства, способные заглушить раздиравшие ее порывы. Стоит ли договаривать?

Как бы ни было, на заимке мы прожили несколько спокойных лет. Даша относилась с некоторым предубеждением к моим студенческим занятиям, считая, что они в конце концов отнимут меня у нее. Да и самому мне все чаще приходило в голову, что давно миновала для меня пора ступать на стезю ученого. Я постепенно забросил свои науки: пороху хватило всего на три курса... Зато как следует — уже как бы бесповоротно — влег в хомут промышленника. Рыбачил же я с ранней весны до ледостава поблизости от заимки, так что редко отлучался из дому надолго.

Так и текла наша жизнь. С переездом на крупный лесопункт все переменилось. Даше наскучила ее ферма, и она перевелась в леспромхоз ведать конным двором с тремя сотнями лошадей. Поселок был людным. Завелись знакомства. Прежней отъединенной жизни пришел конец. Хороших охотничьих угодий поблизости не было, и мне приходилось уезжать далеко.

* * *

...Не сразу открылись у меня глаза. И, замечая подчас, что Даша чуть ли не прячется от меня, я долго ничего не подозревал. Привык к ее продолжительным отлучкам, после которых она запиралась у себя, невнятно ссылаясь на головную боль и усталость. И утренняя ее вялость, и приключавшиеся с ней припадки говорливости объяснились в один недоброй памяти день.

Даша вернулась домой поздно. У порога она вдруг споткнулась и упала. Я бросился поднимать ее. И как ни проворно Даша вскочила и, истерически и злобно вскрикнув: «Я сама!» — кинулась в свою комнату, на меня пахнуло водкой. Я близко увидел ее воспаленные покрасневшие глаза.

Всю ночь я просидел в кресле. До меня из-за перегородки

доносилось ее шумное, прерывистое дыхание... А прежде она спала так тихо, что я, лежа рядом, пугался и зажигал спичку либо осторожно пробовал пульс. Мучительно восстанавливались в памяти мелкие случаи и поступки Даши, прежде непонятные, а теперь получившие такое простое и страшное объяснение. Я высчитывал и прикидывал, холодея от неизбежного вывода, что началось это уже давно,— а я попросту проглядел. Будь я внимательнее и сердечнее, давно бы заметил и — кто знает? — остановил бы, пресек... Есть ли средства, чтобы искоренить пагубную привычку, которую я даже не смел назвать? Так опасались суеверно старинные люди произносить имя сатаны, чтобы не навлечь на себя его козней. Эта обрушившаяся нежданно-негаданно беда пришибла меня настолько, что я и не подумал об отпоре, а поддался безнадежному настроению — опустил руки, как перед неминучим.

Объяснение на следующий день получилось тяжелым и неудачным. Даша все отрицала, набрасывалась на меня за оскорбительное недоверие, потом горько плакала, сетуя на свою участь. Я отступился, отказался от своих слов, мы помирились. На некоторое время восстановилась мирная жизнь. Но подозрительность моя была разбужена. Я незаметно следил за каждым шагом Даши. Она же стала осторожней: пользовалась обстоятельствами, когда я не мог ее проверить. Вернувшись с рыбной ловли раньше намеченного, я застал Дашу нетрезвой... А дальше пошло!

Она потихоньку спивалась. Не действовали уговоры, угрозы уехать, попытки не отпускать ни на шаг. Даша каялась, обещала бросить. Иногда жалко и беспомощно обвиняла во всем меня или гнала прочь, заявляя, что не жена мне и вольна поступать по-своему, рыдала, хитрила. И опускалась все ниже. Так же быстро разваливалась и наша жизнь.

Я не сразу узнал, что Дашу уволили с работы — она продолжала уходить из дому на целый день. И — боже мой! — как она себя вела. Жалкая и неряшливая, с мокрыми губами, Даша слонялась по каким-то подозрительным квартирам, водилась невесть с кем, выпрашивала в долг деньги, запутывалась. Она, быть может, и не пустилась так безоглядно во все тяжкие, если бы не была уверена, что я ее не оставлю. Кто знает? — объяви я решительно вначале, что уеду, Даша, побоявшись лишиться всякой поддержки, и образумилась бы. Но теперь об этом не могло быть и речи: она была безнадежна. И покинуть ее было невозможно...

Дела наши пошли из рук вон плохо. Мне пришлось отка-

заться от промысла. Я даже не решался отлучаться порыбачить — за Дашей приходилось следить ежечасно, ухаживать, как за больной. И я стал работать в поселке — счетоводом, статистиком, учетчиком, на ненавистных мне конторских должностях. Мы теперь не сводили концов, тем более что нет-нет да всплывали понаделанные Дашей долги — грошовые, нищенские, но порой и их я не знал, как погасить.

Боже, что за годы! Даша сидела иногда целыми днями под окном — тихая, пришибленная. Ее, как говорят, сосало. И я уже не возражал, не кидался ее удерживать, когда она упавшим голосом, жалко и вкрадчиво говорила, что отлучится на минуту за книгой в библиотеку... Куда делось прежнее обаяние, живые притягивающие глаза... И эти безвольно никшие плечи, и шаркающая походка — а ей и тридцати нет!

Я то ожесточался, то проникался пронизывающей жалостью. Даша клялась, что наложит на себя руки, если я ее брошу. И хотя говорилось это впустую, может быть, со смутным расчетом меня попугать, да и никогда развинченной, ослабевшей Даше недостало бы собранности и решимости для такого крайнего поступка, угроза эта все же откладывалась в моем сознании. И когда иссякало терпение и хотелось оказаться за тысячу верст от осточертевших постыдных домашних сцен, жуткое видение на миг прозревшей и отважившейся на роковой шаг женщины удерживало меня от жгучего желания захлопнуть за собой дверь и уйти от всего этого унижения куда глаза глядят.

Иногда Даша возвращалась — лихорадочно-задорная, говорливая. Я выслушивал по-детски примитивные планы, как мы переменим жизнь и все пойдет по-хорошему, как она снова поступит на работу, и еще, и еще что-то... Я укладывал ее, обмякшую и бормочащую, иногда циничную, в постель. Но чаще мне приходилось отправляться ее разыскивать. Я уже знал, в какие дома надо стучаться, где мне сочувственно и печально ответят: «У нас она, у нас: плачет, не хочет идти...» — а где из-за двери раздастся задиристый пьяный бабий голос: «Откуда мне знать, где твоя шлюха? Нанялась я, что ли, ее с ейными мужиками караулить!..» Это сделалось привычным ночным кошмаром... Кошмаром, затянувшимся почти на восемь лет...

Я обтерпелся. Привык, что Даша сделалась притчей во языцех в поселке, что мне иногда стучали в окно: «Иди, забери свою!..» — что мы пооборвались, жили по-нищенски. И Дашины запои уже не повергали в отчаяние. То была повседневная неизбежность, от которой никуда не денешься.

Я уже знал, как поступать с ней, по каким признакам определять, что близка короткая передышка. Мне отчасти стало легче и оттого, что нашлось несколько семей, где на Дашу смотрели как на тяжело больную и помогали ее опекать. Да и поддерживали нас в самые трудные периоды. Я позабыл про вольную жизнь и, привязанный к поселку, изо всех сил тянул конторскую лямку, брал на дом сверхурочную работу, подрабатывал составлением годовых отчетов. Из меня получился усидчивый помбух.

Развязка наступила внезапно. Настолько беспощадная, что внушенное ею отчаяние заставляло с тоской обращаться к оборвавшемуся кошмару: хоть бы он продолжался! Пусть все было бы по-прежнему!

...Целую зимнюю ночь я искал Дашу по всему поселку. Ее видели многие. Она ходила, выпрашивая глоток водки, и, получая отказы, шла дальше. И след ее потерялся. Она как сгинула. Оставалась надежда, что забрела к кому-нибудь, о ком мы и подумать не могли.

А близко к полудню ко мне прибежали из больницы. Дашу привезли туда уже мертвой — она упала в сугроб на выезде из поселка. И замерзла...

Я почувствовал, что не могу больше и дня оставаться на месте. Мне сразу опостылели поселок, Енисей — весь покрытый саваном Север. И до щемящей тоски захотелось побывать на своей родине.

Часть вторая

Князь: Знакомые, печальные места!
Я узнаю окрестные предметы —
Вот мельница! Она уж развалилась;
Веселый шум ее колес умолкнул;
Стал жернов — видно, умер и старик.
Дочь бедную оплакал он недолго.
Тропинка тут вилась — она заглохла,
Давно-давно сюда никто не ходит;
Тут садик был с забором, неужели
Разросся он кудрявой этой рощей?
Ах, вот и дуб заветный...

А. С. Пушкин. «Русалка»

1

— Ну вот и приехали!

Я очнулся. Перед глазами замаячили потянувшиеся по обе стороны шоссе постройки — длинные, однообразные безликие дома в два и три этажа. Мы были в городе.

Столбы вдоль шоссе отбрасывали крохотную тень — солнце стояло над головой. И жара охватывала городская, без признака дыхания трав и листвы — сухая, с пыльным привкусом. Пахло разогретым асфальтом и машинами.

В этом городке, знакомом мне с детства, я не узнавал ничего — все было как в бесчисленном множестве других современных городов и поселков. К одному трех- или четырехэтажному длинному дому с квадратными окнами и с плоской крышей, утыканной антеннами, примыкал точно такой же другой. За ними тянулся следующий, еще и еще...

Жалеть ли о прежних домиках — с пристройками и прирубами, палисадниками, всякими сараюшками и будками, в каких жили обитатели окраинных улиц? Домиках, так откровенно отражавших вкусы и привычки своих хозяев? О выкрашенных в невозможно розовый цвет ставенках; об облепивших фронтон до наивности замысловатых фестонах, карнизах, розочках и финтифлюшках, выпиленных досужей и прилежной рукой? О резко-лиловых георгинах и общипанных кустах смородины, выглядывающих из-за деревянной оградки? Были в них тяга к красоте и бездна безвкусицы, рачи-

тельная забота о семье и стремление перещеголять соседа, показная прибранность — и угадываемое зловоние двориков. Словом, во всем присутствовал живой человек со своими слабостями, устремлениями, причудами и характером. Человек, лишь отчасти приладившийся к общему, поддавшийся влиянию улицы, пожалуй — городка коренных местных традиций. Стандартное строительство начисто выводит этот местный колорит. А с ним, быть может, и органическую привязанность людей к «своей колокольне» — единственному на свете уголку земли, где *свой дом.*

По разочарованию, по охватившему меня тоскливому предчувствию, что ничего из сохраненного памятью не уцелело, что все кругом сделалось незнакомым и не «своим», хотя и примелькавшимся в других местах, я понял, как много значила для меня эта встреча со своей далекой юностью.

И вот, уже вовсе отчаявшись найти в новом очерке улицы, когда-то виденное, я увидел дом — настолько знакомый, что и все вокруг перестало взирать на меня немо и отчужденно.

Двухэтажное здание прежней гостиницы — с симметричными эркерами и скромным классическим фризом — было выкрашено в ярко-фисташковый цвет, подчеркивающий, вместе с белыми полуколоннами и лопатками, его ампирный облик. Я вспомнил запах старых пустующих покоев, обширную высокую комнату с темно-красными обоями и бронзовыми кенкетами на стенах, крутую деревянную лестницу с точеными балясинками перил... Отпирая высокую белую двустворчатую дверь перед постояльцем, хозяин гостиницы — лысый старик в сюртуке, косоворотке и поярковых валенках, с отечным бритым лицом — говорил тихо и внушительно, указывая на мебель в номере:

— На эту вот софу Александр Сергеевич Пушкин, как ввел их сюда мой покойный родитель, шинельку с плеч сбросили и велели проворнее подавать обед и ямщику водки вынести...

После революции упраздненную гостиницу заняли вновь образуемые, переорганизовываемые, кочующие с места на место учреждения. Сейчас над входной дверью вывеска клуба. Фасад свежеоштукатурен, в окнах новые рамы. Пожалуй, никогда прежде гостиница не выглядела так нарядно и стильно: реставраторы сумели возвратить зданию его первоначальный вид.

* * *

...Есть для человека в воспоминаниях — и самых солнечных, без привкуса горечи! — и некая страшная сторона. И чем они отчетливее, тем сильнее дают почувствовать власть неотвратимого хода времени.

...В досужий час или ночное тихое время непрослеживаемая цепочка уносит меня от звена к звену в далекий, далекий вчерашний день. Видится мне деревенский дом моего детства. В пустоватом зальце чинно расставлены по стенам стулья, в простенках между окнами два... два или три?.. нет, безусловно два — зеркала. Ведь их три — окна, обращенных в цветник. Против крайнего — угловая колонна балкона, увитого настурциями. Белые голые стены, высокие потолки, натертый блестящий пол... В зале четыре двустворчатые двери с медными массивными ручками. Две, на противоположных концах, ведут в кабинет и гостиную; две, по внутренней стене,— в переднюю и столовую. Я распахиваю дверь в нее...

Стол посередине накрыт к обеду. Я вижу кувшины с квасом, судки, детские салфетки в кольцах. На допотопной горке — изделия домашнего столяра — поднос с хитрой кофейницей. Она, когда забурлит в ней вода, тонко свистит.

Близкие привычно занимают свои места. Так же необъяснимо, как в сновидениях, отчетливо очерчиваются люди, о которых никогда не думал. Люди, мельком, когда-то давно, встреченные...

Я прислушиваюсь к тихому ласковому голосу тетки, приехавшей из Иерусалима; она воспитывает арапчат в приюте русской православной миссии. Тетка говорит о местах с библейскими названиями, о финиковых пальмах, о караванах верблюдов. Отец вспоминает свою поездку в Египет. Альбом в кожаном переплете с золоченой застежкой и порыжевшими фотографиями — пирамиды, бедуины на верблюдах, пароходик на Ниле, ныряющие с набережной черные мальчуганы — сохранялся очень долго. И пережил не только отца и его поколение, но и дом с темной комнатой, где эти фотографии проявлялись, печатались и, пришпиленные к доскам, обтянутым мягкой белой бумагой, сушились...

Но вот задвигались стулья. Взрослые направляются через зал на балкон пить кофе; молодежь разбегается кто куда.

Горничная в белой наколке и кружевном фартуке проворно убирает со стола, носит посуду в буфетную.

Мне случается настолько уйти в свои воспоминания,

что зримым и ощутимым становится все, что проносится в памяти. И исчезает грань между реальностью и видением. И уже кажется, что не сгинули бесследно старые дома и давние люди; что, если очень захотеть, можно снова взойти на ступени крыльца давно сгоревшего дома, услышать под вечер за кущами парка колокольца деревенских лошадей и крики мальчиков, едущих в ночное.

Какое-то мгновение веришь, что все это есть и ты просто отвлекся другим, отвернулся. Но стоит сделать усилие...

Самые живые воспоминания — это оглядывания на смерть, заход в темный тупик, куда не достает и лучик света.

Где все они теперь, живые, согретые теплом своих дел, чувств, забот? Куда делись? Где их могилы? Нет и их... Того крошечного бугорка земли, под которым сохранилось что-то, к чему может прильнуть память... Словно и не было целого гнезда человеческих судеб.

* * *

...Я попрощался с водителем и пожалел, что за долгую дорогу не разговорился с ним. Этот усталый спокойный человек был мне симпатичен.

— Не очень мой драндулет удобный, ну да все-таки добрались. Желаю вам доброй удачи! — улыбнулся он, как бы извиняясь за свою машину.

Мы пожали друг другу руки, и он уехал.

Я все стоял против гостиницы, как бы опасаясь, что отойди я от нее — и снова потеряется обретенная милая веха! Захотелось пройти внутрь и проверить — действительно ли я так хорошо запомнил комнату, которую выдавали за пушкинскую, узкие ступени крашеной крутой лестницы, зал с пыльными пальмами в зеленых кадках? Но кругом сновал народ, дверь клуба то и дело хлопала.

И я зашагал по улице, теперь уже определясь, в какую сторону идти.

Ближе к центру улицы приобрели более знакомый облик. Повеяло старой-старой русской провинцией. За мощенным булыжником тротуаром тянулись сплошным строем дома — с мезонином, с каменным низом, маленькими окнами и темными, низкими проемами ворот, огражденных по бокам тумбами. О них некогда чиркали чеками телеги и ударялись роспусками дровни мужиков, въезжавших во двор с возом капусты, сена или дров, сторгованными хозяином на базаре.

Попадались и купеческие особняки побогаче, с итальянскими окнами, с каменными оградами и парадным высоким крыльцом.

На перекрестке не стало ветхой деревянной водокачки, но церковь напротив по-прежнему вонзала в небо высоченную колокольню. Правда, лишившуюся венчавшего ее прежде острого шпиля. Миновав церковь, выйдешь к крутому спуску к реке — на Ильинскую гору, обстроенную домиками всякого мелкого люда. Но сейчас на их месте пустырь, обнесенный дощатым забором. Глазу открывается просторный вид на правобережную часть города и на реку: далеко внизу струятся ее быстрые воды. Она как будто значительно обмелела.

Один из стоявших тут домиков был мне особенно памятен: в нем жил знакомый бараночник, тщедушный и невзрачный безбородый мужичок из нашей ближней деревни. Он ревниво оберегал свою молодую жену — красивую и избалованную. Однако не уберег: она сбежала с помещичьим сыном, после чего муж загулял.

Зато старый мост, как и раньше, висит над рекой — легкий, с металлическими переплетами, похожий на железнодорожный. Только над въездами исчезли дощечки «езда шагом» и не стучат более по деревянному настилу копыта, не скрипят крестьянские телеги, не громыхают ломовые дроги с горой мучных мешков: по асфальту проносятся, оглушая, грузовики и мотоциклы.

Вдоль набережной стоят старые двухэтажные дома с торговыми помещениями внизу — они и сейчас под магазинами. Вместо крупных серебряных букв по всему фасаду «М. М. Варшавский» — курсивом выведено «Культтовары». То была самая модная лавка в городе, и хозяин ее, благообразный еврей из Лодзи, дивил горожан выбором парфюмерии, игрушек, музыкальных инструментов, лифчиков, шляпок и патентованных средств.

Из Давыдова за покупками в город регулярно ездил конюх Ефим, снабженный заборными книжками поставщиков. Но в случаях, когда требовалось купить что-либо детское,— ему придавалась гувернантка. Она иногда прихватывала с собой меня. Томительно долго шел торг с приказчиками, перевертывавшими всю лавку для разборчивой покупательницы. Ефим успевал выпить и, пунцовый, с маслеными глазками, без конца беседовал на стоянках с подвернувшимися знакомыми не то предавался монологам. Я зевал от скуки в пустом тарантасе, но отлучаться строжайше запрещалось.

И теперь, стоя на узком тротуаре, почти перегороженном

выступающим крылечком магазина, я, не стесняясь своего любопытства, вглядываюсь во все кругом. И особенно в прохожих.

Это, вероятно, то самое место, где останавливался наш экипаж и дремали, опустив голову и вздрагивая искусанной кожей, притомившиеся лошади.

Вот проехала шагом по мосту порожняя тройка. Это возвращается ямщик, возивший в уезд чиновника, земца либо вернувшегося на сенокос к родителям деревенского молодца, которому фартит в Питере в приказчиках у бакалейщика: можно швырнуть целковый-другой, чтобы пустить пыль в глаза односельчанам. Остановились двое пешеходов и гадают — куда и с кем ездил Герасим и почто запряг свою лучшую гнедую тройку, купленную за четыреста пятьдесят рублей в прошлую «ярмарку» на покров? Кучка зевак у перил следит за рыболовом, потаскивающим плотичек, стоя по пояс в реке, посмеиваются, прислушиваясь к бабам, повздорившим на портомойке. Водовоз остановил на мостовой свою бочку на громоздких колеснях и, пока его кляча переводит дух после крутого въезда от реки, неторопливо свертывает козью ножку.

На ближних улицах и примыкающей к мосту площади народу, кроме как в базарные дни,— горсть. Бывает, что среди дня ни души не увидишь. Разве маячит в тени торговых рядов фигура осовевшего от скуки и жары усатого городового, при шашке и кобуре о красных шнурах, да прошмыгнет шустрая монашенка из ближнего монастыря, не ленивая обходить благодетелей.

И как же сейчас тут людно и оживленно! Снуют грузовики, велосипедисты. По мосту в обоих направлениях идут и идут неоскудевающим потоком пешеходы. Никто не мешкает. Словно бесследно вывелась походка вразвалку. Не видать и праздно прогуливающихся. А если затешется в толпу медлительный дед или неповоротливая старуха, непременно услышишь досадливое восклицание обошедшего их торопыги: «Сидел бы дома, дед!» Или пожестче: «И чего тут ползаешь? Давно на печи надо лежать!»

Как будто сгинуло понятие провинции. Исчез и принадлежавший ей размеренно-неторопливый ритм «мирного времени», как до сих пор случается назвать дореволюционные годы очень старым людям.

Проходят мимо два молодых рабочих, рассеянно меня оглядывают. Они принадлежат к поколению, народившемуся уже много после... Я слышу, как они взахлеб толкуют о

футболе, словно для них важнее всего угадать, чья команда выиграет. Проходят другие, постарше. Они тоже болельщики — крепкими словами костят какого-то судью. Выясняется, что городок принимает у себя команду из области, и страсти, естественно, разгорелись.

Учащихся и студентов немного — время каникулярное. Впрочем, не так легко нынче провести четкую грань — этот вот рабочий, а тот студент,— если нет портфеля или папки с книгами. Не стало прежней резкой разницы уровней развития. Сделался грамотнее рабочий, он сплошь и рядом со средним полным образованием, слушатель курсов, весь облик его мало отличается от нынешнего студенческого. А студенты выглядят в массе много проще своих коллег предшествующих поколений — не осталось следа прежней кастовости.

Нет заметной разницы и в одежде, тут везде все одинаково, как и у современных городских кварталов. У этих иными бывают только масштабы. В столицах побольше этажей и получше строительные материалы. Точно так же и одеваются в больших городах попригляднее, покрой одежды наряднее, позавиднее материалы.

* * *

Для молодежи, идущей сейчас мимо меня, картинки прошлого в моей памяти как остатки городков и деревень на дне водохранилища, вдоль которого я сегодня утром проезжал: им нет до них дела. Там, где цвели луга и колосились хлеба, разлились камышовые озера, распространились заболоченные мелководья. Для следующих поколений они будут такими же традиционными составными частями коренного ландшафта, какими стали для жителей Кампаньи искусственные горные озера римлян и для русских запруженные в XV и XVI веках речки, обернувшиеся монастырскими озерами.

На главной площади нет торговых рядов с массивными арками, не стало громады собора и выстроенных вокруг особняков городских тузов. А то ли не строило на века российское купечество! Все унесли несколько десятилетий и война — немецкие летчики жгли город с воздуха. Вот незнакомый сквер с плохо укоренившимися молоденькими липками, наугад поставленными киосками и заросшими крапивой грудами битого кирпича и щебня. Тут ничего не узнать. Новая жизнь основывается на голом месте, все делается по-своему, сначала.

Из ворот, показавшихся мне знакомыми, колесный трактор осторожно выводил на улицу сильно гремевший на камнях комбайн. Как живучи иные преемственности! Тут и раньше был земский склад сельскохозяйственных орудий. Мальчиком я любовался нарядной окраской тогдашних нехитрых машин — конных сеялок, грабель, косилок, сноповязалок, колесных плугов, множеством ладно пригнанных болтов, скоб и штифтов на цепочке.

«Как, однако, много воды утекло! — невольно думаю я.— А ведь я еще не вполне состарился...»

За Успенской горой с развалинами церкви, вместо тенистой малолюдной Дворянской улицы,— обширный пустырь. В этой целиком спаленной деревянной части города не сохранился ни один дом, ни один сад. Будущую планировку наметили несколько стандартных четырехэтажных домов с балконами и низкими окнами. Их, по-видимому, только что заселили.

В пустовавшем Доме колхозника, занимавшем в центре города уцелевший от пожаров старинный каменный дом, мне отвели опрятную и прохладную комнату. Заведующая сама принесла чайник с кипятком, стакан и, несколько конфузясь, сказала, что буфет не торгует. Да и магазины в городе, пожалуй, позакрывались уже. У меня был дорожный запас, и я пригласил хозяйку почаевничать. Она, не жеманясь, согласилась. За чаем мы разговорились.

Русские черты миловидного лица молодой женщины очень выигрывали от мягкого, застенчивого выражения. Держалась она просто и достойно. В ней сразу угадывались прямота характера и искренность побуждений. И еще чувствовалось, что живется ей нелегко, что, несмотря на молодость, пришлось испытать всякого.

Жизнь и впрямь не баловала Таню, мою хозяйку гостиницы. И она и муж перенесли множество мытарств, утрат и войну, лишившую их детства.

Таня влюблена в свой городок. Ее огорчает, как медленно он восстанавливается. Причем по чисто формальной причине: разрушенный с воздуха, он не попал в список городов, бывших в оккупации, и на его восстановление почти не отпускается средств.

— Несправедливо это, верно? Наш город пострадал так сильно. И сейчас еще сколько развалин — вы видели? А ведь сколько у нас старины, памятников архитектуры! Но мы даже музея не можем пока выхлопотать — комнатку сами отвоевали в Доме культуры и собираем там находки...

Оказалось, что Таня начала учиться в археологическом институте, и русская старина — ее конек. Заметив мой сочувственный интерес, она стала выкладывать, что было на сердце.

— Наши места надо знать,— пылко говорила она,— тут столько памятного, интересного! Ведь городу скоро тысяча лет: подумайте только — десять веков! Каждый вершок земли исхожен нашими предками. А как им доставалось — то от татар, литовцев, поляков, то от своих князей. Грозный здесь тоже лютовал... Вот и нам довелось видеть здесь пришельцев. И что больше всего поражает: не бежали отсюда русские, не покидали место. Их разоряли, жгли, а они снова строились, обживали... Все терпели, лишь бы детям и внукам оставить... Когда теперь строят, должны помнить, не перечеркивать и сохранять всякий уцелевший камень. Как это — пускать под бульдозер?'

И еще чувствовалась ее привязанность к милым здешним речкам, лугам, перелескам. И тревожили ее вырубаемые леса, загрязняемые воды, исчезновение тихих уголков...

Что мог я сказать в ответ? Как сочувствую ей? Как всей душой разделяю ее любовь к каждому камню, ко всякому названию, говорящему о русской истории? Как понимаю великую силу, исходящую от вещественных свидетелей ее, от неповторимого облика старых городов? Силу, необходимую народу, чтобы отстаивать свою культуру, ее самобытность, преемственность и традиции.

Этим и многим другим мог бы я с ней поделиться. Разве не пугают и меня современные крайние представления о пользе, какую извлечет человечество из все более сложных и производительных машин? Из все растущего производства предметов, призванных удовлетворить непрерывно увеличивающиеся и все более изощренные потребности человека? А «покоренная» природа?! Беспощадно теснимая цивилизацией, скудеющая на глазах, бессильная восполнить наносимый ей урон...

Эх, Таня! Видела ли ты макеты городов будущего, которые проектируют современные архитекторы-модернисты? Еще недавно их приняли бы за фантастические панорамы неведомых планет, за беспочвенные выдумки горячих голов. Именно в такие цилиндры, воронки, параллелепипеды, шары и октаэдры, высотой в несколько сот метров, с зеленью и бассейнами на искусственных площадках, в переплете воздушных, над- и подземных дорог мечтают они поселить будущее человечество. От нынешних построек букашечных мас-

штабов не должно остаться и следа. Как не останется непробуравленным, неразрытым, непрошитым насквозь ни один аршин земли — всюду пролягут тоннели, провода, кабели, трубопроводы, ходы и подземные этажи.

Утомленный тысячелетней борьбой за существование, современный человек мечтает избавиться от необходимости ходить, напрягать мышцы и ищет, как переложить на машины работы, требующие физических и умственных напряжений. Труд без усилий, жизнь, огражденная от воздействия стихий, организм, защищенный от инфекций и заболеваний, предельная стерильность среды, скатерть-самобранка, ковер-самолет и — долголетие: жить, жить как можно дольше, во что бы то ни стало, сто, полтораста, двести лет — чем дольше, тем лучше! Не такое ли будущее рисуется тем, кто мечтает об искусственной среде, созданной для будущего человека благодаря достижениям науки и техники? И, должно быть, забывает при этом, что так воздвигнется стенка, отгораживающая человека от природы и естественных условий существования.

Сознание, а вернее, голос Природы, инстинкт самосохранения, предупреждает человека против такого мира концентратов, пластмасс, пилюль, кнопок, кранов, подъемников, роботов и кондиционированной среды: ему нужно испытать усталость и холод, знать чрезвычайное напряжение и борьбу, его организм должен закалиться, одолевая неблагоприятные условия. И чем изощреннее становится комфорт и надежнее ограждена жизнь от суровости стихий, чем меньше потребно усилий, чтобы передвигаться, жить в тепле и неге, тем сильнее проявляется в людях тяга к природе, к испытанию первобытными условиями, к привалам у лесного костра, к пешим походам по нехоженым тропам, к тому, что определяют как «зов нетронутой природы».

И не только это. Рост современных городов-гигантов породил любовь к тихим уголкам, к скромным улочкам, окаймленным выглядывающими из зелени домиками. Самыми популярными туристскими маршрутами стали пролегающие к старинным русским городам с древними памятниками и сохранившейся уютной планировкой. И в крупных развивающихся центрах уже не сносят бездумно старые кварталы, а отыскивают пути, ведущие к разумному сосуществованию новой застройки с традиционным обликом города.

И я объяснял Тане, что приверженность к техническому прогрессу и переделке жизни на ультрасовременный лад породила противоположные стремления — тягу к сохранению

старины, обережению исторического наследия и движение за целость природы, за создание заповедных нетронутых территорий. Вот почему любые усилия отдельных лиц, как бы ни мелки были их местные, узкие цели, вливаются в общий поток и составляют в целом силу, противостоящую наступлению на традиционные связи общества со своим прошлым и человека с Матерью-природой. И уверил ее на прощание, что любовь к родным местам как раз тот неиссякаемый источник, из которого черпается жизненная сила и стойкость нации, движущая ее на пути гармонического развития и процветания.

2

На следующий день я отправился в Давыдово не рано. Сначала побродил по городу. Да и поспалось хорошо в тихом номере со сводами и толстенными стенами, какие воздвигались в старину, словно дому предназначалось выдержать осаду.

За городом знакомо вырос силуэт кладбища: обруч белокаменной ограды, увенчанный кронами старых деревьев, среди широкого поля. В зелени лип и тополей — луковицы пятиглавия. От них остались металлические остовы, решетками просвечивающие на небе, с еле держащимися кое-где остатками ржавых железных листов. А все пять утративших позолоту крестов погнуты в одну сторону, словно пронеслась буря невиданной силы — это наделала взрывная волна.

Было около полудня. Жара разлилась повсюду. По пламенной сини неба плыли облачка; поднятую проехавшим трескучим мотоциклом пыль рассеивало по полю легкое движение воздуха. Вскоре дорогу обступил веселый и праздничный осинник, и кругозор с обеих сторон ограничил разросшийся густо кустарник. Нагревшаяся листва источала томительный дух. Плотный запах трав, меда и цветов пьянил. В лесу дорога была мощеной — булыжники плотно одела трава, и, ступая по ней, ноги скользили. Рой стремительных слепней неотступно вился вокруг, и я вспомнил, как в детстве от них отмахивался, наломав пучок веток.

Иногда стенки кустов раздвинутся — и в прогале откроется полянка с травянистым болотцем или скрытым осокой ручейком. Травы вдоль него разрастаются буйно и пышно. Мелькание бабочек и стрекоз, трескотня кузнечиков и птичьи голоса, трели, посвист, тонкий щебет — отовсюду, с каждого

куста, с каждой ветки. Цветущая, ликующая, благоухающая природа — не хватает легких, чтобы вдохнуть ее ароматы, глаз, чтобы насмотреться на пестроту лужка, слух не вмещает нахлынувших звуков... Вот оно, то милое и родное, что нестирающимся отпечатком оттиснулось в памяти и за все долгие, прожитые вдали годы хранилось в ней, ободряя и бередя сердце сладкой тоской.

Я всматриваюсь в окружающий зеленый мир, благодарный, что не обмануло бережно хранимое воспоминание. Любовь к родным местам неспособна обмануть,— если только не заглохло эхо минувшего,— как нередко обольщает память о давно прочитанной книге: возьмешь ее в руки, полистаешь и недоуменно пожмешь плечами — стоило помнить!.. Или как может огорчить встреча с другом детства... Как, наконец, часто оборачивается стекляшкой иное оберегаемое, как драгоценное, давнишнее воспоминание. Красота родных мест оказалась неувядаемой. Они сохранили свое обаяние, всю свою прелесть и красноречивый язык. Они все так же говорили моему сердцу, как и в юности.

Сколько минуло лет, как я, крадучись по таким вот лесочкам, с натянутым луком в деревеневших от натуги пальцах, в фантастическом головном уборе из веток и перьев, воображал, что вот сейчас из-за деревьев покажется... Кто? Да, бог мой, кто угодно. Любое, что подскажут обстоятельства затеянной игры или приключений только что прочитанной книги,— лев, индеец, ковбой на диком мустанге. Как же славно, что и сейчас не безгласны и не пусты для меня эти зеленые кущи. Если и покинули их существа, вычитанные из детских книг, то населились они чудесными, близкими образами, порожденными уже подведенными итогами жизни. Я готов смеяться, петь: чудесная, великолепная штука — неумирающая жизнь, пусть живая цепь ее составлена из тленных звеньев и собственный путь уже привел к закату!

Лес поредел. Полевые травы и цветы клиньями и языками вторглись в него, раздвинули деревья, разомкнули подлесок. Потом левая опушка убежала в сторону и впереди открылся просторный вид на полого уходящее под гору нежно-голубое поле льна, окаймленное высоким бором. То был уже «свой», давыдовский лес! По-прежнему над сплошной массой хвои высились недосягаемые вершины отдельных великанов. Тех самых, под которыми я проезжал, ходил, играл, потом взрослел и мужал...

У опушки бора я сошел с дороги. Хотелось пройтись, увязая по щиколотку в песке, почувствовать себя малень-

ким и затерянным под прозрачной сенью, потрогать рукой — да чего там! — погладить шершавую кору стволов в два обхвата, взглянуть, заломив шею, на далекие кроны, меж которыми светит близкое небо.

Всюду веселые тропинки, и я выбираю самые заманчивые, самые извилистые, уходящие в сплошную поросль молодой сосны. Знаю, что не собьюсь: все они, как спокон веку, должны ниже, за опушкой, слиться и вывести, попетляв, к мосту через речку.

Вот и она — неслышная, укрывшаяся зарослями берегов. Тут тихо-тихо. Чуть шевелятся длинные водоросли, и темные омутки пугают обманчивой глубиной. Именно такой я помнил ее всегда — в межень, когда на всех мельницах спускали воду,— залитую солнцем, молчаливую, с влажным запахом тины, длинными жалобами куликов и редкими всплесками осторожной рыбы...

От прежнего земского моста осталось всего несколько береговых свай да две упрямые замшелые и измочаленные льдом опоры, наклонившиеся над водой у берега. Рядом с ними, на неизмеримой высоте, перекинулся новый мост — широкий, прочный, с окованными железными шинами ледорезами и сложным переплетом деревянных арок. Настоящее инженерное сооружение. Для такого возможные бунты речушки под ним — паводки и ледоходы — ребячья игра! Он гордо взирает на останки своего предшественника. К старому мосту под кручу съезжали осторожно, придерживая лошадей; а новый поднят так, что проезжая его часть чуть не вровень с высоким правым берегом. На другом, низком берегу воздвигнута насыпь — целая гора, полого сводящая дорогу до уровня земли. Помню, как всплывал после ливней настил старого моста, отягченный подвезенными камнями, а веснами торопились его разобрать до вскрытия реки...

Я долго простоял на мосту, опершись о перила. И все глядел и не мог наглядеться на реку, словно у ног моих протекала моя жизнь, я же сверху смотрел, как разворачивается она передо мной беспрерывной лентой. Возникающие на воде изменчивым рисунком струи и воронки напоминают о беспокойном течении моей судьбы. На этой речке я вырос, на этом прибрежном лужку раздевался, чтобы прыгнуть с разбегу в воду... Под этими кустами сидел возле ведерка с наловленными ершами, следя за поплавком.

Тут все выглядело неизменным.

Сейчас, сразу за мостом, должен был открыться давыдовский парк — усадьба, бывшая в детстве и юности моим до-

мом. Что-то от него уцелело? Знал я, что дом сгорел в двадцатых годах, а служебные каменные постройки волисполком распорядился разобрать на кирпичи, деревянные же — развезти по деревням. Но все-таки, наперекор всему, я всегда представлял себе, что там все по-прежнему, хотя и живет своей новой, совершенно отличной жизнью. И втайне надеялся, что множество мелочей сохраняют нечто от того юноши, которому «были новы все впечатленья бытия».

Но случилось то, чего я никак не мог предположить. Я ничего, решительно ничего не узнавал, словно очутился в чужом, никогда прежде не виденном месте. Озадаченный, ходил я в разные стороны, озирался, искал знакомых примет, продираясь сквозь кусты, останавливался, чтобы осмотреться, возвращался, кружил, прикидывал и снова, уже растерявшись, принимался блуждать наугад...

Где столетние липы, сплошным строем стоявшие вдоль широких аллей? Где хотя бы остатки фундамента дома, ямы от подвалов и погребов? Найти хотя бы пень одного из великанов — лиственницы или ели,— стоявших возле дома! Ничего, ни следа! Сгинуло все!

Я наконец наткнулся на несколько выстроившихся в ряд старых сосен. Не остатки ли это обсаженной ими длинной и прямой дороги, что вела в поле от конюшен и скотного двора? Сосны стали моим ориентиром.

— Постой, постой,— возбужденно бормотал я, раздвигая заполнившие все кустарники.

От густой листвы рябило в глазах. Отсюда через дорогу, соображал я, начинался сад с грунтовыми сараями... Остались же где-то земляные городища! До чего кругом заросло — точно джунгли, поглотившие аннамитские храмы: ничего не найдешь!.. А вот здесь недалеко стояли кухонный флигель, прачечная, все кирпичное. Хоть бы на груду щебня наткнуться!

Исчезновение парка расстроило. Я рассчитывал почти наверняка, что липы-то частично уцелели. Разве мало их и сейчас встречаешь в местах, где до революции были помещичьи усадьбы? По пути из города я предвкушал, как встречу дуплистый дуб, стоявший в глуши парка. В темной глубине дупла жила сова. Я подкарауливал, когда она улетала, и заглядывал внутрь: пушистые серые птенцы разевали крючковатые клювы, чтобы отпугнуть пришельца. И вот даже невозможно найти место, где был парк...

На месте усадьбы разрослась роща — чудесная, незнакомая. Сама свежесть жизни воплотилась в шелесте моло-

дых липок и кленов. Между деревьями трудно пробраться — промежутки заполонили лещина, бересклет, жимолость, черемуха, рябинки с листвой, похожей на оперение... А это что? У меня захватило дух. Я наткнулся на стенку акации! И кусты растут полукружием, как это было на площадке перед домом! Я помнил эти кусты всегда подстриженными и теперь любуюсь, как роскошно они разрослись. Рядом с ними — несколько кустиков, одичавшей сирени, хилых, с мелкими листьями. Этим без ухода человека приходится плохо.

Незаметно прошел длинный и светлый летний день. Понемногу затихли птицы. Первые робкие и прохладные, влажные тени стали обозначаться в гуще кустов. Я решил уходить: щемящей грустью повеяло от предвечерних покоя и тишины. Было невыносимо, что навсегда, без следа и в такой короткий срок исчезли и признаки того, что было моей жизнью. Скитаясь по белу свету, я всегда знал: сохранился уголок, где у меня, странника, есть корни, воспоминания. Они — часть местной жизни, стали ее преданиями. Теперь я убедился, что земля избавилась от этих корней, поглотила их и... расцвела! Да как дивно!

Отложив до следующего дня посещение особенно дорогих березовой рощи и давыдовской мельницы, я зашагал по проселку в соседнюю деревню. По проселку, такому же широкому и разъезженному, как прежде.

3

По гребню холма вытянулись постройки. Тут не приходилось гадать и сомневаться — передо мной была та самая деревня Давыдово, старинная, захолустная, которую я знал с детства и помнил отчетливо. Вот они — знакомые серые избы, крытые дранкой, низенькие амбарушки, почерневшая солома на дворах, редкие, вкрапленные вразброс светлые пятна свежей стройки и еще более редкие железные крыши. Но домов стало меньше — между ними простерлись длинные незастроенные промежутки. Это — следы войны. На месте сожженных дворов — пустыри с поросшими крапивой и лопухами холмиками, обозначающими завалинки и основания печей; тут же — высохшие кусты вишен и деревца слив, исчезающие под дерном бороздки грядок... Скромные, безвестные остатки жилищ, бывших домом и родиной длинной чреды хлебопашцев, бесследно исчезнувших...

Между деревней и мною стоят в поле обширные, полу-

развалившиеся колхозные скотные дворы или птичники. Там, на отшибе, когда-то была общественная магазея. Как видно, война оставила в Давыдове трудно залечимые раны.

Сорок лет назад я знал в Давыдове всех, от мала до велика. Вон в той избе — ее крышу я отыскал первой — жила девушка, ставшая моей первой и запомнившейся любовью. Ничего о Насте, с тех пор как отсюда уехал, я не слыхал. Хочу или нет с ней встретиться? Сто раз на дню решаю по-разному... Пусть живет в памяти доверчивая и ласковая большеглазая деревенская девушка: даже страшно было бы встретить пожилую, расплывшуюся, вовсе чужую женщину, которая бы начисто перечеркнула все бесконечно дорогое! А то кажется, что сквозь все, что наслоили годы, я угадаю в ней непоблекшие черты прежней Настеньки. И встреча высечет в сердце погребенный в нем огонь... Жива ли она еще? Я сел на траву возле дороги перед тем, как зайти в деревню,— надо было собраться с мыслями.

— Здравствуйте, дяденька,— вдруг услышал я.

Совсем рядом стояли два мальчугана лет по десяти и надевали кепочки: здороваясь, они по всем правилам приподняли их над головой. С любопытством разглядывая незнакомого путника, они, однако, никаких вопросов не задавали, держались по-крестьянски вежливо и степенно.

Появление мальчиков с открытыми рожицами пришлось кстати: оно отвлекло от нахлынувшего. Я спросил их про свежий след легковой машины на дороге. Оказалось, что бывший односельчанин приезжает на своем «Москвиче» с семьей в отпуск из Ленинграда.

— Это кто же живет в Ленинграде? — не утерпел я спросить.

— Вы разве кого тут знаете? Наших там много. Майоровы два брата, один инженером там, да Базанов Василий на Путиловском заводе. И еще есть. От нас все больше туда уезжают.

Эти фамилии я, конечно, знал. Старик Майоров, Аким Иванович, всю жизнь проработал в Питере на заводе, а доживать вернулся в Давыдово. Отрываясь от газеты или книжки для разговора, он поднимал на лоб очки в железной круглой оправе. Деревня была едва не поголовно неграмотной. Майоров удивил не только односельчан, но и почтальонов, чуть ли не первым в волости выписав газету на деревню. О прочитанном Аким Иванович любил потолковать основательно. Сыновья его, очевидно, пошли по отцовской дорожке.

Мальчики сообщили, что перешли в четвертый класс:

Большая новая школа еще в войну сгорела. Теперь строят десятилетку в недальней деревне. В колхоз их недавно влили одиннадцать окрестных деревень,— снова укрупнили. Наверное, будет у них скоро совхоз. Мальчики добавили, что учительницына квартира пустует: та уехала на каникулы к матери, и бригадир наверняка разрешит в ней остановиться.

Прикидывая, чьими могли быть мальчики, я решил, что вряд ли знаю родителей. Разве дедов.

Спросив про самых старых в деревне, я с изумлением узнал, что жив Иван Матвеев — ему под девяносто лет. И все еще рыбачит: ставит в заводи верши. Не колеблясь, я решил идти прямиком к нему, своему старинному спутнику по охоте. Мальчики, конечно, поинтересовались, откуда я знаком с дедом Иваном. Мне пришлось сказать, что когда-то давно я жил в этих местах.

— Где же?

— От вас по соседству, только там ничего не осталось. Вы и помнить не можете — у давыдовского моста прежде дом стоял.

— Так это, дяденька, барский двор был. Там помещик жил, нам отец рассказывал...

Я промолчал. То, что слышали о моей семье эти два юных потомка давыдовских крестьян, похоже, вероятно, на те анекдоты и легендарные случаи из времен крепостного права, что, присочиняя и путая, рассказывали во времена моего детства чуть помнившие давние дела старики. Подобные рассказы воскрешают лишь в самых общих чертах облик жизни, уже не имеющей осязаемых связей с настоящим. И все-таки людская память хранит иное долее, чем природа и камни...

На этой улице мне не нужно ничего спрашивать. Я сам тут все знаю. Назову родителей и дедов теперешних хозяев каждой уцелевшей избы.

В проулке между усадьбой Ивана Матвеева, где некогда жила Настя, и соседней знакома каждая мелочь. Идя вдоль тына, я, как тогда, наклоняюсь под низко свисающими ветвями яблонь, а рука сама тянется к перекладине калитки, за которую ее надо приподнять, чтобы отворить. И врезались в память подробности вечера, когда я был здесь в последний раз...

* * *

...Луна высоко забралась в темное небо. Черные тени голых ветвей замерли на стылой земле. Кое-где сверкает ледок. Я жду давно и дрогну. Настя тоже ждет — ей нельзя выйти из избы, пока все не заснут. Она вот-вот выбежит в наспех накинутой шубке и повязанная платком. Мне так мило видеть тень его на ее лице, тень, из-за которой глаза кажутся особенно манящими. Настя! Моя Настенька!.. Я пришел сейчас со смутной надеждой, что она, зная, что я не мог не прийти, почувствует мое присутствие и выйдет. Мы простились «насовсем» еще днем, когда она, заплаканная, еле сдерживая рыдания, прибежала ко мне на усадьбу.

...Я все жду. Затемненные свесы крыш засеребрились, освещенные месяцем, а те, что ранее светились, ушли в тень. Насти все нет. Она так и не вышла — ее, должно быть, крепко караулили. По пустынному проулку я, кусая губы от отчаяния, возвращался в темную, навсегда сдвинувшуюся надо мною ночь...

* * *

Передо мной ветхий сарайчик — он покосился, ушел в землю. Если навалиться на него покрепче плечом, он рассыплется в прах. Босые ноги и охапки сена отполировали до лоска его порожек. О том, как я приду сюда и встречусь с Настей, я начинал думать, едва возвратившись на заре со свидания. Потом думал весь день, неотвязно... Как жарко в шуршащем сене! Оно палит, его сильный запах дурманит, а когда прохлада утра заставляет очнуться — грустный аромат увядших трав напоминает о быстротечности жизни.

Я оперся об угол сарайчика и медленно обвел глазами все вокруг — подгнивший тын, ульи с облупившейся краской, яблоньки с завязавшимися плодами, крышу соседской избы. Ее хозяин, старый рыбак Конон, должно быть, давно помер. Право, не подумаешь, что пролетело на темных крыльях почти сорок длинных лет!

Иван Матвеев потихоньку ворошил граблями сено — несколько берем побуревшей, еще не высохшей травы. Он двигался, как связанный, осторожно, мелко переступал ногами и подгребал возле них, точно опасался отвести руки

подальше. Его нельзя было не узнать: те же крючковатый нос, жиденькая бородка клинышком и поврежденный глаз, слегка косивший... Старик передо мной был как бы высохшим слепком с того, прежнего, крепкого и жилистого, на редкость подвижного Ивана Матвеева, что, благодаря резвым ногам и горячности, всегда первым поспевал на лаз к гонному зайцу. Каким тщедушным и медлительным стал он! У меня защемило сердце. И что заставляет старика копошиться возле охапки потемневшего, видимо, не раз бывшего под дождем сена? Ведь семья была — целая артель! Бывало, в сенокосную страду все дружно выходили на луг: кто греб, кто ворошил или копнил, навивал на воз. И Иван Матвеев — то ли не проверен был! — вдвоем со старшим сыном Павлушкой не успевал подкашивать траву!

— Ну, здравствуй, Иван Архипыч,— негромко сказал я, подходя к нему.

Старик обернулся и, машинально ответив, стал ко мне приглядываться — его глаза с красными веками сильно слезились.

— Слышать вот — слышу что заяц... И голос будто знакомый, слыхал где-то, а вот вижу как в тумане... Не признаю что-то... Или запамятовал...

Я, помедлив, назвался.

— Неужто? — только и выговорил Иван Архипович. Растерявшись от неожиданности, он принялся было снова грести сено, потом спохватился и суетливо протянул мне руку. Была она у него твердая и холодная. Сразу не найдя, с чего начать разговор, мы молчали.

— Так ты, выходит, ты... давыдовского барина сын? Который в революцию на мельнице жил?

— Я самый. Сейчас в Москве. Скоро на пенсию выходить. Захотелось вот свои места навестить... Ты как живешь? Где дети? Все еще работаешь?

— Нет, годы мои давно вышли, какая там работа... На колхозной пенсии я. Да и Павлуха мой, старшой, уже на пенсии, он в горячем цеху на Обуховском заводе литейщиком проработал. А это я так — балуюсь... Обкосил на огороде траву и сушу. Стариковское дело... Да вот все дожди. У меня, почитай, все разлетелись. Нынче никто в деревне жить не хочет — городские булки полюбились. При мне один меньшой остался — Серега. У него не пошло с учением. В полевой бригаде он, сноха на птичнике.

— Что это дворы общественные у вас развалились? С войны, что ли?

— Те, что к барскому полю? Ни при чем тут война, а прямо сказать, своя дурость. Что-то председателю вздумалось — скотину отсюда перегнать в Голубово, за три версты, а здесь чтобы одна птица была. Доить бабы туда ходят. Ну а дворы, известно, без призору: что растащили, что подгнило. Зато какие птичьи хоромы под горой отгрохали, видал? Ни у одного барина таких не бывало, твоя мать даром что всяких индеев заводила, куриные яйца из-за границы выписывала, а птичника такого не видывала ни в жисть! Так-то, мил человек...

Воистину — горбатого могила исправит: не было на сходке мужика язвительнее и смелее, чем Иван Архипович Матвеев. Видно, и с годами не отступился от своего обычая рубить сплеча!

— Чего ж мы тут стали? Пойдем в избу... Эка жалость, молодуха на работе... Ну да как-нибудь.

* * *

В старой избе Ивана Матвеева все как прежде: выбеленная лежанка, в переднем углу под образами — стол с лавками, тусклое зеркало в крашеной раме в простенке между окнами, постель застлана стеганым одеялом из лоскутов. Вот только на столе не прибрано: куски хлеба, чугунок с вареным картофелем, миска с остатками молока, деревянные ложки, рассыпанная серая соль. Обиход остался прежним — исконным, мужицким!

Хлопоты по угощению сами собой отложились: надо было сначала обстоятельно расспросить друг о друге. Первоначальная неловкость понемногу рассеивается. Мы оба слегка растроганы.

Нет ничего отраднее и утешительнее в пожилом возрасте, чем внимать рассказам о себе — и самым бесхитростным — человека предшествующего поколения, сверстника родителей, который бы видел тебя ребенком, знал о приключавшихся с тобой радостях и огорчениях. Особенно когда уже больше никого не встречаешь, кто бы помнил тебя иначе, чем взрослым, и семейные предания похоронены вместе со старшими. Сейчас передо мной возникают разрозненные строки и отрывки моих ранних лет. Я с жадностью ловлю каждое слово Ивана Архиповича.

Дороги самые пустячные картинки: вот карапуз вооружился длинной жердью — ему до смерти хочется подойти

к тройке вислоухих гончих на смычке у Ивана Архиповича, да страшновато... Или он же, уже постарше, ловит раков с деревенскими мальчишками, а случившийся на берегу Архипыч кричит: «Немка идет!» — и хохочет, когда я, поверив, даю стрекача... А запомнился ли мне случай, когда, вознамерившись щегольнуть перед собравшимися косцами и бабами, я круто осадил лошадь и полетел кувырком из седла, чуть не подмяв озорную тетку Феклу? Да еще конягу угораздило издать звук на всю усадьбу! То-то загрохотал честной народ, то-то доняли шутками неуклюжего кавалериста!

...А сучонка Ивана Архиповича Найда! Что за собака была! Как-то четыре раза выставляла мне на лаз беляка, а я, ротозей, все мазал! Застрелил только на пятый, после того как взбешенный Иван Архипович пригрозил, что никогда больше не поведет меня на охоту... Были и полунебылицы, напутанные и приукрашенные до неузнаваемости... Мне все звучит чудесно, я точно прислушиваюсь к дивной музыке...

Архипыч рассказывает много, а я думаю, что ради таких живых воспоминаний стоило бы приехать и за тысячи километров... Значит, неправда, что все мне дорогое — в прошлом, что все давно прожитое — умерло и похоронено? Вот живет же что-то оттуда в живой речи моего земляка... И я только боюсь, как бы ему не наскучило ворошить эти старые, запыленные странички...

Вдруг вспомнив о своих обязанностях хозяина, Иван Архипович идет к поставцу с посудой, шарит наугад рукой, начинает развязывать мед, но, не доведя хлопоты до конца, возвращается к разговору. Не то, минуту помолчав и поглядев на меня, точно удостоверясь, что я ему не привиделся, сижу живой перед ним, усмехается:

— Приехал-таки, милок, надумал! Чего на свете не бывает... Довелось увидеться. Тебя тут давно схоронили: слух прошел, будто ты помер в Сибири. Значит, долго проживешь! Эх, угостить бы надо, да снохи нет. Хоть меду поешь с хлебом вот...

Порасспросив меня, он рассказал о себе:

— Мы тут всего навидались, хотя под немцем не были. Я из своего Давыдова никуда не вылезал, почитай, как еще при Миколае с Путиловского вернулся — за глаз пенсию получил. Чуть не загремел в коллективизацию. Было забрали, да из города воротили. Детей полная изба, не то ходить бы мне в кулаках. Хозяйство у меня было справное — две лошади, две коровы, овцы. Еще сосед доказал — медом торгую! Да тебе что рассказывать — сам помнишь!

Архипыч примолк, задумался, должно быть, пристал. Начал было свертывать цигарку, я предложил «Беломор».

— Покурить, что ли, пшенишной. От этих кашля нет, а давеча в лавке меня «Казбеком» угостили, так едва продыхнулся. Такие дела, милок,— крутенько и нам приходилось. Меня пчелы выручали да еще река — рыбу все ловил. Она тут хорошо водилась. Ну и дети стали подрастать, нам со старухой помаленьку пособлять. Когда кто одежу пришлет, не то деньгами помогут. Ныне, что говорить, дела на поправку пошли, да и поставки сбросили — шибко они нас донимали. Налогов поменьше, вот только председатель попался полохливый: то туда, то сюда метнется, хозяйству и беспокойство...

Печка в избе натоплена, окна из-за мух не отворяют до темноты, и мы перекочевываем в палисадник, на лавку под окнами. От улицы мы отгорожены чахлой акацией и сиренью — из-за детворы ей никогда не удается хорошенько разрастись: лазая за свистульками или цветами, мальчонки обламывают ветви.

* * *

Исподволь гаснет день. Немеркнущая заря, окрасившая полнеба в чистые и мягкие цвета, не дает сгуститься легким теням, и деревня окуталась в прозрачный сумрак. Коростели подобрались к самым огородам и настойчиво перекликаются. С полей идет теплый запах зацветающей ржи.

К нам подсело несколько человек. Известие о приезде неожиданного гостя быстро облетело деревню, и кое-кто из стариков, особенно пожилых женщин, знавших меня прежде, приходят повидаться.

Я узнаю почти всех, кто подходит, жму руки. Со мной разговаривают как с земляком, объявившимся после длительного отсутствия: так однажды, давным-давно, Давыдово встречало своего односельчанина, прожившего двадцать лет на Аляске. Словно забыто, что я сын прежнего помещика: все первым делом, как и Иван Архипыч, вспоминают подростка, моловшего им зерно, или видят того давнишнего паренька, который бегал тайком от домашних на посиделки, не отказывался, забежав в избу, угоститься чашкой молока с ломтем ржаного хлеба. Те, кто помоложе, попросту приглядываются к незнакомому москвичу: что его сюда привело?

Я помолодел. На душе легко — кругом привычный народ, знакомые с юности лица. Есть о чем поговорить и что вспомнить. Причем таком далеком, что воскрешается все в мирном освещении, отрешенным от давно перегоревших страстей и волновавших противоречий. Особенно дотошно вспоминают женщины — они более всего рассказывают о моей матери, почему-то произведенной в «генеральскую дочь», расспрашивают о ее смерти.

Древняя бабка Маланья, которая и сорок лет назад была пожилой и морщинистой и ходила, как сейчас, аккуратно повязанная белым платочком, хвалит меня за то, что не забыл я своей деревни, приехал проведать и поклониться земле отцов.

— Сколько, батюшка, ни живи на стороне, а на свое потянет,— шамкает беззубым ртом, жестикулируя костлявой рукой, дряхлый пастух Онисим. У него по-прежнему бритый подбородок и вислые усы, некогда вывезенные им с действительной службы. Разговор, естественно, возвращается то и дело к годам войны.

Убит... убит... помер от ран... не возвратился... калека... пропал без вести... Скольких унесла война — лучше перестать спрашивать! Исчезли целые семьи — то-то обезлюдело Давыдово, столько заколоченных изб, и колхоз не поднимается — хиреет.

Немолодой бригадир безнадежно машет рукой:

— Не осталось вовсе народу — одни старики! Некого на работу наряжать. Война, можно сказать, наш колхоз под корень подрубила. И до войны-то мы не шибко как жили, а все же лен маленько выручал. А нынче — все в город да в город, словно он медом обмазан, ничем не удержишь. Да и чем тут у нас приманишь? Света и того нет, керосином освещаемся.

— Не в керосине дело... Хоть прожекторами деревню освети, жить не будут,— перебил бригадира сидевший в стороне на бревнах чисто выбритый мужчина средних лет с насмешливым и сердитым выражением, по виду — рабочий-механик. Он встал и, словно не замечая меня, обратился в упор к бригадиру: — Пойми. У нас на заводе порядок. Как вчера было, так работаем и сегодня, так остается и назавтра: условия, спрос с нас, часы, разряды, все, как установлено, действует годами. И только помаленьку идет вверх. Значит, нам можно жить да наперед рассчитывать. Каждый знает, какой у него заработок, сколько можно прожить, на мотоцикл отложить. Подходит черед — пожалуйте, получай квартиру, заслужил... Ну и отпуск там и все прочее. А у вас тут

что? На дню семь перемен: сегодня сей одно, завтра отбой — сажай другое. То разводи кур, то аннулируй овец. Начальство переменилось — смотришь, и порядки другие пошли: заводи ягодники, не то переводись на молочный профиль. Землю то прирежут, то соседу отдадут или отведут под садовые участки. Мелкие колхозы сольют в один, потом — опять неладно: давай разукрупняй! Я, как война прикончилась, всякое лето сюда езжу, вот уже двенадцатый год пошел... А у вас все перемены, все ломка, народ и не знает, как приспособиться, на ноги твердо никак не станет... А людям, брат, потребно жить так, чтобы знать — какие планы вперед строить, семью поднимать... Да что толковать!

С этими словами он отошел. Возражать ему никто не стал, и ненадолго наступило молчание.

Деревенские люди не полуночники. Кружок собравшихся начал редеть. Кого кличут ужинать, кто сам, словно очнувшись от нахлынувших воспоминаний, торопливо со мной прощается и озабоченно спешит прочь — не проспать бы утром. Бабка Маланья напоследок велит мне сходить на кладбище — поклониться своим могилам.

Иван Архипович сидит молча, не вступает в разговоры, занятый своими стариковскими думами: спина сильно согнута, плечи поникли. За ним приходит сноха и уводит в избу, а меня, попросившегося переночевать на сене, провожает после ужина в сарай, снабдив подушкой и одеялом.

* * *

Мне рассказали, что Настя живет за рекой, на старой мельнице, в домике, выстроенном ее мужем. Тот работал там, пока не «сгорел от вина». Настя давно вдовеет, чуть ли не тридцать лет.

Первым побуждением было — броситься туда очертя голову, отмахнувшись от всяких раздумий: будь что будет! Да не тот возраст: тут же возникли сомнения. И они одолевают. Нет, пожалуй, лучше не встречаться. Поступлю по поговорке — утро вечера мудренее. Но разве уснешь?

Иду побродить в поле. Знакомая дорога светлеет вдоль хребтинки холма с пологими распаханными склонами.

На самой высокой точке, в версте от деревни, испокон веков стоит одинокая береза.

Вечерняя заря потухла на западе. Погруженный в сизые тени восточный небосклон стал светлеть. Туман внизу

закрыл речку, луга, кусты — все, кроме леса на высоком противоположном берегу. Все очертания еще сливаются; ни один звук не нарушает тишину. Коростели и те смолкли.

Березы нет. На ее месте молоденькая сосновая поросль — деревца тесно обступили уцелевший пень. Через десяток-другой лет могучие сосны украсят гору, как венчала ее некогда плакучая огромная береза, за которую летом заходило солнце. В траве белеют куски бересты — они еще долго будут напоминать о старом дереве.

Большой, причудливых очертаний камень на прежнем месте,— усаживаясь на него, я ощутил пальцами его шершавую, еще теплую, чуть влажную поверхность. И опять чувствую, что тут ничего не поддается годам.

Небо светлело, расцвечивалось, и под горой оживал туман: пелена его ходила волнами, клубилась, словно поднимались дымы над огромным становищем. Отдельные клочья плыли, как вереница туч над морем, спешили скрыться, убегая зари.

На лугу, по прихоти движения воздуха, показывались неясные призраки кустов. Потом туман закрывал их снова.

По глади небосклона, зеленой, как весенний луг, стал разливаться оранжевый цвет. Он распространялся снизу, из-за леса, и захватывал все больше места. Его вытесняли киноварь, пурпур, другие краски, а сопровождавшие их золотистые отсветы блестели все ярче, все ослепительнее — пока весь горизонт на востоке не засиял так, что нельзя было больше смотреть.

Возле меня выпорхнул жаворонок и круто взмыл кверху, торопясь к первым лучам. В посвежевшем воздухе, все еще тихом и сонном, чувствовалась приготовленность, точно сюда вниз уже передалось, что там, над головой, все засияло. Должен вот-вот набежать ветерок, он дунет — и тогда сразу вспыхнет день, зазвенят птичьи голоса.

Над родными местами, чутко продремавшими душистую летнюю ночь, сейчас еще раз взойдет солнце. И будут снова, как извечно, до вечерней зари колебаться в полях стебли ржи, синеглазый лен ходить волнами, тянуться к свету пестрые луговые цветы, приманивать бабочек и шмелей. А выросшая на месте исчезнувшего парка роща будет весь день шелестеть листвой, пока, напорхавшись, не уляжется легкий ветер...

Отсюда с горы мне видно место, где темнела прежде еловая опушка давыдовского парка,— теперь там зеленеет

молодая роща. Празднично рассыпались по ней первые лучи солнца...

Я пошел к деревне. Светившее в спину солнце ласково грело затылок и плечи. Под горой открылись темные от росы луга и кусты; остатки тумана курились над речкой, а за ней, над песчаным обрывом, сосны тянули к солнцу свои тяжелые ветви.

4

Прежняя давыдовская мельница давно сгорела — ее спалили в одну ночь с барским домом. То, что я увидел, было развалинами новой, выстроенной на том же месте уже в тридцатые годы. Эта новая мельница была воздвигнута на старом фундаменте: я безошибочно узнал остатки прежней кладки из белых тесаных камней.

Река размыла берег, и одна половина амбара, скользнув под кручу, лежала на боку; на нерассыпавшихся бревенчатых стенах кое-где удержалась крыша. Так валяется в детской опрокинутый игрушечный домик. Части механизмов ржавели под открытым небом, среди обрушившихся стропил и балок. Вид неподвижных, смолкших машин всегда поражает человека: ведь душа их — движение. Старые шестерни, погнутые трансмиссии, саженные маховики,— сдвинутые с места и разбросанные, источенные ржавчиной, покрытые лишайником,— оставались массивными и прочными. И выглядели внушительно. Каким-то чудом часть стен еще стояла. В них зияли пустые проемы окон и дверей. В канаве, местами сохранившей каменную облицовку, было сухо. И, пожалуй, более всего ощущалось отсутствие шума: с водой отсюда ушла жизнь.

Природа довершала разрушение, начатое бурным паводком: корни деревцев расшатывали остатки каменной кладки, не было участка пола, ступеньки или карниза, куда бы не залетели и не проросли семена растений. Из проломов в стене выглядывали лопухи и крапива в человеческий рост. Вокруг развалин образовался шатер из ветвей ракит и побегов дуплистых ив. Тут было укромно, тихо и очень жарко, как на тенистом деревенском кладбище.

На этом самом месте — удобном и испытанном — на моей памяти сменилось три мельницы. А впервые реку запрудили тут еще в XVII веке: неподалеку отсюда обмелев-

шая река и сейчас бурлит и перепадает вокруг остатков дубовых свай. Здесь тяжко скрипели водяные колеса, когда гуляли на Руси Кудеяры и сидели по городам воеводы; в екатерининский золотой для дворян век тут пылили и постукивали жернова; несколько десятилетий простояла купеческая вальцовая мельница. Наконец, мололи тут овес пополам с картофельной высушенной лузгой в голодные годы... Так что, если понадобится, здесь снова перегородят речку. И не деревянной плотиной, протекающей как решето, с конопаченными мхом рублеными ряжами, со щитами, сколоченными из досок и поднимаемыми вручную вагой, а наглухо бетоном и железными заслонками, так что ни капли воды не утечет без пользы. Быть ли пусту доброму месту?

Возле мельницы встречалось гораздо больше следов былого, чем в Давыдове. Вот над прежней сажалкой, некогда кишевшей головастиками и водяными жуками, а теперь обсохшей, но сохранившей бревенчатые стенки, одетые, как бархатом, зеленым ярким мхом, высится ряд тополей. Им больше ста лет, а листва все еще шумит свежо и молодо. Зато древняя ива над прудом не выдержала бремени старости: ствол ее распростерся на земле у необъятного пня,— он, должно быть, обломился бесшумно и упал мягко, подточенный дряхлостью. Рыхлая его древесина рассыпается под руками.

— Жив, жив, старый приятель, уцелел! — Я вижу старый дуб, раскинувший тенистую крону над кустарником, заполонившим прежний малинник.

Эхма! Я и сейчас могу сказать, куда всего удобнее ставить ногу и за какой сук цепляться руками, чтобы залезть на самую вершину. Дух захватывало от высоты — страх и восторг! От беседки под деревом сохранились кусты акации с желтыми и незаметными цветочками и несколько вкопанных в землю гнилых столбиков — прибитые к ним доски составляли скамью вокруг ствола.

Сегодня я хожу спокойно, попросту радуюсь всему, что вижу, не то что накануне! Нет вчерашних острых сожалений об исчезнувших немых свидетелях — за них вознаградили рассказы Ивана Матвеева.

Чувствую я себя, неторопливо гуляя и ко всему приглядываясь, как на встрече со старыми друзьями. Радует, если давшийся в руки кончик нити — будь то береза с чудно искривленным стволом или ряды продолговатых, оплывших,

заросших траншей, бывших парников,— потянет за собой целый красочный клубок, который, разматываясь, вдруг да и воскресит что-нибудь забытое.

Уже с час брожу по частому ельнику, сохранившему остатки ночной прохлады. Укромные полянки, поросшие тонкими древесными побегами с большими круглыми листьями, душистыми лесными фиалками и папоротниками,— словно из сказки. Я вдруг спохватываюсь: как раз тут росла светлая березовая роща! С ней столько связано — игры, грибы, юношеские романтические прогулки!.. Были здесь когда-то дорожки, стояли лавки да росли незаметные елочки. Это они поднялись под пологом берез и — задушили их своей тенью. Воспоминания прибавляют лесу очарования: нарядные грозди шишек в глянцевитой хвое, сладкий посвист иволги в листве осины над головой — все, как и раньше, близко сердцу и мило! И смена древесных пород в роще подсказывает аналогии в наших человеческих делах.

С опушки ельника мне видны несколько домиков. В одном из них живет Настя... Настя, постаревшая на тридцать с лишним лет! Будет трудно при встрече скрыть первое впечатление: ведь я наверняка ужаснусь перемене! И о чем и как с ней разговаривать? Настя прожила век в нужде, мучилась с пьяным мужем. Должно быть, огрубела. Все эти годы я носил в сердце память о чудесной русской девушке. И — расстаться с этим сокровенным и дорогим воспоминанием? С воспоминанием, пронесенным сквозь жизнь и способным до сих пор жарко опахнуть душу! На него наложится резкое впечатление нынешней встречи — и ему конец. Даже страшно...

И, вместо того чтобы направиться к дому Насти, я круто повернул и пошел в деревню Пятница-Плот за пять верст. Там, возле приходской церкви, могилы семьи. Я потом, потом решу...

Не имея нужды торопиться, я шел как вздумается: сходил с дороги, чтобы пройтись по уводящей в чащу тропинке; отыскивая знакомые места, плутал и, обнаружив живописный уголок, забывал про время; надолго увлекся выводком рябчиков. Крошечные птенцы затаивались, как взрослые: вспорхнет рябой комочек на сук, прижмется к нему и на глазах сгинет. Несколько раз выбирался к реке и с обрыва любовался далью. Для меня поют птицы, для меня — торжественный аромат сосен и лопотание листьев в прибрежных кустах.

Временами я забываю про все на свете: как попал сюда,

зачем хожу, про отложенную встречу с Настей. И никак не могу решить — стали ли в самом деле здешние леса краше, или это я в молодости не умел, как сейчас, ценить их красоту? Когда накануне Таня упомянула про сведенные леса, я сразу подумал об этих давыдовских лесах, тянувшихся вдоль речки крупными островами сосны, и теперь радуюсь, что они не тронуты. За эти десятилетия они разрослись — на месте запомнившихся молоденьких сосняков стоят дивные боры с золотыми деревьями. Кто знает, не увидят ли и далекие потомки свои родные леса такими же прекрасными, какими я знал их в детстве?

Из-за близкой опушки показалась знакомая колокольня. Я вышел к обрыву, круто спускавшемуся к заливному лугу с такой густой и высокой травой, что попробуй по ней пройти — и непременно запутаются ноги.

Возле облупившейся церкви, превращенной в зерносушилку и соответственно обросшей невзрачными пристройками, я не обнаружил ограды. Большинство памятников и крестов исчезло или оказалось поваленными, разбитыми, плотно заросшими дерном. Еле заметные кое-где бугорки земли — вот и все, что осталось от могил. И не отыскать бы мне своих, если вдруг за разросшейся на тучных холмиках сиренью я не обнаружил бы хорошо знакомый с детства памятник деду, ученому-артиллеристу. Его труды по баллистике и астрономии перечислялись на четырех фасах изрядного обелиска из черного мрамора, стоявшего неприкосновенным. Деда своего я знал только по выцветшим дагерротипам, сохранившим отчетливее всего изображение звезд, крестов и эполет, поднимавших плечи до ушей. Но очень помнил, как этот памятник украшали цветами и по нескольку раз за лето служили перед ним заупокойные службы. Исчезли только позолоченные орлы и пушечки по углам ограды. По скромной красноармейской звездочке, высеченной на цоколе обелиска, я догадался, что памятник находится под охраной военного ведомства.

Этот надежный ориентир помог обнаружить остатки очень старых могил нескольких родичей вековой давности, но я так и не определил места, где был — последним по времени — похоронен брат отца. Он умер в годы, когда родные, поставив над могилой временный деревянный крест, твердо уповали, что наступит время — и его заменит долговечное надгробие. Какие только далеко идущие чаяния не связывали тогда с возвращением времени, когда можно будет увековечивать память дорогих усопших в мраморе и брон-

зе — «прилично званию», чего только не ждали те, кто предсказывал, что «tout finira bientôt»[1], вкладывая в это «tout» самые фантастические представления, правда, и туманные в высшей степени...

Где вы, где вы, милые, наивные тетушки, так боявшиеся неизвестной вам новой жизни и так свято верившие в традиции своего мирка? Вот протекли годы, минули десятилетия, бесследно исчезла могила с временным крестом, нет даже места, где бы поставить навечно каменный, давно покоится в земле и ваш безвестный прах, сыскать который не смогут и ангелы в день Страшного суда... А то, что вы обрекли скорому концу... Ах, тетушки, как посрамлены ваши предсказания! Ведь мы теперь только усмехаемся, вспоминая ваше «все скоро кончится».

«Крестьянин дер. Восцы Никольской вол. Максим Ив... жития его было 84 года... староста сего храма... скончался генваря 8 дня 18...» Гранит на опрокинутом памятнике выщерблен, и разобрать трудно. Я всю жизнь люблю читать надгробные надписи и вникаю в них с любопытством острым, почти болезненно пытаясь себе представить очерк означенной в них жизни. Как наглядна тут тщета человеческих попыток оградить от забвения имя умершего: и высеченное золотом на мраморе, оно ненадолго переживает того, кого надеялись таким путем обессмертить. Стоит ли печалиться, что могила дяди исчезла через сорок лет и не сохранила никому не нужное имя еще для двух-трех поколений?

Я вдруг почувствовал усталость — как-никак целый длинный день после бессонной ночи я провел на ногах — и уселся на выгоревшей траве могильного холмика, пропеченного дневным зноем. До меня доносились тысячелетние голоса деревни: над колокольней со свистом проносились стрижи, ревели пригнанные с пастбища коровы, и дети, бегающие за блеющими овцами, пронзительно кричали и перекликались. Меня обволакивает покой сельского вечера. Как же давно я не был на этом кладбище! И как запомнилось последнее посещение...

* * *

— Мне надо тебе что-то сказать...

Шепот выводит меня из задумчивости. Немного выждав,

---

[1] Все скоро кончится *(франц.)*.

я незаметно оглядываюсь. Вокруг — крестьяне Давыдова, все знакомые лица... Мужики стоят без шапок, женщины пригорюнились, как обычно при всяком богослужении; у них опущены глаза. За толстыми фигурами священника и дьякона в облачениях поверх шуб я вижу свеженасыпанную могилу. На земле и на комьях снега ярко зеленеют еловые ветки. Порывистый мартовский ветер давно задул свечи, за кадильницей, позвякивающей в руке дьякона, уже не вьется пахучий дымок. Панихида по егерю отца подходит к концу.

Через головы толпы мне видно, как выбравшаяся из нее Настя скрылась за церковью. Теперь я должен сделать то же самое, осторожно, чтобы никто не обратил внимания. Если не поднимать глаз, кажется, что и тебя никто не видит. Вот я уже в задних рядах. Еще небольшая пауза из предосторожности, и можно быстро шмыгнуть за угол церкви. Про себя я знаю, что все заметили и осудили... Да не все ли равно!

Толпа запела «вечную память», ветер волнами доносит сюда отголоски. Но для меня и дядина смерть, и похоронный обряд уже отступили назад, уже далеко — сейчас я подойду к Насте, и меня заранее колотит радостная дрожь. «Сущий в гробе мирно спи, жизнью пользуйся живущий»,— вспомнить эти слова так легко, когда тебе девятнадцать лет и ты любишь!

Насте нечего сказать мне неотложного. Ну попросту я стоял такой печальный, и ей стало меня жалко... О радость моя! Как это восхитительно: мы всякую минуту думаем друг о друге!

Слова и объяснения излишни: за Настиной слабой и нежной улыбкой я угадываю желание утешить, рассеять мои грустные мысли. Меня заливает волна нежности. Любимая!..

На дорожке вода, и Настя спасает промокшие ноги, встав на лавку. Я гляжу на нее снизу, сияние голубого неба над головой, блеск солнечного дня, оживающие ветви голых деревьев, неистовое щебетание ошалевших воробьев — все сливается со счастливым ее лицом. Сам синий ветер разносит кругом ласки солнца, я не могу удержаться и, подхватив Настю двумя руками, кружусь вместе с ней. Она испугалась, слегка вскрикивает, и я со смехом снова опускаю ее на скамью. Она упирается руками в мои плечи. Мы близко вглядываемся друг в друга, смотрим в самую глубину зрачков и видим, что они чуть потемнели. Тогда я снова ее обнимаю, но на этот раз не кружу, а бережно ставлю возле себя на уголок каменной плиты. Мы одновременно мельком огля-

дываемся, потом приникаем друг к другу губами... Кто-то как будто кличет меня издали,— должно быть, ищут. Настя делает движение, точно хочет освободиться, но я еще сильнее прижимаю ее к себе... «Жизнью пользуйся живущий!»

Кладбище давно опустело. Всюду разлилось еще больше воды — синей, солнечной. В ее ряби плавают разбросанные по дорожке траурные еловые ветки. Я веду притихшую девушку за ограду. Моя застоявшаяся лошадь беспокойно топчется у пустой коновязи. Усаживаю Настю в санки, и мы молча едем по рыхлой весенней дороге. В эту минуту мне хочется только одного: увезти к себе Настю на всю жизнь.

* * *

...Когда я снова вошел в бор, под деревьями уже стемнело, песок приглушал шаги, и казалось, что во всем мире царят такие же тишь и покой, как здесь. Сквозь вершины и ветви светлело небо. Напрягая зрение, можно было различить крохотные метелки сосен и вереск у дороги. Но подальше все сливалось в один мутный фон, полный теплых и живых красок дня, приглушенных сумерками. Неясно очерчивались стволы ближайших деревьев, обозначавших небольшие холмы. Здесь, в бору, были курганы. Одни сохранили форму конуса, другие осели и расползлись. Их пробовали раскапывать — неумело, по-любительски — и находили в песке остатки оружия, ломкого и почерневшего, бусинки, обломки украшений, но более всего угольков в глиняных сосудах, настолько хрупких, что, постояв немного на воздухе, они рассыпались, превращаясь в кучу черепков.

Еще юношей я любил это древнее урочище, где все располагало представлять себе седую русскую старину. Уснувший лес помогает воображению. И мерещатся суровые бородатые витязи в кольчугах и их оруженосцы — отроки в длинных белых рубахах,— пылающие в темноте древние славянские костры, тихий звон гуслей...

Я ступаю по тому самому песку, по которому некогда шли справлять тризну те, кто насыпал эти курганы. (Здесь же они волокли своих пленных...) Быть может, у подножия этого кургана молодые воины обнимали на прощание плачущих невест, отправляясь в долгие походы по речкам и волокам... В это же небо поднимались дымы очагов исчезнувшего селения, и — кто знает? — не было ли здесь заповедной рощи с капищем грозным богам?

Пусть навеянные Васнецовым и музыкой Римского-Корсакова образы так же далеки от тех, кто истлел в этих курганах, как поселяне в опере «Евгений Онегин» не похожи на подлинных крепостных мужиков, но они неотделимы от моего представления о прошлом и слиты с моей привязанностью к родным местам: много веков назад на этом дремучем берегу жили люди, с которыми у меня, сына двадцатого века,— одна общая родина.

В многовековых преемственности и связях мне чудится крепкая опора жизни. Пусть эта жизнь нередко обманывает и иссушает сердце, пусть огорчает, заводит в тупик или выбивает из колеи. Своя земля, хранящая тысячу лет прах безымянных предков, земля с речками, омывающими одни и те же берега и деревни с извечными запахами лугов и полей, с ограниченным зубчатой каймой леса небосклоном,— эта земля не обманет и не огорчит своего сына. Приникни к ней, вслушайся в ее шорохи и тайные голоса, вдохни полной грудью ее дыхание — и развеются твои заботы, отступят от тебя сомнения и тревоги, забудутся обиды. Родная земля, родной дом — нет слов значительнее и надежнее...

К избушкам мельничного хутора, укрытым ночным туманом, я подошел в полночь. Тут было тихо, пустынно, как и в лесу, только за домиком Насти громко журчал неслышный днем ручей. В ее окошке горел свет. Я отошел в сторонку и сел на подвернувшийся пень. Настя не спит...

Впрочем, не решилось ли уже все за эти часы само собой? Помимо меня? И не только потому, что нес я бремя длинной жизни и память трагических случаев, нет-нет и всплывающую наверх и наполняющую маятные дни.

В окошке давно погас свет. Занялась утренняя заря, и в лесу тихо свистнула первая пичуга. Я поднялся и неуверенным шагом пошел прочь. Прощай, прощай, Настенька моей невозвратимой счастливой поры! Не могу я, не в силах с тобой расстаться, поставить между нами новую встречу... Прощай навсегда!

РЫНДИНСКАЯ ИДИЛЛИЯ

(Вместо эпилога)

Здесь день и ночь стоит шум воды, сбегающей в омут по сливу упраздненной плотины,— ровный, сильный, обволакивающий. В меженную пору он слабеет — обмелевшей

речки не хватает на всю ширину настила,— вода уходит в зазоры между лежнями и только под левым берегом тоненькой, сверкающей пленкой бежит по ним, образуя небольшой водопад там, где концы их нависают над омутом.

Александр Васильевич этого шума не слышит, вернее, так привык, что не замечает. Дом, где он живет, на бугре, над самой речкой, тут же и пасека — поприще каждодневных трудов. До него всегда доходит голос реки, напоминая ему о бывшей тут мельнице.

* * *

...После ночи, проведенной против Настиных окошек, я еще дня три бродил по окрестностям, разыскивал болотинки и мокрые ложки, памятные стрельбой по тетеревам и дупелям. Но более всего, ища уединения, подолгу сиживал где-нибудь на взгорке или у лесной опушки. И тут бывало по-разному: то вовсе легко, словно само собой, исчезало с глаз все, что наслоилось на «как было тогда», и мне открывались виды, привычные с детства, то, сколько ни напрягал я свое воображение, память не откликалась на представлявшиеся взору перелески, луга, деревенские крыши за обширным полем... Куда ведет уходящая за склон дорога? Я терялся...

Шум работающих тракторов, пылившие на проселках машины, следы шин по некошеным лугам спугивали видения. Мне не хватало сельской тишины, свойственной родным местам. Вековой, наполненной жизнью тишины, поглощавшей осенний мерный перестук цепов и шум шестерен ручных веялок на токах, звон и жвыкание острых литовок в росистом логу, мычание скота по вечерам, а в ночи — тявканье собак, колотушку сонного сторожа, и под утро — разноголосую перекличку петухов да ржание матки, зовущей жеребенка, затерявшегося в тумане на заросшей сече. Вот закрою глаза — и мне слышится тоненький голос стригуна, отзывающегося на материнский зов...

Я подолгу вглядываюсь в отпечатки гусениц и накатанные грузовиками широкие колеи, пролегшие там, где проезжали одни телеги, и мерещатся мне старые, давно перемершие мужики Давыдова. Эй вы, милые мои,— Максимушка Кружной с братеником Алексеем, Самойло Никитич, Алексей Егорыч, Кузьма Спиридонович и ты, дед Ермила, и ты, старый Силантий! Проснитесь ненадолго, други, подними-

тесь из дальних своих безвестных могил, покиньте сырую землю — всем вам она теперь мать, всех приняла в свое лоно, если в жизни и обернулась злой мачехой. Посмотрите, сердечные, что нынче вокруг деется, пройдитесь по дорогам, вами исхоженным и перехоженным в лапотках да в чунях не то в праздничных, дегтем смазанных сапогах. И не торопитесь креститься да чураться — не блазнит вас и не чудится вам...

И как-то вдруг я почувствовал, что пора уезжать.

* * *

Рындинская мельница и по сей день оправдывает свою старую славу живописнейшего уголка в уезде. Я и захотел ее навестить, распростившись с Давыдовом. Так случилось, что бывшего тамошнего мельника я встречал у московского своего знакомого, инженера с Лихачевского завода, приходившегося ему свойственником. Александр Васильевич Рыжков наезжал в Москву по нескольку раз в год, нескупо закупал всякую всячину в гастрономах и, отправляясь домой, звал старых и вновь приобретенных знакомых приехать погостить к нему в «уголок Тихого края».

О Рыжкове я слыхал давно, когда еще жил в деревне, может быть, даже и знал, вот и решил к нему заглянуть, чтобы от него возвращаться восвояси.

Дороги в растущих по песку сосняках, хотя бы и заброшенные, не зарастают десятилетиями. Шел я по рындинской дороге с такой уверенностью, словно пользовался ею накануне. Вокруг — редкий сосняк на сплошном ковре вереска. Бор тянется по пологой гряде. С одной стороны ее — приречные луга, вдоль другой — кромка глухого заросшего болота. Эти места я знал прекрасно. Здесь я впервые ходил на глухариный ток, тут же по вереску росло дивно много белых грибов — с темной шляпкой и крепким корнем.

Но пора была не грибная, брусника и подавно не поспела, и за длинную семиверстную дорогу я не встретил ни души. Следов езды и в помине не было. Тишина, солнечные узоры на земле, и шаги такие мягкие, что сам не слышишь. И думалось, все тут как было и — кто знает — еще долго так будет!

Но нет. Строй за строем стоят деревья, помеченные каррой — печатью смерти. На стволе неглубокая, но жестокая

рана. Она похожа на отпечаток оперения стрелы, вонзенной в землю. Вместо древка — прибитый жестяной ковш. Через эту насеченную рану из дерева уходит жизнь: вытекает живица — смолистый древесный сок. Прежде этого промысла здесь не знали.

За длинным полем, проглянувшим сквозь деревья опушки, показались березы и ели усадьбы бывшего рындинского мельника.

Его обширная длинная изба, служившая жильем для помольцев, из-за широкой завалинки выглядела вросшей в землю. И оттого казалась непомерно большой крыша с низкими свесами, вся в заплатах. Выделялось новенькое, сверкающее свежим тесом и балясинами крыльцо. К дому примыкали старые, невзрачные хозяйственные постройки. В тени сиреневого куста, обкопанного курами, стояли две машины — «Волга» и «газик». Через распахнутое окно доносились громкие голоса — там, несомненно, шла пирушка.

Я решил не заходить, так как ни за что не хотел бы принимать в ней участие. Но только я было повернулся, чтобы уйти незамеченным, как меня окликнули:

— Ненароком не к нам ли?

Из коровника вышла и, прищурившись, проницательно и спокойно глядела на меня высокая, сухопарая женщина, повязанная ситцевым платком, в опрятном фартуке, с полным подойником в руке. Я назвался. Жена Рыжкова — это была она, Прасковья Ивановна,— протянула мне жесткую большую руку и пригласила заходить.

— То-то Сашунчик будет рад. Он мне о вас рассказывал. Милости просим! Что бы вам вчера прийти. Это к нам из города понаехали, второй день гуляют. Заведующая орсом завода, муж ее да еще приятелей своих привезли. Заходите, что же вы, не стесняйтесь, у нас по-простому. Вот я позову...

Я легко отговорился от приглашения — было очевидно, что затянувшаяся гульба смертельно надоела хозяйке. Прасковья Ивановна отпустила меня погулять, пригласив через часок вернуться. По ее словам, гости собирались выехать домой еще на рассвете, да никак не умели покончить с «отвальной», «прощальной» и дорожным посошком...

— Двоим сегодня в Москву ехать, остаться им никак нельзя. А другие без них не останутся. Да и вино все — больше посылать за ним не станут. И так уж — слава богу! Я с ног сбилась: хозяйство у меня не маленькое — едва управляюсь, да вот еще рой слетел, обирать надо, а тут от гостей не отойдешь — то подай, это приготовь...

* * *

...Такое не часто увидишь. Мельничный амбар с подгнившими венцами, как бы качнувшийся к реке из-за просевшей каменной опоры, был заперт на блестевший смазанный замок. Навес над приткнувшейся к зданию частично разобранной динамо-машиной на брусчатом постаменте был покрыт свежей дранкой, между тем с изоляторов на столбах свисали обрывки проводов. От моста уцелели одни береговые ряжи, ни опор, ни мостовняка и в помине не было, а обширный помост над мельничной пересохшей канавой был подновлен, залатан новыми плахами. Были заботливо сложены в штабели щиты от плотины. На траве, подле перегораживающей канаву решетки,— куча речных наносов. Не иначе в половодье ее очищали от хлама, чтобы не сорвало бурным напором весенних вод! Словом, везде следы заботливой хозяйской руки, старательной, но малосильной, упорного желания остановить разрушение, последовательной борьбы с разорением высившегося передо мной призрака рындинской мельницы.

Помнится, в Москве Рыжков поразил меня восторженными о ней рассказами. Он проработал на мельнице всю жизнь, с тех пор как вернулся из Петербурга, где служил в мальчиках, а потом приказчиком у оптовика-бакалейщика. С гордостью распространялся Рыжков о том, как некогда приучил всю округу к себе ездить: отбил помольцев у соседних мельников. Знай наших!

Высокий и жилистый, слегка сутулый, с лысой, приплюснутой с боков головой и удлиненным лицом, острым кадыком и хитроватыми, веселыми глазами, Александр Васильевич производил впечатление человека незаурядного, напористого, подвижного и деятельного, несмотря на пожилой возраст. Я заключил, что передо мной умный и оборотистый, русского склада плут, отлично умеющий зашибать деньгу, но способный на широкий жест, даже сумасбродство. Натура, в общем, щедрая, художественная и бесшабашная — «рысковая», как говорили наши мужики в старое время.

Здесь же, перед лицом очевидной и вполне бескорыстной преданности остаткам обреченной мельницы, мне на память приходит не русский сплав мольеровских героев, а папаша Корнилий. Это Альфонс Доде рассказывает о старом мельнике, который возил на своем ослике мешки с известью, чтобы соседи, видевшие, как мистраль весело крутит крылья его ветряка, верили, будто папаша Корнилий по-прежнему мелет

пшеницу. Французский романист закончил, правда, новеллу идиллической развязкой: когда «секрет папаши Корнилия» открылся, окрестные крестьяне повезли к нему зерно, отказавшись от услуг паровой мельницы, прикончившей все ветряки в округе. Такой конец ныне даже не приснится: времена пошли суровые и прогрессивные — какие там потачки отсталым привязанностям!

* * *

С двух сторон к реке — в этом месте неширокой — подступает густыми опушками лес. Он глядится в темную воду с высоких берегов. Ниже омута — песчаный островок, поросший ивняком. Струи, означенные лентами пены, изгибаются лениво и плавно, точно их выписала ласковая рука. Вверх по реке вид замыкается лесом — он уходит за правый берег. Небо, деревья, речка — как зеленый коридор под голубым шатром, наполненный мирным шумом воды. Безмятежный покой...

* * *

— Вот так и пришлось от своего дела отойти, стать колхозным пасечником. Зато на месте остался,— заканчивает Александр Васильевич рассказ о временах, когда, по его словам, вся земля зашаталась.

Мы сидим за обеденным столом в большой комнате, оклеенной обоями и разделенной перегородкой. В спаленке за ней — две кровати с горой подушек и оборчатым покрывалом, кафельная лежанка — когда видел такую в последний раз? — и комод, заставленный гипсовыми раскрашенными чудищами. В столовой, в переднем углу,— литография Ленина во весь рост, убранная вышитым полотенцем.

Прасковья Ивановна подкладывает углей в заглохший самовар, и он сразу оживает. Из ее разговоров я понял, что она много грамотнее мужа, досконально изучила по книгам пчеловодство, выписывает сельскохозяйственный журнал и руководствуется им для ухода за своей живностью. Ее конек — лекарственные травы и польза витаминов.

Александр Васильевич посмеивается: сколько жена ни знает, последнее слово во всем принадлежит ему, и он все равно решает всякое дело по-своему.

Он уже сводил меня в амбар. Распахнул настежь двери — пусть сверкнет солнце в его замолкшем царстве! И все обстоятельно мне показал, как собрату: он ведь знает, что и я когда-то был мельником. Везде порядок, все на месте; даже совки в мучных ларях — хоть сейчас начинай молоть! Вот только полати и пол шибко покосились, из-под ног бегут... Александр Васильевич все приглядывается ко всякой мелочи, все взвешивает и прикидывает, что чинить в первую очередь, что еще потерпит. Иногда прорывается наружу обрывок его мыслей, вернее мечтаний: что-нибудь о том, как будет всего способнее и проще наладить пуск мельницы. Он уже и деревья приметил в соседнем бору, годные для нового окладного венца и балок амбара.

Жернова послужат первое время старые — их как раз налили, когда вышло решение закрыть мельницу, постройки разобрать на дрова колхозу, а металл сдать в город в утиль. Эх, и заметался тогда Александр Васильевич, забегал по знакомым начальникам! Все связи в ход пустил,— и добился вторичного пересмотра дела. Однако — не выгорело: решение подтвердили, только не упоминали в нем больше про утиль и дрова. Прикрыли детище старого мукомола!

— Ведь я тут кажинный болт своими руками крепил! А пользу, пользу-то какую давал — одного гарнцевого сбора государству больше трех тысяч пудов перевозил... В тридцатые годы этим хлебом все детские сады в городе кормил... Я генератор сюда схлопотал, установил сам. В колхоз свет от мельницы провели, пилораму наладили. Чистая польза от нее шла... Бывало, все лето в город по заводам езжу — достаю, добиваюсь, химичу. Тогда и мотоцикл завел. На лошади всюду не поспевал,— а уж то ли не рысака держал!

Рыжков неиссякаем. Странное бывает с человеком. Казалось бы, на пасеке ему куда покойнее и вольнее, чем на мельнице, да и заработок немалый: как-никак — две сотни колхозных ульев да своих полтора десятка. А вот поди ж ты! Спит и видит, как бы ему снова пылиться и морозиться возле жерновов, взвалить на себя мельничную обузу — с бессонными ночами, тревогами за плотину, спорами с помольцами, придирками начальства, у которого мельник всегда на особом счету.

Для Александра Васильевича мельница не бывшая, а временно остановленная, и сам он — в затянувшемся отпуску, из которого вот-вот вызовут! Ему семьдесят два года — неважно! Он еще кому хочешь не одно очко вперед даст. Не поверит старик, если ему сказать, что век кустарных

раструсных мельниц миновал безвозвратно. Или сразу падет духом, одряхлеет, угаснет. Ему в бессонницу слышится, как скрипят по морозу полозья дровен припоздавших помольцев...

У Рыжковых я загостился. Третий день живу в отведенной мне передней — редко открываемой комнате с диваном, большим зеркалом, поставцом с посудой и письменным столиком хозяина с его метеорологическим дневником, заполненным курьезными эпизодическими записями: «На Егория шел дождь со снегом. Нынче сено непременно сгноят... Рыжиков так и не было...», «На Ильин день обошлось без грозы, а парило... Слетело сразу четыре роя...» Целый угол занят разросшимся до потолка фикусом. Горшки пышной, ухоженной гортензии в цвету закрывают окна. Есть и образ в золоченой ризе, с лампадой. Прасковья Ивановна зажгла ее сегодня: по случаю троицы, пояснила она. Но работа вокруг дома не останавливается: на пасеке и в хозяйстве нет праздников. Старики трудятся безостановочно, особенно двужильная Прасковья Ивановна. Мне из окон видно, как она ходит взад-вперед по двору — то с пойлом корове, то с кормом птице, либо относит собаке на пчельник шайку. Или, когда все накормлены, принимается полоть в огороде, помогать мужу скоблить и мыть донца ульев.

Неизбывны и домашние обязанности. Мы садимся за стол три раза в день, посуда всегда чисто вымыта и перетерта, стаканы блестят, на столе в положенное — да и не в положенное — время шумит начищенный самовар.

Александр Васильевич до вечера обихаживает пчел либо за верстаком ладит что-то: строит нового фасона улей, кумекает приспособление. Он смастерил легчайшую тележку на велосипедных колесах для перевозки ульев — это его гордость. А то выводит из-под навеса допотопный мотоцикл — «ижевец» первого выпуска — и на нем лихо укатывает «по делам».

Прасковья Ивановна эти отлучки не жалует: добродетель супруга у нее на подозрении. И, кажется, небезосновательно.

За сараем — аккуратно и плотно уложенная поленница наколотых дров. Суки и ветки лежат отдельно, щепа собрана в кучу. В сарае — остаток летошнего сена. Пожарная бочка под водостоком всегда полна,— если долго нет дождей, воду нанашивает сам хозяин. Не сосчитаешь, сколько супруги

вдвоем натаскивают коромысел из родника под бугром, особенно по субботам, когда топят баню. Из реки воду не берут давно.

(Никак нельзя Рыжковым не везти двойной воз пасеки и хозяйства, пусть им вдвоем сто сорок лет. На обоих — всего одна крошечная колхозная пенсия Александра Васильевича.)

Я давно понял, что хозяева мои не скопидомы. Вряд ли у них что отложено на черный день: с замашками Александра Васильевича много не накопишь. Да и Прасковья Ивановна никогда не отказывает — дать ли в долг молока или ссудить знакомую бабу трояком или пятеркой.

Рындинская пасека — одна из лучших в районе. О ней пишут в журнале, и это целиком дело рук Рыжкова: я, говорит, начал с трех ульев! «И один управлюсь!»— отверг он предложенного ему председателем помощника, когда пасека разрослась, а пасечнику перевалило за семьдесят.

Прасковья Ивановна не поступилась ни одной мелочью заведенного обихода, как ни трудно приходится с хозяйством. Как не гордиться! У нее не завяла ни одна гортензия, для гостя всегда есть выглаженные и накрахмаленные простыни, выскобленные полы устланы чистыми половиками, и сама Прасковья Ивановна ходит прибранная и гладко причесанная. Не подаст она недомытый стакан, не запустит грядку в огороде и кошек не оставит ненакормленными — добрая тройка их ходит за ней по пятам, мурлыкая, или нежится на лежанке да по постелям. К скотине она милостива, а вот к себе, видимо, строга и требовательна до суровости. Привычки супругов, не знающих праздности, умеющих легко — и даже весело — трудиться и впрягшись в тяжелый воз, говорили о старой, вековечной школе русских крестьян, никогда не чуравшихся работы и от нее не отлынивавших.

...Александр Васильевич пошел проводить меня до соседней деревни, где два раза в день останавливается автобус из района. Дорога чуть поднимается в гору, и далеко вокруг видны поля окрестных деревень. Ночной дождик прибил пыль, и следы шагов четко печатаются на плотном песке. Выскочивший неподалеку заяц переключает моего провожатого на рассказы об охоте, ранее его увлекавшей.

— Он только выскочит, а я его из левого ствола — тресь! А тут откуда ни возьмись — второй... Я изловчился и снова — тресь!

Право — словно у тебя на глазах перекувырнулись косые и ткнулись в жнивье,— притом в сотне шагов от стрелка! Нечего говорить, что из своего ружья Александр Васильевич бивал зайцев, черт побери, бивал... да на полтораста шагов, не меньше!

Александр Васильевич остановился у околицы.

— Отсюда один дойдешь. Ступай прямо, все прямо этой улицей. В почту упрешься, там и остановка. Да не спеши, не опоздаешь. Еще рано. А я лучше пойду — дома делов пропасть... Счастливо! На охоту осенью непременно приезжай с собакой. Я такие места знаю — выводков не сосчитать...

По обеим сторонам дороги потянулись крепкие ладные избы, крытые новой дранкой. Ни одного заколоченного окна, ни одного двора под соломой. У сельпо стояла подвода с дремавшей сытой лошадью. Сидевший в телеге мальчик сосредоточенно откусывал от пряника. Две женщины в летних туфлях выносили из лавки мешок, полный кирпичиков хлеба.

У остановки собралось человек восемь. Я поздоровался и спросил, кто последний. Мне ответили, и я отошел в сторонку. Ждать оставалось с полчаса. Все молчали...

1980

СТАРИКИ ВЫСОТИНЫ

Посвящаю И. С. Соколову-Микитову

Прямо перед глазами — полого спускающийся к Енисею берег. Он еще под снегом — оголились одни покрытые бурой прошлогодней травой кочки да редкие пни,— а во всю ширину седловинки уже успел разлиться неглубокий поток прозрачной снеговой воды. На обнаженной земле хорошо виден всякий камушек и стебелек, обмытые студеной струей. Этот живой и желанный ручей, родившийся только накануне или в ночь, пробил толщу еще плотных снегов и завел радостную песнь.

Старый Алексей Прокофьевич оставил дребезжащую пилу в бревне, разогнулся и теперь обводит слезящимися от солнца и ветра глазами дали — белое поле, окаймленное темной опушкой тайги, синюю реку под ярким небом, потом долго глядит на молодо и дружно бегущие у его ног весенние воды. Он пристроился пилить на бугорке у самой реки, куда она вряд ли скоро достанет, как ни бурно и неудержимо устремляется на берег мутная волна.

Мир вокруг — свой и привычный. Взгляд Алексея Прокофьевича хоть и подолгу задерживается на одном и том же, кажется, что старик пристально во что-то всматривается, на самом деле он почти ничего не замечает и мысли его идут своей проторенной дорожкой. Сейчас Алексей Прокофьевич отдыхает. Пусть слабенько и редко ходит в его руках пила — при каждом движении из пропила жиденько сыплется всего щепоть опилок,— однако трудится он не первый час. И не первый день. Едва сбросил свой зимний панцирь Енисей — надвинулась на старика забота. Стал он по нескольку раз в день выходить на крутой яр — изба его стоит у самой реки,— ожидая, когда подмоет и унесет течением загромоздившие берег ледяные сопки.

Потом, когда их кое-где смыла наступающая река, и он и соседи ходили с баграми у самой воды, вылавливая среди льдин, обломков, вырванных с корнем деревьев и всякого плывущего хлама бревна из разбитых плотов. Нетрудно вонзить багор в бревно, плывущее под самым берегом, и подвести его к себе, но дальше работа не под силу Алексею Прокофьевичу. Как только комель или вершин-

ка бревна вытащена на сушу, оно оказывается таким грузным, что, сколько ни кряхтит старик, умело его подваживая и пробуя катить, оно все ни с места. Хорошо, когда случится рядом сосед, особенно такой уважительный, как однорукий Силантий Лукич или паренек Кузя, тракторист, общий любимец всей заимки; они живо пособят — у них в руках бревно как живое, ползет по жидкому снегу на угор, чтобы улечься повыше, где не достанет половодье.

Ноги в стареньких бродннях давно промокли и стынут, да и руки не очень согреваются, но для Алексея Прокофьевича, прорыбачившего всю жизнь на Енисее и в студеных таежных озерах, это ощущение привычное. Плохо то, что внутри все не разливается приятное тепло, от которого бы исчезла скованность тела, хотя обмотанная шарфом шея в испарине, горят щеки и слышно, как колотится сердце. Старику все зябко. Не греет кровь, ее теперь не разгонишь так, чтобы легко задвигались суставы и мышцы сделались упругими.

Алексей Прокофьевич забыл про время, мало замечает, что делается кругом. Глаза его хоть и проследили близко налетевшую стайку уток и даже мелькнуло в голове, что взмыли они в поднебесье, потому что заметили человека, но мысли целиком текут в русле извечно знакомой работы. Как это он поздно спохватился, что рез начал по сучкам и теперь пила ходит словно по стеклу?.. А это стройное бревнышко любо пилить — заранее знаешь, как легко будут колоться прямослойные чурки! К следующему бревну он приступает со вздохом — оно небось не один год пролежало в воде, духу в таких дровах нет вовсе, горят они еле-еле, ни огня от них, ни жару!

Так незаметно размышления деда перешагивают через наступившую весну, оставляют позади лето с хлопотливым покосом, и он уже думает о том, как снова станет Енисей, север высыплет из своих бездонных коробов новые вороха снега и потянутся темные дни зимы; он будет опять сидеть часами на скамеечке возле печки, подкладывая в топку поленья и смутно вспоминая, как пилил, и колол их, вдыхая холодный воздух вскрывшейся реки, а у ног текла талая вода, выносившая зиму из глухих таежных овражков... в который раз на его веку?

Снова тихо зашмыгала стариковская пила, и порошат бурую траву редкие опилки; правой рукой в рваной варежке он размеренно и ровно водит ею взад и вперед, левой упирается в бревно. Его высокая ссутуленная фигура словно

застыла, только чуть вздрагивают на голове развязанные уши лохматой шапки. Солнце перешло за полдень, воды в ручье заметно прибавилось, она сверкает и искрится, журчание ее весело откликается на робкую песенку пилы.

Алексей Прокофьевич и не увидел, как подошла и остановилась над ним, повыше на берегу, опершись на длинную палку, запыхавшаяся и укутанная в шаль старая, очень старая женщина — его жена Арина Григорьевна.

— Ты что ж, старик, думаешь сегодня обедать? — окликнула она его, когда наконец перевела дух и поправила на голове и вокруг шеи платок, сбившийся от ходьбы: видит бог, не быстро шла бабка от заимки по проложенной у самой кромки берегового обрыва тропинке, а все-таки умаялась и задохнулась так, что мочи нет!

Годы сделали ноги такими тяжелыми, что, когда ступаешь, никак их не приподнимешь; бабка обута в неуклюжие широкие бродни — вот они и волочатся по земле, задевая за все неровности. Когда бабка тихо ползет, елееле переставляя ноги-тумбы и наклонясь вперед коротким туловищем, кажется, что она на каждом шагу вязнет: с таким трудом отдирает старуха ноги от земли.

Сейчас Арина Григорьевна довольна: добралась-таки, а главное, целехонек ее старик, ничего с ним не подеялось — ведь всякий раз, как он, отлучившись из дома, где-нибудь застрянет, сердце у старухи не на месте: «А не стряслось ли с ним чего ненароком?» Шутка ли — восемьдесят шестой год пошел ее старику, а он все никак не угомонится, не сидит дома, как положено такому деду!

Алексей Прокофьевич перестает пилить, но не сразу распрямляется, а продолжает стоять, опершись левой рукой на бревно. На разрумянившихся щеках блестят ручейки слез, выжатых из глаз ветром,— утереть их некогда.

— И то пора! — Дед осторожно разгибает спину и, сощурившись от солнца и улыбки, взглядывает на свою бабку.— Маленько осталось, неохота бросать.

Старик напилил немало — возле него грудится порядочная кучка поленьев, попадаются и довольно толстые.

— Тут еще до вечера хватит,— для порядка чуть ворчливо говорит бабка, а на самом деле с удовлетворением видит, что осталось нераспиленным всего одно бревнышко. Пожалуй, и впрямь жаль уходить, не доделав дела!

Постояв, она медленно, боясь оступиться на скользкой глине, сходит с бугра по тропинке, прислоняет палку

к голому дереву, на которое дед повесил берестовую торбу с точильным припасом, и берется за пилу.

— Подсоблю, когда так... Обед в печке остывает... Вот только варежки не прихватила.

Она говорит вполголоса, как бы самой себе, между тем как старик ладится приступить к прерванной работе. Они сразу начинают водить пилой согласно, как давно научились все делать в жизни. Работают старики молча. У деда на лице прежнее сосредоточенное выражение, только в глубине зрачков появились крохотные искорки — теплые и чуть лукавые: не утерпела, мол, бабка, пришла пособить, а с утра отпускала с воркотней...

Оттого что она взялась за вторую ручку поперечной пилы, работа не пошла спорее: наоборот — Алексею Прокофьевичу стало, может быть, даже чуть тяжелее тянуть к себе пилу, но он повеселел, подбодрился, его треух слегка съехал на одно ухо, придавая деду немного задорный вид.

Любо глядеть со стороны на дружную пару: старики слегка склонились друг к другу и без остановки размеренно водят и водят пилой... Вероятно, именно вот так — терпеливо и настойчиво — справлялись они всю жизнь со всем, на что недоставало силы порознь.

Поток возле них рассверкался вовсю, шумит победно: и он рад встрече со стариками, несет им радость и обещание весны...

Струйки тумана, гибкие и проворные, цепляются за ветки и солому шалаша, оплывают его и проносятся дальше, чтобы слиться с непроницаемыми, влажными клубами пара, отрезавшими меня от всего мира. Нельзя определить ни место, ни время суток в этом все затопившем белесоватом море, пронизанном неопределенно-расплывчатым, несильным светом. Зато эта бесцветно-густая подушка, так воздушно накрывшая все окрест, удивительно доносит малейшие шорохи и звуки.

Дразнит и настораживает сдержанный говор гусей. слышны мельчайшие интонации их голосов, такие разнообразные, что поневоле думаешь, что птицы делятся между собой впечатлениями далекого перелета. Иногда раздается серьезное и недовольное гоготанье: это, несомненно, вожак напоминает своим спутникам, что нельзя увлекаться разговорами, забывая об осторожности.

Утки, те, занятые подбиранием корма на первых проталинках, ведут себя много тише: редко-редко когда вполголоса крякнет селезень, подзывая своих подруг. Зато, если что их всполошит, утки поднимают такой крик, точно наступил их смертный час.

То и дело перекликаются журавли: они широко разбрелись в тумане и дают друг другу о себе знать, чтобы не потеряться. Их громкий крик особенно звучно разносится кругом и многократно отдается эхом где-то неподалеку в опушке тайги. Чудесны эти крики — ликующие, звонкие, словно фанфары, возвещающие приход весны.

Она пришла поздно, нерешительно, точно раздумывая у порога. Земля все еще под снегом, в лес не сунешься, и только на соседней дороге, по которой возят силос и гоняют к одоньям скот, замесилась грязь выше колен. Всего второй день, как пришло долгожданное тепло,— день и ночь тает, всюду течет, плотная толща снегов оседает на глазах. Оттого и окутал все необъятный туман, такой густой, что солнце не в силах разогнать его почти до полудня.

Близок локоть, да не укусишь: птица садится под боком, перелетает, хлопает крыльями, словно дразнит, а ружье все лежит праздно, и я решаюсь уходить. Единственный ориентир — доносящееся из густого тумана от заимки, километра за два, мычание коров и задорное пение петухов. На них я и держу путь, тяжело ступая по рыхлому снегу, нередко проваливаясь выше колен.

Невдалеке от заимки, уже на дороге, встречается табун лошадей: они внезапно возникают в нескольких шагах одинаково темными тенями, трусят мимо поодиночке, группами и снова растворяются в тумане. На дороге разминуться негде, так что лошади трутся о мою куртку лохматыми боками, и я тогда вижу, что они гнедые, сивые или пегие. Из-под ног у них летят брызги и мокрый снег, над ними повис острый запах конского пота и навоза, некогда почитавшийся целебным. Копыта дробно и мягко стучат по подтаявшему льду, дорога хрустит, лошади фыркают, иногда призывно ржет отставший от матери сосунок.

Что-то подгоняет животных: они спешат, толкают друг друга, оступаются; нет-нет одно из них проваливается по брюхо; напуганная падением лошадь шумно бьется в предательской яме, потом бешено выскакивает, расшвыривая комья смерзшегося навоза.

За последней лошадью показывается всадник с ружьем за спиной. С его руки свисает длинный бич.

— До чего туман хорош,— окликает он меня на ходу,— вот когда птице лететь... ну и благодать!

У него разгоряченное потное лицо, голос звенит от волнения. Немолодой конюх Иннокентий — охотник, и приход весны его будоражит. Он не спрашивает меня про трофеи — зачем огорчать собрата с пустой сумкой! — но вдогонку кричит, чтобы я, как поднимется туман, спешил к вершине курьи.

— Непременно там гусь к вечеру сядет! — доносится уже из скрывшего все тумана, и сердце радостно сжимается от предчувствия и чудесного сознания братства, объединяющего настоящих охотников.

Но, пожалуй, только в Сибири любитель-охотник, живя с занятым деревенским людом, не чувствует себя, как в других местах, «гулякой праздным». Тут нашему брату всегда сочувствуют, понимают наши радости и огорчения, потому что у всякого сибиряка охота в крови, хотя и переводится здесь теперь охотничий промысел.

Алексей Прокофьевич сидит на лавке у окошка, возле него на покрытом клеенкой столе — рыбьи кости и корки хлеба. От самовара валит пар. Пальцы старика неловко держат блюдце, и оно шибко колеблется, пока рука торопливо доносит его до рта. Однако чай ему удается не расплескать. Алексей Прокофьевич распарился, щеки покрыл густой румянец, мокрые волосы прядями прилипли ко лбу — они у него светлые, и седина почти не заметна.

— Зря и ходил, что за добыча в этакий туман,— говорит он мне, когда я, освободившись от ружья и сумок, покончив с разуванием и умывшись, сажусь к столу.

Мы чаевничаем вдвоем, Арина Григорьевна, водрузив на стол шумящий пузатый самовар — что она делает несколько раз на дню,— хлопочет по хозяйству и то и дело выходит из избы — в кладовку, во двор: выносит ведро с пойлом корове, возвращается с дровами или лукошком зерна для кур. Не то, присев на корточки против топки лежанки, разгребает в ней жар и потом сажает туда небольшие каравашки, густо обвалянные в муке.

Сидим мы молча. Алексей Прокофьевич за столом неразговорчив: слишком большого внимания и усилий требует еда — приходится подавлять дрожь в руках, все

долго прожевывать беззубыми деснами. Наши беседы начинаются после того, как он встанет из-за стола и взгромоздится на свое постоянное место в доме, тут же, на кухне: это прикрытый тюфяком, потемневшим одеялом и ворохом одежек высокий и длинный ящик — клетка, в которой помещаются зимой куры. Чтобы забраться туда, старик сначала становится на приступочку. Усевшись, он приваливается спиной к стене и так подолгу сидит, не шевелясь, с вытянутыми симметрично руками, положенными на колени. Худые ноги не достают пола, и вся его длинная фигура, такая щуплая, когда он снимает с себя верхнюю одежду и остается в одной рубахе навыпуск, возвышается надо всем в кухне. И все же старика на его курятнике не сразу разглядишь.

Чаще всего мы начинаем с охоты — Алексей Прокофьевич промышлял всю жизнь белку и птицу, но ружья в руках не держал.

— В те поры я еще неженатым парнем ходил.— Голос у него низкий, глухой, и слова он выговаривает старательно, чтобы не шамкать.— Взял я однажды у соседа шомполку и пошел за деревню испытать — как это люди стреляют. Зажмурился, курок нажал, а что потом было — не помню. Без малого месяц ходил — на левое ухо оглох, и скула шибко ныла. С того разу зарекся и стал охотничать, как учил отец,— петли ставил, настораживал слопцы[1] да капканы.

— Как же в тайге без ружья. А если медведь?

— Не знаю.— У Алексея Прокофьевича на лбу, вокруг глаз, по всему лицу морщины собираются в невыразимо добродушный рисунок, и он глухо и коротко, как-то в себя, смеется.— Я век в лесу прожил, а с медведем ни разу не встречался.

— И чего врать? — Бабка, как ни занята, внимательно следит за разговорами своего старика.— А не помнишь, как зверь, еще на старине, под самое успенье, корову со двора уволок? А рыбу на берегу кто оставил да на лодке уплыл, когда он из тайги вышел?

Старику приходится признать, что за медведицей действительно пришлось бежать, отбивать у нее животину, но с ружьем был братенек Кондрат, сам же он прихватил топор. Рыбы же в тайге мишка не столько съел, сколько раскидал. Разговор про медведей, однако, не возобновляется.

[1] Западня для глухарей.

Более всего в память супругов запало случаев на реке и озерах. Они оба, как себя помнят, рыбачили — этим кормились, на этом подымали семью. Когда речь заходит о рыбе, бабка Арина оставляет свое дело, подходит поближе, иногд даже садится, словно ей вдруг изменили ноги, на низенькук табуретку возле стола и рассказывает, как они с дедом едва вскроются река и озера и вплоть до осеннего ненастья и стужи, ходили на тяжело груженной лодке за десятки и сотни верст от своей деревни добывать рыбу. И по стародавнему обычаю — должно быть, от времен, когда мужчина каждую минуту готовился отразить нападение,— Алексей Прокофьевич сидел на корме, выправляя коротеньким веслом ход лодки, бабка же — и это пока вовсе не состарилась — без устали гребла и гребла. То-то на руках у нее жилы, как веревки.

Попадали они, случалось, со стариком в бурю, из последних сил гребли и вычерпывали воду из лодки, крестясь и шепча молитву. Как-то раз спиртоносы угнали у них лодку в верховьях порожистой речки, затерянной в нехоженой тайге, и супруги еле добрались до Енисея на плоту: пока его сколачивали да сплывали, ударили морозы, приходилось весь путь очищать бревна от пристывшей к ним тяжелой осенней шуги. Сетей и улова старики в тот раз решились — сами еле живы вернулись.

Словом — всего было, всего, что приучило всегда более, чем на заступничество извне, полагаться на свои силы, упорствовать до конца. Так и прожили они бок о бок, одолевая трудности, невзгоды и напасти, на которые так щедра была сибирская сторона для тех, кто почти голыми руками исторгал у суровой природы средства к жизни, прожили без малого семьдесят лет, поддерживая и ободряя один другого, как выросшие рядом два кедра в своей родной тайге помогают друг другу выстоять в непогоду. Дед с годами высох, стал сильно сутулиться, у бабки голова ушла в широкие вислые плечи, ноги и туловище книзу сделались непомерно толстыми. И у обоих движения стали медленные-медленные, словно остерегаются они шибче шевельнуть скованными членами.

По привычке очень старых людей думать вслух, Арина Григорьевна, пока ходит, тяжело шаркая по полу разношенными валенками, от квашни к печке, выбирается из подпола с мерой картофеля, цедит молоко, внятно

и громко с собой разговаривает. Я занимаюсь в передней комнате, отделенной от кухни дощатой перегородкой, в дверном проеме — ситцевая занавеска, и мне доводится узнать про все, что заботит мою хозяйку.

Арина Григорьевна, должно быть, в жизни ни о ком не подумала и не сказала ничего плохого: ее послушать — все люди хороши, а случаются с ними лишь ошибки да промашки. Судить их, по правде сказать, не за что: если и обвиноватится человек, то больше из-за обстоятельств, дурного совета и недомыслия.

— Не люблю, когда мой старик кашляет. И чего выдумал — как проснется, давай бухать на всю избу. Курить бросил, а то вовсе сладу не было. Пускай, пускай походит, небось на улице скорей прокашляется!.. А ты не квохчи,— теперь бабка обратилась к раскудахтавшейся курице,— все равно не пущу во двор: яйцо опять потеряешь! И не просись лучше — надоешь, отсажу в темную корзинку... Алка какую моду завела — по утрам спать. Лучше бы не сидела по вечерам с огнем, глаза за вышивкой не портила, в клубе не засиживалась...

Но мера строгости и воркотни бабки Арины скоро исчерпана: она уже раскаивается, что отправила старика прогуляться и досадовала на разоспавшуюся внучку.

— Ахти, старик чего-то долго не идет, картошка поспела... пойти поглядеть, куда уполз... Ты все не угомонишься, лучше я тебя во двор вынесу, не то мою Алку разбудишь...

Арина Григорьевна долго обряжается, шарит за печкой варежки, ловит шумливую птицу и наконец уходит, не забыв напомнить, где стоит приготовленное для меня молоко.

В комнате очень тихо, только неугомонно тикает будильник, поставленный на высокую самодельную этажерку, всю увешанную вышитыми салфеточками. Рукоделием, впрочем, убрана вся комната — повсюду на выбеленных стенах пришпилены коврики с детским рисунком, цветным узором или ярким цветком. Нечего говорить, что моя постель украшена вязаными оборками, а на подушках — девочка с пухлыми ножками и круглыми глазами преподносит цветок не то собачке, не то теленку.

Обладательница неутомимых рук и живописного воображения, так щедро оделившая помещение пестрыми образцами своего искусства, лежит за моей спиной в глубине комнаты, укрывшись с головой стеганым одеялом. Она,

несомненно, уже не спит, а притаилась, как мышь в норе, предаваясь легким девичьим думкам или воображая себе еще более хитрые узоры, яркие шелка и краски. Спать в такой поздний час просто немыслимо — в комнате нет уголка, куда бы не проникло затопившее весь мир весеннее сияние, и все кажется, что уже прошла добрая часть дня.

Наконец Алка решает, что ей пора вставать, стремительно выскакивает из-под одеяла в кое-как надетом платье, растрепанная, и опрометью убегает в кухню. Она и все делает так — порывисто, с маху. И за пяльцами у нее глаза блестят и игла ходит в руке, точно она идет приступом на набросанные по полотну рисунки.

Она появилась на заимке совсем недавно: вдруг решив, что ей непременно надо жить с одинокими стариками, она распростилась с людным поселком лесорубов, в котором только что начала работать в больнице, и перевелась в нашу глушь, где всего шесть дворов и горстка доярок и скотников круглый год колотятся вокруг трех длиннющих скотных дворов.

Алка прибила к двери медпункта заимки вывеску, разложила по полкам шкафчика привезенные с собой порошки, стол застелила новенькой клеенкой и стала ждать пациентов. Но на заимке людей, охочих до лечения, не оказалось, девушка принялась вышивать и рьяно сколачивать самодеятельность. Она увлеклась художественным чтением и стала всех тормошить, чтобы ходили ее слушать, даже бабушку не оставляла в покое, и та, ворча и радуясь одновременно, собиралась и, бросив все домашние дела, шла на чтения внучки в клуб — закуток, отгороженный от помещения медпункта выбеленной на совесть дощатой перегородкой и нескупо убранной кумачом.

Алка выбегает из кухни в пальто и платке, достает что-то с этажерки.

— Ты никак снова без завтрака уходишь, Алка! Бабушка будет недовольна.

— Чего она меня не подождала!

Хлопает тяжелая дверь — Алки и след простыл, должно быть — надолго.

Я не сразу разглядел за строптивостью Алки, иногда изрядно тормошившей стариков, особенно бабушку, ее сильной к ним любви и привязанности. Она словно нарочно прятала свои чувства за резкими выходками и наружной непокорностью. Алка, несомненно, тосковала по оставлен-

ной жизни, может быть, жалела о перемене, но не мыслила оставить стариков, осиротевших после смерти жившей с ними вдовой дочери, Алкиной матери. Арине Григорьевне случалось заставать внучку в слезах, она допытывалась у нее, о чем она плачет, но только и могла дождаться, что «отстань, бабка, тебя не касается!».

В доме никого нет — весенний день всех вывел на улицу, и я тоже не могу усидеть — уж больно там сейчас празднично, ярко, звонко! Пойду, что ли, помогу бабке разыскать Алексея Прокофьевича.

Дом Высотиных стоит над крутым береговым обрывом. Енисей могучим коленом огибает высокий мыс, на котором тесно сгрудились избы и скотные дворы колхозной заимки.

Реку все еще скрывают клубы непроницаемого тумана, но наверху он уже разошелся и позволяет разглядеть берег с валом из огромных льдин, вытолкнутых сюда первым напором воды. Эти льды кое-где поблескивают в пробившихся наконец до земли лучах солнца. Над головой светло и чисто голубеет ясное сибирское небо, еще не знающее нашего дыма и копоти.

А потом подул легкий ветер, и, как по волшебству, раскрылась величавая река, отражающая в своем подвижно застывшем зеркале синеву небесного простора, трепетное сверкание ярких лучей солнца. Туман исчез, будто взвился занавес,— четко видны теперь ели в опушке правобережной тайги, окутанные неуловимо зеленым пухом тальники противоположного берега и за ними — синь и невыносимая для глаз ослепительная белизна снега на лугах.

Поток льда на Енисее то густеет, то становится реже; вся река усеяна множеством уток. Им раздолье! Одни сидят на льдинах, охорашиваются или сладко спят со спрятанной под крылом головой, другие темными точками шныряют и плещутся в промежутках чистой воды, иные, дружно разбрасывая сверкающие брызги, взлетают и где-нибудь вновь стремительно опускаются на воду, густые стаи со свистом проносятся у самого берега. Утки крякают на все лады, кричат, стонут и свистят. Над рекой немолчный гомон — ее всю населил птичий гам и возня. Заунывными кажутся громкие вопли пролетающих чаек — они медленно и по-совиному бесшумно машут седыми крыльями.

Оказалось, что Алексей Прокофьевич ушел довольно далеко от своего дома вверх по реке, туда, где она подобралась к самому подножию яра, и остановился над обры-

вом. Его неподвижная фигура, худая и высокая несмотря на сутулость, четко вырисовывается на светлом, залитом солнцем небе. Старик, щурясь, пристально глядит на широкую реку. Он обнажил голову и подставляет ее ласковому ветерку и солнцу. Меховая шапка у него в руке, и похоже, что Алексей Прокофьевич пришел поклониться своей реке и прислушивается к ее голосам: седой Енисей может наверняка вести со старым рыбаком особые сокровенные речи, для посторонних невнятные.

В тридцати километрах ниже заимки стоит колхоз «Путь Ильича» — старинная деревня Никулино; Высотины родом оттуда. Дед Алексея Прокофьевича рассказывал ему, что ребенком жил в избе, в которой помер его прадед. Вековые неразрывные и непрерывные связи с Енисеем! Старый Прокофьевич над ним — как бы живой образ сибирской Руси.

Я не сразу заметил Алку: она стояла, тесно прижавшись к деду, и его высокая фигура закрывала ее от меня. Рука старика лежала на Алкином плече: было похоже, что внучка, забравшись под крылышко к дедушке, поддерживает его, обняв сзади рукой. Заметив мое приближение, Алка отстранилась от Алексея Прокофьевича и, подобрав несколько камушков, стала швырять в воду; они описывали длинную дугу в воздухе, и сверху казалось, что они летят очень далеко.

— Утка валом валит, теперь жди гуся,— проговорил в мою сторону Прокофьевич.— Домой небось надо, старуха ждет, а уходить не хочется!

Оживленное это и суматошное время на Енисее — первые дни и недели после того, как он вскроется и мало-мальски пройдет лед: пока вода большая, спешат выплавить из речек лес, завезти в самые отдаленные уголки, с которыми сообщение только судоходное, всякие товары, чтобы хватило до следующей навигации. К своим заветным местам отплывают рыбаки.

Теперь над рекой не один птичий гомон: все, кого задержал туман, не мешкая снова пускаются в путь. Плывет самоходная баржа, сидящая в воде по палубу; она везет груз куда-нибудь в низовья, за несколько тысяч километров, и проносится мимо, не замечая ничего по пути. По течению она идет сказочно быстро и скоро скрывается за поворотом, тогда как в воздухе все еще отдается глухой рев дизелей.

Вот под другим берегом, где еле виднеется поселок лесорубов над кручей, километрах в трех отсюда, громко,

точно взрываясь, захлопал мотор, неистово загудел и тут же смолк; сильно напрягая зрение, можно различить у ледяной стенки крошечную точку — моторную лодочку, ныряющую в разведенной самоходной баржей волне. Это наш брат — любитель охотник или рыбак, спустивший на воду посудину с двигателем, любовно и терпеливо латавшимся и подновлявшимся всю зиму. Ничто! Хозяин скоро раскусит его вздорный нрав, приноровится к нему и будет до ледостава все досуги проводить на Енисее!

Потом возникла на горизонте и стала быстро приближаться целая флотилия судов — сверкающих свежей окраской, с изящным силуэтом и в красных вымпелах. Это леспромхоз обкатывает свои мощные буксиры, только что соскользнувшие со слипа. Впереди режет воду особенно красивый теплоход, оставляя за собой вспененный бурлящий след. За ним еще и еще вымпелы, в воздухе гул, как от приближающейся эскадрильи самолетов, и с берега кажется, что команды на этих судах должны очень гордо стоять у штурвала, с восторгом оглядывать несущийся им навстречу вольный речной простор.

Приметив суда, Алексей Прокофьевич необычайно оживился.

— Глянь-ка, глянь, какие красавцы на нашем Енисее. Вон на том, что с белой трубой, впереди, мой младший внучек за главного.

— Валька механиком, дедушка,— поправила Алка.

— И я про то, с малых лет он на катерах да буксирах.— Старик взволнованно указывает рукой на теплоход, даже идет за ним по берегу, но вся флотилия уже пронеслась мимо и суда видны с кормы. На глазах у старика выступили слезы.

Его любимца Вальку я впервые встретил года три назад. Этот дельный паренек тогда только начинал свой путь енисейского речника.

Носовая часть принявшего меня на свой борт почтового катерка занята крохотной каютой. Команда — совсем юный Валя Высотин, со свежим дипломом судового механика, и его помощник, пассажиры — Никита Захарков, известный на Енисее зверолов и рыбак и не менее того прославившийся как отец самой большой здешней семьи, и я — все мы притихли, рассевшись на удобных бортовых лавках, а Валя — примостившись у штурвального колеса с тарелку величи-

ной. Просторная река кажется безбрежной, она вся залита солнечным сиянием, раздробившимся огнем и серебром на легкой ряби. Ветерок и дыхание холодной воды умеряют жгучую ласку солнца, кругом радостные весенние голоса и звон проснувшейся природы.

Ветерок треплет внушительный чуб нашего кормчего, он то и дело откидывает волосы со лба и сощуренных глаз; они устремлены вперед, как полагается капитану, следящему за курсом своего судна. Впрочем, здесь и надо смотреть в оба: навстречу мчатся льдины и бревна, опасные для катерка с его жиденькой деревянной обшивкой.

Я любуюсь открытым и круглым лицом Вали — оно, под стать всему вокруг, сияет молодостью, радостью, здоровьем. Это, очевидно, один из его первых рейсов в новом качестве: капитан, пусть и самого маленького судна, лицо значительное и ответственное, и это сразу угадывается, стоит взглянуть на Валю! Крепкий и коренастый, в новой ладной тужурке с якорем на золотых пуговицах, он, право, очень хорош!

В избранном им поприще — отражение обычной в здешних местах картины: дети, привыкшие с ранних лет к промыслу с отцами и дедами, потом всю жизнь не расстаются с Енисеем; капитаны быстроходных лайнеров и мощных енисейских буксиров, руководители рыбных промыслов и специалисты экспедиций по освоению и мелиорации судоходных рек, не говоря об армии речных техников и механиков,— почти поголовно рыбачили в детстве со своими родителями, потомственными енисейскими рыбаками.

Тарахтение дизелька спугивает осторожных уток, и стайки их снимаются с воды и улетают прочь задолго до нашего приближения, но Валин помощник — рослый и красивый парень лет двадцати пяти, точно сошедший с картины «Покорение Сибири»,— то и дело хватает ружье и ладится стрелять. В конце концов стреляет и раз, и два, и это заведомо безвредно для намеченных жертв... Но так весело огласить простор реки раскатистым выстрелом! Знай, мол, наших! И почему бы плохонькой, расхлябанной одностволке не произвести в этот ликующий волшебный день, когда все кажется по силам и достижимым, почему бы ей не произвести чуда и не сшибить за полтораста метров утку на глазах у приезжего охотника, не подозревающего, как ловко можно «стре́лить» из неказистого сибирского ружьеца! Валя, хоть и следит строговатыми глазами за упражнениями своего помощника, все же невзначай отклоняет курс катерка к

завидневшимся впереди уткам: охота — куда денешься!

Мы идем под самым берегом — здесь легче против течения, тальники так четко отражают стук мотора, что кажется, будто в затопленных кустах плывет рядом с нами другая лодка. Ход очень тихий — вероятно, не более трех километров в час, но никто этим не тяготится: Захарков полулежит на корме, прикрыв глаза,— он дремлет или привычно любуется родной рекой; сподвижник Ермака, не отрываясь, караулит уток, а Валя, несколько убаюканный ровным и надежным ходом двигателя, стоит на вахте без прежнего напряжения, задумавшись. Жаль, что рокот дизеля мешает разговориться: было бы интересно познакомиться с мечтами молодого речника.

Мы пристаем к берегу против одиноко стоящей избушки. Это пост бакенщика — кругом на зазеленевшей кое-где травке ярко алеют сигнальные фонари, лежат аккумуляторы для створных знаков и плавучих бакенов, всех калибров лодки — все свежевыкрашенное, сверкающее, подготовленное к навигации. Здесь хозяин — наш пассажир Захарков, и катер встречает целая ватага детворы: настоящая лесенка из голов — от едва переступающего на ножках колесом карапуза до статной девушки-десятиклассницы с роскошной косой. Малыши лезут на руки к отцу, теребят его со всех сторон, а наш капитан неловко пожимает руку смутившейся русалки... Вот что его манило сделать здесь остановку!

Мы уселись за огромный обеденный стол. Дети ведут себя тихо и скромно,— очевидно, с таким отрядом не обойдешься без строгого чина. Дружно расправляемся с ухой — конечно, стерляжьей! — налитой в несколько мисок, и со сковородами жареной рыбы.

В просторной избе с полдюжины всяких постелей, растения в кадках, на окнах — рассада, на всем печать опрятного сибирского обихода. Широкое трехстворчатое окно, обращенное к реке, пропускает массу голубого света. Он проникает во все уголки комнаты, и отовсюду видна широкая лента Енисея с каймой тайги, уходящей пологими волнами к далекому горизонту. Вот они — сибирский размах и широта!

Плывем дальше, по-черепашьи ползем вдоль берега. На шиверах — каменистых мелях в русле Енисея — скопились высоченные горы льда. Стесненное ими течение становится особенно неодолимым — против иного мыска оно подолгу держит катер на месте. У Вали опять озабо-

ченное лицо, он зорко следит за увеличившимся потоком встречных льдин.

Село Ярцево приближается очень медленно: мы бесконечно долго плывем мимо выстроившихся вдоль реки домов, плетней огородов, опрокинутых на берегу лодок и наконец добираемся до места выгрузки, куда позднее будет причален дебаркадер.

В Ярцеве Валя сдает свой катер и едет в Енисейск на курсы: этому способному пареньку не дают дремать на месте!

Сейчас у жителей заимки на первом месте река: все по мере сил рыбачат, пользуются днями первого бурного разлива. Снаряжаются в дальние поездки.

На берегу предотъездная суета. Трактор подтащил к реке, к месту, свободному от льда, сани, нагруженные моторной лодкой. Она громоздка и тяжела — ее с трудом стягивают всей артелью. Эта лодка — флагман и буксир рыбачьей флотилии колхоза. Грузятся сетями, палаткой, бочками, всевозможной утварью, горючим, ружьями и продовольствием две большие рыбачьи лодки. Моторка потащит их за собой вместе с тройкой долбленых веток — легких и вертких челноков — за несколько сот километров в верховья Сыма — реки, впадающей в Енисей как раз напротив нашей заимки. Небольшая рыбачья артель будет жить там все лето, облавливая озера и речки, в иные из которых еще никогда не погружалась рыбачья снасть. Чудесная это жизнь в крохотном стане на берегу таежной речки, среди нерубленых боров, населенных глухарями, рябчиками и мишками, осторожно издали принюхивающимися к пришельцам, среди первозданной тишины и дивного запаха неоглядной лесной пустыни. Дымит перед палаткой костер, тут же дремлет чуткая лайка, а загоревшие до черноты люди сушат и чинят сети, пластают рыбу, на досуге перед сном рассказывают сибирские были, покуривая и погружаясь в дремоту затихающего перед светлой ночью леса. А на реке вдруг сильно и неожиданно плеснется метровый таймень или в береговых зарослях внезапно раздастся треск — это пробирается лось...

Мне кажется, что отъезжающим рыбакам — четверке загорелых и крепких ребят в сапогах до пояса — завидуют все.

К ним спешит и Алексей Прокофьевич. Кряхтя и чуть

испуганно озираясь, он спускается под яр по неровным, обложенным дощечками ступеням лестницы, высеченной в каменистой глине.

Всюду внизу, на еще не затопленной половодьем узкой отмели, исполинские глыбы льда — то похожие на циклопические укрепления или осевшие набок башни, то образующие крытые проходы, неуклюжие арки, а не то нагромоздившиеся друг на друга, как фантастические памятники. С их матовых или блестящих, как синее стекло, стенок и карнизов дружно капает. Подножие иных льдин уже заливают струи реки, заметно наступающей на берег: то одна, то другая громада, словно застрявшая здесь навеки, вдруг качнется, потом с шумом и плеском опрокинется и исчезнет в пучине; через мгновение льдина всплывет на поверхность, течение ее подхватывает, и она уплывает, сливая с себя потоки пенистой воды.

Алексей Прокофьевич медленно обходит поставленную на киль моторку, внимательно ее оглядывает. Он берется за прикрепленный к рулю шестик, шевелит его, проверяя — хорошо ли прилажен.

— И мы на таких хаживали,— с гордостью обращается он ко мне.— Как на веслах да на шестах ходить — давно забыли.

— Разве ты, Алексей Прокофьевич, научился с мотором управляться?

— А ты как думал! Я, коли хочешь, его и сейчас заведу.— Он слегка кивает в мою сторону, а по лицу, как всегда, когда он шутит, разбегается лучами паутинка добрых морщин.

На берегу собрались все жители заимки. Дружными усилиями начали сталкивать лодки в воду. Люди весело покрикивают, окликают друг друга, под железным килем нещадно скрежещет галька. Когда все лодки оказались на плаву, их между собой связали. Отъезжающие распрощались с родными и пошли по воде к своим лодкам. Захлопал мотор, заглушив людские голоса и ропот ледохода. Рыбаки стали шестами отталкивать наплывающие льдины. Народ понемногу потянулся к яру.

Мы с Алексеем Прокофьевичем простояли еще долго, следя, как все меньше и неотличимее от льдов становился караван, сливались и исчезали фигурки рыбаков. Полуденный ветерок иногда еще доносил до нас слабый стук мотора.

По дороге домой Алексей Прокофьевич молчал довольно угрюмо — проводы растревожили сердце старого рыбака.

— ...Городит невесть что, право! Добрые люди услышат, скажут — спятил старик. Какой рыбак нашелся, сам еле ходит, ноги словно ощупью ставит...

За стариком только что затворилась дверь, и бабка Арина продолжает разговор уже наедине. Сидит она на своем низеньком табурете, за старозаветной прялкой. Нужды никакой в ее пряже нет, да и прясть, по правде говоря, не из чего: в дело пущены свалявшиеся как войлок от долгого лежания очесы овечьей шерсти, и нитка из них получается никудышная. Тем не менее Арина Григорьевна терпеливо раздергивает комки шерсти, сучит то и дело обрывающуюся нить, связывает узелки. Не умеет она дать своим отяжелевшим рукам отдых, хотя частенько не спит по ночам из-за ломоты. Негнущиеся пальцы по памяти делают нужные движения, правая рука то поднимается вплотную к прялке, то отводит как можно дальше от нее тихое веретено с ниткой.

Алексей Прокофьевич раздосадовал свою бабку похвальбой, как он пойдет ставить сети в курье Еловой. Из кухни доносился его ровный, ласково-усмешливый басок:

— Летось добывал? С тобой, когда косили поблизости, ходил сети поднимать...

— Так что ж, что летось...— Бабка не находит веских доводов: в душе сама не вполне уверена, что ее старик и в самом деле не может рыбачить, да и сказывается вековечная привычка считать, что весной без рыбы сидит только ленивый.

После того как проводили рыбаков, Алексей Прокофьевич особенно часто поддразнивал бабку своим намерением порыбачить и даже доказывал, что ничего особенного в этом нет: слава богу, учиться ему нечему, курью он вдоль и поперек знает, запас сетей попусту на чердаке тратится, а он еще не хуже любого сумеет их поставить!

Или, забравшись на свой ящик, Алексей Прокофьевич начинал как бы невзначай вспоминать, сколько ему доводилось добывать в Еловой щук, сорог и другой рыбы и как, в третьем году, заплыл туда весной осетр. Эти живые рассказы о рыбе, до которой лаком любой приречный житель на Енисее, несомненно, смущали Арину Григорьевну: она, вместо того чтобы строго и навсегда запретить старику думать про ловлю, нередко попросту переводила разговор на другое. Чаще всего то был перечень недоделанных домашних дел, к которым мог бы приложить руки старик, чем попусту тратить время.

И так как сидеть праздно Алексею Прокофьевичу в тя-

гость, кончалось все обыкновенно тем, что он, вооружившись топором или лопатой, уходил ладить что-либо по хозяйству.

Однажды Алексей Прокофьевич, порывшись в груде всякого тряпья, составлявшего его изголовье, достал оттуда свои сбережения — девяносто рублей, заработанных за зиму у председателя колхоза насадкой невода, отделил от них четвертной и, молча одевшись, ушел из дома.

Потом за завтраком он объявил, что будет лечиться от кашля, достал приобретенную толику спирта и, наполнив им столовую ложку, выпил неразбавленным.

— Добро,— крякнул он, довольно щурясь и обтирая усы,— в нем самая польза. Наливай себе, охотник, метче стре́лить будешь!

В это утро мы завтракали вчетвером. Бабка размачивала хлеб в блюдце и по-всегдашнему добродушно подшучивала над своей старостью или вспоминала что-нибудь очень давнишнее, и это тоже, как всегда, без тени сожаления о минувшем: Арина Григорьевна еще очень умела жить настоящим, хотя и говаривала, что смерть, должно быть, про них забыла — их со стариком обходит.

Небольшая доза алкоголя сделала непривычного к нему Алексея Прокофьевича разговорчивее. Даже диковатая Алка не осталась безучастной — переспрашивала деда, нетерпеливо возражала. В тот день всех на заимке занимала удача бакенщика, выловившего за одну ночь четырех крупных тайменей, и мы, само собой, горячо ее обсуждали. Я успел сходить к нему за пять километров, знал все подробности, да и сидели мы за сковородкой свежей рыбы — сигами, принесенными мною от удачливого рыбака.

В избу вошел конюх Иннокентий. Арина Григорьевна тотчас усадила его отведать рыбы. Оказалось, что он пришел к Алексею Прокофьевичу за помощью — у него не ладилась насадка сети. Дед обвел нас всех торжествующим взглядом.

— Пойдем не мешкая, когда так,— заторопился он.— В эту пору рыбаку каждый час, не то что день, дорог. Мы весной, бывало, сутками у снастей дежурили.

Надо сказать, что в воспоминаниях Алексея Прокофьевича, да и его бабки, начисто стерлась грань между временем, когда он с семьей рыбачил на себя, и годами его бригадирства в колхозной артели рыбаков; для обоих труд на реке никогда не прерывался, и в этом была основа жизни: их, очевидно, мало занимал вопрос — добывают ли они себе или колхозу. Живая любовь и рвение к своему промыслу — вот что, как

согревший всю их жизнь огонь, пронесли они через восемь с половиной десятилетий своего века.

— Вот поди ж ты, люди все еще к нам ходят,— подивилась Арина Григорьевна, когда ее муж и Иннокентий ушли.

Алка уже обряжалась в резиновые сапоги и порванную телогрейку: мы знали, что она сговорилась с несколькими девушками идти с бригадиром перегораживать устье курьи,— внучку рыбаков наравне со всеми захлестнула весенняя охотничья горячка.

Необычная для Алексея Прокофьевича суетливость и возбуждение выдавали его растерянность: твердо решившись самостоятельно порыбачить, он теперь испугался предстоящих трудностей, хотя и старался не показать виду. Дед без нужды перекладывал приготовленные, тщательно отобранные сети, брал их в руки, чтобы тут же снова положить обратно, опять и опять проверял поплавки, вполголоса бормоча: «Так... так... добро!»

О том, что он накануне подговорил Иннокентия отвезти на лошади ветку к курье, Арина Григорьевна узнала только на следующий день утром, когда конюх подошел к окну и, постучав в стекло, громко окликнул Алексея Прокофьевича.

— Сряжайся, дедушка, ветка на месте. Льда в Еловой нет, весь вынесло!

Старик что-то проговорил в ответ, заерзал на своем ящике, ладясь с него слезть. Бабка не нашлась, что сказать, только огорченно пробормотала: «Собрался-таки!»— и, не закончив прибирать на столе, вышла, переваливаясь, из избы.

Может быть, Арина Григорьевна лучше всех знала, что ее старика, если он уж что задумал, нипочем не отговоришь, или тут сказывалась извечная привычка не перечить в важных делах главе семьи, но только во время сборов, занявших много времени, бабка молчала, помогая рыбаку укладывать в сумку всякую мелочь, отрезая ему хлеб и подавая портянки.

Старик, кряхтя, обувался, громко перечислял разную разность — гвоздики, паклю и всякий иной припас, потребный для заплаток на случай течи в челноке, нитки, нож, шило, чайник и многое еще, что боялся позабыть, долго прилаживал к сумке ремень, словно даже оттягивал решительную минуту. Наконец все было готово, Алексей Прокофьевич перекинул через плечо несколько связанных из тончайших льняных ниток сетей, почти невесомых, которые

он умел свернуть в жгут не толще пальца, так что и поверить было нельзя, что в каждой из них добрый десяток погонных сажен. Поправил на голове шапку, сбившуюся во время надевания сумки, и пошел к двери. Уже толкнув ее и нагнувшись у притолоки, он было задержался, вероятно собираясь что-то сказать, но передумал и молча вышел, как уходил обычно — поточить ли топор, привязать оборвавшуюся цепь у собачьей конуры или проведать соседа.

Арина Григорьевна с Алкой, оставшись вдвоем в кухне, стали вполголоса разговаривать. Бабушка как будто оправдывала деда, доказывая внучке, что ставить сети в курье, где нет ни льда, ни течения,— дело нетрудное и дедушка превосходно с ним справится.

— Все равно не надо было отпускать,— твердила Алка,— теперь, пока не возвратится, сердце будет не на месте.

Мысль о восьмидесятишестилетнем рыбаке, плавающем по отдаленной курье в верткой ветке, настолько тревожила, что я решил за ним пойти и стал снаряжаться в путь.

— Его одного не оставляйте! — крикнула мне вдогонку Алка.

День выдался на редкость тихий и теплый, из еле заметных туч накрапывал ласковый, легонький дождик, и обнажившиеся от снега пригорки зеленели на глазах.

Дорога начала подсыхать, ступать по плотной и мягкой земле было легко. Иногда след от ветки, которую лошадь волокла по земле, уводил с дороги, и я шел жнивьем или по лугу, приглядываясь к примятой ею прошлогодней траве.

Длинные пушистые сережки на росших островками тальниках источали горьковатый запах. В просторном небе парили коршуны; над старой березой с омертвелыми суками беспокойно носились вороны, очевидно ссорясь за облюбованное место для гнезда. В наполненных водой ямках дружно славили тепло лягушки.

Я вскоре нагнал Алексея Прокофьевича и пошел потихоньку в некотором расстоянии от него. Старик не повертывал головы, неотступно глядя себе под ноги. Он шел очень ровным шагом, нигде его не убыстряя и не укорачивая, одинаково медленно спускаясь под горку и выбираясь из ложбинок. То и дело обходя разлившуюся повсюду воду, Алексей Прокофьевич подолгу застревал в кустах. Его выгоревшая куртка и особенно свисавшие с плеча сети сливались с серо-зелеными стволами олешника, так что порой он казался тенью, бесшумно двигавшейся на тускло-пестром фоне оголенных кустов, молодой поросли и прошлогодней

травы. Правда, привешенные к нескольким сетям кольца внятно позвякивали, так что всякий шаг рыбака сопровождал грустный и мелодичный звон.

Наконец дорога свела нас с поля, и мы пошли ельником, за которым протянулась курья. Скоро между деревьями блеснула вода. Ее отовсюду плотно обступили голые кустарники — курья уходила далеко в обе стороны, теряясь в лесистых берегах. Здесь было очень тихо и глухо. Где-то под противоположным берегом изредка обездоленно кричал чирок.

На прогалине у самой воды лежала опрокинутая ветка. Я подошел как раз вовремя, чтобы помочь Алексею Прокофьевичу ее перевернуть и достать уложенное под ней весло, топор, мешок со снаряжением и теплую одежду — дед, очевидно, собрался порыбачить на славу.

Мы заговорили не сразу — мое появление как будто насторожило рыбака.

— Бабка на помощь откомандировала,— наконец, все еще не справляясь с дыханием после ходьбы, усмехнулся он несколько принужденно.— Я и один управлюсь — ветка всю зиму под крышей на скотном дворе лежала, легкая что перышко.

Ветка была не очень длинная, но глубокая, с нашитыми бортиками и вполне могла поднять двоих, так что я без обиняков предложил рыбаку помочь ему поставить сети. Он начал было отнекиваться, однако больше для вида. Я подхватил топор и пошел вырубать вешки. Алексей Прокофьевич освободился от сумки и, утерев полой куртки обильный пот с лица, стал подвязывать к сетям грузила — камешек в аккуратном берестяном кошелечке,— также доставленные конюхом. Я еще не видывал деда таким красным — сказывались пройденные без передышки четыре километра.

Мне предстояло грести, и Алексей Прокофьевич ступил поэтому первым в спущенную мной на воду ветку; я, правда, придерживал ее с берега, но все ж подивился, как смело и уверенно он в нее шагнул. Потом он присел на колени, спиной к корме, и велел отплывать. После первых резких покачиваний, неизбежных, пока приноравливаешься к такой подвижной и валкой посудине, мы поплыли спокойно. Старик указал мне, куда грести, и мы быстро достигли места, где он наметил поставить первую сеть.

Я подгреб к затопленным тальникам, рыбак сильно трясущимися руками привязал к лозине тетиву, после чего мы стали тихонько отплывать от берега. Старик ловко и споро

выметывал отлично расправленную сеть, и поплавки ее ровной цепочкой ложились на воду. Наступил момент, которого я более всего опасался: предстояло на порядочной глубине воткнуть в дно длинную жердь и затем привязать к ней натянутую сеть. Тут приходится повертываться в ветке, склоняясь за борт, крепко налегать на жердь, утверждая ее в плотном дне,— равновесие сохраняется каким-то шестым чувством. Алексей Прокофьевич справлялся со всем медленно, однако не слишком раскачивая нашу зыбкую скорлупу.

Но, как обычно бывает, опасность скоро забылась: мы настолько увлеклись, что думали лишь о том, как бы удачнее выбрать для сети место и лучше ее поставить. Я греб в полную силу, дед азартно командовал; мы и не заметили, как покончили со всем нашим запасом — десятком стенистых двадцатиметровых сетей.

Потом, когда мы с Алексеем Прокофьевичем сидели у костра, мне все виделись невзмученные воды пустынной Еловой, затененной лесистыми темными берегами, нависшая вокруг древняя тишина и древний рыбак в лодочке, выдолбленной из осинового ствола, с сетями, облаженными, как ладили их пращуры, и от всей картины веяло чудесной и дорогой русской стариной.

Оставив старика у огня, я отправился на ветке пострелять уток. Возвращаясь спустя некоторое время той стороной курьи, где стояли наши сети, я заметил, что поплавки у них сбились, ходили по воде, иные ныряли. Пришлось, доплыв до стоянки, тотчас отправиться вместе с Алексеем Прокофьевичем поднимать сети. Рыбы попалось много, та, что покрупнее, успела сильно запутаться в сетях, и дед терпеливо выпрастывал жабры и плавники из обвивших их тонких нитей, потом бросал добычу на дно ветки. Но своей радости он дал проступить только на берегу.

— Я так и знал, что здесь добрая рыбка — вон сколько белым днем в сети насовалось! — весело сказал он, оглядывая порядочную кучу щук, сорог, красавцев ленков и сигов, судорожно разевавших рот и двигавших плавниками, и молодцевато сдвинул шапку с мокрого лба.— Мне здесь каждая ямка, всякая коряжина известны — могу с закрытыми глазами ловить.

Пока Алексей Прокофьевич чистил отобранную на уху рыбу, я доделал начатый дедом шалаш. И вскоре у нас устроилась та исполненная очарования жизнь у костра, которую умеют так заботливо и уютно обставить на недолговечных стоянках рыбаки и охотники. Под навесом из густых

еловых веток настлан прикрытый оленьей шкурой мох, нарубленные из сухих пней дрова издают одуряющий смолистый запах, чуть дымит сооруженный из речных камней очажок с чайником, домовито допевающим свою песенку. Вокруг таежная тишина и покой.

Старик улегся отдохнуть, я еще колебался — как употребить время до вечернего подъема сетей, как вдруг услышал шаги, и из-за елок показался неразлучный со своим ружьем Иннокентий,— оказалось, что и ему не давала покоя тревога за деда. Он вызвался порыбачить с Алексеем Прокофьевичем. Его приход пришелся кстати: нужно было сходить на заимку за патронами, чаем и кое-какой провизией, и я его попросил остаться со стариком до моего возвращения.

Алексей Прокофьевич отправил со мной отборной рыбы — Алке поручалось разнести ее по соседям. Полная торба изрядно оттянула плечо, пока я дошел до заимки.

Тревоги улеглись, и бабка Арина даже повеселела, радуясь добычливости своего старика и его прыти: не побоялся-таки отправиться на промысел один! Пожалуй, и молодым сто очков вперед даст — знает, хитрый, где рыба прячется... Вся заимка теперь гордилась своим дедом и дивилась — сколько он сумел наловить рыбы. Слухи о его удаче ходили, правда, самые преувеличенные.

К моему возвращению рыбаки уже покончили с вечерним осмотром сетей. Рыбы снова попалось уйма. Старик был в самом счастливом расположении духа — неуверенность и страхи как рукой сняло. Еще бы! И место и время выбрал удачно, со всем справляется, мог бы, пожалуй, вполне обойтись без чьей-либо помощи — чего больше со старика спрашивать?

Иннокентий попрощался и ушел. Алексей Прокофьевич щедро оделил его рыбой.

Незаметно угас день, и небо, закрытое сгустившимися к вечеру тучами, сразу потемнело. Вода в курье продолжала еще долго отсвечивать, отражая невидимые для нас последние отблески зари. Лес вокруг притаился, словно прислушиваясь к звукам, изредка нарушавшим тишину. Ближе к полночи над Еловой стало обозначаться смутное зарево — всходил мглистый месяц.

Мы долго не расходились. Алексей Прокофьевич мастерил поплавки, рассказывая мне, как ему пришлось полвека назад, на этой самой курье, вплавь добираться до берега:

полузатонувшая коряга пропорола его ветхую лодчонку, и она вмиг наполнилась водой.

— Рыбачил я попозднее нынешнего, лес уже оделся, а вода все еще была как лед,— я, пока плыл, одеревенел вконец. Молодому что?! Обсушился маленько у костра и пошел вылавливать пожитки. Сети, весло, шапку — все достал, один топор утопил.

Старый рыбак сидел, освещенный неверным светом полузатушенного костра, продолжал обтесывать и строгать ножом свои дощечки: он продевал в провернутые шилом дыры самодельные, круто ссученные бечевки и складывал одинаковые, как со станка, поплавки в аккуратную стопку. По елям прошумел короткий порыв ветра. Алексей Прокофьевич прислушался, потом с усилием встал и тихонько пошел к воде, тяжко ступая затекшими ногами. Под берегом еле плескались крохотные волны, тучки, закрывшие месяц, таяли и разбегались.

— Спать давай, друг,— сказал дед, возвратившись к шалашу.— Рыба вовсю гуляет, вода, должно быть, прибывает шибко. Сети придется поднимать до света.

Он улегся на мягкую подстилку лицом вниз, закрылся с головой кожухом, вытянул длинные худые ноги: в полумраке шалаша старик казался огромным.

Я продолжал сидеть у чуть тлевших углей, слушая голоса летевшей в темном небе невидимой птицы. Потом мое внимание надолго приковала возня в кустах противоположного берега: то был, скорее всего, медведь. Шуршали листья, с треском рвались мелкие корешки — зверь, очевидно, копал оттаявшие кочки, разыскивая гнезда бурундуков. По воде до меня явственно доносился шорох и треск, мне даже слышалось, будто кто-то отфыркивается.

Потом поблизости шумно опустилась стайка кряковых уток. Я к ним подполз, долго всматривался в скорее угадываемые, чем видимые, очертания птиц на темной воде и выстрелил наугад, однако удачно: в темноте забелело брюшко и подкрылья пораженной птицы.

Выстрел разбудил Алексея Прокофьевича, и он поднялся. Я подбросил в огонь дров, и мы стали дожидаться конца короткой ночи. Старик сидел не шелохнувшись, уставившись неподвижным взглядом на плясавшие по дружно горевшим дровам языки пламени, и казалось, думы увели его за тысячу верст отсюда.

У таких вот костров прошла вся его жизнь: пареньком он подбрасывал в них дрова, чтобы веселее полыхало пламя;

по-хозяйски расчетливо и умело поддерживал ровный огонь в среднюю пору жизни и вот теперь, глубоким стариком, тянет к жару руки с застывшими, негнущимися пальцами, а глаза завороженно следят, как торопливо и жадно пожирает огонь смолистое дерево...

Неподалеку робко и тихо свистнула птичка. Алексей Прокофьевич встрепенулся, оглядел выступившие неясными тенями над берегом тальники, засветлевшее над головой бледное небо и стал подниматься.

Утро выдалось холодное — днище опрокинутой ветки покрыла белая роса. Влажные веревки и весло холодили руки. Нам с воды был виден заалевший край неба, отраженный в дальнем конце Еловой. На этом ярком фоне четко вырезался силуэт сидевшего на носу Алексея Прокофьевича. Рыбы на этот раз попало еще больше, чем накануне, хотя две сети, вероятно из-за подъема воды, оказались сбитыми с места. Мы со всем управились еще до восхода солнца.

Я предложил Алексею Прокофьевичу сходить на заимку проведать бабку.

— Нет, дружок, мне лучше на месте сидеть, чем взад-вперед бегать,— покачал головой дед с обычным глухим и коротким смешком.— Поберечь ноги надо — немолодые они у меня.

Накануне он наказывал с Иннокентием, чтобы бабка попросила у бригадира лошадь и прислала ему бочки и соли, однако забыл про мягкую проволоку — нам необходимо было стянуть борта ветки. Я решил сходить на заимку не откладывая и заодно отнести Арине Григорьевне с Алкой убитых мною уток,— мы с дедом предпочитали не возиться с ними и есть рыбу.

Несмотря на ранний час, я застал бабку с внучкой за приготовлениями. Алка сняла с чердака порожнюю бочку, шпарила ее и скоблила, потом бегала к продавщице попросить отпустить соли. Арина Григорьевна истопила плиту и пекла шаньги — гостинец рыбакам. Бабка хлопотала усердно, однако без той легкости, с которой встретила накануне вести о первых успехах деда.

— Хватит ему там,— озабоченно повторила она несколько раз,— простынет еще, старый.— Внучку она поторапливала и сама суетилась.

— Пусть бы домой шел, бог с ней, с рыбой,— сказала напоследок бабка, не обращаясь прямо ко мне, когда все уже было готово и мы с мальчуганом Толей тронулись в путь на тесной и неуклюжей двуколке.

Лошадь плелась шагом, и я пошел стороной, предпочитая ходьбу медленной и тряской езде. Примерно на полдороге впереди показался человек, шедший нам навстречу: я узнал в нем тракториста Кузю, паренька, день и ночь подстерегавшего уток по заводям и озерам.

Он нам сказал, что, проходя мимо Еловой, видел, как дед по ней плавает, причем правит шестом, стоя в ветке. Я сразу встревожился: что могло заставить старика так рисковать? Сети были просмотрены три часа назад, и уговор был не садиться в ветку без меня. Я что есть мочи побежал к курье.

Недопитая кружка чая стояла на камне очага, возле на земле лежал надкусанный кусок хлеба, намазанный маслом, опрокинутая банка с сахаром... Алексей Прокофьевич, очевидно второпях, бросил чаепитие и кинулся к ветке.

Разглядел я старика не сразу — его закрывали от меня ветви ели, медленно плывшей по курье в полукилометре от стана. Алексей Прокофьевич стоял во весь рост в ветке, ухватившись обеими руками за шест высоко над головой, словно повис на нем. Все сразу объяснилось.

Из Енисея в курью вплыла подмытая ледоходом ель, и слабое течение понесло ее на снасти старика. Времени на то, чтобы их снять, не оставалось, и рыбак недолго думая поспешил на выручку своих сетей — надо было во что бы то ни стало отвести от них плывущее дерево.

Не вполне представляя себе, чем могу помочь старику, я устремился по берегу в его сторону, прихватив на всякий случай длинную веревку. Кусты и ветви точно сговорились меня не пропускать, и, продираясь сквозь них, я не скоро вышел к воде против места, где находился Алексей Прокофьевич.

Ель, ощетинившаяся во все стороны корнями и обломанными суками, выглядела вблизи неправдоподобно огромной и громоздкой. Рыбак в своей хрупкой скорлупе казался рядом с ней маленьким и беспомощным. Он уткнул нос ветки в толстый ствол ели и изо всех сил упирался шестом в дно, силясь остановить плывущую громадину и оттолкнуть ее к середине курьи. Лодочка под ним резко качалась, шест пружинил и выгибался, рубаха и куртка на рыбаке задрались кверху и обнажили его торс с выступавшими ребрами, обтянутыми белой кожей. Алексей Прокофьевич был без шапки, и спутанные волосы падали ему на глаза.

Уступая напору ели, старик быстро вытаскивал шест из воды, снова вонзал его в дно, повисая на нем всей своей

тяжестью. Одушевление борьбы придавало его движениям поразительную ловкость и силу,— рыбак отчаянно бился с навалившейся на него бедой. До ближайшей сети оставалось не более сотни метров, но было видно, что Алексею Прокофьевичу удалось-таки приостановить первоначальный разбег плывущей массы: теперь ель стояла на месте, ослепительно сверкающая, взрябленная поднявшимся ветерком вода плескалась вокруг нее, оставляя темный след на шероховатой коре ствола. Этот ветерок слегка помогал Алексею Прокофьевичу.

Теперь он уже не выхватывал торопливо шест из-под наплывающей ветки, а подолгу в него упирался, так что шест целиком уходил в воду, и между ним и лодочкой образовывался небольшой промежуток. Покорившееся старику дерево тихо, почти незаметно для глаза, отплывало от берега с расставленными под ним сетями. Алексей Прокофьевич сразу этого не заметил и продолжал отпихиваться то с одного борта, то с другого, медленно и цепко перехватываясь по шесту руками, пока не добирался до конца. Тогда старик разгибался и начинал снова.

— Алексей Прокофьевич,— крикнул я ему,— теперь хватит — проплывет мимо, до сетей больше ста метров!

Он выпрямился, взглянул в мою сторону, как бы прикидывая расстояние, неопределенно махнул рукой, потом опустился на дно ветки, словно ему сразу изменили силы.

Он долго просидел не двигаясь, держась руками за борта ветки и свесив голову на грудь. Течение и ветерок медленно несли рыбака в лодочке, вместе с полузакрывшей их тяжелыми ветвями елью, прочь от берега. Непокрытую голову Алексея Прокофьевича жгло солнце, низко над ним пронеслась крикливая стайка напуганных чирков,— он ничего не слышал и не замечал. Наконец он медленно взял со дна ветки весло, оттолкнулся им от ели и погреб к стану.

Я опередил Алексея Прокофьевича и, когда он подплыл, вытащил нос его ветки на берег. Старик был измучен, но взглянул на меня победителем. Мы с подоспевшим Кузей помогли ему выйти из лодки и добраться до шалаша. Он настолько обессилел, что не мог выговорить ни слова. Дед сидел против меня на низеньком пеньке, сильно горбясь, с опущенными плечами, не способный шевельнуть пальцем. Откуда почерпнул он сил и смелости, чтобы вступить в единоборство с плывущим деревом и его одолеть? Было просто чудо, что он не опрокинулся и не утонул.

Чай немного взбодрил старика, и он стал приходить в себя.

— Орясина какая, потащала меня, словно буксирный катер, даром что течение слабенькое, почти не заметишь. Шибко упереться нельзя — того и гляди, шест сломится и самого из ветки выбросит... Насилу я ее, окаянную, притормозил, потом стал потихоньку отжимать от берега. Шест в дугу гнет, а все-таки одолел — поплыла ель, куда мне надо было. Вот какие дела на промысле случаются — в один момент такое стрясется, что мокренько от тебя останется! Только поддайся — и пропадешь ни за грош!

Помолчав, он хитровато и весело на меня посмотрел:

— Бабка, коли узнает, не похвалит небось, а?

На лице его появилась добродушная усмешка, как всегда, когда он вспоминал свою Арину Григорьевну, а рука с кружкой чая теперь тряслась еще сильнее обычного.

В этот день у нас на стану побывали почти все жители заимки: Кузя успел рассказать про отвагу деда, и всем хотелось лично от него услышать рассказ про чрезвычайное происшествие. Иной приходил, чтобы на месте увидеть — что за секреты такие знает дед, что рыба сама в его сети лезет, а кто, грешным делом, рассчитывал на щедрость старого рыбака — Алексей Прокофьевич всех угощал ухой и оделял рыбой. Сидя на корточках возле кучи рыбы, он небрежно в ней рылся, отшвыривая мелочь, выхватывал за жабры самую крупную, казавшуюся ему единственно достойной замечательного дня, и совал в руки подвернувшегося гостя:

— Бери, не отказывайся! Старый дед наловит!

Под вечер Алексея Прокофьевича зашел навестить бригадир заимки Евтихий, человек лет сорока, природный рыбак и зверолов. Он много лет подряд рыбачил с Алексеем Прокофьевичем, пока болезнь не заставила его отказаться от промысла. Присоединился к нам и вездесущий Кузя, ухитрявшийся по три раза на дню прибегать на Еловую в промежутках между пахотой. Алексей Прокофьевич в стороне чинил развешанную на кольях сеть, очень ловко и споро заплетая прорванные места.

— Никому не удается в Еловой столько рыбы налавливать, как деду Алексею,— рассказывал бригадир, по-кержацки окая и поглядывая на нас своими ясными глазами лесного человека.— От них с бабкой Ариной и началась

в нашем колхозе рыбачья бригада. Я мальчуганом к нему пошел; он не одного меня — всех нас к рыбачьему промыслу приохотил. Особенно ловок был дед невод заводить.

Кузя с восхищением и некоторым недоверием посматривал на сутулую, тощую фигуру Алексея Прокофьевича. Тот не оборачивался, но слушал наши разговоры внимательно: ячеи старый рыбак вязал по памяти.

Когда начало смеркаться, я переправился в ветке на мысок противоположного берега и сел в кустах стеречь пролетавших уток. Отсюда мне видна была прогалина с темневшей крышей шалаша и тонкой струйкой дыма, прямо поднимавшейся над костром.

Затопленные тальники по обе стороны стана так сливаются со своим отражением, что образуют одну лиловую полосу. Сплошная стена елей над ними окаймляет эту полосу внизу — словно на бездонной глубине растет сказочный темный лес. Между опрокинувшимися вершинками деревьев и моим берегом легла дорожка зари — густо-оранжевая, с металлическим блеском.

В такой ясный весенний вечер перед заходом солнца делается на короткое время удивительно тихо, словно птицы и звери соблюдают минуту молчания, прежде чем отправиться на кормежку или завести любовные песни и игры. Ни один шорох не нарушает несколько торжественной сосредоточенности природы, ожидающей наступления сумерек.

На стану у Алексея Прокофьевича тихо и безлюдно — все гости ушли. Он сидит один возле шалаша. Еще настолько светло, что огонь костра не заметен, но фигура старого рыбака уже сливается с тесно обступившими его елочками. Старик, должно быть, задремал.

Дубулты — Москва
1961

МОИ ЛЮБИМЦЫ — ПОЙНТЕРЫ

Не будь у этого пса необычной клички — его звали Банзай,— я не мог бы так верно отнести воспоминания о нем к первым годам века, когда где-то, сказочно далеко, на Востоке, шла война и в тихой русской провинции вражеским боевым кличем окрестили охотничью собаку. Сам же этот вислоухий щенок остался запечатленным на выгоревшей фотографии, где он подбегает к мальчику в берете с большим помпоном и длинной тонкой жердью в руке. И когда еще вокруг были люди старше меня, они мне говорили, что этот мальчик — я, а пойнтерок на снимке — отцовский Банзай, замкнувший длинный список его легашей. Отец именно в те поры охладел к охоте и всецело переключился на ужение рыбы.

Может быть, еще и потому запомнился мне этот песик, что сильно впечатлила его смерть: на траве под деревом возле кухонного флигеля лежит распростертая желто-пегая собака, деревянно вытянув длинные ноги, с неподвижным взглядом, бок у нее редко и судорожно подымается, и я, ничего не понимая, со страхом слежу за этим движением... Кто-то взрослый уводит меня прочь, объясняя, что Банзая отравили и он умирает...

Потом были в доме другие собаки, но охотничьи появились значительно позже, когда мне, 13- или 14-летнему школьнику, подарили настоящую двустволку 28-го калибра и разрешили отправиться с ней в лес. Наставником моим в славном стрелковом деле стал настоящий егерь, словно сошедший со страниц тургеневских книг. Он служил в соседнем имении и приходил с кем-нибудь из своих питомцев — разномастных пойнтеров, по старинке натаскиваемых им по тетеревиным выводкам. Приводились эти собаки ненадолго, и я не успевал к ним привыкнуть. Запомнился лишь один кофейно-пегий пойнтер Чок — пес на редкость строгий и самостоятельный, знавший только своего хозяина и никак не отзывавшийся на мои попытки его приласкать: теперь я догадываюсь, что он презирал меня за плохую стрельбу.

Зато вехой на моем охотничьем пути стал красно-пегий Рекс: волею судеб он из проданного соседом имения перекочевал к нам, и я несколько лет сряду исхаживал с ним окрестные угодья, в ту пору дичные. Этот Рекс, ставший

в моей охотничьей летописи Рексом-первым, был на удивление выносливым и азартным охотником: среднего роста, приземистый, крепкого сложения, с сухой породистой головой и крупным темным глазом, он как бы олицетворял все достоинства породы. В свое время он был привезен из Гатчины, от известного заводчика Дитца, служившего в царской охоте. Едва ли не с третьего поля Рекс стал анонсировать[1]; обладал он верным чутьем, на поиске знал только один аллюр — галоп, и ходить с ним было праздником: бреди себе спокойно по краешку болота и жди, пока он, обыскав его, возникнет перед тобой из кустов, всем своим видом показывая, что «нашел, мол, ступай за мной!», а потом станет трусить впереди, показывая дорогу и оглядываясь, не отстанешь ли?

От тех лет отделяет меня без малого три четверти века, и воспоминания о них утратили четкие очертания, но сохранилось общее ощущение неутомимого молодого задора, с каким я мерил и мерил версты, завороженно следя за мелькающим в кустах Рексом... Вот он придержал бег, метнулся к краю полянки, обежал ее и потянул как по нитке в сторону, уже крадучись, осторожно переставляя лапы... И ружье само оказывается в руках, и я спешу к псу, не глядя под ноги: в поле зрения только он и крохотное пространство перед ним — Рекс вот-вот замрет на стойке! И тут пугающее, оглушительное, как взрыв, жесткое хлопанье крыл, и мелькание стремительно вылетающих из травы тетеревов... Какие захватывающие дух, неповторимые мгновенья!

Тетеревов тогда водилось повсюду много, нередко встречались глухари; из мшистых кочек клюквенных болот нарядным веером возникали шумные стайки белых куропаток. Выждав, пока уберут рожь и продвинется косьба яровых, мы с Рексом отправлялись в поля. Охота на серых куропаток словно создана для того, чтобы во всем блеске проявились все преимущества пойнтеров — резвый, широкий поиск, элегантный силуэт, бесподобные охотничьи качества и сообразительность, побуждающие его бросить след бегущего выводка и, обскакав широкий круг, зайти ему навстречу и выгнать на охотника.

Эти далекие охотничьи картинки особенно милы мне потому, что пришлись они на крутые годы, непредвидимо распоряжавшиеся людскими судьбами. Проведенные в лесу

---

[1] Отыскивать самостоятельно дичь и подводить к ней стрелка *(охотничий термин)*.

и поле часы, переполненные охотничьими страстями, уводили за тридевять земель от забот и тревог повседневной жизни. И в памяти они неотделимы от воспоминаний о верном Рексе, знавшем лишь одну радость — подвести хозяина к найденной птице...

И однажды, в начале двадцатых годов, я уехал из своих родных мест, оставив Рекса в добрых охотничьих руках, полагая скоро вернуться. Я не подозревал, что расстаюсь с деревней и полевыми утешными досугами на долгих три десятилетия...

Лишь во второй половине пятидесятых годов довелось мне возвратиться к увлекательным хлопотам об охоте. И тут мне повезло: добрый знакомый, кинолог и великий знаток пойнтеров Борис Николаевич Арманд привез мне как-то толстенькое розоватое существо, одетое в бархатистую белую шерстку с еле проступающими неопределенного цвета пятнами, с чуть темнеющими ушками, смешно свисающими на тупую морщинистую мордочку, и так славно угревшееся у него за пазухой, что, и вынутое оттуда, оно никак не хотело проснуться... Этому щенку суждено было стать Рексом-вторым, призовым пойнтером, не раз занимавшим ведущие места на ринге и полевых испытаниях. Повезло ему в том, что натаскивал его Сергей Сергеевич Телегин — опытнейший и талантливый мастер, к тому же крепко привязавшийся к своему питомцу. Этот грузный пожилой человек умел так мягко и убедительно разговаривать с собаками, что они его слушали, казалось, вникая в каждое слово. До слез пронимала Сергея Сергеевича красота застывшего мраморным изваянием на стойке пойнтера, и он любовался им, не в силах скрыть своего волнения...

Добрый десяток лет охотился я с Рексом-вторым. Неделями жил в деревнях, встречал росистые зори в лесу и на болотах, не пропускал и вечернее поле. И только проводив на юг последнего бекаса и познав бесплодность поисков взматеревших, начавших собираться в стаи тетеревов, мы возвращались с ним в город. Здесь худой как скелет Рекс отсыпался на своем матрасике, частенько дергая лапами и повизгивая во сне,— должно быть, грезилась ему неуловимая птица с особенно раздражающим запахом.

А потом Рекс стал вдруг хиреть и слабеть, сделался ко всему безразличным, отказывался и от самой лакомой еды. Надеясь оживить собаку, я повел ее на болотинку за околицей дачного поселка, где тогда проживал. Разумеется, там не было дичи, но влажные кочки с осокой, знакомые запахи

взбодрили Рекса: он стал принюхиваться, посуетился, даже тяжеловато забегал... Этот приступ оживления оказался мимолетным. Домой я его нес на руках.

Угасание любимой собаки, покорно, без жалоб переносящей роковой недуг,— тяжелое испытание для хозяина, бессильного помочь и даже понять ее состояние. В последние дни Рекс лежал пластом на диване, не в силах поднять голову, и только в следивших за мною глазах теплилось сознание. Я даже не знаю, ощущал ли он мою руку, осторожно гладившую его, как он любил: от головы к шее и вдоль лопаток.

Потом до меня дошел темный стух, что некий автомобилист, подсмотрев, как соседские собаки — в том числе и Рекс — поднимают лапу возле его машины, обсыпал место стоянки ядом. Однако подобный поступок предполагает такую низость человеческой натуры, что совесть его отвергает. Ветеринары, впрочем, считали, что Рекс все-таки отравился...

У меня хранятся все его медали и дипломы. Целы охотничий нож с патронташем — ими наградили меня после выставки, где Рекс занял первое место в своем классе. Глядя на них, я заново переживаю эпизоды охоты со своим любимцем... Вот он выбегает из чащи с подстреленной птицей в зубах, кладет ее на траву у моих ног и так задорно и весело глядит!

Горячий и деятельный на охоте, Рекс в домашних условиях был удивительно покойного нрава, даже флегматичен. Он почти никогда не подавал голоса, любил подолгу сидеть у окна, наблюдая за жизнью на улице. Лишь в редких случаях, когда ему надо было как-то выразить наплыв томивших его чувств, он невзначай подходил к письменному столу и осторожно клал голову на колени. Так простоять он мог бесконечно, довольствуясь моей рассеянной лаской. К прочим членам семьи Рекс относился сдержанно, лишь изредка подходил к двери, слегка помахивая прутом[1], чтобы приветствовать вошедшего.

Вспоминаю, как бессменный судья пойнтеров на московских выставках Александр Александрович Чумаков, присуждая Рексу-второму большую золотую медаль и ставя его на первое место, говорил, что отлично видит некоторые недостатки его экстерьера — прямоватую спину, некоторую

---

[1] Прут — хвост пойнтера. У каждой породы собак свое наименование хвоста: у гончей — гон, у борзой — правило, у сеттера — перо и т. д.

узкогрудость, но выделяет изо всех за общий благородный облик, яркую породистость. Этим понятием — благородство — справедливо определить и ведущее свойство характера Рекса: то был именно благородный, удивительно достойный пес, не умевший льстить, выпрашивать, не способный поступиться своей преданностью хозяину...

Его не стало около двадцати лет назад. Я чувствую, что медлю с ним расстаться и перейти к другим собакам. Это — словно предать его. Человеческое сердце способно вместить привязанности ко всем своим четвероногим друзьям, когда-либо согревавшим его своим теплом: у каждого из них свой особый уголок в нашей памяти. Но, как бы ни было, мне трудно оторваться от воспоминаний о моем великолепном, несравненном Рексе-втором...

Проведенные в деревне детские годы неразрывно связаны с воспоминаниями о Негровой могиле — сооруженным моим отцом в примыкавшей к дому березовой роще памятником своему любимому Негру, черному пойнтеру, об охотничьих подвигах которого ходили легенды. Ребенку казалось высоченным это сооружение из дикого камня в форме округленной пирамиды с уступом, искусно устроенным спиралью. По нему можно было, как по карнизу, подняться наверх к венчавшей пирамиду плите-скамье.

Опекаемый нянькой, карапузом ползал я по Негровой могиле, повзрослев и начитавшись Фенимора Купера, обращал ее в блокгауз, откуда пускал самодельные стрелы в шедших на приступ «индейцев», а когда игры сделались уделом младших, сиживал на верхней плите-скамье с книгой. И вот теперь, прожив длинную жизнь, уразумел, как утешительно было отцу возводить этот памятник своему любимому псу, а с ним и пережитым на охоте ярким впечатлениям, целому периоду ушедшей жизни...

Утратив Рекса-второго, я далеко не сразу решился искать ему замену, тем более что казалось несбыточным снова получить такого первоклассного охотничьего пса. Но пустовато сделалось в квартире, не хватало привычных хлопот о собаке, загодя предпринимаемых сборов на охоту... И я все-таки завел щенка. В дальнейшем Рада оправдала свою родословную, не обманула ожиданий. Она сделалась превосходным охотником, но нравом нисколько не походила на своего предшественника. Она была хитра и пронырлива, умела подольститься, если это сулило подачку или угощение, потому что особа сия была чревоугодницей. Но в поле радовала находчивостью, резвым ходом и верным инстинктом.

Иной раз поражало, как угадывала она в улетевшем после выстрела тетереве подранка, отыскивала и приносила издалека, когда и надежды подобрать его не оставалось.

Раде шел четвертый год. Я послушался совета опытных охотников, и ей был найден жених. Одного щенка из помета я оставил себе, и стало у меня два пойнтера — желтопегие мать и сын, которого назвали, само собой, Рексом, теперь уже третьим.

Мать и сын были на редкость дружны, спали, свернувшись бок о бок, на одном матрасике, а когда Рада, проворно расправившись со своей порцией, бесцеремонно отталкивала Рекса от его миски, чтобы и тут угоститься, он покорно отходил в сторону. Был этот кобель деликатен, не по возрасту серьезен, ласку ценил, но никогда не выпрашивал. По незлобивости и даже кротости характера он в драку не ввязывался, но и не бежал от самого свирепого противника: каменно стоял, напряженный как струна. Налетевший на него соперник чаще всего, обнюхав его и порычав для острастки, отходил в сторону, отказавшись от единоборства. Если нападение все же свершалось, было видно, что Рекс и обороняться-то толком не умеет. Пойнтеры, несомненно, рыцари собачьего племени, но отнюдь не воинственные.

Охота с двумя легавыми заключает в себе особую прелесть. Вид пары кровных пойнтеров, на карьере выписывающих петли челнока, очаровывает охотника. Разгоряченные соревнованием, они ищут особенно азартно, испытывая, несомненно, и ревность, стремление опередить в поиске. Рекс, кобель рослый и длинноногий, скачет крупно и нечасто. Рада, не уступая ему в резвости, стелется в мелких быстрых прыжках. Они скоро научились искать порознь, так что маршруты их только периодически скрещивались. Они как бы и не замечали друг друга, но стоило одной из них, почуяв дичь, сбавить ход и потянуть по следу, как вторая собака тотчас к ней пристраивалась, и они почти одновременно замирали на стойке.

На охоте в шестидесятые годы оставалось только вспоминать о былом обилии дичи. Трофеи стали много скромнее, соответственно и легашам доставалось порядочно стараться впустую, и оттого, быть может, они не набирались опыта и не достигали виртуозности прежних собак. Не за редкость стало возвращаться «попом»— с пустой сумкой, хотя собаки выкладывались на поиске по-прежнему до полного изнеможения. При встрече с дичью они излишне горячились и нервничали. Должно быть, современным собакам не хватает опыта,

вырабатывающего профессионализм: они остаются дилетантами. Порою с блеском проявляют вложенное в них природой, но не обладают тем высоким автоматизмом приемов и навыков, что был присущ прежним многоопытным легавым.

Однако это все — несущественные второстепенности, о каких конечно же не думал, пока находился в поездках с Радой и Рексом. Память благодарно хранит впечатления от продолжительных походов с ними по травянистым влажным болотцам и ягодным вырубкам, от стоек и выстрелов... Запомнились и возвращения в сумерках домой с парой, а то и с одним бекасом или дупелем в сумке — таким драгоценным и неотделимым от волшебных минут, пережитых возле собак, застывших в напряженных позах... Или с редкой добычей — красавцем чернышом, застигнутым врасплох на опушке поля и прижатым собаками со стороны леса так, что ему пришлось вылететь прямо на меня...

Жизнь этих двух пойнтнеров закончилась трагически, так, что и вспоминать тяжело. Катастрофа произошла в мое отсутствие. Как рассказывали очевидцы, шедший на большой скорости грузовик неожиданно вильнул с дороги и врезался в клумбу, возле которой находились мои выведенные на прогулку собаки,— водитель оказался пьяным. Их даже не успели отвести — они были на сворках. Рекс был убит на месте, ему бампером разбило голову. Рада увернулась, но не пережила потрясения — через два дня она умерла, не выдержало сердце. Она все лежала, положив возле себя ошейник сына. Узнав о беде, я зарекся — не судьба мне водить собак... Как тоскливо охотнику глядеть на опустевшее ложе своего погибшего пса (а тут сразу двух!), особенно если он немолод и познал, как дорога привязанность четверолапого друга. И я не стал искать замены Раде и Рексу.

Но однажды, в начале 1979 года, мой давний друг, знаток и поклонник пойнтеров Александр Сергеевич Блистанов, привез мне двухмесячного щенка. Разумеется, желто-пегого пойнтера. Посчитал он, что рано мне порывать с традицией и расставаться с охотой. Да что там! Нетрудно было меня уговорить, поманив надеждой снова оказаться в поле и тихим «вперед» позволить нетерпеливому псу броситься в поиск...

Бегут годы... Нынче я собираюсь отметить юбилей — Рексу-четвертому в исходе этого года, 1985-го, исполнится семь лет. Он сделался солидным псом, отлично проявившим себя на охоте: об этом говорит полученный им в прошлом году диплом «Лучшей полевой собаке года». При этом Рекс сохранил чисто щенячью резвость, обожает играть со

старой резиновой игрушкой. Вот он подошел к креслу и сует мне ее в руку с тем, чтобы я швырнул, а он шало бросится за ней, сбивая половики, и снова подаст, виляя при этом не одним прутом, но всем задом. Разумеется, я сдаюсь много раньше, чем ему надоест скакать, рыча от восторга...

Мне приходится повторяться: и в этом Рексе проявились самые привлекательные черты характера и свойства пойнтеров — горячих, даже неистовых в поле и неизменно миролюбивых и покойных в домашних условиях. Он, само собой, сделался любимцем детворы во дворе дома, где я живу. И даже те пожилые женщины, что от века предубежденно относятся ко всем собакам, почитая их созданными им в пику, проходят мимо Рекса без заранее подготовленных язвительных замечаний. Детям, бросившимся навстречу с криком: «Рекс! Рекс!»— он терпеливо поддается,— они его теребят, ласкают, требуют: «Дай лапу!» Приключаются и конфузы: он не прозевает деликатно прихватить булочку или конфету, оплошно выставленные в дразнящей близости от его морды. Но похищение свершается так миролюбиво и осторожно, что владельцу лакомства и в голову не приходит расплакаться... У самого Рекса можно безопасно отнять обгладываемую им сахарную косточку — рассвирепеть он не в состоянии. И не было за семь лет его жизни случая, который бы кончился для меня неприятностью («Ваша собака испугала моего ребенка!») и заставил пожалеть о данной Рексу раз и навсегда воле гулять без сворки. Лишь грубость и несправедливость способны ожесточить пойнтера, сделать его агрессивным.

Припоминая свои эпизодические охоты с сеттерами, как и наблюдения за поиском немецких легавых, я убедился, что в спортивном отношении они все уступают пойнтерам, которых традиция недаром поставила впереди всех остальных легавых. Их прежде всего выделяет резвость: пешими выглядят по сравнению с ними прочие легаши; отличает их и понятливость, мягкость характера, облегчающие натаску, тонкое чутье. Встречаются, разумеется, наделенные исключительными охотничьими качествами представители других пород подружейных собак, а по добычливости охота с иными сеттерами и тем более курцхаарами может оказаться более прибыльной. Но в смысле спортивном и в эстетическом отношении — у пойнтера среди прочих легашей нет соперников!

1985

СЛУЧАЙ НА ПРОМЫСЛЕ

Мы подплывали к устью Каса. Я стал с особенным вниманием вглядываться в левый, очень памятный мне берег. Мне даже казалось, что я опознаю отдельные плоские его мыски, скопления камней и отмели, хотя это вряд ли возможно: на десятки километров тянется ровная прибрежная полоса, устланная крупной галькой, за ней неподалеку берег поднимается невысоким земляным уступом, покрытым тальником, истерзанными льдинами и захламленными речными наносами, а дальше раскинулись луга с озерками и курьями, отороченными кустарником и ограниченными на горизонте темной опушкой тайги. Где тут отличить какую-нибудь отмель или полузамытую песком корягу, которым нет счету?

Именно по этому участку берега я брел много лет назад, отправляясь промышлять ондатру в пойменных озерах. Сентябрь — в тот год ласковый и сухой — я провел, неизменно сопутствуемый промысловым счастием, на пустынном острове в русле Енисея и решил попытать его в новом месте, хотя сезон был на исходе, погода хмурилась и задул сивер — предвестник холодов и устойчивого ненастья. Однако мерещившаяся впереди возможность поискать удачи в нетронутых местах, заключить сезон десятком дней добычливой ловли пересиливала прочие соображения. Да и не тянуло возвращаться в село, где я жил тогда: когда доводится подолгу быть один на один с природой, общение с ней кажется наполненным особым смыслом и значением и жаль обрывать его.

Едва занялся день, намеченный для расставания с островом, меня так славно приютившим, я погрузил в долбленую, легонькую ветку свои пожитки, залил в очаге землянки тлеющие угли, которым не давал угаснуть около месяца, оттолкнулся веслом от берега и стал с великим бережением переправляться через рукав реки. Кто бывал на Енисее, знает, каково в крохотной утлой лодке, вдобавок осевшей в воду по самый краешек бортов, плыть, единоборствуя с могучим течением при помощи игрушечно-легкого двухперого весла! Нужный берег приближается — ох как медленно, всякое дуновение воздуха настораживает. Всего безопаснее охотнику пересекать Енисей в ранний рассветный час, когда тихо и менее всего вероятно, что настигнет порыв внезапно налетевшего ветра.

Благополучно достигнув берега, я стал готовиться к походу вверх по реке. Мне предстояло подняться на тридцать пять километров. К такой дороге готовиться надо тщательно: в далеком утомительном походе всего важнее не сбиваться с раз налаженного ритма движения — будь то гребля, отталкивание шестом, таежная трудная ходьба на лыжах или пешком. Мне предстояло впрячься в бурлацкую лямку.

Чтобы посудина послушно шла вдоль берега, не рыская и не становясь поперек струи, мало привязать бечеву, за которую тянешь ее против течения, точно в надлежащем месте,— много отступя от носа, но не близко от середины посудины,— надо еще и груз распределить равномерно: если отяжелить переднюю часть, ветка будет зарываться носом, если слишком осядет корма, она будет парусить.

Имущества у меня много, и, как увидите, очень ценного. Тут прежде всего ружье и припас к нему, выдаваемый промышленнику под обязательство сдачи пушнины; почти невесомые, но такие драгоценные пачки тщательно упакованных, просушенных, очищенных и расправленных шкурок ондатр — то, что будет кормить меня часть года и — это не менее важно — утвердит мою славу добычливого охотника, которому отпускают в кредит муку и сахар, выдают добавочные лицензии на выдру и соболя, изредка премируют. Тючок с пушниной требовал особых попечений — его надо было прятать от воды, от шалого ветра! Укладывал я и груду капканов, мотки проволоки, котелок и чайник, рыбачьи сети, провизию, пялки для обработки шкурок, немыслимые куски брезента и обрывки оленьего меха, предназначенные оборонить от дождя и стужи, разные шилья, гвоздочки, дратву, паклю и прочий дрязг для всяких починок — начиная от одежды и обуви до пробоин и течей в старенькой ветке; были тут и обязательная смена белья, простиранная и выполосканная в озерной водице, запасная кое-какая одежонка, портянки — всего не перечислишь! И все это — заношенное, латаное, ржавое, закопченное и лоснящееся от употребления, задубевшее и полинявшее от дождя, зноя и непогоды, со щербинками, вмятинами, трещинками, грубыми швами, прожженными и протертыми местами — словом, со следами верного и дружественного служения человеку...

Сколь ни скудными могут показаться эти пожитки, они в те поры представляли более или менее все мое земное достояние. Дома, правда, висел на гвозде овчинный полушубок, стояли в углу катанки и камусовые лыжи, а на полке красовалось несколько тарелок и чашек, но именно в капка-

нах, долбленке, снастях и приспособлениях заключались мои возможности промышлять и рыбачить — то есть жить и дальше мериться с неподатливой судьбой, чуть оборачивая в свою пользу ее предначертания.

Лишь тщательно все уложив, подогнав мешки и узлы один к другому сколь возможно плотно, особо позаботившись о надежном месте для топора — острого и сверкающего, оберегаемого пуще всего на промысле, где без него и делать нечего; еще и еще раз проверив — надежно ли защищены от воды пушнина, патроны и спички, убедившись в прочности петли, какой бечева была привязана к переднему и единственному шпангоуту лодки, я перекинул через плечо лямку, осторожно столкнул лодку на воду и, когда она оказалась на плаву и течение, подхватив, слегка потянуло ее вниз, тронулся в путь.

Идти приходилось у самой воды и следить, чтобы бечева не провисала или чересчур не натягивалась, когда небольшие бухточки или вдававшиеся в реку язычки гальки заставляли отступить от реки или к ней приблизиться. Я то убыстрял шаг, то замедлял, регулируя ход лодки, иногда забирался подальше от воды. Брел я местами и по ней, и это было неприятно, потому что моя обувь — сшитые из невыделанной просмоленной кожи бродни, мягкие и легкие, хоть и не пропускали воду, но, отсыревая, становились дряблыми и скользкими.

И еще затруднял ходьбу поднявшийся около полудня ветер. Он дул с севера, почти вдоль реки, и, когда порывы его усиливались, надо было наклоняться вперед чуть больше и отворачивать лицо от крупных капель и градинок, которые он швырял навстречу. Их посылали тучи, равными промежутками поднимавшиеся из-за небосклона, затем быстро плывшие мне навстречу по синему небу, пока они не оказывались над головой. Они проливались коротким косым дождем или белым облаком града и тут же стремительно уносились прочь. И снова появлялось солнце, по-октябрьски низкое и негреющее, но яркое. Неспокойная река становилась темно-синей, и черно блестела смоченная галька. Потом, подсыхая, она начинала светлеть, пока не налетал новый шквал, все кругом меркло, замирало, и река и дали на миг тонули в пелене и шуме дождя или града, громко секшего воду.

Я то и дело оглядывался на лодку с потемневшими тюками, однако мочило нас сравнительно мало и редко, так что можно было пока не очень беспокоиться о сохран-

ности груза. Разыграйся настоящий шторм, пришлось бы вытаскивать лодку на берег и искать укрытия в тальниках, под кое-как сооруженным навесом.

Временами, когда ступал по сплошной гальке, ходьба давалась трудно: то и дело оскальзывался на обкатанных, мокрых камешках. Зато удивительно легко было идти по плотному песку, гладкому, словно укатанному грузным катком. Шаг тут становился невольно пружинистее и спорее, и я переставал чувствовать лямку, которая вообще-то изрядно давала о себе знать, особенно всякий раз, как изменялась скорость хода,— ровно скользившая ветка резко натягивала бечеву, и она врезалась в плечо.

Шли часы, безостановочно брел и я со своим возом. И постепенно приспособился к механике движений, выполнял их автоматически, без участия сознания: ноги сами приноравливались к неровностям, инстинкт подсказывал, когда лучше отойти от воды или поторопиться, чтобы легче протянуть лодку по быстринке, дать ей вернее обойти подводный камень, глаз безошибочно следил за препятствиями и предупреждал об опасности. Они возникали в виде каменистых мелей под самым берегом. На них легко было посадить лодку, что, при сильных встречных струях, грозило опрокинуть ненадежную мою скорлупку,— достаточно было ей на мгновение развернуться поперек течения. На таких мелях я заходил в реку и, взяв ветку за нос, проводил ее через узкие промежутки между камнями и порожками.

В общем, продвигался я медленно, делая, вероятно, не более трех километров в час, и знал, что мне за день не дойти до нужного места: важно было с темнотой очутиться там, где нашелся бы сухой плавник для костра, яма или уступ берега, удобные для сооружения укрытия от дождя и ветра. Дневного привала я решил не делать, зная, что потеряю уйму времени, и предусмотрительно наполнил карман сухарями и запасся жестянкой от консервов. Я на ходу засовывал руку в карман, не торопясь, нащупывал там пальцами сухарь, давая им выбрать тот, который казался в тот момент самым аппетитным,— хотя знал, что съем их все,— клал его в рот и с наслаждением принимался обгрызать выступающие кромки, пока не чувствовал, что можно нажать зубами посильнее и разгрызть сухарь целиком. Когда от съеденных сухарей и черствых ржаных крошек начинало першить в горле, я чуть задерживал шаг, наклонялся и зачерпывал воды в баночку. Пить приходилось малюсенькими глотками — вода была ледяной, от нее ломило зубы и легко было,

разгоряченному ходьбой, застудить горло. Не знаю — подкрепляла ли такая еда: она, во всяком случае, не давала ощущения прилива сил и сытости, но, с другой стороны, я не чувствовал особой усталости.

Во второй половине дня слившиеся тучи сплошь закрыли небо. Ветер улегся, и временами падал крупный мягкий снег, ненадолго пороширший гальку и песок. Сделалось хмуро, пустынный Енисей потемнел, стал тяжелым, казалось — со всех сторон надвинулось и плотно обступило неприветливое предзимнее безлюдье. Вдоль берега изредка пролетали над водой одинокие запоздавшие утки. Навигация была закрыта, обстановка с реки снята, и за день я не повстречал ни души.

Я прошел уже, может быть, около двух десятков километров, таких однообразных, что временами казалось, будто я бреду все по одному месту, между тем я шел все тем же ровным шагом, даже перестал ощущать тяжесть лодки, сделавшуюся привычной. Иногда веревка вдруг больно напоминала о ней — лямка врезалась в плечо, хоть я и обмотал ее рукавом от драной телогрейки. Переместив машинально бечевку с натруженного места, я продолжал думать о насущном: как-то задастся промысел на озерах, известных мне лишь понаслышке, скоро ли добреду до подходящего места с кустарником или леском, где бы устроить ночлег, и как там — цела ли давно заброшенная охотничья избушка, которую я надеялся разыскать, чтобы не жить в шалаше?

Вдруг я почувствовал, что ничего за собой не тяну, а волочится сзади оборванная бечева.

Не сразу уразумел я громадность надвинувшейся катастрофы и, еще не особенно тревожась, бросился назад к лодке, уже утратившей инерцию движения и чуть покачивавшейся на месте, невдалеке от берега, на струе, которая должна была сейчас ее подхватить и увлечь за собой. Шаг, другой по воде — и я оказался по колено в реке, а до ветки оставалось не меньше шести-семи метров, и, чтобы достать ее, мне надо было погрузиться по шею, может быть поплыть...

Было немыслимо очутиться потом в мокрой одежде на голом берегу, где не было ни дровинки, и я выскочил на песок, лихорадочно соображая — как спасти лодку? Будь у меня шест, я мог бы достать ее с мелкого места, а у меня и топора при себе не было: он в ветке вместе с остальным скарбом, сейчас мне представившимся бесценным, как собственная жизнь. И все это уже находилось во власти реки: течение вот-вот отобьет лодку от берега, потащит на перекат,

который я недавно миновал, менее чем в полукилометре от меня. Там тоненькое, как картон, днище пробьют камни, и тогда — прощай мои сокровища!

Я побежал вдоль берега, на ходу сбрасывая одежду, выглядывая сушину или жердь на голой отмели и в соседних кустах, не спуская глаз с ветки. Ее ровно несло течение, слегка покачивая и поворачивая в разные стороны: вот она встанет поперек струи, вот наскочит на корягу...

Мне пришлось присесть на камень, чтобы развязать ремешки на броднях и разуться, снять ватные брюки. Как я ни спешил, лодка успела порядочно уплыть, и я побежал что есть духу, ушибаясь о камни, чувствуя, как всего пронизывает холод. Полцарства за жердь! Эх, кабы спасти ружье и шкурки, пусть пропадает остальное... А двести капканов?

Я уже пробовал вырвать с корнем или заломить несколько деревцев с тонким и довольно длинным стволом,— но не тут-то было! — не хватало силы. Тогда я вприпрыжку побежал к реке, зашагал по ледяной воде, сводившей ноги, как клещами. Вот она дошла до бедер, выше, я уже стою в ней по пояс. Ветка проплывает в пяти метрах. Еще шаг, еще... нет, немыслимо броситься вплавь, и так перехватило дыхание, ноги и нижнюю часть туловища стянули ледяные тиски.

Лодка проплыла мимо, я снова на берегу, стою несколько секунд и смотрю на нее, словно всего важнее сейчас определить, что она не убыстряет хода и не задерживается, сплывает очень плавно. Даже не могу сообразить, что предпринять, и где-то в глубине сознания на миг возникает малодушное намерение отказаться от борьбы: потом будь что будет, лишь бы сейчас больше не лезть в реку! Обуюсь, оденусь и побреду обратно. При себе — ни одной спички, ближайшее село ниже острова, на котором я промышлял, и, чтобы до него добраться, надо переправиться через Кас... на чем?

Верно, что отчаяние придает силы и решимости. Я побежал к брошенной телогрейке, надел ее и снова ринулся к кустам. Почти сразу мне удалось вырвать из земли осинку с кривым нескладным стволом метров семи в длину: она росла у самого берегового уступа и держалась не особенно крепко. Я обломил у нее лишние ветки, взвалил на плечо. До чего же тяжелой она показалась, пока я бежал метров полтораста, чтобы очутиться значительно ниже лодки. Дышал я как запаленная лошадь.

Выставив осинку перед собой, с трудом удерживая равновесие, я стал входить в воду, на этот раз с решимостью, ко-

торую уже ничто не могло сломить. Ступая осторожно и медленно, остерегаясь оступиться, я отошел метров на десять от берега, и вода подошла мне под мышки, но куртка помогла: одетому легче выдержать момент погружения в ледяную ванну. Пришлось немного ждать, стоя с поднятой над водой осинкой, так как я поторопился выйти навстречу лодке — уж очень боялся пропустить, зная твердо, что повторить эту попытку не смогу ни за что.

Когда ветка оказалась против меня, я, мягко и бережно, опустил на ее середину макушку деревца, стараясь, чтобы она сразу легла на оба борта: малейшее резкое и неловкое движение могло накренить посудинку, она бы зачерпнула воды и пошла ко дну. Когда я почувствовал, что конец моей нескладной жерди нашел опору, я стал, пятясь, выбираться на берег, увлекая ветку за собой. Она послушно следовала за мной, как на сворке. И когда мы оказались на мелком месте, я откинул осинку прочь и, не разбирая, куда ступаю, не чуя, как бью ноги об острые камни, стремительно бросился к ветке, ухватил ее за борт сначала одной рукой, потом двумя, развернул носом и, ликуя, вытолкнул на берег.

1966

ТАИСКА

Длительное безвыездное проживание в Ярцеве между промысловыми сезонами иногда прискучивало, я начинал хандрить и искал, как бы переменить на время засасывающую обстановку, перебить чреду дней с одними и теми же встречами, разговорами и впечатлениями. Да и хотелось привести в порядок свои записи и над ними поработать. Я отлично знал, что пройдет немного времени, и меня вновь потянет к знакомым людям и будет не хватать обычного общения, захочется привычных встреч с непременными обменами будничными фразами с продавщицей, отвешивающей, не спрашивая, нужный хлеб, с хозяином по дороге к речке, откуда мы оба на зорьке приносили по коромыслу воды. И непременно захочется навестить один домик на краю села...

Но в ту минуту все выглядело донельзя постылым, и я, решив воспользоваться приглашением знакомого охотника с фактории пожить у него на полном безлюдье, как-то в одночасье собрался и отправился в неблизкий путь по речкам.

Мой друг поселил меня в пустовавшем доме лесника, отделенном от изб фактории заросшим оврагом с темноводным ручьем, по-сибирски гостеприимно позаботившись о моих нуждах. Август подходил к концу, и я с удовольствием сидел по вечерам за светло освещенным «молнией» столом, слушая, как за спиной весело и торопливо потрескивают в печке дрова. За стеной глухо шумела тайга или стояла настороженная тишина, изредка нарушаемая криком совы или взлаиванием собаки, почуявшей, быть может, зверя. Если позволяла погода, я днем бродил с ружьем вдоль речки. Туда вылетали кормиться на высоченные лиственницы глухари, бродили по галечным отмелям.

Возвратившись домой, я находил свою комнату прибранной, незамысловатый мой обед приготовленным. Была наношена вода и даже нащеплена лучина для растопки. Все это делала, как я ни отнекивался и ни уверял, что не только умею, но и люблю сам о себе позаботиться, сестра моего хозяина.

Попытки с ней разговориться наталкивались на односложные реплики, и было очевидно, что она чурается новых знакомств. Звали ее Таисией, и жила она с сынишкой трех лет. Было похоже, что эта еще очень молодая женщина раз и навсегда ушла в себя, живет какими-то своими, ей одной

ведомыми воспоминаниями и отстранилась от того, что вокруг делается. Зато с братом Таиски мы сиживали подолгу за неизменным стаканом чая, особенно хорошо настаивавшегося на родниковой воде. Против всяких правил, мой хозяин избегал спиртного и лишь изредка, после утомительного обхода ловушек, соглашался выпить умеренную дозу водки. И, как все непьющие, сразу становился сообщительным, рассказывал обо всем, что на душе. Так узнал я понемногу историю его сестры. Как это и угадывалось, на Таискину долю достались нелегкие переживания.

...Это началось в июне: в глухих распадках еще дотаивал снег, а распустившиеся в густой траве жарки уже зажигали оранжевым пламенем выставленные солнцу полянки.

Река подмыла берег возле стоящей на отшибе избы фактории, и ее высокое крыльцо одним углом повисло над кручей, так что только распахни дверь, и перед глазами сплошная стенка леса над зарослями противоположного берега. А выше — уходящие в синее безбрежье небосклона волны безбрежной тайги — где густо-синие, где нежно-зеленые или сверкающие изумрудными гребешками. Воздух напоен смолистыми запахами соснового бора, терпкими испарениями истомленных зноем приречных кустов и трав. Все охвачено покоем лесного края.

Таиска, выскочив в чем попало на крыльцо — выплеснуть ли под яр чайник или зашвырнуть в воду дымящуюся головешку,— любит постоять здесь, поглядеть на свое безлюдное царство. В нем нет незнакомых уголков: она все кругом исходила, добывая с братом зверя и птицу, и настолько сжилась с этим миром, что не помышляет ни о каком другом. Старший брат Дмитрий, заменивший Таиске рано умерших родителей, выучил ее таежным наукам, и в девятнадцать лет она сделалась настоящей дочерью лесной пустыни.

С реки донеслись голоса... Таиска сразу вспомнила, что вышла в одном лифчике, и быстро вернулась в избу, сердито хмуря брови. Теперь, когда на фактории живет чужой человек, у нее ощущение, словно она утратила прежнюю полную свободу. А брат доволен, охотно согласился быть проводником и готов сводить чужака в самые заветные урочища. Из их долгих разговоров по вечерам Таиска узнала, что за этим человеком придут другие, они все кругом облазают, вызнают и начнут бурить скважины. Не придет ли тогда конец ее нетронутым владениям? Разбегутся звери,

откочует птица, отшельники-лебеди покинут темные озера... Это тревожит Таиску.

Вслед за братом в избу вошел, нагнувшись под низкой притолокой, приезжий — высокий человек лет тридцати, с русой бородкой и в очках. Рассеянно кивнув девушке, он через кухню прошел к себе — брат уступил геологу переднюю горницу и перебрался с сестрой в прируб за кухней.

За обедом Дмитрий велел сестре на следующий день с утра сводить постояльца к заросшему озеру, над которым поднималась самая высокая в округе сопка. Туда напрямик от фактории было всего километров шесть, но путь перегораживали болота. Чтобы добраться до озера, надо было знать дорогу по гривкам.

Геолог просидел до позднего вечера за своими бумагами, а Таиска, раздосадованная поручением, провела вечер у соседей и, не выходя к ужину, ушла спать в свой чулан.

...Выступили очень рано, по холодку. Таиска легко шагала впереди и порой забывала, что идет не одна. Она по привычке приглядывалась к следам зверей и птиц, чутко прислушивалась. И, также по привычке, шла очень быстро и бесшумно. Ее спутник скоро взмолился: ему хотелось побольше заприметить по дороге.

— Я хочу всякий бугор, каждый камень осмотреть... Знаете, как бывает: мелочь к пустяку прилепится, и такое откроется, что только держись!

Он пустился рассказывать про якутские алмазы, правда, то и дело перебивая себя, чтобы расспросить о чем-либо, привлекшем внимание. Девушка отвечала неохотно — ходить по тайге надо молча.

Потом сошли с покрытых борами мшистых гривок и вступили в пойменную чащу. Это были настоящие заросли, под которыми прятались кочки и ямы, скрытые метровой осокой топкие оконца, обнаженные корни выворотней. На прогалинах кусты оплел дикий хмель, крепкий, как проволока. В особенно трудных местах Таиске приходилось поджидать отставшего геолога. Иногда, глядя, как он напролом продирается к ней, подсказывала, куда лучше ступить, где обойти. Делала она это высокомерно и с некоторым раздражением.

— Паутов лучше не гонять — они хуже донимают, если руками махать,— чуть насмешливо советовала она, следя, как геолог отчаянно отмахивается от роя слепней.

Все же про себя она должна была признать, что горожанин идет напористо и, хоть и оступается то и дело и даже

несколько раз ухал в воду,— не падает духом, а только весело чертыхается.

— Тьфу, черт, опять угораздило!.. Ах, лешие! — восклицал он, продолжая бесплодную войну со слепнями.

Был он взъерошен, мокр, исцарапан, с очками, никак не державшимися на переносице.

Этой трудной дороги было около километра, но она порядочно вымотала путников. Зато дальше пошла многолетняя гарь, заросшая кипреем и плотными островками молоденькой сосны.

Уже с час, как геолог отправился обследовать круто обрывающийся в озеро склон высоченной сопки. По нему тут и там растут оползшие сверху, с комом травянистой земли на корнях, свежо зеленеющие березки. Иные стояли свечками, другие слегка клонились не то лежали распростершись, словно никли в поклоне. Изредка под гору скатывался камушек и с коротким плеском падал в озеро. Таиска знала, что это ходит где-то над головой геолог.

Она сидела у дымного костерка на стволе огромной ели, утопившей макушку в темной воде озера. В него под горой впадал ручей. Из распадка за спиной тянуло холодком, и девушке, разгоряченной ходьбой, захотелось выкупаться. Она прошла на песчаный мысок, намытый ручьем, круто уходивший в глубокую воду, и, взглянув наверх, проворно разделась.

Поднятая Таиской волна будила травы под берегом и дремлющие камыши, они начинали покачиваться и кивать, слегка шелестя. Стрекозы сверкали слюдяными крыльями. Таиска хлопала по воде горстью и прислушивалась к гулкому эху. Неподалеку слетела спугнутая ею пара молчаливых уток.

Наплававшись и озябнув, Таиска вышла на берег и побежала к месту, куда не доставала тень сопки. Полуденное солнце жгло кожу.

Обернувшись на внезапный треск за спиной, она увидела продирающегося сквозь заросли геолога. Он тяжело дышал и тревожно озирался, сжимая в руке длинный черенок молотка. Таиска кошкой подскочила к своему платью и им прикрылась.

— Таиса! — еле переводя дыхание, позвал геолог.— Таиса!

— Здесь я,— не сразу отозвалась девушка.— Сюда не глядите... Что там стряслось?

— Вот вы где... как хорошо... Извините! До чего я перепу-

гался! Мимо меня медведь прошел, прямо сюда, в вашу сторону...

— Вы и кинулись меня спасать? — усмехнулась Таиска.

— Нет, конечно, что я сделаю одним молотком, ну а все-таки, напугал бы его, может, отогнал...

— Он к дыму не подойдет,— серьезно сказала девушка.— Зайдите в кусты, я мигом оденусь. Зовут-то вас Сергеем Андреевичем?

— Сергеем Андреевичем.

— Будем сейчас чай пить, я вскипятила. Или лучше — искупайтесь сначала. Плавать умеете? Тут глубоко.

— Даже очень люблю. Выкупаться не мешает, хотя я и так — словно купаный: бежал сюда со всех ног. Чуть не через голову под кручу катился...

Геолог уже стаскивал с ног сапоги, усевшись на песке. Он говорил просто, нисколько не рисуясь. Приключение его так занимало, что он даже не обратил внимание на Таискину наготу.

После этого похода Таиска сделалась постоянным проводником геолога. Он был неизменно в хорошем настроении, энергичен, приветлив и много рассказывал. Казалось, для него не существовало на свете ничего, кроме своего дела: все остальное словно скользило мимо, не задевая.

Теперь она все чаще сиживала вечерами у геолога, следя, как появляются на расстеленной перед ним кальке линии и обозначения, воспроизводившие каким-то образом ее родные места. Она придирчиво следила за карандашом, наносившим пройденный за день маршрут, готовая спорить о расстоянии, пропущенном ручье или неверно помещенном болотце. При этом ей приходилось близко заглядывать в близорукие глаза Сергея Андреевича, работавшего без очков. Они были у него серые, добрые и правдивые. По ним, как и по легкости, с какой геолог вошел в жизнь своих хозяев, по простодушной радости, с какой он нанашивал им всего, что можно было купить в лавке, было видно, что человек он добрый, откровенный и прямой.

Таиска как-то спросила его про семью. Геолог обрадовался и тут же, достав планшет, вынул оттуда несколько тщательно завернутых фотографий: не слишком удачные любительские снимки молоденькой женщины с печальными глазами и чудесным чистым лбом и двух мальчуганов, еще совсем маленьких.

— Ее зовут Таней, имя на ваше похоже, Тасенька. Она нездорова, ей теперь нельзя со мной в экспедиции, иначе мы разве бы расстались!

Сергей Андреевич был готов без конца рассказывать о семье, о счастливых днях совместных экспедиций с женой, об истории их знакомства, рождении первенца. Однако Таиска, склонная к быстрым сменам настроения, не захотела продолжать затеянный ею разговор и скоро ушла к себе.

Потом она слышала, как геолог ходит по комнате — за работу он не садился.

Девушка тоже долго не спала.

...Однажды геолог с Дмитрием отправились в дальнюю поездку по реке. Таиска помогала им грузиться, и, когда ветка отплыла и она осталась одна на берегу, ей стало тоскливо.

И потом, все время, пока длилось их отсутствие, девушка, не знавшая прежде раздумий и томления одиночества, сильно скучала.

Гасла длинная летняя заря, затихшую реку окутывали легкие тени июньской ночи. Таиска сидела на верхней ступеньке крыльца, подобрав под себя ноги и закрыв их от комаров подолом платья. С полузакрытыми глазами она прислушивалась к звукам на реке, надеясь, что вот раздастся тихий плеск весел, и в ее склоненной на сложенные руки голове роились неспокойные мысли.

Очнувшись, Таиска поднималась и шла в дом, утомленная смутными ожиданиями. В потемках раздевалась и быстро засыпала. Иногда во сне сладко и горячо плакала.

На второй день после отъезда геолога Таиска поздно вечером зашла в его комнату и, засветив лампу, сняла с гвоздя планшет. Решительно сдвинув брови, она робеющими руками достала фотографии, положила перед собой и долго пристально разглядывала лицо Тани. Твердо сжатые губы и неподвижный взгляд придавали лицу Таиски суровое выражение.

Они возвратились в исходе четвертого дня, около полуночи. Таиска уже ушла к себе и прилегла, не раздеваясь. Послышался скрип песка под днищем лодки, стук весел и повизгивание собаки, встретившей хозяина. Таиска опрометью бросилась из избы и сбежала под кручу.

— Наконец-то, наконец! — со страданием в голосе воскликнула Таиска, подбежав вплотную к геологу. Хотела

еще что-то сказать, но неожиданно для себя всхлипнула и тут же навзрыд расплакалась.

— Таютка, сестренка, что с тобой? — недоумевал Дмитрий.

Она, закрыв лицо рукой и все так же громко плача, уже бежала обратно, оступаясь в глубоком песке. Сергей Андреевич растерянно посмотрел ей вслед, потом оглянулся на Дмитрия.

— Никогда этого с ней не бывало, не понимаю...— недоумевал тот.— Может, со сна испугалась... Впрочем, кто их девичьи дела разберет! Пойдем-ка отдыхать, Андреич, утро вечера мудренее.

На следующий день все и в самом деле вошло в обычную колею. Таиска была весела и, напевая, хлопотала по хозяйству.

Сергей Андреевич был как в чаду. Работа валилась у него из рук. Это продолжалось уже около недели, с той памятной поездки.

...Они плыли с Таиской вверх по обмелевшей реке в долбленой ветке. Шли на веслах, потому что всюду обнажились пески, и на моторках больше не ходили.

День выдался особенно жаркий. На далеком небосклоне кучились облака, порой начинали темнеть и забираться выше, суля грозу или дождь, но скоро снова светлели и расплывались, истаивая в пылающем небе.

Гребли попеременно. На перекатах доставалось обоим. Течение сносило легонькую лодку, один из них выпрыгивал из нее и волок за собою, ступая по воде. После трудных участков они приставали к берегу и, разойдясь, подолгу купались.

Сиденьем гребцу служила положенная поперек лодки на дно дощечка. Таиска гребла длинно и размашисто, заваливаясь далеко назад всем телом, так что почти ложилась навзничь и ее вытянутые босые ступни касались ног геолога, сидевшего повыше в корме.

Сергей Андреевич все сильнее проникался очарованием своей спутницы. Таиска словно светилась на солнце, заставлявшем гореть разгоряченное лицо с влажно поблескивающими лбом и висками. Девушка знала, что гребет хорошо, чувствовала, что геолог ею восхищается, и это ее подхлестывало: ветка стрелой выносилась вперед при каждом взмахе, рассекая с журчанием воду. Девушка прикрывала глаза от сверкания воды и, когда откидывалась назад, коротко взгля-

дывала на геолога из-под темных ресниц. От этого сияющего взгляда нестерпимая и жгучая волна поднималась в нем.

Тоненькое платье липло к мокрому после купания телу Таиски. И Сергея Андреевича внезапно пронзило воспоминание, как девушка стояла обнаженной на ослепительном песке, вся в блестящих капельках воды, и неловко прикрывалась скомканным платьем.

Когда они приплыли к нужному месту, он с чувством облегчения взялся за работу.

Таиска выбралась на прибрежный узкий лужок, нарвала охапку цветов и села в тени плести венок. Возбуждение понемногу улеглось. Ей хотелось, чтобы геолог пришел и сел рядом с ней. Она смутно угадывала, почему он вдруг стал молчалив и неловок,— эта перемена отвечала ее неосознанным желаниям. Подбирая один к другому цветы, она задумалась, склонив отяжелевшую голову.

Геолог работал рассеянно. Он ходил по обнаженным рекой, разрушенным песчаникам, останавливался возле вытекающих из трещинок тонких струек воды, подолгу осматривал выдолбленные ею в камне чаши и желобки, покрытые густо-красной ржавчиной, и то и дело оглядывался в сторону, куда ушла девушка.

— Тася, я закончил, можно плыть домой...

Геолог стоял над девушкой, лежащей в густой траве. Таиска закрывала лицо откинутой рукой. В волосах ее краснели дикие лилии. Таиска не шевельнулась. Она из-под локтя приглядывалась к Сергею. Он казался смущенным, в голосе и позе сквозила робость, почти страх. И девушке вдруг сделалось радостно, весело и легко, ей захотелось подурачиться, потормошить его, сделавшегося по ее милости нерешительным и беспомощным.

Таиска вскочила и, с вызовом глядя на него, сказала, что ей здесь хорошо и она никуда не поедет. Неловко потоптавшись, он развел руками.

— Но домой-то ведь надо? Как же...

— Поймаешь, тогда поеду!

Таиска не вдруг, но своего добилась. Нерешительный и вялый вначале Сергей Андреевич заразился ее настроением и начал за ней бегать. Она увертывалась, а пойманная, бешено вырывалась из его рук.

— В тебе точно пружина натянута, Таиска, никак с тобой не сладишь! — сказал, тяжело переводя дух, геолог, когда, набегавшись, они сели на травянистом уступчике над рекой.

— Бедненький, я тебя замучила! — Таиска ласково и

шутливо пригладила растрепанные волосы Сергея Андреевича.— Так и быть, буду всю дорогу грести, а ты сиди отдыхай!

Исподволь наступивший вечер потихоньку умиротворял все вокруг — гасли краски, в лесу становилось тихо, река словно отдыхала после дневного сверкания.

— Поедем, что ли? — предложила присмиревшая Таиска.

Дорогой они почти не разговаривали. Таиска задумалась или устала — она ушла в себя. Быстрое течение подхватило лодку, и грести почти не приходилось. Вокруг пловцов закурились первые легкие клочья тумана. Потом высоко над рекой возникла в надвинувшейся темноте крохотная светящаяся точка: это был огонек в избушке Дмитрия.

Лодка уткнулась в берег. Геолог выскочил первым, подтащил ее на песок и стал собирать вещи. Неожиданно к нему подошла Таиска и молча взяла за руку повыше кисти. Он увидел ее лицо близко-близко. В ее немигающих глазах слабо отражались последние отсветы неба. Она смотрела на него пристально, и рука на его рукаве вздрагивала. Сергей Андреевич обнял девушку и стал покрывать лицо поцелуями. Она замерла, не отвечая на них. Потом так же молча его отстранила, мягко и сильно упершись рукой ему в грудь, и быстро ушла. Он стоял ошеломленный, и голова его слегка кружилась от сумасшедшей радости и ужаса.

...Время тянулось мучительно. Дни были наполнены томлением и настороженным ожиданием.

С вечера Сергей Андреевич твердо решал, что на следующее утро отправится в дальний поход, уйдет надолго, чтобы с собой справиться и образумиться. Но оно наступало, это утро, и все его намерения шли прахом. Свою работу геолог забросил.

Всякую минуту он думал о Таиске. В редкие дни доставки почты он был готов скрыться из дома, так страшило его сейчас получение письма от жены. Но как раз в эти дни писем не было.

Таиска ходила сникшая, от ее прежнего оживления не осталось следа. Она не избегала Сергея Андреевича, но и не приходила к нему больше по вечерам. Притихла, как березка перед грозой.

Тяжелое и напряженное ожидание становилось с каждым днем невыносимее, безвыходность очевиднее. Про себя уже

каждый знал, что в душе решил бесповоротно не противиться овладевшему влечению, и желал и страшился этого неизбежного исхода. Казалось, маленький дом над яром выставлен тревожным порывам раскаленного ветра, от которых некуда уйти.

И как-то Дмитрий, или ничего не замечавший, или не хотевший ничего замечать, объявил, что уезжает в район на десяток дней. В ту ночь Сергей Андреевич не сомкнул глаз. Таиска спала тревожно, то и дело просыпаясь с бьющимся сердцем. Геолог слышал, как на заре она проводила брата.

В этот день геолог вернулся домой только к вечеру. Он зажег лампу, облокотился на стол и замер. Бумаги и карты в беспорядке грудились перед ним. В доме было темно и тихо. Через распахнутые двери проникали дурманящие запахи июльской ночи, привядшего сена. Таиска показалась на минуту, чтобы собрать ужин, и сразу ушла.

Сергей Андреевич не слышал, как вошла Таиска, и вздрогнул, когда она мимоходом слегка провела рукой по его волосам. Потом, сев наискосок от него под лампу, девушка положила на стол руку, медленно вытянула ее в сторону Сергея Андреевича, еще медленнее повернула ладонью кверху и разжала пальцы.

Свет лампы падал на руку, и геолог различал каждую черточку на твердой ладони, нежные складочки кисти. Он с испугом посмотрел девушке в глаза. Абажур бросал тень на ее лицо, казавшееся бледным, и делал большие глаза еще больше и глубже: она замерла и не мигая на него смотрела.

Геолог порывисто взял лежащую на столе руку, потянул к себе и тут же опустился на пол и приник к ее коленям...

...Они лежали на узкой кровати, со сплетенными руками, с закрытыми глазами, и не видели, как красноватый луч зари проник через незанавешенное окно и неотвратимо пополз по стене, подбираясь к висевшему на стене планшету.

...Их счастье мрачила тень. Они могли жить, лишь упоенные настоящей минутой, не смея думать о будущем, страшась ворошить прошлое. Им надо было всякое мгновение обольщать себя, делать вид, что не предстоит никаких перемен. Чтобы не заглядывать вперед, они смотрели только друг на друга.

И когда им удавалось отгородиться от тревожных сомнений и внушить себе, что еще бесконечно далек близкий день, когда надо будет решать неразрешимое, они бывали счастливы.

Целыми днями бродили по тайге, забирались на самые вы-

сокие сопки. Перед лицом окружившего их безлюдья они чувствовали, что одни на свете, заполненном их любовью. Лесистые обрывы вдруг оживали от смеха и криков Таиски, будившей эхо лишь для того, чтобы дать выход своей неуемной радости. Родной лес стал приютом ее любви и сделался по-новому дорог и близок.

Лучше всего было на реке. Поднявшиеся стеной камыши отгораживали укромные отмели от всего мира, и они проводили там быстролетные часы, забывая обо всем на свете. Они вместе плавали, потом лежали на горячем песке, следили за высокими облачками в синем небе.

Но коротко лето на Севере. Все чаще случается облаку разрастись в тучу, полуденному ветерку не затихнуть, а пробежать глухим шумом по отяжелевшей листве, поднять первый ропот в густых кронах кедров.

Разомлевшие под солнцем камыши тускнели, начинали тревожно шелестеть и клониться к воде. Таиска и Сергей спешили одеться и покинуть отмель. Песок сразу делался холодным.

До чего тоскливо стонет лес! За рекой словно спрятались тысячи несчастных существ, которые жалуются и сетуют на все лады. Даже исполинские кедры над обрывом неспокойны — их черные кроны раскачиваются, сучья, сталкиваясь, глухо стучат и протяжно поскрипывают стволы. Дождь налетает шквалами и хлещет, хлещет...

Река — как труба, где дуют злые сквозняки. О берег часто и беспокойно бьет тяжелая зыбь, ветер свистит в поредевших приречных травах, треплет одеревеневшие стебли и жухлые, побуревшие листья камыша.

Таиска стоит, обхватив столбик крыльца, и смотрит на тучи, сплошь закрывшие небо: они нескончаемо движутся в разных направлениях, наползают со всех сторон, на ходу меняя очертания, теряя рваные клочья. Нижний слой туч повис над самыми деревьями, хмурый свет дня тонет в их серых пеленах, кругом смутно, темно, безотрадно... Что делать, боже мой, что делать?

Таиска давно замечает, что Сергей, только завидев ее, оживает, притворяется беззаботным.

— Таисенька, моя радость, ты пришла! — Он порывисто обнимает ее, прижимает к себе, но заполнившая его глаза нежность не может скрыть, что на дне их — отчаяние. И ей приходится отворачивать лицо, чтобы не выдать своего.

Над геологом нависли, как тучи, неприятности: одна за другой поступают радиограммы, на которые он не знает, что отвечать. Сезон на исходе, и его торопят, а у него так много недоделано.

Все это пугает Таиску. Ее измучили тягостные раздумья Сергея, и она старается вернуть его к работе, уводит в маршруты и помогает, чем может. Они надевают брезентовые плащи и рукавицы, берут необходимое снаряжение и в любое ненастье уходят в лес.

Чаще всего они выбирались из дома до рассвета и трудились весь день. Темнота нередко застигала их далеко от фактории. Тогда Таиска, знавшая все промысловые избушки вокруг, вела в одну из них. Эти ночевки в таежной глуши их еще больше роднили и сближали. Им случалось проводить несколько дней подряд в тайге, и тогда им казалось, что они всегда будут жить и работать бок о бок, не разлучаясь.

Домой возвращались, нагруженные рюкзаками с образцами мергелей и песков, целым набором минералов. Таиска помогала все это раскладывать по мешочкам, надписывать и упаковывать. С этим приходилось спешить. Последний катер отплывал в ближайшие дни, и откладывать отправление коллекций было нельзя. Свой отъезд геолог давно просрочил.

Накануне отплытия Дмитрий с Сергеем отнесли к реке тяжелые ящики, сложили под брезентом упакованное снаряжение, чтобы утром погрузить все в илимку.

Свет лампы падал на голые доски некрашеного стола. Без привычного беспорядка разбросанных всюду вещей комната геолога выглядела уже покинутой. Таиска сидела на табурете и пустым взглядом следила, как Сергей Андреевич укладывает в чемодан разную мелочь, обшаривает полки, проверяет выброшенные бумаги. Девушка устало сутулилась, лицо ее осунулось, и черты заострились. Молчать было невыразимо тяжело, разговаривать почти невозможно.

Сергей не умел высказать измучившие его противоречия и был слишком честен, чтобы давать обещания: он не мог не ехать к семье, но знал, что сердце и совесть заставят его сюда вернуться: вырвать образ таежной девушки, безоглядно ему доверившейся, изгладить из памяти не удастся никогда.

Ночью Таиска пришла к нему, и они пролежали вместе до утра, притихшие и несчастные, придавленные навалившимся на них ужасом расставания.

Поднялись задолго до рассвета. Таиска затопила печь и готовила завтрак, почти не сознавая, что делает. Сергей

Андреевич чувствовал, как с каждой минутой слабеет его решимость. Кончилось тем, что он отправил багаж и вернулся. Объяснил, что ему необходимо остаться еще на несколько дней что-то доделать.

...Эта оттяжка не могла принести радости, но им немного повезло с погодой. Неожиданно возвратилось тепло, и тайгу осветило солнце. Таиска и Сергей ушли в лес, в охотничью избушку, выглядевшую сказочным домиком под пологом вековых сосен. Тут же в бору протекал неслышный таежный ручей.

Мхи и брусника обсохли, кора на деревьях посветлела, мягкие отсветы густой синевы неба облили хвою мягким глянцем. Тишина стояла такая, что отчетливо было слышно, как в полсотне метров от избушки прыгают по березкам над ручьем синицы, царапая кору коготками. Птички изредка тонко и тихо посвистывали. Мошкара толклась в освещенных солнцем промежутках между деревьями. И все же прощальная ласка его лучей была бессильна воскресить летнее благоухание бора, оживить облетевшие березки и оклеванные рябины.

Они собирали бруснику, Таиска учила Сергея подманивать рябчиков, показывала ему укромные кладовые белок — нанизанные на острые сучки почерневшие грибы. Ночью выходили любоваться звездным небом, особенно прекрасным в эту пору года.

Но все это могло отвлечь лишь ненадолго, мимолетно. В каждом сказанном слове, взгляде, какими они обменивались, в каждой ласке было прощание. Отпущенная им мера счастья была исчерпана.

Мягкое тепло и солнце только поманили. Через три дня снова подул северный ветер. Они возвратились, облепленные мокрым снегом, продрогшие и павшие духом.

На фактории геолога ожидала радиограмма о болезни жены. Таиска, не сказав ни слова, пошла с братом снаряжать лодку. Сергею Андреевичу надо было с Дмитрием добраться до базы леспромхоза — более чем за сто километров вниз по реке. По слухам, оттуда еще не отплыл последний перед ледоставом караван.

Дмитрий столкнул лодку в воду и стал заводить мотор. Таиска стояла на берегу, зябко засунув руки в рукава телогрейки, ее знобило.

Обильный снег падал крупными хлопьями, исчезавшими бесследно в свинцовой реке, по которой плыла шуга.

Геолог стоял перед девушкой, неловко держа ее за локти,

и силился что-то сказать. У нее подергивались губы и глаза, казалось, застыли от боли.

— Таисенька, Таисенька,— почти беззвучно повторял он.

Оглушительно взорвался заведенный мотор. Сергей с отчаянием рванулся к девушке и поцеловал в холодную щеку. Потом отпустил ее руки, точно оттолкнул от себя, и шагнул к лодке.

Таиска бежала по берегу, у самой воды. Песчаный обрыв побелел от снега, она скользила и оступалась. Лодку с белыми фигурами пловцов сразу закрыли смерчи снега.

Девушка остановилась, потерянно глядя на жуткую черную воду у ее ног. Потом, ужаснувшись своим мыслям, отвернулась и стала быстро карабкаться вверх по угору...

1980

ПОСЛЕДНИЙ МЕЛКОТРАВЧАТЫЙ

Памяти Вс. Сав. Мамонтова

1

Четырнадцать километров, отделявшие город от деревушки с громким именем, где проживал я в то время, Алексей Алексеевич Половцев проходил пешком и уверял, что делает это якобы в целях прогулки, чтобы размяться. Он ни за что в мире не признался бы, что экономит проездную плату на автобусе. Безграничное самолюбие, не сломленное длинной жизнью неудачника, побуждало его тщательно скрывать скудность своего обихода.

Алексей Алексеевич стал навещать меня, когда ему шел уже шестьдесят седьмой год. Как сейчас вижу его пересекающим обширное поле, раскинувшееся вокруг деревни: сухую и сутулую фигуру было легко распознать еще издали. Он шел, как-то особенно вышагивая, чуть подгибая колени при каждом шаге и как бы волоча за собой громоздкие сапоги, с голенищами, слишком широкими для его поджарых ног. Полинявшая гимнастерка, несчетное число раз стиранная, подштопанная, коротенькая и узкая, подпоясанная кавказским наборным ремнем, который он носил с особым охотничьим шиком, подчеркивала худое сложение. Голову его, без каких-либо признаков волос, неизменно покрывала крохотная жокейская кепка, замаслившаяся как блин и выгоревшая, с чуть опущенным и скривленным козырьком. Он и в комнатах редко снимал свою жокейку, вовсе не вязавшуюся с его сильно морщинистым лицом, подстриженными жесткими усами и криво сидевшим на переносице допотопным пенсне на шнурке — он был крайне близорук.

Но самым примечательным в наряде Алексея Алексеевича был, безусловно, арапник — настоящий, длинный ременный арапник, сразу уводивший в мир пестрых стай, улюлюканья, волнующих призывов рога над шуршащей тишиной осеннего мелколесья, отчаянных скачек через кусты и буераки. Он носил его через плечо на манер перевязи, несколько раз обмотавшись им и завязав особым узлом так, чтобы сорвать его можно было в мгновенье. Совершая мирную

прогулку по шоссе, зачем бы, кажется, обременять себя арапником, нужным только для псовой потехи?

Половцев утверждал, что тяжелый арапник он носит с собой будто бы для защиты от злонамеренных кобелей своей любимицы Мушки, дряхлой сучонки фокстерьера. Так это или не так, но арапник, несомненно, был ему дорог как последнее свидетельство славных охотничьих праздников, непременным участником которых он когда-то бывал.

Так-то вот, с арапником через плечо и с неизменной своей спутницей Мушкой, приходил он ко мне в погожие осенние дни, когда ему особенно не сиделось дома. Запыленный, побледневший от утомления, он и виду не показывал, что совершил немалый для возраста и сил своих поход.

Алексей Алексеевич располагался в кресле, Мушка садилась к нему на колени и изредка облизывала его лицо, от чего он нисколько не уклонялся, несмотря на всю свою враждебность ко всяким проявлениям чувств.

Не могу здесь не вспомнить случая, как Алексей Алексеевич неожиданно, после чуть ли не тридцати лет разлуки, встретившись на каком-то полустанке с родным братом, которого он по-своему любил, подошел к нему, ткнул руку, буркнул: «Здорово!» — и тут же простился, сославшись на то, что его поезд скоро отходит.

Угощать Алексея Алексеевича было не легко, так как чем больше он «алкал сладостной пищи», тем менее поддавался на уговоры закусить. Все же рюмка водки с необходимейшими добавлениями в охотничьем вкусе обычно его смягчала, и он садился к столу.

Был Алексей Алексеевич до крайности немногословен, но говорил внушительно, отрывисто, причем сильно кривил рот под усами, точно один угол рта был отягчен трубкой. Вызвать его на разговор, тем более на воспоминания о прошлом, можно было только при хорошо знакомых ему людях. Я попал к нему в милость через тестя своего, Всеволода Силыча, неизменного товарища Алексея Алексеевича по охоте и друга всей жизни,— конечно, в меру возможности для Алексея Алексеевича проявлять дружеские чувства.

В описываемую пору моего знакомства с Алексеем Алексеевичем он жил на крохотную пенсию, занимая комнатку в три шага длины и ширины во флигельке небольшого владения на Хлебной площади нашего областного города. От прошлого уцелели лишь казацкое седло, наборная уздечка, рог, своры, кинжал в потертых ножнах да несколько

пожелтевших фотографий хозяина в охотничьей бекеше, с рогом, верхом на статной, но тяжеловатой лошади.

В комнатушке, никогда, должно быть, не проветриваемой, царил устоявшийся запах ремней, старой одежды и собак. Ничто не украшало ее. Мебель была самая невзрачная. На единственном окошке стоял аквариум, вернее, просто большая банка с каким-нибудь гадом — Алексей Алексеевич любил держать ужей, жаб, аксолотлей, белых мышей... Рядом с фотографиями хозяина на стенах были приколоты вырезки из журналов и газет — изображения цирковых борцов, увешанных медалями, и знаменитых путешественников. Сам щуплый и малосильный, Алексей Алексеевич был поклонником силы и смелости, любителем поступков решительных и необычайных. Кажется, дальше своего уезда он никуда не выезжал, но путешествия были его коньком.

2

Родился Алексей Алексеевич Половцев в мелкопоместной семье, совершенно захиревшей после освобождения ее немногочисленных «душ». Может быть, и хватило у отца его средств кое-как просодержать сына в гимназии — не знаю, но дальше юноша оказался предоставленным себе и стал служить по губернским учреждениям. Серо и безрадостно должны были тянуться годы для крохотного чиновника без средств и связей, в затхлой обстановке губернских канцелярий. Юнцы в его положении по большей части начинали пить мертвую или ударялись в стяжательство. Алексея Алексеевича спасла страсть: еще с детства привязался он к охотничьим досугам и, став самостоятельным, завел охотничий снаряд, лошадь и свору борзых. Все его небольшое жалованье уходило на прокормление коня, содержание конюха и собак. Однако с этим можно было уже потешиться в поле: порыскать в наездку, потравить русаков. Завелось знакомство с охотниками-помещиками, и вскоре Алексея Алексеевича стали приглашать в отъезжее поле владельцы больших охот его уезда. Верхом, со сворой борзых, приезжал он осенью к своим приятелям и гащивал у них весь отпуск. Думается мне, что необщительный его характер, застенчивость, свойственная людям гордым, незначительность общественного положения среди лиц подчас сиятельных и уж во всяком случае весьма достаточных — все это вряд ли делало Алексея Алексеевича украшением охотничьей компании, однако родовитые борзятники, по-видимому, ценили его, как Троекуров

Дубровского, за истую охотничью страсть, знание дела и неподкупные суждения в горячих охотничьих спорах.

Нелегко было Алексею Алексеевичу тянуться за богатыми выездами помещиков-охотников, с их кровными лошадьми, заморскими поджарыми борзыми и тысячными псовыми,— весь выигрыш его заключался в лихой езде и добром коне. Подбирал он себе его тщательно, покупал лишь после долгих поисков, не гнался за блесткой внешностью, а более всего ценил выносливость, совкость[1] и крепкие ноги, так чтобы можно было скакать не споткнувшись по кочкам и оврагам. Глаз у него был на лошадей счастливый — подчас ему удавалось раскопать подлинный клад. Так, долго помнил весь уезд его Венгерку — рысистую серую в яблоках лошадь, под верхом бравшую в круглом манеже барьеры в два аршина шесть вершков. Эх! И погарцевал на ней Алексей Алексеевич, покрасовался, смело перемахивая через плетни и рвы, останавливавшие всадников на чистокровных англичанах! А уж ходил он как за своей Венгеркой: сам заплетал ей на ночь гриву, выстаивал каждый день у денника, пока она поедала овес, подолгу любовался ею, гладил, кормил из рук сахаром...

Трудно было Алексею Алексеевичу поддерживать к себе уважение общества, которое не умело скрывать свое пренебрежение к мелкотравчатым[2]. Он добивался его резкостью обращения, поначалу напускной, а потом ставшей привычной.

Знакомясь с кем-либо, он всегда первый подавал руку и отрывисто произносил: «Дворянин Половцев!» — и тут же отходил в сторону, будто даже не хотел знать, кого он осчастливил своим рукопожатием. Вообще Алексей Алексеевич держался в обществе чересчур угловато. Впрочем, на охотничьих пирушках он занимал далеко не последнее место, так как выпить мог много, даже и на уездную мерку, и во хмелю головы не терял. Лишь замечания его и шутки становились все ядовитей и резче.

Я уже упоминал о преклонении Алексея Алексеевича перед действиями сильными. Подвыпив, он любил рассказывать о приключившемся у него на глазах самоубийстве. В его рассказах самоубийство это выглядело лихо.

— Дело было у Шатилова. Пили. Спорили о лошадях.

---

[1] Способность лошади мгновенно выполнять команды всадника, менять направление бега, «соваться», куда укажут поводья; термин псовой охоты.
[2] Псовый охотник, который охотится из под чужой стаи гончих.

С нами сидел некто Пузин, Петр Диомидович,— из прогоревших дворян: рюрикович, а пошел лошадьми торговать, стал прасолом. Жара стояла несусветная, я вышел на террасу. Вдруг подходит этот Пузин, и не то чтобы очень пьян был, а бон кураж[1] всего-навсего, и резко так говорит, отшвынув далеко окурок: «Был Пузин, и нет Пузина!» — тут же приставляет себе к виску пистолет и — трах! — падает с раздробленной башкой!

Алексей Алексеевич любил слова энергические.

— Из-за чего же, Алексей Алексеевич?

— Кто его знает? Должно быть, прелестница! Во как делают!

«Прелестницами» он называл всех особ женского пола, и это слово звучало в его устах не то насмешливо, не то уважительно — не поймешь как. О женщинах, бывших для него, вероятно, недоступными, он не любил распространяться, и местная хроника не связала с его именем ни одного романтического приключения, но суждения его о женщинах, когда случалось ему о них высказываться, всегда были истинно рыцарские.

Будучи акцизным чиновником, круглый год исправно объезжал он винокуренные заводы, пломбировал аппараты, проверял склады, трясся во всякую погоду в дребезжащем казенном тарантасе по непроезжим проселкам, тянул свою невеселую служебную лямку, а дождавшись осени, уходил в отпуск и сразу преображался. Исчезал рано ссутулившийся, брюзгливый и порядком придирчивый чиновник — с узорчатого седла глядел на мир приосанившийся всадник. Чуть сбоченившись в седле, соколом мчится Алексей Алексеевич по полям и перелескам, выпугивая резвых русаков, а не то с настороженными борзыми на своре стоит на лазу, ожидая красного зверя. Тут уж, надо полагать, он забывал все на свете — про казенную палату, не припасенные еще к зиме дрова, про свои сапоги, чересчур знакомые соседу-сапожнику и столь смущавшие своего владельца, когда ему приходилось сидеть в гостиной богатого помещика, где щегольские лакеи разносили охотникам кофе,— все тут летело к чертовой бабушке, а в душе оставалась только щемящая надежда: а вдруг да материк выкатит прямо сюда, на него, обе лещеватые его суки приспеют за ним и достанут! Тогда, о! да ведь, бог мой, тогда будет такое торжество, такое счастье... и рука Алексея Алексеевича невольно набирала повод.

[1] Навеселе (от *франц.* á bon courage).

Все это: скачку, травлю, восторг победы и горечь неудач, всю остроту охотничьих ощущений, вихрь шума и пестрых красок, пьянящее сознание силы, ловкости, свободы,— все это, что стеной отгораживало его от тусклых, как стертый медяк, будней, и любил более всего Алексей Алексеевич, этим и жил.

3

Рухнула империя. Пришел Октябрь. Алексей Алексеевич служил теперь уже не в казенной палате, а в совнархозе. Мало что изменилось в его обиходе, но седло прочно водворилось на своих козлах в сенях: лошади не стало, хозяин бывал сам рад овсяным лепешкам. А с нею не стало и стержня, вокруг которого прочно наматывались годы.

Вскоре после продажи Венгерки Алексей Алексеевич, потрясенный до глубины души, дал волю накипевшей в нем горечи. Его, что называется, прорвало — случай небывалый с ним.

Произошло это так. Сидели у него утром несколько приятелей. Хозяин то и дело задумывался, был рассеян.

Вдруг раздалось за окном ржанье, тихое, призывно-тревожное, и несколько раз повторилось. Алексей Алексеевич так и застыл на месте, уцепившись обеими руками за подлокотники кресла. Все бросились к окошку: у палисадника, вытянув голову через ограду, стояла Венгерка, с обрывком ночного аркана на шее. Она глядела на домик и еще раз коротко позвала. И тут же в комнате раздался стон. Все оглянулись: Алексей Алексеевич, прижав ладони к вискам, весь как-то боком свесившись с кресла и стиснув зубы, прерывисто бормотал:

— Да как же это? О-о! Не выдержала! Вспомнила, прибежала!

Он встал, хотел взглянуть в окно, но духу не хватило — бросился в кресло и навзрыд заплакал. Соскочившее с переносицы пенсне легонько стукнулось об пол и разбилось.

Долго не мог успокоиться Алексей Алексеевич. Он то и дело доставал платок, сморкался, вытирал глаза, и его снова сотрясали рыдания, и он отчаянно сжимал голову.

Когда через окно донеслось, что кто-то подошел к лошади и затем повел ее по мостовой, Алексей Алексеевич порывисто встал и вышел из комнаты.

Прошло какое-то время, все незамысловатые пожитки

его перекочевали в кулацкие клети, и тогда Алексей Алексеевич, согласившись на уговоры старинного своего приятеля Всеволода Силыча, управлявшего в то время конным заводом, оставил свой нетопленый совнархоз и перекочевал к нему в усадьбу. Стал он заменять управляющего, был строг, неподкупно честен и деятелен, но не смог ужиться с людьми и вскоре забросил работу.

Он еще больше отгородился от всех, по целым дням не показывался из своего флигелька, где коротал время с полуслепой борзой Шуткой и Мушкой. Впрочем, Шутка вскоре пропала, причем обстоятельства ее исчезновения остались невыясненными. Если кто-нибудь спрашивал его, что случилось с его борзой, Алексей Алексеевич отрубал:

— Чего удивляться? И мы с вами сдохнем, когда придет время,— черви всех сожрут!

Кто-то из конюхов пошутил, что борзая съедена своим хозяином. Основанием для таких шуточек служили некоторые странности, появившиеся в обиходе Алексея Алексеевича. Так, например, узнав об очередной жертве выбраковки, он шел к трупу лошади и отрезал своим кинжалом длинные ломти мяса, развешивал их где-либо под навесом и затем эти подвяленные куски, затвердевшие, почти черные и пахучие ел сырыми.

— Небось назови это пеммиканом[1], да упакуй с этикеткой позатейливей, да особливо напиши не по-русски — все бы жрать стали да похваливать. А мы вот попросту, по-расейски, повялили малость — солнце всю дрянь там убьет,— да и на потребу! — огрызался Алексей Алексеевич, если кто-либо морщился или порицал его за каннибальские нравы.

Словом, теперь он жил в совершенном соответствии с повадками излюбленных им героев Брет-Гарта, Майн Рида и Джека Лондона. За ним утвердилась репутация человека решительного, без раздумья отметавшего ходячие представления и нормы.

Итак, Алексей Алексеевич остался вдвоем с Мушкой и свято хранившимися принадлежностями былых псовых охот — продать их его не могла заставить никакая нужда.

По утрам он в любую погоду, даже когда под берегом темноводной речки нарастал упругий лед, ходил купаться, прогуливался с арапником и с Мушкой, чуть не ежедневно перетирал и смазывал ремни, подпруги и поводья своих доспехов. К соседям он заглядывал редко. Разве что нападет

---

[1] Пеммикан — мелко порезанное сушеное мясо.

на него особый стих, и тогда он с утра заглянет к Всеволоду Силычу и этак без обиняков заявит:

— А в Калифорнии с утра пьют джин!

Это означало у него, что он где-то добыл некую толику самогонки и приглашал распить ее с ним. В одиночестве Алексей Алексеевич никогда не пил, а в компании мог «заложить, чтобы чертям тошно стало», как говаривал он.

Мне не совсем понятно, почему Алексей Алексеевич не захотел стать ружейным охотником, хотя все возможности к тому были, и я лично не раз сманивал его походить со мной и полюбоваться работой моего пойнтера по дупелям или вальдшнепам. То ли сидело в нем пренебрежительное отношение псового охотника ко всем иным видам охоты, то ли, при самолюбии его, не хотелось обнаруживать своей непривычки к стрельбе из ружья — не знаю, но он ни разу не соблазнился пройтись с подружейной собакой. А между тем Алексей Алексеевич без охоты сильно тосковал. Разгоняя тоску, он устраивал иногда травлю крыс. Конюхи налавливали их массу и пускали в большой ларь из-под овса, стоявший в конюшне, после чего приглашали Алексея Алексеевича. Он приходил с Мушкой на руках. По его команде крышка ларя на миг приподнималась, и он вбрасывал туда собаку. Мушка в мгновение ока расправлялась со своими жертвами. Слышался писк, неистовая возня, удары о стенку ларя, а затем все стихало, и конюхи приподнимали крышку. На дне ларя сидела, облизываясь, вся в крови, искусанная Мушка, а кругом валялись задушенные крысы. Если некоторые еще вздрагивали, Мушка молнией кидалась к ним и прикусывала Мы поздравляли Алексея Алексеевича с такой злобной собач кой, и он, очень довольный, уносил ее.

— Вот тварь-то, и сама как крыса, а каково действует! В кромешной-то тьме! Вот она, порода-то!

После этого Алексей Алексеевич бывал в настроении и звал к себе в гости. Любил он, когда рассматривали его своры, седло, хвалили арапник или кинжал, рассказывал о делах, с ними связанных, да и озадачить гостя не прочь был при случае.

— В рукоятке свинец,— говорил он про арапник,— перехватив его вот этак, можно любой череп проломить. Вот ударчик-то будет, только мозги по стенам брызнут! Я вот все испытал (это «все» в устах Алексея Алексеевича нам, довольно хорошо знавшим обстоятельства его мирного чиновничьего существования, не представлялось перегруженным драматическими эпизодами), а не знаю, какое ощущение бу-

дет, если всадить ближнему в брюхо кинжал? Небось кожа захрустит под лезвием!

И Алексей Алексеевич брался за кинжал, точно и впрямь готовился вонзить его острие в чье-то чрево. Вид у него был при этом совершенно невозмутимый, так что и разобрать было невозможно, шутит или нет Алексей Алексеевич.

А будучи навеселе, он не упускал случая попугать одного нашего постоянного сотрапезника, местного ветеринарного врача Сергея Семеновича Остроглазова, человека весьма простодушного.

— А что, Сергей Семенович, приелись ведь закусочки-то, не лезут? Вот бы человечинки отведать? А? Надо бы перед смертью испробовать! Ведь Кука-то сожрали таитяне...

Сергей Семенович морщился и отплевывался, к полному удовлетворению Алексея Алексеевича.

Я уже говорил о литературных вкусах Алексея Алексеевича, но надо еще сказать, что кроме упомянутых мною авторов он почитывал и Загоскина. Ему по нутру было крушение попыток шляхты подчинить Москву и то, что сермяжная Русь насмерть поразила Бонапарта, а с ним оказалась посрамленной и вся «немчура», как говорил Алексей Алексеевич, смешивая всех иноземцев в одну, мало им жалуемую, кучу.

— Проклятая немчура,— ворчал он, бывало, еще в годы псовых потех, узнавши о назначении очередного «фона» куда-либо губернатором или в армию.— Мало им одного Ренненкампфа! Эх, когда же это мы им шею накостыляем да выгоним?

Под «мы» Алексей Алексеевич разумел весь русский народ, плотью от плоти которого он почитал себя.

4

Алексей Алексеевич не только читал, но и пописывал, однако об этом можно было лишь догадываться. Помнится, я как-то по случаю семейного праздника прочел за столом четверостишие — заблаговременно подготовленный «экспромт». После ужина Алексей Алексеевич подошел ко мне.

— Что это вы, стихи пописываете?

— Да нет, помилуйте, я слишком для того люблю поэзию, невпопад ответил я.

Алексей Алексеевич тут же прекратил разговор, хотя начал его, видимо, чтобы чем-то поделиться со мной. Я лишь

потом сообразил, что ответ мой заставил его спрятаться в свою раковину, как улитка.

Однажды сидели мы вокруг лампы и коротали вечер. Разговор шел о «Холстомере», «Изумруде» и иных рассказах о лошадях. Я сказал, что вот, мол, поэмы о лошади пока не написано. На что Алексей Алексеевич ответил:

— Нет, написана!

Я взглянул на него и сразу все понял. Тут же, отведя его в сторону, стал я просить показать мне свои сочинения. Долго отнекивался он — не хотелось ему подвергнуть испытанию свое самолюбие, но под конец авторская суетность превозмогла. Заполучить слушателя, к тому же разбирающегося, по его мнению, в литературе, было соблазнительно, и он пригласил меня зайти к нему «как-нибудь вечером». Любопытство мое было сильно задето, и я не заставил себя долго ждать. На следующий же день, чуть смерклось, я уже стучал в дверь Алексея Алексеевича. Он и виду не подал, что ждет меня, но на столе у него лежала папка, доселе мною у него не виденная. Я понял, что мое желание поскорее познакомиться с его творениями было Алексею Алексеевичу очень по душе. Усадив меня, он завел вовсе посторонний цели его приглашения разговор и дождался-таки, пока я спросил:

— Ну что же, Алексей Алексеевич, не покажете ли мне свою поэму?

— А! Вы насчет давешнего? Да стоит ли? Ну, впрочем, раз обещал...— И он как будто нехотя потянулся к папке. В ней находилось множество листков, исписанных его нескладным почерком, похожим на детский. Усевшись поудобнее, согнав с колен Мушку и сняв пенсне, он начал чтение.

Я уже плохо помню его поэму, написанную длиннейшим, кажется десятистопным, ямбом, с множеством глагольных рифм, загроможденную отнюдь не оригинальными эпитетами, вроде «бархатные ночи», «бездонные глаза», «лебединые шеи». В поэме речь шла о лошади, вынесшей в зубах с поля битвы своего поверженного господина и затем спасшей от коварного эмира какую-то прелестную одалиску Зюльгадару. А может, Зюльгадарой называлась как раз героическая арабская кобыла, совершающая подвиги на манер Амадиса Галльского, а гаремницу звали иначе... Я запамятовал. Словом, нечто очень романтическое, в восточной оправе, может быть даже и занимательное, но во всяком случае лишенное истинного поэти-

ческого чувства. Иногда, в особенно бурных местах, где герой вел поединок на звонких ятаганах или шагал через трупы евнухов, Алексей Алексеевич прерывал чтение и бросал мне: «А ведь здорово?» — и, не ожидая моего отзыва, продолжал читать, оживленный, счастливый. Именно счастливый! Забыта старость — пустая, одинокая, безрадостная,— вместе со своими героями он переживал их огненные страсти. Раскрасневшийся, с блестящими глазами, как он не похож был на обычно унылого и безмолвного Алексея Алексеевича с его вечной горькой складкой у рта!

Каково бы ни было мое мнение о поэме, но я должен был хвалить ее. Воспользовавшись окончанием какой-то части, я сказал все, что полагается говорить в таких случаях. Отметил и богатую фантазию автора, и любовь его к лошадям, правильность стихосложения. Алексей Алексеевич остался доволен, на прощание он необычно для него тепло пожал мне руку, проводил и вдогонку крикнул с крыльца:

— Заходите, покажу еще кое-что интересное!

С этих пор литературные вечера наши повторялись неоднократно. Алексей Алексеевич звал к себе: «Есть новенькое», и я не мог огорчить его отказом. Приходилось набираться мужества и терпеливо выслушивать все его сочинения. Писал он необычно легко и обо всем одинаково выспренним слогом. Меня удивляло разнообразие тем, за которые он брался.

Но вот как-то Алексей Алексеевич прочел мне стихотворение, в котором воспевалась какая-то очаровательная девица. С тех пор он стал писать только об этом неземном создании. Лились строки о знойных очах, косах-змеях, отяжеливших мраморное чело, волнующихся персях, ножках, достойных жарких поцелуев, и тому подобное. Когда он читал эти излияния, мне пришла в голову шальная мысль: да не влюбился ли уж он? Можно ли было заподозрить в этом шестидесятидвухлетнего холостяка, всю жизнь знавшего лишь одну страсть — охоту?

Между тем и в поведении Алексея Алексеевича стали проявляться странные для него черты, вскоре обратившие на себя внимание и послужившие неисчерпаемой темой всевозможных догадок. Так, например, он стал вдруг подшивать белый воротничок к гимнастерке и даже опрыскиваться одеколоном и почему-то зачастил к соседям, в семью нашего почтеннейшего Сергея Семеновича. Здесь он

нередко часами засиживался с детьми, общества которых раньше вовсе не жаловал. Неожиданно выяснилось, что он умеет прекрасно вырезать из бумаги зверей. Делал он это как будто мимоходом; вертит себе в руках бумажку без всякого рисунка, чик-чик ножницами, да и все, а фигуры получались на редкость полные правды и движения.

В общем, Алексей Алексеевич повеселел. Впрочем, иногда он опять впадал в настроение преугрюмое, и тогда подступа к нему не было: от водки отказывался решительно и даже не соглашался читать свои стихи.

Как-то осенью, когда праздновали у Остроглазовых именины старшей дочери Верочки, Алексей Алексеевич пришел с подарком — флаконом довольно дорогих духов. Это всех нас, конечно, поразило. Не менее удивительно было и то, что за столом он уселся рядом с именинницей, отмежевался от мужской пьющей компании и полностью посвятил себя своей соседке, хотя она, занятая своим праздником и сверстницами, почти не обращала на него внимания. Вот тут-то и стали мы все что-то соображать. Мысль о возможности увлечения Алексея Алексеевича, да еще четырнадцатилетней девочкой, казалась совершенно невероятной, но дело обстояло именно так.

5

Шестидесятидвухлетний муж, преисполнившись какого-то романтического обожания, на манер злополучного Ламанчского рыцаря, вообразил, что нашел свою «даму сердца», и занял возле Верочки, девицы весьма заурядной, положение присяжного обожателя и кавалера. При всем своем самолюбии он оставался глухим и слепым к удивленно-насмешливым взглядам, двусмысленным шуткам и намекам, обращенным к нему,— решительно не хотел понять, как смешон он и жалок со своими восторгами, стихами и рыцарскими бреднями...

А девчонка очень быстро поняла власть свою над Алексеем Алексеевичем и помыкала им как хотела. Он должен был доставать ей билеты на гастроли столичной труппы, снабжать ее книгами, исполнять всевозможные поручения. За все это его лишь терпели. Верочка была созданием довольно черствым, и вряд ли хоть когда-нибудь благодарный ее взгляд или ласковое слово согрели сердце

старика. А как трунила над ним ее младшая сестра, хохотушка Надя... И даже мать Верочки, добрейшая Варвара Алексеевна, всегда так заботившаяся о «бесприютном старике» и жалевшая его, теперь держала себя с ним принужденно и даже раз досадливо сказала:

— Да что вы, Алексей Алексеевич, девчонку портите!

А Сергей Семенович открыто и иногда зло язвил насчет «седины в голову». Бедный мой Алексей Алексеевич, должно быть, уходил домой, сгорая от стыда, клялся прекратить всю эту нелепость, взять себя в руки... Но утром он снова являлся в дом своей «прелестницы».

У Остроглазовых постепенно к этому попривыкли. Варвара Алексеевна иной раз уже сама посылала Алексея Алексеевича проводить куда-нибудь Веру или просила повлиять на нее. Он оставался неизменно предупредительным, терпеливым и... ревнивым. О да, и даже очень! Вероятно, ему казалось, что постоянство его пыла дает ему какие-то права на Верочку, и он, бывало, страшно негодовал, если она уходила куда-нибудь без него, да еще с кавалером. Но Верочка научилась чудесно управлять им, и, если ей хотелось, она умела в одно мгновение смягчить его и сделать покладистым.

Алексей Алексеевич со временем совершенно перестал таить свои чувства — наоборот, он выставлял их напоказ, даже хвастал ими. Он всячески давал нам понять, что в его жизни завелся роман, налагающий на него множество обязательств, ранее ему, человеку свободному, независимому, совершенно неведомых. Эта мысль его согревала и молодила. Я уверен, что Алексей Алексеевич убеждал себя, что Верочка его любит, и временами вполне искренне верил в этот бред.

Вере иногда приходила в голову блажь навестить Алексея Алексеевича в его берлоге. Уж как он держал себя с ней дома, не могу сказать, но посещения эти были счастливейшими событиями в его жизни. И старик не упускал случая намекнуть, что он принимал у себя даму своего сердца.

Однажды, когда я зашел к нему, Алексей Алексеевич встретил меня с блаженной улыбкой.

— А что, вы ничего не чувствуете? — спросил он.

— Нет, Алексей Алексеевич, ничего. А что?

— Разве вы не замечаете, как здорово пахнет духами?

Пахло, как всегда, подстилкой Мушки и сбруей.

— Да, пожалуй. Отчего бы это, Алексей Алексеевич?

— Гм! Много хотите знать... Впрочем, вам можно сказать. Сегодня она была у меня, вот на этом месте сидела.— И добавил: — Конфеты ела, груши. А вот от вина отказалась...

Все это стало водиться у Алексея Алексеевича: конфеты, сладкая наливка, духи, цветы. Ничтожная пенсия, конечно, не выдержала подобных трат. Алексею Алексеевичу пришлось вовсе себя урезать. Он, никогда в жизни не занимавший и этим очень гордившийся, вынужден был искать, где бы перехватить рублишко. Продал память об отце — старинные золотые часы с помятыми крышками. И не пойму, как еще он устоял от соблазна продать седло и прочий охотничий снаряд. Представляю себе, как он неоднократно осматривал и вертел его в руках, решал уже отнести покупателю и как решимость покидала Алексея Алексеевича — он тщательно перетирал свое седло и водворял его на место.

Гадов Алексей Алексеевич перестал держать в банке на окне, но о Мушке заботился по-прежнему.

6

Как все это кончилось? Да так, как и должно было кончиться. Верочка подросла, кончила школу и заневестилась. Появились всамделишные кавалеры. Вскоре одного из них она избрала и, испросив у родителей разрешение на брак, вышла за него замуж. Алексей Алексеевич оказался в отставке — полной и бесповоротной.

Настали грустные времена. Вдребезги разлетелись мечты, иллюзии, самообольщение. Алексей Алексеевич вновь стал тем, кем был на самом деле: доживавшим век стариком, бедным, одиноким, никому не нужным, запущенным... Мы хотя были довольны его отрезвлением, но видели, что достается оно ему трудненько: Алексей Алексеевич совсем перестал писать стихи, с трудом соглашался зайти пропустить «стомаху ради». Хмелея, изредка восклицал что-либо вроде: «Лопнул гусар!» — и сопровождал возглас свой отчаянным взмахом руки. И частенько повторял теперь: «Верь только борзому кобелю!»

Мы старались отвлечь его от горьких мыслей. Устраивались бега — Алексея Алексеевича привлекали в качестве судьи, как знатока лошадей. Он уходил в это дело с головой. Затем — собачья выставка, и старый охотник снова оказы-

вался в своей стихии. Так понемногу восстанавливалось его равновесие. Да и всемогущее время помогло.

Тут на Алексея Алексеевича надвинулась новая беда: уже дряхлая Мушка стала, как обычно это бывает со старыми собаками, хиреть на глазах. Вскоре она окончательно оглохла, почти вовсе ослепла и все худела и худела, хотя пищи глотала много.

Алексей Алексеевич, водивший на своем веку немало собак, должен был видеть приближение конца своей любимицы, однако он отказывался это признать и раздражался, когда кто-нибудь выражал сочувствие немощной Мушке.

— Чего говорить: собака как собака. Конечно, не бесится, как годовалый щенок.

Беззубая, с обтянутыми кожей костями, вытертой местами шерстью, она внушала жалость и отвращение, особенно когда беспомощно шевелилась на своем сенничке.

— Мушка, Мушенька, милуха моя,— звал ее как можно ласковее Алексей Алексеевич.

Она продолжала сидеть, вздрагивая и ежась, низко, между лап, опустив мордочку.

— Эх, перестала слышать, вот горе-то наше...

Алексей Алексеевич совал ей под нос блюдце с едой. Мушка дергалась, наугад тыкаясь слепой мордой.

— Ах ты какая! Да вот оно, молочко-то, глупая, ешь, ну ешь же,— уговаривал Алексей Алексеевич с отчаянием в голосе, поднося блюдце вплотную к ней.

Мушка, попав носом в молоко, жадно лакала, более расплескивая его по сторонам, чем глотая.

Алексей Алексеевич часами просиживал рядом со своей околевающей собачкой, не сводя с нее глаз.

— Ничего, Муха! Вот скоро весна настанет, мы с тобой в поле выйдем, мышей наловишь, отогреемся, поправимся...— И старик зябко всовывал руки поглубже в рукава, тревожно вглядываясь в беспокойно дремлющую Мушку

Однажды Мушка сползла со своей подстилки и забилась под кровать Алексея Алексеевича. Как он ни манил ее оттуда, она не вышла. Трудно ли ему было лезть за ней или духу не хватило, но он пришел к нам:

— Там Мушка... что-то вздумала... под кровать...

Глухой голос Алексея Алексеевича оборвался. Он был так бледен, что мы за него испугались. Он, конечно, знал, что Мушка заползла под кровать подыхать.

Я один пошел в его комнату и со спичкой заглянул под кровать. В густом слое пыли виднелись следы проползшей

в самый дальний угол Мушки. Из-за старого валенка торчали вытянутые ее лапки. Она уже окостенела.

Алексей Алексеевич осиротел окончательно.

7

Шли годы. Да какое там шли,— не шли, а мчались, все глубже и шире перепахивая Русь, так что прошлое, даже и недалекое, стремительно погружалось в туман чего-то давнего и почти неправдоподобного. Подрастало и развивалось молодое поколение. И так же быстро исчезала память обо всем, что лежало за рубежной чертой революции.

Алексей Алексеевич оказался за бортом: никаких живых связей между ним и новым обществом не возникало, да, пожалуй, и не могло возникнуть.

В его обиходе и знакомствах ничего существенно как бы и не изменилось, но выходило так, что он все более и более обосабливался, и все труднее было определить его место в современной жизни. Она, словно поезд, неслась мимо его захолустного полустанка, он же стоял возле, провожая взглядом мелькающие перед ним вагоны.

Что выражал его взгляд — сожаление, зависть или недоброжелательство? Пожалуй, ни то, ни другое. Если Алексей Алексеевич и присутствовал при развитии современных событий в силу того, что продолжал жить, то взирал он на них, как посторонний, механически. Я думаю, что внутренний взор его, все, что сохранилось от его душевных сил, тоскливо устремлялось в прошлое. Да и там на солнце оказывались одни охотничьи воспоминания, все остальное плотно поросло травой забвения...

Трудно выделить что-либо осязаемое из этих бедных происшествиями и лишенных приметных вех последних лет Алексея Алексеевича.

Нельзя сказать, чтобы он жил вовсе от всех скрытый. Уж конечно фигура сутулого старика, бедно и нескладно одетого, сосредоточенно и осторожно ступавшего по выбитым плитам грубо мощенного тротуара, давно примелькалась всем соседям, входила в повседневный пейзаж квартала. Знали его в ближайшей булочной, куда он каждое утро приходил за своим «фунтом» пеклеванного хлеба; Алексей Алексеевич, правда, освоился в какую-то пору своей жизни с новыми мерами, стал считать на килограммы и метры, но потом, остарев, вспомнил старинные пуды и версты, даже не заме-

тив этого, просто в силу особой живости ранних воспоминаний, неизбежной на склоне лет.

Привыкли к Алексею Алексеевичу и в бане, куда он неизменно приходил каждую субботу, принося под мышкой пару свернутого, терпеливо, но неискусно заплатанного белья. Знали его в керосиновой лавке, еще кое-где. Привыкли, знали — и не замечали.

Если бы вы увидели проходившего мимо вас Алексея Алексеевича и заинтересовались им, каждый мальчик в районе Хлебной площади, где он жил, мог бы сказать вам, кто он такой, у кого квартирует, даже передать анекдот о нем, но вряд ли хоть один из них когда-либо захотел поговорить с ним или спросить его о чем-нибудь.

В магазинах Алексей Алексеевич молча подходил к прилавку, протягивая чек, так же молча выбитый ему кассиршей. Положив покупку в сумку самого дикого, неопрятного вида,— кажется, это было старое брезентовое ведро, принадлежащее походному снаряжению кавалериста,— Алексей Алексеевич, не сказав ни слова, уходил из помещения своей шаркающей, трудной походкой. Здоровался и прощался он в этих случаях так неразборчиво, что и понять было нельзя — про себя ли бормочет старик или к кому-то обращается.

Я отношу эту чрезмерную молчаливость Алексея Алексеевича отчасти к уцелевшей у него каким-то чудом и вовсе ему не приличествующей прежней привычке господ не вступать в разговор с услужающим народом.

8

Изредка, считанное количество раз в году, знакомые по старой памяти приглашали Алексея Алексеевича к себе на какой-нибудь праздник. Однако присутствие его на таких семейных торжествах если и не могло быть никому особенно в тягость, то и не доставляло никакой радости. Разговор он поддерживал неохотно, ограничивался короткими и не всегда вежливыми репликами. Алексей Алексеевич предпочитал забиться куда-нибудь в уголок и оттуда поглядывать на всех сычом. Хозяек он обижал своими всегдашними, едва не брезгливыми, отказами отведать их стряпню. Сидя над остывшим стаканом чая, он вдруг, в разгар ужина, вставал из-за стола и уходил, что-то шамкая своим беззубым ртом. Под конец стали думать, что приглашения досаждают Алексею Алексеевичу, но когда его как-то в традиционный день

попробовали не пригласить, он потом горько на то пожаловался.

Я упустил сказать, что Алексей Алексеевич постоянно и подолгу сидел в кабинете своего квартирного хозяина. Занят ли тот был своим делом, читал или сражался с приятелями в преферанс,— Алексей Алексеевич устраивался в кресле возле письменного стола, брал в руки какую-нибудь из лежавших на нем книг и начинал читать, чуть не вплотную поднося страницы к глазам. Но книга быстро откладывалась — он предпочитал сидеть праздно, молча. В отсутствие хозяина он устраивался на кухне, где хлопотала сердобольная Анна Ивановна, и там тоже подолгу сиживал. Хозяйке обычно удавалось уговорить Алексея Алексеевича съесть тарелку супу или что-нибудь другое.

Думаю, что это желание быть на людях, при столь усилившейся к старости замкнутости, объяснялось страхом Алексея Алексеевича перед одиночеством. Он тяготился общением с людьми, но и не выносил тяжелой угрюмости своего пустого угла и потому шел туда, где были разговоры, движение, жизнь, хотя сам и не хотел в них участвовать.

Точно так же развился в нем в сильнейшей степени страх темноты. Когда, вследствие довольно частых неисправностей на станции, гас электрический свет, он жег свечи или керосиновую лампу, иной раз всю ночь, только чтобы разогнать мрак вокруг себя. Зажегши свечу или лампу, он частенько засыпал и однажды чуть было не устроил пожар — запылал деревянный подсвечник. Помню, раз мы засиделись с хозяином за картами, и близко к полуночи, когда вдруг погас свет, Алексей Алексеевич, пробравшись к нам ощупью по темному коридору, со слезами стал жаловаться на плохую работу станции, частые аварии, которые он расценивал как желание лично ему досадить. Ни свечей, ни лампы ему уже не давали после того случая с подсвечником, вот он и пришел ночью, растерянный и дрожащий. Мы дали ему карманный фонарик и стали следить, чтобы он у него всегда был в исправности.

9

Заходить к угрюмому Алексею Алексеевичу было едва ли не мучительно: никак нельзя было догадаться, рад ли он твоему приходу или тяготится им.

— А, пришли? — бывало, встретит он, когда войдешь

к нему и поздороваешься погромче, потому что в полумраке комнаты, при вовсе ослабевшем зрении Алексей Алексеевич только по голосу и мог узнать гостя. Приходилось без приглашения садиться в единственное ветхое кресло, втиснутое между столиком возле кровати и подоконником с чахлым фикусом, чудом росшим под густым слоем пыли.

— Я вам отчет о последней выставке привез, Алексей Алексеевич, поинтересуйтесь: свору псовых выставляли,— говорят, сумароковских кровей.

Алексей Алексеевич охотно брал журнал и смотрел внимательно. Разумеется, собаки оказывались ублюдками, и короткий интерес старого борзятника остывал мгновенно. Он не допускал, чтобы могли вывести породных собак с тех пор, как пришлось ему поставить крест на своей охоте.

Но даже и то, что было «тогда», то есть в те далекие годы, когда у него были Венгерка и борзые, уже не могло сколько-нибудь оживить Алексея Алексеевича. Все это «тогда» сводилось к полутора-двум десяткам охотничьих эпизодов. Мне, бесконечное число раз слушавшему рассказы о них, оставалось только поражаться, до чего же со временем окостенели формы, в которые эти рассказы когда-то отлились,— одни и те же подробности, одни и те же выражения, слова. Алексей Алексеевич повторял их безучастно, словно затверженный урок. Никаких чувств эти рассказы в нем уже не будили, во всяком случае на сколько-нибудь продолжительное время: то были отголоски, холодные отблески давно отгоревшего.

Чем же жил из года в год этот одинокий, замкнутый человек, не проявлявший никакого интереса или сколько-нибудь определенного отношения к настоящему и уже так равнодушно вспоминавший свое прошлое?

Плохое зрение не позволяло Алексею Алексеевичу читать, да и вряд ли он интересовался теперь книгами. Я заставал его большей частью сидящим на кровати с провисшим матрацем, кое-как застеленной вытертым одеялом, с руками, спрятанными в рукава поддевки или полушубка,— он почти никогда из них не вылезал. Так просиживал он иногда часами. Хозяйство свое он упростил до предела — раза два в день кипятил чайник и пил чай из побуревшей фаянсовой кружки. Несмотря на его воркотню, Анна Ивановна время от времени производила в его берлоге уборку, иначе бы он вовсе оброс грязью. Алексей Алексеевич только что терпел эти вторжения хозяйки.

Им был бесповоротно утрачен вкус к жизни, ничто не могло его задеть или увлечь, и вместе с тем он страшился

смерти — я убежден в этом, хотя он никогда никаких разговоров о смерти не только не заводил, но и не допускал при себе. Его детский ужас перед темнотой был несомненным отражением этого гнетущего страха смерти. Безучастно ли смотрел Алексей Алексеевич перед собой, смутно различая на стене окончательно выцветшие фотографии молодцеватого всадника в бекеше, сидел ли, наблюдая, как сдавали карты и делали записи партнеры в кабинете хозяина, грелся ли в жаркий день на солнце в палисаднике во дворе, думал он только об одном — о неизбежности конца, о жизни после того, как *его* не станет. Все ему казалось бессмысленным, ненужным, ложным — человеческие мысли, желания, чувства, дела. Это свое умонастроение он как-то выразил при мне в тираде, довольно для него многословной:

— Был вон Пушкин — гремел, волновал сердца и умы. Сто лет прошло, мы пока что его помним, но уже волнует он нас так себе — сбоку. Ну, а вот об Архилохе много ли, судари мои, теперь кто слышал? А при фараонах не было разве великих поэтов? Ассирийские цари ставили межевые знаки, чтобы на веки вечные, до скончания дней, определить границы своих владений! В Пантикапее именитые граждане высекали на камне надписи, чтобы навсегда закрепить память о своих благодеяниях родному городу. Что осталось от их памяти? Где их имена? Я как взглянул в Историческом музее на остатки человечка из Трипольского могильника, понял, что все это самое бессмертие — бред и миф. Ну, а если его нет, то к чему все? В общем, черт знает что за жестокая и бессмысленная механика! — заключил он желчно и с тоскою вместе с тем.

И очевидно, чем ближе ощущал Алексей Алексеевич неизбежный конец, тем более его преследовала мысль о той ожидавшей его роковой пустоте, где конец всему; настолько, что он уже не находил в себе сил взглянуть на жизнь, для него прекращавшуюся. Никакие доводы о преемственности всего живого, разумеется, не могли его убедить. Они его только раздражали.

— Умом можно что угодно распланировать, любую схему построить. А вот попробуй-ка совладать со своим нутром, когда все, каждый фибр в тебе протестует и артачится... Не хочу я, вот я какой есть, превращаться в ничто и чтоб все мои мысли, чувства, надежды исчезли навсегда! Это все для лицемеров да трусов — ваши теорийки!

И Алексей Алексеевич, скованный ужасом смерти, погружался в зловещее молчание.

10

Пришла она за ним как-то тихо, незаметно, почти крадучись, без каких-либо предварительных сигналов. Алексей Алексеевич по-прежнему не болел, хотя шел ему семьдесят девятый год. При всей своей внешней хилости был он прочен и стоек.

Как-то возвратился он после одной из своих редких прогулок — их он совершал лишь в самые роскошные дни лета. Посещал он тогда городское кладбище, отличавшееся у нас обилием огромных деревьев и чудесными тенистыми аллеями. Может быть, вид могильных памятников среди цветов и пышной зелени несколько рассеивал мрачный строй его мыслей.

Алексей Алексеевич вернулся на этот раз смертельно бледный, руки его тряслись, он задыхался. Из отрывистого его рассказа Анна Ивановна поняла, что ему довелось увидеть, как какой-то ражий и хмельной детина пинками и подзатыльниками гнал перед собой девочку лет десяти. Та и не пыталась от него увернуться, навзрыд плакала и истерически выкрикивала: «Хочу к маме, к маме!» Алексей Алексеевич догадался, что мать ее, очевидно, только что похоронили. Ничего никогда не замечавший, он на этот раз почему-то не стерпел: поднялся со скамейки, на которой сидел, стал корить мужика, чуть ли не обозвал его негодяем. Тот, может, и прошел бы мимо, но с ним была женщина с курносым, злым лицом, очевидно, будущая мачеха ребенка. Она с грубой бранью набросилась на Алексея Алексеевича: «Не суйся в чужое дело, паразит!» — и толкнула его так, что он упал на скамью.

Потрясен он был этим чрезвычайно, слезы обиды и бессилия текли по его сморщенному лицу. Анна Ивановна, как могла, успокоила его, проводила в комнату, уговорила выпить какие-то капли и прилечь.

Спустя часа два она сходила к нему — дверь оказалась запертой. Ей послышалось ровное похрапыванье, и она, решив его не беспокоить, ушла с принесенной чашкой бульона. А потом вспомнили о нем лишь на следующий день, да и то не с утра, а когда пришел письмоносец с пенсией для Алексея Алексеевича.

На стук в дверь Алексей Алексеевич не откликнулся. Поднялась тревога, сбежались жильцы, послали в милицию, за доктором. Накинутый изнутри крючок легко отскочил после первого резкого толчка в дверь.

Старик лежал на своей постели поверх изношенного одеяла, вытянувшись во весь рост. По застывшему его белому лицу бродили мухи. В неподвижных, мутных, широко открытых глазах тускло отражался слабый солнечный луч, рассеянный выцветшими, запыленными стеклами. И особенно резко обозначилась всегдашняя горькая складка его искривленного, ввалившегося рта.

Что-то представилось гаснущему его сознанию в хмурый час расставания с жизнью, без единого, не только что родного, но даже знакомого лица подле своего убогого ложа? Не увидел ли он себя среди любимых русских просторов, с мягко всхолмленными полями, манящими перелесками, лиловеющими далями, обвеянными родным душистым воздухом? Мерещилось ли ему детство, незатейливый домишко отца, где рос он мальчиком, впервые услышал заливчатый лай гончих в лесу и увидел борзых, спеющих по полю за увертливым русаком?

Кругом яркие осенние краски, все так нарядно — синее небо, дальний лес, кусты и солнце, такое веселое и приветливое. В простор опустевшего поля улетают звуки рога и гаснут где-то вдалеке...

Авось да это видение, праздничное и звонкое, пронеслось перед ним в этот час.

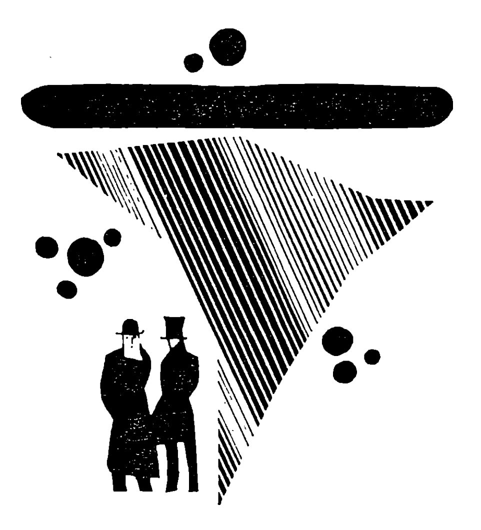
Кто-то подошел и прикрыл ему лицо углом одеяла.

Так скончался Алексей Алексеевич, бывший дворянин Половцев — последний российский мелкотравчатый.

1957

ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ

Воспоминания
Очерки



О ТОЛСТОМ

ЗАМЕТКИ-ВОСПОМИНАНИЯ

Свои первые десять лет я жил в России, у которой был Толстой. А это значит, что едва не с младенческих лет прислушивался к постоянным толкам о нем взрослых, ибо как раз в последние годы жизни писателя русское общество сильно волновали и занимали наводнявшие страну сведения о его поступках и всякое сказанное им слово встречало живой отклик.

Детей в то время водили по воскресеньям в церковь, в большие праздники причащали. Службы казались очень длинными, но обряды и пенье занимали, духовенство в облаченьях, таинственная скороговорка шепотом при целовании креста и весь заставлявший взрослых склонять голову и углубленно замыкаться в молчании чин внушал почтительность и восхищение, и потому поражали разговоры старших за обеденным столом или в гостиной о Толстом — седом бородатом графе в мужицких сапогах и косоворотке, осудившем православное богослужение, назвавшем комедией принятие святых таинств и за это отлученном от церкви. В детском представлении он рисовался великим грешником, обреченным гореть в геенне огненной.

Среди первых прочитанных книг были, разумеется, и произведения Толстого. Уже в приготовительном классе Тенишевского училища в Петербурге, куда меня отдали на восьмом году, мы знали и «Детство», и некоторые сказки, и особенно «Кавказского пленника». Около того времени как раз отмечался полувековой юбилей «покорения Кавказа», по тогдашней терминологии,— и в мальчишеском воображении Толстой, участник тех войн, представал в обличии непобедимого воина, в дыму и грохоте выстрелов, бесстрашно штурмующего со своими храбрыми солдатушками аулы «немирных» горцев — «злых чечен, точащих свой кинжал» Это мы тоже знали.

Были у меня о Толстом и другого порядка воспоминания, как будто бы чуть сближавшие с ним, предполагавшие некие общие нам обоим впечатления. В очень юные годы, на пороге детства, меня летом возили к тетке, сестре матери, в Новосильский уезд, входивший тогда в Тульскую губернию. Неподалеку от усадьбы тети стояла на реке Зуше старая-старая водяная мельница, живописно расположенная в излучине. Настолько живописно, что туда частенько приезжали окрестные помещики, соблазненные окуневым щедрым клевом, тенистой прохладой возле укрытого дуплистыми ветлами омута, гостеприимным приемом мельничихи, угощавшей молоком с ледника и душистым хлебом, ставившей на стол под сенью акаций огромный томпаковый, блестевший как золото самовар. Постоянными гостями на мельнице были Сухотины, владельцы Кочетов, причем чаще всего сюда приезжала Татьяна Львовна с дочкой Таней — любимой внучкой Льва Николаевича. Он не раз сам навещал мельницу во время своих разъездов по уезду.

Из всего этого я лишь смутно запомнил участок плотины и журчащую в лотке у колеса воду, но крепко врезалось в память название мельницы, прозывавшейся Меркушкиной. Настолько, что всякий раз, когда приходилось впоследствии читать у Чехова про вдову Мерчуткину, неизменно всплывала фамилия давно исчезнувших владельцев давно исчезнувшей мельницы. Много позднее, в ранние двадцатые годы, когда я бывал у Татьяны Львовны, жившей с повзрослевшей дочкой во флигеле дома на Поварской, ныне занимаемом Иностранной комиссией Союза писателей, хаживал в живописную студию, организованную ею в мезонине дома на Пречистенке, где ныне музей ее отца, рассказы Татьяны Львовны о давних поездках на Меркушкину мельницу, о встречах с моими кузинами и теткой оживили и как бы пополнили мои младенческие воспоминания о месте, где я, семи-восьмилетний мальчик, мог увидеть великого писателя русской земли...

Но встречи не случилось. И первое, очень отчетливое, связанное с ним событие в моей жизни относится к тому горькому дню, когда Россию, да и весь мир, всколыхнуло известие о кончине Льва Николаевича. Узнал я о ней в училище. Были прерваны занятия, и нас стали выводить из классов и выстраивать в широком длинном коридоре, служившем помещением для молебнов, перемен и залом, где вершились редкие общешкольные собрания, против амвона с большим образом Спасителя.

На этот раз тут собрались все педагоги во главе с директором — в черных сюртуках с траурной повязкой. В сторонке стояли законоучители в рясах и служители, приготовившие облачения и утварь для панихиды. Директор коротко и громко объявил о смерти Толстого и тут же предоставил обратиться к нам учителю словесности. Сам же, пока тот говорил о значении писателя и невосполнимой утрате, вступил в переговоры с нашими батюшками. Те, однако, отрицательно покачивали головами, потом вышли в боковую дверь, так и не воспользовавшись принесенными ризами: служить панихиду по отлученному от церкви графу они отказались. Учителя и взрослые невразумительно отвечали на наши расспросы, но мы отлично поняли, что они осуждают этот поступок духовенства. Исходивший от этой сценки душок крамолы, предчувствие нарушения Толстым каких-то общепринятых догм, на которых зиждилось тогдашнее общество, способствовали усилению тяги к его произведениям, и я стал правдами и неправдами добиваться возможности их прочитать. Надо сказать, что контроль за детским и юношеским чтением был одним из китов тогдашнего воспитания, и приходилось, взрослея, взламывать установленные запреты на книги, способные пошатнуть нравственность и спугнуть целомудрие. «Воскресение», «Крейцерову сонату», «Отца Сергия» я впервые прочитал чуть не перед самым поступлением в университет, к семнадцати годам. Помню, что на небольшом столе в гостиной, где лежали читаемые родителями книги, всегда находились два тома «Круга чтения», составленного Толстым, к высказываниям которого был далеко не безразличен мой отец.

Вообще же отношение к Толстому в среде, где я рос,— в кругах столичной интеллигенции, чуждой как радикализма, так и крайней монархической идеологии,— было, бесспорно, двойственным. Как величайшее достояние отечественной культуры принималось все его художественное наследие, и одновременно мало симпатизировали его проповеди опрощения, отрицанию наук, медицины и пр. Общие оценки сходились на завете Тургенева, со смертного своего одра призывавшего Толстого «вернуться к литературе», и чеховском неприятии его скептицизма по поводу медицины, образования, искусства и т. д. Разумеется, наживать богатство не очень хорошо, если это самоцель, но коли достаток приобретен честными трудами и не обращен в кумир, то, простите, граф, дурного в этом нет, поскольку богатеющий человек не становится мироедом и продолжает жить по совести.

Словом, нет нужды для всеобщего счастья и благоденствия обряжаться в домотканые рубахи и обувать лапти, да и не один труд на хлебной ниве почтенен...

Традиции не позволяли отказываться от православных обычаев, но непопулярность духовенства в глазах интеллигенции — особенно петербургской — вела к тому, что критика Толстого приходилась по душе, пусть к ней не присоединялись открыто. Обмирщившаяся церковь, малоразвитый, отсталый клир, окончательно завершившийся переход его от роли посредника между народом и властью к безоговорочному подчинению и служению ее интересам, все это, начиная уже с тургеневских времен, если не раньше, вырыло пропасть между образованным сословием и церковнослужителями, считавшимися в лучшем случае обузой для народа и праздной корпорацией в империи. Если христианские добродетели и нравственность сохраняли свое значение и престиж, то не было уверенности, что их способны утверждать и распространять православные иерархи и священники, поэтому толстовская проповедь в этой области встречала признание. Как я упоминал, настольной книгой моего отца был «Круг чтения», и, предоставив матери воспитывать детей в соответствии с прежним укладом, он сам не ходил в церковь и все пополнял свою библиотеку книгами теософов и йогов, тогда широко читаемыми в Петербурге.

Но уже надвигались на Россию события, обусловившие не только полное и бесповоротное крушение ее старых устоев, но и заставившие русских — все население, все сословия, все состояния — заново переосмыслить доставшееся им от предшествующих поколений наследие, переоценить все ценности. Захлестнувшие мир вскоре после смерти Толстого — не прошло и полных четырех лет — кровопролитие и насилие вынудили искать среди обломков прошлых верований, идеалов и учений те осколки истины, те ростки правды, какие могли бы помочь выстоять и утвердиться. И если догмат о непротивлении злу насилием уже не находил почвы и отбрасывался, поскольку не сулил выхода, критика Толстым прежнего строя и порядков, всего уклада общества без особой натяжки привязывалась к происходящим событиям. Воистину прежние высшие сословия отжили свой век, выродились и по справедливости убраны со сцены... И пусть тот, кто не работает, ни на что не претендует... И да здравствует освобожденный крестьянский труд, пашня, принадлежащая только труженикам, как и осиновый кол, беспощадно вогнанный в могилу привилегий!

Вера в невозможность возвращения старых общественных язв и социального неравенства, упование на жизненность духовных и нравственных идеалов, составлявших основу прежнего христианского мировоззрения, помогали переносить тяжкие годы междоусобиц, братоубийственных раздоров, все испытания периода становления новых порядков. В те, самые первые годы революции мне приходилось встречаться с оставшимися в России детьми и внуками Толстого, бывать в Ясной Поляне, познакомиться с несколькими «толстовцами», от которых порой были не прочь отмежеваться некоторые его поклонники, да и сам Лев Николаевич! Именно тогда закладывались основы всенародного признания величия и значения Толстого; учреждались музеи, становилось наукой толстоведение, начиналась подготовка невиданного по масштабам фундаментального академического собрания его сочинений. Мне кажется, что именно в тот период, когда приобретенный опыт и необходимость вынуждали каждого ставить перед собой и честно разрешать острые вопросы совести и морали, произошло более или менее окончательное усвоение Россией Толстого: в горниле необычайно острых событий огранилось и закалилось навечно все неувядаемое и непреложное в его наследии, отсеялись не выдержавшие испытаний устаревшие или недостаточно обоснованные взгляды и утверждения. Если в проповеди Толстого далеко не все приемлемо для поколений, совершивших революцию, переживших две мировые войны, фашизм, то личность самого проповедника, человека, искавшего пути к правде, бичевавшего окружающее зло, продолжает импонировать нашему воображению. Мы, пожалуй, не знаем, что проповедовал в XV веке доминиканский монах Джираламо Савонарола да и чужды нам теперь его теократические идеалы, однако имя его не забыто, так как он восстал против зла и несправедливости.

Мы с благодарностью думаем о литературоведах, отечественных и зарубежных, изучающих творения Толстого, определяющих их значение в мире, влияние на последующее развитие человеческой мысли и нравственности, пишущих труды, помогающие нам лучше его познать. Но симпатии и вкусы, предпочтения рядового читателя не определяются этими выводами и оценками специалистов: у каждого из нас есть свой Толстой, та грань художника и мыслителя, какая более всех других близка нашему восприятию, сильнее остальных пленяет нас и волнует. Вспоминая любого художника — живописца, писателя, поэта или музыканта,

мы непроизвольно, без раздумий воскрешаем в памяти ощущения и переживания, связанные с каким-нибудь его одним — бывает, незначительным — произведением. Так создан человек: при имени Бетховена он способен отчетливо и остро пережить грусть и щемящее чувство одиночества, порождаемые немудрой песенкой о сурке, и только потом спохватиться и вспомнить «Лунную сонату» или «Аппассионату»...

И мне, когда я думаю о Толстом, всегда как нечто особенно совершенное и, пользуясь выражением Гоголя о прозе Лермонтова, «благоуханное» вспоминается его сравнительно небольшая и поздняя вещь, никогда не печатавшаяся при жизни автора — «Хаджи-Мурат». Этой привязанности я верен много лет, читаю и перечитываю... Часто, особенно в пути, стараюсь припомнить отдельные фразы и выражения, которые так полно, метко и исчерпывающе рисуют описываемую человеческую судьбу. Трагическую и цельную, злую и героическую.

Известно, что Толстой многажды возвращался к «Хаджи-Мурату», перерабатывал, неудовлетворенный одним вариантом, принимался за другой. И все же нет на этой повести отпечатка отделанности, длительной работы и переделок: она словно написана на «одном дыхании», свободно и непосредственно. И сколько бы наши современные ретивые редакторы нашли поводов погулять по ней запретительным карандашом! Помилуйте: «Накурившись, между солдатами завязался разговор»,— немыслимо! А сколько повторов! Мы приучены, как чумы, избегать употребления одного и того же слова, даже однородного корня, дважды в смежных строках, даже абзацах, а вот Толстой четыре раза подряд употребляет «слышать» или «люди» — и ничего, не спотыкаешься, а, наоборот, попадаешь под обаяние этого нестесненного, своевольного языка, и кажется, что так и можно, и нужно именно в этом случае писать. Не помню, кто говорил о «высоком косноязычии» Тютчева. Но может ли оно считаться узаконенным? «Quod licet jovis, non licet bovis»[1],— гласит латинская поговорка, и это несомненно так: дозволенное Толстому запретно для других, потому что эта свобода не считаться с принятыми нормами — удел и привилегия высокого таланта, у которого свои правила и ограничения. Стилевые небрежности Толстого лишь кажущиеся: проза его не перестает быть полнозвучной. Безошибочное и

[1] Что дозволено Юпитеру, то нельзя быку *(лат.)*.

изощренное ощущение языка, необманывающее чувство меры и взыскательный вкус художника — врожденные и неотъемлемые принадлежности гениальности — предостерегали Толстого от погрешностей, нарушающих общий строй произведения. Он искал, как проще и доходчивее выразить свою мысль, дать наиболее выпуклое представление об изображаемом и, бесчисленное количество раз переписывая и поправляя написанное, не должен был заботиться о средствах выражения: они находились и вставали на место сами — так, во всяком случае, я представляю себе работу писателя «Божией милостью»...

Но я вижу, что невзначай забрался не в свои сани — они предназначены для литературоведов, и мне рискованно в них садиться! Тем более что, раз речь идет о «Хаджи-Мурате», мне нелегко сказать, чем именно обусловлено мое пристрастие к этой повести: по пунктам перечислить — первое, второе... То ли покоряет ее цельность и сжатость — сосредоточенная вокруг одной судьбы, она стремительно движется к развязке, и нет нигде лишней строки, определения, слова. Или тут неотразимое обаяние сюжета и героя, дорогого автору, вложившему в рассказ всю прелесть воспоминаний, овеянных поэзией молодости, ушедших лет? Воскрешая в конце века облик человека, занимавшего его воображение в пятидесятые годы, не мог Толстой не переживать заново и свое прошлое, не опоэтизировать его. Не отсюда ли возникающее при чтении ощущение, что автор дорожит любой подробностью, каждой мелочью описаний, они все как бы оправлены его любовью. В каждой строке — сердце Толстого.

Для меня «Хаджи-Мурат» еще и непревзойденный образец художнического воздействия на читателя. Это повесть, в которой нет строки назидательной, между тем она вызывает целый рой мыслей о долге и назначении человека, о высоте подвига «за други своя», о любви к отчизне и нравственных достоинствах — словом, будит совесть и настойчиво стучит в сердце — много требовательнее, чем случается специально дидактическим, предназначенным наставлять сочинениям.

Выглядит, словно никакой разговор о Толстом не может обойтись без упоминания о «Войне и мире», прочно занявшем место на верхней и главной полке мировой литературы, наравне с «Илиадой», «Дон Кихотом», «Фаустом», шекспировскими трагедиями, другими вечными творениями... Однако именно для русского этот роман значит так много, что заговорить о нем мимоходом невозможно.

Заключить свои заметки я хочу еще одним «толстовским», вернее, «околотолстовским» воспоминанием. Мне, как я уже упоминал, посчастливилось знать многих членов этой семьи, начиная со старшего сына Льва Николаевича — Сергея Львовича, которого я несколько раз встречал в Ясной Поляне, где он живал в летние месяцы, и старшей его дочери — Татьяны Львовны, с которой был знаком ближе. Именно ей, более чем другим потомкам Льва Николаевича, передался тот особый «шарм» — обаяние, столь отличавшее, по отзывам всех его знавших, самого писателя. Тут сочетание простоты обращения с доброжелательностью и безукоризненной воспитанностью, которое делает общение легким и незабываемым. Его унаследовала в полной мере от матери и Татьяна Михайловна Альбертини, почти ежегодно приезжающая ныне в Москву, оставшаяся, однако, в моей памяти той очаровательной Танечкой Сухотиной, с которой мы в двадцатые годы бывали в одних и тех же московских домах, встречались у общих друзей.

...Давно не стало не только старших его детей, но и многих внуков. Нет дочери Андрея Львовича Софьи, бывшей замужем за Есениным и много лет возглавлявшей музей в Хамовниках. Нет и Сергея Сергеевича, старшего толстовского внука, связавшего свою жизнь с Институтом иностранных языков и оставившего о себе память самого отзывчивого и доброго человека в Москве, всегда готового помочь и выручить. Нет давно и Анны Ильиничны, дочери Ильи Львовича, унаследовавшей присущую всем Толстым музыкальность и памятной знатокам цыганского пения своим своеобразным исполнением романсов... «Все они умерли, умерли», как стоном вырвалось из-под пера умирающего Тургенева.

И ныне, в редкие случаи, когда приходится встретить Татьяну Альбертини, ставшую живым звеном между ушедшим миром Льва Николаевича и нами, все помнящую и спешащую передать как можно больше из того, что сохранила память, я невольно ухожу в далекие воспоминания. И в чертах немолодой, приехавшей из Италии дамы, оставшейся душой такой русской, столь похожей на Толстых, ищу сходства с крошечной девочкой, сидящей на коленях своего знаменитого деда, как запечатлено на широко известной фотографии...

Бесконечно дорогое Толстому еще с нами.

1978

НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ

И. С. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

На исходе пятидесятых годов я частенько наезжал в родной свой Питер и, если только Иван Сергеевич не был в Карачарове на Волге, непременно его навещал, а то и гостил у него по нескольку дней. И сиживали мы подолгу в обжитом его кабинете с мебелями, напоминавшими мне времена старинные. Были тут твердоватые просторные кресла с гнутыми деревянными подлокотниками, сложенные ломберные столы на тонких высоких ножках, книжные глубокие шкафы с золоченым переплетом застекленных дверец, а в простенках — фотографии и гравюры в рамках красного дерева. Запомнилось, что повсюду — на стенах и шкафах, по столам — стояли и висели чучела птиц и зверьков. Над одной из дверей ветвились лосиные рога — дремучие, первобытные.

Комната, как, впрочем, и вся квартира писателя, была просторной, с высокими потолками, широкими дверными и оконными проемами, длиннейшим коридором, так что обвыкнувшему к столичным малогабариткам москвичу, каким я давно уже сделался, ленинградская эта квартира с парадным и черным ходами и впрямь напоминала забытый санкт-петербургский уклад.

Говорить ли, что облик хозяина и особенно его речь также воскрешали годы «дореформенные», как выражались про стародавние времена наши отцы и как мы могли бы сказать про времена дореволюционные. Само собой возникало сопоставление черт лица Ивана Сергеевича, его круглой бородки, широкоплечей фигуры со знакомыми с детства тургеневскими портретами: легко было себе представить моего собеседника в высоких сапогах, охотничьих доспехах и тирольской шапочке, каким написал автора «Записок охотника» художник Дмитриев-Оренбургский. Вот только голос был у Соколова-Микитова низкий и глухой, не в пример дисканту Тургенева, да и вряд ли могла ощущаться на прожившем век в барской холе хозяине Спасского-Лутовинова та печать бывалости и нелегких лет, что безобманно чувствовалась в ссутуленной, кряжистой и все еще могучей фигуре Соколова-Микитова. И еще через все наслоения скитальческой жизни моряка, путешественника и

охотника проступала его сущность — внука и правнука людей, «вековечно связанных с землей».

Нет, разумеется, Ивана Сергеевича нельзя было принять за старого крестьянина — слишком сказывались интеллигентная профессия и многолетний отпечаток города, но и сидящий вполоборота в кресле за письменным столом в своем кабинете, он представлялся слитым с вековечными образами русской природы и русской деревни. Им принадлежали его сдержанность, спокойная неторопливая манера говорить, утративший зоркость, но внимательный, пытливый взгляд, каким всматривается в открывшийся простор поля или в темень окружившего леса охотник или встречает незнакомого гостя сельский житель. Иван Сергеевич посасывал коротенькую трубочку, обстоятельно прочищал ее, не спеша с ответом или давая себе время получше вспомнить подробности передаваемого давнишнего эпизода. Не употребляя деревенских слов и оборотов, он выражался тем простым и ясным, незасоренным русским языком, на каком писали литераторы-помещики, с детства привыкшие к народной крестьянской речи.

Памяти Ивана Сергеевича можно было позавидовать: свежими и живыми возникали передо мной зримые черточки и штрихи набрасываемых им картинок полувековой давности. Все решительно, вплоть до запахов натопленной риги, говора прежних земляков, их интонаций, шелеста ветра в соломенной крыше, приемов, какими старинный деревенский кузнец перехватывал поковку, щеголеватой легкости ловко сплетенных вязевых лапотков, шипения падающих со светца в воду угольков горячей лучины — все давно забытое и похороненное удержалось в памяти этого на редкость цельного и устремленного человека, навсегда отдавшего сердце русской деревне и природе коренных великорусских губерний.

«О память сердца! Ты сильней рассудка памяти печальной!» — как подтверждаются на примере писателя эти слова! Достаточно открыть любую страницу Соколова-Микитова, почитать его заметки и дневники, чтобы убедиться, что, и прожив восемь с лишком десятков лет, он до конца оставался верен детской своей привязанности к деревне и ее жителям. Вот несколько строк из его вступления к «Давним встречам»:

«В коренной крестьянской России начиналась моя жизнь. Эта Россия была настоящей моей родиной. Я слушал крестьянские песни, смотрел, как пекут хлебы в русской печи, запомнил деревенские, крытые соломой избы, баб и мужиков.

Уже давно нет, не существует этой милой моему детскому сердцу России. Я не видел города, не знал городских бойких людей. Но не в те ли далекие времена закладывались в моей душе чувства, сохранившиеся по сей день. Я и теперь радуюсь простому русскому человеку, в котором сохранились коренные русские черты».

И еще две фразы оттуда же:

«Это был тот мир, в котором я жил и родился, это была Россия, которую знал Пушкин, знал Толстой... Быть может, не все было счастливо и благополучно в старой русской деревне, но как хороши были крестьянские праздники, крестьянская ладная работа, священное отношение к насущному хлебу, к земле».

Эти искренние сыновние слова — всего только крупица той дани восхищения и преданности русской земле и русским людям, какую отдал своему народу этот подлинный «почвенник». Любовь его была не слепой. Деликатные слова о том, что не все было счастливо и благополучно в старой русской деревне, таят за собой глубокое знание всех ее язв и бед. Соколов-Микитов поведал в своих книгах много горького о деревенском укладе, искалеченных мужицких судьбах, темноте и жестокости, тяжкой бабьей доле, разыгравшихся в смутные годы злых страстях, самогонном разливе — о всех неприглядных сторонах деревенской жизни, известных «изнутри» ему — соседу и другу этих часто непутевых, удалых и безрассудных, но одновременно таких близких и понятных писателю деревенских жителей. В описаниях Соколова-Микитова нет гневных обличительных слов, негодования или, тем более, презрения: порочность и нескладицу мужичьей жизни породили притеснения и неграмотность, униженное состояние всего крестьянского сословия, его беспомощность перед сильными, и в ответе те, кто держал деревню в темноте, заставлял мужика смиренно кланяться и ломать шапку.

Крепко не жаловал Иван Сергеевич утеснителей деревни. Насмотревшись на опустившихся обедневших помещиков и развращенное сельское духовенство, на грубые земские власти, он сказал о них недоброе, но правдивое слово. Да и всякое начальство у него не в почете: было в этом сыне русской земли что-то бунтарское, бакунинское, настороженное отношение ко всякой иерархии, к тем, кто с авторитетом, в силе и у власти. Мил ему и понятен был простой русский человек, тот обутый в лапти старинный мужик, которого замечательные душевные свойства он с

колыбели научился распознавать и сквозь коросту поврежденных нравов и полюбил навсегда... Полюбил вместе со всей деревенской обстановкой, сельским окоемом; они сделались тем снившимся моряку на далеких меридианах заветным краем, средоточием земной красоты, тепла и уюта жизни, к какому всегда тянуло и без наездов куда непереносимым бы сделался город.

Последние десять — пятнадцать лет усилились недуги и главным образом болезнь глаз: Иван Сергеевич неотвратимо слепнул. Писатель поневоле жил все более и более отгороженным от непосредственного общения с лесом и речкой, все меньше доводилось покидать город, а в Карачарове — бродить по окрестностям. И потому он продолжал видеть любимые свои рощи и величавые боры, тихие озерки и лесные болотистые чащобы такими, какими они узнались в начале века: малолюдными, нетронутыми, хранящими древнюю тишину, населенными зверем и птицей. Человек проницательный и трезвый, он не строил себе иллюзий. Знал, что сведены или разрежены опустевшие лесные урочища, загрязнены прежде незамутненные реки, нет более нерушимой деревенской тишины, смятой властно вторгнувшейся в жизнь села индустриализацией, пролегли вдоль и поперек милых ему пажитей просеки, канавы, протянулись провода... Но отделялся в его сознании современный облик деревенского окоема от свято сбереженного воспоминания. Ум постигал, рассудок понимал неизбежность и пользу наступивших с техническим веком перемен, но сердце на них не откликалось. Так же точно, как на новый обиход деревни с электричеством, машинами, городской одеждой и антеннами на шиферных крышах. Оно хранило ласковую нетленную память о топке русской печи, теплом запахе высушенных в овине снопов, цветастых сарафанах, о позвякивании кос в росистом лугу, крытых соломой избах и их хозяевах, доверчиво и радушно отворяющих дверь перед прохожим человеком...

И как раз эта сердечная верность Соколова-Микитова старой русской деревне и определила характер моего с ним общения, протянула нити схожих симпатий и интересов, какие сблизили маститого, признанного писателя с начинающим собратом, младшим своим современником, заставшим, правда, дореволюционную Россию и усадебную жизнь, каким всецело принадлежал Иван Сергеевич.

Энциклопедическая, исчерпывающая его осведомленность во всем, что относилось к старой деревне и русской

охоте, оставляла мало места для новых сведений, и все же он всегда не только внимательно слушал мои рассказы, но и расспрашивал, ценя, видимо, всякую подробность, какую мог бы сопоставить со своим опытом. Интерес Ивана Сергеевича к моим рассказам усиливался тем, что мы были почти земляками, близкими соседями: его Смоленщина граничила с моим тверским краем, известным ему не понаслышке. В наши пределы его не раз приводили охотничьи тропы.

Мы с ним помнили одни и те же перелески, рощи корабельной сосны над извилистой речкой с утиными заводями, густо заросшими камышом, узкие полоски крестьянских полей с кучами выбранных на межах камней и деревеньки с почерневшими от непогоды избами, откуда одинаково на Смоленщине и тверской земле ухо́дили на отхожие промыслы молодые мужики из неподеленных больших семей. Земляки Ивана Сергеевича были прославленными копачами — без их деревянной, окованной железом лопаты не возводилась в России ни одна насыпь, не рылась ни одна железнодорожная выемка. Наши все больше тянулись в Питер, где промышляли по торговой части — старьевщиками и разносчиками. На покос и те и другие возвращались в родное село, щеголяя галошами и цепочками от часов по жилету, и пускали ребром кое-как скопленные рубли. Наполнив сараи сеном и обрюхатив своих осчастливленных обновами баб, спешили вернуться к отведанным городским соблазнам.

На рубеже века в бедноватых наших уездах не сохранилось богатых поместий, да и в давние времена были они тут наперечет. Зато ни на родине Ивана Сергеевича, ни в моем Новоторжском уезде не пылали дворянские гнезда — они опустели как-то втихую,— и запущенная барская земля наконец досталась истосковавшимся по ней мужикам.

Естественно, что крутая эта пора ломки старого уклада и налаживания невиданных новых порядков была часто предметом наших разговоров. Помню, как заинтересовался Иван Сергеевич моим рассказом о земледельческой артели — прообразе будущих колхозов! — которую создал мой отец в восемнадцатом году.

Если приобщение к крестьянскому труду и оседание на земле отчасти отвечали каким-то смутным влечениям отца, слегка задетого толстовской пропагандой, то Иван Сергеевич, внимая моим рассказам, откровенно одобрительно поддакивал, узнавая, как научился я ходить за ко-

нями, пахать и управляться на сенокосе. В его глазах в возвращении семьи русских интеллигентных горожан к забытым деревенским корням ничего чрезвычайного не было.

Любил Иван Сергеевич слушать про всякие мелочи усадебного быта. Рассказал я ему, как перед наступлением ягодного сезона в город специально посылался приказчик, привозивший из банка холщовые мешочки с медью и серебром, предназначенными деревенским детям и бабам, приносившим на усадьбу ягоды. У деревянной «галдареи», кухонного флигеля, скапливались девочки, повязанные платочками по-бабьи, вихрастые пареньки — все босоногие, девушки постарше, частенько бобылки с выселок, с блюдцами, кружками, корзиночками с душистой земляникой. К ним выходила наша важная петербургская кухарка с наполненной монетами деревянной чашей и сквозь пенсне на черном шнурке осматривала подносимые ей ягоды и спрашивала цену. Дети конфузились, мялись, невнятно и тихо отвечали, и кухарке приходилось назначать ее самой. Счет шел на копейки. Продавцы повзрослее иногда торговались, просили накинуть пятак или гривенник. Зажав деньги, ребятишки опрометью срывались с места и убегали, бабы завязывали монеты в уголок платка, степенно кланялись и уходили. То же происходило на кухонном крыльце и в грибную пору, только приносили белые и подосиновики все больше взрослые крестьянки, а то и мужики... Эту сценку Иван Сергеевич советовал мне описать.

Занимали моего собеседника и рассказы про мельницу, принадлежавшую нашей усадьбе и переданную артели. Мне пришлось на ней работать года три, так что я мог со знанием дела поведать Ивану Сергеевичу про всякие тонкости мукомольного искусства, про длинные ночи, какие коротал с ожидающими своего череда помольцами. Порой приходилось услышать потаенную мысль, задушевное слово, надежду, высказываемые обычно такими замкнутыми и осторожными мужиками.

Иван Сергеевич сам все делал основательно, ценил во всем мастеровитость и сноровку, ничего никогда не утверждал с кондачка, и ему были по душе подробности, свидетельствующие о компетентности, настоящих профессиональных навыках. Помню, как он дотошно расспрашивал меня про выработавшееся умение на глаз, без прикидки на весах, определять вес мешка с мукой или зерном с точностью до одного-двух фунтов. Такие «таланты» в человеке он умел ценить!

Рассказы про беседы мои с Соколовым-Микитовым было, вероятно, правильнее начать с отведенных охотничьим делам. Я теперь прикидываю, что в тогдашнем его окружении истинных охотников, хорошо знавших тягу и тока, охоту с подружейной собакой и гончими, то есть то, что более всего любил Иван Сергеевич, было мало, а то и вовсе не оказывалось. И когда уже нельзя было самому вскинуть на плечо ружье и отправиться в лес, возможность отвести душу в толках об охотничьих досугах была, несомненно, для него отдушиной.

В те годы я много охотился и приносил свежие впечатления о поездках на глухариные тока, на Таймыр за гусями, взахлеб рассказывал о подвигах своего легаша. Известно, что охотники гордятся чутьем, сметливостью, работой, даже ладами своей собаки, как собственными заслугами. Иван Сергеевич это не только знал, но и вполне оправдывал. И потому я мог невозбранно, не докучая, распространяться в его кабинете о своем любимце, прекрасном пойнтере Рексе. Иван Сергеевич, вовсе не склонный к сентиментальности, растроганно слушал.

Но, разумеется, интереснее всего было, когда он сам принимался рассказывать о своих охотничьих скитаниях. Был Иван Сергеевич на восемь лет старше меня и еще застал на своей Смоленщине обилие дичи, о каком давно забыли в тверских урочищах. Некоторое представление о нем дала мне приенисейская тайга, да и то лишь в отдельных труднодоступных местах. Рассказы Ивана Сергеевича о глухариных зорях звучали сказкой. В его передаче не пропадало ничего из медленного весеннего рассвета, постепенно проясняющего очертания стоящих вокруг деревьев, совершенной тишины, которую вот-вот нарушит несмелая песенка зорянки. Услышав ее, встрепенется охотник, уже давно ожидающий этого сигнала: после зорянки должно сразу раздаться щелканье невидимо сидящих вокруг в вершинах сосен глухарей, с вечера слетающихся на токовище. Незабываемые переживания! Нахлынув на Ивана Сергеевича, они переносили его то в шалаш на лесном болотце, куда спешили на ток тетерева, то в облетевший лес, где он вслушивался в доносящиеся издали голоса гончих, увязавшихся за опытным русаком; то стоял он на номере в загоне, обложившем выводок волков, стрелял из-под своего легаша куропаток, отдыхал в сторожке лесника после утомительной медвежьей охоты.. Оживал весь пестрый мир

охотничьих треволнений, ставший недоступным, но оттого не менее дорогим. Было отрадно и горько!

Чтобы отдохнуть от этих высоких волнений, мы переходили к более спокойным темам. Невзначай обнаружилось, что и в вовсе неожиданной области у нас есть общие воспоминания.

Как-то зашел разговор о войне 1914 года. Иван Сергеевич рассказал о том, что попал тогда в отряд воздушных кораблей «Илья Муромец». Туда же был зачислен мой старший брат Николай, сменивший в пятнадцатом году студенческие наплечники на погоны вольноопределяющегося. Более того. Эти первые в мире многомоторные самолеты строились на Русско-Балтийском заводе, одним из директоров правления которого был мой отец, так что у нас в доме бывали члены комиссии Государственной думы, контролировавшей оборонную деятельность правительства, и летчики-испытатели. Бывал и сам изобретатель — инженер Сикорский. Приезжал из Гомеля, где стоял отряд и производились полеты, командовавший частью генерал Войнилович, офицер старого закала, с подусниками и бритым подбородком под Александра II, отлично рассказывавший сценки армейской жизни. Все это были имена лиц, Ивану Сергеевичу знакомых хотя отчетливо он и не всех помнил. Не сразу и смутно восстановил он в памяти облик восемнадцатилетнего вольнопера в очках, холившего едва обозначившиеся усики, конфузившегося своей моложавости и девичьего румянца, старательно перенимавшего манеры старых служак! Узнав о менингите, унесшем Николая в двадцать лет, Иван Сергеевич надолго задумался — наверное, вспомнил собственные тяжелые утраты.

Вероятно, значительно более времени, чем это мне представляется спустя двадцать лет, уделялось нами делам современным, выходившим тогда книгам и их авторам. Как раз в те годы сделалось фактором общественной жизни движение за охрану природы, учреждалось соответствующее общество, и Иван Сергеевич, естественно, всем эти интересовался. Он внимательно следил за тогдашними выступлениями в печати, на страницах которой возникали горячие дискуссии природоохранителей с расточителями и невежественными хозяйственниками. Разумеется, я включился в них по собственному влечению и склонности, однако немало поощрили меня поддержка и одобрение Ивана Сергеевича. Запомнилось, как похвалил он статью в «Литературной газете» о бревноходе на Енисее — первую мою публикацию

на природоохранительную тему. Не его ли слова о том, что именно этим — защитой русской природы — должен заниматься писатель, которому дорога родная земля, придали мне уверенности, и я смелее шагнул на стезю публициста? Надо подчеркнуть, что мнение Соколова-Микитова значило в писательской среде много, авторитет его был огромен. Тем более для меня, начавшего печататься незадолго до своего шестидесятилетия!

Тут уместно сказать о совершенно особом месте, какое Иван Сергеевич занял в литературе еще при жизни. Его прозу высоко ценили знатоки, те, кто сам был искушен в писательском ремесле, и серьезные читатели, ищущие в книгах не одной развлекательности. Помню, как А. Т. Твардовский сказал однажды, что писать о деревне надо, как Соколов-Микитов, причем следовало понимать, что Александр Трифонович имеет в виду не только язык писателя, но и его отношение к теме. Мне это сделалось особо ясным после того, как Твардовский однажды отказался печатать в «Новом мире» мой очерк о Подмосковье не потому, что не были в нем правдиво описаны деревенские дела, а из-за того, что я, по его суждению, оценивал их как бы со стороны, издалека, не сопереживал описываемому. Мимоходом замечу, Твардовский, и огорчая автора отказом, умел сказать утешительное слово.

— Не расстраивайтесь и не унывайте,— сказал он мне как-то.— У всякого порядочного писателя рукописей больше в ящике, нежели опубликованных книг. Одни ловкачи умеют при жизни издать даже свою переписку!

Кому не захочется быть причисленным к порядочным писателям в списке Твардовского!

Абзац об Александре Трифоновиче вполне уместен в заметках о Соколове-Микитове. Широко известна сближавшая обоих земляков четвертьвековая дружба. Книги Ивана Сергеевича были настольным чтением Твардовского; он говорил, что они — свежая, живая струя в современной литературе, вселяющая веру в ее будущее. И дело было не только о том, что Иван Сергеевич, рассказывая о своей Смоленщине, описывал места, родные для автора «Дома у дороги», но и в их разделенном, безоговорочном сочувствии деревенским людям. Тут они понимали друг друга с полуслова. Подтверждение тому находим в известных «Печниках» Твардовского, в которых легко обнаружить интонации и настрой соколово-микитовских рассказов. Восхищало редактора «Нового мира», знатока и компетентного ценителя русского лите-

ратурного языка, страстно ратовавшего за его чистоту, мастерство Соколова-Микитова, пользовавшегося богатством языка с безошибочным чутьем и тактом, владевшего его образностью как виртуоз-музыкант инструментом.

В описаниях природы Иван Сергеевич был разнообразен и предельно прост, верен завету своего тезки Тургенева, писавшего, что надо, как чумы, избегать красивостей и быть непременно кратким. Наугад открыв и полистав любую книгу Соколова-Микитова, можно встретить фразу вроде следующей:

«А жутко глядеть лесное порубище: пни, пни и протянутые к небу сучья-руки».

В этом десятке слов дана картина вырубки и создано соответствующее настроение: поверженные деревья призывают небо в свидетели своей гибели. Кто не почует художника и мастера в так уместно найденном слове «порубище» созвучном «побоищу»! Замените его «вырубкой» или «лесосекой» — и сразу померкнет яркость созданной писателем картины.

Говорит эта фраза и об упоминавшейся выше боли за природу, воспринимаемую писателем как живое существо. Общение с Иваном Сергеевичем открывало, насколько ему дороги целость и благополучие любимых рощ и полей, которые он видел все еще безмятежно раскинувшимися под ясным небом... Иной раз не хотелось посвящать его в тревоги, какие порождали в те годы лозунги покорения природы и крупномасштабные преобразования. Ведь он так верил, что пройдет некая короткая пора настроения, позалечатся нанесенные войной раны и сделавшийся мудрее и просвещеннее человек отдаст все силы восстановлению красоты и живых сил родной земли, так что вечно будут зеленеть леса, струиться чистые реки, радовать плодородием поля и цветущие луга...

Впрочем, о своих мыслях, взглядах и чаяниях в области взаимоотношений человека с природой Соколов-Микитов высказался много лучше и точнее, чем может сделать кто-либо за него. Выразительно и коротко, одним художественным образом. Размышляя о сути произошедших в деревне и сельском труде перемен, он сказал, что «человек увидел в земле не свою мать, а батрачку».

Выше уже говорилось, что Соколов-Микитов воспринял с молоком матери преданное отношение к окружающей природе, к дающей хлеб ниве, отношение, перенятое им у деревенских мужиков, которых узнал, как только

сознательно открыл глаза на мир. Именно они берегли и холили землю, говорили о ней с уважением, считали своей кормилицей. Это сыновнее отношение составляло нравственный стержень кретьянского мира, определивший его устойчивость; пороки и уродливость задевали поверхностно, основа позволяла пережить самые тяжелые периоды истории России. «Священное отношение к земле», как выразился писатель, составляет ту прочную традицию, на которой зиждется всякая национальная культура. Таким образом, взгляд на землю как на батрачку, или, на современном языке, потребительский, отражает коренное изменение психологии хлебопашца, которое Соколов-Микитов почитал чреватым опасными последствиями для природы.

Хочется привести здесь — пусть и всем известное, тысячи раз повторенное — тютчевское:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык,—

ибо из этого вышел Соколов-Микитов, умевший эту душу разгадать, уважать свободу, понимать язык и на любовь ответить взаимностью. И ему, ко всем книгам которого можно бы выставить эпиграфом признание того же поэта «Нет, моего к тебе пристрастья я скрыть не в силах, мать-Земля!» — ему конечно же виделась в таком крутом повороте, резком изменении отношения к земле прямая угроза незыблемости связей с ней, а значит, и всему будущему человечества. Из всех барьеров, удерживающих человека от хищнического использования ее даров, от жестокости к живым существам, пренебрежения красотой и целостью природы, нарушения ее гармонии и устойчивости, писатель считал наиболее надежным *нравственный* и всякая строка его деревенских рассказов подтверждает, что зиждется жизнь на формуле: земля — мать и кормилица!

В этом, на мой взгляд, непреходящее значение наследия Соколова-Микитова, большого русского писателя.

1982

QUERCUS ROBUR

К СТОЛЕТИЮ СМЕРТИ И. С. ТУРГЕНЕВА

От своих предков, потомственных душевладельцев Лутовиновых, Варвара Петровна Тургенева унаследовала характер властный и суровый. Ее должны были беспрекословно слушаться не только тысячи крепостных, бесчисленная дворня, но и собственные дети. Она требовала от сыновей полной покорности и лучшим средством воспитания почитала лозу. Писатель рассказывал, что его в детстве нещадно секли по всякому поводу, а иногда и «на всякий случай».

Усматривая в образовании надежный способ выдвинуться и заслужить достойные дворянина чины, отличия и награды, Варвара Петровна не жалела средств на учителей, гувернеров и заставляла сыновей усердно заниматься. Редкая начитанность и широта знаний, всегда отличавшие Тургенева, восходят как раз к его домашнему воспитанию и лишь пополнялись последующим слушанием лекций в Московском, Петербургском и Берлинском университетах.

Выглядит необычным для того времени стремление Варвары Петровны приучить детей к физической работе. Она принуждала балуемых сонмом раболепной прислуги барчуков копаться в цветниках и на огородах, сажать деревья в парке. И мы, спустя полтораста лет, признательны властной помещице за то, что было либо причудой, проявлением деспотической воли человека, чья мимолетная прихоть — закон для окружающих, либо истинным пониманием пользы раннего приобщения к труду на земле. Благодаря этому в нынешнем Государственном музее И. С. Тургенева в Спасском-Лутовинове, прежнем родовом гнезде писателя, в сотне шагов от бывшего барского дома, темнея раскидистой кроной, стоит красавец дуб, посаженный Иваном Сергеевичем в четырнадцатилетнем возрасте, в 1832 году.

Сменялись поколения, рушились — говоря высоким слогом — царства, настал век междоусобиц и нашествий, поисков новых путей устройства общества, вокруг Спасского-Лутовинова бушевала война, и в его парке рвались снаряды, а дуб уцелел. И мы, люди конца XX столетия, останавливаемся перед ним и невольно задумываемся.

Тургенев не оставил прямых потомков — среди нас нет его внуков и правнуков. Вся память о нем — в его книгах и

портретах. Да вот в выросшем из желудя, некогда закопанного им в лунку возле дома, величавом дубе — дереве, искони воплощавшем наши представления о несокрушимой твердости, царственности и вековых сроках жизни.

«Дуб Тургенева» заботливо обнесен оградой; с него и начинает большинство многочисленных посетителей Спасского-Лутовинова осмотр усадьбы. Может ли быть иначе? Перед глазами — пусть немой, но *живой* свидетель жизни одного из самых дорогих, понятных и близких русскому сознанию деятелей национального пантеона!

Ведь это тот самый дуб, о котором Тургенев писал в повести «Фауст»:

«Мой любимый дубок стал уже молодым дубом. Вчера среди дня, я более часа сидел в его тени на скамейке»[1]. Ведь это тот самый дуб, поклониться которому, как и саду, усадьбе, родине, Иван Сергеевич просил Я. П. Полонского в письме из Франции, когда уже предчувствовал, что болезнь не позволит ему самому приехать.

Ведь это тот самый дуб, что издалека виделся больному писателю образом милой, ставшей недосягаемой России... Той России, относительно «будущего преуспеяния» которой он был, как записал в 1839 году коротко знавший Тургенева его товарищ по Берлинскому университету, со студенческих лет «преисполнен самых идеальных взглядов и надежд»[2].

Когда умер Тургенев, дубу было пятьдесят лет. Не стало его хозяина, и для усадьбы писателя наступили тяжелые времена. Она попала в руки наследников, равнодушных к национальной славе. Из Спасского-Лутовинова стали вывозить мебель, библиотека расхищалась, закрыли тургеневскую школу, в богадельне для престарелых крестьян поселился урядник, пустели службы, редел запущенный парк. Дом стоял заколоченным, пока в 1906 году его полностью не уничтожил пожар. И лишь спустя три с половиной десятилетия после смерти Тургенева, уже не его наследники и владельцы усадьбы, а новые хозяева России принялись целеустремленно и с размахом за восстановление родного гнезда писателя.

Основой музея, открытого в 1918 году в Орле, в доме, национализированном у наследников Тургенева, стали

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч., т. 7. М., «Наука», 1964, с. 8.
[2] Тургенев в воспоминаниях современников, т. 1. М., «Художественная литература», 1969, с. 90.

сохранившиеся вещи, книги и мебель, вывезенные в разное время из Спасского-Лутовинова. А в сентябре 1921 года тургеневская усадьба под Мценском была объявлена государственным заповедником, который спустя шестнадцать лет, в 1937 году, был передан в ведение тургеневского музея в Орле. Сразу стали восстанавливать парк и строения: усадьбе должны были придать тот вид, какой она имела в 1881 году, когда Тургенев в последний раз побывал в родных местах,— такова была поставленная перед специалистами благородная и сложная задача. Безразличию дореволюционного русского общества к судьбе исторической усадьбы пришли на смену всенародные заботы о памяти любимого писателя.

Война прервала успешно налаженные работы. Оккупация оставила Спасское-Лутовиново разгромленным. Более полутора лет тургеневская усадьба находилась в непосредственной близости от фронта, кругом шли бои, разорившие округу. Но едва немцы были изгнаны из Орла в августе 1943 года, как были приняты меры к восстановлению музея. Приехавшая по распоряжению правительства комиссия Наркомпроса возвращает его имущество из эвакуации, намечает меры к восстановлению заповедника. И уже летом 1944 года он открывается для посетителей.

Нелегко себе представить, каких огромных усилий, знаний, средств, преданности делу и веры в конечный успех потребовало приведение Спасского-Лутовинова после военного разорения в его нынешний благоустроенный вид! Село было сожжено до последнего дома; аллеи парка перерыты окопами и блиндажами; спущен пруд, погибло более восьмисот вековых деревьев; на месте хозяйственных построек лежали груды кирпичей... Понадобились годы на подсаживание молодых деревьев, кустарников, на ремонт разрушенных и восстановление сожженных построек.

Реставрационным чудом представляется воссоздание главного дома усадьбы. Еще десяток лет назад на его месте виднелись в бурьянах остатки кирпичных фундаментов, очень приблизительно очерчивавшие контуры сгоревшего дома. Ныне же, ступив за ограду парка, видишь из-за лип въездной аллеи фасад дома с мезонином и верандой, украшенными деревянной резьбой, и полукруглую галерею. Такими они запечатлены на этюде маслом 1881 года Я. П. Полонского или фотографии 1883 года В. А. Каррика и простояли до пожара 1906 года. Потребовалось тщательное изучение архивов, старых планов и фотографий, мемуаров и другой литературы, чтобы реставраторы и строители воскре-

сили дом точно таким, каким Тургенев его покинул в 1881 году.

Интерьеры барского дома не меньше, чем его наружный вид, переносят в обстановку, погружающую в тургеневские времена. Длинная анфилада комнат обставлена старинной мебелью, стоявшей тут еще при матери Тургенева. Многие из его подлинных вещей возвращены на свое место: годы организации музея были и годами неустанных поисков. По документам и тщательно проверяемым устным свидетельствам и преданиям находили принадлежавшие усадьбе кресла, столы, шкафы, диваны, часы, картины, все то, что было отсюда вывезено и осело у разных лиц. Встал в той же комнате на свое прежнее место, у той же стены, что и при Иване Сергеевиче, знаменитый «самосон» — необъятный кожаный диван, обладавший, по словам его хозяина, волшебным свойством мгновенно погружать в сладкий сон любого прилегшего на его подушки...

О каждом предмете обстановки, о назначении и названии каждой комнаты, о распорядке дня в лутовиновско-тургеневском доме рассказывает, словно сам был гостем Ивана Сергеевича, директор музея Борис Викторович Богданов. Кто-то справедливо записал в книге отзывов, что, знакомя с музейной экспозицией, он создает иллюзию, будто друг хозяина встретил тебя в его отсутствие, взял под руку и повел по дому.

Борис Викторович отдал музею сорок лет жизни. Такой срок плодотворен, лишь когда приводит к постепенному гармоническому слиянию собственных устремлений, идеалов с интересами дела. Когда его успех воспринимается как собственный праздник. Надо услышать, как оживляется тихий и ровный голос Бориса Викторовича, когда ему доводится, рассказывая о делах музея, коснуться какого-нибудь удачного приобретения, находки, благополучного разрешения заботившего музей вопроса, чтобы сразу понять, чем живет этот скромный, такой знающий и трудолюбивый человек!

Ставшая призванием, естественной принадлежностью жизни преданность работе, делающая людей бескорыстными и обогащающая духовно, от Бориса Викторовича передалась, по-видимому, всему коллективу сотрудников музея: тут все с душой отдаются делу, радуются и горды успехами музея, огорчаются самыми пустячными шероховатостями в размеренном ходе его работы. Отлично поставлены в Спасском-Лутовинове прием посетителей и уход за экспозицией.

Книга отзывов пестрит благодарностями посетителей. Число их растет из года в год, как ширится и круг освещаемых экскурсоводами вопросов, связанных с жизнью и творчеством Тургенева. Их пропаганда входит в программу общественных начинаний, проводимых сотрудниками музея.

Растущая популярность тургеневского мемориала приобретает особо важное значение в наше время, когда наряду с утвердившейся всенародной любовью к литературному наследию писателя приходится улавливать в оценках его известную сдержанность, вызванную некоторыми обстоятельствами биографии автора «Записок охотника», истолковываемыми как свидетельство недостаточно горячей привязанности его к России.

По существу, это отголоски давних споров и столкновений мнений вокруг книг Тургенева, какие неизменно будоражили общественное сознание при своем появлении, вызывали резко противоположные оценки, сшибали народников и революционных демократов с либералами, славянофилов с западниками. Все это давно стало достоянием истории, а вот частые поездки Тургенева за границу и годы жизни во Франции еще служат аргументами в пользу приверженности писателя иноземному.

Тому, кто создал такие образы русских крестьян, как Хорь и Калиныч, Ермолай, Бирюк, написал «Бурмистра», «Певцов», «Муму», изобразил деревенских детей в «Бежином луге» — словом, оставил своей стране «Записки охотника», нет надобности, даже если бы одной этой книгой ограничился его вклад в литературу родины, заявлять о своей привязанности к ней, сочувствии народу, о понимании его духа и характера, о том, что он всегда на стороне тех, кто угнетен и бесправен, терпит от несправедливых порядков.

Тургенев не давал, подобно юным Герцену и Огареву, Ганнибалову клятву на Воробьевых горах, не объявлял торжественно, что посвящает жизнь борьбе за раскрепощение крестьян, но включился в нее с первых самостоятельных шагов. Он словом и делом не только содействовал их освобождению, но всю жизнь настойчиво и последовательно ратовал за развитие народного просвещения и земских учреждений, был одним из учредителей общества по ликвидации неграмотности, подавал правительству проекты реформ для улучшения быта крестьян, чем и как мог помогал воспитывать в людях чувство собственного достоинства, при-

общать широкие слои к культуре, выкорчевывать безгласность и раболепие перед начальством.

Младший друг Тургенева, литературный критик П. В. Анненков, очень верно и глубоко определил те обстоятельства биографии писателя, которые дали повод некоторым его современникам и не слишком вдумчивым мемуаристам, как и позднейшим истолкователям его творчества, приписать ему приверженность культуре Запада в ущерб симпатиям к России и даже его патриотизму. Анненков писал в своих воспоминаниях:

«Питая врожденное отвращение к насилию, получив от природы ненависть к попранию человеческих прав, Тургенев мстил господству крепостничества в нравах и понятиях тем, что объявлял себя противником, без разбора, всех коренных, так называемых основ русского быта. Он потешался над благоговейным отношением Москвы к некоторым излюбленным квази-началам русской истории»[1].

В этом несколько отвлеченно сформулированном высказывании осторожного Анненкова мне видится ссылка на уваровскую формулу официального патриотизма: «самодержавие, православие, народность», неприемлемую для Тургенева, с ранних лет постигшего ее фальшь и реакционную суть. Те, кто под вывеской любви к отечеству отстаивал существующие порядки, призывал держаться патриархального уклада, учил нерассуждающей покорности, этим преграждая путь прогрессу и просвещению, не прощали писателю его просветительской деятельности и выступлений в пользу реформ, обвиняя его в равнодушии к «истинно народным началам» и недостатке патриотизма.

Подчеркнем, что Тургенев никогда не был нерассуждающим, слепым патриотом, огульно расхваливающим свое и хулящим иноземное, не проявлял преклонения перед отсталыми формами жизни и быта своей страны. Это был прежде всего просвещенный, дальновидный патриот. Он проницательно узнавал под любой вывеской устарелое и косное, дремучее и объявлял ему бой. Тому свидетельство — жаркие споры и диспуты между охранителями и прогрессивной частью общества, какие вызвали его романы: равнодушных не оставалось. Тургенев обладал редким даром угадывать и отражать в своих произведениях едва назревавшие в обще-

[1] Тургенев в воспоминаниях современников, т. 1. М., «Художественная литература» 1969, с. 103.

ственном сознании сдвиги и перемены, предвидеть их последствия и влияние на дальнейший ход жизни.

Тургенев как-то признавался, что ему не удалось бы написать «Записок охотника», если бы он оставался в России,— надо было окинуть издали необъятную панораму жизни дореформенной деревни, вглядеться в нее на расстоянии, чтобы не застили ее мелочи, и создать обобщенную полную картину. Так художник во время работы отходит от своего холста, чтобы удостовериться — гармонично ли выписаны подробности, не нарушает ли какая-либо из них общности композиции.

Как камешки в мозаичном панно, каждый рассказ «Записок охотника», заняв в них свое место, составляет дополняющий общую картину фрагмент, подчиненный единству замысла. Небольшая книга сделалась летописью крепостной деревни, отразила целый пласт народной жизни... Вспомним, что другой великий художник — Гоголь — уезжал за границу, чтобы «из прекрасного далека» лучше и зорче охватить общую картину России, не искаженную частностями и мимолетными впечатлениями: «Мертвые души» писались в Риме.

Зато свои романы, посвященные злободневным общественным явлениям, Тургенев писал в Спасском-Лутовинове. Тут он становился публицистом, и ему нужно было чувствовать вокруг себя кипение жизни, видеть своих героев, общаться с ними, дышать накаленным воздухом политических и литературных баталий, быть в гуще событий.

И в эти периоды он сетовал на обстоятельства, не позволявшие вернуться в Россию. В его письмах то и дело звучат ностальгические нотки, он как о недосягаемом счастье мечтает о родных местах. Приведу несколько относящихся к разным годам высказываний писателя: они достаточно красноречивы и в комментариях не нуждаются.

«Все, что я вижу и слышу — как-то теснее и ближе прижимает меня к России, все родное становится мне вдвойне дорого — и если бы не особенные, от меня уж точно не зависящие обстоятельства — я бы теперь же вернулся домой»[1].

«Начинаю знакомиться с новыми французами — но мало нахожу в них вкуса — и только думаю о возвращении весной в возлюбленный Мценский уезд. То-то мне будет приятно

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Письма, т. 3, с. 315. (Здесь и далее письма цитируются по этому изданию.)

увидеть эту старую дребедень, лучше которой все-таки нет ничего на свете для нашего брата, степняка. Егорьев день, соловьи, запах соломы и березовых почек, солнце и лужи по дорогам — вот чего жаждет моя душа!»[1]

«Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое всякий раз овладевает мною, когда я с высоты Висельной горы открываю Мценск? В этом зрелище нет ничего особенно пленительного,— а мне весело. А это и есть чувство родины»[2].

«Пишется хорошо, только живя в *русской* деревне. Там и воздух-то как будто «полон мыслей!»... Мысли напрашиваются сами»[3].

Тот же Анненков приводит отрывок из письма Тургенева от 22/10 июня 1859 года из Виши, в котором тот писал: «Все французское для меня воняет»[4].

И там же читаем:

«Кстати заметить, что он был далек в это время (1859 год.— *О. В.*) от поклонения гению Франции и, напротив, не признавал за ним и тех заслуг, какие оказывали европейской цивилизации ее лучшие умы».

Было бы ошибочно ставить большому художнику или поэту «каждое лыко в строку»: не всякому их высказыванию следует придавать значение и, тем более, делать из него обобщающие выводы. Мало ли что говорится сгоряча, в горькую минуту, в запальчивости спора, под влиянием преходящих обстоятельств! Нет, разумеется, все французское далеко не всегда «воняло» Тургеневу, как грубовато выразился в раздражении писатель: он отлично умел различить и оценить то дельное или высокое, что внесли французы в развитие культуры и искусств, в прогресс общественных форм и т. д. Но, вникая в господствующие у писателя настроения, взвешивая его высказывания и подводя итог его деятельности, мы вправе решительно отмести сомнения в том, что когда-нибудь, в любой период жизни, какие-либо привязанности или увлечения отторгали его от любви к своему народу, от сознания своего долга перед родиной. И оказавшись из-за чувства, в известном смысле рокового, при-

---

[1] Тургенев И. С. Полн. собр. соч. Письма, т. 4, с. 191.
[2] Там же, с. 315.
[3] Там же, т. 7, с. 186.
[4] Тургенев в воспоминаниях современников, т. 1. М., «Художественная литература», 1969, с. 292.

вязанным на всю жизнь к знаменитой Полине Виардо — гениальной драматической актрисе, обладавшей вдобавок пленительным голосом, Тургенев, и пристраивая свою одинокую жизнь к ее очагу, переживал глубокое раздвоение: было невозможно не жить вблизи любимой женщины, между тем как русская душа влекла в родные места.

Под конец жизни тоска по ним превозмогла все остальное: существуют убедительные доказательства того, что года за три до смерти Тургенев твердо решил навсегда возвратиться в Россию и стал свой переезд приготавливать.

Его письма этого периода полны забот о благоустройстве и поновлении Спасского-Лутовинова: дом, службы, цветники, парк — обо всем упоминал Тургенев, давая точные указания, где, как и что сделать. И только смертельная болезнь не позволила писателю осуществить свое намерение: ни заново обставленные и отделанные комнаты, ни рабатки с любимыми цветами, ни выстроенная оранжерея так и не дождались своего хозяина...

Нет, разумеется, любовь к Полине Виардо не поработила Тургенева Западу. Наоборот, оказавшись за границей, он не только сильнее ощутил свои русские корни, но и почувствовал себя там полномочным представителем культуры своей страны. Известный русский историк и социолог академик М. М. Ковалевский писал в своих воспоминаниях:

«Живя по личным причинам в Париже, он в то же время служил русским интересам. Мы назвали его шутя «послом от русской интеллигенции». Не было русского или русской, сколько-нибудь прикосновенных к писательству, живописи или музыке, о которых так или иначе не хлопотал бы Тургенев»[1].

Об этих хлопотах Тургенева нет надобности говорить — они общеизвестны. Непостижимо, сколькими нитями он, проживая в Париже или Баден-Бадене, оставался связанным с жизнью России. Прочитывая едва ли не все русские журналы, он отмечал любое проявление таланта, иногда по первой публикации спешил рекомендовать вниманию друзей-редакторов и писателей еще вовсе темное имя. Дверь его парижской квартиры была широко распахнута для всех при-

[1] Тургенев в воспоминаниях современников, т. 1. М., «Художественная литература», 1969, с. 23.

езжих из России — будь то политические эмигранты, начинающие литераторы, учащиеся, праздные туристы: он принимал всех и всегда старался оказать помощь.

Тургенев не уставал знакомить западных читателей с русской культурой — переводил сам, находил переводчиков, публиковал статьи о произведениях своих современников, выдающихся русских писателей. Систематическое и все расширяющееся знакомство Западной Европы и Америки с нашей литературой началось именно с Тургенева. Тут писатель бывал неутомим, широк и никогда не считался с личными симпатиями к автору, если популяризация его произведений за рубежом служила росту престижа русской культуры.

Несомненно и то, что пребывание Тургенева за границей послужило на пользу и самому писателю. Не следует забывать, что в Тургеневе, начитанном и образованном как никто, все же сидел избалованный русский барин, не чувствовавший ответственности перед своим призванием, склонный относиться к литературным занятиям как к приятному провождению времени.

Смотреть серьезно на свое дарование, начать профессионально работать его заставила новая среда, та роль «посланника русской интеллигенции», о которой писал Ковалевский. Близость с семьей Виардо ввела молодого литератора с барскими привычками в элитный круг мировых столиц. Салон супругов Виардо, где бы они его ни открывали — в Париже, Лондоне или Берлине,— посещали все знаменитости: выдающиеся писатели и поэты, музыканты, художники, актеры — мастера и знатоки своего дела. И это обязывало: пасовать перед ними было нельзя! Благодаря широте познаний, блестящему владению языками, общей талантливости да и природным данным — эффектной внешности, обаянию, остроумию, Тургенев всюду, будь то музыкальные вечера Виардо, светские салоны или дружеские ресторанные встречи с избранными собратьями по перу, привлекал внимание и первенствовал.

Достаточно ознакомиться с отзывами зарубежных коллег и друзей Тургенева, с его обширной перепиской с иностранными переводчиками и критиками, чтобы убедиться в их высоком мнении об Иване Сергеевиче, поражавшем их не только эрудицией и блеском ума, но и своей доступностью, доброжелательным отношением к людям. Всем всегда импонировала подлинная демократичность этого русского барина, не знавшего сословной спеси и предрассудков. Трудно на-

звать другого русского деятеля, который бы так высоко поднял значение и авторитет нашей культуры за рубежом, как Тургенев...

Вечерний ветер едва шелестит в густой листве тургеневского дуба. В опустевшем после дневного оживления парке смолкают птичьи голоса. Исподволь надвигающиеся легкие тени летней ночи придают призрачность очертаниям деревьев, проглядывающему в промежутках между липами силуэту молчаливого дома...

Так было, вероятно, и много-много лет назад в опустевшей после смерти хозяина усадьбе. Ни единого огонька в длинном ряде затворенных окошек, никого на поросших травой аллеях...

Нетрудно себе представить и задумавшегося на скамейке под любимым дубом хозяина — еще молодого человека, роящиеся у него в голове мечты и планы. Он тогда только приступил к выполнению предназначенного ему судьбой труда, прочно легшего в основание отечественного литературного достояния. Миновало столетие, как нет писателя, а все так же свежи и благоуханны его «Записки охотника». Их поэзия и человечность не подвластны времени... А со страниц «Дворянского гнезда», «Отцов и детей», «Накануне», «Первой любви», «Аси», других его романов и повестей возникают пленительные, неувядаемые образы русских девушек, которых мы называем «тургеневскими»...

Между тем мы живем в мире, отделенном неизмеримой пропастью от героинь Тургенева и его времени: сместились представления и оценки, порой нам кажутся мелкими и суетными волновавшие их чувства и надежды, наивными представления. Но несравненная художественная высота тургеневских произведений сделала их бессмертными: его книги будут читать наши далекие потомки, по ним будут выверяться литературный вкус и достоинства слога и языка произведений наших соотечественников, доколе будет жив «наш великий, могучий и свободный русский язык!».

...Я пристально разглядываю раскинувшуюся над головой крону тургеневского дуба: ни одного отсыхающего, мертвого сука, нет поредевшей, вялой листвы. Сквозь ее темную толщу не увидишь и клочка еще светлого неба. Дерево прикрыло сплошным шатром землю на площадке диаметром в добрых двадцать шагов. Плотной корой, как

непроницаемым панцирем, одет ствол в два обхвата — от дуба исходит великая сила природы, преодолевающая годы. Он живет уже полтораста лет, будет стоять и дальше, отмечая медленный ход столетий, и передаст далеким векам живую память о великом художнике.

Дуб еще разрастется, шире раскинет искривленные тяжелые суки. Его корни еще глубже и крепче врастут во взрастившую его землю, выпестовавшую и великий талант Ивана Сергеевича Тургенева, полностью отданный им на служение своему народу.

1983

НЕМЕРКНУЩАЯ ПАМЯТЬ

Ф. И. ШАЛЯПИН

«...Я присутствовал на этом митинге и хорошо помню грандиозную, восторженную овацию, устроенную ему рабочими, забившими зал театра до отказа.

А он, взволнованный, с красным знаменем в руке, мощно пел — бисируя — еще и еще слова своего гимна:

К оружию, граждане, к знаменам...»

Эти строки из рассказа о концерте-митинге Преображенского полка в Мариинском театре 27 марта 1917 года принадлежат Василию Яковлевичу Яковлеву, бывшему плотнику сцены знаменитой Мариинки, ныне благополучно здравствующему и проживающему в своей родной деревне Голубково, Лужского района, Ленинградской области...

Не удивительно ли, когда стали так далеки от нас времена Шаляпина и Мариинского театра, что кажется — только в старых публикациях с пожелтевшими страницами можно найти живые о них отклики, вдруг услышать голос очевидца, взволнованные слова человека, способные открыть новые грани и дополнительные черточки, обогащающие наши представления о величайшем русском артисте?.. Чтобы такое произошло, непременно нужны люди особой складки — увлеченные, посвящающие бесчестные усилия и время кропотливому собиранию сведений и материалов о захватившем их предмете, коего исподволь они становятся подлинными знатоками.

О театральном плотнике Яковлеве, проработавшем двенадцать лет — с 1906 года — в Мариинском театре и превосходно помнящем Шаляпина, мне рассказывал Владимир Иванович Павловский, инженер-строитель, москвич, которого я знал по его авторитетным заключениям и обследованиям памятников архитектуры в Центральном совете Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Он оказался из той самой породы «одержимых» — преданным и увлеченным поклонником Шаляпина. Его неутомимым поискам я обязан сообщаемыми фактами из биографии нашего певца. Сведения о гимне, сочиненном и исполненном Федором Ивановичем в упомянутом концерте, почерпнуты именно из общения В. И. Павловского с В. Я. Яковлевым.

Подростком-старшеклассником мне приходилось слышать и видеть Шаляпина, и потому всякие о нем рассказы и воспоминания накладываются на личные впечатления и с удивительной четкостью и полнотой воскрешают в памяти все, что заставлял переживать зрителей этот, быть может, не имеющий себе равных чародей сцены. И спустя семь десятилетий до мелочей вспоминается, как замирал со всем залом в момент, когда внезапно возникал перед Фаустом вызванный им из преисподней бес — гибкий и могучий, коварный, обольстительный и насмешливый сатана. И какой жутью веяло от немой сцены во «Вражьей силе» Серова, когда Еремка — Шаляпин, в зипуне и лаптях, мелкими шажками семенил под окошками трактира, где совершалось им же подстроенное убийство... Как на всю жизнь, из всех где-либо виденных — на картинах, в книгах, скульптурах — образов Дон Кихота, запечатлелся один, шаляпинский, в опере Массне. Как до сих пор, слушая знакомые басовые арии из опер в разном исполнении, вспоминаешь и сравниваешь, как пел их Шаляпин... И если к этому добавить, что всего пришлось слышать Шаляпина со сцены считанное число раз — в Мариинский театр на спектакли со знаменитостями взрослые ходили обычно без детей, и мы, гимназисты, выстаивали очереди в кассе, доставая билеты на гастроли Шаляпина в Народном Доме на Кронверкском проспекте, что удавалось крайне редко,— то еще поразительнее выступит сила воздействия шаляпинского гения.

Вот почему мне легко себе представить, как артист, приехав в тот вечер в театр, сразу почувствовал приподнятое настроение необычной для Мариинки публики. Только что пало самодержавие, над Россией возникли свежие ветры, повеяло долгожданной свободой, и в зале сидели воспрянувшие духом, расправившие плечи люди... Им нельзя было преподносить старый репертуар, а надо было дать что-то новое, отвечающее их окрыленности событиями... В голове Шаляпина мелькнули обрывки «Марсельезы», в ушах зазвенела мелодия, возникли образы,— и он тут же, в своей уборной, на клочках бумаги набросал куплеты гимна...

К оружью, граждане, к знаменам,
Тиранов жадных свергнем гнет!
Во славу русского народа
Пускай презренный враг падет!
К оружью, граждане, к знаменам,
Свобода счастье нам дает...
Во славу русского народа
Пусть мир на землю снизойдет!

К оружью, граждане, к знаменам,
Знамена красные вперед!
Во славу русского народа
Пусть мирно пахарь наш живет!
К хоругвям, граждане, к хоругвям,
Вечную память возгласим...
В борьбе погибшим за свободу —
Друзьям-товарищам своим!

«...Да так подчеркнул слова «пусть мирно пахарь наш живет», что в зале многие солдаты с мест повскакали,— вспоминает Василий Яковлевич,— аплодируют, кричат, плачут и, не стесняясь слез, утирают лицо... Ведь слова о мире — желанном мире — попали в самую точку, в сердце людей, жаждущих мира...»

Это выступление Шаляпина пришлось на дни — снова привожу слова Яковлева — «всеобщего психоза буржуазных газет и демонстраций по улицам Петрограда офицеров, юнкеров, студентов с военными лозунгами «Рабочие — к станкам, солдаты — в окопы!», «Война до полной победы! Германию — разбить!», «Дарданеллы — проливы — забрать!»... И потому большинство газет замолчали это его выступление, и гимн Шаляпина считается затерянным и забытым. Но я, рабочий человек, старик уже, запомнил слова, что пел Ф. И. Шаляпин на этом митинге...»

Василий Яковлевич бережно хранит карточку с автографом Шаляпина, подаренную ему артистом в память участия в осуществленной им самим постановке «Хованщины». Да и кто из нас не берег бы такую реликвию о человеке, что «являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ! Вот плоть от плоти его человек, своими силами прошедший сквозь тернии и теснины жизни... чтобы петь всем людям о России, показать всем, как она — внутри, в глубине своей — талантлива и крупна, обаятельна...» (Горький).

И ныне, когда близится столетний юбилей Ф. И. Шаляпина — он наступит совсем скоро, 1 февраля 1973 года,— мы разделяем заботы и чаяния его поклонников, как прижизненных, так и тех, кто знает о его бессмертном творчестве по наборам пластинок с вдохновенным словом о нем Ираклия Андроникова. Это столетие будет отмечать весь мир, но для нас важно, чтобы достойнее и значительнее всего шаляпинская память была отмечена на его родине, искусство которой он прославил небывало, на долгие века.

В квартире Шаляпина в Ленинграде, на Пермской улице, уже освобожденной от жильцов, идет ремонт — в ней будет размещен музыкальный лекторий его имени.

В Москве давно ощущается необходимость в шаляпинском музее. Приближающийся столетний юбилей делает как будто его открытие неминуемым: именно с Москвой связаны восход и сверкание этой звезды первой величины русского искусства, и сюда съедутся со всего мира почитатели великого таланта. Думается, милее всего для его памяти и наиболее ответило бы общему чувству учреждение музея в доме Шаляпина «под Новинским» — на улице Чайковского, где он жил с 1910 года. В. И. Павловский, детально обследовавший этот дом, в котором сохранились помещения, зал с лепным потолком, декор фасада, выдвинул легко осуществимый проект его реставрации и перестройки двухэтажного крыла, требующего капитального ремонта, под зал лектория.

Посетители музея увидят подлинную обстановку жизни Шаляпина; комнаты, где он репетировал свои роли, а затем создал студию, из которой вышел, как известно, ряд выдающихся мастеров сцены.

ИЗ ИСТОРИИ СТАРОГО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Теперь, когда думаешь о времени основания Московского университета, кажется чудом, как в те годы — при тогдашних обстоятельствах и порядках — могло учредиться столь отвечающее национальным интересам начинание. И такое прочное, что никакие позднейшие попытки власти не могли умалить его самостоятельности и истребить заложенные в нем идеи общенародного служения.

В те годы, когда свежа была память о бироновщине — сам герцог Курляндский еще дожидался своего часа в ярославской ссылке; когда после Миниха и Остермана всплыл авантюрист Лесток и был влиятелен при русском дворе посол Людовика XV неумный и честолюбивый маркиз де ла Шетарди; когда «де съянс академи» было прочно в руках немецких ученых и немецких невежд. Когда современники помнили уплывавший по весне с невским льдом полурастаявший ледяной дом, в котором, на потеху царице и ее двору, игралась свадьба полузамерзшего придворного шута князя Голицына, и еще не забыли, как «правительница России», непричесанная и неприбранная, с утра до вечера играла в спальне со своими шутами в «дурачка», предоставив ненасытным временщикам наперегонки разорять поборами целые уезды и, по «слову и делу», ее именем расправляться с русскими людьми по подозрению в замыслах против их всевластия. Когда, наконец, все непререкаемее утверждались сословные различия и власть роковых слов: «Быть по сему»...

В том, что именно в эту глухую пору, почитавшуюся некоторыми позднейшими историками «самым бедственным временем в истории Российского государства», был основан, как тогда выражались, «рассадник просвещения, открытый с первых дней для всех сословий, включая и податные (кроме крепостных, не получивших вольную), наделенный вольностями и начавший борьбу за самостоятельность и достоинства русской науки и русской мысли,— во всем этом следует, думается, видеть проявление сил здоровой нации, самосознания, покоящегося на длительных преемственных связях с прошлым, достаточно прочных, чтобы выстоять лихолетье.

Возникновением Московского университета Россия обя-

зана трем русским людям: Михаилу Васильевичу Ломоносову, Ивану Ивановичу Шувалову и дочери Петра I Елизавете.

В наше время, если зайдет речь о Московском университете, беседующие непременно представят себе поднявшиеся над городом шпили и башни своеобразного пятиглавия нового здания на бывших Воробьевых горах. И только потом вспомнят старый университет, вытянувший величественные свои фасады против Кремлевской стены на прежней Моховой улице, обращенной к площади. Однако здания, которые мы видим теперь, воздвигнуты много позднее даты основания Московского университета. Ею считается 25 января (12 января старого стиля) 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии в Москве университета.

Указу предшествовала длительная подготовка. Уже 19 июля 1754 года сенат получил «доношение» Ивана Ивановича Шувалова, пользовавшегося тогда большим влиянием у царицы. В «доношении» он обосновывал необходимость открытия университета в России, дабы избавиться от нужды приглашать ученых и специалистов из-за рубежа.

Почему первый университет в России было решено открыть в Москве, а не в Санкт-Петербурге, властно присваивавшем себе ведущее положение во всех областях деятельности? Молодая столица не могла отнять у Москвы значения центра всей России, на что и указывал Шувалов в своем «доношении». «Великое число живущих в Москве дворян и разночинцев, положение ее в сердце Русского государства, а также дешевые средства к содержанию, обилие родства и знакомств у студентов и учеников, как и великое число домашних учителей, содержимых помещиками в Москве», предрешали, по его мнению, выбор города. К тому же попытка открыть университет при Академии наук в Петербурге окончилась полной неудачей, которую Ломоносов отчасти объяснял стремлением академической канцелярии не допускать к обучению разночинцев. Как бы то ни было, ограниченные цели онемеченной петербургской академии не отвечали общенациональным, почвы для создания в Петербурге просветительного учреждения еще не было, тогда как в Москве уже существовали предпосылки, сулившие успех предприятию. Одной из них, бесспорно, было существование открытой в конце XVII века Славяно-греко-латинской акаде-

мии, заложившей подобие основ высшего образования: в ней преподавались «семена мудрости», под которыми разумелись в то время науки гражданские и духовные. И было это образование общедоступным: в академию принимали выходцев из посадских и крестьян. Обучались в ней, помимо Ломоносова, и другие видные деятели русского просвещения: достаточно назвать окончивших курс Славяно-греко-латинской академии Леонтия Магницкого, Тредиаковского, Крашенинникова, Антиоха Кантемира.

Открытие университета было предрешено, и еще до подписания указа отвели для него помещение. Выбор пал на Аптекарский дом — обширное, трехэтажное, с вышкой и пышным фасадом во вкусе второй половины XVII века здание. Стоял Аптекарский дом на месте нынешнего Исторического музея. В нем помимо Аптекарского приказа находилась австерия, помещения которой были переделаны в актовый зал. Там и произошло торжество открытия университета 26 апреля 1755 года. Отпраздновали это знаменательное событие с подобающей торжественностью, пантомимами и фейерверками, бывшими тогда, с легкой руки Петра, в моде.

И сразу обнаружилось, что «пожалованный для университета близ Никитских ворот дом как местом, так и построенными покоями тесен». Наступил довольно долгий период постепенного разрастания университетских помещений за счет покупки или аренды частных домов, ходатайств об отпуске денег на новое здание. Вплоть до восьмидесятых годов XVIII века университет продолжал жить утесненно, что препятствовало расширению его деятельности. Правда, университет еще в 1756 году завел свою типографию, содержал две гимназии для учеников, увеличил штат профессоров, но количество слушателей росло, и это заставляло все настойчивей испрашивать средства для возведения нового здания. Наконец в 1783 году был утвержден проект Матвея Казакова.

В то время кое-кому в Москве хотелось вывести университет за черту города: предполагалось основать «достойную его храмину» на Воробьевых горах. Сторонники этого плана обосновывали его отчасти тем, что там «нет утеснения и ограничения, во всем помешательства, происходящего от обыкновенного в городе шума».

Именно для университета на Воробьевых горах составил проект Василий Баженов, но возобладало мнение тех, кто хотел обосновать «храмину науки» в сердце столицы. Проект был отвергнут, отчасти, правда, из-за вмешательства не-

долюбливавшего архитектора могущественного Прокофия Демидова, особенно много жертвовавшего тогда на постройку и содержание публичных учреждений Москвы. Казне было невыгодно с ним спорить. Была приобретена усадьба князя Репнина на углу Большой Никитской и Моховой улиц со смежными владениями, где и сложился со временем ансамбль Московского университета.

Занятый на постройке сената в Кремле, Казаков приступил к сооружению университета в 1786 году и завершил его через семь лет — в 1793-м. Уже тогда московскими зодчими было задумано полукольцо центральных площадей, которые составили бы ядро города. Университет должен был, по мысли Казакова, обрамлять выход Большой Никитской (ныне улица Герцена) к Кремлю. На другом конце задуманной площади, против предусмотренных генеральным планом 1775 года прудов на реке Неглинной, стоял высоко вознесенный над ними дом Пашкова (ныне здание Библиотеки имени Ленина).

В этой цепи парадных площадей, охватывающих Кремль с северо-запада, новое здание университета должно было стать одним из опорных сооружений намеченной тогда архитектурной системы Москвы.

Следует подчеркнуть, что Москва конца XVIII века при всем ее неблагоустройстве была одним из живописнейших и непревзойденных по своеобразию городов своего времени именно благодаря умелому сочетанию новой и исторически сложившейся застройки. В этом — бесспорная заслуга Матвея Казакова и его школы. Московские зодчие стремились упорядочить планировочную систему развивающегося города, сообразуясь при этом с архитектурной ролью отдельных зданий в общем городском пейзаже. Если в генеральном плане Петербурга середины XVIII столетия отражено желание открыть панораму Невы, то Казаков и его последователи стремились показать Кремль во всем его великолепии.

Говоря о роли Матвея Казакова в застройке Москвы, нельзя не упомянуть его «фасадического» плана города, над которым он работал в последние годы жизни. Этим планом зодчий хотел закрепить классический облик Москвы, увиденной с высоты птичьего полета. Это широко задуманное дело (Казаков предполагал издать около двухсот таблиц большого размера аксонометрических планов главных ансамблей и зданий города) не было доведено до конца из-за недостатка средств (казна скупилась, первую таблицу Казаков

гравировал за свой счет) и смерти самого архитектора, бывшего душой всего начинания.

Рассматривая многочисленные чертежи казаковского проекта университета — архитектором было сделано последовательно три варианта,— видишь, как он постепенно упрощал композицию, отказывался от декоративной скульптуры, богатого оформления центрального портика и все больше развертывал фасад, отвечавший идее площади, открытой к Кремлевской стене. В результате Казаков создал величественное монументальное здание строгих и простых форм. Придерживаясь планировки усадебного типа, он отодвинул в глубь двора П-образное здание с маловыступающим восьмиколонным портиком, несущим высокий аттик, и плоским куполом в центре.

Однако знакомое нам здание старого университета на углу улицы Герцена — уже далеко не то, что построил Казаков. Московский пожар оставил от него одни стены. От всех университетских зданий (а к 1812 году они, разросшись, занимали целый квартал) уцелели только больница, один жилой флигель да находившаяся на отшибе, у Страстного монастыря, типография. Особенно пострадало главное здание, сгоревшее снизу доверху. В огне погибли архивы, книжное собрание, коллекции, все научные материалы университета.

Пожар университета современники почли всенародной утратой. Знакомясь с воспоминаниями о том времени, видишь, как близко к сердцу восприняло русское прогрессивное общество гибель «рассадника просвещения». И стало помогать его восстановлению настолько деятельно, что уже в следующем, 1813 году 1 сентября удалось возобновить занятия. Еще раньше открылась университетская типография: 23 ноября 1812 года вышел после перерыва очередной номер «Московских ведомостей» — газеты, издаваемой университетом. Пожертвования стекались со всех сторон. Помимо денег, университету отдавали библиотеки, коллекции, гербарии, кабинеты минералов. Подхваченные модным общественным течением, раскошеливались заводчики и помещики, помогавшие строительными материалами.

Министерство просвещения, однако, не спешило: целых четыре года университет ютился в уцелевшем от пожара доме, нанятом у купца Заикина, и в других случайных помещениях по соседству, пока не приступили к восстановлению сгоревших зданий. Работами, начатыми в 1817 году, руководил Дементий Жилярди. Он внес значительные изменения в

постройку Казакова, поднял среднюю часть здания почти на три сажени, укрупнил оконные проемы, переделал фасады и купол.

Вглядываясь в здание Жилярди — простое до суровости, скупо украшенное, но такое пропорциональное, с его монументальным, величественным портиком, и сравнивая его с казаковским университетом, осязаемо чувствуешь смену эпох, наступившую тягу к предельному упрощению форм и античным образцам. Особенно впечатляет фронтон дорического ордера, точно принадлежащий древнегреческому храму. Что ж, тогда и говорили об университете, как о храме науки!

Жилярди мало изменил внутреннюю планировку, полностью сохранил тыловой фасад здания. В те годы были заново построены здания аптеки, медицинского института и анатомического театра. Автором этих работ считается брат Афанасия Григорьева — Дормидонт, оставивший поразительного совершенства чертежи и рисунки: в этом он, пожалуй, не уступал брату! Числился Дормидонт Григорьев «из вольноотпущенных», как и Афанасий.

Произведенное Жилярди укрупнение здания обуславливалось новым окружением: был выстроен Манеж, Бове закладывал ансамбль Театральной площади, против Кремля вытянулись длинные фасады новых Торговых рядов, обозначились иные масштабы городской застройки. Восстановление главного корпуса и крыльев университета заняло два года. Однако строительство на этом не закончилось: дальнейшее его обстраивание продолжалось, в сущности, на протяжении всего XIX века. В царствование Николая I была осуществлена переделка зданий по другую сторону Большой Никитской, возведенных на месте прежней усадьбы князя Барятинского. Архитектору Тюрину принадлежит постройка университетской церкви св. Татьяны, где ныне помещается студенческий клуб. Она была освящена в 1837 году.

Если ныне хорошо известно, что до революции Татьянин день — 25 января (12 января старого стиля) был студенческим праздником во всей России, то меньше знают, почему именно эта святая сделалась патроном университета, а потом и всех высших учебных заведений. Чтобы рассказать об этом, придется вернуться к далеким дням основания Московского университета.

Справедливо считать идейным вдохновителем создания университета Ломоносова: кипучий и настойчивый, он заражал окружающих своей верой в предпринимаемое дело,

смело опровергая противников и недоброжелателей. Именно им были разработаны планы и программы обучения, структура университета, он подобрал первых русских профессоров, составил записки, легшие в основу упомянутого «доношения» Шувалова и указа правительства. Однако осуществление замыслов Ломоносова, практическая организация дела принадлежат его всегдашнему другу и покровителю И. И. Шувалову, по заслугам прослывшему просвещеннейшим человеком своего времени. В эпоху создания университета Шувалову, родившемуся в 1727 году, не было и тридцати лет, но он имел большое влияние на Елизавету и, не в пример попадавшим «в случай» людям, употреблял его не в целях личного обогащения и карьеры. Он принадлежал к скромной по происхождению и достатку семье и до смерти не стяжал себе богатства, в отличие от родственников своих и однофамильцев, особенно генерал-фельдмаршала Петра Ивановича Шувалова. Тот получил графский титул и сделался несметно богат не только благодаря милостям царицы, но и вымогательствам, к которым прибегал с беспримерной для тогдашних нравов наглостью, прибирая к рукам то доходы соляного налога, то промыслы на Белом море: граф умер, задолжав казне более одного миллиона рублей.

Иван Шувалов ценил более всего свою репутацию русского мецената и покровителя наук. Помимо Ломоносова, ему многим обязаны Фонвизин, Херасков, Богданович... «Шувалов всегда бескорыстен,— писал о нем современник,— действовал мягко и со всеми ровно и добродушно». От титула и обширных поместий, предложенных ему Елизаветой, Иван Шувалов отказался, как и от медали, которую она хотела выбить в его честь.

Нет ныне основания гадать, руководили ли им тщеславие или истинное понимание значения наук и искусств: положительные следствия его деятельности очевидны. Судя по переписке Шувалова, его высказываниям и воспоминаниям современников, он был недюжинным русским человеком, патриотом, боровшимся с иноземным засильем и поставившим себе целью «насадить отечественные музы и промыслы».

Разумеется, в указе об учреждении университета ни словом не упоминается Ломоносов, заслуга создания приписывается одной инициативе Шувалова, названного в нем «изобретателем того полезного дела». И лишь в наш век, в 1911 году, в двухсотлетие Ломоносова, профессор Московского университета М. Н. Сперанский впервые выдвинул

великого ученого на подобающее ему место. Нам теперь известно, что если Шувалов ходатайствовал об «учреждении в Москве университета для дворян и разночинцев, по примеру европейских, где всякого звания люди свободно наукою пользуются», то внушил ему эти слова Ломоносов. Именно его опыту и усилиям университет обязан предоставленными правами и привилегиями, скопированными с устава ломоносовской альма-матер в Гейдельберге.

Шувалов дал подписать царице указ в день именин своей матери — Татьяны, дабы тем связать с ним успешное завершение своих замыслов и назначение куратором университета. Этот высокий пост приравнивал его по положению к графу Алексею Разумовскому, президенту Академии наук, с влиянием которого при дворе Шуваловы соперничали.

Как я уже упоминал, университет открыли 26 апреля 1755 года, и этот день был университетским праздником, пока Николай I в 1835 году не повелел перенести его на 25 января — день подписания указа его прабабкой.

Легкая рука была у Ломоносова на начинания, принесшие неоценимую пользу России и прочно вошедшие в ее историю! Так было и с Московским университетом. Проглядываешь его документы, объемистые фолианты всяких отчетов, знакомишься с историей факультетов и кафедр — и только диву даешься, как неуклонно он рос и развивался, как все увереннее и непрекаемее — часто наперекор разным обстоятельствам — становился ведущим просветительным учреждением в государстве. Из года в год росло число студентов, учеников подготовительных гимназий и Благородного пансиона, утверждалась его роль всесословного учебного заведения. В век необоримых сословных предрассудков и перегородок университет сделался подчеркнуто демократическим организмом, более половины студентов уже в XVIII веке были из разночинцев, ими становились крестьяне, получившие отпускную.

В основу традиций Московского университета едва не с самого начала легло слияние науки с требованиями жизни, органическое совмещение служения научной истине со служением общественному благу. Это привело к тому, что к нему льнули все прогрессивные общественные силы. И в конце концов история русской общественной мысли стала неотделима от истории Московского университета.

Разумеется, знал он и черные дни, когда тускнел блеск просветительной славы профессуры и кафедр, и правительству удавалось подчинить его своим охранительным видам.

Но заложенное в университетском уставе с самого начала здоровое зерно — доступность для всех сословий, университетские вольности и привилегии — позволяло университету выстоять и в самые мракобесные времена.

На первой годовщине Московского университета, 26 апреля 1756 года, профессор Николай Никитич Поповский (1730? — 1760), ученик Ломоносова, выражал в своей речи надежду на то, что «дождемся блаженного оного времени, когда из сего премудрой государыней учрежденного места произойдут судьи, правду от клеветы отделяющие, полководцы, на море и земле спокойство своему отечеству утверждающие, когда здесь процветут мужи, закрытые натуры таинства открывающие...».

Чаяния эти не только сбылись, но и превзошли во много раз его ожидания.

Чтобы проиллюстрировать никогда не прекращавшийся нажим на университет правительства, даже искавшего путей обхода закона с целью подорвать его демократические и прогрессивные традиции, приведу выдержку из негласного указания министерства народного просвещения ректору университета, сделанного спустя три четверти века после Павла I:

«...Чтобы устранить от поступления в университет молодых людей, никакого наружного образования не получивших в домах бедных и низкого происхождения людей и не вознаграждающих сей недостаток отличными способностями, поставить правилом, чтобы желающие поступить в университет подавали прошение и документы лично попечителю, который, по совещанию с ректором, мог бы всегда под благовидным предлогом устранить от поступления оных лиц...»

Вот к какому лицемерному языку приходилось прибегать министру, пекущемуся о том, чтобы «кухаркины дети» не допускались до высшего образования. Он был вынужден искать благовидные предлоги в обход незыблемого устава Московского университета, твердо сохранявшего, несмотря ни на что, свою демократическую основу...

Сумасбродное правление Павла заставило Александра I в 1804 году подтвердить устав университета и его четко сформулированные положения, исключавшие любые ограничения для поступления по сословным или имущественным признакам. Любопытно, что Николай I, склонный приравнивать студентов к вымуштрованным нижним чинам, а профессоров — к фельдфебелям, был вынужден в 1835 году особым указом снова закрепить привилегии и автономию университета.

А как многообразны были вольности университета! Он обладал своим судом, наделенным широкими полномочиями, должности ректора и деканов были выборными, причем избирались они на один год — «во избежание злоупотребления власти». Университет имел право издавать ученые сочинения под собственную ответственность, выписывать из-за границы книги без разрешения цензуры, а журналы — помимо почтамта... И это в век узаконенной перлюстрации частной корреспонденции, свирепейшей цензуры, кар за вольномыслие! По счастью, и наиболее самовластные правители не могли и не решались переступать законы, установленные в империи их предшественниками.

Именно опираясь на свои права и привилегии, восходящие, как я уже упоминал, к Ломоносову, Московский университет мог выдержать неравный поединок с самодержавной властью и пронести вплоть до ее падения свою славу оплота русской передовой науки, неотделимой от прогресса и гуманности. Николай I не раз закрывал университет, унижался до личных расправ со студентами, отдавал их в солдаты... Мы теперь с восхищением думаем о мужестве и терпении тех, кто подобные устрашающие наскоки самодержцев выдерживал, пережидал, чтобы затем исподволь добиться... хотя бы отмены обязательного знания латыни для поступления в университет и этим облегчить доступ в него как раз «низкого происхождения людей без всякого наружного образования»!..

Власть выигрывала стычки и проигрывала сражения.

Н. Н. Поповский был не единственным учеником Ломоносова, ставшим в числе первых русских профессором Московского университета. Одновременно начал преподавать в нем А. А. Барсов, составитель русской грамматики и автор трудов по языкознанию. Он же был бессменным — до своей смерти в 1791 году — издателем университетской газеты «Московские ведомости».

Видную роль в развитии русской материалистической философии сыграл Д. С. Аничков (1733—1788), диссертация которого об истоках религии привела к крупному столкновению со сторонниками ее божественного происхождения. Против Аничкова, отстаивавшего материалистическую точку зрения и утверждавшего, что религия держится на темноте и невежестве одних и корыстолюбии других, восстало духовенство во главе с московским архиепископом Амвросием, хотя

автор, маскируясь, все выпады свои направлял против язычества. После длительной борьбы диссертация была, по настоянию Амвросия, сожжена на Лобном месте, но Аничков нисколько не пострадал — вольности университета не были пустым словом!

Большую известность стяжал юрист Семен Ефимович Десницкий, развивавший поразительно смелые по тому времени взгляды на роль собственности в становлении государства и семьи. Он стал первым читать лекции по русскому праву и его истории. Участвуя в Комиссии по составлению нового Уложения, доказывал необходимость равноправия народов Российской империи, постепенной отмены крепостного права, учреждения независимого суда и ограничения единовластия выборным сенатом. И, вовсе опережая свое время — вторую половину XVIII века, писал о «власти денежного мешка, подчинившего себе тьмы народов».

Мною названы лишь немногие родоначальники прогрессивного направления в Московском университете, получившего впоследствии, с Герценом, Станкевичем и другими известными своими питомцами и преподавателями, широкое развитие. Следует отметить, что Герцен очень ценил труды Десницкого, умершего в 1789 году.

Особенно прославил Московский университет Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855), учившийся в Петербурге и начавший преподавать в Москве с 1839 года. Он известен тремя циклами организованных им лекций по истории средних веков: критикуя феодальную Европу, Грановский метил в российские порядки. Эти лекции пользовались небывалой популярностью, слушать их стекалось огромное количество народу, овациями выражавшего одобрение смелому лектору, изобличавшему власть предержащих. Ораторский недюжинный талант Грановского придавал особый блеск его выступлениям. Правда, после революции 1848 года Грановский отошел от своих радикальных позиций и стал проповедовать «мирное и зрелое развитие общества в рамках самодержавия», но его публичные лекции остались вехой в истории русской передовой общественной мысли.

О Грановском, профессорах и студентах своего времени, об университетских нравах и курьезах оставил ряд заметок Герцен. Яркие и меткие, они дают верную, глубокую картину Московского университета тридцатых — сороковых годов прошлого века. Именно Герцен не раз подчеркивал его демократичность.

«Пестрая молодежь,— писал Герцен много лет спустя,—

пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, которое мы встречаем в английских школах и казармах... Студент, который бы вздумал у нас хвалиться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от «воды и огня», «замучен товарищами». С годами, писал Герцен, «университет рос влиянием, в него как в общий резервуар вливались юные силы России со всех сторон, изо всех слоев; в его залах они очищались от предрассудков, захваченных у домашнего очага, приходили к одному уровню, братались между собой и снова разливались во все стороны России, во все слои ее».

Немалое влияние на студентов оказывал, как известно, сам Герцен, вокруг которого сплотился кружок, собиравшийся в доме его друга Н. П. Огарева у Никитских ворот, где в наши дни Кинотеатр повторного фильма. Примерно в одно время с ним в числе студентов университета были Белинский, Станкевич, Лермонтов, Тургенев, молодой Аксаков. Нам издали теперь видно, какие угли подспудно тлели в здании на Моховой в те годы, когда наверху едва ли не поздравляли друг друга с окончательным подавлением крамолы...

«Московский университет свое дело делал,— читаем у Герцена.— Профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского... могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей».

Не менее лекций и профессоров развивала студентов аудитория, споры, живой, без боязни обмен мнениями, чтения, устраивавшиеся в многочисленных кружках. В воспоминаниях современников читаем о влиянии кружка Станкевича, у которого собирались ежедневно друзья — студенты и окончившие курс. Существовало и студенческое общество под названием «Литературные вечера».

Все это — кипящие задором и мечтами о благородном служении Отечеству студенты, вольные речи, увлечение ходившими по рукам нелегальными стихами и памфлетами, прорывающими казарменные порядки и бдительность педелей, свойственное свободолюбивой молодежи задирание и поддразнивание авторитетов,— все это, бросавшее вызов властям и ускользавшее из-под их ферулы прогрессивное движение подрастающего поколения прочно свило себе гнездо в стенах Московского университета. Оно окрепло и выковалось в непрестанных столкновениях с охранителями, в повседневных посягательствах на самостоятельность уни-

верситета, однажды исторгнутую у самодержавной власти, но нетерпимую для нее по самой своей природе. И крепло быстрее, чем можно было думать, исходя из усиливающихся реакционных стремлений власти и гонений на все прогрессивное и вольнолюбивое. Приведу любопытную иллюстрацию.

Еще в 1806 году на годовом акте университета во время официального торжества студентами распевались кантаты такого содержания:

Гармония творения
Есть должна дань Творцу:
Согласье наших душ, стремлений
Да будет дань Царю-Отцу!

Всевышний! Есть ли драгоценно
Тебе блаженство чад земных:
Внуши, внуши концам вселенной,
Что в АЛЕКСАНДРЕ счастье их!

И далее в том же приторно-верноподданническом духе на протяжении длинных строф, выписанных каллиграфическим почерком на веленевой бумаге...

Но никакой самый преданный III отделению и видам Бенкендорфа пиит уже не нашел бы в университете заказчика на подобные вирши при преемнике Александра I. Подтверждавшему спустя десять лет после 14 декабря 1825 года автономию университета царю и померещиться не могло, чтобы студенты спели что-либо подобное в его честь! Слишком много воды утекло с тех пор — на устах молодежи были ноели Пушкина и стихи Полежаева, были в Москве кружки Герцена с Огаревым и Станкевича... Время, когда можно было заставить юношество слагать и распевать оды и кантаты во славу российских самодержцев, миновало навсегда, и в этом — немалая заслуга Московского университета.

Свое назначение «рассадника российского просвещения» Московский университет выполнял на разных поприщах, являясь всюду зачинателем полезных и дальновидных дел. Не тщась охватить и малую часть их, укажу хотя бы на создание при университете, уже в год его основания, художественных классов для детей разночинцев, которые были «определены учиться языкам и наукам, принадлежащим к художествам». Из них вышли архитекторы В. И. Баженов и И. Е. Старов. С ними связана и история русского театра. Еще в пятидесятых годах XVIII века поэт Херасков организовал студенческий театр, ставший полупрофессиональ-

ным: в студенческую труппу поступили первые русские актрисы — Татьяна Троепольская и Авдотья Михайлова. В 1760 году в университетской гимназии содержалось за казенный счет восемнадцать воспитанников, предназначенных для русской труппы. Когда Федор Волков приехал в Москву для пополнения своего театра, он выбрал актеров из состава студентов университета. Известный актер Плавильщиков также был питомцем художественных классов университета.

При университете в 1804 году были открыты два общества: испытателей природы и истории и древностей российских. В те времена испытатели природы хлопотали о внедрении науки в сельское хозяйство и, должно быть, первыми заговорили о необходимости беречь живую природу. Нынешнее Общество испытателей природы по-прежнему находится «при Московском университете», занимая небольшое помещение в здании Зоологического музея, но деятельность его ограничивается в основном организацией популярных лекций, рассчитанных на небольшую аудиторию.

Еще Шуваловым была в 1758 году основана в Казани гимназия, которой руководил университет. Оттуда вышел Г. Р. Державин. В университетском пансионе учились Жуковский и Лермонтов. В 1828 году университет выстроил на Пресне свою обсерваторию, пятью годами позднее открыл кабинет сравнительной анатомии и физиологии, в 1846 году — госпитальную клинику и анатомический кабинет...

Листая материалы университета, я обнаруживаю, что в его типографии было опубликовано в 1770 году в издании «Пустомеля» первое произведение Фонвизина — «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке». Фонвизин, кстати, с отличием окончил учрежденную при университете гимназию, куда его отдали в десятилетнем возрасте в 1755 году. В 1760 году он был «произведен в студенты». Некоторое время знаменитый автор «Недоросля» состоял переводчиком при университете. Им был переведен труд профессора Рейхеля «Собрание лучших сочинений к распространению знаний и к произведению удовольствий». Университетская типография печатала и другие его произведения. С нею, как известно, тесно связана книгоиздательская деятельность публициста и просветителя Ивана Новикова.

При Московском университете был оставлен в должности надзирателя по классам окончивший его курс Ипполит Федорович Богданович (1743—1802), автор повести в стихах «Душенька». Она снискала ему огромную популярность, не-

однократно переиздавалась, выдержав целых пятнадцать изданий: последнее, суворинское, вышло в 1887 году. И когда Пушкин в «Евгении Онегине» писал:

Мне галлицизмы будут милы,
Как первой юности грехи,
Как Богдановича стихи,—

он, разумеется, имел в виду «Душеньку». Остальные сочинения Богдановича (повесть «Добромысл», «Сугубое блаженство» и др.) канули в Лету еще при его жизни. Когда он умер, кем-то была предложена красноречивая эпитафия:

Зачем нам надписьми могилу ту чернить,
Где «Душенька» одна все может заменить.

Секрет успеха сей «Душеньки» заключается, увы, не в ее поэтических достоинствах: в век чопорных и чинных сочинений, какими пробавлялись его современники в России, Богданович, взяв себе за образец фривольные вирши из «Амура и Психеи» Лафонтена, впервые позабавил читателей альковными похождениями.

Однокашником Дениса Фонвизина был и Григорий Потемкин. Он, правда, никаких отличий не стяжал, а был в 1760 году исключен из гимназии по решению конференции университета «за леность и нехождение в классы»... Но это уже из области университетских анекдотов!

...В читальном зале университета на прежней Моховой тихо и особенно покойно: над столиками, освещенными лампами под зеленым абажуром, склонились студенты. Ни одного свободного места. Из золоченой рамы глядит на них со стены полнолицый человек в елизаветинском кафтане и пудреном парике, открывающем величественный лоб... Ломоносов. Не это ли мечтал видеть более двух веков назад основатель университета?..

По периметру полукруглого помещения стоят десять полированных мраморных колонн, поддерживающих обширный куполообразный потолок зала, искусно расписанного гризайлью. А с аттика свисают старинные люстры. В прекрасных пропорциях и благородном облике зала чувствуется рука большого мастера: им был Матвей Казаков. Роспись выполнена по рисункам Жилярди, возобновлявшего отделку актового зала после пожара.

Великолепны покои старого университетского здания — что и говорить! Аудитории с высокими потолками, монументальная лестница, просторные сводчатые коридоры... Однако все это уже не отвечает современным требованиям, наступившему веку массового обучения в высших учебных заведениях. Тут стало тесно. Жизнь переплеснулась отсюда за Москву-реку, на те самые Воробьевы горы, где собирались обосновать Московский университет около двухсот лет назад.

В 1953 году, за два года до двухсотлетнего юбилея Московского университета, 1 сентября открылись аудитории и залы в многоэтажных зданиях, возведенных на Ленинских горах по проекту архитекторов Руднева и Чернышева. Они своими масштабами как бы показывают, насколько разросся ныне «рассадник отечественного просвещения».

Аудитории Московского университета полны. Современная учащаяся молодежь наполняет помещения, где сидели Герцен и Тургенев, ее голоса разносятся под сводами, слышавшими горячие лекции Грановского... Детище Ломоносова живет — вопреки невзгодам и гонениям!

1974

И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА...

Дорожные заметки

Вдоль проселка — горки песку и щебня. Но пока машина, раскачиваясь и постукивая рессорами, еле пробирается по разъезженным колеям дороги. Вокруг раскинулись ровные поля, провешенные в разных направлениях столбами электролиний. Тут и там по пологим всхолмленностям порядки деревенских домиков со строениями птичников и скотных дворов за околицей. Небо в легких прозрачных тучках, освещенных вечерним солнцем.

...Мы настолько отвыкли от медленной езды, что я невольно думаю о том, как по этим длинноверстным тамбовским дорогам ездили в старину: неспешно развертывались перед глазами знакомые дали, и ездоку был досуг не раз взглянуть на какую-нибудь колоколенку, тонкой стрелкой прочертившую небосклон, или пышный дом, белеющий на взгорке из-за облетевшего сада и провожающий проезжего пламенным рядом окон, отражающих закат. Окрестную вековую тишину нарушали разве фырканье притомившихся лошадей да резкий крик ворон, слетевших с дороги. У меня же в ушах лишь шум мотора, привычный и незамечаемый, но отгородивший навсегда от тихих и скромных голосов природы. Грузовик, гремящий поезд, самолет, подвесной мотор в корме лодки делают нас глухими ко всему, что мелькает за ветровым стеклом, в окне вагона или проносится в метре от рассекающего речную гладь полуглиссера.

А мне сейчас так хочется тишины, нерушимой и глубокой, на этом пустынном проселке, ведущем в Ивановку...

Мне видится на нем запыленный тарантас, запряженный парой разномастных лошадей. Они идут шагом. Кучер — молодой парень в плюшевой безрукавке и яркой сатиновой рубахе, с тощим павлиньим пером в тулье твердой шляпы — опустил вожжи и не спеша свертывает козью ножку. Пристяжная изредка мотает головой, и тогда звонко и чисто взгромыхивают бубенцы. Им вторит колоколец под дугой коренника: он вдруг подает голос — мягкий, чуть грустный, и снова надолго смолкает. На заднем сиденье — седок в длиннополом пыльнике, дворянской фуражке, с неулыбающимся породистым лицом.

Это — Сергей Васильевич Рахманинов.

Не мерены версты, наезженные им по таким проселкам, плавно вьющимся средь открытых полей, по вымощенным булыжником большакам и ухабистым лесным дорогам, за те без малого двадцать лет, что жил он в своей Ивановке, ежегодно встречая в ней весну и покидая ее лишь в глухую пору осени. Эти версты складывались из поездок на ближайшую станцию железной дороги и в губернский город, где надо было помочь местным радетелям отечественных муз поставить на ноги музыкальную школу, из посещений соседей и более всего — ярмарок и людных праздников по монастырским слободам. Там композитор внимательно вслушивался в песни подгулявших мужиков, монотонное причитание нищих на церковных папертях, в монашеские хоры, хранившие отголоски древних строгих напевных строев, в гул колоколов.

Как складывались достигавшие слуха композитора звуки в его — наполненных ими — произведениях, составивших славу русской музыки, мы, разумеется, никогда не постигнем! Это — тайна художника, но, слушая его симфонии и концерты, мы безошибочно ощущаем, что в них — Россия с ее деревенским степным раздольем, мягким шелестом свежих трав, ветром, наносящим жаркие запахи цветущей ржи, чистой свирелью жаворонка, трепещущим комочком повисшего в облитом солнцем небе! И не только с этим. Запомнились ему, несомненно, стон и гул моршанских бескрайних боров, колеблемых налетевшей грозой, ровный шум дождя, закрывшего сплошной пеленой хлебные поля вокруг, и роскошные краски радуги, упершейся одним концом в речные притихшие камыши. Должно быть, за всем этим музыканту чудилась и древняя Ногайская степь с топотом конницы кочевников, кликами жестокой сечи, злым свистом разящих стрел, дымом далеких пожарищ, а то и с пением обреченных монахов, собравшихся под темными сводами церкви осажденного монастыря, чтобы в последний раз испросить у неба заступы от наводнивших Русь поганых. Виделись ему и дни торжеств народных, празднества и ликования на тех решающих исторических этапах, когда России удавалось превозмочь очередное лихолетье, отвести надвигающуюся напасть. Перед ним воскресали дела и оживали люди далеких веков, он постигал их простоту и величие, огромность свершенного ими подвига.

Голоса тамбовской земли рассказывали Рахманинову, как становилась его Россия за ту тысячу лет, что строилась она предками, передававшими от отца к сыну завет быть ей до

гроба верным, хотя бы судьба и пути трудной жизни увели за тысячу верст от родного очага и уготовили смерть на чужбине.

Еще не рассказан достаточно внятно и громко советским людям подвиг их великого земляка в Отечественную войну. Едва надвинулась на его родину угроза жестокого завоевания, как Рахманинов отдал делу ее защиты все силы своего могучего таланта.

Пораженный беспощадным недугом, без устали, напрягая все силы, Рахманинов ездил и ездил по американским городам с концертами и полученные за них миллионы долларов отдавал целиком в распоряжение советского посла. В охваченную кольцом войны сражавшуюся Россию плыли корабли с медикаментами, лабораторным оборудованием, рентгенокабинетами, госпитальным инвентарем,— все это посылалось Советской Армии на средства Рахманинова. Ему не суждено было дожить до победы, но в последние месяцы жизни он уже знал о счастливом переломе в ходе войны, знал, что самое страшное позади и его Россия и на этот раз одолеет, разгромит смертельного врага.

Известно, как врачи и друзья уговаривали Рахманинова прервать изнуряющую деятельность, но он как одержимый продолжал садиться за рояль, а пальцы уже кровоточили от игры, а сил подойти самому к инструменту уже не было, и пианиста усаживали за закрытым занавесом! И, закончив выступление, он следил, чтобы весь сбор до копейки поступил в советский фонд помощи войне...

Так служил своей родине до последнего вздоха пианист Рахманинов, а музыка гениального композитора, получившая признание во всем мире, призвана и после его смерти прославлять великую русскую культуру. В своих последних произведениях, написанных, когда уже длинные годы отлучили его от красок, запахов и голосов милой России, Рахманинов воплощал ее образы. Он и на чужбине оставался русским художником, продолжавшим традиции своих славных предшественников, начиная от безымянных творцов старинных песен, от Федора Крестьянина, сочинявшего в XVI веке исполненные глубины и мощи пьесы для хора, славной плеяды отечественных композиторов екатерининской поры, до великого Глинки и его сподвижников и учеников. Рахманинов, быть может, полнее других своих знаменитых собратьев воплотил в своей музыке Россию в ее развитии, современность, сплавленную с прошлым и покоящуюся на нерасторжимых узах преемственности. Музыка, впрочем,

воспринимается более индивидуально, нежели другие виды искусства. И все же мне всегда кажется, что, когда слушаешь Мусоргского, перед глазами непременно должны возникнуть картины Сурикова, что Римский-Корсаков передал сказочный, былинный лад Древней Руси в строе васнецовских полотен, билибинских иллюстрацией, тогда как Рахманинов отразил ту линию развития русской культуры, которая ведет от живописи Рублева и Дионисия к творениям Серова и Врубеля. И мнится, что чуткое ухо композитора было не глухо к «кипению подземных вод, их колыбельному пению и шумному из земли исходу», о которых писал Тютчев.

Советским людям немыслимо отгораживаться от наследия Рахманинова, предоставить его жадному Западу оно безоговорочно наше, и нам одним принадлежит честь называть его своим соотечественником.

* * *

Мало что сохранилось в селе Ивановке от прежней скромной усадьбы композитора, но пусть это больше не заботит его почитателей, да и всех тех, кому не дает покоя запустение, какое мы часто встречаем в местах, где бы надлежало чтить память проживавших там деятелей прошлого, заслуживших благодарность потомства или связанных со знаменательными историческими событиями.

На Тамбовщине, к счастью, нашло широкий отклик и благодарную почву патриотическое движение советской общественности, дружно взявшейся помогать государственным органам охраны памятников истории и культуры в их нелегком деле сбережения и возвеличения великого культурного наследия Российской Федерации. Встретив всестороннее понимание и действенную поддержку со стороны партийного руководства и администрации области, Тамбовское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры смогло в короткий срок осуществить несколько чрезвычайно нужных и своевременных начинаний: где выявить и поставить под охрану памятник, где начать реставрацию мемориального объекта или приступить к изучению и обмерам сохранившихся зданий исторических усадеб. Среди этих дел важнейшим — по своему значению перешагнувшим за пределы области и нашедшим отклик далеко за рубежами страны — было открытие в селе Ивановке комнаты-музея С. В. Рахманинова, которое должно служить переходной

ступенью к созданию заповедника композитора в его усадьбе. Уже состоялись решения правительственных органов, уже приступили к посадке деревьев в парке, уже подготовлен проект восстановления усадебного дома в том виде, в каком он был при самом Рахманинове.

Кстати, это дело натолкнулось на неожиданные препятствия. Собранных материалов — снимков, свидетельств старых жителей села, других сведений — оказалось недостаточно, чтобы восстановить некоторые существенные элементы дома, разобраться в его топографии. Опросили всех, от кого рассчитывали получить информацию, перерыли справочники и архивы... Как быть? В областном управлении заколебались, стали пожимать плечами: «Раз не хватает данных, чтобы восстановить старый дом,— стоит ли огород городить? Не лучше ли возвести что-нибудь современно-мемориальное?»

Однако нашлись люди, которым уж очень нужным, жизненно важным казалось, чтобы будущие посетители рахманиновского заповедника увидели усадьбу, какой она была при жизни композитора, чтобы в прежних скромных ее очертаниях они осязали те дорогие его сердцу прелесть и неповторимое обаяние русской деревни, какие непостижимо воплощены им в музыке. Они обратились к родственникам Рахманинова, которые с готовностью откликнулись на призыв помочь воссозданию усадьбы, откуда будет в веках светить имя художника, внесшего такой огромный вклад в бесценное русское культурное наследие. Те прислали сделанные по памяти эскизы дома, рассказали подробно, как были распределены и убраны его комнаты.

Тем, кто без устали хлопочет о сборе мемориальных материалов для будущей усадьбы-музея, кому дороги реликвии — любая вещица или принадлежность композитора, каждый автограф или выцветшая фотография,— которые должны войти в экспозицию и сделать ее как можно значительнее и эмоциональнее, тем уже видится, как проводятся в селе Ивановке гремящие на весь мир традиционные фестивали памяти Рахманинова, как сосредоточивается там дело изучения и увековечения наследия великого композитора, как становится его родная усадьба одним из ведущих очагов музыкальной культуры Российской Федерации, местом паломничества ценителей и поклонников замечательного русского таланта... Они предчувствуют, как ныне существующая музыкальная школа, в которой учатся полтора десятка детей — внуков и правнуков крестьян села Ивановки, ко-

торых знал Сергей Васильевич,— превратится в музыкальную академию, хранящую художественные заветы Рахманинова... И, вероятно, слышат, как шумят свежей листвой подросшие липы и дубки парка, напоминая прогуливающимся в их тени гостям музея о том, кто, слушая их невнятный шелест, писал музыку, в которой — тихие русские рощи, звон весенней капели, уютная тишина деревенских вечеров...

Вероятно, одна из самых драгоценных и симпатичных граней патриотических, глубоко народных движений, подобных поднявшейся ныне среди передовой советской интеллигенции волне сочувствия и внимания к бесценному национальному культурному наследию России, уважения памяти и дел ее строителей и просветителей — заключается в том, что они будят в людях лучшие чувства, бескорыстные устремления, проникают их готовностью служить великому начинанию, не ожидая за то ни наград, ни почета, отдать ему свои умение и досуг во имя одной лишь веры в его справедливость и благо, заключенное в нем для народа, и еще шире, для всего человечества, потому-то такие люди всегда мыслят щедро и благородно: сохранение своей национальной культуры нетленной они полагают непременным условием обогащения представлений всех людей на земле. Ими движет вера в пользу, которую должно, в конечном счете, принести духовному росту народа и его моральной основе любое начинание, призванное расширить кругозор людей и укрепить их национальное самосознание. Именно такие местные привязанности, такая потребность отыскать в своем привычном окружении заслуживающее благодарного воспоминания, сочувствия и восхищения твоих сограждан, всех соотечественников, бескорыстное любование красотой, неповторимостью, милым лицом своего родного уголка, своей родины в узком смысле, как раз они — подлинная основа любви к Отечеству и своему народу, отсюда развивается неколебимый, просвещенный патриотизм.

* * *

— На месте этого многоэтажного дома в начале XIX века,— рассказывает моя спутница, любезно взявшая на себя роль моего чичероне на тамбовских улицах,— стоял особняк местных помещиков Загряжских. К ним из Москвы приехали, спасаясь от французского нашествия 1812 года, их родственники Гончаровы. Здесь у них и родилась дочка

Наталья, ставшая женой Пушкина. Девочкой и подростком она потом подолгу гащивала в этом доме у своей тетки. Подальше, на площади, вы видите фасад областного драматического театра. Здание было построено в конце прошлого века для дворянского собрания. Нынешние тамбовцы числят его историческим памятником: в стенах театра была 1 марта 1918 года провозглашена Советская власть в Тамбовской губернии, а позднее помещались губкомы и ревкомы. Вот это массивное здание с рядом огромных итальянских окон по всему второму этажу — областная библиотека, называвшаяся прежде Нарышкинской, по фамилии ее основателей. А сейчас мы проходим мимо педагогического института, занимающего дом бывшего Александровского института благородных девиц. Он построен по проекту архитектора Брюллова, брата знаменитого автора «Последнего дня Помпеи». Правда, это еще не вполне доказано, но мы обнаружили в архиве документы...

Мы — это коллеги моей спутницы по областному отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, деятельность которого занимает все ее помыслы и время. Галя Терехова по образованию историк, из Москвы в Тамбов ее привело распределение после окончания педагогического института: она стала преподавать историю. Затем основалось общество, молодой педагог стала его деятельным членом, а потом, увлекшись развернувшейся работой, посвятила себя ей целиком. Пригодились специальные знания: историку открылось обширное поприще исследований и разысканий. Ныне область хочет узнать все про всех своих знаменитых уроженцев, установить с научной точностью все обстоятельства их жизни и деятельности, по дням проследить ход гражданской войны и всех важнейших революционных событий на Тамбовщине.

Галя успела подробно ознакомиться с историей домов Тамбова. Рассказывая о чем-либо примечательном — а прошлое Тамбова насыщено интереснейшими событиями,— она не скрывает, как ей приятно знакомить с ним приезжего. Слава города принадлежит Гале, она гордится ею. Ей хочется, чтобы обширная программа общества по выявлению, изучению и приведению в порядок памятников и мемориальных зданий города и области осуществлялась возможно полнее и, главное, быстрее — молодость нетерпелива!

— Тут на каждом шагу столько неповторимого, интересного и значительного, мы еще так мало сделали, чтобы осветить патриотическую роль Тамбовского края в годы

тяжелейших испытаний Родины, чтобы вызволить из забвения имена многих заслуженных земляков, что надо как можно скорее ставить наши памятники на службу народу — им пора рассказывать о его славном прошлом! Через четыре года исполняется столетие со дня рождения Рахманинова: успеют ли подготовить заповедник к знаменательной годовщине? Понадобятся и концертный зал, и музыкальные учебные заведения, и гостиницы для приемы гостей со всей планеты...

В нашем разговоре всплывает имя Гавриила Державина: мы прошли мимо места, где некогда стоял деревянный одноэтажный дом, в котором он прожил с 1782-го по 1784 год, когда возглавлял учрежденное вновь Тамбовское наместничество. Поразительно много за такой короткий срок успел сделать этот на редкость дельный и дальновидный администратор! У Гали не хватает пальцев, чтобы перечислить все заслуги первого наместника: Державин открыл в Тамбове театр, написал пролог для первого представления, он учредил Главную народную школу, одну из первых в России, основал типографию и печатал в ней свои стихотворения, расширил и улучшил грузовое судохоство по Цне и другим рекам края, заготовил камень для мощения улиц, издавал местную газетку, завел клуб для горожан и пансион для приезжих школьников... Державин дал резкий толчок развитию городской жизни в Тамбове. Славный наш поэт заслужил благодарную память его жителей.

* * *

И неиссякаемая тема Пушкина. Поэт никогда не бывал в Тамбове, но сколько разнообразных нитей соединяют его с ним! Не одно рождение Натальи Гончаровой в этом городе роднит с ним поэта. Обширный круг лиц из его непосредственного окружения принадлежал тамбовскому обществу по рождению или по службе. Тамбовский край можно с полным правом причислить к областям России, где очень давно и прочно утвердились влияние и слава Пушкина. Признаюсь, что я и не подозревал, насколько значительны связи поэта с Тамбовщиной, пока Галя не познакомила меня с интереснейшей работой, проделанной Николаем Михайловичем Гордеевым, методистом областного института усовершенствования учителей и активным ее соратником по обществу.

Николай Михайлович развернул предо мной лист ватмана большого формата, посередине которого была воспроизведе-

на схематическая карта Тамбовской области с кружками, обозначавшими места, так или иначе связанные с Пушкиным.

Тут прочел я название сельца, где похоронен прадед поэта Алексей Федорович Пушкин. Узнал о том, что село Покровское Липецкого района принадлежало Ганнибалу. Что постоянной жительницей Тамбовской губернии была Екатерина Бакунина. Что в Тамбове губернаторствовал товарищ Пушкина по лицею — Александр Корнилов. Что поэт Евгений Баратынский не раз приезжал в тамбовское имение отца, а Екатерина Ксаверьевна Воронцова гостила у родни мужа в имении. Что тамбовскими помещиками были и Полторацкие, у которых часто живала племянница Анна Керн. Что в селе Низинец находилась усадьба Верстовского, написавшего музыку к «Черной шали». Что село Сергиевское Кирсановского уезда — родина декабриста Лунина, а «диктатор» Сергей Волконский, возвратившись из сибирской ссылки в 1856 году, поселился в имении сына под Тамбовом. Что живали в Тамбовской губернии жена поэта Дельвига, Петр Каверин, Жихарев, Вера Федоровна Вяземская, декабрист Кривцов и другие лица из числа ближайших друзей и коротких знакомых Пушкина или связанные с его кругом, те самые очевидцы, в случайно уцелевших записях или письмах которых мы порой черпаем драгоценные крупицы сведений о поэте.

Полюбовавшись талантливо составленной и красиво раскрашенной акварелью картой Гордеева, заслуживающей стать в ряд с драгоценнейшими материалами отечественной Пушкинианы, я не мог не пожалеть вместе с Николаем Михайловичем о препятствиях, неожиданно возникших на пути ее опубликования, поскольку так очевидно просветительное и патриотическое значение его работы, нужной не только пушкиноведам, но и учащимся, и самым широким кругам советского общества. Пример Гордеева способен вызвать подражания, аналогичные изыскания в других областях. Их значение слишком очевидно, чтобы о нем говорить. Обращает на себя внимание другая сторона дела.

Работая над материалами для своей карты, Николай Михайлович обнаружил и опубликовал семь неизвестных писем Екатерины Бакуниной...

Кто знает, что таят заброшенные, как будто не сулящие ничего интересного районные архивы, случайные хранилища случайно собранных старых бумаг?

Я вспоминаю, как встретились мне однажды, еще в восемнадцатом году, на разъезженном осеннем проселке,

крестьянские телеги с навалом сложенными на них книгами; подводы были наряжены волисполкомом для вызова в уездный город библиотеки Бакуниных из усадьбы Прямухино на реке Осуге, верстах в двадцати пяти от Торжка. Как ни молод и беззаботен был я в ту пору, сердце мое дрогнуло при виде сложенных как дрова фолиантов и томов в кожаных старинных переплетах с золотым тиснением, составивших кое-как стянутые веревками стопы, которые разваливались на рытвинах и ухабах дороги. Неприкрытые книги мочил мелко сеявший дождик, шедшие подле лошадей мужики изредка останавливались, чтобы поднять из грязи ссунувшуюся с воза книгу или перевязанную тесьмой связку писем или пожелтевших бумаг... А впоследствии я узнал, что бакунинская библиотека славилась, помимо редкого собрания книг XVIII века на французском языке, очень полной коллекцией масонских рукописией, что владельцы ее на протяжении столетия переписывались с самыми известными деятелями литературы и искусства своего века...

По счастью, и в те годы находилось немало людей, которые хоть и не понимали ценности старинных книг и рукописей, но смутно чуяли их значение и потому уберегали то, что случайно попадало в руки. Так, бывало, принесет мужик волостному секретарю переплетенный в бархат или отделанный бисерной вышивкой альбом с выцветшими надписями и сделанными пером виньетками, убористо исписанные пачки сброшюрованных по годам тетрадей или книгу на иностранном языке.

— В барском доме убирали, вот нашел — валяются. Может, что нужное, погляди. А нам без надобности — бумага толстая...— Либо находка складывалась на чердаке вместе с отслужившими хомутами и утварью — малец подрастет, прочитает!

И вот, полвека спустя, ревнитель родной истории начинает знакомиться с содержанием запыленных папок с делами бывшего волостного земотдела. Списки продразверстки, коряво заполненные графы отчетов на сахарной бумаге, налоговые документы, и вдруг — листы с витиеватыми поучениями братьев-каменщиков или черновик письма кого-нибудь из Бакуниных Белинскому или Тургеневу! Неоценим вклад в науку о нас самих тех, кто по влечению, из глубокого сочувствия предмету, посвящает дни и годы терпеливым и кропотливым изысканиям в слежавшихся связках бумаг, хотя бы интерес вызывал и самый второстепенный, частный вопрос.

* * *

Вряд ли я вынес бы из своей поездки в Тамбов впечатление подъема общественной мысли, возрождения интереса к изучению родного края, нарастания той волны уважения к делам отцов, о которых я писал выше, если бы мне не довелось присутствовать на местной конференции, посвященной памятникам истории и культуры — свидетелям больших преобразований в Тамбовском крае. Все тут показалось мне знаменательным и многообещающим. Многочисленная аудитория воспринимала все, что говорили сменявшие друг друга на трибуне специалисты об истории края, археологии, литературных связях, музыкальной культуре, как рассказ о себе и своем доме. Чувствовалось, что усилия по восстановлению исторических подробностей деятельности участников общественных движений на Тамбовщине, заботы о сохранении их памяти, мемориальных зданий, усадеб, всего самобытного, характерного, что определяет ее традиционное лицо, встречали горячий отклик участников конференции. Для них это был смотр уже проделанной работы и программа того, что предстоит осуществить в будущем, выяснение успехов и упущений.

Не секрет, что порой еще нет полного понимания и справедливой оценки вклада, внесенного предшествующими поколениями в строительство нашего государства и его культурное достояние. Думается, что прозвучавшие на конференции слова о необходимости подходить к вопросам охраны памятников истории и культуры без предвзятости, с объективно-научных позиций, предполагающих, что у каждого поколения вырабатывается своя идеология, обусловленная всем ходом исторического процесса, своя манера и форма выражения отношения к действительности, закономерные и оправданные для своего времени и устаревающие с приходом другой эпохи, достижения и заслуги которой, в свою очередь, питают и делают возможным поступательное движение последующих эпох,— что эти слова очень справедливо подчеркнули недопустимость пренебрежения к тому, что порождено понятиями, строем мышления и взглядами, далекими от современных идеалов и представлений.

Мы сочувствуем рвению и пиетету, с которыми восстанавливают имена и биографии участников какого-нибудь героического эпизода Отечественной или гражданской войны, но уже менее внимательны к памяти жертв Цусимы и тем более равнодушно проходим мимо бронзовых фигур на гра-

нитных постаментах, некогда сооруженных однополчанами гренадеров Скобелева и егерей Дохтурова. Мы зачастую, когда речь идет о ближайших к нам временах, о последних десятилетиях, возвеличиваем и преувеличиваем заслуги и второстепенных общественных деятелей, и тем более писателей и поэтов, исходя из преходящего, сиюминутного значения их роли или творчества, бываем не способны взглянуть на их удельный вес в историческом плане, на реальную ценность их доли в национальном наследии народа, причем зачастую недооцениваем положительные, конструктивные результаты деятельности многих и многих талантливых представителей более далеких поколений, из-за того, что она окрашена в цвета и облечена в одежды, сейчас устаревшие. Это естественно и по-человечески понятно в плане наших личных переживаний, но подобное отношение к деяниям и фигурам прошлого, перенесенное в практику устроения общества, способно повредить его устоям, ослабить силу преемственности и традиций, составляющих могущество наций.

Тамбовской научно-методической конференции предшествовала организованная за полгода до нее аналогичная по своим целям конференция в Новгороде, посвященная тысячелетним корням русской культуры. Диапазоны несоизмеримы. На одной была сделана попытка наметить основные линии, по которым должно идти изучение всего многовекового культурного наследия России, рассматриваемого как единое нерасторжимое целое, пути его развития и распространения от сказаний новгородских летописей о подвигах первых русских князей до воплощенной в жизнь легенды о возрождении в новой славе из пепла и пожарищ войны древнего героического Новгорода Великого. Устроители конференции в Тамбове ставили себе более узкие задачи — им хотелось, привлекая внимание общественности к важности сохранения и изучения вклада, внесенного тамбовцами в этом веке в устроение новой России, перебросить мост к более широким задачам — к исследованию и сбережению всего исторически, художественно и мемориально ценного, что имеется на тамбовской земле, чтобы заговорили, оживляя в нас сыновние чувства к Родине, ныне немые и невыразительные вещественные свидетели жизни отцов и дедов, ходивших под губернаторами, наместниками и воеводами.

Такое ограничение подсказывалось, думается, самим обрамлением конференции. Вряд ли нужно в виду древних стен новгородского детинца, башен и соборов, отраженных

в холодных водах Волхова, под многовековыми сводами церквей, расписанными суровой и вдохновенной кистью Феофана Грека, разъяснять глубокое значение заключенных в них символов стойкости и величия создавшего их и отстоявшего от лютых иноплеменников народа. На священной новгородской земле каждый шаг убеждает в реальном существовании непрерывной цепи, идущей от ратных дружин Александра Невского и таких крупных строителей и просветителей старой Руси, как новгородской боярин Колычев, известный нам как московский митрополит Филипп, погубленный Иоанном Грозным, от золотых рук зодчих и каменщиков, воздвигших святую Софию, к танкистам генерала Панфилова, к современным советским ученым и первооткрывателям дорог во Вселенную.

По сравнению с Новгородом Тамбов, вступивший в четвертое столетие своего существования,— город еще молодой, он беден архитектурными памятниками, в нем нет свидетелей седой старины, поражающих воображение. И тут людям труднее уразуметь, что и возле них, на каждом шагу — неповторимое, значительное, самобытное. Со временем — через немногие века — Тамбов станет историческим городом, сокровищницей памятников той переломной эпохи, когда в недрах России, внешне могущественной и развивающейся, зрели семена социальных преобразований, составивших новую главу истории мира. Эти десятилетия, предшествующие великому взрыву 1917 года, наложили на Тамбов свою печать. Его прочные и удобные двухэтажные особняки купцов, ворочавших торговлей хлебом всего юга России, выстроенные с размахом здания земских и городских учреждений, гимназий и училищ, школ и семинарий, институтов и пансионов, корпуса обширных промышленных предприятий, используемые и поныне, отдельные фантастически роскошные резиденции, заставляющие вспомнить Хлыновых,— все это, сохранившееся и определившее лицо старых кварталов города, красноречиво свидетельствует о силе и справедливости подспудных течений и социальных идеалов, которые смогли одолеть всю эту каменную, рассчитанную на века незыблемость: пир российского капитализма оказался кратковременным!

Еще не все барские особняки в Тамбове успели перейти в руки господ коммерсантов, еще числилась дворянской какая-то гимназия, хотя в ней на три четверти учились дети купцов и почетных граждан, еще только по-настоящему стал разворачиваться вчерашний сиволапый, как загремели и в

этом, слывшем законопослушным и благонадежным, хлебном городе отклики залпов пресненских баррикад, происходили стачки и демонстрации, подготавливалось недалекое, окончательное крушение частновладельческих порядков!

Тем, которые последовательно и прилежно восстанавливают по крупицам историю подготовки революции в Тамбове, воссоздают эпоху, хронологически близкую, но уже непостижимую и непонятную из-за отделивших ее от нас неслыханных перемен, тем, разумеется, великое подспорье — сохранившиеся от того времени вещественные свидетели: там дом, где прятались подпольщики или печатались прокламации, тут площадь, где происходил первый митинг после февральской революции, дальше — классы, в которых учились Подбельский или Сергеев-Ценский.

В Новгороде, где улицы выводят к Ярославову Дворищу, где окоем замыкают стены детинца, повсюду вешат небосклон главки и купола, по пятьсот лет и больше отбрасывающие на закате длинные тени на соседние строения, в таком городе поневоле захлебываются попытки исказить сложившуюся веками планировку и облик: кощунственность таких попыток проступает наглядно с первых же шагов и служит предостережением, тем более настораживающим, что достойные сожаления примеры безоглядного вторжения в исторические архитектурные ансамбли неизбежно повлекли невосполнимые потери. В том же Новгороде был крайне необдуманно отведен обширный, непосредственно примыкающий к Ярославову Дворищу и выходящий на Волхов квартал под промышленное предприятие. Оно быстро разрослось, ему стало тесно в очерчивающих его территорию границах, и расти было некуда, если не пожертвовать рядом первоклассных архитектурных памятников. Излишне упоминать, что завод исказил и обесценил центральную панораму Новгорода. Полагаю, что инициаторы этого строительства многое бы дали теперь, чтобы их завод был выстроен в другом месте, где бы он не служил им укором и не свидетельствовал о забвении основных градостроительных норм и патриотического долга архитекторов!

В таком городе, как Тамбов, ценность исторического облика менее очевидна, кажется, не велик грех подвергнуть его коренной реконструкции. Но так только на первый взгляд, если забыть об огромном значении самобытного, индивидуального лица любого города, в том числе и Тамбова, и даже самых молодых человеческих поселений. Совершенно очевидно, что подсказываемое нынешними возможностями

строительной техники обновление и благоустройство городов не должно вести к их обезличиванию, к стиранию их особых черт. Реконструкция и модернизация — сильные средства; их, как в медицине, надо умело дозировать.

Прекрасно, когда с городской улицы исчезает какой-нибудь безликий дом, голый, унылый фасад, ничего не говорящий воображению, без печати эпохи и вкуса, простой ящик для жилья, и на его месте разбивается сквер, если город беден зеленью, или возводится красивое, радующее глаз здание, гармонически перекликающееся со старым окружением. И каким непростительным варварством выглядит снос добротного, интересного своей архитектурой или историей, удачно вписанного в общий городской пейзаж особняка, церкви или иного здания, на месте которых торопливо и без заботы о согласованности с существующей застройкой ставится стандартное здание примелькавшихся очертаний и стиля. Когда же такая практика принимает более широкие масштабы и осуществляется глобальный снос обжитых кварталов, наступает смерть исторически сложившегося облика города.

И это отнюдь не механическая потеря, не безразличная смена декораций, а существенный удар по национальному самосознанию народа. Ведь мы любим не отвлеченные представления о Родине, а совершенно вещественный, осязаемый и зримый ее облик, отраженный для горожан в привычных очертаниях улиц, перекрестков, дорогих по воспоминаниям домов и сооружений, воплощенный для жителей деревни в красках родных полей, запахах травянистой ложбинки за оградой сада, очертаниях знакомых деревьев, в приветливых огоньках соседней железнодорожной станции.

Резкие перемены привычной обстановки, быстрые метаморфозы обжитых городских кварталов лишают жителей корней и традиционных привязанностей. Неизбежное и закономерное обновление городов должно носить характер медленного безболезненного процесса, при котором новое постепенно врастает в старое, тесня его как можно меньше, и сохраняется все ценное, все характерное и дорогое. Реконструируя и обновляя старые города, недопустимо думать только об умножении жилищ, расширении транспортных артерий, росте комфорта и удобств, хотя все это и первостепенно, и неотъемлемо. Важно не задевать чувств жителей, не покушаться на принадлежащее историческому и культурному наследию народа и придерживаться принципа, что красивое может уступить место только более красивому,

талантливое и оригинальное — еще более характерному и воплощающему лучшие идеалы современности.

В Тамбове, как мне показалось, к проблеме модернизации и реконструкции города подходят тактично и осторожно: там не спешат расстаться с добротной дореволюционной застройкой, а ограничиваются приведением ее в порядок и благоустройством, новые кварталы и дома возводятся в не застроенных прежде районах, что должно обеспечить нормальный рост города, сохранить его облик, исторические места, памятники зодчества и культуры.

* * *

Приглушенно стучат колеса, вагон мягко покачивается, синяя лампочка уютно освещает уснувшее купе. Вот и еще один город позади. Прежний бесплотный кружок на карте обрел очертания, залег в памяти своими особыми гранями. Навсегда запомнились широкие и ровные улицы Тамбова, его просторные покойные площади, каменные невысокие дома с большими окнами, со сдержанным декором фасадов. Тут не увлекались украшениями в декадентском вкусе конца века, с утонченными женскими лицами под диадемами и изысканно перевитыми цветами вокруг, не гнались за столичным псевдорусским стилем, а стремились строить просто и прочно, очевидно, в соответствии с местными архитектурными традициями. Не забудется, само собой, как ценят тамбовцы свои памятники, как берегут имена своих земляков, послуживших родному краю и Родине.

Я начинаю вспоминать один за другим знакомые мне города...

Вот далекий Иркутск, город совершенно особого склада, недаром считавшийся много лет столицей Восточной Сибири. В Иркутске чувствуется старая культура, этот город рано стал центром просвещения. Тут издавна университет, институты, музей с именами известнейших путешественников, работавших в нем, хранящий их коллекции и архивы. На длинных улицах богатые особняки, громады прежних управлений целыми империями: железнодорожной — с тысячами верст рельсов, проложенных по нехоженым дебрям, горнорудной — с богатейшими золотыми приисками и армиями старателей, судоходной. Примечательнее всего несравненная набережная Ангары с эспланадами, аллеями, осененными вековыми лиственницами и тополями, площадками, выложен-

ными каменными плитами, как в античных городах, гибридным памятником: цоколем царского монумента, увенчанного бетонным обелиском. Иркутск сильно строится, но, вероятно, еще долго будет сохранять облик старого, значительного сибирского города.

Свой, отличный характер у гиганта на Оби — индустриального Новосибирска, сказочно быстро выросшего из поселка построенных тут в восьмидесятые годы прошлого столетия Новониколаевских железоделательных заводов. К сожалению, целые улицы и кварталы Новосибирска строились сериями, по одному образцу: на них печать эклектического, напыщенного стиля тридцатых и сороковых годов. И это производит несколько унылое впечатление, особенно рядом с нарядным Академгородком. Думается, архитекторы Новосибирска могли лучше использовать его выигрышное местоположение на берегах величественной Оби.

Зато кто бывал в Вологде, навсегда запомнит исключительное очарование этого города. Нигде больше деревянное зодчество не поднялось до таких вершин, как в этом старинном северном городе! Приезжий невольно задерживается у каждого дома — всякий из них по-своему интересен, отражает особые вкусы и мастерство своего строителя. Вот обширный особняк в безупречном классическом стиле, с портиком дорического ордера и полуциркульными окнами. Дом, проемы которого украшены скульптурными гирляндами и волютами изящного рисунка, создающими богатый орнамент в стиле барокко. И без конца — многослойные, выпиленные искусной рукой карнизы и балясины, фризы, сложные оформления щипцов. Сколько фантазии, сколько зрелого мастерства и воспитанного вековыми традициями вкуса! Деревянные дома Вологды на обсаженных березами улицах в сочетании с двумя десятками уцелевших каменных старинных церквей с шатровыми колокольнями составляют неотразимую, пронзительно русскую красоту этого удивительного города.

И думается, что бесчисленные города — большие и малые, древние и новые,— разбросанные по всей земле,— те неповторимые грани, что вкупе образуют лик Родины: каждая сверкает по-своему, в каждой — частица целого, того замечательного целого, которое создал великий русский народ на протяжении своей тысячелетней истории. Мы его унаследовали и должны передать потомкам сохранным в его немеркнущей красоте!

1969

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ ВОЛКОВ

ВЕК НАДЕЖД И КРУШЕНИЙ

Редакторы **В. С. Рогов** и **В. П. Стеценко**
Художественный редактор **М. К. Гуров**
Технический редактор **Н. Г. Тимченко**
Корректоры **Н. А. Кузьмичева** и **Т. В. Малышева**

ИБ № 7806

Сдано в набор 06.12.88. Подписано к печати 12.06.89. А 05493. Формат 84×108[1]/32. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 38,64. Уч.-изд. л. 40,79. Тираж 200 000 экз. (3-й з-д 100001—150000 экз.) Заказ № 848. Цена 2 р. 80 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Волков О. В.

В 67 Век надежд и крушений: Воспоминания, повести, рассказы, очерки.— М.: Советский писатель, 1990.— 736 с.

ISBN 5—265—01105—6

Главным произведением в сборнике «Век надежд и крушений» одного из старейшин отечественной литературы Олега Васильевича Волкова, издаваемом к его 90-летию, является документальная эпопея «Погружение во тьму» — о крестном пути автора по сталинским тюрьмам, лагерям и ссылкам, который продолжался 27 лет.

Кроме того, в сборник включены повести и рассказы, а также воспоминания и размышления о Толстом, Шаляпине, Тургеневе, Соколове-Микитове; о Московском университете и старинных русских городах.

В $\frac{4702010201-264}{083(02)-89}$ КБ—1—30—90 ББК 84 Р7